

II Мервин
III К



Ψ

Писатель, поэт и художник Мервин Пик (1911–1968) – одна из наиболее ярких и своеобразных фигур англоязычной литературы. Его произведения еще при жизни вошли в антологии современной классики. Безусловное признание литературной общественности (премия Королевского литературного общества) и мировую славу принес М.Пику роман "Замок Горменгаст".

Действие романа, в котором магически сплетаются фантазия, гротеск, сатира, элементы мистики, глубочайший психологизм, построено на извечных человеческих ценностях – любви, стремлении к свободе, борьбе со всем порочным и косным в обществе и самом человеке.

Блестящий стилист, мастер захватывающего повествования, тончайший знаток природы и движений человеческой души, М.Пик создал поистине уникальный мир, события в котором не могут не увлечь читателя.

Другие названия: Горменгаст

- [Мервин Пик](#)

- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)

- [Глава тридцатая](#)
- [Глава тридцать первая](#)
- [Глава тридцать вторая](#)
- [Глава тридцать третья](#)
- [Глава тридцать четвертая](#)
- [Глава тридцать пятая](#)
- [Глава тридцать шестая](#)
- [Глава тридцать седьмая](#)
- [Глава тридцать восьмая](#)
- [Глава тридцать девятая](#)
- [Глава сороковая](#)
- [Глава сорок первая](#)
- [Глава сорок вторая](#)
- [Глава сорок третья](#)
- [Глава сорок четвертая](#)
- [Глава сорок пятая](#)
- [Глава сорок шестая](#)
- [Глава сорок седьмая](#)
- [Глава сорок восьмая](#)
- [Глава сорок девятая](#)
- [Глава пятидесятая](#)
- [Глава пятьдесят первая](#)
- [Глава пятьдесят вторая](#)
- [Глава пятьдесят третья](#)
- [Глава пятьдесят четвертая](#)
- [Глава пятьдесят пятая](#)
- [Глава пятьдесят шестая](#)
- [Глава пятьдесят седьмая](#)
- [Глава пятьдесят восьмая](#)
- [Глава пятьдесят девятая](#)
- [Глава шестидесятая](#)
- [Глава шестьдесят первая](#)
- [Глава шестьдесят вторая](#)
- [Глава шестьдесят третья](#)
- [Глава шестьдесят четвертая](#)
- [Глава шестьдесят пятая](#)
- [Глава шестьдесят шестая](#)
- [Глава шестьдесят седьмая](#)
- [Глава шестьдесят восьмая](#)
- [Глава шестьдесят девятая](#)
- [Глава семидесятая](#)
- [Глава семьдесят первая](#)
- [Глава семьдесят вторая](#)
- [Глава семьдесят третья](#)
- [Глава семьдесят четвертая](#)
- [Глава семьдесят пятая](#)
- [Глава семьдесят шестая](#)

- [Глава семьдесят седьмая](#)
- [Глава семьдесят восьмая](#)
- [Глава семьдесят девятая](#)
- [Глава восемьдесятая](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
-

Мервин Пик
Замок Горменгаст

Посвящается Мэв

Глава первая

I

Титу семь лет. Дом, где он родился, дом, который он никогда не покидал – Замок Горменгаст. Тит взращен в полумраке коридоров и зал, воспитан на Ритуале и опутан им как паутиной, эхо для него – вместо детских песенок, каменные лабиринты – вместо детских картинок. Однако несмотря ни на что, в нем живет не только наследие теней, дрожащего эха и сурового камня. Его душа – пока еще душа ребенка.

Ритуал вездесущ. Более нигде и никогда Ритуал не был столь требователен и обязателен к исполнению. Ритуал, унаследованный от незапамятного прошлого, Ритуал, слепо исполнявшийся предками и нынешними обитателями Замка. Несть им числа – безымянным безликим серым.

Против безличия и обряда – дар яркой, голубой, бурлящей крови. Той крови, которая заставляет хохотать, когда серые предписания бормочут «Рыдай». Той крови, которая заставляет грустить, когда иссушенный Закон каркает «Радуйся!» О бунт, тайно зреющий в полумраке!

* * *

Тит семьдесят седьмой, Герцог Горменгаста. Наследник разрушающегося величия, наследник неисчислимых анфилад комнат и коридоров, заросших крапивой, наследник империи всеразъедающей ржавчины, наследник ритуалов, глубоко впечатавшихся в камень Замок Горменгаст.

Отрешенный местами полуразрушенный, погруженный в тень, в молчание, возведенный неизвестно когда и неизвестно кем. Башни, крыши, переходы. Неужели все разрушается? Нет, не все.

Меж шпилей, выстроившихся длинными рядами, летает легкий ветерок, поют птицы, вдали застыла заиленная река, заросшая водорослями и камышом. Зажатая в холодном каменном кулаке, дергается теплая, строптивая, игрушечная ручка. Удлиняется тень, шевелится паук...

На обитателей Замка опускается зыбкая тьма.

II

А кто же эти обитатели? Кто же главные действующие лица драмы? И что знает Тит о них и о своем доме? Что выучил Тит за семь лет, прошедших с тех пор, как его произвела на свет Графиня Стон в комнате, полной птиц?

Он выучил алфавит арок и коридоров, язык полутемных лестниц и перекрытий, увешанных ночными бабочками. Огромные залы – его детские площадки; мощные двory – его поля; каменные столбы и колонны – его деревья.

И еще он знает, что повсюду – глаза. Глаза, следящие за каждым его шагом. И шаги, постоянно следующие за ним. И руки, хватающие и подавляющие всякое сопротивление, подхватывающие, если он падает. Тит не улыбается, его взгляд всегда опущен вниз.

Из тьмы выплывают, расталкивая друг друга, фигуры. Одни – в драгоценностях, другие – в

ЛОХМОТЬЯХ.

Действующие лица драмы.

Живые и мертвые Образы и голоса заполняют его сознание; иногда живые становятся бесплотными тенями, а мертвые выплывают из небытия.

Но кто они, эти мертвые? Эти жертвы насилия? Те, кто уже не участвует в жизни Горменгаста, но кто оставил в ней свой неизгладимый отпечаток? Все еще бегут круги по темной воде, все еще не улеглось волнение, все еще не собраны камни, при падении своем взбудоражившие глубокие воды.

Мертвые для Тита – просто имена, хотя один из них – его отец, и многие из них были живы, когда он родился. Но кто же они? О, этот ребенок о них еще услышит!

III

Так пусть же они явятся на краткий миг, как бестелесные призраки, каждый по отдельности, такие непохожие друг на друга, завершившие свой жизненный круг! Вот они еще двигаются – как двигались до своей смерти, все на своих местах. Неужели само Время стало раскручиваться как свиток в обратную сторону, оживляя мертвых и позволяя им снова заговорить, или же эти духи восстают в биении нынешнего мгновения и бродят, проходя сквозь стены?

Вот здесь была библиотека. Теперь от нее остался лишь пепел. Пускай восстанут из пепла длинные ряды шкафов! О, вот уже вдоль толстых каменных стен выросли полки, на них книги, одетые в броню переплетов, а в них – великие знания, философия, поэзия, которая мягко струится или бурно пляшет, зажата со всех сторон полуночным мраком. Призрак Гробструпа, меланхолического Герцога, семьдесят шестого владыки Горменгастовой полутьмы, насупленно скрывается среди страниц, прикрытый матерчатыми и кожаными переплетами, придавленный холодным весом чернил и типографской краски.

Время – пять лет назад. Не ведая, что приближается его смерть, которую принесут ему совы, он еще медленно движется по жизни; в каждом его шаге, в каждой черточке его лица – гробовая печаль; его тело – прозрачно как стекло; и видно его сердце – перевернутая капающая слеза.

Каждый вздох его – как волна, которая относит его все дальше и дальше от самого себя; его несет как корабль без руля и ветрил к острову безумия – здесь не проходят торговые пути, здесь море непредсказуемо, здесь штиль нежданно сменяется бурей, здесь в лучах заходящего солнца пылают вздымающиеся скалы...

* * *

О том, как он умер, Тит не имел ни малейшего представления. Ибо он еще не только не беседовал с Высоким Лесовиком, Флэем, который был когда-то личным слугой его отца Гробструпа и единственным свидетелем того, как он умер – в один прекрасный день Герцог, повредившись в рассудке, взобрался в Кремневую Башню и отдался на съедение голодным совам.

Флэй, похожий на труп и как труп молчаливый,двигающийся по-паучьи, скрипящий всеми своими суставами при каждом шаге – он один среди вызванных нами призраков все еще жив. Но так плотно сросся он с жизнью властителей Замка, что ежели и было когда-нибудь кому-нибудь

суждено при жизни стать своим собственным призраком, то именно таким человеком и был Флэй.

Ибо отлучение подобно смерти, и человек, бродящий по лесу, имеет уже мало общего с ближайшим слугой Герцога. В то время как Флэй во плоти устанавливает силки на зайцев в заросшем чертополохом овражке, безбородый призрак его сидит у дверей комнаты своего хозяина в коридоре с высоким потолком. Откуда ему знать, что совсем скоро он добавит своей собственной рукой еще одно имя к списку убиенных? Ему, сидящему у дверей, известно лишь то, что его жизнь постоянно находится в опасности, каждый нерв в его длинном, напряженном, неуклюжем теле кричит, вызывает к тому, чтобы эта невыносимая рознь, эта ненависть, это напряженное ожидание чего-то страшного, которые поселились в Замке, поскорее закончились. И он знает, что этого не случится, если либо он сам, либо огромный, заплывший жиром монстр – Глава Кухонь Горменгаста – будет уничтожен.

* * *

Так и случилось. Заплывший жиром монстр, Потпуз, шеф-повар Замка Горменгаст, который не двигался, а плыл словно залитая лунными лучами морская корова, был сражен всего лишь за час до смерти Герцога – в его необъятной груди, как мачта, торчал длинный меч. И вот призрак Эбейта Потпуза возвращается, он снова здесь, в Большой Кухне Замка, которую когда-то подчинил себе таким вкрадчивым, но и таким безжалостным способом. Из всех призраков, невесомых, бестелесных, колышущиеся формы призрака Потпуза самые призрачные. Он плывет сквозь влажные дымки Большой Кухни, как невероятных размеров болезненный слизняк, заплывший жиром. От окутанных дымкой сковородок, огромных кастрюль, от мисок величиной с таз волнами поднимаются подобно миазмам и распространяются по Кухне запахи, такие густые что их, кажется, можно потрогать руками, все, что здесь варится и жарится, будет сегодня наполнять желудки. Проплывая сквозь горячий туман, раздувшийся призрак Потпуза, как корабль под парусами, окутанный мглой, становится в плотных парах Кухни еще более призрачным, он превращается в призрак призрака, лишь голова его, огромная как репа, сохраняет видимость плотности. Призрак несет свою несуразную голову с таким заносчивым, нахальным и зловецким видом, что любого, кто увидел бы его, тотчас бы прошиб холодный пот.

* * *

Сколь бы злобен и тщеславен огромный призрак ни был, он отступает в сторону, давая дорогу другому фантому – Пылекислу, церемониймейстеру, Главному Хранителю Ритуала, делающему обход, его слабые, но мозолистые руки теребят колтуны спутанной бороды. Пылекисл, наверное, самая незаменимая фигура из всех, краеугольный камень и хранитель Закона Дома Стонов, он медленно бредет, лохмотья красного сюртука, положенного ему по сану, свисают с его старого, изможденного, унылого тела грязной бахромой. Даже для призрака он очень слаб здоровьем, он, сотрясая космы своей бороды, постоянно кашляет – сухо, страшно. Он как будто должен радоваться, что в лице Тита родился наследник Дома Стонов. Но возложенная на него высочайшая ответственность стала слишком тяжелой и не позволяет с легким сердцем предаваться такому чувству, как радость – даже если на мгновение допустить, что он мог завлечь в этот орган своего тела, работающий в спотыкающемся ритме, такое низменное чувство. Он бродит шаркающей походкой от церемонии к церемонии, с трудом

удерживая свою иссушенную голову на плечах и постоянно борясь с естественным желанием позволить ей склониться на грудь, весь покрытый вмятинами, трещинами, как старый, растрескавшийся сыр, он персонифицирует величайшую древность занимаемого поста.

Его телу случилось умереть в той самой библиотеке, которой суждено было погибнуть в огне и где теперь, в призрачном виде, пребывает дух Гробструпа. Старый Хранитель Ритуала уходит, проходя сквозь Кухню, насыщенную горячими испарениями, сквозь эти болотные миазмы, которые несут лихорадку, он не в состоянии предвидеть – или вспомнить (кто может сказать, в каком направлении работает рассудок фантомов?), что он умрет – или что он уже умер, – задохнувшись в едком дыму горящей библиотеки, могучие языки пламени, красные и золотистые, будут лизать – или лизали? – его сморщенную шкуру.

Откуда ему знать, что погубил его в огне Щуквол, что сестры его светлости Герцога, Кора и Кларисса, подожгли запал, что после пожара его господин, Герцог Стон, отправится по дороге, так явственно открывшейся перед ним – прямо к безумию.

* * *

И вот, наконец, Кеда, кормилица Тита. Она спокойно и медленно идет по коридору – коридор весь в пятнах света и перламутрово-серой тени. То, что она сейчас призрак, кажется вполне естественным, ибо даже тогда, когда она еще была жива, в ней присутствовало нечто эфемерное, отрешенное, оккультное. Она умерла, прыгнув однажды в вечерних сумерках с большой высоты, это была достаточно безжалостная смерть, но все же менее ужасная, чем та, что постигла самого Герцога и его дряхлого Хранителя Ритуала. Однако по сравнению со смертью через изгнание, которая так мучительно медленно идет к высокому человеку, прячущемуся в лесах, смерть кормилицы оборвала тяготы жизни почти мгновенно. Как и когда-то, еще до того, как она бежала из Замка в смерть, она заботится о Тите, словно в нее вселилось материнское чувство всех женщин, когда-либо живших на свете. Темноволосая, искрящаяся почти как топаз, она все еще молода, ее единственный физический недостаток – преждевременное угасание когда-то исключительной красоты. Но такова незавидная судьба, даже проклятие всех Живущих Вне Замка, это увядание приходит безжалостно быстро, цветущая молодость столь быстротечна, что кажется призрачной. Она единственная из всех тех, кому судьба уготовала преждевременную смерть, по своему происхождению относится к обездоленному, нищенскому миру недопущенных в Замок, чье убогое поселение, как нарост грязи и ракушек, прилепилось к внешней стене Горменгаста.

* * *

Таковы вкратце Потерянные Персонажи. Их всего несколько, ушедших из коловращения жизни Замка еще до того, как Титу исполнилось три года, но будущее во многом определялось тем, что они сделали при жизни. Они стали составной частью жизни Тита, ибо в раннем детстве он возвращался на звуках шагов, которые его всегда сопровождали, на тенях, отбрасываемых на высокие потолки, на их зыбких очертаниях, на их быстрых или медленных движениях, на их разных запахах и голосах.

Все, что живет, обязательно оставляет после себя след, который может проявиться в будущем. И вполне может случиться так, что Тит, когда вырастет, услышит то, что когда-то произносилось шепотом. Ибо Тит заброшен судьбой в причудливый круговорот – он существует

в подвижном мире, а не среди восковых кукол или вечно застывших, как на орнаменте, фигур, в котором мысли становятся делами, а если нет, то повисают, как летучие мыши, на чердаках или носятся меж башен на прозрачных крыльях.

Глава вторая

А что же сказать о живущих?

Его мать, Графиня Гертруда, – большая, тяжелая, словно вылепленная из глины, – наполовину спит, наполовину бодрствует, это бодрствование гнева, отстраненность транса. За семь лет, истекших со дня рождения Тита, она видела его семь раз. А потом забыла, как пройти в ту часть Замка, где он обитает. Теперь она следит за ним из потайных окон. Ее любовь к нему бесформенна как перегной. Длинная вереница кошек постоянно, как шлейф, следует за ней. В ее волосах свил гнездо дрозд.

* * *

Менее крупная, но такая же угрюмая и такая же непредсказуемая сестра Тита Фуксия. Она обладает такой же чувствительной натурой, как и ее отец, но без его интеллекта, у нее густые черные волосы, свисающие как флаг, который взвивается, когда она вздергивает голову, она по-детски закусывает нижнюю губу, она хмурится, смеется, насупливается, – и все это почти сразу; она нетерпелива, подозрительна, доверчива – и все это одновременно. Ее алое платье как пламенем освещает коридоры, когда в проникшем невесть откуда луче солнца ее платье вспыхивает как факел, темные, зеленые тени вокруг становятся еще глубже и зеленее.

* * *

Есть кто-либо еще из близких родственников Тита? Только слабоумные тетки Кора и Кларисса, сестры-близнецы, сестры Гробструпа. Так ущербны они разумом, что обдумывать какую-нибудь мысль для них – значит рисковать кровоизлиянием в мозг. Так ущербны они телом, что кажется, будто надетые на них платья скрывают не больше плоти, костей, нервов и жил, чем когда висят на своих петельках в шкафу.

А что другие персонажи – помельче, менее благородного происхождения? Если исходить из положения в обществе, то прежде всего, очевидно, следует упомянуть Доктора Хламслива и его сестру. Сестра ходит всегда плотно закутавшись, но даже сквозь материю видны ее выпирающие кости. Доктор смеется смехом гиены, у него необычное, элегантное тело, лицо – словно целлулоидное.

А каковы его основные недостатки? Невыносимо высокий голос, его сводящий с ума смех, его манерные, аффектированные движения. Его основное достоинство? Неповрежденный мозг.

Сестра доктора, Ирма. Самомнительна и суетна как ребенок, тощая как нога цапли, постоянно носит черные очки, слепа как сова при дневном свете. Она срывается с социальной лестницы по меньшей мере три раза в неделю, но тут же снова начинает карабкаться вверх, извиваясь и размахивая тощими бедрами. Она, сцепив свои мертвенно-бледные руки, постоянно держит их на груди, питая, очевидно, благородную надежду, что тем самым ей удастся скрыть неразвитость бюста.

Кто дальше? С точки зрения приближенности к властителям Замка – никого. Или, точнее, – никого из тех, кто в первые и ранние годы жизни Тита сыграл бы роль, имевшую значение для его будущего, хотя может быть, здесь следовало бы назвать Поэта, человека с клинообразной головой, нелепой фигурой. Это личность малоизвестная власть предержащим Горменгаста, хотя

он пользовался славой единственного, кому в беседе удавалось удерживать внимание Герцога Гробструпа более пяти минут. А теперь он полностью позабыт, одинок в своей комнате над каменной пропастью стены. Никто не читает его стихов, но некоторый статус он сохраняет – все-таки, по слухам, он человек благородного происхождения.

Если же выйти за пределы круга тех, в чьих жилах течет голубая кровь, то сразу всплывает целый выводок имен. Сын умершего Пылекисла, по имени Баркентин, нынешний Хранитель Ритуала – ворчливый педант семидесяти лет, карлик, словно когда-то остановленный в росте, который пошел по стопам своего отца (точнее, по стопе, ибо этот Баркентин – одноногое создание, которое носится по плохо освещенным коридорам, опираясь на костыль, производящий мрачный и гулкий стук).

Флэй, который уже появлялся в нашем повествовании в виде призрака, живет, но не здравствует в лесу Горменгаста. Похожий на труп и молчаливый как труп, он не менее самого Баркентина представляет собой традиционалиста старой школы. Но в отличие от Баркентина, гнев, который вздымается в нем, когда нарушается Закон, проистекает из ревностной преданности традиции, которая ослепляет его, а не из безжалостной и хладнокаменной нетерпимости калеки-Хранителя.

* * *

Может показаться несправедливым, что речь о госпоже Шлакк заходит после того, как уже упомянуты многие другие. Сам по себе тот факт, что она является няней Тита, наследника Герцога, властелина Горменгаста, и в свое время была няней Фуксии, вполне достаточен, чтобы дать ей право быть упомянутой в начале любого перечисления приближенных лиц. Но она такая крошечная, такая напуганная, такая старая, такая ворчливая, что совершенно не в состоянии – и ни за что не захотела бы – возглавить какую бы то ни было процессию, даже процессию имен на бумаге. Она постоянно брюзгливо восклицает: «О, мое больное, слабое сердце! Как они могли?!», и бежит к Фуксии, чтобы либо шлепнуть рассеянную, отрешенную девушку – это приносит няне некоторое облегчение, – либо зарыться своим личиком, похожим на сморщенную сливку, в юбку герцоговой дочери. А сейчас она одиноко лежит в своей комнате и покусывает костяшечки крошечных кулачков.

А вот в молодом Щукволе нет ничего ворчливого или испуганного. Если даже когда-нибудь в его щуплой, костлявой груди и пряталась совесть, он давно выскреб ее и вышвырнул как досадную помеху. И зашвырнул так далеко, что, если бы она ему снова когда-нибудь потребовалась, никогда бы ее не нашел.

После рождения Тита Щуквол начал свое восхождение к вершинам Горменгаста; закончилось его рабское служение в Кухне Потпуза, в этой юдоли, наполненной парами, где ему было слишком, гадко и слишком тесно и где не могли развернуться его гибкие таланты и амбициозные устремления.

Узкоплечий и сутулый настолько, что кажется почти горбатым, худой, гибкий, длинноногий, краснорукий, с близкосогаженными глазами цвета запекшейся крови, Щуквол продолжает карабкаться, но теперь не по задворкам Горменгаста, а по спиральной лестнице души Замка, устремляясь к вершине, дразнящей воображение, к какому-то дикому неприступному гнезду, о котором больше всего знает он сам. Оттуда он сможет взирать на мир, распростертый у его ног, и восторженно трести своими скомканными крыльями.

В гамаке в дальнем конце Зала Раскрашенной Скульптуры, крепко спит Гниллокун. В этом длинном чердачном помещении размещаются лучшие образцы искусства, создаваемого Жителями Мазанок. Прошло уже семь лет с тех пор, как он наблюдал из чердачного окна за извилистой процессией, возвращающейся с озера Горменгаст, у которого была совершена церемония возведения младенца Тита в герцогское достоинство. И с тех пор, за эти долгие годы в его жизни ничего не происходило, если не считать тех случаев, когда раз в году прибывали новые образцы раскрашенной деревянной скульптуры, которые следовало разместить в длинной зале в верхних этажах Замка.

Голова Гниллокуна, похожая на пушечное ядро, склонилась на руку, гамак легко покачивается жужжит большая муха.

Глава третья

На нечетко обозначенных границах жизни Замка – границы эти столь же непостоянны и столь же извилисты, как и побережье острова, обдуваемого всеми ветрами и сотрясаемого бурями, – существует определенное количество личностей. Некоторые из них предпринимают попытки продвижения к центральной оси, вокруг которой вращается жизнь Замка. Они бредут, выбираясь из темных бездонных вод безвестности и безвременья И кто же добирается до холодного берега? Наверняка из таких глубин и пространств должны появляться по меньшей мере боги либо, на худой конец, короли, облаченные в чешуйчатую броню, либо существа, чьи распростертые крылья могли бы погрузить мир во мрак А может быть, даже сам пятнистый Сатана с медным челом?

Но нет – ни богов, ни чешуйчатых доспехов, ни крыльев, ни медных лбов.

Слишком темно, чтобы рассмотреть тех, кто бредет из неизвестности, однако надвигающаяся бесформенная тень, слишком большая для одного человека, предвещает приближение толпы седых Профессоров, в чьих руках некоторое время придется извиваться Титу.

* * *

Но никакой полумрак не скрывал сутулого молодого человека, который входил в маленькую комнату, похожую на тюремную камеру. Вход в нее вел из узкого каменного коридора, камень был сухой, серый и грубо обработанный, как шкура слона. Когда, стоя в дверях, человек оглянулся, чтобы посмотреть, не следовал ли кто-нибудь за ним по коридору, холодные лучи высветили его высокий, выпуклый, белый лоб.

Войдя в комнату, он плотно закрыл за собой дверь и задвинул засов. В окружении белых стен человек казался странным образом отстраненным от того мирка, в котором перемещался. Он казался тенью, тенью сутулого молодого человека, двигающейся по белой плоскости, а не человеком во плоти, перемещающимся в трехмерном пространстве.

В центре комнаты стоял простой каменный стол, на нем, сгруппировавшись поближе к центру, располагались графин с витым горлышком (в графине – вино), стопки бумаги, ручка, несколько книг, ночная бабочка, пришпиленная булавкой к пробке, и наполовину съеденное яблоко.

Проходя мимо стола, человек схватил яблоко, откусил от него и положил обратно – и все это не замедляя шага, затем (если бы в этот момент кто-нибудь наблюдал за ним со стороны, то этому наблюдателю показалось бы именно так) ноги молодого человека вдруг стали, начиная снизу, укорачиваться. Однако все было проще – в том месте участок пола комнаты опускался под углом вниз, и молодой человек просто зашел в эту наклонную часть, которая уходила все глубже и приводила к отверстию в стене, завешенному занавесом.

Мгновением позже человек, отдернув занавес, прошел дальше, и темнота обняла его, скрыв углы колючего тела.

Он проник в нижнюю часть не используемого ныне дымохода. Было очень темно, и эта темнота не столько рассеивалась, сколько усиливалась рядом маленьких поблескивающих зеркалец, в которых через систему других зеркалец отражалось то, что происходит в комнатах, примыкавших к этому дымоходу на разных этажах. Дымоход уходил из темноты, в которой стоял молодой человек, высоко вверх, туда, где гулял ветер меж полуразрушенных ветрами и

дождями крыш, кровли, грубые и растрескавшиеся как корка черствого хлеба, краснели жутким цветом в нескромных лучах заходящего солнца.

За последний год молодому человеку удалось получить доступ в комнаты и коридоры, примыкающие к дымоходу, и он в нужных местах просверлил отверстия сквозь деревянную обшивку, штукатурку и камень. Подчас это было совсем непросто, ибо в некоторых случаях ему приходилось сверлить, упираясь коленями и спиной в стенки дымохода. Сквозь отверстия, в сечении не больше монеты средней величины, можно было наблюдать через систему зеркал за тем, что происходит в этих помещениях. Сверление приходилось к тому же производить лишь в строго определенное время, дабы шумом не вызвать никаких подозрений. Более того – нужно было точно определить место для отверстий, чтобы получить необходимый угол зрения.

И комнаты тоже были выбраны молодым человеком с таким расчетом, чтобы оправдать усилия, затраченные на работу, – за происходящим в них можно было время от времени наблюдать не только ради удовольствия, получаемого от подглядывания, но и для пользы того дела, которое он задумал.

Способы, применяемые им, чтобы скрыть отверстия, которые иначе легко можно было бы заметить, были разнообразны и изобретательны. Примером может послужить то, как он сделал это в покоях ветхого Баркентина, Хранителя Ритуала. В этой комнате, грязной как нора лисы, на одной стене, как раз в нужном месте, висел портрет всадника на пегой лошади, выполненный маслом, краска во многих местах вспучилась и шелушилась. Молодой человек не только просверлил два отверстия непосредственно под нижним краем рамы – здесь тень от рамы лежала, как длинная черная линейка, – но и вырезал из полотна нарисованные пуговицы, зрачки глаз и у всадника, и у лошади, просверлив затем прямо позади них отверстия в стене. Эти отверстия, расположенные на разных уровнях в разных точках, позволяли молодому человеку просматривать комнату под разными углами зрения и следить за всеми передвижениями Баркентина, куда бы он ни перемещал свое жалкое тело, поддерживаемое мерзким костылем. Через глаз лошади – это отверстие использовалось чаще всего – открывался прекрасный вид на матрас, лежащий на полу, на котором Баркентин проводил почти все свое свободное время, свивая в узлы, а потом распутывая свою бороду, время от времени, в припадке раздражения, он поднимал свою целую ногу – хоть и единственную, но тоже весьма усохшую – а потом обрушивал ее на матрас, поднимая тучи пыли. В самом дымоходе сразу позади отверстий была установлена сложная система проволочек и зеркалец, в которых отражалась жизнь обитателей наблюдаемых комнат, лишенных без ведома обитателей уединенности. Вниз по черному дымоходу опускались зеркала, передавая друг другу все тайные и явные действия, которые попадали в поле их безжалостного зрения, от зеркальца к зеркальцу отражения наконец достигали основания этого созвездия зеркал и обеспечивали молодого человека постоянным развлечением и нужной ему информацией.

Погруженный в темноту, молодой человек мог небольшим поворотом головы перейти от, скажем, наблюдения Трясинтреска, акробата, которого часто можно было видеть прохаживающимся по своей комнате на руках и перекидывающимся с одной подошвы на другую маленького поросенка, одетого в зеленую ночную рубашку, к, скажем подсматриванию, ради развлечения, за Поэтом. Тот сидит за столом, откусывает прямо от буханки кусок хлеба – ротик у него маленький, а руки заняты он пишет, – клинообразная голова слегка склонена в сторону, лицо покраснелось от умственного напряжения. А глаза Поэта (они смотрят таким расфокусированным взглядом, что, кажется, никогда уже больше сфокусироваться не смогут) настолько полны духом, что становится непонятным, как может нечто материальное выражать такую духовность.

Но молодой человек имеет возможность наблюдать за значительно более важными

фигурами – ведь упомянутые личности, за исключением Баркентина, совсем маленькие рыбки в темных водах Горменгаста, даже и не рыбки, а нечто и того мельче. И он переводит свой взгляд на зеркала, в которых можно увидеть значительно более волнующее зрелище представителей самого семейства Стонов – странную, с волосами цвета вороньего крыла дочь покойного Герцога Фуксию и ее мать, вдову Герцога, Графиню Гертруду, на чьих плечах сидит множество птиц.

Мягкое летнее утро, огромное колоколоподобное, разрушающееся сердце Горменгаста еще в полусне, даже эхо пока не пробудилось в гулких коридорах, и глухие удары сердца Горменгаста не разносятся по каменным лабиринтам. В одном из залов с оштукатуренными стенами зевала тишина.

Над одной из дверей этого зала прибит шлем, весь покрытый ржавчиной. Нарушая тишину и покой, из шлема раздался сыпучий, порхающий звук, и затем в одну из глазниц высунулся клюв и тут же втянулся назад. Оштукатуренные стены вздымались вверх, в полумрак, в котором нельзя было различить потолок (а может быть, его вообще не было), единственным источником света служило высоко расположенное одно-единственное окно. Теплый свет, который проникал сквозь завешанные паутиной стекла, позволял различить какие-то галереи, расположенные невероятно высоко над полом, но не позволял увидеть, как же к этим галереям добраться. Пробивавшиеся сквозь окно узкие лучи солнца круто, по диагонали, опускались вниз, подвешенные как медные проволоки, через весь зал и каждый луч, ударяясь об пол, превращался в небольшую лужицу янтарной пыли, устилающей половицы. По невероятно длинной паутинной нити, которая, казалось, вот-вот оборвется, мало-помалу спускался паук, попав в луч света, он замер на мгновение и превратился в точечку искрящегося золота.

Стояла абсолютная тишина, но вдруг – словно в нужный момент, чтобы снять напряжение, – окно в вышине распахнулось, лучи солнца исчезли. В окно просунулась рука и потрясла колокольчиком. Почти тотчас же раздались шаги, а еще через мгновение стали открываться и закрываться двери, и зал наполнился снующими в разных направлениях фигурами.

Колокольчик перестал звонить. Рука исчезла, исчезли и снующие фигуры. Не осталось никакого признака того, что в этом заключенном оштукатуренными стенами пространстве когда-либо двигалось что-либо живое, что где-то открывались двери, лишь прямо под ржавым шлемом, в пыли, на полу, лежал маленький белесый цветок, и одна дверь слегка, без скрипа, продолжала раскачиваться – туда-сюда, туда-сюда.

Через щель, возникавшую тогда, когда дверь приоткрывалась, можно было увидеть побеленный коридор, уходящий вдаль и изгибающийся по такой малозаметной дуге, что в том месте, где из поля зрения уже исчезла правая стена коридора, расстояние от пола до потолка казалось не больше, чем от стопы до лодыжки.

Этот длинный коридор, дающий в перспективе такое сужение и изгибающийся так мягко, безо всяких усилий, как чайка, слегка уклоняющаяся в полете от прямой линии, вдруг наполнился движением. Нечто, издав далеко напоминающее лошадь со всадником на спине мчалось по коридору. Оно галопом приближалось к залу. За раскачивающейся дверью гремел грохот копыт. Дверь распахнулась во всю ширь – ее толкнул носом маленький серый пони.

На его спине сидел Тит.

На нем была одежда свободного покроя из грубой материи, какую обычно носили все дети

Замка. На протяжении первых девяти лет своей жизни наследный Герцог должен был общаться с детьми низших классов и пытаться понять их жизнь. Однако по достижении пятнадцатилетнего возраста всякие знакомства и дружба, которые могли возникнуть в результате такого общения, должны были полностью прекратиться. Его собственное поведение должно будет полностью поменяться, и общение стать более ограниченным выборочным и суровым. Но традиция требовала, чтобы ребенок из Семьи властителей Замка общался в свои ранние годы, по крайней мере несколько часов каждый день, с детьми менее возвышенных обитателей Замка. Ел вместе с ними, спал в общих спальнях, посещал занятия, которые вели Процессоры, играл в игры существовавшие с незапамятных времен, участвовал в праздниках и обрядах – то есть вел себя как любой другой ребенок Замка. Однако при всем при этом Тит всегда чувствовал, что за ним постоянно наблюдают – и тогда, когда ему приходится иметь дело с официальными лицами, и тогда, когда он играет с детьми. Правильно ли он себя ведет? Он слишком юн, чтобы до конца понимать, что предполагает его статус, но достаточно взросл, чтобы осознавать свое особое положение.

Раз в неделю до начала утренних занятий Титу было позволено в течение часа кататься на своей серой лошадке под высокими южными стенами, когда светило солнце, его тень фантазмагорических очертаний мчалась рядом с ним по огромным камням стены, озаренной утренними лучами. И если он размахивал рукой, его собственная тень, восседающая на тени лошадки, махала на стене огромной рукой-тенью.

Но сегодня вместо того, чтобы ездить вдоль своей излюбленной южной стены, Тит по какой-то непонятной прихоти повернул лошадку под черную арку, заросшую мхом, и направил ее внутрь самого Замка. Проезжая по коридорам, где он никогда раньше не бывал, он чувствовал, как бешено колотится сердце.

Тит знал, что не стоит без позволения пропускать утренние занятия, ибо уже не раз за подобные случаи неповиновения его запирали в долгие летние вечера одного в комнате. Но он уже вкусил горько-сладкие плоды свободы – хотя и кратковременной, – которую ему давала уздечка. Тит оставался один в течение всего лишь нескольких минут. Но когда он заехав в зал с оштукатуренными стенами, остановился, его неожиданный порыв к бунту угас, над ним висел ржавеющий шлем, а далеко в вышине, в полумраке угадывались таинственные балконы.

Хотя Тит на своем сером скакуне выглядел маленьким, в той уверенности, с которой он держался в седле, ощущалась властность. В его детской фигурке было нечто впечатляющее, казалось, в нем присутствует некий особый вес, некая особая сила, некое сочетание духа и материи, нечто очень существенное, крепкое, что стояло за всеми его причудами, капризами, страхами, слезами, смехом и непоседливостью ребенка семи лет.

Не будучи красивым мальчиком, он тем не менее обладал определенной представительностью облика и осанки. Как и у матери, в нем присутствовала некая особая мера, некая особая масштабность, словно его физические размеры не имели отношения к реальным футам и дюймам.

В зал вошел конюх медленной шаркающей походкой, слегка посвистывая – свист его был очень похож на шипение (он постоянно производил это шипение, занимался ли он лошадьми или чем-то другим). Серый пони был тут же уведен в направлении классных комнат, располагавшихся в западной стороне Замка.

Конюх вел под уздцы пони, а Тит, сидя в седле, смотрел в затылок конюху и молчал. Все было так, словно только что происшедшее повторялось много раз и было хорошо отрепетировано и поэтому не требовало никаких комментариев. Тит был знаком с этим человеком – который был так же неотделим от производимого им шипения, как бушующее море неотделимо от грохота прибоя, – уже больше года, с того времени, когда на особой церемонии

ему был подарен серый пони. Эта церемония, известная под названием «Дарение Пони», была проведена, как и положено, в третью пятницу после дня рождения прямого наследника (проводилась она лишь в случае когда отец наследника умирал в ранние годы жизни ребенка). Но несмотря на то, что Тит знал конюха уже достаточно длительное время (пятнадцать месяцев – весьма долгий срок для ребенка, который мог припомнить, с разной степенью ясности, события лишь последних трех-четырёх лет), он с конюхом обменялся всего лишь десятком-другим фраз. И это было не от того, что Тит и конюх плохо относились друг к другу, – просто конюх предпочитал давать мальчику куски жмыха вместо того, чтобы вести с ним беседу, а Тита вполне устраивали такие отношения, ибо конюх для него был просто кем-то с шаркающей походкой, человеком, который занимался его пони. Титу было вполне достаточно знать, как ведет себя конюх, узнавать издали его шаркающую походку, его свист-шипение, видеть белый шрам у него над глазом.

Вскоре начались утренние занятия. Сидя за изрисованной и заляпанной чернилами партой, подперев подбородок сложенными руками, Тит, словно во сне, созерцал цифры, написанные мелом на доске. Там была представлена простая арифметическая задача, но для Тита в тот момент все эти цифры казались иероглифическим посланием безумного пророка своему племени, затерянному в давнем прошлом. Его мысли – как и мысли остальных маленьких учеников, сидящих в классной комнате с обтянутыми кожей стенами – витали далеко. И совсем не в мире пророков, а в мире фантиков, которые можно обменять, птичьих гнезд и прячущихся в них яиц, деревянных мечей, мальчишеских секретов, рогаток, полуночных празднеств, могучих героев, смертельных единоборств и запретных, но верных до гроба друзей.

Глава пятая

Фуксия стояла у окна и, облокотившись на подоконник, смотрела на крытые грубой черепицей крыши, разбегавшиеся внизу, под ее окном, в разные стороны. На ней было ярко-красное платье, но такой оттенок красного не встречается в природе – его можно найти лишь на картинах старых мастеров. Рама окна обрамляла ее и полутьму за ней как картину, и картину эту можно было бы назвать шедевром живописи. Неподвижность девушки лишь усиливала этот картинный эффект, но если бы она и пошевелилась то можно было бы подумать, что ожила картина, а не что произошло естественное движение, свойственное живой природе. Но девушка не двигалась. Ее иссиня-черные волосы были столь же неподвижны, как и полутьма позади нее, сообщая этой полутьме некое особо тонкое, пористое качество. Полутьма казалась не просто состоянием, в котором отсутствует достаточное количество света, а чем-то таким, что жаждет светонесущих лучей. Лицо девушки, шея и обнаженные руки были теплого, загорелого оттенка, однако, соседствуя с красным цветом платья, казались бледными. Девушка на этой картине разглядывала мир, распростертый под ней – далекие северные аркады и шпили, Баркентина, который с остервенением тащил свое жалкое тело, опираясь на злобный костыль и проклиная мух, тучей следовавших за ним. В зазор между крышами Баркентин был виден лишь несколько мгновений, а потом исчез из виду.

Но вот девушка пришла в движение – она резко повернулась, услышав позади себя какой-то шум, – в дверях стояла госпожа Шлакк. В руках карлица держала поднос, отягощенный большим стаканом молока и виноградной гроздью.

Карлица находилась в состоянии возбужденного раздражения – битый час она провела в поисках Тита, который вырос уже из того возраста, когда мирятся с мелочной опекой. Она бродила по Замку и стенала: «О, где он? О, где же он?»; ее личико совсем сморщилось от беспокойства; ее тоненькие как прутики ножки, которым приходилось так много работать, ныли. «Ну где же он, где же Его Противность, где этот проказливый Герцог? Боже, мое бедное, слабое, больное сердце! Где же он?» Эхо разносило ее тоненький брюзгливый голос по коридорам и залам, и казалось, что она кругом будит птенцов.

– А, это ты, – сказала Фуксия, отбрасывая прядь волос с лица быстрым движением руки, – В первую секунду я не разобрала, кто же это может быть.

– Конечно, это я! Ну кто же еще это мог быть, глупая? Разве кто-нибудь еще заходит в твою комнату? Это тебе уже должно быть прекрасно известно, разве не так?

– Но я не сразу увидела тебя в полумраке, – возразила Фуксия.

– Но тебя-то я прекрасно вижу! Свесилась с подоконника как мешок какой-то! Как ты могла не слышать – ведь я звала тебя и звала, кричала, чтобы ты открыла мне дверь! О, мое слабое, больное сердце! Вечно одно и то же: зовешь, зовешь, зовешь – и никто не отвечает! Ну зачем мне все это беспокойство, ну зачем я еще живу на этом свете? – восклицала карлица, в упор глядя на фуксию. – Зачем мне жить ради тебя? Наверное, сегодня ночью я умру! – добавила она злобно; прищурившись, няня в упор глядела на воспитанницу – Почему не пьешь свое молоко?

– Поставь его куда-нибудь., вот на тот стул. Выпью попозже и съем виноград. Спасибо тебе за беспокойство. До свидания.

Когда карлица услышала это скрытое повеление уйти – несмотря на то что эти слова прозвучали довольно резко, Фуксия произнесла их безо всякого раздражения и злобы, – глаза ее наполнились слезами. Однако, хоть она и была невероятно стара, крошечна и обижена, няня позволила себе разразиться миниатюрной бурей, и вместо того чтобы воскликнуть как обычно

«О, мое слабое, больное сердце! Как ты могла!», она схватила Фуксию за руку и попыталась вывернуть ей пальцы. А когда это не удалось, предприняла попытку укусить руку дочери Герцога. Но и эта попытка не удалась – ее подняли в воздух и быстро отнесли на кровать. Лишенная возможности свершить свое небольшое возмездие, Шлакк на несколько мгновений закрыла глаза; ее цыплячья грудка подымалась и опускалась с невероятной частотой. Снова открыв глаза, она увидела перед собой руку Фуксии и, приподнявшись на одном локте, открытой ладонью стала наносить по этой руке удары, один за другим, один за другим; наконец, обессиленная, она уткнулась личиком в платье Фуксии.

– Извини меня, – сказала девушка. – Говоря «до свидания», я вовсе ничего такого не имела в виду. Мне просто хотелось остаться одной.

– А почему? – спросила госпожа Шлакк; голосок ее был едва слышен – так крепко прижималась она к Фуксии. – Почему, почему, почему, почему? Все подумали бы, что я тебе мешаю. Все подумали бы, что я тебя недостаточно хорошо знаю! Разве не я научила тебя всему? Разве не я выхаживала тебя с младенчества? Разве не я укачивала тебя в колыбельке? О, ты чудовище! Разве не я... – Карлица подняла свое личико и взглянула на Фуксию – Разве не я, все это делала?

– Да, ты.

– Тогда в чем же дело? – продолжила няня. – В чем? – Она сползла с кровати и опустилась на пол, – Немедленно слезь с одеяла, бесстыдница, и не смотри на меня такими глазами! Может быть, я загляну к тебе еще раз, вечером. А может быть и нет. Может быть, мне уже и не хочется приходить к тебе!

И госпожа Шлакк направилась к двери. Став на цыпочки, она повернула ручку, открыла дверь и вышла, через несколько минут, добравшись до своей комнаты, она залезла в постель. И долго лежала – как брошенная кукла – одинокая, с широко раскрытыми покрасневшими глазами.

Фуксия, оставшись одна, села перед зеркалом, которое в центре было так сильно усыпано оспинами, что для того, чтобы рассмотреть себя, девушке приходилось нагибаться, отыскивая свое отражение в углу. После долгих поисков она отыскала расческу в одном из ящичков комода, на котором стояло зеркало, – нескольких зубцов не хватало. И уже собралась расчесывать волосы – в последнее время она часто предавалась этому занятию, – когда вдруг в комнате стало совсем темно.

Ибо окно закрыл собой невесть откуда взявшийся сутулый молодой человек.

Даже не успев поразмышлять над тем, как какое-то человеческое существо смогло взобраться к ней в окно, расположенное в сотне метров над землей – не говоря уже о том, как можно было бы узнать, кто это, по темному силуэту, – девушка схватила большую расческу, лежавшую перед ней на столике, и стала размахивать ею перед собой, пытаясь, очевидно, таким образом отразить готовящееся нападение. В той ситуации, когда другие закричали бы или в испуге отпрянули, она приготовилась сражаться. А вдруг в окно залетел на крыльях, как у летучей мыши, какой-то монстр? Но в следующее мгновение, когда Фуксия уже готова была швырнуть в чудовище свою расческу, она узнала Щуквола.

Тот постучал костяшками пальцев по раме.

– Добрый день, мадам, – сказал Щуквол. – Можно вручить вам свою визитку?

И вручил Фуксии бумажку, на которой было написано:

«Его Адская Хитрость, Архиудачник Щуквол»

Даже еще не прочитав эти слова, девушка начала смеяться своим отрывистым, задыхающимся смехом – ее смех вызвал насмешливо-торжественный тон, которым Щуквол произнес приветствие «Добрый день, мадам». Боже, как восхитительно напыщенно это

прозвучало!

Щуквол, умоляюще сложив руки и склонив набок голову, не двигался. Девушка жестом руки пригласила его спуститься в комнату – ничего другого ей не оставалось. Получив такое приглашение, Щуквол пришел в движение – словно нажали на кнопку какого-то механизма – и через мгновение уже отвязывал от пояса веревку. Затем бросил отвязанный конец в окно, где тот, раскачиваясь, повис. Фуксия, высунувшись из окна, посмотрела вверх и увидела всю веревку, которая тянулась вдоль стены все остающиеся до крыши семь этажей; там, на полуразрушенной крыше, веревка, очевидно, была привязана к какой-то башенке или трубе.

– Все готово к моему возвращению, – сказал Щуквол. – Замечательная вещь эта веревка. Значительно лучше лошади, мадам. Спускается по стене, мадам, стоит только попросить ее. И кормить ее не нужно.

– Можете не называть меня «мадам», – сказала Фуксия – пожалуй, излишне громко, чем несколько удивила Щуквола. – Ведь вы знаете, как меня зовут.

Щуквол, быстро проглотив, переварив и изгнав из себя раздражение – он никогда не тратил времени на то, чтобы копить в себе раздражение по поводу своих неудач и как-то внешне проявлять его, – сел на стул верхом и положил на спинку подбородок.

– Я всегда буду помнить, что к вам, госпожа Фуксия, следует обращаться по имени и делать это подобающим тоном.

Фуксия как-то неопределенно улыбнулась – она думала о чем-то другом.

– Вы отменно умеете лазать, – сказала она наконец. – Помните, однажды вы взобрались ко мне на чердак? Щуквол кивнул.

– И вы взобрались по стене библиотеки, когда она горела. Теперь кажется, что это было так давно!

– И я помню, если мне позволено будет это напомнить, как однажды в грозу я карабкался по камням, держа вас, госпожа Фуксия, в руках.

Казалось, весь воздух в комнате вдруг исчез – такая воцарилась в ней мертвенная, безвоздушная тишина. Щукволу показалось, что щеки Фуксии едва заметно зарделись.

Наконец он сказал:

– Госпожа Фуксия, я надеюсь, когда-нибудь вы согласитесь отправиться в экспедицию по крышам вашего огромного дома. Я бы хотел показать вам, что мне удалось найти на южной стороне. Там, где гранитные башни и купола поросли мхом столь обильно, что рука погружается в него по локоть.

– Да, – проговорила Фуксия – да...

Это бледное лицо с его резкими чертами отталкивало ее. Но жизненная сила этого человека и окружавший его ореол таинственности привлекали.

Девушка уже было собралась попросить его уйти, когда Щуквол вскочил на ноги – еще до того, как она успела открыть рот – и выпрыгнул в окно, не коснувшись ни рамы, ни подоконника; теперь он раскачивался на дергающейся веревке. И через мгновение уже карабкался вверх, подтягивая себя одной, потом другой рукой. Ему предстояло карабкаться высоко, к полуразрушенной крыше.

* * *

Когда Фуксия отошла от окна, она увидела, что на ее грубо сколоченном комодe лежит одинокий бутон розы.

Взбираясь по веревке вверх, Щуквол вспоминал, как после рождения Тита, семь лет тому назад окончилось его, Щуквола, рабское служение в кухне Потпуза и началось восхождение к крышам Горменгаста. Мускульные усилия, которые требовались от Щуквола, чтобы лезть вверх по веревке, заставляли его еще больше сутулиться. Но он был поразительно, чуть ли не сверхъестественно, ловок, он обладал не только большой умственной силой, но и физической выносливостью и смелостью. Его пронизательные, близко посаженные глаза впивались взглядом в то место, где была привязана его веревка – казалось, оно было высшей точкой его устремлений.

Небо нахмурилось, потемнело, поднялся резкий ветер, принесший дождь. Дождь шипел и хлестал камень Замка. Вода находила сотни, тысячи путей, чтобы низвергаться вниз. Вентиляционные шахты, дымоходы, отверстия для циркуляции воздуха закашлялись гулким эхом, огромные водяные трубы и стоки, выдолбленные в камне, недовольно заворчали. На крышах образовались озера, в которых отражались небеса; казалось, эти озера были там всегда – как озера в горах.

Выбравшись наверх, Щуквол отвязал веревку, аккуратно скрутил ее вокруг себя и бросился бежать по бесконечным наклонным плоскостям черепичных крыш. Он двигался как тень; его воротник был поднят, лицо его дождь одел в водяную бороду.

Высокие мрачные стены, похожие на стены дамб или тюремных башен, в которых томятся осужденные на смерть, вздымались в воздух, насыщенный влагой, изгибаясь уходили вдаль. Везде камень, бессердечный камень. На неровных, зазубренных вершинах Горменгаста, теряющихся в проносящихся облаках, безумно развевались космы волос – то были растения, похожие на водоросли, вырастающие на камне. Подобно остовам гниющих кораблей или телам чудовищ, потерявшим возможность двигаться, чьи пасти и черепа заливала вода и чьи силуэты казались прихотливой игрой тысяч бурь, пронесшихся здесь, – над головой Щуквола возвышались опоры стен, аркбутаны и те каменные громады, которым уже не было названия. Крыши, располагавшиеся под всеми возможными и невозможными углами, разбегались перед его глазами в разные стороны. Сквозь завесу дождя смутно просвечивали под ним ряды опускающихся террас; на растрескавшихся плитах, которыми они были вымощены, с шипеньем плясал ливень.

Сквозь этот мир застывших каменных форм Щуквол двигался быстро, без остановок. Ловкий как кошка, он уверенно поворачивал то в одну, то в другую сторону и замедлял шаг только тогда, когда приходилось бежать по слишком уж узкому и опасному месту. Время от времени Щуквол на бегу неожиданно, словно от избытка жизненной энергии, подпрыгивал в воздух. Обойдя очередную печную трубу на очередной крыше, он безо всякой видимой причины перешел на размеренный шаг, нырнул под арку, заросшую диким виноградом, с листьев которого капала вода; здесь он опустился на колени и стал поднимать раму давно забытого застекленного потолка над одной из бесчисленных комнат Горменгаста. Рама, проскрипев петлями, поднялась, Щуквол спрыгнул вниз и, пролетев метра четыре, приземлился на полу. В комнате было очень темно. Щуквол размотал веревку, его обвивавшую, затем скрутил снова и аккуратно повесил на гвоздь торчащий в стене. Когда глаза привыкли к темноте, Щуквол по привычке огляделся. Вдоль всех стен стояли застекленные музейные шкафы, в которых были выставлены тысячи и тысячи различных мотыльков и ночных бабочек. Каждая бабочка была приколотая длинной тонкой булавкой к пробковому основанию, выстилавшему каждую коробку, тот, кто собирал, а затем и выставлял мотыльков таким образом, проявлял, должно быть,

большую осторожность и аккуратность, дабы не повредить нежные и хрупкие создания. Однако время неумолимо приносило свои разрушения – не было уже ни одной коробки, в которой все экспонаты оставались бы в полной сохранности, и нижняя сторона большинства коробок была усыпана опавшими крылышками.

Щуквол подошел к двери, постоял, прислушиваясь, затем отворил ее. Перед ним открылась покрытая пылью лестничная площадка. Но ступенек, ведущих вниз, не было – вместо них к площадке была прислонена стремянка. Щуквол спустился в нижнюю комнату, такую же темную и заброшенную, как и предыдущая. Комната была пуста, за исключением пирамидальной кучи книг, поеденных мышами, обитавших внутри книжной пирамиды. В этой комнате двери не было, но в одной стене было отверстие, завешенное куском провисающей мешковины, трещина была достаточно широкой, чтобы в нее смог протиснуться Щуквол – что он и сделал, двигаясь боком. Из щели он снова попал на лестницу, которая привела его в длинное помещение, похожее на галерею. В ее дальнем конце стояло чучело оленя, сверху побелевшее от пыли.

Проходя по галерее, Щуквол сквозь окно, в котором не было стекла, краем глаза увидел мрачный силуэт Горменгаста, возвышающегося как гора, его шпили мокро блестели на фоне быстро несущихся туч. В окно проникал дождь, и капельки, падая на половицы пола, катались в пыли, словно шарики ртути.

Подойдя к двойной двери, Щуквол пригладил рукой мокрые волосы, с которых еще капала вода, опустил поднятый воротник; затем вышел через дверь в коридор, повернул налево и, пройдя по еще одному коридору, добрался до лестничного марша.

Перегнувшись через перила, он посмотрел вниз и тут же отпрянул – внизу, по освещенной лампами комнате, проходила Графиня Стон. Казалось, она бредет, по колени погрузившись в белую пену. Пустое пространство позади Щуквола тихо загудело глухим пульсирующим эхом – звук поднимался снизу, производимый неисчислимым множеством кошек. Они двигались подобно белому приливу, прорывающемуся сквозь вход в пещеру, а в центре белых волн располагалась скала, увенчанная красными водорослями, которая двигалась вместе с ними.

Шум замер, замерло и эхо. Наступила тишина – как натянутое полотно. Щуквол быстро спустился вниз по лестнице и двинулся в восточном направлении.

Графиня шла со слегка опущенной головой, нахмуренным челом, оперев руки в бедра. Она была недовольна тем, что в Замке теперь не всегда строго придерживались священного чувства долга и не соблюдались правила, установленные с незапамятных времен. Хотя со стороны Гертруда казалась отрешенной и постоянно погруженной в себя, однако она очень быстро и ясно, каким-то змеиным чутьем, распознавала опасность, хотя и не могла определить, откуда эта опасность исходила. Она была полна подозрений, настороженности, ей хотелось сразиться – но вот с кем или с чем?

Графиня в который раз перебирала в памяти все то, что касалось непонятно как разразившегося пожара в библиотеке ее покойного мужа, его таинственного исчезновения и пропажи шеф-повара. Она чуть ли не впервые пустила в дело не востребуемые ресурсы своего мощного ума, дарованного ей от рождения. Но ум ее, который так давно усыпили своим мурлыканьем кошки, просыпался с трудом.

Графиня направлялась в дом Доктора. Она не посещала его вот уже несколько лет; в последний раз она обратилась к нему с просьбой осмотреть дикого лебедя, который, по всей видимости, сломал крыло. Этот Доктор всегда вызывал в ней раздражение, но несмотря на это, она чувствовала странную уверенность в нем.

Когда она спускалась по длинной каменной лестнице, белое бурление вокруг ее ног

превратилось в водопад, медленными каскадами стекающий вниз. Спустившись, Графиня остановилась.

– Держитесь, все. вместе... Держитесь... все... вместе... – медленно произнесла Графиня. Слова, произнесенные со значительными промежутками, казались большими камнями, брошенными в ручей вместо мостика. Несмотря на то, что голос ее был глубок и несколько хрипловат, в нем было нечто детское.

Кошки разбежались. Ноги Графини, уже не окруженные белой пеной, твердо стояли на земле. В стекла и свинцовые переплеты окна стучал дождь. Графиня медленно подошла к двери и открыла ее. Сквозь аркаду она увидела дом Доктора, расположенный на противоположной стороне квадратного внутреннего двора. Графиня двинулась по направлению к дому, не обращая внимания на сильный ливень; шла она размеренной, уверенной поступью, с высоко поднятой головой.

Глава шестая

Хламслив сидел у себя в кабинете. Он называл эту комнату “кабинетом”, а для его сестры Ирмы это была просто комната, в которой ее брат запирался всякий раз, когда ей нужно было сказать ему нечто важное. Когда он удалялся в свой «кабинет», запирали дверь на ключ, замыкал ее на цепочку, закрывал ставни на окнах, проникнуть к нему уже было невозможно и Ирме не оставалось ничего другого, как стучать изо всех сил в дверь.

В этот вечер Ирма была особенно невыносима. Почему, ну почему, повторяла она снова и снова, она не может общаться, познакомиться с тем, кто по достоинству оценил бы ее и восхищался бы ею? Она вовсе не требовала бы, чтобы этот гипотетический воздыхатель и почитатель посвящал ей всю свою жизнь, ибо любой мужчина должен работать – разве не так (если, конечно, работа не будет отнимать слишком много времени)? Но если он был бы достаточно состоятельным и желал бы посвятить свою жизнь ей – ну что ж, она, конечно, не давала бы никаких особых обещаний, но, несомненно, обдумала бы это предложение, рассмотрев его со всех сторон. У нее длинная – без всяких недостатков и пятен – шея, у нее плоская грудь, это правда, и плоскостопием она страдает, но в конце концов – разве может женщина иметь сразу все? «Ведь я хорошо двигаюсь, у меня красивые движения, правда, Альфред, – восклицала она с неожиданной страстностью, – ну правда у меня красивые движения?»

Ее брат, подперев голову длинной белой рукой, сидел за столом и рисовал на скатерти скелет страуса. Он поднял глаза, рот на его длинном розовом лице открылся то ли в улыбке, то ли в зевоте, сверкнуло множество зубов. Рот закрылся, и, взглянув на Ирму, он в тысячный раз подумал ну почему случилось так, что у него на шее такая сестра? Поскольку эта мысль приходила ему в голову столь много раз, обдумывание длилось всего несколько печальных секунд. Но за эти секунды он успел отметить про себя – в который раз! – полный идиотизм ее тонкогубого (точнее, безгубого) рта, дряблую, подергивающуюся кожу под глазами, ее блеющий голос, едва прорывающийся сквозь рычащие в ней комплексы, гладкий, пустой лоб (грубые серо-стальные волосы, в изобилии покрывающие череп, были гладко зачесаны назад и собраны в узел, твердый как камень). О, этот лоб, как гладко оштукатуренный фасад пустого дома, где никто не живет, кроме птицеподобной хозяйки, которая скачет по пыльному полу и чистит перышки перед потемневшим зеркалом!

«Боже, Боже, – думал Хламслив, – ну почему, почему из всех людей на этом свете мне, не запятнанному никаким преступлением, досталась в наказание такая сестра? В наказание за что?»

Доктор снова обнажил зубы в улыбке, которая в этот раз уже ничем не напоминала зевок. Его челюсти раскрылись как у крокодила. Как в человеческом рту могли расти такие ужасные и слепящие своим блеском зубы? Этот рот был отменно-новеньким кладбищем но, Боже, каким анонимным! Ни единого надгробного камня, на котором было бы вырезано имя усопшего! Разве эти безымянные зубные трупы, на могилах которых не было даже дат смерти, пали в битве? Их надгробные камни сверкали на солнце, когда челюсти открывались, а когда ночью они оставались плотно сомкнутыми, камни эти терлись друг о друга, перетирая, как жернова, быстротечное время. Да, Хламслив улыбнулся. Ибо он нашел облегчение в мысли, что можно вообразить и более страшные вещи, чем сестру, сидящую – выражаясь фигурально – у него на шее, а что если бы она сидела у него на шее в прямом смысле? О ужас! Он представил себе с полной ясностью, как она сидит в седле у него на спине, ее плоскостопые ноги – в стременах, ее пятки бьют его по бокам. А он, опустившись на четвереньки, с уздечкой во рту носится вокруг

стола, Ирма стегает его плеткой по крупу вот так он и несется галопом по своей несчастной жизни!

– Альфред, когда я задаю тебе вопрос... Альфред, ты меня слышишь? Когда я задаю тебе вопрос, Альфред, мне бы хотелось думать, что ты проявишь достаточно вежливости – даже несмотря на то, что ты мой брат, – и ответишь на него, а не будешь сидеть и ухмыляться своим мыслям!

Вот как раз ухмыляться Хламслив – как это ни странно – не мог бы. Его лицо было устроено таким образом, что это у него просто не получилось бы.

– О сестра моя, – сказал он, – как ты верно подметила, вот сидит твой брат – я надеюсь, ты простишь это обстоятельство – он вникает, не дыша, твоему ответу на его вопрос. Дело обстоит таким образом, голубушка, что же ты ему сказала? Ибо он совершенно забыл, что было спрошено и не мог бы вспомнить, даже если бы от этого зависела его жизнь, даже если бы его принудили жить с тобой в одном доме, с тобой, его персиком, только с тобой!

Ирма всегда слушала только первые пару слов, которые произносил ее брат, и поэтому все словесные выкрутасы и большая часть оскорблений проходили мимо ее ушей. Эти оскорбления, сами по себе не злобные, давали Доктору возможность развлечься словесной игрой – без этого ему пришлось бы сидеть взаперти у себя в кабинете безвылазно почти все время. Да и кабинетом эту комнату с полным правом нельзя было бы назвать, ибо хотя вдоль стен стояли шкафы, полные книг, в ней, кроме очень удобного кресла и очень красивого ковра, ничего больше не было. Не было письменного стола, не было писчей бумаги, не было ручек, не было чернил. Не было даже мусорной корзины.

– Так что же ты спросила меня, плоть от плоти моей? Я сделаю для тебя все, что будет в моих силах.

– Я говорила, Альфред, что во мне есть определенный шарм, определенная грация, определенный ум. Почему моего общества не ищут мужчины? Почему за мной никто не ухаживает? Почему мне никто не делает никаких предложений?

– Ты имеешь в виду – финансовых предложений? – спросил Доктор.

– Я имею в виду духовное общение, Альфред, и ты это прекрасно знаешь. Что есть у других такого, чего нет у меня?

– Или, с другой стороны, – сказал Хламслив, – чего у них нет, что есть у тебя?

– Я тебя не понимаю, Альфред... Альфред! Я сказала, что не могу уследить за ходом твоей мысли!

– Ты никогда не можешь уследить, – ответил брат, растопыривая руки и быстро шевеля пальцами. – И было бы замечательно, если бы ты прекратила это.

– А то, как я двигаюсь, Альфред? То, как я держу себя? Неужели ты не видишь, Альфред? Ты же мужчина, в конце концов! Неужели ты не видишь, как грациозно я двигаюсь?

– Может быть, мы слишком духовны, – сказал Доктор Хламслив.

– Но моя осанка, Альфред, моя осанка!

– Ты слишком тяжела, мой сладостный яичный белок! Слишком тяжела! Ты слишком раскачиваешься из стороны в сторону, когда идешь по дороге этой гадкой жизни! Слишком сильно размахиваешь своими бедрами при ходьбе! Нет, дорогая, нет – то, как ты двигаешься, всех распугивает, вот что я тебе скажу. Ты всех пугаешь своим видом, Ирма!

Этого она уже стерпеть не могла.

– Ты никогда не верил в меня, – вскричала она, вскакивая из-за стола, краска залила ее лицо – так что, казалось, ее безукоризненная кожа вот-вот вспыхнет настоящим огнем. – Но вот что я скажу тебе, – ее голос сорвался на визг, – я благородная женщина! Неужели ты думаешь, что я действительно хочу иметь какие-то отношения с мужчинами? Это же животные! Я ненавижу

их! Слепые, безмозглые, грубые, отвратительные, толстокожие, вульгарные создания! Вот что такое мужчины! А ты один из них! – вопила Ирма, показывая пальцем на брата, который, слегка приподняв брови, продолжал рисовать скелет страуса. – Ты один из них! Ты слышишь, Альфред, один из них!

На ее вопли прибежал слуга. И весьма опрометчиво открыл дверь; у него для прикрытия был приготовлен вопрос, не вызывали ли его (слугу вызывали колокольчиком), но на самом деле ему просто хотелось посмотреть, что же происходит в комнате хозяев.

Горло Ирмы вибрировало как тетива лука, после того как спущена стрела.

– Какое отношение благородные женщины могут иметь к мужчинам? – продолжала визжать Ирма. Но увидев вдруг лицо слуги, заглядывающего в дверь, она схватила со стола нож и швырнула его в любопытствующую физиономию. Однако бросок у нее получился далеко не прицельный, возможно, потому, что она слишком глубоко вошла в роль благородной женщины. И нож, почему-то взлетев вверх, вонзился в потолок прямо над ее головой; рукоятка его колебалась в том же ритме, в котором дрожало горло Ирмы.

Доктор, тщательно дорисовав последний позвонок в хвосте скелета страуса, медленно поднял голову и посмотрел на слугу, стоявшего в дверях и зачаровано, с открытым ртом, смотрящего на трепещущий нож.

– Не будешь ли ты так любезен, мой дорогой, переместить свое ненужное здесь тело из дверей этой комнаты на кухню, – сказал Хламслив своим высоким, мечтательным голосом. – И держи это тело там, на кухне, где, насколько мне известно, этому телу платят за то, что оно выполняет разные функции среди кастрюль. Будь добр, соверши этот акт перемещения, ибо никто не звонил и не вызывал тебя. Хотя голос твоей хозяйки действительно довольно высок по тону, но все же ему не сравниться со звоном колокольчика, совершенно не сравниться... Лицо слуги исчезло, дверь закрылась.

– И даже больше того, – вскричала Ирма голосом, полным отчаяния, – он уже больше не приходит повидать меня! Не приходит! Не приходит!

А в потолке, прямо над Ирмой, подрагивал нож. Доктор поднялся из-за стола. Он знал, что Ирма имеет в виду Щуквола, если бы не он, Ирма, возможно, никогда бы не испытала тех волнующих, но, увы, не находящихся иного выхода нежных чувств, которые расцвели в ней с тех пор, как этот молодой человек выпустил первые стрелы лести в ее слишком чувствительное сердце.

Хламслив вытер губы салфеткой, стряхнул с брюк крошку и выпрямил свою длинную, узкую спину.

– Я спою тебе песенку, – сказал он, – Я сочинил ее вчера, когда принимал ванну. Ха-ха-ха! Такая забавная маленькая песенка, эдакий маленький курьез.

Хламслив стал передвигаться вокруг стола, вытянув руки и сцепив свои элегантные белые пальцы.

– А песенка, как мне помнится, вот такая... Но поняв, что Ирма сейчас все равно его не услышит, он взял бокал с вином, стоявший рядом с ее тарелкой, и сказал:

– Тебе нужно выпить немного вина, Ирма, немного вина перед сном – это тебе сейчас совсем не помешает. Ведь ты, моя дорогая спазмирующая сестричка, отправляешься прямо сейчас в постельку, в страну Сновидений – я правильно говорю, ха-ха-ха? – в которой ты будешь пребывать всю ночь, ощущая себя женщиной голубых кровей.

Быстро и незаметно, как настоящий фокусник, он выхватил из кармана маленькую коробочку, раскрыл ее и бросил в бокал таблетку. Затем долил вина из графина и вручил бокал Ирме с подчеркнутой, избыточной грациозностью, которая редко покидала его.

– Я тоже выпью вина. Мы выпьем друг за друга!

Ирма, обмякнув, сидела на стуле, прикрыв свое гладкое, как полированный мрамор, лицо, при этом черные очки, которые она носила, чтобы защищать глаза от света, съехали на сторону и зависли под заливчатским углом.

– Пей, пей побыстрее, а то я забуду то, что обещал тебе исполнить, – воскликнул Доктор, стоя рядом с сестрой; он был высок, строен, совершенно прям; на его целлулоидном лице читались чувствительность и ум; голова была наклонена набок, как у птички.

– Сначала глоток этого великолепного вина, полученного с виноградника, разбитого на склоне задумчивого холма – я вижу его так, словно он находится у меня прямо перед глазами. А ты, Ирма, видишь ли ты его? Вон крестьяне, которые трудятся в поте лица своего под лучами горячего солнца. Они не разгибают спины, и все почему? Да потому, что у них нет иного выбора, Ирма. Они отчаянно бедны! Виноградарь, как нежный и любящий муж, гладит своей мозолистой рукой виноградные листья, шепчет что-то. И что же он шепчет? О чем взывает? «О маленькие виноградинки, растите, созревайте, дайте хорошего вина – Ирма с нетерпением ждет его!» И вот вино у нас на столе! Вот, прямо перед нами – ха-ха-ха! Отменного вкуса и цвета, прохладное, налитое в бокал из резного стекла! Откинь головку, открой мышеловку, сделай глоток, ну совсем чуток, испей, царица, надутая девица!..

Ирма отняла от лица руки, слегка распрямилась. Она не услышала ни одного из обращенных к ней слов – она пребывала в своем маленьком аду, куда ввергло ее унижение. Она подняла глаза и взглянула на нож, торчащий в потолке. Ее безгубый рот шевельнулся, словно его свело, но она взяла протянутый бокал.

Хламслив слегка коснулся краем своего бокала о край ее, поднял его приветствующим жестом и выпил. Ирма бессознательно повторила его движение и тоже выпила вино.

– А теперь вернемся к моей песенке, которую я сочинил так, между прочим, как я делаю и все остальное... Как же она начиналась?

Хламслив знал, что когда он доберется до третьего куплета, мощное, не имеющее вкуса снотворное уже начнет действовать. Он сел на пол у ног сестры и, подавив в себе отвращение, погладил ее руку.

– О царица-императрица, – проговорил он, – взгляни на меня, если сможешь, конечно. Взгляни на меня сквозь свои полуночные очки. Надеюсь, зрелище для человека, взрослого на ужасах, не будет слишком страшным... А теперь слушай...

А глаза Ирмы уже начинали закрываться.

– Насколько я помню, песенка получилась такая. Я назвал ее «Песнь о Косточках Козы».

Пожонглируй ловко костями,
Поиграй на костях для меня,
Увы, не поведешь ты больше ушами,
Нет в тебе жизни огня.

Не бежать тебе больше по полю,
Не вдыхать тебе запах цветов,
Молчаливо поют про горькую долю
Белесые кости твои и блеск черепов...

Ирма сонно кивнула головой.

Сломан хребет бурей ненастья,

Разбросаны кости, шкура сгнила,
Уж в прошлое канули жизни напасти,
Отмыли дожди скелет добела.

И чудо случилось, восстала коза,
Восстала из мертвых, как Лазарь – жива!
Собралися кости, открылись глаза,
Но вымя не выросло, не жуется трава.

Кто плоть восстановит, кто даст...

Тут Доктор, позабыв, что же следовало дальше, взглянул на свою сестру – она крепко спала. Доктор позвонил в колокольчик.

– Позвать горничную хозяйки; нужны носилки; привести пару человек, нести, – сказал Хламслив, увидев, что в дверях появилось чье-то лицо – И быстро.

Лицо исчезло.

После того, как Ирму уложили в постель, прикрутили фитиль лампы у ее изголовья и в дом вплыла тишина, Доктор отпер дверь в свой кабинет, вошел и погрузился в кресло. Его локти, которые выглядели такими хрупкими, что, казалось, вот-вот рассыпятся, лежали на подлокотниках; тонкие сплетенные пальцы поддерживали вытянутый подбородок; голова была опущена. Просидев так некоторое время, он снял очки и положил их на ручку кресла. Затем, снова сцепив пальцы и опустив на эту хрупкую подпорку подбородок, он закрыл глаза и тихо вздохнул.

Глава седьмая

Но Доктору Хламсливу было уготовано всего несколько мгновений уединенного отдохновения – за окном раздалась шаги. Ясно было, что шел только один человек, но тяжелая и уверенная поступь вызвала в его воображении целую армию солдат,двигающихся в полном согласии, шаг в шаг. Это был пугающий, размеренный топот. Дождь несколько поутих, и звук каждого шага этой грозной поступи был слышен с удивительной и пугающей ясностью.

И поступь эту Хламслив мог бы узнать и среди миллиона других шагов. Но в тиши вечера воображение унесло его к той призрачной армии, которую представил себе его смятенный ум. Отчего от звуков этих шагов, размеренных, как тиканье огромных часов, сердце сжалось, а горло и рот свело, словно он подумал о разрезанном и истекающем соком лимоне? Отчего в глазах стали собираться слезы, а сердце тяжело стучало?

Но времени размышлять уже не было, и он изгнал седую прядь, мочалой свисающую со лба, а шагающую армию из головы.

Подбежав ко входной двери и сделав тем самым присутствие слуг излишним, он открыл ее, лишив одновременно массивную фигуру, стоящую перед дверью, возможности нанести по створкам сильный удар – что она уже и собиралась сделать.

– Госпожа Графиня, приветствую Вас в своем доме, – сказал Хламслив, слегка поклонившись, не изгибая спины и сверкнув зубами. Сам он при этом подумал: во имя всего несправедного, что привело Графиню к нему в такое позднее время? Насколько ему было известно, она никого не посещала ни днем, ни ночью. Таково было одно из ее правил. И тем не менее – вот она, перед его дверью.

– Придержите лошадей, – отозвалась Графиня тяжелым, но не громким голосом.

Одна из бровей Хламслива взлетела вверх. Весьма странное приветствие! Можно было подумать, что он собирается обнять ее! Одна мысль об этом привела его в ужас.

Но когда Графиня сказала «Теперь вы можете войти!» – его вторая бровь не только взобралась на лоб, но и сделала это с такой быстротой, что заставила первую, уже расположившуюся там, вздрогнуть.

Получить приглашение войти, когда он и так находился внутри дома, было по меньшей мере странным, но получить разрешение войти в свой собственный дом было просто смехотворно.

Нелепость ситуации усугублялась неспешной, тяжелой, спокойной властностью, прозвучавшей в голосе Графини. Она вошла в прихожую.

– Я желаю побеседовать с вами, – сказала Графиня, однако взгляд ее при этом был направлен не на Хламслива, а на дверь, которую он закрывал. Когда дверь уже почти закрылась, и ночь была бы заперта снаружи, и замок бы щелкнул, Графиня воскликнула, уже более громко: – Остановитесь и придержите крепко дверь!

Затем, сложив свои большие губы, как ребенок, она сделала выдох, превратившийся в свист особой нежности. Как такой ласковый и печальный звук мог быть произведен таким дебелим созданием?

На лице Доктора, повернувшегося к Графине, был написан удивленный вопрос, хотя зубы по-прежнему сверкали весело. Но, поворачиваясь, он успел краем глаза увидеть нечто белое. И движущееся.

Внизу, у самого пола, Доктор Хламслив увидел круглое лицо, круглое как полная луна и мягкое как мех. И в этом ничего удивительного не было, ибо это лицо было мордочкой, покрытой шерстью, в полумраке прихожей казавшейся особенно белой. Едва Хламслив успел

осознать, что перед ним кошка, как появилась вторая мордочка, а за ней, как молчаливая смерть, третья, а затем и четвертая, пятая... Одна за другой кошки проследовали в прихожую, причем двигались они настолько плотно друг за другом, голова к хвосту, что казались чем-то единым, неразрывным, – белым шлейфом, тянувшимся за Графиней.

Хламслив, наблюдая за кольшущимся потоком, втекающим в придерживаемую дверь и протекающим мимо его ног, почувствовал, что у него немного закружилась голова. Будет этому когда-нибудь конец? Прошло не менее двух минут с того момента, когда появилась первая кошка.

Хламслив повернул голову и посмотрел на Графиню. Она стояла посреди потока белой пены, который оборачивался вокруг нее кругами, как веревка, а сама она вздымалась, как маяк. При тусклом свете лампы в прихожей ее рыжие волосы, казалось, сами стали излучать мрачное сияние.

Хламслив теперь совершенно успокоился, ибо в первый момент был задет и раздражен не появлением кошек, а непонятными приказаниями Графини. Теперь же ему стал ясен их смысл. И все же как странно – обратиться к этому великому множеству кошек с приказом «придержаться лошадей»!

Эта мысль снова привела в движение его брови, которые, пока он стоял и дожидался момента, когда сможет закрыть дверь, неохотно опустились, а теперь, словно повинувшись сигналу стартового пистолета, снова стремительно прыгнули вверх, как будто прибежавшую первой ожидал приз.

– Мы. все... уже... здесь... – сказала Графиня. Хламслив взглянул на дверь и увидел, что поток иссяк. И тогда закрыл дверь.

– Как восхитительно, как восхитительно! – заливался соловьем Хламслив, стоя на цыпочках и размахивая руками как крыльями, словно собирался взлететь. – Как замечательно, как замечательно, что вы, госпожа Графиня, нашли возможным посетить мой дом! Дом такого аскета, как я! Бог видит, какой я аскет! А вы вырвали старого отшельника из его скучных раздумий, ха-ха-ха-ха-ха-ха! И вот вы, как вы выразились, все здесь. Надеюсь, никаких сомнений по этому поводу не возникает? Как мы великолепно проведем время! Мяу-зыкальный вечер и все прочее, ха-ха-ха-ха-ха!

От почти невыносимо высокого тона его смеха в прихожей воцарилась полная тишина. Все кошки, усевшись на задние лапки и высоко подняв головы, внимательно смотрели на Доктора своими круглыми глазами.

– О, о, извините, что я не сразу пригласил вас пройти дальше в дом, – воскликнул Хламслив, – и заставил дожидаться здесь, в прихожей, словно вы какая-нибудь христарадница или калика переходящая с выводком детей, просящая вернуть одному из своих отпрысков, усыхающему от сглаза, человечье обличье? Нет и еще раз нет, и это ясно с первого взгляда всякому, кто имеет глаза. И посему негоже вам пребывать в этой холодной, в этой сырой, в этой зловонной преисподней, которая служит мне прихожей! Да к тому же дождевая вода все еще скатывается с вас водопадами, и... и поэтому... и поэтому, если вы позволите мне проводить вас... – Хламслив взмахнул своей длинной тонкой и изящной рукой; при этом его белая ладонь встрепенулась, как шелковый флаг на ветру. – Я раскрою все двери, зажгу лампы, стряхну со скатерти крошки, подготовлю все к достойному приему... На какое время вы его назначите?

И Хламслив направился к гостиной своей странной походкой, дергая ногами в разные стороны.

Графиня последовала за ним. Слуги уже успели убрать со стола посуду, оставшуюся после ужина, привели комнату в порядок, и она приобрела такой умиротворенный вид, что трудно было поверить, что это та самая комната, в которой Ирма всего лишь час назад вела себя столь

предосудительно.

Хламслив широким жестом с грохотом распахнул перед Графиней дверь в столовую. Толчок был столь силен, словно Доктор хотел продемонстрировать, сколь мало его заботит возможность того, что дверь сломается, или слетит с петель, или от сотрясения обвалится штукатурка, или упадет картина со стены – ну и что, подумаешь! Это был его дом, и в своем доме он волен вести себя так, как ему заблагорассудится. Если он подвергает риску разрушения свою собственность – это его личное дело! В честь визита Графини можно позволить себе широкие жесты, а беспокойство о сохранности своего имущества свойственно лишь низким и вульгарным людям.

Графиня прошествовала к центру комнаты и там остановилась. Огляделась, однако не присматриваясь, и непонятно было, увидела ли она все эти длинные лимонно-желтые занавеси, резную мебель, темно-зеленый ковер на полу, столовое серебро в буфете, керамику, бледные обои в серую полоску. Возможно, в эти мгновения она думала о своей спальне, в которой стоял густой запах свечей и царил хаос, наполненный птицами и полутьмой; но лицо у нее при этом ничего особого не выражало.

– Скажите... все... ваши... комнаты... похожи... на... эту? – пробормотала Графиня, усаживаясь в кресло.

– Ну, дайте подумать, – сказал Хламслив. – Нет, не совсем такие же, госпожа Графиня, не совсем.

– И. судя... по всему... они... все. чистые и... прибранные? Это... так?

– Ну, насколько мне известно, это так. Более того, я почти уверен, что это так. Видите ли, за год в своем доме я посещаю не более пяти-шести комнат, но если судить по тому, что кругом постоянно шныряют слуги с тряпками и щетками, гремят ведрами, что-то вытряхивают, а за ними шныряет моя сестра Ирма и проверяет, делается ли все как нужно, вытряхивается ли то, что нужно, кладется ли вытряхнутое на нужное место, – то остается мало сомнений в том, что все здесь доведено до полной стерильности. Кругом ни одного пятнышка, ни один микроб не в состоянии выжить в таких условиях.

– Понятно, – сказала Графиня. Удивительно, насколько осуждающе может прозвучать одно, такое простое слово. – Но я пришла поговорить с вами...

Несколько секунд она задумчиво глядела на Хламслива. Кошки, заполнившие все пространство комнаты, сидели не шевелясь – не дрожал ни один усик. Каминная полка была уставлена ими, как фарфором; стол был покрыт ими как очень толстым белым покрывалом. Диван превратился в белый сугроб. Пол был застелен белым ковром с орнаментом из глаз.

Голова госпожи Графини – которая всегда казалась больше, чем положено быть любой, самой большой человеческой голове, – была повернута в сторону от Доктора и слегка наклонена, так что видна была ее мощная, несколько напрягшаяся шея. Ее профиль почти полностью скрывался от Доктора массивной щекой; ее волосы в своей основной массе были подобраны вверх, они поднимались рядами рыжих гнезд; остальные же, цвета догорающих углей, падали змееобразными извивами ей на плечи, и, казалось, при этом шипели.

Доктор крутанулся на месте на своих узких ступнях и со стуком распахнул дверцу полированного буфета. Потом, откинув густую седую прядь со лба, сложил особым образом свои длинные белые руки и подпер ими подбородок. Обнажив зубы в улыбке, сверкнул ими в сторону Графини (которая по-прежнему позволяла ему созерцать свое плечо, часть шеи и приблизительно восьмую часть лица) и, подняв кверху брови, спросил:

– Госпожа Графиня, то, что вы решили навестить меня и обсудить какой-то интересующий вас предмет – для меня большая честь. Но сначала позвольте узнать, что вы хотели бы выпить.

Доктор, распахнув дверцы буфета, явил миру большой выбор редких и тщательнейшим

образом отобранных в его винном погребе вин.

Графиня повернула голову в сторону Доктора:

– Будьте любезны, кувшин козьего молока, Хламслив.

Все в Докторе, что любило красоту, избранность, тонкость и качественность – Доктор был большим ценителем всего перечисленного и многого другого, – сжалось, как сжимаются при грубом прикосновении усики улитки, и умерло. Его рука, протянутая к одной из бутылок, в которой был спрятан солнечный свет давно исчезнувшего виноградника, на секунду замерла в воздухе, но потом продолжила свое движение. Однако двигалась она теперь взад-вперед, как трепещущее крыло; казалось, Доктор дирижировал каким-то крошечным оркестром, спрятанным в буфете, Хламслив прекратил взмахивать рукой, повернулся к Графине. Внешне он сохранял полное самообладание. Он поклонился, его зубы сверкнули. Затем позвонил в колокольчик и, когда в двери появилось лицо, сказал:

– У нас имеется коза? Ну, отвечай же, отвечай, милейший! Да или нет? Имеется у нас в доме коза или таковой не имеется?

Человек ответил: он совершенно уверен, что означенного животного в доме не имеется.

– В таком случае разьщи, будь так добр, козу. И немедленно. Требуется коза. Все.

Графиня села на стул, широко расставив ноги и опустив меж колен свои тяжелые руки, покрытые веснушками. Наступило молчание, и даже Хламслив не нашелся, чем его заполнить. Это молчание наконец было нарушено Графиней:

– Почему у вас в потолке торчат ножи?

Доктор, переступив с ноги на ногу, взглянул вверх, туда, куда бесстрастным взглядом смотрела Графиня. Взгляд упирался в длинный нож для резки хлеба, который, казалось, заполнил собой вдруг всю комнату. Нож, лежащий на разделочной доске, на подушке или под стулом – это одно дело, но нож, окруженный белой пустыней потолка, ничем не прикрытый, – это уже совсем другое дело. Он выглядел там столь же неуместно, как и свинья в соборе.

Но для Доктора важно было найти любую, неважно какую, тему для разговора – его пугало лишь отсутствие ее, что случалось с ним крайне редко.

– О, этот нож, госпожа Графиня, – сказал он, взглянув на инструмент с видом величайшего уважения, – хотя это всего лишь нож для нарезания хлеба, у него замечательная история. Да, госпожа Графиня, это именно так.

Он перевел взгляд на свою гостью. Она терпеливо ждала его пояснений.

– Такой невзрачный, внешне лишенный всякой романтики, грубой формы, этот нож тем не менее многое для меня значит. Это суцая правда, мадам, это действительно так, хотя я и совсем не сентиментален. Но почему, вы можете спросить? Почему? Позвольте вам рассказать.

Он сцепил руки вместе и поднял вверх свои узкие и элегантные плечи.

– Именно этим ножом я произвел первую в своей жизни операцию. И весьма успешно... Я был в горах. О, эти вздымающиеся громады! В них есть своеобычность, свой нрав, но никакого шарма. Я был один, если не считать моего верного мула. И я не знал пути – мы сбились с дороги. Над головой пролетел метеор. Но как он мог бы нам помочь? Он просто раздражил нас своим появлением. Но на какое-то мгновение он высветил проход, почти заросший растениями, предвещающими близость малярийного болота. Ясно было, что в ту сторону идти не следовало. Мы наверняка снова оказались бы в болотистой местности. А мы уже потратили полдня на то, чтобы выбраться с невероятным трудом из другого болота... Как неизящно у меня складывается рассказ, какие корявые предложения, вы не находите, госпожа Графиня? Ха-ха-ха-ха-ха!.. Так на чем я остановился? Ах, да! Мы погружены в темноту. До ближайшего жилья – много миль. И что же происходит дальше? Исключительно странная вещь. Я понукаю своего мула палкой – все это время я не слезил с этого животного, – и вдруг он издает крик, как страдающее дитя, и

начинает падать. Рухнув наземь – я успел соскочить, – он поворачивает ко мне свою большую, покрытую шерстью голову. И хотя света было очень мало, я вижу в глазах его мольбу, словно он умолял меня избавить его от какой-то страшной боли. Как вы понимаете, госпожа Графиня, сильная боль невыносимо болезненна для любого живого существа, но определить, где именно у мула источник боли, да еще в условиях горной ночи, насыщенной малярийными миазмами... весьма... эээ... трудно (опять неудачное предложение!), ха-ха-ха! Но сделать что-то для облегчения страданий я должен! А мул уже лежит в темноте на боку! Он казался таким огромным! И тогда я задействовал все свои мыслительные способности. Глаза несчастного животного неотрывно следили за мной. Они казались лампадами, в которых кончается масло. И тогда я задал себе пару вопросов, весьма существенных, как мне тогда казалось – и кажется до сих пор. Первый из них был таков: является ли боль его духовной или физической? Если первое, то лечение будет весьма сложным, но темнота мне помешать не сможет. Если же второе, то темнота создаст невероятные трудности, но проблема сразу оказывается в пределах моей паралин – или почти в пределах. Я рискнул выбрать второе, и, то ли благодаря счастливой случайности, то ли – что более вероятно – благодаря удивительному шестому чувству, которое вызревает, когда находишься один на один с безгласным мулом и вздымающимися ввысь горами. Однако почти тут же я обнаружил, что мое второе предположение было правильным. А произошло это так: я схватил голову мула, поднял ее, несмотря на невероятную тяжесть, и повернул под таким углом, что свечение, исходящее из его глаз – дававшее, конечно, света очень мало, но достаточно, чтобы можно было что-то разглядеть – осветило – слабо, но осветило! – остальную часть его тела. И тут же я был вознагражден за свои геркулесовы усилия. Передо мной чистейший случай вмешательства «постороннего тела», приносящего боль! Вокруг его задней ноги кольцами обвился – не могу сказать сколько раз – питон! Даже в тот страшный и критический момент я не мог не отметить про себя, насколько красива была эта змея! Питон был значительно красивее, чем мой старый добрый мул! Но мелькнула ли у меня мысль, что я должен отдать предпочтение рептилии и позволить моему некрасивому, но верному млекопитающему погибнуть? Нет и еще раз нет! В конце концов, кроме красоты существует и такая вещь, как верность. К тому же я страшно не люблю ходить пешком, а обучить питона возить меня, госпожа Графиня, заняло бы невероятно много времени. Разместить на нем седло – даже от этого у любого человека лопнуло бы терпение. И к тому же.

Доктор взглянул на свою гостью и тут же об этом пожалел. Вытащив из кармана шелковый платок, он вытер лоб. Затем, сверкнув зубами, продолжил, но в голосе уже не слышалось прежнего воодушевления:

– И вот тогда я вспомнил про свой нож для нарезания хлеба...

Наступило молчание, но когда Доктор, наполнив легкие воздухом, чтобы продолжить, открыл рот, Графиня неожиданно спросила:

– А сколько вам лет?

Однако прежде чем Доктор Хламслив успел переориентироваться, раздался стук в дверь и вошел слуга с козлом.

– Идиот! Нужна коза, а не козел!

Проговорив это, Графиня тяжело поднялась с кресла и, подойдя к козлу, погладила его по голове. Козел потянулся к Графине, натянув веревку, на которой его привел слуга, и лизнул ей руку.

– Ты поражаешь меня, – сказал Доктор слуге. – Неудивительно, что ты так плохо готовишь. Неужели ты не мог отличить козла от козы? Уходи, любезнейший, уходи! Доставай другое животное, и во имя любви ко всему живущему, приведи животное женского пола! Иногда начинаешь задумываться, в каком безумном – клянусь всем изначальным! – мире мы все живем,

в каком безумном мире!

Слуга исчез.

Графиня, подойдя к окну и глядя на площадь-двор перед домом, медленно произнесла:

– Хламслив...

– Да, мадам?

– У меня тяжело на сердце, Хламслив.

– Вы имеете в виду, что у вас болит сердце, мадам?

– У меня болят и сердце, и душа.

Графиня вернулась к своему стулу, снова села на него и снова, как и прежде, опустила руки вниз так, что они свисали мимо мягкого сидения.

– Болит... в каком смысле, госпожа Графиня? И на этот раз в голосе Доктора не осталось и следа от его обычного насмешливого тона.

– В Замке строятся козни, – сказала Графиня – Я не знаю, что происходит, но что-то не так. В Замке что-то не в порядке. И она посмотрела на Доктора в упор.

– Козни? Что-то не в порядке? – наконец выдавил из себя Доктор. – Вы имеете в виду, мадам, что ощущается... эээ... чье-то плохое влияние?

– Я не знаю точно, что именно, но что-то изменилось. Я чувствую это нутром Присутствует некто...

– Некто? Где?

– В Замке. Враг. Призрак это или человек, я не знаю. Знаю, что враг. Вы понимаете?

– Понимаю, – сказал Доктор совершенно серьезно. Вся его ядовитая насмешливость полностью исчезла, – Это не призрак. У привидений нет страсти к мятежу.

– Мятежу? – громко спросила Графиня. – Мятежу против кого?

– Не знаю. Но что еще вы, мадам, почувствовали, как вы выразились, своим нутром?

– Но кто бы посмел бунтовать? – прошептала Графиня, словно обращаясь к самой себе. – Кто посмел бы? И после небольшой паузы спросила:

– У вас есть какие-то подозрения?

– У меня нет доказательств, чтобы подтвердить мои подозрения. Но теперь я буду присматриваться и прислушиваться. Клянусь святыми ангелами, в Замке завелись силы зла. В этом нет сомнения. То, о чем вы говорите, совпадает с моими пока еще очень неясными ощущениями.

– В Замке зреет нечто еще более страшное. В Замке зреет вероломное предательство. – Графиня сделала глубокий вдох и затем очень медленно добавила: – И... я... уничтожу его... я вырву его с корнем... и не только ради Тита и в память о его отце, но прежде всего ради самого Горменгаста.

– Вы упомянули о своем покойном супруге, мадам, о его светлости Герцоге Стоне. Где находятся его останки... если он действительно мертв?

– В самом деле – где? Но здесь кроется еще кое-что. Как объяснить тот внутренний огонь, который искалечил его блестящий ум? Как объяснить тот внешний огонь, в котором, если бы не этот юноша Щуквол...

Графиня оборвала себя на полуслове, и в комнате на несколько мгновений наступило тяжелое молчание, которое на этот раз нарушил Хламслив.

– А как объяснить самоубийство его сестер? Исчезновение шеф-повара, который, кстати, исчез в ту же ночь, что и ваш супруг? И все это случилось за один год! И в этот период – может быть, чуть больше года – произошли десятки других странностей. Что за всем этим стоит? Клянусь всем таинственным, мадам, – тяжесть легла на ваше сердце неспроста.

– И нужно думать о будущем Тита, – сказала Графиня.

– Совершенно верно. И нужно думать о будущем Тита, – эхом повторил Доктор.

– А сколько ему лет? – спросила Графиня.

– Ему уже почти восемь, – ответил Хламслив, подняв брови. – Вы его в последнее время не видели?

– Видела из своего окна. Я наблюдаю за ним, когда он скачет на пони вдоль южной стены.

– Мадам, мне кажется, что вы должны время от времени общаться с ним, – сказал Доктор. – Во имя всего материнского, вам следует чаще видеться со своим сыном.

Графиня пристально посмотрела на Доктора. Но что она могла ответить, осталось навеки неизвестным, так как в этот момент раздался стук в дверь и появился слуга, на этот раз уже с козой.

– Отпусти ее, – приказала Графиня. Маленькая беленькая козочка бросилась к Графине, словно притянутая магнитом.

– У вас есть кувшин? – обратилась Графиня к Доктору. Доктор повернул голову к двери.

– Принеси кувшин, – сказал он, и лицо человека исчезло.

– Хламслив. – Графиня опустила на колени; при неярком свете лампы она казалась особенно тучной; поглаживая гладкие ушки козы, она продолжила: – Я не буду спрашивать вас, на кого падают ваши подозрения. Нет, пока не буду. Но я хотела бы, чтобы вы внимательно ко всему присматривались. Ко всему, Хламслив, как это делаю я. Вы должны постоянно быть начеку, Хламслив, постоянно, и днем и ночью. Я требую, чтобы мне немедленно сообщили, если будет обнаружено нечто подозрительное, нечто отступающее от законов Горменгаста. Я в определенной степени полагаюсь на вас. Я в некотором роде верю в вас... – И добавила после небольшой паузы: – Хотя и не знаю почему.

– Мадам, – сказал Хламслив, – я открою свои глаза и уши.

Слуга принес кувшин и тут же ушел.

Эlegantные занавеси встрепенулись в налетевшем порыве ночного ветра. Золотистый свет лампы мягко освещал комнату, мерцал на фарфоре, на приземистых бокалах резного стекла, на глазури и эмали, на кожаных переплетах книг с золотым тиснением и стеклах акварелей и рисунков, висящих на стенах. Но особенно живо этот свет отражался в бесчисленных глазах на белых мордочках сидящих неподвижно кошек. Цвет их шерсти выбелил комнату и даже золотистому свету придавал холодный опенок. Это было незабываемое зрелище: Графиня на коленях; спокойно стоящая коза; уверенные движения пальцев Графини, доящей козу. Эти умелые пальцы произвели на Хламслива странное впечатление. Неужели это та Графиня, грузная, резкая, бескомпромиссная, лишенная в такой поразительной степени материнских инстинктов, в течение целого года не обмолвившаяся со своим сыном Титом ни единым словом, та Графиня, к которой относились с трепетом, если не страхом, – неужели это была она? Неужели это на ее больших губах играла полуулыбка исключительной нежности?

А затем Хламслив вспомнил снова ее голос, которым она шептала: «Но кто бы посмел бунтовать? Кто посмел бы?», и то, каким твердым, безжалостным голосом, вырывавшимся из ее, словно жестяной, глотки она произнесла: «И я уничтожу его, вырву его с корнем! И не только ради Тита!»

Глава восьмая

Кора и Кларисса, хотя они об этом и не подозревали, были заточены в своих комнатах. Щуквол забил досками и закрыл задвижками с внешней стороны все возможные выходы. За то, что у них были слишком длинные языки, которые чуть было не привели к очень большим для Щуквола неприятностям, они попали в заточение и находились там уже два года. Несмотря на всю хитрость и терпеливость, которую Щуквол проявлял в общении с Корой и Клариссой, он не смог найти иного способа, который полностью обеспечил бы их вечное молчание. Щуквол убедил их в том, что обитателей Замка косит неизвестная страшная болезнь «паучья чума» и спастись от нее можно лишь с помощью полной изоляции.

Сестры-близнецы были как вода – Щуквол мог, когда ему это было нужно, открывать и закрывать краны их страхов. Он добился того, что сестры униженно и постоянно повторяли, сколь безмерно они обязаны ему за то, что благодаря его исключительной мудрости смогли избежать страшной напасти и пребывать в относительном здравии. Если, конечно, можно было назвать категорический отказ умереть, когда было столько причин это сделать, здоровьем. Они панически боялись общаться с переносчиками болезни, а Щуквол приносил им новости об умерших и умирающих от нее.

Они обитали уже не в тех просторных апартаментах, где их впервые семь лет назад навестил Щуквол, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Теперь у них не было ничего подобного Комнате Корней и зале с огромным деревом, ветви которого, прорастая сквозь окна, свисали над стеной, уходившей вниз на сотни метров. Теперь они находились на одном из нижних этажей Замка, в заброшенной и малоизвестной его части, располагавшейся в стороне даже от тех мест, которые, хотя и изредка, но посещались. Было не только неизвестно, как туда добраться, но дурная слава этих мест удерживала от посещения даже наиболее любопытных. Воздух здесь был наполнен гнилой болезнетворной сыростью, и каждый вдох был шагом к двустороннему воспалению легких.

По иронии судьбы тетушки Тита считали, что именно здесь – и только здесь – им удастся избежать страшной заразы, поразившей, как они воображали, Замок Горменгаст. Чему, кстати, они были несказанно рады. Сестры настолько уверовали – с помощью Щуквола – в то, что смогут избежать ужасной напасти, что с нетерпением дожидались дня, когда они, единственные оставшиеся в живых обитатели Горменгаста, смогут (приняв необходимые предосторожности, конечно) вернуться в центральную часть Замка. И стать наконец после столь долгих лет ожидания, наполненных отчаянием и надеждой, единственными и полновластными владелицами короны Стонов – этого благородного символа власти, – сделанной из тяжелых драгоценных металлов и увенчанной сапфиром величиной в куриное яйцо.

Эта корона была предметом их самых оживленных споров: следует ли ее распилить пополам и разрезать надвое сапфир, так чтобы каждая из них могла носить хотя бы половину короны, или оставить ее в целости и надевать по очереди.

Хотя спор шел напряженный и велся постоянно, внешне эмоции сестер никак не проявлялись. Даже губы их почти не двигались – они научились, слегка приоткрыв рот, однотонно произносить слова. Но большую часть своих длинных, одиноких дней они проводили в молчании. Если не считать их диких, невероятных и параноических мечтаний о будущем, о троне и о короне, нерегулярные появления Щуквола, которые становились все более редкими, были их единственным развлечением.

Но как же удалось спрятать госпожой Кору и Клариссу так, что этого злодеяния никто не заметил и злоумышленник остался безнаказанным, а сестры забыты?

Сказать, что о сестрах просто позабыли, было бы неправильно. Дело было так два года назад, в семейном склепе Стонов были захоронены две восковые фигуры, изображающие сестер-близнецов, которые специально для этого мрачного символического акта изготовил Щуквол. Церемония символических похорон была обставлена с должной пышностью, и большинство обитателей Замка восприняло эти похороны как вполне реальные. За неделю до того, как восковые фигуры были помещены в саркофаг, в апартаментах сестер было найдено письмо, написанное якобы ими, на самом же деле подделанное Щукволом. В письме сообщалось, что сестры семьдесят шестого Герцога Стона, исчезнувшие без следа за день до того, как было найдено подложное письмо, ночью, тайно, покинули территорию Замка, имея целью оборвать свои жизни в одном из ущелий близлежащей горы.

Поисковые партии, организованные Щукволом, возвращались ни с чем.

Ночью, перед тем как подбросить письмо, Щуквол перевел сестер в комнаты, которые они теперь и занимали; предлогом для перемещения послужила выдуманная Щукволом история о том, что он якобы нашел два древних скипетра, которые следует сестрам Герцога осмотреть. Но сделать это нужно в тайне; трогать найденные в заброшенной части Замка скипетры, как заявил Щуквол, он сам не посмел.

Но все это произошло так давно. Тит был еще совсем младенцем; Флэй был изгнан из Замка, Гробструп и Потпуз исчезли. Исчезновение сестер, которые как зубы были выдернуты из челюсти Горменгаста, оставило после себя ноющую боль в перекошенном лице Замка. Но теперь раны почти зажили, и к изменению в лице Горменгаста привыкли. Ведь Тит, в конце концов, был жив и здоров, и продолжение рода Стонов было тем самым обеспечено.

Сестры сидели у себя в комнате; они провели день, больше чем обычно наполненный молчанием. Лампа, стоящая на железном столике (ее не задували весь день) давала достаточно света, позволявшего им заниматься своим вышиванием, но ни одна из них вот уже несколько часов к нему не прикасалась.

– Как невероятно долго длится жизнь, – нарушила длительное молчание Кларисса. – Иногда мне кажется, что совсем не стоит продолжать это существование. Я давно вышла за пределы жизни, положенной человеку.

– Не знаю, за какие пределы ты там вышла, – откликнулась Кора, – но коль скоро ты заговорила, я хочу тебе сказать – ты как обычно забыла кое-что.

– Что я забыла?

– Ты забыла про то, что я делала вчера, и что теперь твоя очередь делать. Вот что.

– Моя очередь делать что?

– Утешать меня, – сказала Кора, уставившись на ножку железного столика. – Ты можешь утешать и успокаивать меня до половины восьмого, а потом будет твоя очередь впасть в депрессию.

– Хорошо, – мгновенно согласилась Кларисса и стала поглаживать сестру по руке.

– Нет, нет, не так, – воскликнула Кора, – не так явно! Ты просто должна делать всякие разные вещи без моего напоминания. Например, принести чаю и поставить его молча передо мной.

– Ладно, – ответила Кларисса довольно угрюмо. – Но ты все испортила! Ты взяла и сказала, что мне нужно делать! И теперь, если я это сделаю и принесу тебе чай, это уже будет не так, вроде я сама об этом подумала и позаботилась. Хотя, может быть, если я принесу кофе.

– Это все не важно, – сказала Кора. – Ты слишком много болтаешь. Все должно идти словно само собой. Скоро твоя очередь.

– Что? Моя очередь впасть в уныние?

– Ну, да, да! – сказала Кора раздраженно и почесала себе спину.

– Мне кажется, ты не заслуживаешь моего внимания...

На этом их беседа была прервана, ибо в этот момент в комнату, отодвинув занавес, вошел Щуквол; в руках он держал стальную трость, которую можно было использовать и как шпагу.

Сестры встали со своих мест и повернулись к Щукволу; их плечи соприкасались.

– Как поживают мои птички? – спросил Щуквол. Он поднял свою шпагу-трость и с отвратительной развязностью пощекотал ребра сестер ее концом, на котором был надет защитный шарик. Хотя на их лицах никакого особого выражения не появилось, они в очень замедленном темпе стали производить извивающиеся движения, напоминавшие восточный танец.

Отбили время часы, стоявшие на каминной полке, и когда они умолкли, монотонный звук дождя показался вдвое более громким. Комната была погружена в полумрак.

– Вы давно не приходили к нам, – сказала Кора.

– Действительно так, – отозвался Щуквол.

– Вы, наверное, совсем позабыли о нас?

– Отнюдь, – сказал Щуквол, – отнюдь.

– Тогда почему вас так давно не было? – спросила Кларисса.

– Садитесь и слушайте, – сказал Щуквол резко. Он в упор, пристально смотрел на них, и вскоре они смущенно опустили головы и уставились на свои собственные ключицы.

– Неужели вы думаете, что мне легко не допустить чуму к вашим дверям и одновременно по первому вашему зову прибегать сюда? Неужели вы так думаете?

Сестры медленно, словно маятники, покачали головами.

– А в таком случае, будьте добры, не допрашивать меня! – воскликнул Щуквол в притворном гневе. – Как смеете вы кусать руку того, кто кормит вас! Как смеете!

Сестры, успевшие сесть, снова поднялись со своих стульев и двинулись по комнате. На мгновение они остановились и скосили глаза в сторону Щуквола, чтобы удостовериться, что делают именно то, чего от них хотят. Да, молодой человек пальцем сурово показывал на тяжелый сырой ковер, который лежал в центре комнаты.

Щуквол доставляло удовольствие наблюдать за тем, как эти жалкие старушки, одетые в свои самые лучшие пурпурные платья, залезают под ковер. Среди прочих удовольствий, которым он предавался, это было одно из самых сильных. Он, используя всю свою хитрость, мало-помалу вел сестер от унижения к унижению. И пришел такой момент, когда извращенное удовольствие, которое он получал при этом, стало для него чуть ли не необходимостью. Если бы не противоестественное удовлетворение, которое он испытывал от проявления своей власти над сестрами, то вряд ли бы он затрачивал столько усилий на то, чтобы поддерживать их жизнь.

Щуквол удовлетворенно созерцал два одинаковых холмика, покрытых ковром, и ему в голову не могло прийти, что под ковром происходит нечто особое и совершенно непредвиденное. Коре, забравшейся под ковер как в крысину нору и пребывающей во влажной и душной темноте в этом унижительном скорченном положении, пришла вдруг в голову одна мысль. Откуда она взялась, Кора не пыталась доискаться; не собиралась она размышлять и по поводу того, почему, собственно, ей такая мысль пришла в голову. Ибо Щуквол, их благодетель, был для нее, как и для Клариссы, почти богом... Кора подумала о том, что ей бы очень хотелось убить Щуквола. Как только эта невероятная, неизвестно откуда взявшаяся мысль пришла к ней, она почувствовала большой испуг. И этот испуг отнюдь не уменьшился от того, что голос ее сестры, ровным и бесстрастным шепотом, четко и ясно повторял:

– И я тоже... хочу... это сделать. Мы могли бы это сделать вдвоем, как ты считаешь? Мы могли бы это сделать вдвоем...

Глава девятая

В южном крыле Замка, на одном из верхних этажей, имелась среди множества других давно позабытая лестничная площадка, на которой в течение уже многих десятков лет жили многие поколения серо-голубых, поразительно маленьких мышей – каждая размером не более фаланги человеческого пальца. Такие мыши водились лишь в этом южном крыле и нигде больше в Замке не встречались.

В давние времена это место, которое теперь никто не посещал, должно быть, представляло для кого-то какой-то особый интерес. С одной стороны площадка была все еще огорожена высокими перилами; хотя все краски уже давно выцвели, однако было ясно, что половицы были когда-то сияюще ярко-красного цвета, а стены – исключительно ярко-желтого, Балюстрада была выкрашена поочередно в яблочно-зеленый и небесно-голубой цвета; фрамуги дверей – самих дверей давно не было – тоже в небесно-голубой. В коридорах, которые разбегались от пустых дверных проемов, полы, как и на балконе, были выкрашены красным, а стены – желтым; однако теперь в них царила темнота.

Над площадкой нависала скошенная в одну сторону крыша, и в ней было проделано окно; в окно проникал свет, а иногда и солнечные лучи, которые превращали этот позабытый всеми балкон в малый космос, в твердь, усеянную солнечными пятнышками; в такие мгновения балкон соединял в себе нечто от звездного неба и нечто от солнечного мира – длинные солнечные лучи заканчивались вались пляшущими звездочками. В тех местах, где лучи касались пола, вспыхивали розы, а стены покрывались желтыми крокусами; балюстрада загоралась кольцами разноцветных змей.

Но даже в самый безоблачный из летних дней, когда в окно вливался потоками солнечный свет, в когда-то сиявшие краски был теперь домешан пигмент увядания и разложения. Красный цвет уже потерял свое огненное начало, и половицы теперь лишь тлели.

И в этом цирке увядших красок сновали семейства серых мышек.

Однажды Тит во время очередной своей вылазки в заброшенные части Замка наткнулся на этот балкон, но находился он двумя этажами выше мальчика. Тит как раз исследовал именно этот, более низкий этаж, обнаружив, что заблудился, Тит испугался. Его окружали огромные комнаты как пещеры, наполненные либо мраком, либо солнечным светом, в котором витали пылинки и который безжалостно освещал густой покров пыли на полу. Именно эти освещенные помещения, являющие собой зрелище позолоченного солнцем запустения и упадка, пугали мальчика больше, чем участки погруженные во тьму. Чтобы не закричать от ужаса, Тит очень крепко сжал кулаки вонзив ногти в ладони, – даже отсутствие призраков в пустых коридорах и комнатах было пугающим. Возникало ощущение, что кто-то всего лишь мгновение назад покинул тот коридор или ту комнату, куда добирался Тит, или наоборот в любую секунду готов был появиться.

Именно в таком напряженном состоянии – воображение рисовало всякие ужасы а сердце бешено колотилось – Тит, повернув за угол очередного коридора натолкнулся на ту часть лестницы, которая вела вверх к ярко раскрашенной площадке, где обитали крошечные серые мышки.

Как только Тит увидел эту лестницу, он бросился к ней, словно повстречал старого друга. Он почему-то почувствовал большое облегчение, его быстрые шаги отзывались эхом со всех сторон. При виде ярко окрашенной балюстрады его глаза широко раскрылись от восторга и удивления. Только перила здесь были лишены яркой окраски – они были гладкими, отполированными касаниями множества рук и казались сделанными из слоновой кости. Тит

стал взбираться по лестнице вверх, потом остановился и, просунув голову между голубыми и зелеными столбиками балюстрады, посмотрел вниз. Лестница не только поднималась к ярко раскрашенной площадке, но и уводила глубоко вниз, в бездну, которая казалась бездонной. В темноте этой бездны не ощущалось присутствия чего-либо живого. Многими этажами ниже пролетела птица, еще ниже птицы со стены обрушился кусок штукатурки – вот и все.

Тит поднял голову и увидел, что стоит почти рядом с красно-желтой лестничной площадкой. Хотя ему и не терпелось поскорее выбраться из этой части Замка, он не смог преодолеть искушения взобраться на площадку с ее горящими красками. Крошечные серые мышки, попискивая, бросились в разные стороны и попрятались в норки. Но несколько мышек, прижавшись к стене, настороженно наблюдали за Титом, а потом, увидев, что он не представляет никакой опасности, вернулись к своим нехитрым занятиям.

Титу казалось, что все вокруг наполнено каким-то дружелюбным, добрым, золотистым сиянием. Настолько атмосфера этого места была располагающей, что даже от близости мрачных пустых помещений, расположенных вокруг, эта атмосфера привязанности не рассеивалась, и восхищение Тита ничуть не уменьшалось. Мальчик сел на красный пол, прислонился спиной к желтой стене и некоторое время наблюдал за пылинками, маневрировавшими в длинных лучах солнца.

– Это место мое, мое! – сказал он вслух – Я его нашел!

Глава десятая

У всякого, кто попадал в Профессорскую, наполненную клубами сизого дыма, возникало впечатление, что она расположена глубоко в подземелье. В табачном дыму словно плавали три человеческие фигуры. Мрачное освещение и сырость создавали ощущение гробницы.

Эти три фигуры были передовым отрядом остальных преподавателей, которые собирались здесь ежедневно. Сходки преподавателей, будто священный ритуал, происходили с той же неотвратимостью, что и восход солнца. Но насколько менее прекрасным, чем восход солнца, было это сборище!

Было одиннадцать часов, а это значит – началась короткая перемена. Их ученики – воробышки, так сказать, Горменгаста – уже сломя голову неслись во двор. Этот широкий двор, выложенный красным песчаником, был со всех сторон окружен стенами, сложенными из того же камня, полностью заросшими вьющимися растениями. Неисчислимое количество перочинных ножилок ковыряли эти стены, на которых были вырезаны тысячи и тысячи имен и инициалов. Среди этих граффити имелись и надписи, кого-то и что-то восхваляющие и осуждающие, сентенции, смысл которых давно уже был утерян. Все эти надписи, буквы которых напоминали паучьи ножки, соседствовали с более глубоко вырезанными знаками и схемами, которые схематически представляли принципы тех или иных игр, местного, так сказать, изобретения. О, сколько мальчиков рыдало у этих стен! Сколько костяшек здесь было разбито в кровь, когда голова, которой предназначался удар, отклонялась в сторону и кулак обрушивался на стену! Сколько мальчишек убегало от этих стен назад, в центр двора, с кровью на лице! Сколько маленьких смельчаков пыталось вскарабкаться по вьющимся растениям и срывалось вниз!

В этот двор можно было попасть через туннель, начинавшийся прямо под длинной южной классной комнатой; в туннель вели ступени, вход на которые прикрывался люком в углу класса. Сейчас туннель был наполнен диким топотом, варварскими выкриками и воплями толпы мальчиков, несущихся между его стен, заросших мхом, по направлению ко двору.

А в Профессорской три преподавателя, которые туда уже успели добраться, искали тихого успокоения, а отнюдь не выплеска энергии.

Любой, заходящий из Профессорского Коридора в Преподавательскую, не мог не ощутить поразительную разницу в состоянии воздуха, это можно было бы сравнить с тем, как если бы человек, плывущий в чистой воде, неожиданно оказался в водоеме, наполненном супом. Воздух был перенасыщен густой смесью запахов: застоявшегося запаха табака, сухого запаха меда, запаха гнилого дерева, чернил, алкоголя и вони плохо выделанной кожи, выделяющийся своей крепостью среди всех остальных запахов. Общій цвет комнаты символически воспроизводил все эти запахи – все стены, обитые кожей из лошадиных шкур, были скучнейшего коричневого цвета; оживляли стены лишь поблескивающие головки длинных шпилек для прикалывания бумаг.

Справа от двери висели черные мантии преподавателей, находящиеся на разных стадиях распада.

Первым из трех Профессоров, который в то утро появился в Преподавательской и твердо устроился в единственном кресле (он обычно покидал класс, в котором преподавал – или притворялся, что чему-то учит, – минут за двадцать до официального окончания урока и делал это с единственной целью – занять это кресло), был Опус Крюк. Он сидел, а точнее лежал, в кресле, которое преподаватели прозвали «Колыбелью Крюка». Части тела Крюка, которые постоянно приходили в соприкосновение с этим предметом, олицетворяющим лень, придали

ему такую форму, что помещение в него любого другого тела было бы сопряжено с большими трудностями.

Господин Опус Крюк очень любил и ценил эти утренние отдохновения (которые повторялись перед звонком на обед), во время которых он добавлял столько табачного дыма к уже имеющемуся и облаками укрывающему потолок Профессорской, что, казалось, дым исходит от охваченных невидимым огнем половиц. А центром этого пожара является сам господин Крюк, возлежащий в кресле под углом в пять градусов по отношению к поверхности пола в положении, которое могло навести на мысль о том, что он пребывает в последней стадии асфиксии. Но в комнате ничто не горело, если не считать табака в трубке Крюка; дым клубами вырывался из его широкого, жесткого и безгубого рта (сильно смахивающего на пасть огромного, но дружелюбного ящера), возлежа в своем кресле и наполняя воздух невероятным количеством дыма, он проявлял такое пренебрежение к своим собственным и чужим легким, что невольно возникал вопрос, неужели этот человек существует в том же мире, где есть гиацинты и прекрасные дамы?

Его голова, была сильно закинута назад, а длинный, выступающий вперед подбородок, напоминающий булку, смотрел в потолок. Он мрачно и нахмуренно следил взглядом за поднимающимися вверх и дрожащими в воздухе кольцами дыма, выпущенными изо рта; у потолка кольца растворялись в клубах остального дыма. В его ленивой позе была некая зрелая завершенность, некое страшное спокойствие и умиротворенность.

Из двух коллег Опуса Крюка, находившихся в Преподавательской, более молодой, Призмкарп, сидел в изящной позе на краю длинного, покрытого чернильными пятнами стола. Вся поверхность этого древнего представителя мебели была завалена книгами, красными карандашами, курительными трубками, наполненными в разной степени пеплом или недогоревшим табаком, кусками мела, бутылочками с чернилами, возвышающимися, как пагоды, стопками тетрадей в светло-коричневых обложках. На столе также находились: носок; бамбуковая трость; засохшая лужа белесого клея; лист бумаги со схематическим изображением солнечной системы, прожженный и искореженный в значительной своей части кислотой, которая на него была пролита в неизвестные времена, покосившееся набок чучело пеликана (металлические скобочки на лапах чучела не помогали удерживать его в вертикальном положении); глобус с выцветшими красками, на котором было написано желтым мелом: «Четверг: розги Хитрмакушке», надпись простиралась от экватора почти до Северного полюса; роман под названием «Удивительные приключения любострастного Копа», а также большое количество всяких бумажек, записок и инструкций.

Призмкарп расчистил небольшое пространство на дальнем конце стола, где, скрестив руки, и примостился. Он был небольшого роста, склонный к полноте, преисполненный желанием самоутвердиться, которое проявлялось в каждом его движении, в каждом слове. Нос его напоминал свиной пяточок, глазки были как черные пуговицы, взгляд невероятно подвижный и пристальный, а круги и мешки под глазами тут же бы удавили в самом зародыше мысль о том, что ему нет еще и пятидесяти. Но носик его, которому на вид было всего несколько часов от рождения, своим пороссячим видом в значительной степени менял впечатление, которое создавало пространство вокруг глаз, и придавал ему вид еще вполне молодого человека.

Итак, Опус Крюк возлежит в своем любимом кресле; Призмкарп сидит на столе, а вот третий из присутствующих занят – по крайней мере, создается такое впечатление, – каким-то конкретным делом.

Роцезвон стоял перед небольшим зеркалом, поставленным на каминную полку, и, склонив голову набок, чтобы найти тот угол, под которым в этой дымом наполненной комнате хоть что-нибудь разглядеть в зеркале, и раскрыв рот, рассматривал свои зубы.

Роцезвон обладал, в определенном смысле, весьма импозантной внешностью. У него была большая голова с несомненно благородным профилем – линия лба продолжалась вертикально вниз линией носа. Нижняя челюсть была такой же длины, как нос и лоб, составленные вместе, и располагалась – если смотреть на Профессора в профиль – абсолютно параллельно лбу и носу.

Грива снежно-белых волос придавала ему вид Ветхозаветного пророка. А вот глаза разочаровывали. Они не соответствовали остальным чертам этого лица, которые создавали бы просто идеальное оформление для глаз, если бы те горели пророческим огнем. Но, увы, в глазах господина Роцезвона не горел огонь. Глазки у него были довольно маленькие, скучного серо-зеленого цвета и совершенно лишены какого бы то ни было выражения. Увидев такие глаза, трудно было не возмутиться его профилем – словно этот профиль был мошенником, давшим обещание и не выполнившим его.

Призмкарп потянулся, вытягивая одновременно и руки, и ноги; свои блестящие черные глазки он закрыл и зевнул, раздвигая во всю ширь маленький, довольно чопорный ротик. Затем хлопнул ладонями об стол рядом с собой, словно заявляя: «Нельзя же, в конце концов, сидеть вот так целый день без дела и предаваться досужим мечтаниям!» Наморщив лоб, он вытащил свою небольшую, элегантную и ухоженную трубку (он уже давно обнаружил, что курение было единственной защитой от чужого дыма) и быстрыми, уверенными движениями пальцев наполнил ее табаком.

Раскуривая трубку, он полузакрыв глаза; нижняя часть его носика-пяточка была подсвечена разгорающимся табаком. В тот момент, когда его черные умные глаза скрылись за веками, он стал похож не столько на человека, сколько на поджаренного поросенка.

Сделав несколько затяжек и выпустив дым, он вытащил трубку из своего опрятного маленького ротика и сказал, приподнимая при этом брови:

– Прекратите это!

Опус Крюк, лежавший в кресле словно на носилках, остался совершенно неподвижен; не поворачивая головы, он стал медленно перемещать несколько удивленный взгляд своих ленивых глаз и делал это, пока не остановился на лице Призмкарпа, призвавшего что-то прекратить. Хотя Крюк и не удосужился сфокусировать свой взгляд на коллеге, чтобы с ясностью видеть все детали, но даже такого рассеянного взгляда было достаточно, чтобы определить, что Призмкарп обращался к кому-то другому, а не к нему, Крюку. И Крюк медленно и лениво переместил свой взгляд в другую сторону и, опять не в фокусе, увидел Роцезвона. Этот благородного вида господин, который только что так внимательно изучал свои зубы, нахмурил великолепное чело и повернул царственную голову:

– Прекратить что? Объяснитесь, мой дорогой! Терпеть не могу эти предложения, составленные из двух слов. Вы изъясняетесь, мой дорогой, так, словно роняете посуду.

– А вы, Роцезвон, старый педант, черт вас побери, и вам давно уже пора лежать в могиле! – отвечивал Призмкарп. – А соображения у вас не больше, чем у беременной черепахи. Сжальтесь над окружающими и перестаньте играть со своими зубами!

Опус Крюк, распростертый в своем потертом кресле, опустил глаза и раскрыл рот, напоминаящий, как уже было сказано, пасть ящера. И это могло бы натолкнуть на мысль, что в определенной степени его позабавил этот обмен любезностями, если бы не облако дыма, которое вырвалось из его легких, вывалилось изо рта и поднялось ввысь, приняв форму белосерого вяза.

Роцезвон отвернулся от зеркала, в котором отражались он сам и его приносящие столько беспокойства зубы.

– Призмкарп, – сказал он, – вы невыносимый выскочка! Какое отношение к вам имеют мои зубы? Будьте так добры! Оставьте мои зубы мне.

– С большим удовольствием! – отозвался Призмкарп.

– Да будет вам известно, меня мучает боль! – И в этот раз в голосе Роцезвона прозвучала какая-то слабинка.

– Вы скопидом, – заявил Призмкарп. – Вы не хотите расстаться с прошлым, с тем, что уже отжило свое. Ваши зубы не устраивают вас? Пускай их вам вырвут!

Роцезвон снова принял вид напыщенного пророка.

– Никогда! – воскликнул он – но тут же испортил эффект от своего профетического заявления тем, что, обхватив рукой нижнюю часть лица, жалобно застонал.

– У меня нет к вам никакого сострадания, – сообщил Призмкарп, болтая ногами – Вы просто глупый старик, и если бы вы были учеником в моем классе, я бы наказывал вас розгами два раза в день. И делал бы это до тех пор, пока бы вы – первое – не поменяли позорного отношения к состоянию своего рта и не занялись бы им и – второе – пока бы вы не оставили свое кладбищенское пристрастие к разложению. У меня к вам, повторяю, нет никакого сочувствия.

И в этот раз, когда Опус Крюк выбросил из себя очередную порцию едкого дыма, на его лице появилась совершенно явственная улыбка.

– Бедный, старый, глупый Роцезвон, черт бы вас побрал! – проговорил Крюк. – Бедные старые клыки!

И Крюк начал смеяться своим странным, особым смехом – одновременно беззвучным и сотрясающим все тело, которое, не меняя своего лежачего положения, стало вздыматься и опускаться. Колени его, скрытые под черной преподавательской мантией, подтянулись к подбородку; руки беспомощно болтались по обе стороны кресла, а голова – из стороны в сторону. Было такое впечатление, что он находится на последних стадиях отравления стрихнином. И при всем при этом он не издал ни единого звука и даже не открыл рот. Постепенно спазмы ослабели, его лицо обрело свой обычный цвет мокрого песка (во время словно загнанного в бутылку и закрытого пробкой смеха его лицо стало темно-красным), и он возобновил курение, выпуская еще больше дыма, чем прежде.

Роцезвон с напыщенным достоинством величественно прошествовал к центру комнаты.

– Итак, значит – я старый, глупый Роцезвон, и меня, по вашим словам, должны прибрать к рукам черти. Я правильно вас понял, господин Крюк? Значит, вот каково ваше мнение обо мне? Значит, вот каковы ваши грубые мысли? Ага... ага... (Попытка, чтобы его слова прозвучали так, словно он вслух предавался философским размышлениям по поводу характера Крюка, окончилась жалкой неудачей; Роцезвон покачал своей благородной головой.) Насколько вы, мой друг, черствы и неотесанны! Вы подобны животному... или даже какому-нибудь овощу. Возможно, вы забыли, что еще пятнадцать лет тому назад рассматривалась возможность моего назначения на пост Главы Школы. Да, господин Крюк, именно так – моя кандидатура рассматривалась!. Как раз в то время, как я хорошо помню, была совершена трагическая ошибка, и вас приняли в наш преподавательский состав... Гм... И с тех пор вы, господин Крюк, были и являетесь позором для нашего благородного призвания! А что касается меня, сколькo недостойным бы я ни был, все же хочу вам сообщить, что у меня опыта преподавания столько, сколько... и не буду даже пытаться описать сколько... А вы, господин Крюк, просто бездельник, вот вы кто, лодырь, плюющий в потолок! И проявлением своего неуважения к старому ученому вы только...

Но новый приступ острой боли прервал Роцезвона, и он снова схватился рукой за лицо, простонав:

– О, мои зубы!

Пока Роцезвон произносил свою обвинительную речь, мысли Опуса Крюка были далеко, и

он бы не смог повторить ни единого слова – даже если бы его под пыткой попытались принудить к этому – из обращенной к нему речи.

Но голос Призмкарпа оборвал заоблачные мечтания Опуса и заставил его прислушаться:

– Скажите мне, Крюк, действительно ли вы во время одного из своих столь редких, но иногда случающихся появлений в классной комнате – насколько мне известно, речь идет о пятом «Г» классе – обозвали меня «тупоголовой свиньей»? Мне сообщили, что вы изволили выразиться именно таким образом. Скажите мне, будьте добры, это действительно так? Судя по изяществу выражения, это очень похоже на вас.

Опус Крюк некоторое время поглаживал свой длинный, торчащий вперед подбородок.

– Весьма вероятно, – произнес он наконец, – но точно вам сказать не могу. Я никогда не прислушиваюсь к словам!

И тут поразительный пароксизм смеха начался снова – его тело беспомощно сотрясалось.

– Однако удобно иметь такую выборочную память, – сказал Призмкарп, и в его резком голосе, которым он четко и рвано произносил слова, прозвучало некоторое, хотя и едва уловимое, раздражение. – Но что это? – спросил он, услышав какой-то непонятный звук, раздавшийся в коридоре. Звук был похож на высокий, жалобный крик чайки. Опус Крюк приподнялся на одном локте. Звук, сохраняя тот же высокий тон, становился все громче. Тут дверь распахнулась – и в дверях, как в раме, появился Глава Школы.

Глава одиннадцатая

Если существует вневременной архетип начальника, то он воплотился в Мертвизеве. Он представлял собой в чистом виде символ директорства. По сравнению с ним даже господин Крюк показался бы очень занятым человеком. Мертвизев почитался гением – никто, кроме гения, не смог бы так умело и тонко передать свои обязанности другим, причем в такой степени, что ему абсолютно ничего уже не приходилось делать. Его подпись, время от времени требующаяся под каким-нибудь длинным документом, который все равно никто не читал, всегда успешно подделывалась кем-нибудь другим. И распоряжения, на которых держалось его величие, тоже разрабатывались другими.

Мертвизева, сидящего на высоком шатком стуле, к ножкам которого были приделаны колесики, толкал крошечный веснушчатый человечек. Стул, на котором восседал Глава Школы, весьма напоминал по своей величине и устройству высокие детские стульчики, в которые водружают детей для кормления; это впечатление лишь усиливалось наличием полочки, укрепленной впереди, над которой частично возвышалась голова Мертвизева. Стульчик сообщал всем о приближении Главы Школы, так как колесики давно не смазывались и нещадно визжали.

Мертвизев и веснушчатый человек были ошеломляюще непохожи друг на друга. Глядя на них, трудно было предположить, что оба они принадлежат к роду человеческому. Было такое впечатление, что ничего общего у них как у живых существ не было. Хотя у каждого из них было по две ноги, два глаза, по одному рту и так далее, они были не более похожи друг на друга, чем, скажем, жираф и лягушка, которых ради удобства классифицируют под общим и вместительным названием «фауна».

Завернутый, как неряшливо упакованная посылка, в серо-стального цвета мантию, расшитую знаками зодиака в двух оттенках зеленого – ни один из этих знаков из-за многочисленных складок нельзя было рассмотреть полностью, за исключением Рака, виднеющегося на левом плече, – Мертвизев преспокойно спал, поджав ножки, согреваемые грелкой.

На его лице застыло выражение человека, давно смирившегося с тем, что единственное различие одного дня от другого для него заключалось в переворачивании листков календаря.

Его ручки безвольно лежали перед ним на полочке на высоте подбородка. После того как Главу Школы вкатили в Преподавательскую, он открыл один глаз и невидящим взглядом уставился в дым. Он не спешил с рассматриванием комнаты, и когда спустя несколько минут различил в комнате три фигуры, то вполне этим удовлетворился. Фигуры стояли перед ним, выстроившись в линейку. Опус Крюк, будучи одной из них, достаточно быстро успел вытащить свое тело из «колыбели» – при этом казалось, что он борется с силой, засасывающей его назад. Теперь Крюк, Роцезвон и Призмкарп внимательно смотрели на Мертвизева.

Лицо последнего было мягким и круглым как пельмень; казалось, под кожей головы у него не было никаких костей.

Это неприятное обстоятельство наводило на мысль о том, что Мертвизев обладал таким же неприятным характером. Однако, к счастью, это было не так, хотя следует признать, что взгляды Мертвизева были такими же бесхребетными, как и его внешний вид. В его характере не было, так сказать, ни единой косточки, однако это не следовало рассматривать как некую слабость – только как отсутствие характера. Ибо его телесная и душевная дряблость не были результатом сознательных усилий по достижению такого качества – подобным образом нельзя считать, что медуза сознательно ленива.

Вид полной отрешенности и непричастности ко всему окружающему производил почти пугающий эффект. Именно такие состояния полного неучастия тушат огонь действия, горящий в страстных натурах, и заставляют их задуматься: зачем расходовать столь много душевной и телесной энергии, когда каждый день приближает к могильным червям? Мертвизев благодаря своему темпераменту или, точнее, отсутствию такового достиг помимо своей воли того, к чему стремятся мудрые: полного умиротворения и уравновешенности. В его случае это была уравновешенность, установившаяся между двумя полюсами, которых попросту не существовало. Но тем не менее Мертвизев замер в полной неподвижности на этой поворотной точке и чувствовал там себя очень удобно.

Веснушчатый человек выкатил стульчик в центр комнаты. Кожа так плотно обтягивала его костистое и насекомоподобное лицо, что веснушки казались в два раза большими, чем на любом нормальном лице. Этот крошечный карлик выглядывал между ножками стульчика, внимательно все перед собой рассматривая; его волосы цвета подгнившей моркови, блестящие от помады, были гладко зачесаны назад и плотно прилипали к маленькому черепу. Он видел вокруг себя стены, обитые кожей, вздымающиеся ввысь и исчезающие в клубах дыма (и пахнущие соответственно); на фоне грязно-коричневой кожи поблескивали булавки.

Мертвизев сдвинул руку с полочки и лениво поворочал одним пальцем. «Кузнечик» (а таково было прозвище карлика) вытащил из кармана лист бумаги, но вместо того, чтобы передать ее Главе Школы, с поразительной легкостью, как обезьяна, вскарабкался по боковым перекладинам стульчика и закричал в ухо Мертвизева:

– Еще рано! Еще рано! Их только трое!

– В чем дело? – сказал Мертвизев голосом, в котором звучала лишь пустота.

– Их только трое!

– Которые из них? – спросил Мертвизев после долгого молчания.

– Рощезвон, Призмкарп и Крюк, – объявил Кузнечик своим звонким, действительно похожим на стрекотание кузнечиков, голосом.

– А что, этого разве недостаточно? – пробормотал Мертвизев с закрытыми глазами. – Они же входят в состав... моих преподавателей... разве нет?

– Очень даже входят, – сказал Кузнечик, – очень даже входят. Но ваше распоряжение, господин Директор, касается всех преподавателей!

– Я забыл, о чем оно. Напомни... мне.

– Оно записано на бумаге, господин Директор, – ответил Кузнечик. – Эта бумага у меня в руках. Нужно просто ее прочитать!

Маленький рыжеволосый человек удостоил трех преподавателей особо дружеским подмигиванием. Было что-то непристойное в том, как веко цвета воска и легкое как лепесток многозначительно прикрыло блестящий глаз и поднялось вверх ровным, механическим движением.

– Отдай мое распоряжение Рощезвону. Он прочитает его... когда соберутся все, – сказал Мертвизев и, опустив другую руку с полочки, расположенной перед ним, лениво погладил грелку. – И узнай, почему остальные так запаздывают.

Кузнечик в мгновение ока слетел с верхней перекладины стульчика на пол и, странно откинувшись назад, быстро, развязной походкой направился к двери. Но он не успел ее открыть – дверь распахнулась, и еще два преподавателя вошли в комнату. Одним из них был Шерсткот, несущий в руках охапку тетрадей; рот у него был набит семечками подсолнуха, на губах прилипла шелуха. Вторым был Осколок; хотя в руках он ничего не держал, голова у него была полна всяческими мыслями о роли подсознания; правда, его интересовало подсознание других, а не свое собственное. Его друга, по имени Усох, который должен был вот-вот прийти,

наоборот, интересовало только свое подсознание и совершенно не интересовало подсознание других.

Шерсткот очень серьезно относился к своей работе и всегда имел озабоченный вид. Но и ученики, и коллеги относились к нему плохо. Значительная часть того, что он делал, всегда оставалась незамеченной и неотмеченной, но он старательно выполнял все, что требовалось по работе. Чувство ответственности быстро превращало его в больного человека. Жалобное выражение никогда не покидало его лица; с одной стороны, оно должно было показать, что он осуждает других за недостаточной пыл в работе, а с другой – продемонстрировать, сколь велико его рвение. В Профессорскую он всегда приходил слишком поздно (и ни одного свободного стула для него уже не оставалось) и слишком рано приходил в аудиторию, когда ученики еще не собрались. Когда он спешил, то постоянно обнаруживал, что рукава его мантии завязаны хитроумным узлом, а вместо сыра в его бутерброде оказывалось мыло. Он не имел никакого представления о том, кто мог подшучивать над ним таким образом. Равно как и не знал как же не допускать того, чтобы это случилось?

В этот раз, когда Шерсткот вошел в Преподавательскую с охапкой тетрадей в руках и семечками во рту, он находился в состоянии своего обычного нервного возбуждения. Его состояние отнюдь не улучшилось, когда он увидел Главу Школы, восседающего на своем высоком стульчике, как Зевс в облаках. Он настолько растерялся, что подавился семечками, а вся стопка неаккуратно сложенных тетрадей накренилась и рухнула с громким стуком на пол. В наступившей затем тишине раздался стон. Но это просто Роцезвон, обхватив лицо руками и качая благородной головой, сообщал таким образом о состоянии своих зубов.

Осколок, слегка поклонившись в сторону Главы Школы, проследовал вглубь комнаты и, подойдя к Роцезвону и взяв того дружеским жестом за руку у плеча, спросил:

– Мой бедный Роцезвон, вам больно? Вам больно?

Голос у него при этом был жестким, раздражающим, нагло-требовательным – в нем было столько же сострадания, сколько в груди вампира.

Роцезвон гордо встряхнул своей царственной головой, но не снизошел до ответа.

– Ну, в таком случае остается предположить, что вас в данный момент мучает боль, – продолжал Осколок. – Положим эту гипотезу в основание дальнейших рассуждений. Итак: Роцезвон, человек, которому уже давно за шестьдесят, но, вероятно, еще нет восьмидесяти, подвергся приступу боли. Во всем нужно соблюдать точность. Как человек науки, я настаиваю на том, что точность нужна во всем. Ну, и каков же наш следующий шаг? Уточняем: от какой именно боли страдает Роцезвон, который, как мы предположили, испытывает боль? Судя по всему, Роцезвон полагает, что его боль имеет какое-то отношение к его зубам. Это совершенно абсурдное предположение, но его ради научной точности следует тоже принять во внимание. Теперь зададимся вопросом: по какой причине подозрение пало на зубы? Отвечаем. Потому что зубы – символ Все – символ чего-то другого. Не существует «вещи-в-себе». Каждая «вещь» – это символ какой-то другой «вещи», а та другая «вещь» – символ третьей и так далее. Насколько я понимаю, зубы Роцезвона, хотя и в самом деле находящиеся в состоянии распада и разложения, являются просто символом пораженного недугом мозга.

Роцезвон что-то прорычал.

– Но какого рода этот недуг? Физиологического? Или затронут рассудок?

Осколок, ухватившись за мантию Роцезвона чуть ниже плеча, потянул его к себе и, задрав голову, стал внимательно рассматривать большую голову, возвышающуюся над ним.

– У вас дергаются губы, – сказал Осколок. – Интересно., очень интересно. Хотя, возможно, вы и не знаете этого, но в жилах вашей матери текла плохая кровь. Очень плохая. Возможна и другая альтернатива: вам снятся лягушки. Но это сейчас не важно, совершенно не важно.

Вернемся к нашей теме. На чем мы остановились? Ах да – ваши зубы, символ – чего мы сказали? – болезненного ума. Но в чем заключается эта болезненность? Вот в чем вопрос. Какого рода дисфункция ума могла повлиять на зубы таким образом? Будьте так добры, откройте рот, господин Роцезвон...

Роцезвон, которого все эти замечания окончательно вывели из терпения и лишили способности соблюдать приличия, поднял свой огромный ботинок и обрушил его в слепой ярости – но не без удовольствия – на ноги Осколлока. Ботинок прикрыл сразу обе туфли Осколлока и, должно быть, причинил величайшую боль – гримаса исказила мгновенно покрасневшее лицо Осколлока, но он не издал ни единого звука, а секундой позже повторил:

– Интересно, очень интересно... все же, скорее, это от вашей матери...

Опус Крюк снова затрясся в своем беззвучном смехе, и непонятно было, как его не переломило пополам. Но никакого звука при этом он все-таки не издал.

К этому времени несколько других преподавателей, двигаясь почти на ощупь, проникли сквозь дым в комнату. Среди них был Усох, приятель и в определенной степени последователь Осколлока. Он разделял взгляды последнего, но, так сказать, в обратном порядке. По сравнению с тремя другими преподавателями, которые вошли за ним, его можно было бы назвать бунтовщиком. Те трое, двигаясь очень плотной группой – настолько плотной, что их квадратные преподавательские шапочки ^[1] почти соприкасались своими сторонами, прошествовали в угол комнаты и расселись на стульях; вид у них был весьма заговорщицкий. Эти трое всегда были сами по себе; они не поддерживали никаких отношений ни с одним из других преподавателей; можно было бы даже подумать, что они посторонние люди. Они чтити лишь некоего дряхлого мудреца – личность, заросшую бородой до глаз и никогда ничем конкретным не занимавшуюся, – чьи высказывания о Смерти, Вечности, Боли (точнее, об ее отсутствии), Правде и других глубоких философских проблемах барабанным боем звучали в их ушах.

Придерживаясь взглядов своего Учителя по всем этим глубочайшим проблемам, троица не только сторонилась, но и страшилась общения со своими коллегами; в них развилась весьма колючая озлобленность, которая, как не раз отмечал Призмкарп, не стеснявшийся говорить людям жестокую правду в лицо, находясь в полном противоречии с их теорией «несуществования». «Отчего вы такие колючие, – говаривал он, – ведь, по-вашему, нет боли, а значит, и колоть кого-то бессмысленно?» Выслушав эти выпады, Зернашпиль, Заноз и Врод смыкались еще ближе, становясь похожими на черную палатку, и быстренько совещались, производя звуки, напоминавшие бульканье воды, вытекающей из бутылки. Как им иногда хотелось, чтобы их бородатый Вождь был всегда рядом с ними! Он-то знал бы, что ответить на любой наглый и вызывающий вопрос.

О, эти трое были несчастливы, и такое расположение духа проистекало не от врожденной меланхолии, а от взглядов и теорий, которых они придерживались. Так они и сидели в своем углу; вокруг них витали клубы дыма, их взгляды перемещались с одного из их коллег на другого (всю эту братию они почитали еретиками), в глазах – подозрительность и ревностный страх: не бросит ли кто-либо вызов их вере?

Кто еще вошел в Профессорскую? Только Срезоцвет-красавчик, Корк, живущий чужим умом, и Пламяммул, холерик.

А тем временем Кузнечик стоял в коридоре и, заложив пальцы в рот, производил невероятно резкий, оглушающий свист. Призвал ли этот свист задерживающихся, или же они так или иначе направлялись в Профессорскую, сказать трудно, но еще несколько преподавателей появились в коридоре. В чем можно не сомневаться, так это в том, что посвисты Кузнечика заставили их ускорить шаг. Уже на подходе к Преподавательской их стал окутывать дым, – все усиленно раскуривали свои трубки, так как им совсем не хотелось входить в Крюков

дымный ад, как они называли Преподавательскую, с «девственными легкими», иначе говоря, легкими, еще не наполненными табачным дымом.

– Зевс здесь, – объявил Кузнечик, когда преподаватели приблизились к двери. Над разлетающимися в разные стороны складками мантий шагающих в ряд преподавателей поднялись удивленно брови – не так уж часто им доводилось видеть здесь Главу Школы.

Когда наконец дверь, впустив последнего из прибывших, закрылась за ним, кожаная комната превратилась в место, губительное для астматика. Никакие комнатные растения здесь не могли бы выжить, за исключением разве что каких-нибудь иссохших представителей пустынь или колючих кактусов, произрастающих в пыли и безводье. Любая птица, даже ворона, в течение часа погибла бы здесь, задохнувшись в дыму. Атмосфера, царившая в комнате, не имела ничего общего с запахами, разносящимися в час рассвета над полями и лесами, где трава покрыта росой, где журчат ручейки, где бледнеет звездное небо. Нет, это была кожаная пещера, наполненная сизо-коричневым дымом.

Кузнечик, едва различимый в этом дыму, снова забрался по перекладинам высокого стульчика и обнаружил, что Мертвизев спит, а грелка его остыла. Он ткнул своим маленьким костлявым пальчиком в ребра Главы Школы, как раз в том месте, где в складках мантии накладывались друг на друга Бык и Телец. Голова Мертвизева опустилась еще ниже и теперь едва виднелась над полочкой; ножки он во сне поджал под себя. Он был похож на какое-то создание, которое потеряло свою раковину, ибо лицо его выглядело отвратительно обнаженным, словно лишенным защитного покрова.

Тычки Кузнечикова пальца разбудили Мертвизева, но от резкого пробуждения он не вздрогнул, что было бы естественной и нормальной реакцией. Но такая реакция была бы равносильна проявлению интереса к жизни, и поэтому он только открыл один глаз. Переведя взгляд с лица Кузнечика, Мертвизев позволил ему прогуляться по комнате и оглядеть сборище мантий, стоявшее перед ним.

Затем он снова закрыл глаз и медленно спросил:

– Что... это... за люди? И зачем... они... здесь? – Его голос поплыл по комнате, как воздушный шарик, – И почему я здесь? – добавил он.

– В этом есть большая необходимость, – ответил Кузнечик, – Я хочу напомнить вам, господин Директор, о том, что нужно огласить распоряжение Баркентина.

– Да, действительно, – сказал Мертвизев, – но читай не слишком громко.

– Может быть, пускай прочтет Роцезвон, господин Директор?

– Да, пускай читает он, – сказал Глава Школы, – Но сначала поменяй воду в моей грелке. Она совсем остыла.

Кузнечик, взяв грелку, спустился на пол и стал быстро пробираться между преподавателями по направлению к двери. По пути он, используя плохую видимость в комнате и прежде всего исключительную ловкость своих крошечных тоненьких пальчиков, избавил Шерсткота от золотых часов на цепочке, Осколлока от нескольких монет, а Срезоцвета от вышитого платка.

Вернувшись с горячей грелкой, Кузнечик обнаружил, что Мертвизев опять заснул. Кузнечик вручил Роцезвону свернутый в трубочку лист бумаги и снова взобрался на стульчик, чтобы разбудить Главу Школы.

– Читайте, – сказал Кузнечик. – Это предписание Баркентина.

– А почему я должен читать? – воскликнул Роцезвон, прижимая руку к щеке, – Черт бы побрал Баркентина с его указами! Черт бы его побрал!

Роцезвон развязал ленточку на трубочке и, частично развернув лист, тяжелой походкой направился к окну, где было немного больше света.

Преподаватели расселись на полу, группами и поодиночке, среди пепла и мусора. Не хватало лишь вигвама, перьев и томагавков, чтобы завершить сходство с индейским племенем, собравшимся на сходку.

– Давай, Роцезвон, давай! – подбодрил Призмкарп. – Всади в эту бумагу свои прелестные зубки!

– Будучи филологом-классиком, – раздраженно заявил Осколлок, – представляя, иначе говоря, классическую филологию, должен заявить, что я всегда считал, что Роцезвон страдает серьезными умственными недостатками. Первое: он не понимает предложений, в которых наличествует более семи слов, и второе: его рассудок затемнен фрустрационным комплексом, иначе говоря – он стремился к власти, ее не получил, и на этой почве у него образовался серьезный комплекс.

Сквозь дым донеслось сдавленное рычание.

– Ага, вот в чем дело! Вот где собака зарыта! – раздался голос Срезоцвета, Срезоцвет сидел на ближнем краю стола, болтая своими длинными, элегантными ногами. Его узконосые штилеты были так начищены, что отблески от них были различимы даже сквозь дым – так видны горящие факелы в густом тумане.

– Роцезвон, – поддержал Срезоцвет призыв Призмкарпа, – вперед, дерзайте! Дайте нам суть этого документа, самую суть! Но похоже, этот старый мошенник разучился читать!

– А, это Срезоцвет! – раздался другой голос, – А я искал тебя все утро. Будь я проклят, но до чего замечательно у тебя начищены туфли! А я-то думал – что это там поблескивает!.. Но если говорить серьезно – мне очень неудобно, Срезоцвет, действительно неудобно, но я бы хотел попросить... Жена моя далеко отсюда – она очень больна. Но что я могу поделывать? Я такой транжира. Раз в неделю съедаю целую шоколадку. Понимаешь, приятель – это все, конец, ну, почти... если только... я вот подумал... эээ... не мог бы ты, одолжить немного?.. Ну, хоть что-нибудь до вторника... чтоб никто не знал, конфиденциально, так сказать... ха-ха-ха-ха!.. Просить так неприятно... нищета и все такое... Ну, серьезно, Срезоцвет – однако туфли у тебя – глаза слепят! – ну, серьезно, если б ты мог...

– Тишина, – закричал Кузнечик, прерывая тем самым Корка, который обнаружил, что Срезоцвет сидит рядом с ним, только после того, как тот подал голос; голос Срезоцвета можно было легко распознать по манерности речи. Всем было прекрасно известно, что ни далеко, ни близко, ни больной, ни здоровой жены у Корка нет, – вообще никакой жены нет. Всем было также известно, что Корк просил одолжить ему денег не потому, что он действительно нуждался, а потому, что ему хотелось показать, какой он мот и бонвиван. Корку казалось, что рассказы о жене, умирающей где-то далеко в невыносимых страданиях, придают ему невероятно романтический ореол. И ему нужно было вызвать у коллег не сочувствие, а зависть. Ведь если у него нет далекой и страдающей супруги, то что он из себя представляет? Просто Корк, вот и все. Корк – для коллег, и Корк – для себя самого. Просто четыре буквы на двух ногах.

Но Срезоцвет не слушал Корка – он незаметно, под прикрытием дыма, соскользнул со стола и манерной походкой двинулся прочь и тут же, через пару шагов, наступил на чью-то протянутую ногу.

– Да проглотит тебя Сагана! – проревел страшный голос с пола. – Да отсохнут твои вонючие ноги, кто бы ты ни был!

– Бедный старый Пламямул! Бедный старый боров! – произнес чей-то голос, но чей, было непонятно. В полутьме – кто-то (или что-то) раскачивался – или раскачивалось, но звуков, которые бы сопровождали это раскачивание, не было слышно.

Шерсткот покусывал нижнюю губу – он опаздывал к началу урока. Все опаздывали, но

никого, кроме Шерсткота, это обстоятельство не беспокоило. Шерсткот знал, что в его отсутствие потолок забрызгают чернилами, что этого маленького роста, кривоногий мальчишка Дилетан уже катается под своей партой в конвульсиях, вызванных неприличной шуткой, что рогатки звенят резинками, посылая снаряды во всех направлениях, что пакетики с вонючей жидкостью превращают классную комнату в зловонную преисподнюю. Он все это знал, но ничего поделать не мог. Остальные знали, что подобные же вещи творятся и в их классах, но ни у кого не было ни малейшего желания предпринять что-либо по этому поводу.

В дымной полутьме раздался голос:

– Господа, прошу тишины! Господин Роцезвон, пожалуйста... А другой голос бормотал:

– О, черт, мои зубы, мои зубы! А еще один сообщал:

– Все было бы в порядке, если бы ему не снились лягушки...

А другой вопрошал:

– А где мои золотые часы?

Но все голоса перекрыл призыв Кузнечика:

– Тишина, господа, тишина! Господин Роцезвон! Начинайте читать! Вы готовы?

Кузнечик посмотрел на Мертвизева, на лице которого застыло все то же пустое и отсутствующее выражение.

– Действительно. а почему бы и нет? – сказал Мертвизев, невероятно растягивая слова. Роцезвон начал читать:

"Распоряжение

номер 159757774528794925768923456789324563.

Мертвизеву, Главе Школы, и господам членам профессорско-преподавательского состава, всем привратникам, наставникам и всем, облаченным властью.

Сим доводится до сведения Главы Школы, членов профессорско-преподавательского состава, привратников, наставников и иже с ними, что им строго предписывается обращаться с семьдесят седьмым Герцогом, а именно Титом, Правителем Горменгаста, пребывающем ныне в возрасте семи лети... стольких-то месяцев... и соответственно переходящего к сознательному возрасту, во всех отношениях и в любой ситуации как с любым другим несовершеннолетним, вверенным им для обучения и воспитания, не оказывая никакого предпочтения и не позволяя ничего непредписанного. Особо следует уделить внимание тому, чтобы воспитывать в упомянутом Герцоге Тите неискоренимое чувство долга и ответственности, которая возляжет на него по достижении им совершеннолетия, после чего Герцог Тит, несмотря на проведенные формирующие личность годы среди детей низших классов Замка, должен не только развить в себе остроту ума, получить знание о человеческой сущности и проявлять выдержку и настойчивость, но и приобрести знания в разных областях в той степени, которая зависит от ваших усилий, господин Глава Школы, и от ваших усилий, господа члены профессорско-преподавательского состава, направленных на обучение юношества, что является вашим святым долгом, не говоря уже о той чести, которая вам таким образом доверена.

Все вышеуказанное вам, господа, хорошо известно, или по крайней мере должно быть хорошо известно, но поскольку семьдесят седьмому Герцогу пошел восьмой год,

я посчитал необходимым напомнить вам о ваших обязанностях, ибо, пребывая в качестве Хранителя Ритуала... и т. д., я тем самым уполномочен посещать классные комнаты в любое удобное для меня время для ознакомления с тем, как осуществляется преподавательский учебный процесс и какие знания вы преподаете своим ученикам, и особенно с тем, насколько успешно молодой Герцог осваивает знания по преподаваемым вами предметам.

Господин Мертвизев, я предписываю вам разъяснить всем преподавателям, находящимся в вашем подчинении, насколько важна их деятельность, и особое внимание уделить..."

Роцезвон закрыл челюсть с таким стуком, словно молот упал на наковальню, и отшвырнув от себя бумаги, рухнул на колени, взыв так, что Мертвизев настолько проснулся, что открыл оба глаза.

– Что это было? – спросил он у Кузнечика.

– Роцезвона мучает боль, – прояснил карлик. – Мне дочитать?

– Действительно, почему бы и нет? – сказал Мертвизев.

Лист бумаги был передан Кузнечику Шерсткотом, который нервничал, воображая, что Баркентин уже стоит в его классной комнате и смотрит, оперевшись на свой костыль, поднимая глаза цвета грязной жидкости к потолку, заляпанному чернилами, которые уже наверняка начали стекать по стенам.

Кузнечик ловко выхватил бумагу из рук Шерсткота и, издав свой пронзительный свист с помощью хитрой комбинации пальцев, губ и языка, приготовился читать дальше с того места, где остановился Роцезвон. Свист был таким мощным и пронзительным, что все те преподаватели, которые позволили себе занять полулежачее положение, немедленно подскочили и сели, выпрямив спины.

Кузнечик читал очень быстро – слова налетали друг на друга – и закончил чтение распоряжения Баркентина чуть ли не на едином дыхании:

"... разъяснить всем преподавателям, находящимся в вашем подчинении, насколько важна их деятельность, и особое внимание уделить тем членам профессорско-преподавательского состава, которые путают исполнение своих благородных обязанностей с простой привычкой, превращаясь тем самым в отвратительных ракушек, прилепившихся к живой скале знаний, или в зловредную поросль, препятствующую свободному дыханию Замка.

Подписано: Баркентин, Хранитель Ритуала и Обрядов, Наследственный Надзиратель за рукописями и т. д.

За Баркентина подписал Щуквол".

Кто-то зажег фонарь. Поставленный на столе рядом с чучелом пеликана, он не рассеял дымной полутьмы, а лишь осветил тусклым светом грудь чучела. Было что-то постыдное в том, что в летний полдень пришлось зажечь свет.

– Если кто-то и заслуживает по праву быть названным отвратительной ракушкой, запутавшейся в зловонных водорослях, так это вы, мой друг, – сказал Призмкарп, обращаясь к Роцезвону, – Вы хоть понимаете, что это послание обращено именно к вам? Вы слишком стары, чтобы учительствовать. Слишком стары. Что вы будете делать, мой друг, когда вас изгонят? Куда вы отправитесь? У вас есть кто-нибудь, кто любил бы вас и кто принял бы вас?..

– О, гори оно все синим пламенем! – закричал Роцезвон таким громким и срывающимся

голосом, что даже Мертвизев улыбнулся. Это, возможно, была самая малозаметная, самая бледная улыбка, которая когда-либо появлялась на нижней части человеческого лица. Глаза Мертвизева никакого участия в улыбке не приняли. В них было столько же мысли и чувства, как и в блюде с молоком, но один уголок губ все же едва заметно приподнялся – словно дернулся холодный рот рыбы.

– Господин... эээ... Кузнечик, – сказал Мертвизев, позабыв было, как зовут карлика; голос у него был такой же призрачный, как и улыбка. – Кузнечик, где ты, микроб?

– Я здесь, господин Директор, – отозвался Кузнечик.

– Кто произвел этот звук?.. Роцезвон?

– Именно он, господин Директор.

– А... как... он... поживает?

– Он страдает от боли, – пояснил Кузнечик.

– Острой... боли?

– Я могу поинтересоваться, господин Директор.

– Действительно... почему бы и нет?

– Роцезвон! – выкрикнул Кузнечик.

– В чем дело, черт возьми? – огрызнулся тот.

– Господин Директор интересуется вашим здоровьем!

– Моим здоровьем? – переспросил Роцезвон.

– Вашим, вашим, – подтвердил Кузнечик.

– Что вы хотели узнать, господин Директор? – спросил Роцезвон всматриваясь в дымный полумрак.

– Подойди поближе, – отозвался Мертвизев. – Я не вижу тебя, мой бедный друг.

– И я вас не вижу, господин Директор.

Роцезвон приблизился к высокому стульчику.

– Вытяни руку Роцезвон. Ты чувствуешь что-нибудь?

– Это ваша нога, господин Директор?

– Это она, мой бедный друг.

– Да, господин Директор, я это тоже могу подтвердить, – сказал Роцезвон.

– А теперь скажи мне... скажи мне...

– Что, господин Директор?

– Ты болен... мой бедный друг?

– Локальная боль, господин Директор.

– Где локализована? В мандибулах?

– Именно там, господин Директор.

– Как и в те... давние... времена... когда ты... был честолюбив... и хотел... многого... достичь... когда у тебя... были... идеалы... Роцезвон... У нас... у всех... мы все... возлагали... большие... надежды... на тебя... насколько... я помню... – (Раздался звук, который, очевидно, должен был изображать смех, но был похож на бульканье кипящей каши)

– Именно так, господин Директор.

– Кто-нибудь... все еще... верит... в тебя... мой бедный... бедный... друг?

Ответа не последовало.

– Ну не сердись. От судьбы... не уйдешь... мой друг. Разве... можно порицать... увядший... желтый лист. О, нет.... Роцезвон... мой бедный друг... ты достиг... полной зрелости... Может быть... даже перезрел... Кто знает? Мы... все... должны... ложиться... в постель... вовремя... А как ты... выглядишь... мой друг... Все так же?

– Мне трудно судить, господин Директор.

– О, я устал... – пробормотал Мертвизев – Что... я... здесь... делаю? И где этот... этот... микроб... Кузнечик?

– Я здесь господин Директор! – Эти слова прозвучали как выстрел из мушкета.

– Забери... меня... отсюда... Выкати меня... туда где... тихо и спокойно... Кузнечик... вези меня... в мягкую тьму... – Его голос неожиданно поднялся резко вверх и достиг уровня тоненького визга, и хотя он по-прежнему звучал пусто и механически, в нем все же появились какие-то живые нотки. – Вези... меня... вези... в золотую... пустоту...

– Слушаюсь, господин Директор, – ответил Кузнечик. Профессорская наполнилась криками беснующихся чаек – визжали несмазанные колесики высокого стульчика, который, подталкиваемый Кузнечиком, делал разворот. Шерсткот, бросившись вперед нашарил ручку двери и широко распахнул ее. В коридоре света было значительно больше, но он несколько померк, когда туда сквозь открытую дверь повалили клубы дыма. На светлом фоне вырисовывался силуэт Мертвизева – он был похож на мешок, водруженный на ожившую неустойчивую пирамидальную конструкцию. Стульчик выехал в коридор, визг его колесиков стал удаляться и вскоре стих.

Прошло довольно продолжительное время, прежде чем тишина, воцарившаяся в Профессорской, была нарушена. Никто никогда не слышал ранее, чтобы голос Главы Школы поднимался на такую высоту, как это случилось в его прощальных фразах. И это произвело на всех странное, даже пугающее впечатление. Никто также не мог припомнить, чтобы Мертвизев разглагольствовал столь много и столь невразумительно. Страшно подумать – а вдруг в нем присутствует нечто большее, чем пустота, с которой все уже давно свыклись? Но так или иначе – наконец раздался голос, разорвавший задумчивую тишину.

– Весьма и весьма сухое распоряжение, – сказал Корк.

– Ради всего нечестивого – света, света! – воскликнул Призмкарп.

– Боже, который же теперь час? – прохныкал Шерсткот. Кто-то разжег огонь в камине, использовав для растопки несколько тетрадей из тех, что Шерсткот обронил на пол и не успел потом собрать. Сверху на занимающийся огонь был положен глобус, сделанный из легковоспламеняющихся материалов, которые обеспечили огню прекрасное горение – континенты охватил мировой пожар, вскипели океаны, сгорела надпись, угрожающая ученику расправой розгами, которая так и не состоялась – учитель забыл, а ученик не напомнил.

– Однако, однако, – приговаривал Срезоцвет. – Если подсознание Мертвизева не есть проявление его самосознания – можете называть меня слепым дураком! Вот так – можете, если я ошибаюсь, называть меня слепым дураком. Вот так штука! Кто бы мог подумать, а?

– Который час, господа? Кто мне скажет, который час? – вопрошал Шерсткот, пытаясь собрать с пола тетради. Все происшедшее крайне растревожило его, и собранные тетради он тут же ронял обратно на пол.

Господин Усох выхватил одну из тетрадей из огня и, держа ее за еще не охваченный пламенем край, поднес к настенным часам.

– До конца урока осталось всего двадцать минут, – сказал он. – Наверное, уже не имеет смысла... или имеет? Лично я полагаю, я просто...

– И я тоже, я тоже, – воскликнул Срезоцвет. – Если моя классная комната не охвачена в настоящий момент пожаром или не затоплена водой – можете называть меня безмозглым дураком!

Очевидно, та же мысль пришла в головы всем присутствующим, ибо началось всеобщее движение к двери. Неподвижным оставался лишь Опус Крюк, распростертый в своем продавленном кресле; его булкообразный подбородок был вздернут к потолку, глаза закрыты, а линия плотно сомкнутого безгубого рта выражала скуку и лень. В коридоре шуршали и

шелестели развевающиеся мантии спешащих к своим классам преподавателей; затем затарахтели ручки открываемых дверей, и в классные комнаты ворвались Профессоры Горменгаста.

Глава двенадцатая

Воздух, словно зажатый между землей и застилавший все небо от горизонта до горизонта плотным и на вид твердым, как крыша, покровом облаков, был недвижим. Из-за какого-то особого эффекта освещения казалось, что все, находящееся под этой крышкой облаков, погружено в воду.

В этом подводном свете, на одной из давно забытых и заброшенных террас Горменгаста стояли дрожащие и время от времени скрывающиеся в проползающих тучах цапли.

Каменная лестница, ведущая к этой площадке, полностью заросла вьющимися и ползучими растениями. Сотни лет ни одна нога не ступала на ступени, поросшие густым черным мхом, который устилал их как мягкий ковер; никто не подходил к зубцам стены на краю площадки, где сейчас стояли цапли и дрались вороны. Здесь уже столетия царствовали солнечные лучи, дождь, мороз, снег и ветры, разрушая и выветривая изъеденный временем камень.

В стене, выходящей на эту террасу, было огромное окно, в котором теперь не осталось не только стекла, но даже следов рамы и ее железных креплений. Сквозь это зияющее фигурное отверстие виднелась часть погруженного в полумрак зала. По обеим его сторонам, на довольно значительном расстоянии друг от друга, располагались еще две дыры, значительно меньшего размера, тоже служившие когда-то окнами. Цапли, поселившиеся в зале, придавали ему некую торжественность. В гнездах, свитых на полу, они откладывали яйца и выхаживали птенцов. Хотя цапли здесь царствовали, все же в нишах и боковых помещениях селились, в соответствии с освященным веками обычаем, кваквы и выпы.

В зале, где в незапамятные времена размеренно двигались, приседали и поворачивались под звуки давно забытой музыки нарядно одетые люди, теперь стоял известково-белый лес величавых птиц. Иногда, когда заходящее солнце склонялось к горизонту, его пологие лучи проникали в зал. И гнезда, сплетенные из веточек и прутиков, отбрасывали вытянутые ажурные тени, напоминающие пораженные какой-то болезнью кораллы; если это была весна, то там и сям поблескивали, подобно драгоценным камням, бледные голубовато-зеленые яйца; потом приходило время, когда заходящее солнце освещало своими лучами тоненьких, покрытых пухом птенцов, которые склоняли длинные шеи, словно высматривая что-то в пустых окнах.

Последние лучи вырвавшегося из-под облаков солнца, уже не достававшие до выщербленного пола, вспыхивали на длинных, роскошных перьях, которые свисали с горла цапли, стоявшей у полуразрушенного камина; потом луч перемещался на рядом стоящую птицу, и она загоралась ярким белым пятном на фоне погружающегося в темноту зала... А затем, когда луч добирался до большой ниши в стене, там зажигались полоски и пятна красновато-желтых выпей и квакв.

С приближением темноты эффект подводного освещения, разлитого вокруг, лишь усилился. Далеко-далеко, за пределами внешней стены Замка Горменгаст, за лугами, за рекой, за холмами, заросшими лесом, над землями, уже покрытыми всекры-вающей мглой, сияла, словно вырезанная из малахита, напоминающая по форме когтистую птичью лапу вершина Горы Горменгаст. Цапли стали пробуждаться от своего транса, и зал наполнился прищелкиванием клювов и таратореньем птенцов – они знали, что с наступлением сумерек родители отправятся на охоту.

Несмотря на то что под куполообразным сводом зала – когда-то потолок покрывала живопись в золотых и зеленых тонах, а теперь потемневшая поверхность потеряла почти все следы краски, которая оставалась лишь в виде отшелушившихся, но все еще висящих, как крыльшки ночных бабочек, лохмотьев – было множество цапель, птицы выходили на террасу по

одной. Каждая цапля, каждая выпь выступала отдельно, отрешенно, как отшельник, торжественно переступая своими тонкими, ходулеобразными ногами.

Потом вдруг сумерки наполнились глухими звуками – птицы ударили крыльями по ребрам и взлетели в воздух. Они взлетали группами, одна за другой – шеи выгнуты, большие закругленные крылья поднимаются и опускаются в неспешном полете. Время от времени та или иная цапля издавала хриплый крик, от которого у человека волосы становятся дыбом, более страшный и потусторонний, чем похожее на мычание быков уханье выпей, которые взмывали кругами ввысь, пробиваясь сквозь облака и взлетая высоко над Горменгастом.

Терраса, уже погрузившаяся в зеленоватую темноту, опустела. Все замерло – лишь в воздухе поднимались и опускались оперенные крылья. Ничего живого, кроме пернатых, вокруг не было. Вот уже несколько сот лет здесь не двигалось ничего, кроме ветра, падающих и катящихся градин, облаков, потоков дождя и птиц.

Болотистые низины, над которыми возвышалась когтистая вершина Горы Горменгаст, замерли в напряженном ожидании приближающейся опасности – подлетали цапли и выпь.

Каждая птица села в давно облюбованном ею месте. Зайдя в воду, птицы замерли; поблескивают в сумерках их глаза; головы подняты и готовы нанести роковой удар своим кинжалоподобным клювом. Вдруг один из клювов стремительно летит в темную воду и тут же поднимается с зажатой в нем бьющейся рыбешкой. Еще через мгновение цапля взлетает и отправляется назад, к Замку. Ее полет величав и торжествен.

И так всю долгую ночь птицы прилетают к воде и возвращаются к птенцам с лягушками, мышами, живущими у воды, тритонами или бутонами лилий.

Терраса пуста; в болотах неподвижно замерли цапли, каждая на своем месте, каждая готова пустить в ход свое оружие. В зале птенцы в своих гнездах почему-то замерли тоже.

В мертвой неподвижности воздуха, зажатого между облаками и землей, было нечто зловещее, в сумраке на всем играли зеленоватые отсветы подводного освещения, которое, однако, не проникнув в притихшие глубины зала, высвечивало лишь вход в него.

И в этот момент появился ребенок; была ли это девочка, или мальчик, или же эльф, определить невозможно – слишком краток был миг от появления до исчезновения. Единственное, что можно сказать с уверенностью – что пропорции и сложение этого существа были как у маленького ребенка. Лишь краткое мгновение простояло оно на башенке, в дальнем конце террасы, а потом исчезло, оставив после себя лишь впечатление чего-то перенасыщенного жизнью или чего-то невероятно легкого, воздушного. Существо легким движением соскочило (не прыгнуло, не соступило, а именно соскочило) с башни в темноту почти тотчас же после того, как появилось; именно в этот момент легкий порыв ветра прорвался сквозь стену умирающего воздуха и весело и даже необузданно пробежался по костлявой спине Горменгаста. Ветер поиграл увядшими флагами, пронесся под арками, спиралью, с задорным посвистом взвился по башням и дымоходам; нырнув в дыру с рваными краями на пятиугольной крыше, он оказался окруженным со всех сторон сотнями портретов людей с суровыми лицами, проглядывающими сквозь потемневшую поверхность краски, покрытой сетью трещинок и паутиной; решетка в каменном полу словно притягивала, и он бросился в нее, отдавшись закону тяготения и восторгу быстрого скольжения вниз сквозь голубые сумерки; припевая, пронесся сквозь несколько этажей и, оказавшись в зале, наполненном сизо-серым светом, охватил Тита петлей воздуха.

Глава тринадцатая

Глубокий старик, в чьих метафизических сетях так безнадежно запутались его три почитателя – Зернашпиль, Заноз и Врод, – стоял настолько сильно наклонившись вперед, будто опирался на невидимую ручку невидимой палки; казалось странным, почему он не падает лицом вниз.

– В этой части коридора всегда дует, – сказал он, слегка качнув головой; на его плечи спадали белые волосы. Затем хлопнул себя руками по бокам и снова вытянул их вперед, словно опять оперся на невидимую палку.

– Ломает человека, разрушает его, превращает его в тень, швыряет его волкам, загоняет в гроб.

Не нагибаясь, старик своими длинными руками подтянул толстые носки и заправил в них брюки, потопал ногами, распрямился, снова согнулся, а затем бросил разгневанный взгляд вглубь коридора.

– Грязная продувная дыра. И почему? Безо всякой на то причины. Гадкая труба. Засасывает. И все же, – старик тряхнул своими белыми кудрями, – знаете, это не так. Я не верю в то, что существуют сквозняки. Я не верю в то, что мне холодно. Я ни во что не верю! Ха-ха-ха-ха! Например, не могу согласиться с вами.

Человек, стоявший рядом со стариком, дернул головой – словно передернул затвором винтовки. Он был значительно моложе старика; у него были впавшие щеки и длинная нижняя половина лица. Он поднял брови, словно хотел сказать: «Продолжайте!», но старик молчал. Тогда этот человек спросил пустым, очень громким и бесстрастным голосом, словно воскрешал словом мертвого:

– Что вы имеете в виду, говоря, что вы не согласны?

– Не могу согласиться – и все, – ответил старик, наклоняясь вперед и вытягивая вперед руки со сцепленными пальцами, – Не могу согласиться – и все.

Его собеседник слегка повернул голову и опустил одну бровь.

– Но я еще ничего не сказал. Мы только что повстречались!

– Может быть, вы и правы, – сказал старик, поглаживая свою бороду. – Весьма возможно, что вы правы. Но с уверенностью этого я не могу сказать.

– Но я же вам говорю, что еще не успел ничего сказать! – Бесстрастный бесцветный голос прозвучал еще громче, человек сделал огромное усилие, чтобы его глаза вспыхнули гневным огнем. Но либо дрова промокли, либо тяга была недостаточной – в глазах, как ни странно, не мелькнуло ни искорки.

– Я ничего не сказал, – повторил он.

– Не сказали? Ну и что? Мне не нужно полагаться на произнесенное слово, – И старик рассмеялся ужасным, всезнающим смехом. – Я не согласен – вот и все. Не согласен, например, с вашим лицом. Оно у вас неправильное, как и все остальное. Если на жизнь смотреть с такой точки зрения, она становится такой простой – ха-ха-ха!

Низкое, утробное наслаждение, которое старик получал от жизни, рассматриваемой таким образом, было пугающим. И молодой человек, несмотря на свой характер, несмотря на свою меланхолию, несмотря на свое неправильное лицо, несмотря на свой выхолощенный голос, несмотря на свои глаза, лишённые света, рассердился.

– А я не согласен с вами! – закричал он. – Я не согласен с тем, как вы наклоняетесь, не согласен с вашим отвратительным старческим телом, не согласен с тем, как вы стоите, наклоняясь вперед под таким невозможным углом! Не согласен с тем, как ваша белая борода

свисает с подбородка, словно грязная мочалка! Не согласен с вашими изломанными зубами... Я...

Старик был очень доволен. Его булькающий, утробный смех, казалось, никогда не прекратится.

– Но я тоже... я тоже... молодой человек, не согласен со всем этим, – просипел наконец старик сквозь смех. – Я со всем этим тоже не согласен. Видите ли, я даже не согласен с тем, что я здесь! И даже если бы я согласился с этим, я бы не был согласен с тем, что я согласился. Все так смехотворно просто.

– Вы просто циник, – воскликнул молодой человек, – Вы просто циник!

– О нет! – заявил старик, у которого были такие длинные руки и такие короткие ноги, – Я не верю ни в какие определения. Я не верю в то, что можно быть циником или не-циником. О, если бы люди оставили свои попытки изображать из себя кого-то! Чем они могут быть сверх того, что они уже есть? Или чем бы они были, если бы я даже поверил, что они что-то?

– Вы говорите зло, зло, ЗЛО! – вскричал молодой человек со впавшими щеками На тридцатом году жизни его подавляемые страсти нашли наконец свой выход, – В могиле у нас, мерзкий старик, вполне достаточно времени, чтобы быть ничем! В могиле! Когда со всем покончено, когда вокруг пустота и холод! Неужели же и жизнь должна быть такой же? Нет, нет, и еще раз нет! Жизнь – это горение! Давайте же гореть! Давайте сжигать свою кровь на высоком костре жизни! Но старый философ ответил:

– Могила – это совсем не то, что вы себе воображаете молодой человек. Вы, молодой человек, оскорбляете своими словами мертвых. Непродуманными словами вы полили грязью гробницу, осквернили усыпальницу, потоптались грязными ботинками на чистом могильном холме. Ибо смерть – это жизнь. Только в живущем нет жизни. Разве вы никогда не видели ангелов вечности, приходящих в сумерках? Неужели не видели?

– Нет – сказал молодой человек, – не видел. Тело старика еще больше наклонилось вперед, и он впери свой взор в собеседника.

– Как! Неужели вы никогда не видели ангелов вечности, с огромными крыльями, каждое величиной с одеяло?

– Нет, не видел и не желаю видеть.

– Для несведущих нет святых и глубоких истин, – заявил старик. – Вы назвали меня циником. Как я могу быть циником? Я ничто. Больше содержит в себе меньшее. Но вот что я скажу вам: хотя Замок – это лишь бестелесный призрак, хотя зеленые деревья, переполненные жизненными соками, в реальности лишь переполнены отсутствием таковых, когда начнут понимать, что апрельский агнец^[2] есть всего лишь просто ягненок, родившийся в апреле, – вот когда все это поймут и примут, вот тогда, о, только тогда, – старик поглаживал бороду все убыстряющимися движениями, – можно сказать, что подходишь к границам удивительного царства Смерти, в котором все протекает в два раза быстрее, все цвета в два раза ярче, любовь в два раза великолепнее, а грех в два раза пикантнее. Только дважды слепые не видят, что только по Ту Сторону открывается возможность Согласия. Но здесь, здесь, – старик сделал жест рукой который включал и отрицал весь земной мир – с чем можно согласиться? Здесь нет никаких ощущений, совершенно никаких ощущений.

– Есть радость и боль, – возразил молодой человек.

– Нет, нет, нет, все это чистая иллюзия, – изрек старик – А вот в удивительном царстве Смерти Радость не знает границ. Там ничего не стоит проплясать целый месяц на небесных лугах совершенно ничего. Или петь, восседая на летящем орле, пылающем в лучах незакатного солнца. Петь от радости, переполняющей грудь.

– А что же делать тогда с болью?

– Мы придумали идею боли, чтобы потворствовать жалости к самим себе. Однако Настоящая Боль существует лишь по Ту Сторону и только ее стоит ощущать. Какое великое ощущение – засунуть в огонь палец!

– А что если я сейчас подожгу твою бороду, старый мошенник? – вскричал молодой человек, который натер за день ногу и знал цену земным неприятностям.

– И что бы произошло, дитя мое?

– Огонь бы опалил твое лицо, и ты это прекрасно знаешь! – еще громче выкрикнул молодой человек.

Презрительная улыбка, которая играла на губах старика, разглагольствующего о Смерти, была невыносима. И молодой человек, не в силах более совладать с собой, схватил со стены ближайшую свечу и, быстрым движением поднеся ее к бороде старика подпалил ее. Огонь быстро охватил бороду, пламя побежало вверх по волосам. На лице у старика появилось выражение крайнего удивления и испуга, которое придало ему какой-то театральный вид, словно все происходило не по-настоящему. Хотя старик испытывал пусть и земную, но вполне настоящую боль, которая сначала охватила его подбородок, а затем и обе стороны головы.

Из его глотки вырвался пронзительный и ужасный крик, и коридор наполнился бегущими людьми, которые появились так быстро, словно ожидали лишь этого сигнала. На пылающую голову старика набросили куртки, и огонь был погашен. А возбужденный молодой человек со впалыми щеками успел в суматохе скрыться, и о нем никто никогда уже больше не слышал.

Зернашпиль, Врод и Заноз

Старика отнесли в его комнату, напоминавшую коробку темно-красного цвета, ковра на полу не было, комнату ничто не украшало кроме картинки, на которой была изображена фея, сидящая в желтом цветке на фоне ярко-голубого неба. Через три дня старик пришел в себя и тут же умер от шока, вспомнив, что с ним произошло.

Среди тех, кто находился у кровати старика в момент его смерти, присутствовали и трое преподавателей, последователей обожженного огнем Учителя.

Они стояли один за другим, слегка наклонившись, ибо потолок был очень низок. Несмотря на небольшие размеры комнаты, ничто не вынуждало их прижиматься друг к другу так плотно, что их старые черные кожаные преподавательские шапочки при малейшем движении головы сталкивались и неподобающим образом съезжали на бок.

И все же это был трогательный момент. Они чувствовали, что уходит великий источник вдохновения. Их Мертвый Учитель лежал перед ними на постели. Будучи до конца его верными учениками, они свято верили в то, что боль и неприятные эмоции – это лишь иллюзия, а теперь им оставалось лишь оплакивать уход в вечность источника их веры.

Рядом с кроватью, на которой лежал умерший старик, стоял низенький столик, а на нем – стеклянная призма и бутылка из-под коньяка, в которую была вставлена зажженная свеча. Ее пламя было единственным источником света в комнате, и тем не менее стены горели мрачным цветом. Профессоры были приблизительно одного роста, но в остальном между ними было столь мало общего, что мог возникнуть вопрос: а принадлежат ли они к одному и тому же виду живых существ? В их внешнем облике единственной общностью являлись их одинаково длинные, почти до пола, мантии, плоские квадратные шапочки и кисточки, свисающие с шапочек как серые складки кожи, болтающиеся под клювом у индюков. Если взгляд перемещался с одного лица на другое, а потом на третье, то возникало ощущение, подобное тому, которое появляется, если провести рукой по трем совершенно разным поверхностям:

стеклу, наждаку и каше. Наждачное лицо было столь же интересным, сколь и стеклянное, но взгляду следовало двигаться по нему очень осторожно и медленно, ибо густая поросль на его поверхности скрывала опасные провалы, ямы, остро выпирающие кости, заболоченные овраги и заросшие колючками пустыри; взгляду, начавшему движение с одного края, с огромным трудом удавалось добраться до другого, ибо ему приходилось преодолевать все эти препятствия, возникающие на его пути.

В противоположность наждачному лицу, стеклянное было столь гладким, что следовало применять значительные усилия, однако теперь не для того, чтобы двигать взгляд вперед, а затем, чтобы предотвратить мгновенное соскальзывание взгляда, упавшего на стекло.

Что же касается третьего лица, оно не было ни раздражающе скользким, ни испещренным рытвинами. Пересечь его быстрым движением взгляда было бы так же невозможно, как медленно двигаться по скользкой поверхности стеклянного лица.

По третьему лицу взгляд перемещался так, словно брел, погружаясь в него по щиколотку. Третье лицо было чавкающе мокрым, постоянно возникало впечатление, что оно покрыто тонким слоем воды. Взгляду, который вознамерился бы резво пробежаться по всем этим лицам, пришлось бы столкнуться со многими трудностями – преодолевать изрытую и заросшую поверхность наждачного лица, скользить как по льду по поверхности стеклянного лица и терпеливо брести по третьему.

Три фигуры Профессоров, стоящих у кровати, на которой лежал их почивший Учитель, отбрасывали большие тени на красную стену позади них. Стекляннолицый (Профессор Зернашпиль) склонился над своим мертвым Учителем. Его лицо казалось подсвеченным изнутри тусклым светом. Однако в этом свечении ничего духовного не было. Длинный нос, на вид твердый как стекло, был поразительно острым. Сказать, что он гладко выбрит – это еще не значит описать состояние его лица, глядя на которое трудно было бы даже представить, что на таких щеках может появиться хоть один волос. Точно так же нельзя представить, чтобы на льду росла трава.

Последовав примеру Зернашпиля, склонил голову и Профессор Врод; черты его лица было бы трудно выявить в общей массе головы; нос и рот казались лишь небольшими нарушениями единообразной водянистой поверхности.

Третий Профессор, Заноз, следуя примеру своих коллег, также склонился над трупом, освещенным свечою. Если бы с его головы, казавшейся сборищем диких камней, поросших колючим кустарником, на постель умершего посыпались змеи и взлетели попугаи, то это показалось бы вполне естественным.

Достаточно быстро Зернашпиль, Врод и джунглеголовый Заноз устали стоять, молчаливо склонившись над своим Учителем, созерцание которого даже для наиболее преданных учеников было далеко не самым приятным занятием. И все трое распрямились.

В маленькой комнатке стало очень душно; свеча, торчащая из горлышка бутылки, догорала; прыгающий свет освещал фею на картинке; она ухмылялась, глядя на происходящее. Пора было уходить.

Что эти трое могли поделать? Их Учитель мертв.

Промолвил подводнолицый Врод:

– Скорбь остра, как подлива с перцем.

Молвил скользколицый Зернашпиль:

– Как грубы ваши сравнения, мой друг. Неужели в вас нет ничего поэтического? Наш Учитель был пронзен сосулькой Смерти.

– Глупости, – злобно и мрачно прошипел джунггелицкий Заноз. Несмотря на свой дикий вид, он в глубине души был очень мягким человеком. Но сейчас его рассердило то, что, как ему

показалось, его более блистательные коллеги просто упражнялись в суесловии.

– Глупости, никакая это не подлива и не сосулька. Его убил огонь – вот и все. Жестокая смерть, скажу я вам. Но... – И тут в его глазах появилось волнение, которое впервые за много лет привело их в некоторое соответствие с его обликом. – Но... посмотрите – ведь он не верил в боль, и он не признал огня. А теперь он мертв и, если хотите знать... Он ведь мертв, правда?

Заноз быстро перевел взгляд на закоченевшее тело. Было бы ужасно, если бы старик слышал все, о чем они говорили. Зернашпиль и Врод снова склонились над телом, чтобы еще раз убедиться в том, что старик мертв. Всякие сомнения тут же рассеялись, хотя мигающее пламя свечи, отбрасывающее прыгающие тени, придавало некоторую видимость движения чертам обгоревшего лица. Профессор Заноз прикрыл голову трупа простыней и повернулся к своим коллегам.

– Ну, что вы хотели сказать? – спросил Зернашпиль – Говорите, только побыстрее.

Его нос, когда он поворачивался к ухабистолицему Занозу, вспорол своим острым стеклянным концом застоявшийся воздух.

– А вот что, Зернашпиль. Вот что я хочу сказать... – Произнеся это, Заноз, в чьих глазах еще сверкали искры, поскреб подбородок и, придвинувшись вплотную к кровати, воздел руки горе. – Слушайте меня, друзья мои! Когда три недели назад я споткнулся и упал со ступенек, я притворился, что не почувствовал никакой боли. Теперь же я должен вам признаться, что боль испытал острейшую. И сейчас, сейчас, когда он мертв, я безмерно рад своему признанию – ибо я больше не боюсь его. И я сообщаю вам, вам обоим, что с нетерпением жду того момента, когда со мной опять что-нибудь такое случится, пускай даже что-нибудь очень серьезное, потому что, испытывая боль, мне уже не придется ее скрывать. Я буду вопить на весь Замок: мне больно! Мне очень больно! И когда мои глаза наполнятся слезами, то это будут слезы радости и облегчения, а не слезы боли. О, братья мои, коллеги, неужели вы не понимаете?..

Возбужденный Заноз отступил от кровати и опустил руки, до сих пор поднятые вверх. Зернашпиль и Врод в дружеском порыве тут же крепко схватили его за руки. О, какая дружба! О, какое бурное проявление настоящей мужской дружбы! Казалось, электричество пробежало по их рукам.

Никаких слов больше не требовалось. Они, как по команде, повернулись спинами к мертвому старику. Повернулись спиной к своей вере. Трусость (они ни разу не посмели выразить свои сомнения, когда старик был еще жив) теперь связывала их крепче, чем любая совместная отвага – если бы они ее вдруг проявили.

– В отношении подливы с перцем – я несколько переусердствовал в своем сравнении, – сказал Врод. – Я это сказал, потому что он в конце концов мертв, а мы ведь в некотором роде восхищались им, когда он был жив. А я люблю говорить то, что нужно – в нужный момент. Я всегда любил это делать. Но я несколько переусердствовал.

– Это касается и моей фразы про сосульку Смерти, – довольно тихо произнес Зернашпиль. – Но согласитесь – это была удачная фраза.

– Не очень подходящая к обстоятельствам его смерти. Ведь он умер от огня – сказал Врод, считавший, что Зернашпиль раскаялся и отступился от своих слов, как это сделал он сам.

– Как бы там ни было, – вмешался Заноз, который вдруг почувствовал себя главным действующим лицом (эту роль обычно играл Зернашпиль), – мы свободны. Наши идеалы исчезли. Мы верим в боль. В жизнь. Во все то, что он заставлял нас считать несуществующим.

Свеча трещала, пламя должно было вот-вот угаснуть. Его отблески плясали на стеклянном носу Зернашпиля, который, выпрямившись, спросил своих товарищей высокомерным тоном – не считают ли они, что было бы более тактично обсуждать отказ от идей их Учителя, удалившись от его останков? Хотя Учитель был уже так далеко, что никак не мог их услышать,

у него был вид почти живого человека, внимающего беседе из-под простыни.

Все трое немедленно вышли из комнаты, дверь за ними закрылась. Пламя свечи после последнего неудавшегося прыжка вверх съежилось, маленьким пятнышком присело на лужицу расплавленного воска и погасло. Небольшая коробкоподобная комнатка превратилась в черную коробочку или – для более возвышенного воображения – в таинственное место, где пребывают мертвые.

Едва Зернашпиль, Врод и Заноз вышли в коридор и закрыли за собой дверь, в их телах запела какая-то особая легкость.

– Вы правы, Заноз, совершенно правы, мой дорогой друг... Мы свободны, мы свободны! – В тонком, остром, учительском голосе Зернашпиля прозвучал такой искрящийся восторг, что его удивленные сотоварищи повернули к нему головы.

– Я всегда подозревал, что под вашей внешней холодностью прячется теплое сердце, – просипел Врод. – Я охвачен тем же чувством свободы.

– Не нужно уже ожидать прихода Ангелов! – завопил Заноз во всю глотку.

– Не нужно уже с нетерпением ожидать Конца Жизни! – пророкотал Врод.

– Пойдемте, друзья! – взвизгнул стеклянницей Зернашпиль, и, позабыв о необходимости соблюдать достоинство, обняв коллег за плечи, он быстро с высоко поднятой головой зашагал по длинному коридору. Его квадратная шапочка залихватски съехала набок. Все трое шли, все убыстряя шаг; вокруг них развивались мантии, кисточки шапочек взвивались в воздух. Поворачивая то в одну, то в другую сторону, они двигались по артериям холодного камня. Казалось, они уже не шли, а летели над полом. Наконец они совершенно неожиданно оказались на какой-то террасе на южной стороне Горменгаста. Перед ними раскинулись пространства, омываемые солнцем; вдали виднелись холмы, деревья, их окружавшие; на фоне синего неба сверкала Гора Горменгаст. И на какое-то мгновение комнатка Учителя и его тело, распростертое на кровати, всплыли в памяти каждого.

– О, как восхитительно все вокруг! – воскликнули они. – Как восхитительно!

И трое обретших свободу Профессоров, держась за руки, бросились бежать вниз по ступеням, а затем уже не бегом, а галопом, подпрыгивая, помчались по сочной траве земли, погруженной в золотистое сияние. Их мантии взвивались в воздух, их тени прыгали вместе с ними.

Глава четырнадцатая

Впервые Тит стал сознательно размышлять о таком удивительном явлении, как цвет, сидя на уроке Роцезвона. Почему все в мире имеет цвет? И почему каждый предмет имеет свой особый цвет? И почему цвет предмета может меняться в зависимости от того, где он находится, в зависимости от освещения, в зависимости от того, какой цвет располагается рядом?

Роцезвон, как и большинство учеников в классе, пребывал в полудреме. В комнате было жарко; в воздухе плавали золотистые пылинки. Монотонно тикали огромные настенные часы. Большая муха ползала по окну, или билась в стекло, или время от времени лениво летала от парты к парте. И тогда измазанные чернилами руки пытались ее поймать, или же поднималась линейка и пыталась прихлопнуть ее, будоража утомленный воздух. Иногда муха садилась на чернильницу или на спину какого-нибудь мальчика и начинала, скреживая передние лапки, тереть их друг о друга, а потом так же и задние. Муха совершала лапками движения, которыми, казалось, хотела либо что-то стереть с них, либо заточить их, а иной мог бы и вообразить, что перед ним дама, наряжающаяся на бал и примеряющая длинные, невидимые перчатки.

Но увы, муха, – бал не место для тебя. Надо признать, что никто на балу не танцевал бы лучше тебя, но тебя бы сторонились, ты была бы слишком оригинальной, ты была бы впереди своего времени. Другие дамы на балу не знали бы всех тех па, которые знаешь ты, никто из них не смог бы так играть отблесками серых, черных и темно-голубых цветов на боках и в глазах, как это умеешь делать ты. Нет, дорогая муха, на балу не захотели бы с тобой общаться, в этом и заключается твоя трагедия. Жужжание дамской беседы – не твое жужжание, муха. Ты ведь не знаешь никаких скандальных историй, сплетен, не умеешь говорить банальности, не умеешь льстить, не знаешь современного жаргона, и поэтому – о, муха! – тебе бы ни за что не удалось бы стать частью бала даже несмотря на то, что ты так грациозно надеваешь длинные перчатки. Поэтому держись во всем своем великолепии у чернильниц и окон классных комнат, жужжи себе в теплые солнечные дни. Пускай тебе аккомпанируют часы своим тиканьем, пускай твой танец будет вечно сопровождаться свистом березовых розог, стуком снарядов, пущенных из рогатки, и затаенным шепотом. Жужжи, муха, жужжи в тюрьмах, называемых классными комнатами, отныне и до веку. Жужжи над головами поколений скучающих мальчиков. Тикайте часы, тикайте! В одной минуте – шестьдесят секунд, в одном часе – шестьдесят минут. Сколько будет тиканий в час? Шестьдесят на шестьдесят.

Сложная задача, но выполнимая. Сначала умножаем шесть на шесть. Тридцать шесть. А теперь, сколько нулей прибавить? Кажется, два. Ага – три тысячи шестьсот секунд в часе. А сколько секунд осталось до перемены? Тикайте, часы, жужжи, муха! Снова считаем. Так... Четверть часа осталось, значит нужно: $3600:4$. О Боже! Девятьсот секунд! Нет, все-таки это замечательно! Замечательно! Замечательно! Ведь секундочки такие маленькие. И сколько времени ушло на все эти подсчеты... Нет, все-таки секунды такие длинные: одна... две... три... четыре... ох, какие длинные!

Измазанные чернилами пальцы запущены в волосы – от вытертого мела доска серая – последние три урока, как бледные пятна, одно бледнее другого – уходят вдаль – туман забытых цифр – забытых карт – забытых языков...

* * *

А пока Роцезвон спал, пока мальчик Псоглаз вырезал что-то на парте, пока тикали часы,

пока жужжала муха, пока в комнате летали мириады медовоцветных звездочек-пылинок, мальчик Тит (такой же испачканный чернилами, как и все остальные, такой же сонный), прислонив голову к теплой стене, позволил ряду мыслей, сцепленных между собой, медленно, отстраненно, не вызывая поначалу особого интереса, проползти у него в мозгу. Это была первая вереница связанных между собой мыслей и образов, по которой он проследовал так далеко. Неудивительно, что происходило это медленно. И как неохотно образы и отдельные мысли выделялись из общего потока и позволяли себя разглядывать более пристально!

Тит сонливо заинтересовался не столько самими образами и мыслями, сколько тем, как безо всяких усилий они сменяют друг друга. Взгляд Тита начал свое путешествие от чернильницы, утопленной в дерево на краю его парты и наполненной чернилами особого, очень темного, грязно-синего цвета, а потом переполз и на другие предметы, окружающие мальчика. Так: чернила синие, грязно-синие, как болотная грязь ночью. А другие предметы какого цвета? И Тита поразило богатство и разнообразие цветов и оенков. До сих пор он рассматривал замусоленные книги как вещи, из которых заставляют что-то читать (и как хорошо, когда этого можно избежать!); вещи, в которых имеются картинки, карты, цифры; как вещи, которые время от времени теряются. Теперь же он увидел их как цветные прямоугольники: бледно-голубые, салатно-зеленые; когда откроешь их – белые полотна с оконцами-картинками; в углу первой страницы – уродливая вязь букв, нацарапанных им самим: «Тит».

Крышка парты – коричневое поле, усеянное оттенками от желтоватых – там, где поверхность взрезана и обломана, – до золотисто-коричневых. Его ручка, такая изгрызенная с одного конца, что из нее торчали мокрые волокна, играла цветами, как рыба; перо и нижняя часть вымазаны темно-синими чернилами; зеленая краска, в которую она была когда-то нарядно выкрашена, облуплена; белесоватый изжеванный противоположный конец, как хвост.

Тит даже собственную руку некоторое время рассматривал как некий отдельный предмет с особой окраской. И лишь потом осознал, что она – часть его самого; охристый оттенок кисти, чернота рукава. Потом он увидел стеклянный шарик для игры, лежащий рядом с чернильницей – шарик играл крутящимися радужными спиралями, зажатыми в холодной стеклянной оболочке. О, какое богатство! Тит потыкал шарик пальцем и попытался сосчитать цветные полосы, закрученные спиралями в шарике – красная, желтая, зеленая, фиолетовая, голубая... А вокруг них – белый кристальный мир, такой совершенный, чистый, холодный, гладкий, тяжелый и скользкий. И какой восхитительный звук он производил – звонкий и резкий, как выстрел, – когда сталкивался во время игры с другими шариками! Как замечательно он катился по полу! А потом – бац! И ударялся о сверкающий лоб своего противника! О восхитительные шарики! И все таких разных оттенков! О кристальные миры, звенящие в кармане! Как приятно чувствовать их тяжесть!

А как приятно держать шарик в руке, как холодную сверкающую виноградину жарким летним днем, когда Профессор мирно спит за своим изрезанным столом! Как замечательно ощущать его прохладную скользкую округлость в потной ладони! Тит схватил шарик и, зажав между указательным и большим пальцами, подставил его под луч солнца. Катая шарик между пальцами, Тит всматривался в радужные полосы, которые двигались в нем, беспрестанно извиваясь. Красная, желтая, зеленая, фиолетовая... и снова красная. Все его мысли и видимые образы окрасились в красный цвет. Тит растворился в красном; потолок, стены, пол – все стало красным. Потом все сжалось, и перед внутренним взором Тита возник четкий образ маленькой капельки крови, теплой и мокрой. На нее упал луч света, и она засверкала. Оказалось, что капелька крови проступила на одной костяшке его кулака – год назад в этой самой комнате он дрался с одним мальчиком. При этом воспоминании Тита охватил печальный гнев. Воспоминание было очень живым, очень реальным, и капелька крови казалась совершенно

реальной. Сквозь гнев потекли другие чувства – восхищенность, уверенность в себе и страх, страх от того, что он пролил эту красную жидкость, священную, легендарную жидкость, такую красную и теплую. И тогда образ капельки крови стал размываться, менять свою форму и превратился в сердце... да, в сердце. И Тит приложил руки к своей детской груди. Поначалу он ничего не почувствовал, но поведив кончиками пальцев по груди, он наконец ощутил глухой удар. И тогда из другой части его памяти приплыли звуки ночной реки; он один; вокруг него поднимаются черные колонны камышей, ведущих битву с небом.

Облака на воображаемом небе поменяли форму и превратились в красного цвета рыб, плывущих над горами, с головами, как у того древнего карпа, которого однажды выловили во рву Горменгаста; тела рыб вытягивались в длинные полосы. А небо, в котором непрерывным потоком плыли эти создания, превратилось в океан, а горы превратились в подводные кораллы, а красное солнце превратилось в глаз бога моря, светящийся на морском дне. В глазу померкла угроза, и он стал величиной с шарик, зажатый в руке Тита.

Поднимаясь из глубоких вод, на Тита двигалась банда пиратов. Они шли сначала по грудь в воде, потом по пояс, потом по колено, становились все больше и больше. Пираты возвышались как башни, над глубоко посаженными глазами хмурились густые брови – как камни, нависающие над водами. В их ушах висели серьги красного золота, а в зубах они держали кривые кинжалы, с которых капала то ли вода, то ли кровь. Выйдя из красной полутьмы, они прищурили глаза, ослепленные ярким солнцем. Вокруг их ног и тел бурлила вода, брызгая отражениями. Тела пиратов заслонили все вокруг, заполнили полностью поле зрения, но по-прежнему продолжали приближаться. Вот уже видны только головы, вот уже остается лишь одна голова главного пирата, великого властителя морей; каждый дюйм его лица покрыт шрамами и заживающими ранами – как колено у мальчика, зубы у него в форме черепов; шея обвита татуировкой в виде чешуйчатой змеи. Голова все увеличивается в размерах, вот уже виден лишь один глаз, сверкающий из глубин глазницы. Его дикий и злобный взгляд устремлен на Тита. Все исчезло – остался в этом огромном мире один только шар-глаз. И вдруг это уже совсем не глаз, а земной шар. И шар катится, катится и снова становится глазом, но теперь в нем виден лишь зрачок. И в этом черном зрачке, бездонном, как безлунное небо, Тит увидел отражение себя самого, заглядывающего в эту черноту. И из черноты зрачка глаза пирата выходит человеческая фигура. Над головой у нее – переплетенные локоны вздымающейся шапки волос – точь-в-точь как у его матери. Но сделав шаг к нему, она исчезла, растворилась, и вместо нее засиял рубин Фуксии. Рубин прыгал на фоне тьмы, словно был подвешен на ниточке, которую кто-то резко дергал. А затем и он исчез, и вместо него снова на ладони у Тита засветился стеклянный шарик с крутящимися в нем радужными спиралями: желтая, зеленая, фиолетовая, голубая, красная, желтая... желтая...

И Тит тут же очень четко и ясно увидел большой подсолнух, склонившийся на своей уставшей колючей шее – в последние два дня Фуксия везде носила с собой такой подсолнух; видел Тит и руку, державшую подсолнух, но то была рука не Фуксии. Рука держала подсолнух за стебель, зажатый между указательным и большим пальцами, словно то было не тяжелое растение, а самая хрупкая и изящная вещь в мире. На каждом пальце горело несколько золотых колец, так что казалось, что на руку надета рыцарская перчатка из сверкающего металла...

А потом вдруг, вытеснив все остальные образы, перед внутренним взором Тита завертелся вихрь желтых листьев, которые взлетали вверх, ныряли вниз, отлетали в стороны; листья несло по пустынной местности, в которой не было ни одного дерева; в небе горел солнечный пожар. Мир стал желтым и беспокойным.

Тит все глубже погружался в объятия желтого цвета – и тут Рощезвон, вздрогнув, проснулся.

Подобрав вокруг себя складки мантии, он, как злой волшебник, готовящийся запустить в мир смерч, слабо ударил раскрытой ладонью по столу. Раздался глухой, немощный звук. Нелепо-благородная голова Профессора дернулась вверх, а его гордый и пустой взгляд, лениво обойдя классную комнату, остановился на Псоглазе.

– Я хотел бы поинтересоваться, – сказал наконец Роцезвон, широко зевая и обнажая свои изъеденные кариесом зубы, – прячется ли за этой маской грязи и чернил молодой человек – не очень усердный, надо прямо сказать, в своих занятиях – по имени Псоглаз? Прячется ли человеческое тело в той жалкой куче лохмотьев, а если да, то принадлежит ли это тело тоже Псоглазу?

Роцезвон снова зевнул. Один его глаз был устремлен на настенные часы, а второй – продолжал вопросительно взирать на Псоглаза.

– Хорошо, я сформулирую свой вопрос проще. Это действительно ты, Псоглаз? Это ты там сидишь на второй парте в левом ряду? Это ты, Псоглаз, скрываешься за этой синей рожей? Это ты вырезаешь на крышке своей парты нечто невыразимо восхитительное? Это тебя я увидел, когда проснулся, за этим занятием?

Псоглаз – ничтожная маленькая фигурка – заерзал на месте.

– Отвечай мне, Псоглаз! Ты что-то там вырезал на парте, думая, что твой учитель спит и ничего не видит?

– Да, учитель, – сказал Псоглаз неожиданно громко, настолько громко, что сам вздрогнул, и стал озираться по сторонам, словно в поисках источника такого громкого звука.

– И что же ты вырезал там, мой мальчик?

– Собственное имя, учитель.

– Что, полностью имя и все прочее?

– Я успел вырезать только три первые буквы, учитель.

Роцезвон медленно поднялся и, закутанный в мантию, так же медленно двинулся по пыльному проходу к парте, за которой сидел мальчик. Профессор выглядел благодушно и царственно.

– Ты даже не закончил вырезать «О», – сказал он каким-то далеким, скорбным голосом. – Заканчивай эту букву, но остальные тут не вырезай. – Глупая ухмылка стала захватывать нижнюю часть лица Роцезвона. – Оставь недостающие буквы для своего учебника по грамматике!

Учитель произнес последнюю фразу веселым голосом, совершенно не обычным для него, и начал смеяться так, что явно возникла опасность – смех этот прекратить не удастся. Однако неожиданно смех прервался – Роцезвон схватился за челюсть, зубы в которой взывали к тому, чтобы их удалили.

Через несколько секунд Роцезвон сказал:

– Встань и выйди из-за парты.

Затем он сам уселся за парту, взял перочинный ножик, лежащий перед ним, и стал вырезать недостающие части буквы «О». За этим занятием его застал звонок. Мальчики бурным потоком ринулись к двери, словно надеялись обнаружить за нею воплощение всех своих мечтаний. А вдруг там, за дверью, их ожидают романтические приключения, которые принесет в своих когтях орел или олень на ветвистых рогах?

Ирма желает устроить званый ужин

– Хорошо, мы организуем для тебя званый ужин! – воскликнул Хламслив. – Обязательно

организуем!

В его голосе прозвучало дикое и одновременно радостное отчаяние. Радостное – потому что было принято хоть какое-то решение, пусть и неразумное. Отчаяние – потому что жизнь с Ирмой была полна отчаяния в любом случае. Невыносимость ситуации лишь усиливалась ее страстным желанием устроить прием.

– Альфред, Альфред, ты серьезно? Ты постарайся все устроить, Альфред? Ты используешь все свои связи, правда?

– Я буду тянуть за все ниточки связей, даже если они порвутся, Ирма.

– Я вижу, что ты полон решимости, Альфред, ты полон решимости! – проговорила Ирма, задыхаясь от сладкого волнения.

– Я бы сказал, что это ты полна решимости, о милая моя Суэта! А я лишь подчинился твоей решимости, ибо я слаб. Из меня можно вить веревки. Ты получишь, Ирма, то, чего желаешь, но это чревато возможностью чудовищных последствий – но для тебя, Ирма, для тебя. А вечеринку мы обязательно закажем! Ха-ха-ха-ха-ха!

В его визгливом смехе прозвучали нотки, которые давали понять, что веселье его было в некоторой степени деланным. Не замешалась ли туда горечь?

– В конце концов, – продолжал Хламслив, взгромоздясь на спинку стула (теперь он сидел на спинке стула, поставив ноги на сиденье и положив подбородок на колени; в таком виде он поразительно напоминал сверчка). —... В конце концов, ты ожидала этого столь долго. Очень долго. Но, как ты прекрасно знаешь, я бы все-таки не советовал тебе устраивать такой прием. Ты человек совершенно неподходящего склада для званых ужинов. Совершенно неподходящего склада. В тебе нет той бесцеремонности и бездумности, которые обеспечивают успех вечеринке. Но в тебе есть решимость.

– Я столь полна решимости, что ее не выразить словами!

– А считаешь ли ты, что твой брат сможет достаточно уверенно выступать в качестве хозяина?

– О Альфред, я могла бы так считать, – прошептала Ирма сурово. – Я бы так считала... я бы ничуть в этом не сомневалась, если бы ты не пытался умничать по любому поводу. Меня так утомляет то, как ты изъясняешься. И к тому же мне не нравится то, что ты говоришь.

– Ирма, – сказал ее брат, – мне это все самому не нравится. Все, что я говорю, для меня самого звучит таким избитым и ненужным. Между мозгом и языком огромное расстояние.

– Вот именно такие благоглупости, изрекаемые тобой, мне и не нравятся, – с неожиданной горячностью вскричала Ирма – На нашей вечеринке мы что будем делать – беседовать друг с другом или выслушивать твое глупое словоблудие? Ответь мне, Альфред, ответь мне сейчас же!

– Я буду изъясняться максимально просто. Что мне еще сказать?

Он спустился со спинки стула и уселся на сиденье. Затем, слегка наклонившись вперед и зажав руки между коленями, он вопрошающе посмотрел на Ирму сквозь мощные стекла своих очков. Ирма, глядящая на брата сквозь темные стекла своих очков, с трудом различала увеличенные линзами глаза Хламслива.

Ирма почувствовала, что в данный момент она имеет некоторое моральное преимущество над своим братом. Его уступчивый вид придавал ей силы, и она решила раскрыть ему истинную причину того, почему она так страстно жаждет устроить этот прием, поведать ему все, что у нее на уме... ибо она нуждалась в его помощи.

– Ты знаешь, Альфред, – сказала она, – я собираюсь замуж.

– Что? Ты шутишь?

– Нет, не шучу, – пробормотала Ирма. – Я говорю совершенно серьезно.

Хламслив уже было собирался соответствующим тоном спросить, кто же этот счастливчик,

но взглянув на свою сестру, сидящую с выпрямленной спиной на стуле, такую бледную, почувствовал, как его сердце сжалось от сочувствия к ней. Он прекрасно знал, как мало возможностей она имела для встреч с мужчинами; он знал, что ей ничего не известно о тонкостях любви и ухаживания, кроме того, что она вычитала в книгах. И он знал, что ничего не стоит вскружить ей голову. В дополнение ко всему, он был уверен, что никаких вероятных претендентов на ее руку не было. И поэтому сказал:

– Мы найдем мужчину, который подходил бы именно тебе. Тебе нужен человек благородных кровей, нечто такое, что может по команде подавать лапку и вилять хвостом. Клянусь совершенством, тебе нужен именно такой человек. Почему бы...

Доктор запнулся – он уже собирался отправиться в словесный полет, но вовремя вспомнил о своем обещании изъясняться просто. Поэтому он, замолчав, снова наклонился вперед и приготовился выслушать сестру.

– Ну, не знаю, как там насчет помахивания хвостом, – начала Ирма, выразив свое отношение к этой идее легким подергиванием уголка рта, – но я бы хотела, чтобы ты знал, Альфред, – я рада, что ты понимаешь, в каком я оказалась положении. Я пропадаю, годы уходят... Ты ведь это понимаешь, Альфред?

– Да, конечно, понимаю.

– Во всем Горменгасте у меня самая белая кожа.

«И самая плоская грудь», – подумал Хламслив, но вслух сказал:

– Да, да, конечно, но нам нужно решить, моя дорогая охотница («О дева-охотница, гордым шагом сквозь дикую поросль любви ступающая» – Хламслив не мог не вызвать в себе этот образ), нам нужно решить, кого мы должны пригласить. На наш прием, я имею в виду. Это самое главное.

– Да, да, конечно!

– И когда его организовать.

– Ну, это-то решить проще всего.

– А на какое время назначить? Днем или вечером?

– Конечно, вечером!

– И как приглашенные должны быть одеты?

– О, конечно же, в вечерние платья и костюмы. Тут сомнений быть не может, – сказала Ирма.

– Но это будет зависеть прежде всего от того, кого мы собираемся приглашать, ты не находишь? У кого из дам, например, есть столь же великолепные платья, как у тебя? В требовании прибыть в вечерних нарядах есть что-то жестокое.

– О, это не имеет никакого отношения к телу.

– Ты хотела сказать «к делу»?

– Ну конечно, конечно.

– Но это может быть очень смущающим обстоятельством. Все будут чувствовать твое превосходство – или ты в порыве любви к ближнему и сочувствия к нему наденешь лохмотья?

– На нашем приеме вообще не будет женщин.

– Не будет женщин? – воскликнул Хламслив, действительно пораженный.

– На этом приеме я должна быть единственной, – пробормотала Ирма, передвигая темные очки, сидящие на ее длинном остром носу, повыше. – Единственной женщиной среди всех этих самцов буду я.

– Но какие развлечения ты планируешь для своих гостей?

– Я буду развлекать гостей. Просто своим присутствием.

– Да, несомненно... ты будешь вездесущей, ты будешь неотразима, но, душенька, любимая

моя сестрица, хорошенько подумай, правильно ли это?

– Альфред, – произнесла Ирма, вставая и принимая такую позу, при которой все ее выпирающие кости приобрели угрожающий вид. – Альфред, почему у тебя такое извращенное сознание? Зачем нам другие женщины на нашем приеме? Ты не забыл, случайно, зачем вообще мы его организовываем? Забыл, наверное?

В ее брате проснулось нечто вроде восхищения ею. Неужели под ее неврастением, ее тщеславием, ее инфантильностью все это долгое время скрывалась железная воля?

Хламслив поднялся со своего места и заправским движением костоправа выправил позу сестры, так что уже не казалось, что о ее торчащие кости можно пораниться. Затем, вернувшись к своему стулу, уселся на него, аккуратно положив ногу на ногу – до чего у него все-таки были длинные, изящные ноги! – и, потирая руки, словно мыл их под струей воды, сказал.

– Ирма, откровение мое, скажи мне вот что, – и он вопросительно взглянул на нее, – скажи мне, кто должны быть эти, как ты выразилась, самцы, эти олени, эти бараны, эти коты? И многих ли ты собираешься развлекать?

– Ты ведь сам, Альфред, прекрасно знаешь, что особого выбора у нас нет. Кого мы можем пригласить из людей достаточно благородного происхождения? Я тебя спрашиваю, Альфред, кого?

– Действительно, кого? – с некоторой растерянностью сказал Доктор, не в силах вспомнить ни одной подходящей кандидатуры. Идея организовать прием в его доме была настолько новой и необычной, что попытка представить, кто же придет на прием, оказалась безуспешной. Это было все равно, что попытаться собрать актеров для еще не написанной драмы.

– Что же касается числа приглашенных – Альфред, Альфред, ты меня слушаешь? – то я предполагала пригласить около сорока мужчин.

– Сорок мужчин? В эту комнату? – вскричал Хламслив, вцепившись в подлокотники стула, – Это невозможно! Как могут сорок человек разместиться в этой комнате? А в нашем доме она самая большая! Это было бы еще хуже, чем все те белые кошки! Они бы тут же перегрызлись между собой как собаки!

Неужели на лице его сестры появилось что-то вроде румянца?

– Альфред, – сказала Ирма после недолгого молчания, – это мой последний шанс. Через год мое великолепие померкнет. Неужели сейчас время думать о собственных неудобствах?

– Послушай меня, – произнес Хламслив с расстановкой; его высокий голос был необычно задумчив, – Я постараюсь быть максимально краток. Но тебе нужно внимательно меня выслушать, Ирма.

Она кивнула в знак согласия.

– Ты добьешься большего успеха, если число приглашенных будет более ограниченным. Если на прием собирается много народу, хозяйке дома приходится порхать от гостя к гостю и ни с одним из них ей не удастся насладиться длительной беседой. Более того, все гости толпой окружают хозяйку и стараются показать ей, как им нравится прием. А вот когда приглашенных немного, можно быстро закончить взаимные представления, и ты сможешь получше оценить каждого из гостей и решить, кому из них следует отдать предпочтение.

– Понятно, – сказала Ирма – Я устрою так, чтобы по всему саду были развешаны фонари. Это поможет мне заманить того, кто будет соответствовать всем требованиям, в уголок, где растут абрикосы.

– Боже праведный! – воскликнул Хламслив, но очень тихо – Ну, что ж, я надеюсь, дождя не будет.

– Не будет, – сказала Ирма.

Хламсливу являлась совсем незнакомая Ирма. Было даже что-то пугающее в этом

неожиданном обнаружении совсем неизвестной ему стороны характера Ирмы, в котором, как он всегда считал, была лишь одна сторона.

– Ну что ж, в таком случае придется действительно ограничить число приглашенных.

– Но в любом случае, кто они? Я не могу больше выносить этого страшного напряжения. Кто эти самцы, которых ты представляешь какой-то единой группой? Кто входит в эту свору кобелей, так сказать, которые по твоему свистку бросятся к нам в дом? Ворвутся в эти двери? Рассядутся в этой комнате в типично мужских позах? Во имя самой жалости, Ирма, скажи мне, кто они?

– Профессоры.

Произнося это слово, Ирма сцепила руки у себя за спиной. Ее плоская грудь вздымалась и опускалась. Ее острый носик дергался, а на устах появилась страшная улыбка.

– Все они люди благородного происхождения, – воскликнула она громким голосом. – Весьма благородного! И уже поэтому достойны моей любви.

– Что? Все сорок? – Хламслив снова вскочил на ноги. Он был просто потрясен.

Но в то же время он видел логику в выборе сестры. Кто еще подходил, да еще в таком количестве, для подобного приема, устраиваемого с такой тайной целью? А что касается их благородного происхождения – ну что ж, возможно, так оно и есть. Но их благородное происхождение никак не проявлялось – по крайней мере у большинства – во внешнем облике. О том, что у них голубоватая кровь, никак не скажешь, глядя на их физиономии и на грязь под ногтями. Вполне вероятно, что можно с интересом разглядывать их генеалогические древа, но вот разглядывание их внешнего вида никакого удовольствия не доставит.

– Да. Какие открываются перед нами перспективы, Ирма! А сколько тебе, кстати, лет?

– Ты это прекрасно знаешь, Альфред.

– Так вот сразу и не скажу. Надо подумать, – сказал Доктор. – Хотя это не имеет значения. Главное – не сколько тебе лет, а на сколько лет ты выглядишь. Бог свидетель, насколько ты чиста! А это уже много значит... Я просто пытаюсь поставить себя на твое место. Для этого нужны определенные усилия... ха-ха-ха! И у меня ничего не получается...

– Альфред!

– Да, моя дражайшая?

– Какое число гостей, по твоему мнению, было бы идеальным?

– Если тщательно выбирать – то человек десять-двенадцать.

– Нет, что ты, Альфред, нет! Это же прием. Важные вещи происходят только на таких приемах, а не просто на вечеринках друзей. Я где-то читала об этом. Надо приглашать по крайней мере двадцать человек, чтобы создалась нужная атмосфера.

– Ну что ж, прекрасно, моя дорогая, прекрасно! Но нам, конечно, не стоит включать в список приглашенных покрытого плесенью и страдающего одышкой старого козла с поломанными рогами только потому, что он двадцатый по списку, в котором все остальные – гордые олени, полные жизни, и вполне достойные женихи. Но давай все же разберемся с этим делом более детально. Скажем, просто для того, чтобы иметь стартовую позицию, мы приглашаем пятнадцать человек – наиболее, как мне кажется, приемлемое число. А теперь, Ирма, мой дорогой ко-стратег, размышляем дальше. Из этих пятнадцати – мы не можем надеяться более чем на шесть возможных мужей для тебя... Нет, не надо морщиться. – Мы должны быть откровенны сами с собой до конца, хотя, может быть, придется быть жестокими по отношению к себе же. Итак: предположим – шестеро. Но дело это очень тонкое, ибо те шестеро, которых ты бы предпочла, могут оказаться совсем не теми шестью, которые хотели бы провести остаток дней своих с тобой. Совсем другая шестерка может захотеть претендовать на твою руку, а тебе на каждого из них, грубо говоря, наплевать. Но сверх этого числа возможных

вариантов мы должны иметь достаточное число тех, кто составит, так сказать, фон. Причем, если любой из представителей этого фона посмеет начать ухаживание за тобой, ты, без сомнения, отгонишь его прочь своими столь элегантно раздвоенными копытцами... Ты встанешь на дыбы, Ирма, я знаю это, но этот фон, эти неприкасаемые нужны нам для того, чтобы придать приему жизни, расцветить его, создать нужную атмосферу.

– Как ты думаешь, Альфред, мы могли бы назвать наш прием *soiree*?^[3]

– Насколько мне известно, никаких законов, регулирующих прием у себя, в частном доме, нет, – сказал Хламслив, возможно, несколько раздраженно, ибо Ирма явно не слушала его. – Но... Профессоры, насколько я их помню, как-то плохо ассоциируются с этим словом. А кстати кто теперь входит в состав преподавателей? Я так давно не видел ни одного человека в преподавательской мантии.

– Я знаю, что ты циник, Альфред, но хочу, чтобы ты ясно осознавал: на них я остановила свой выбор. Мне всегда хотелось иметь рядом с собой человека науки. Я бы понимала его, я бы заботилась о нем, я бы штопала ему носки...

– И не было бы под солнцем более искусной штопальщицы, чьи мастерские изделия так надежно, двойным слоем, защищали бы ахиллесову пяту!

– Альфред, ты обещал!

– Прости, прости меня, сестрица. Клянусь всем, что непредсказуемо: эта идея мне начинает нравиться. Я позабочусь о винах, ликерах, пиве и пунше. На тебя возлагаются закуски, приглашения, тебе нужно всех вышколить соответствующим образом – я имею в виду наших слуг, а не ученых светил. Но остается все тот же главный вопрос, моя дорогая: когда? Когда мы устраиваем прием?

– Мое платье с тысячью рюшек и корсажем, расшитым вручную попугаями, будет готово через десять дней, и тогда...

– На корсаже – вышитые попугаи? – воскликнул неприятно пораженный Доктор.

– Да, попугаи. А почему бы нет? – резко сказала Ирма.

– И сколько их, – с дрожью в голосе спросил Хламслив, – сколько там будет вышито попугаев?

– Боже, какая тебе разница, Альфред? Попугаи были выбраны как украшение, потому что это просто птицы яркой окраски.

– Но будут ли они соотноситься со всем остальным, моя дорогая сестрица? Мне кажется, раз тебе понадобилось украсить свой корсаж, как ты это назвала, изображением каких-то существ, иначе говоря, чем-то таким, что призвано привлечь внимание Профессоров к твоей женственности, дать им возможность почувствовать, сколь ты желанна, можно было бы выбрать что-либо менее агрессивное, чем попугаи... Спешу напомнить, Ирма, что я просто...

– Альфред!

Ее крик буквально швырнул его обратно на стул.

– Я полагаю, что вот это уж находится полностью в сфере моей компетенции, – сказала Ирма с глубоким сарказмом. – Предоставь, будь добр, мне решать, что мне выбирать для своего платья – попугаев или что-то там еще.

– Хорошо, – покорно согласился Хламслив.

– Десяти дней для подготовки нам хватит, Альфред? – спросила Ирма, вставая со стула. Она направилась к брату, приглаживая свои волосы серо-стального цвета длинными, бледными пальцами. И тон ее, и все ее манеры явно смягчились. Подойдя к Хламсливу, она к его ужасу опустилась на подлокотник кресла, в котором он теперь сидел.

Затем жестом, полным кошачьей грации, она откинула назад голову; ее слишком длинная жемчужно-белая шея изогнулась дугой и напряглась, а шиньон ударил ей в спину между

лопатов с такой силой, что она закашлялась. Как только она убедилась, что по спине ее игриво ударил не брат, а собственный шиньон, на ее напудренном лице снова появилось самозабвенное кошачье выражение; затем Ирма, сцепив пальцы, сложила руки на груди.

Хламслив, глядя на сестру снизу вверх, потрясенный еще одной ранее неизведанной стороной ее характера, обнаружившейся так неожиданно, заметил большое дупло в одном из ее зубов, но решил, что момент весьма неподходящий, чтобы упоминать об этом.

– О, Альфред, Альфред! – воскликнула Ирма. – Ведь я женщина, я женщина! – Ее руки, сцепленные на груди, тряслись от возбуждения. – Я им всем покажу, что я настоящая женщина! – взвизгнула она, потеряв всякий контроль над своим голосом. Потом, несколько успокоившись – для чего ей пришлось сделать видимое усилие, – она повернулась к брату и, улыбнувшись ему с деланной застенчивостью, которая была хуже, чем любой визг, прошептала:
– Альфред, я завтра же разошлю приглашения.

Глава пятнадцатая

Лучи восходящего солнца, прорвавшись сквозь клочья утреннего тумана, ударили в землю, и там, где они упали, казалось, вспыхнул пожар. Один луч вырвал из темноты переплетение ветвей и веточек, каждая из которых превратилась в сверкающую полоску света, зависшую на фоне тьмы.

Второй луч образовал световое пятно над первым. В освещенном пространстве из земли осино-желтого цвета поднимались скалы, похожие на творения рук человеческих, а не на естественные образования камня. Солнечный луч освещал лишь небольшую часть скал, которые вздымались шпилями и башнями и обрывались вниз как куртины стен; однако многие из причудливых каменных переплетений, в некоторых местах напоминавших сжатый кулак, растопыренную ладонь, полуразрушенное временем плечо, еще скрывались во тьме.

Третий островок света напоминал по форме человеческое сердце. Сердце, сложенное из листьев, из трав, вырванное из темноты и зажженное лучом солнца.

По направлению к третьему оазису света двигался всадник, казавшийся удивительно маленьким. Всадником был Тит.

Попав из темноты на свет, а потом снова в темноту, мальчик нахмурился. Одной рукой он крепче ухватился за гриву своего пони. В абсолютной тишине громко билось его сердце. Но пони двигался вперед уверенно, не колеблясь, и размеренное покачивание успокоило мальчика.

И вот еще одно пятно света, упавшее с востока, быстро расширяющее свои подвижные границы, разгоняло вокруг себя тьму, создавая фантастический калейдоскоп скал, деревьев, зеленых долин и брызжущих отраженным светом нагромождений камней. Теперь потоки света лились отовсюду. Небо на глазах светлело, и вскоре от горизонта до горизонта мир был залит светом.

Тит громко и победно закричал, пони тряхнул головой и помчал всадника по земле его предков.

Охваченный восторгом быстрой езды, Тит повернул голову и в стороне, противоположной той, где над горизонтом вставали башни Горменгаста, увидел в холодной рассветной дымке Гору Горменгаст, которая, устремив в небо свою когтистолапую вершину, как будто бросала Титу вызов: «Ну что, рискнешь?» Титу казалось, что в бодрящем воздухе он слышит эти слова: «Ну что, рискнешь?»

Он, привстав на стременах, отклонился назад и, натянув поводья, остановил своего скакуна. Его переполняли образы и голоса, нашептывающие нечто таинственное. Казалось, деревья протягивают к нему свои ветви с орошенными росой листьями. Волшебный зеленый цвет проникал в него. Тит сидел в седле вполборота, тяжело дыша. В нем шевелился зеленый мир; во рту он чувствовал горький привкус листвы; его ноздри заполнили острые запахи леса и земли, покрытой гниющими листьями и папоротниками.

Его взгляд спустился с высокой обнаженной вершины Горы Горменгаст и прошелся по тенистому лесу, а затем снова вернулся в небо. Тит взглянул на восходящее светило. Начинался новый день. Он развернул пони и поехал прочь от Замка.

В далекой выси мерцала залитая солнцем вершина Горы. В ее уродливых очертаниях можно было увидеть все что угодно – или ничего. Ее недоступность и пустынность будила воображение.

И казалось, снова Гора бросала Титу вызов:

– Ну что, рискнешь?

К этому голосу присоединились другие голоса: голоса полян, забрызганных пятнами света,

голоса болот и скал, голоса птиц и зеленых берегов реки, голоса белок и лисиц, голоса дятлов, нарушавших сонливую тишину дня своим веселым стуком, голоса деревьев, в стволах которых зияли зовущие дупла, голоса диких пчел, стремительными точками вспыхивающих в лучах солнца.

* * *

В то утро Тит поднялся за час до того, как должен был прозвучать колокольчик. Было еще совсем темно. Он быстро и бесшумно оделся и на цыпочках прошел еще тихими коридорами к южным воротам. Бегом пересек окруженный стенами двор и добрался до конюшен. Темнота усугублялась туманом, и Титу страстно хотелось выбраться в мир, где не было стен. Но по пути во двор к конюшням он остановился в одном из коридоров у двери Фуксии и постучал.

– Кто там? – Ее голос, прозвучавший из-за двери, показался ужасно хриплым.

– Это я, Тит.

– А что тебе надо?

– Ничего. Я просто отправляюсь на конную прогулку.

– Погода ужасная, – сказала Фуксия, не открывая двери. – До свиданья.

– До свиданья, – сказал Тит и отправился на цыпочках дальше. Сделав пару шагов, он услышал, как щелкает замок и открывается дверь в комнату Фуксии. Повернувшись, он успел заметить не только Фуксию, которая уже заскакивала назад к себе в комнату, но и какой-то предмет, который летел в воздухе прямо ему в голову. В инстинктивной попытке защитить лицо и скорее случайно, чем благодаря своей ловкости, он схватил что-то мягкое и липкое. В руках оказался большой кусок торта.

Тит прекрасно знал, что ему не позволено самовольно покидать пределы Замка. А выбираться за пределы Внешних Стен вообще было двойным непослушанием. Как единственному оставшемуся в живых отпрыску мужского пола древней династии, ему следовало быть особенно осторожным. От него требовалось, чтобы он обязательно сообщал о том, куда и когда он отправляется и когда вернется, чтобы любая задержка становилась тут же известной. Но хотя в тот предрассветный час было еще совсем темно, темнота не могла сдержать его порыв: ему страстно хотелось скакать и скакать в седле, пока весь остальной мир еще спит; упиваться весенним воздухом, мчаться галопом по апрельским полям. Это страстное желание выехать за пределы не только Замка, но и Внешнего Поселения, притвориться на время, что свободен, накапливалось и росло в течение многих недель.

Свободен!..

Но что сама идея свободы могла означать для Тита, который почти не знал свободы перемещения в самом Замке, за каждым шагом которого следили, каждый шаг которого направляли? Что значила идея свободы для такого человека, как Тит, который никогда не знал восхитительной анонимности людей незнатных? Титу, представителю древнего рода, имеющему за собой много поколений родовитых предков, было неведомо, как избавиться от этого тяжелого груза, как стать просто мальчиком, не представляющим интереса для скрытого, но неусыпно наблюдающего ока взрослого мира. Быть просто человеком, который растет незаметно, как травинка в поле: детство незаметно переходит в отрочество, потом в юность... Разве не замечательно переползти незаметно из года в год, словно из одной поросли в другую, от одной засады к другой, залезать на верхушку дерева Юности и осматривать все вокруг?..

Откуда Тит мог знать, что странное, смутное чувство какой-то неудовлетворенности, которое в последний год стало время от времени охватывать его, проистекало от ощущения

загнанности? Горменгаст окружала дикая местность, тянувшаяся во все стороны до горизонта и превращавшая Замок в некое подобие острова, затерянного в дальних морях вдали от караванных путей. И непонятно – откуда при таких условиях могло возникнуть в Тите ощущение того, что он – как зверь, посаженный в клетку?..

Титу был неведом никакой другой мир. Тит рос в мире, который для постороннего мог бы показаться весьма романтичным. В этом мире были свои страсти, свои тайны, но в нем присутствовали и скрытые опасности; здесь не было любви, но было много заносчивости и одиночества.

Перед Титом открывалось будущее, наполненное нескончаемым ритуалом и педантизмом, и от этого у него что-то сжималось в горле. И он восставал.

Нарушать правила и запреты! Пропускать уроки! Это было почти то же самое, что быть Завоевателем... или даже Демоном!

И вот в предрассветный час апрельского утра Тит оседлал своего маленького серого пони и выехал за пределы Замка. Но вскоре после того, как он проехал под арками ворот Внешней Стены, углубился в Лес Горменгаст, он понял, что безнадежно заблудился и дороги назад не знает. Казалось, за какое-то мгновение облака полностью затянули небо, скрыв все небесные источники света; Тита со всех сторон окружали ветви и стволы; в лесной полутьме ветки хлестали его, куда бы он ни двинулся. Потом в какой-то ужасный момент его пони оказался по колени в холодной, засасывающей болотной жиже. С большим трудом, весь дрожа, выбрался пони на твердую землю, туда, где была опора для копыт. Но когда наконец из-за горизонта вышло солнце и его первые лучи пробились сквозь облачность и туман, Тит различил вдалеке – значительно дальше, чем он предполагал, – знакомый контур одной из западных частей Замка.

А затем солнце разогнало туман, рассеяло тучи, затопило своим светом все вокруг; в небе не осталось ни одного, даже самого крошечного облачка, и волнение, вызываемое страхом, сменилось радостным предвкушением неведомых приключений.

Тит понимал, что его уже хватились в Замке; время завтрака давно миновало, но в общей спальне должны были поднять тревогу сразу, как только обнаружили его отсутствие. Тит хорошо представлял себе, как удивленно поднимаются брови учителя, вошедшего в классную комнату и обнаружившего его отсутствие за партой, как оживленно обсуждают ученики его исчезновение. А потом он почувствовал нечто более волнующее, чем теплый поцелуй солнца в затылок, – он ощутил апрельский воздух, бьющий ему в лицо, в грудь, в живот, свистящий вокруг бедер. И тут же позабыл о гложущем беспокойстве – этот апрельский ветер, казалось, таил в себе скрытую опасность, но при этом опьянял, невероятно будоражил, казался предвестником приключений; он нашептывал свои хмельные слова; а в спину то же самое шептал, хотя и посонливее, теплый солнечный свет.

Тита охватило такое мощное осознание себя как личности, что все эти приставленные к нему в Замке люди показались лишь куклами, которых он, когда вернется, схватит в одну руку и швырнет в ров Замка – если только вернется. Он не будет больше рабом! В конце концов, кто смеет ему приказывать: ходи в школу, делай то и не делай этого! Он не просто семьдесят седьмой Герцог Горменгаста, он ТИТ СТОН, он человек, и этого уже вполне достаточно!

– Ладно, погодите! – выкрикнул громко Тит. – Я вам покажу!

Ударив пятками в бока пони, он поскакал в сторону Горы Горменгаст.

Но прохладное дуновение весеннего ветра, пахнувшего ему в лицо, оказалось прелюдией не только к порыву Тита ускакать за пределы Замка в неурочное время. Этот поднявшийся ветер предвещал изменение в погоде, быстрое и неожиданное. Облаков в небе еще не было, однако солнце уже подернулось дымкой, и его лучи, согревавшие мальчику спину и шею, уже казались

не такими теплыми, как прежде.

Тит заметил явные изменения в окружающем его лишь тогда, когда, проскакав несколько миль, углубился в орешник по пути к Горе. С каждой минутой белая пелена, поднимавшаяся от земли, становилась все плотнее и гуще. Сначала солнце превратилось в бледный диск, а потом и вовсе исчезло.

О том, чтобы тут же вернуться, уже не могло быть и речи. Тит понимал, что стоит ему развернуть пони и отправиться в обратный путь, как он сразу заблудится в тумане. Если же двигаться вперед, то маяком по-прежнему может служить сияющая вершина Горы Горменгаст, все еще просвечивающая ярким пятном сквозь собирающуюся мглу. Однако и это световое пятно с каждым мгновением становилось все менее заметным.

Единственное, что оставалось делать – это попытаться выбраться из белых, непроницаемых для взгляда испарений и тумана. И, пустив своего пони в опасный галоп – опасный, ибо видимость составляла не более метра или двух, – он направился вверх по склону туда, где в выси еще можно было различить бледное, едва заметное сияние. Когда Тит выбрался достаточно высоко – сюда туман еще не успел добраться, ничем не заслоняемое солнце светило во всю мощь, – он обернулся. И, увидев покров тумана, застилавший все до горизонта, впервые в жизни осознал, что значит остаться по-настоящему одному. Такого одиночества мальчик никогда в жизни не испытывал. Здесь его окружала абсолютная тишина, абсолютная неподвижность, и лишь внизу клубился фантастический мир тумана.

Далеко на западе над туманной пеленой вздымались шпили, башни и крыши Замка Горменгаст; с того места, где находился Тит, казалось, что Замок воздушен – словно сложен не из камня, а из лепестков. Сотни окон, усыпавших его взлетающую ввысь центральную часть, блестели, вспыхивая в лучах солнца. Но в этом блеске виделся оскал зубов, а не игривые поблескивания солнечных зайчиков. Эти мертвые и холодные вспышки света контрастировали с темными пятнами плюща, покрывавшего стены и кровли.

Над головой Тита вздымалась сверкающая вершина Горы. Неужели ничего живого, кроме сбежавшего мальчика, нет больше на этих почти лишенных всякой растительности склонах? Казалось, сердце мира перестало биться.

На далеком Замке шевелились листочки вьющихся растений, там и сям развивались флаги, но в этих движениях не было настоящей жизни, никакой жизненной цели, подобно тому, как нет жизни в волосах трупа, развеваемых ветром. Никто не появлялся в этих верхних окнах Замка, столь похожих издали на оскаленные зубы, никто не выглядывал из них, высматривая что-нибудь вдаль. Если бы кто-то и выглянул в одно из этих окон, он бы, конечно, не смог различить Тита на далеком склоне. Но увидел бы солнце, освещающее затопивший все низины туман.

Туман застилал все видимое пространство, от горизонта к горизонту; казалось, и Замок и Гора опираются на его бурлящую поверхность, плавают по волнам белого моря. Дымные волны лизали бока Горы и уступы Замка. Клубы дымки ударялись о камень беззвучно. Казалось, нет силы, которая может очистить землю от застилающего ее тумана.

Не было ни малейшего дуновения ветерка ни на склонах Горы, ни вокруг громад Замка, ни в глубине застывших масс тумана. Неужели все застыло и там, на земле, под его покровом? Неужели не бьется ни одно сердце? Ведь если бы билось даже самое слабенькое сердечко, в этой тишине его стук был бы слышен везде – даже в самых укромных уголках.

Солнечный свет не окрашивал туман ни в какой свет – он оставался белым. Само солнце, казалось, побелело, отражая белизну, распростершуюся под ним; солнце выглядело хрупким, словно стеклянный диск.

А может быть, сама Природа затеяла какой-то эксперимент над собой? Она не может

сколько-нибудь продолжительное время находится в состоянии покоя, и не успел белый всепоглощающий туман, раскинувшись по поверхности земли, залив овраги реками холодного дыма, расстелившись по равнинам как одеяло, проникнув в каждую норку холодными пальцами, замереть, казалось бы, навечно, как с севера прилетел холодный и резкий ветер. И, сорвав покров тумана, тут же утих, словно прилетел специально для того, чтобы очистить землю. Ветер улегся, туман унесся, облака растаяли, солнце снова стало золотым жарким шаром. День был тепел и молод, Тит стоял на склоне Горы.

Глава шестнадцатая

Далеко внизу на склоне стояли группы деревьев, напоминающие людей. Среди камней там и сям поблескивали ручьи, отражавшие небо. Кусты и невысокие деревья, росшие вдоль этих многочисленных ручьев, стекавших по склону, казались их хранителями.

Титу они представлялись живыми; каждая группка деревьев и кустов выглядела по-своему, отличаясь ото всех остальных, несмотря на то что все были приблизительно одинаковых размеров и состояли в основном из одних и тех же пород – вязов и буков, орешника и можжевельника.

В ближайшей к Титу группе каждое дерево, казалось, было раздражено тем, что ему приходится соседствовать с другими, – все воротили друг от друга головы, пожимали плечами; в той, что подальше, царило нервное возбуждение: все деревья наклонились, словно горячим шепотом обсуждая какой-то свой зеленый секрет. Только одно из них слегка приподнимало голову, немного склонив ее набок, будто прислушиваясь к порхающей беседе. Тит перевел взгляд на следующую группу деревьев, в которой все словно разбегались от одного, презрительно стоявшего в стороне.

Видал Тит и деревья, словно замершие от ужаса, и деревья, словно отчаянно жестикулирующие, и деревья, словно поддерживающие своего раненного товарища, и деревья, высокомерно взирающие на все вокруг, и деревья скорбящие, и деревья, обуянные радостью, и деревья засыпающие или уснувшие...

Все жило своей жизнью, все было наполнено тайной и угрозой. А вдруг все они подглядывают за Титом, вдруг они готовы броситься на него? Нет, это всего лишь стволы, ветви, листья. Это его день, день Тита, и никто не посмеет испортить его. Нечего больше тратить время на разглядывание каких-то деревьев!

Он, Тит, убежал от башен, чьи силуэты виднелись вдали. Вокруг него – скалы, камни и травы настоящей Горы, купающейся в лучах полуденного солнца.

Рядом с мальчиком на камень села большая стрекоза. Из лесов у подножия Горы доносился взбудораженный гам птиц.

Крики птиц летели и над сверкающей равниной, расположенной к северу, и над лесами, уходящими зелеными складками до горизонта на запад.

Его смутные устремления стали оформляться в нечто конкретное; отсутствие в Замке, на которое Тит не испросил позволения, перестало беспокоить; его любопытство, вспыхнув, приняло одно направление. Что скрывается в этих зеленых залиственных пространствах? Что можно обнаружить за этими древесными стенами? Что таит тень крон? Что прячется там, на солнечных полянах, забросанных желудями? Радость первооткрывателя загнала в угол совесть, нашептывавшую Титу о грехе самовольной отлучки.

Ему хотелось пустить пони в галоп, но спуск по осыпям и камням был для этого слишком опасен. Но чем ниже по склону, тем легче становилась дорога и пони двигался быстрее.

Зеленая стена леса, по мере того как Тит приближался к ней, делалась все выше – вот она уже заслоняет небо, вот уже приходится сильно задирать голову, чтобы взглянуть на ветви и кроны.

Даже Замок Горменгаст спрятался за густой листвой леса, взбирающегося на холм. Лишь на востоке, позади Тита, были еще видны склоны Горы, карабкающиеся вверх корявыми уступами. Тит натянул поводья и остановил пони.

Здесь, у самой кромки леса, земля поросла шелковистой травой, в зелень которой был домешан пепельно-серый оттенок. Там и сям лежали большие камни, вокруг которых,

скрываясь в тени нагретых на солнце каменных бровей и выставленных вперед каменных же челюстей, пышно разрослись папоротники.

По нагретой поверхности камня бегали ящерицы. А когда Тит сделал первый шаг, чтобы углубиться в лес, с одного из камней соскользнула змея – словно стек ручеек – и проползла прямо перед ним, протрещав костяшками хвоста.

Что это все значит – гремучая змея, шелковый луг, огромные камни с ящерицами на них и папоротниками вокруг, высокая зеленая стена леса? Было ли пугающее появление змеи последним, что должно было пробудить Тита, раскрыть ему глаза, вдохнуть в него любовь к этому зеленому миру? Почему все вокруг волнует так, что даже дыхание перехватывает?

Тит завязал поводья некрепким узлом и, бросив их на шею пони, подтолкнул его в сторону Горменгаста.

– Отправляйся домой, домой! – приказал мальчик.

Пони повернул голову и взглянул на Тита, а потом, раскачивая головой из стороны в сторону, двинулся прочь. Через несколько минут он исчез за холмом. И Тит остался теперь уже действительно совершенно один.

Глава семнадцатая

Утренние уроки начались. В классных комнатах происходили сотни разных вещей, но за их дверьми, в пустых коридорах и залах царила напряженная, драматическая тишина, настолько густая, что, казалось, ее можно потрогать; тишина разделяла классные комнаты, стучала в каждую дверь.

Через час в Центральном Зале прозвонит медный колокольчик, и тишина рассыпется – как саранча, из классных комнат, словно вырываясь из тюремных камер на свободу, вылетят ученики.

Стены классных в Горменгасте, как и Профессорская, были обиты кожей – плохо обработанными конскими шкурами. Но во всем остальном, кроме кожаной обивки стен, ничего общего между ними не было. И по настроению, и по форме они были очень различны.

Классная Опуса Крюка, например, была длинной, узкой и плохо освещенной; единственное окно располагалось высоко над полом в дальнем конце комнаты. Опус Крюк лежал в кресле, укрытый красным половиком. Он был почти полностью погружен в тень. Хотя он сам едва мог различить мальчиков, сидящих перед ним за партами, Профессор находился в более выгодном положении – ученики его вообще не видели. Учительского стола не было, и перед Крюком находилась ничем не заслоненная полутьма. Под креслом для соблюдения хоть некоторых приличий валялось несколько учебников. Пыль покрывала их таким густым слоем, что, казалось, книги сверху припухли. Опус Крюк и не подозревал, что уже больше года назад их прибили к полу гвоздями.

Комната Призмкарпа была совершенно квадратной и очень хорошо освещенной; это последнее обстоятельство очень не нравилось ученикам – списывание и пользование шпаргалками становилось в таких условиях почти невозможным. Старая, плохо обработанная кожа на стенах распространяла тяжкий, затхлый дух, но кожу время от времени скребли, чистили и смазывали маслом. Парты и пол мыли содой и горячей водой каждое утро, так что (если не считать стен) комната имела идеально вычищенный, больничный вид, что делало ее самой нелюбимой из всех.

Комната Шерсткота напоминала туннель, с полукруглым окном во всю торцевую стену у двери. В противоположность Опусу Крюку, предпочитающему сидеть в темноте, Шерсткот за очень высоким столом являл собою совершенно иное зрелище. Свет, льющийся из окна, расположенного позади стола, освещал Шерсткота со спины. И со стороны учеников он казался черным силуэтом, вырезанным из бумаги. На фоне полукруглого окна в конце туннеля его жесты казались неестественно отрывочными. Сквозь окно виднелась вершина Горы Горменгаст. А в это утро над сияющей вершиной были видны маленькие тучки – словно зависшие в воздухе парашютики одуванчиков.

Но даже среди всего многообразия классных комнат Горменгаста, каждая из которых обладала своим особым характером, одна выделялась среди всех остальных. Она находилась на верхних этажах и представляла собой большую, словно замечтавшуюся залу, в которой стояло очень много парт. Учеников здесь всегда было намного меньше, чем парт, а ее обширные пространства никогда не находили никакого учебного применения. Местами со стен клочьями свисала ободранная кожа.

Большое окно этой комнаты выходило на юг, и лучи солнца выбелили половицы, которые никогда не красили, не покрывали мастикой. А чернила, которые расплескивали на пол ученики, поколение за поколением, выцвели и стали очень красивого, блекло-голубого цвета, в котором было нечто феерическое. Все остальное выглядело скучно и прозаически.

Что феерического, например, могло быть в том мешкоподобном монстре, в том храпящем бесформенном создании, в той туше, которая лежала, свернувшись как собака, на учительском столе? Выглядело это создание ужасно, отвратительно и грубо. Но что же все-таки это было? При первом взгляде можно было бы сказать, что оно мертво, ибо в нем была тяжелая неподвижность смерти. Но исходивший от него приглушенный храп, сопровождаемый время от времени звуком, напоминавшим свист ветра, прорывающегося сквозь зазубренное отверстие в разбитом стекле, говорил о том, что оно живо.

Что бы это ни было, оно не только не внушало ужаса, но не вызывало даже интереса у десятка, или около того, учеников, которые в этой древней и мечтательной зале верхних этажей Школы, по всей видимости, были заняты чем угодно, но не учением и не трепетным созерцанием своего учителя. В окно лился солнечный свет, лучи которого высвечивали мириады подвешенных в воздухе пылинок. Но и в учениках ничего романтически-мечтательного не было.

Что же тут происходило? Хотя шума ученики почти не производили, в атмосфере класса чувствовалось такое напряжение, что оно казалось громким звуком.

Здесь играли в весьма опасную игру. Ни в одной из других классных комнат в такое не играли. Ученики, в ней не участвовавшие, сидели, затаив дыхание, на своих партах. Вот-вот должен был начаться новый этап. Хитрые лица учеников были обращены к окну. О, эти жилистые создания, играющие в опасные игры, выглядели закаленными в серьезных испытаниях. Ветераны заняли исходные позиции.

Все было готово. Несколько длинных и широких половиц было вырвано из пола, одна из них была установлена под углом так, что одним концом упиралась под подоконник, а другим – в половицу, положенную на пол впритык к первой, остальные, также впритык, были уложены поперек комнаты так, что упирались в противоположную от окна стену. Все половицы были гладко отструганы и навощены огарками свечей. Неисчислимые поколения учеников использовали эти половицы для игры.

Одна команда мальчиков стояла у открытого окна – сейчас была их очередь. Один из них, черноволосый мальчик с родимым пятном на лбу, запрыгнул на подоконник, по всей видимости, совершенно не обращая внимания на то, что расстояние от окна до вымощенного камнем двора под ним составляло не меньше тридцати метров.

Тут же члены команды противников, сидевшие на корточках, прячась за партами в дальнем конце комнаты, разложили перед собой скатанные в плотные шарики бумажные снаряды, которые должны были запускаться из рогаток с гладко отполированными от длительного употребления ручками. Были когда-то времена, когда использовались глиняные или даже мраморные шарики. Но, после того как погибло несколько мальчиков, было решено использовать бумажные шарики (Это решение было вызвано не столько тем, что игра несла с собой смерть, но тем, что каждый раз припрятывание тела было сопряжено с большими сложностями). Хотя нельзя было сказать, что удар бумажных шариков был намного мягче – бумага жевалась, мялась пальцами, в нее замешивалась резина от изжеванных мягких стиральных резинок, а затем нужная форма и плотность придавалась помещением определенного количества исходного продукта в ямки, вырезанные в поднимающейся крышке парты в том месте, где доска соприкасалась с партой – затем крышка плотно закрывалась. Плотные бумажные шарики, выпущенные с большой силой из рогаток, наносили удары, сравнимые по силе с ударом хлыста.

Но в кого мальчики изготовились стрелять? Их противники стояли спокойно у окна и явно не ожидали обстрела. Мальчики с рогатками даже не смотрели в их сторону – они глядели прямо перед собой, однако прищурился левый глаз и натягивая рогатки. Но игра вот-вот должна была начаться – и тогда все станет понятно. Хотя в ней был свой ритм, свои отлаженные

движения, ни с танцем, ни с гимнастическими упражнениями ее нельзя было сравнить. И так, что же происходило?

Черноволосый мальчик с родимым пятном на лбу слегка подогнул колени, немного изогнулся, хлопнул в замаранные чернилами ладони и прыгнул с подоконника в утреннее солнце – туда, где напротив окна простирались ветви огромного платана. На мгновение из существа, ходящего по земле, он превратился в существо, живущее в воздухе; голова у него была откинута назад, зубы обнажены в оскале, пальцы и руки вытянуты, взгляд устремлен на ближайшую толстую ветку. В десятках метрах под ним утреннее солнце освещало пыльный каменный двор, в углу которого росло это огромное дерево. Стороннему наблюдателю, случись ему в этот момент оказаться в комнате, могло бы почудиться, что прыжок мальчика закончится лишь далеко внизу, на камнях двора. Но товарищи по команде, прижавшиеся к стене по обеим сторонам окна, и команда их противников, прячущихся за партами, знали, что это лишь начало. И все с напряжением смотрели, не отрывая глаз от навощенных половиц, лежавших поперек комнаты.

Мальчик, пролетев расстояние, отделявшее окно от выбранной ветки, цепко ухватился за нее и повис, сильно раскачиваясь в воздухе среди листвы. Далеко откачнувшись от окна, он в крайней точке, достигнутой им в воздухе, ловко дернулся, что должно было придать ускорение его движению назад, к окну; мальчик приготовился к самому сложному маневру, для которого требовались стальные нервы (впрочем, как и для прыжка к ветке). Инерция прыжка унесла ноги мальчика далеко ввысь, много выше уровня подоконника, с которого он прыгнул. Во время обратного движения к окну, достигнув нужной точки, он отпустил руки. И вот он снова в полете. Он летел на большой скорости под таким углом, чтобы влететь в окно, ни за что не зацепившись, и приземлиться на прислоненную под подоконник наклонную половицу, соскользнуть по ней на своих тверденьких ягодицах, пронестись по половицам, выложенным на полу, и удариться ногами в обитую кожей стену – и все это со скоростью камня, выпущенного из пращи.

Но, несмотря на свое неожиданное появление в окне и затем на скользкой дорожке и на ту скорость, с которой мальчик двигался, ему не удалось избежать попадания под обстрел из рогаток. Залп из шести рогаток дал такие результаты: один шарик ударил в незащищенное одеждой тело, но не причинил особого вреда; три попали по телу, скрытому под одеждой, и двое стрелявших промахнулись. Но игра продолжалась: не успел еще черноволосый мальчик ударить ступнями ног во вмятину в коже, образованную ударами ног многих поколений, как следующий из его товарищей по команде уже летел в воздухе, с вытянутыми руками, сверкающими от возбуждения глазами, а стрелки перезаряжали свои рогатки и прищуривали левый глаз, натягивая тугую резинку.

К тому времени, когда мальчик с родимым пятном на лбу вернулся к окну, потирая ухо, ужаленное шариком из рогатки, его товарищ по команде, привидением вынырнув из солнечного неба, уже мчался по скользкой дорожке к стене.

В комнате царил тишина, наполненная неярким солнечным светом. В окне виднелся сложный узор ветвей и веточек, на полу были разбросаны золотистые тени от парт, на стене висела девственно-нетронутая огромная доска. Эта неспешная, сонливая тишина нарушалась лишь хлопком вымазанных чернилами рук, свистом шариков, щелканьем резины, скрипением одежды по скользким половицам, глухими ударами ног в кожаную стену. Потом команды поменялись местами. Прыгавшие заняли место стрелков, а те перешли к окну. И все повторилось. В этой невероятно опасной, варварской игре был свой ритм – своя церемониальность, – она была ритуалом, таким же священным и неподвергаемым сомнению, как и многое другое, скрытое в душе каждого мальчика.

Презрение к опасности и умение скрыть боль связывали мальчиков больше, чем обычные узы дружбы. И страшные их секреты казались еще чернее, еще таинственнее, еще ужаснее или еще смешнее от того, что все они познали восторг прыжка над пропастью, от которого все сжималось внутри, восторг молниеносного скольжения по половицам через тихую комнату, радость от осознания того, что шарик, выпущенный из рогатки, просвистел мимо, и боль, когда он попадал в цель.

Но имело ли все это хоть какое-то значение? Зачем нужна была эта ритмическая ритуальная игра? Для чего мальчики таким образом растрчивали переполнявшую их жизненную энергию? Значение имело лишь то, что все это происходило в описываемое утро.

Ну, а что же черная грудка, лежащая на столе? Солнечные лучи проникающие сквозь листья огромного платана у окна, уже забросали спящего Профессора подвижными пятнышками света. Со стола по-прежнему доносился храп – совершенно неприличный звук для первого урока в весеннюю пору.

Но минуты этого несправедливого отдыха уже были сочтены – вдруг раздался предупредительный крик, пришедший откуда-то из-под потолка и со стороны двери. Это давал предупреждение мальчик – маленького для своих лет роста, веснушчатый, – который сидел на высоком шкафу, стоявшем рядом с дверью. Над дверью располагалось небольшое полукруглое окно, в которое, наклонившись, он смотрел; надо сказать, что само окно настолько заросло пылью и грязью, что сквозь него ровным счетом ничего нельзя было увидеть. Но в стекле было очищено пятнышко размером в большую монету, сквозь которое просматривался коридор. Дозорный, глядя в этот глазок, мог таким образом при первых же признаках приближающейся опасности, дать предупреждение всему классу и учителю.

Хотя ни Баркентин, ни Мертвизев не совершали частых рейдов по классным комнатам, однако ради предосторожности совсем не мешало иметь постоянного наблюдателя на шкафу, который отправлялся туда сразу, как только начинался первый утренний урок. Ибо нет ничего более раздражающего, чем быть неожиданно, без предупреждения, прерванным в своих занятиях.

В то утро веснушчатый дозорный, напомиравший куклу, заброшенную на шкаф, был настолько увлечен перипетиями игры, разворачивающейся внизу, что несколько ослабил бдительность, и время между заглядываниями в глазок все удлинялось. Когда он глянул в него в очередной раз, то увидел целую фалангу Профессоров,двигающихся по коридору как черный прилив; во главе их находился сам Мертвизев, возвышающийся над всеми в своем высоком стульчике на колесах.

Мертвизев, возглавлявший процессию, хотя и сидел далеко не выпрямившись, благодаря высоте своего стульчика на целую голову – а то и больше – возвышался над потоком квадратных черных преподавательских шапочек. Его стульчик, нещадно скрипя колесиками, покачивался, подталкиваемый сзади Кузнечиком, которого в глазок еще не было видно. Он полностью скрывался за несуразной скрипящей и раскачивающейся конструкцией. А несуразность ее, усугубляемая непропорционально большой полочкой, располагавшейся на уровне сердца Мертвизева, и грубо вырезанной маленькой полочкой, прикрепленной пониже и служившей подставкой для ног, была просто невероятной.

Та часть лица, которая виднелась над верхней полочкой, давала понять, что Мертвизев не спит, что уже само по себе говорило о необычности происходящего.

Позади Мертвизева все видимое пространство темного коридора заполняли плотные ряды Профессоров. Неужели все они бросили свои классные комнаты? И что могло привести их сюда, на один из редко посещаемых этажей Замка, да еще так рано, когда только начались занятия? Отгадать эту загадку было невозможно. Но, как бы там ни было, они были здесь, они

приближались; их мантии развевались и шуршали, цепляясь за стены. В их походке была целенаправленность, их вид был очень серьезен. И это пугало.

Крошечный мальчик, сидевший на шкафу, повторил сигнал опасности – такого пронзительного и отчаянного вопля его школьные товарищи еще никогда не слышали.

– Зевок! Зевок! – верещал он. – Быстрее, быстрее, быстрее! Зевок, и с ним все остальные! Помогите мне слезть! Помогите мне слезть!

Игра была немедленно приостановлена. Ни одного выстрела не было сделано по ученику, который в этот момент влетел в окно и, проскользнув по половицам, ударился ступнями в стену. Мальчики бросились подбирать половицы, составляющие скользкую дорожку, и вставлять их на место; при этом в спешке была допущена ошибка: одна из половиц была положена навоощенной стороной вверх, но исправлять ее уже не было времени. Крошечка, сидевший на шкафу, прыгнул вниз – для него эта высота должна была казаться очень большой – и был подхвачен большеголовым мальчиком.

Затем мальчики бросились за парты, заняв первые два ряда; они замерли, склонив головы набок и прислушиваясь к приближающемуся скрипу Мертвизевого стульчика.

А на столе по-прежнему лежала безмятежно похрапывающая туша, которую не разбудили ни предупредительные крики, ни возня, последовавшая за ними. Туша лишь слегка дернулась и тут же замерла снова.

Любой из учеников, сидящих в подозрительно притихшей комнате, мог броситься к учительскому столу попытаться разбудить спящего и вернуться на свое место до того, как распахнутся двери и в класс въедет Мертвизев, сопровождаемый Профессорами. Но никто не рискнул этого сделать, ибо на пробуждение спящего ушло бы слишком много времени: нужно было сорвать складку мантии, укрывающую голову Роцезвона, лежащую на подложенных под нее руках, и расталкивать его до тех пор, пока к нему хоть в малой степени вернется бодрствующее сознание. Увы, на это требовалось весьма длительное время.

Да, на столе действительно лежал и спал никто иной, как Роцезвон Эта черная и бесформенная храпящая груда была старым учителем, которого ученики предупредительно укрыли мантией – так они поступали всегда, как только Профессор засыпал.

Нет, на расталкивание Роцезвона уже не было времени. Визжащий скрип прекратился. Был слышен топот ног Профессоров, выстраивающихся в новые порядки за своим главой. Ручка двери стала поворачиваться.

Когда дверь распахнулась, входящие увидели учеников, склонившихся над своими тетрадами и яростно, с насупленными от усердия бровями что-то царапающих в них.

На какое-то мгновение в комнате повисла напряженная тишина.

А затем раздался голос церемониймейстера Кузнечика, все еще прячущегося за стульчиком Мертвизева.

– Прибыл господин Директор!

И все вскочили на ноги. Все, кроме Роцезвона.

Снова раздался визжащий скрип, и стульчик покатился по заляпанному выцветшими чернилами проходу между партами. В комнату влился поток черных мантий и квадратных шапочек, и под ними можно было различить лица Опуса Крюка, Зернашила, Призмкарпа, Врода, Шерсткота, Заноза, Осколлока, Срезоцвета, и остальные лица тоже были легко узнаваемы. Мертвизев, совершающий объезд классных комнат, уже отправил всех мальчиков из тех классов, которые посетил, на большой двор, а учителей забрал с собой, так что теперь за ним следовали практически все преподаватели Горменгаста. После завершения посещения всех классных комнат ученики должны были быть разбиты на группы и отправлены на поиски Тита – именно его исчезновение вызвало это беспрецедентное появление Главы Школы на занятиях.

Сколь милосердно неведение человеком того, что ожидает его в самом ближайшем будущем! Как ужасно было бы, если бы собравшиеся в классной комнате Роцезвона знали, что должно произойти в течение ближайших нескольких секунд! Их бы надолго парализовал ужас! Лишь предвидение могло бы остановить надвигающуюся катастрофу – но никто этим предвидением не обладал!

Преподаватели, сбившись в кучу, стояли у двери, а Кузнечик, довезя высокий стульчик до конца прохода, уже собирался поворачивать налево, чтобы остановиться у стола Роцезвона, этот маневр имел целью дать Главе Школы возможность обратиться к самому старому из учителей. Но тут случилось нечто непредвиденное, заставившее на какое-то время забыть об исчезновении Тита. Кузнечик поскользнулся! Его ноги сами по себе поехали куда-то в сторону! Он усиленно работал ногами, чтобы сохранить равновесие. И как быстро эти ножки двигались! Казалось, у него не две ноги, а великое множество их, дрыгающихся в разные стороны! Но как ни старался Кузнечик удержаться на ногах, они скользили по предательской половице – Кузнечик ступил на ту самую, навощенную и изглаженную штанами мальчиков до состояния полной зеркальности половицу, которую уложили в страшной спешке не той стороной вверх!

Все произошло так быстро и неожиданно, что Кузнечик не успел разжать рук, вцепившихся в высокий стульчик, который угрожающе раскачивался, возвышаясь над ним как башня. Профессоры в ошеломлении, выглядывая друг у друга из-за плеча, наблюдали за происходящим, мальчишки, вскочившие на ноги при появлении Мертвизева, стояли словно вросшие в пол – на их глазах происходило нечто страшное, столь страшное, что мальчишки боялись верить своим глазам. Никакое, даже самое разнузданное мальчишеское воображение не могло бы себе такого представить.

Кузнечик, дрыгая ногами, рухнул на пол, потянув за собой стульчик. Колесики издали свой последний жалобный расшатанный взвизг, стульчик накренился, потом сильно дернулся в другую сторону, и с его вершины в воздух было выброшено какое-то тело! О, это был Мертвизев!

Он взлетел высоко под потолок, а потом, как инопланетянин, прибывший с другой планеты или из еще более дальних глубин Открытого Космоса, ринулся вниз в ореоле знаков зодиака изображенных на его развевающейся мантии.

О, если бы Мертвизев мог вывернуться в полете, прижать медную трубу к губам и трубя, вознестись вверх, пронестись над головами учеников и Профессоров, весь в развевающихся складках, вылететь в окно пролететь сквозь листья платана, взмыть над крышами Горменгаста и унести прочь из этого мира, где все подчиняется законам тяготения, – только при этом условии он мог бы избежать столкновения с полом, которое должно было произвести такой страшный звук. Но, увы, этой летательной силы он был лишен. И поэтому раздался страшный, переворачивающий все внутри звук, который слышали в то утро ученики и учителя и который ни один из них уже не мог позабыть. Этот звук черным крылом прикрыл сердце и мозг. От этого звука, казалось, померк даже солнечный свет.

Но не только этот душераздирающий звук, который издал разламывающийся как яйцо череп, ужаснул находившихся в классной комнате людей – был потрясен не только слух, но и зрение. Ибо, казалось, Судьба сделала все, чтобы произвести максимально возможный эффект. Глава Школы Мертвизев, летевший вниз по совершенно ровной вертикали, ударился головой об пол в самом углу комнаты и, поддержанный с двух сторон стенами, удерживающими его в равновесии, так и остался стоять ногами вверх. Мертвизев умер еще в полете, и тело его мгновенно застыло, охваченное этим преждевременным *ngons mortis*.^[4] Зрелище это было еще ужаснее, чем тот звук, который он издал при падении.

В этом мягком рыхлом, никем не понятом Мертвизеве, теперь так неожиданно

отвердевшим, в этом архисимволе переложенных на другие плечи обязанностей, в этом воплощении отрицания всякой деятельности и апатии, этом окаменевшем Мертвизеве, стоявшем вниз головой, казалось, было теперь больше жизни, чем когда бы то ни было ранее. Члены его, отвердевшие в спазме смерти, казались вполне мускулистыми, а не мягкими, как отваренные макароны. А разможенный череп поддерживал в равновесии – совместно со стенами с двух сторон – тело, в котором словно бы появился смысл жизни.

Никто не шевелился, и ничто не шевелилось. Первое шевеление, нарушившее неподвижность, которая охватила всех после вздоха ужаса, пробежавшего по залитой солнцем классной комнате, произошло в руинах конструкции, бывшей всего несколько мгновений назад высоким стульчиком.

Из-под обломков выбрался церемониймейстер Кузнечик, волосы у него были растрепаны, быстро бегающие глазки, казалось, вот-вот вывалятся из глазниц, зубы стучали от ужаса. Увидев Мертвизева, одеревенело стоявшего на голове в углу комнаты, он бросился к окну, всякая напыженность исчезла из его движений. Его чувство благоприличия было настолько потрясено, что его охватило единственное и могучее желание немедленно покончить с собой. Быстро взобравшись на подоконник, Кузнечик, усевшись на него, перекинул ноги на ту сторону и затем соскользнул с подоконника туда, где внизу, в тридцати или более метрах, его ожидал каменный двор.

Из рядов преподавателей выступил Призмкарп. Обращаясь к мальчикам, он сказал:

– Всем немедленно отправляться в Краснокаменный Двор! – Голос Призмкарпа звучал резко и отрывисто. – Там спокойно ждать дальнейших инструкций! Укропп!

Мальчик, к которому обратился Призмкарп, вздрогнул, словно его ударили, – он с отвисшей челюстью и остекленевшими глазами смотрел на перевернутого вверх ногами Мертвизева. После оклика он отвел взгляд от страшной картины, но ничего сказать еще не мог.

– Укропп, – повторил Призмкарп, – ты выведешь класс во двор. Ты, Луковиц, будешь замыкать строй. А теперь двигайтесь! Двигайтесь! Повернули головы к двери и пошли! Эй, ты, Малумник! И ты, Мяте, или как тебя там зовут! Двигайтесь! Двигайтесь! Двигайтесь!

Подавленные, плохо соображающие, что делают, ученики двинулись к двери, но их головы были все еще повернуты в сторону мертвого Мертвизева. Три или четыре других преподавателя, которые более или менее пришли в себя после страшного шока, помогали Призмкарпу выдвирать учеников из классной комнаты и отправлять их во двор. Наконец последний ученик покинул комнату. Солнечные лучи играли на крышках опустевших парт, на лицах Профессоров, на их мантиях и шапочках, которые, однако, продолжали оставаться неизменно черного цвета, так, словно находились в глубокой тени. Солнечный луч зажег подошвы ботинок Мертвизева, глядящие в потолок.

Призмкарп, взглянув на сгрудившихся преподавателей, понял, что и следующее решение придется принимать самому. Его глазки-пуговицы засверкали. Он выставил вперед то, что у него сходило за челюсть. Его круглое, младенчески-поросыачье лицо было полно решимости и готовности действовать.

Он уже открыл свой аккуратненький, довольно жестокий ротик, – он собирался призвать остальных помочь ему привести труп в надлежащее положение. Но тут раздался голос, который вырвался вовсе не из его глотки. Голос казался одновременно и близким, и далеким. Поначалу трудно было разобрать слова, но мало-помалу голос начал выговаривать слова все четче – но так, словно произносил их спящий или бредящий человек:

– ... нет, не думаю... человечек... о, эта давно ушедшая любовь, моя королева, а Рощезвон охраняет тебя... если лев... приблизится... я оборву тебе гриву! Если зашипят на тебя змеи... я наступлю на них... возможно... и разгоню хищных птиц... налево и направо, налево и

направо...

Затем раздался долгий вздох или выдох – с присвистом. И вдруг нечто, завернутое в черное и лежащее на столе, вздрогнуло и стало подниматься – Роцезвон медленно отрывал голову от стола. Пока его руки стаскивали с головы мантию, голос продолжал вещать из-под черных складок одежды:

– Назови перешеек... Не можешь? А ты, Малпорт?.. Тиногнь?.. Птицглин?.. Старрух?.. Лодыжик?.. Что? Никто не может назвать этот перешеек?

Последним отчаянным рывком он высвободил голову, явив свое длинное, слабое лицо – такие лица бывают у существ, живущих в глубинах океана. Соскользнув на стул, стоящий рядом со столом, он огляделся. Но прошло несколько секунд, прежде чем его бледно-голубые глаза привыкли к свету. Он поморгал.

– Назовите хоть какой-нибудь перешеек, – повторил он, но уже не так уверенно, ибо стал осознать, что перед ним в классе никого нет.

– Назовите...

Но в этот момент его глаза достаточно привыкли к яркому свету, и он увидел не только отсутствие учеников за партами, но и Мертвизева, стоящего в углу на голове вверх ногами.

Это зрелище настолько потрясло его, что он не успел удивиться исчезновению учеников.

Роцезвон, покусывая костяшки своего кулака, вскочил на ноги. Он вытянул вперед голову, потом втянул ее назад, встряхнулся, как это делает собака, выходящая из воды, затем наклонился вперед, опираясь на стол. И снова посмотрел в страшный угол. Он молился про себя о том, чтобы все это было сном. Но нет, это был не сон. Роцезвон и подумать не мог, что Глава Школы мертв, и, считая, что с Мертвизевом произошла какая-то поразительная внутренняя метаморфоза и он решил продемонстрировать ранее скрываемое умение стоять на голове, обнаруживая перед старым учителем некую неизвестную сторону своего естества. Роцезвон начал хлопать в ладоши. Его красивые руки медленно смыкались, производя глухой хлопок, затем расходились; на лице Профессора было написано выражение, которое бывает у человека одновременно заинтригованного и удивленного; его плечи были отведены назад, голова откинута, брови подняты. Уголки губ были вздернуты вверх. Но поднять их так, чтобы скрыть свою полную растерянность, стоило ему многих усилий.

Тяжелые и редкие хлопки гулко раздавались в тишине комнаты. Роцезвон слегка повернул голову, словно обращаясь к своему классу за поддержкой – или за объяснением, – и только тут осознал, что за партами никого нет. Лишь широкие рассеянные лучи солнца оживляли пустоту.

Роцезвон схватился руками за голову и неожиданно сел на свой стул.

– Роцезвон! – прозвучал четкий, резкий голос откуда-то сзади него. Роцезвон, не вставая со стула, быстро развернулся верхней частью тела. Он увидел стоящих в два ряда таких же безмолвных, как стоящий на голове Директор, как пустые парты, Профессоров Горменгаста, похожих в тот момент на выстроившийся мужской хор или труппу актеров, собирающихся пародийно инсценировать Страшный Суд.

Роцезвон, пошатываясь, вскочил на ноги и провел рукой по глазам.

– Сама жизнь – это перешеек, – вдруг сказал кто-то стоявший рядом с Роцезвоном.

Профессор резко повернул голову; его рот был полуоткрыт, а губы растянуты в нервной улыбке, обнажающей изъеденные кариесом зубы.

– А это еще кто? – воскликнул Роцезвон, схватив за мантию человека, стоявшего к нему спиной, развернул его к себе.

– Попробуйте сначала ухватить самого себя! – раздраженно сказал Осколок – а это был именно он, минуту назад он помогал Призмкарпу выгонять учеников из класса. – Осторожно, мантия новая. Спасибо, что наконец отпустили. Я сказал, что жизнь – это перешеек.

– Почему? Как? – спросил Рощезвон, не вдумываясь в слова Осколлока. Его взгляд был снова устремлен на Мертвизева.

– Вы спрашиваете – почему? Подумайте – и легко догадаетесь. Вот наш Директор, – Осколлок слегка поклонился трупу, – перейдя по перешейку жизни, добрался до другого континента. Континента Смерти. Но задолго до того, как он...

Осколлока прервал жесткий и властный голос Призмкарпа:

– Господин Крюк, я прошу вас мне помочь.

Вдвоем они вернули тело Мертвизева в нормальное стоячее положение. Но попытка усадить его на стул Рощезвона, где он мог бы дожидаться перемещения в Профессорскую покойницкую, не увенчалась успехом. И пришлось прислонить его к стулу, а не усадить на него. Директор одеревенел, как высушенная морская звезда. Но расправить мантию на нем не составило труда. Лицо прикрыли тряпкой для вытирания доски, а после того как была найдена его квадратная шапочка, она была должным образом надета ему на голову.

– Господа, – сказал Призмкарп, когда все вернулись в Профессорскую и были отправлены посланцы к врачу, гробовщику и в Краснокаменный Двор, где ученикам было сообщено, что весь день они проведут в поисках своего школьного товарища Тита. – Господа, перед нами стоят две неотложные задачи. Первое – следует немедленно, несмотря на непредвиденную задержку, начать поиски молодого Герцога. И второе – следует сейчас же, во избежание анархии, провести выборы нового Главы Школы. – Призмкарп, ухватившись руками за складки своей мантии, раскачивался, привставая на цыпочки и опускаясь на всю ступню. – По моему мнению, и во исполнение традиции, выбор должен пасть на самого старшего из нас, невзирая на то, подходит ли он для этой должности или нет.

Все немедленно согласилось с этим предложением. Все до единого сразу оценили то, насколько при новом Главе Школы жизнь их станет еще более привольной и не стесненной начальственным наблюдением. Лишь Рощезвон был раздражен и недоволен, ибо ему очень не понравилось то, как преподнес все Призмкарп, и он решил, что в качестве единственного кандидата на должность Главы Школы он вполне может брать инициативу в свои руки.

– Что вы имели в виду, когда говорили «подходит ли он для этой должности или нет», черт вас побери?! – прорычал Рощезвон.

Ужасные конвульсии привлекли внимание всех к центру комнаты, где, распростершись в кресле, Опус Крюк извивался в пароксизмах своего беззвучного смеха. Он сотрясался, качался в разные стороны, слезы текли по его грубому, такому мужскому лицу, а булкообразный подбородок взлетал к потолку.

Рощезвон, отвернувшись от Призмкарпа, уставился на Опуса Крюка. Поначалу его благородное лицо потемнело от прилива крови, а потом, когда кровь отхлынула, побелело. В конце концов, разве теперь он не вождь, не предводитель? Разве это не один из тех критических моментов, когда следует проявить властность? Или терять ее навсегда? Вот все они тут собрались. Что он такое, Рощезвон, стоящий перед ними, своими коллегами – колосс на глиняных ногах? Проявит он слабость или силу? О, в нем все-таки было нечто, соответствующее благородным чертам его лица!

И Рощезвон почувствовал в тот момент, что и он способен на решительные действия. Он знал, что такое тщеславие и жажда власти. О, как давно он испытывал эти чувства! И много лет они не волновали его – но ведомы ему были.

Уверенными движениями, осознавая, что, если этого не сделать сейчас, то не сделать и никогда, он подошел к столу и взял стоявшую там большую и очень тяжелую бутылку, наполненную красными чернилами. Затем решительно шагнул к креслу, в котором извивался Крюк. Глаза Крюка были закрыты, голова бессильно закинута назад, мощные челюсти раскрыты

в пароксизме его сейсмического беззвучного смеха. Рощезвон поднял бутылку, одним движением кисти резко перевернул ее и вставил в разинутый рот, а затем вылил в горло Крюка все содержимое бутылки. Повернувшись к ошеломленным преподавателям, он сказал голосом, в котором было столько патриаршей властности, что она потрясла всех не менее, если не более, чем наказание чернилами:

– Господа! Попрошу выслушать мои распоряжения! Призмкарп! На вас возлагается организация поисков его светлости Герцога. Выведите всех преподавателей в Краснокаменный Двор. Шерсткот, вы организуете удаление господина Крюка из Профессорской и помещение его в лазарет. Проследите за тем, чтобы ему была оказана, если это понадобится, врачебная помощь. Доложите мне о состоянии больного вечером. Меня можно будет найти в Кабинете Главы Школы. Честь имею, господа.

И с этими словами Рощезвон вышел из комнаты, широко при этом махнув мантией и вздернув голову, увенчанную благородным серебром волос. О, как билось его сердце! О, как сладостно отдавать приказы! Как сладостно!

Закрыв за собой дверь, Рощезвон, совершая огромные прыжки, пустился бежать. Прибежав в кабинет Главы Школы, он рухнул в директорское кресло. Теперь это его кресло! Он подтянул колени к подбородку, обхватил их руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, расплакался счастливыми слезами. Уже много-много лет он не был так счастлив!

Глава восемнадцатая

Подобно стае ворон, преподаватели в своих развевающихся черных мантиях и колеблющихся как черные листья на ветру шапочках двигались по коридорам. Они добрались до Профессорской, а затем по одному стали исчезать в узком проходе в углу зала.

Это отверстие теперь трудно было назвать дверью, ибо оно больше напоминало прямоугольную дыру в стене; правда, присмотревшись, можно было обнаружить притолоку и петли, на которых когда-то была навешена дверь; теперь от нее осталось лишь несколько планок, свисающих с верхней петли. На одной из них можно было еще, хотя и с большим трудом, прочитать: «Только для Профессоров. Посторонним вход воспрещен». Чья-то умелая, но непочтительная рука нарисовала поверх надписи козла в мантии и квадратной шапочке. Замечали ли преподаватели когда-либо этот рисунок, сказать трудно. Но сегодня они уж точно не обращали на него никакого внимания. Они один за другим ныряли в отверстие в стене и исчезали в поглощающей их темноте.

Закрывала дверь этот проход или нет, не было никакого сомнения в том, что вход сюда посторонним был строго воспрещен. Что находилось там, за толстой стеной, оставалось на протяжении многих и многих поколений тайной под семью замками. Тайна эта не была секретом лишь для сменяющих друг друга преподавателей, в жизнь которых никто из других обитателей Замка по древней традиции не вмешивался. Когда-то очень давно появился среди преподавателей молодой человек, который щеголял такими словами, как прогресс, перемены, перестройка, но он был с позором изгнан из преподавательских рядов. Профессоры не терпели никаких изменений в своей жизни. Созерцать облупливающуюся краску, ржавеющий металл, изрезанную новыми надписями и изображениями крышку парты – это другое дело. Такие изменения можно было только одобрить.

И вот уже последний преподаватель исчез в отверстии стены. Зал опустел. Казалось, здесь никого и никогда не было вообще. Между планок бывшей двери пролетела с громким жужжанием оса. А затем зал снова наполнила тишина – как вода наполняет сосуд.

А куда же исчезли Профессоры? Чем они занимались? Они, сделав уже три поворота, все еще двигались по изгибающемуся высокому коридору, который заканчивался ступенями, ведущими к невероятных размеров турникету.

Профессоры двигались как огромная многоножка, с множеством похлопывающих крыльев-мантий; можно было заметить, что, если верхняя часть этого чудовищного создания выглядела весьма мрачно, в нижней части наблюдалась некоторая веселость. Казалось, ноги подмигивают друг другу или даже вот-вот пустятся в пляс. Но не все ноги вели себя таким образом – словно похлопывая друг друга по плечу. Была одна пара ног, которая передвигалась значительно менее радостно, чем остальные. Эта пара ног принадлежала Роцезвону.

Несмотря на то что он был очень доволен своим возвышением, такое резкое изменение в жизни начинало беспокоить его. Лицо Роцезвона было суровым, но в нем присутствовал и оттенок меланхолии. Он вел своих подчиненных, как пророк свой народ через пустыню. Но шли они туда, где жили преподаватели, где, увы, Роцезвон уже не жил. Став Главой Школы, он освободил свою комнату в Профессорском Обиталище, которую занимал три четверти своей жизни. В соответствии с древней традицией Глава Школы сопровождал – точнее, возглавлял – шествие преподавателей какую-то часть пути до определенного места, а затем должен возвращаться в Директорскую Спальню, располагавшуюся этажом выше, над Профессорской.

Директорство оказалось для Роцезвона весьма трудным испытанием. С одной стороны, с тех пор как он надел традиционную мантию, расшитую знаками зодиака, в нем появилось еще

больше величественности и уверенности в себе. С другой стороны, его беспокоил вопрос, приобретает ли он авторитет или теряет его. Он жаждал уважения и подчинения со стороны преподавателей – но как в то же время любил лень и безделье! Лишь время должно было показать, насколько его внешний вид, его августейшая голова смогут стать символом директорства. Он должен быть мудр, строг и одновременно доброжелателен. Ему необходимо добиться того, чтобы его почитали, он обязан стать почитаемым и признаваемым всеми главой Профессуры и ученичества! Это самое главное – он должен добиться почитания. Его обязаны почитать! Но... но для того чтобы добиться этого, придется прилагать какие-то усилия, что-то делать... лишнее... а в его возрасте...

Радость, звучавшая в шагах преподавателей, появилась лишь после того, как они покинули Профессорскую, а это означало, что остались позади и их учительские обязанности. Занятия закончились, и все Профессоры с нетерпением как всегда ожидали часа, когда смогут вернуться к себе. Это обычно происходило в пять часов пополудни. О заветный час!

Как сладостно вдыхать воздух своего дома! На многих лицах преподавателей появились затаенные улыбки. Они приближались к месту своего обитания, которое им было знакомо и понятно не просто на уровне сознания, а которое они ощущали глубинным, пращурным, радостным чувством, прятаясь в самой сердцевине их существа.

Их ожидал длинный, спокойный вечер. Много часов, до следующего утра, они не будут видеть измазанные чернилами рожи своих учеников!

Глубоко вдыхая родной воздух, профессорская многоножка приблизилась к ступеням, ведущим вниз. За ней по коридору, взвиваясь к высоким сводам, тянулся шлейф табачного дыма.

Коридор стал, хотя и незаметно, расширяться. Профессоры почувствовали себя менее стесненными в движениях, и многоножка стала распадаться. Стены коридора широко раздвинулись, и преподаватели вышли на очень просторную лестничную площадку, крытую деревянным настилом, с деревянными перилами. Лестница тоже была очень широкой, и по ней можно было спускаться как кому вздумается, шаги звучали еще веселее, ноги замелькали еще быстрее. Но в низу лестницы их снова поджидало узкое место – центр прохода занимал огромный турникет древней постройки. Его можно было бы обойти как с одной, так и с другой стороны, но строгий обычай требовал прохождения только сквозь турникет.

Над лестницей крыша была в такой стадии разрушения, что свет, проникающий сквозь дыры в ней, лежал золотистыми лужами на широчайших низких ступенях, каждая из которых, скорее, напоминала узкую и длинную каменную террасу.

Как при выходе из Профессорской, так и у турникета преподавателям приходилось проходить по одному.

Но теперь никто не спешил, никто не толкался, никто не нервничал. Ведь все вернулись к себе домой. Всех ждали их комнаты, располагавшиеся вокруг одного из неисчислимых внутренних дворигов Горменгаста. Разве имеет теперь значение то, что им придется немного подождать своей очереди пройти сквозь турникет? В их распоряжении был целый вечер, тихий, спокойный, ностальгический, словно насыщенный запахом миндаля. А затем длинная, уединенная ночь. И лишь потом их разбудит звон колокольчика, и снова придется вернуться к предложениям, перешейкам, сочинениям, бумажным самолетикам, чернильным кляксам и отпечаткам грязных пальцев в тетрадях, борьбе со списыванием, разбитым стеклам и очкам, пробиркам и химикалиям, рогаткам и призмам, датам битв древности и современным битвам с мышами, к бумажным шарикам и латыни, к сотням лиц учеников, глупых и умных, вопрошающих и скучающих, внимающих и спящих.

Не спеша, почти торжественно, мантии и квадратные шапочки проходили сквозь огромный, когда-то выкрашенный в красный цвет турникет и попадали в пещерообразное обширное

помещение с обсыпавшейся штукатуркой.

Те, кто ждал своей очереди, стояли возле турникета группами или сидели на ступенях. Да, здесь никто никуда не спешил. Вот один эрудит растянулся на каменной ступеньке во весь рост, а вот группа Профессоров словно отдыхающие аборигены далекого континента, сидит на корточках, подоткнув под себя мантии, те, что стояли в неосвещенных местах, казались разбойниками замышляющими недоброе, другие замерли купаясь в последних лучах солнца пробивавшихся сквозь испещренную дырами крышу.

Один из преподавателей с бородкой в форме лопаты стоял на руках вниз головой и балансируя в таком положении поднимался и опускался вверх и вниз по ступеням. Находясь в таком перевернутом состоянии он практически ничего не видел, так как мантия закрывала лицо и ему приходилось передвигаться на ощупь. Но время от времени его голова на мгновение выныривала из-под складок мантии и тогда являлась миру лопатообразная борода.

Из тех нескольких человек, которые наблюдали за этой акробатикой не было ни одного кто не видел бы это уже сотню раз раньше.

В центре одной из группок преподавателей стоял небольшого роста человек, точными, уверенными движениями раздававший своим коллегам небольшие листки бумаги. Это проворный Призмкарп распространял приглашения, которые ему среди дня доставил специальный посланник.

"Ирма и Альфред Хламслив

выражают искреннюю надежду,

что они будут иметь удовольствие

видеть

ВАС

у себя"

и так далее.

Не было ни одного профессора, который, получая приглашение, не поднял бы в удивлении брови, или не присвистнул бы, или не крякнул бы.

Некоторые были настолько поражены, что им пришлось сесть на ступеньки и дожидаться, пока не утихнет их взыгравший пульс.

Осколок и Усох постукивали позолоченными краями пригласительных билетов по подбородку и по губам – они уже раздумывали над тем, что с точки зрения психологии могло побудить Хламслива и его сестру разослать эти приглашения, и строили всякие догадки по этому поводу.

Опус Крюк, выпуская из своего безгубого рта различные конфигурации табачного дыма, позволил огромной усмешке расплыться по его худому лицу, но рассмеяться он себе не позволил.

Шерсткота охватило смущение – он совершенно бесстыдным и явным образом был взбудоражен этим приглашением, он пытался оттереть след от грязного пальца, оставшийся в углу его пригласительного билета (его он намеревался взять в рамочку, под стекло и повесить на стену).

У Роцезвона отвалилась его пророческая челюсть.

Приглашений было шестнадцать. Все основные преподаватели-Профессоры были приглашены. Билеты были доставлены в преподавательскую в тот момент, когда там никого, кроме Призмкарпа не было, и он взял на себя обязанность раздать их.

Неожиданно Опус Крюк по-лошадиному открыл свой рот и заржал. Его смех обрел звук! И этот звук запрыгал по обляпанным солнечным светом ступеням.

Повернулись квадратные шапочки, а вместе с ними и головы.

– Однако! – воскликнул Призмкарп, голос его звучал резко и отчетливо – Что за манеры, господин Крюк! Разве таким образом реагируют на приглашение, полученное от дамы! Сейчас же прекратите свое ржание!

Но Опус Крюк уже ничего не слышал. Мысль о том, что его приглашает Ирма Хламслив, спустилась к нервным окончаниям его диафрагмы, и остановить ее уже не было возможности. Диафрагма выталкивала из его легких все новые порции смеха. Только когда Крюк стал задыхаться, ему удалось остановиться. Когда он наконец, тяжело отдуваясь, несколько успокоился, то даже не посмотрел вокруг, чтобы определить, какую реакцию вызвал его смех – он все еще полностью находился под впечатлением события, которое так развеселило его. Вот он в своих руках держит пригласительный билет на прием Ирмы Хламслив, вот этот билет прямо перед его глазами! Крюк снова открыл рот – но смеха в нем уже не осталось.

В выражении поросячьего-бульдожьего лица Призмкарпа просматривалось некоторое снисхождение, словно он понимал, что чувствует Крюк. Но одновременно было явно заметно, что он неприятно удивлен и несколько раздражен грубостью натуры своего коллеги.

Однако несмотря на все закосневшее холостяцтво, несмотря на учительскую манеру резко и четко выговаривать слова, несмотря на всезнайство, у него было хорошо развито чувство юмора, которое часто заставляло его смеяться – причем даже тогда, когда разум и гордость противились этому.

– А что по этому поводу думает наш Директор? – спросил Призмкарп, поворачиваясь к Роцезвону, стоявшему рядом, его по-прежнему открытый рот зиял как разверстый вход в гробницу. – Что он думает, интересно бы знать? Что наш Директор думает по этому поводу?

Роцезвон, очнувшись, вздрогнул и оглядел стоявших вокруг него преподавателей с величием большого льва. Обнаружив, что у него открыт рот, он поэтапно его закрыл – не мог же он позволить кому бы то ни было подумать, что куда-то и в чем-то торопится!

Он поглядел своими пустыми благородными глазами на Призмкарпа, стоявшего в несколько вызывающей позе и постукивающего ребром пригласительного билета по отманикюренному ногтю большого пальца.

– Мой дорогой Призмкарп, – произнес наконец Роцезвон, – с чего бы это вас вдруг заинтересовала моя реакция на то, что в моей жизни не является таким уже необычным? – После небольшой паузы он продолжал (казалось, что он с некоторым трудом подбирает слова). – Рискну заметить, что только в молодые годы я получил больше приглашений на различные мероприятия, чем вы получали в прошлом или когда-либо получите в будущем за всю свою жизнь.

– Вот именно поэтому, – отозвался Призмкарп, – именно поэтому мы хотим услышать мнение нашего Директора. Именно поэтому только наш Директор может помочь нам. Что может быть более просвещающим, чем слово, услышанное из первых уст?

– Призм, – сказал Роцезвон, – по сравнению со мной вы просто мальчишка. Но вы все-таки не столь молоды, чтобы не знать правил хорошего тона. Сделайте одолжение, найдите в вашем ядовито-змеином отношении к жизни по крайней мере одно светлое исключение. И используйте его для обращения ко мне, когда в этом возникнет абсолютная необходимость, с тем чтобы в вашем обращении было меньше оскорбительного. Все преподаватели должны запомнить раз и навсегда – я не потерплю, чтобы ко мне обращались в третьем лице единственного числа. Я признаю, я стар, но я еще здесь, здесь, среди вас! Здесь, – проревел он, – я стою хожу, дышу, я существую, черт подери! Я существую, господин Призм и обладаю всеми способностями, которые позволяют мне не только понять услышанное, но и ответить должным образом!

Роцезвон закашлялся и тряхнул своей царственно-львиной головой. Откашлявшись, он продолжал:

– Измените свой способ высказываться, мой юный друг, найдите более достойные обороты речи, а сейчас одолжите мне ваш платок – от этих солнечных лучей здесь негде скрыться, и у меня начинает болеть голова!

Призмкарп тут же вытащил свой голубой платок и помог приспособить его так, чтобы скрыть наиболее открытые части несколько рассерженной, но по-прежнему благородной головы.

– Бедненький старичок Роцезвон, бедненькие его старенькие зубки, – нашептывал Призмкарп, завязывая на уголках платка маленькие узелки, чтобы тот лучше держался на директорской голове. – Этот прием у Доктора – как раз то, что ему нужно. О, это будет бурная вечеринка! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Роцезвон широко усмехнулся – ему никак не удавалось сохранять напущенный на себя вид высокого достоинства достаточно продолжительное время. Но тут же вспомнил про свое начальственное положение и произнес загорбным и одновременно властным голосом.

– Поостерегитесь, господин Призмкарп, поостерегитесь! Вы слишком часто наступали мне, так сказать, на мозоли.

А в это время Корк говорил, обращаясь к Шерсткоту:

– Непонятное это дело, с этим приглашением, как вы находите? К сожалению, я сомневаюсь, смогу ли я себе позволить такую роскошь и пойти. Не смогли бы вы... эээ... одолжить мне...

Но Шерсткот перебил его, не дав договорить:

– Меня тоже пригласили. – И Шерсткот помахал пригласительным билетом – Давненько уже.

– Да, давно уже, – вмешался Призмкарп, – спокойствие нашего вечера не нарушалось таким вмешательством чего-то – постороннего. Вам всем, господа, придется немножко привести себя в порядок, почистить, так сказать, перышки. Например, вот вы, господин Крюк, как давно вы в последний раз видели даму?

– Хотел бы их вообще никогда не видеть! – сказал Опус Крюк, с шумом посасывая трубку. – Терпеть не могу всяких куриц. Только раздражают меня. Могут ошибаться, конечно... вполне возможно... но это не важно. Общение с женщинами? Нет, увольте. Глупо потраченное время, испорченное настроение.

– Но вы все же примете приглашение, мой дорогой коллега? – спросил Призмкарп, склонив набок свою поблескивающую круглую голову.

Опус Крюк зевнул, потянулся и лишь после этого ответил:

– А на когда назначено? Я не посмотрел, – Голосом Крюк показал, насколько ему все равно – для него каждый вечер как зевок, одним зевком больше, одним меньше...

– В следующую пятницу, в семь часов вечера, – подсказал, задыхаясь, Шерсткот.

– Если дорогой Роцезвон, черт бы его побрал, пойдет, – сказал Крюк после долгой паузы, – я не смогу не пойти, даже если бы мне заплатили за то, чтобы я остался дома. Наблюдать за ним – все равно, что смотреть хорошую пьесу.

Роцезвон, услышав это замечание Крюка, обнажил свои неровные изъеденные кариесом зубы, прорычал что-то по-львиному и, вытащив из кармана небольшую записную книжку, записал в ней что-то, не сводя при этом с Крюка глаз. Потом, подойдя к насмешнику, прошептал:

– Красные чернила! – И стал смеяться. Роцезвон смеялся и смеялся, а ошеломленный Крюк бормотал:

– Ну, хорошо... хорошо... я не...

– Ничего хорошего, господин Крюк! – выкрикнул Глава Школы, успокоившись, – И ничего хорошего не будет до тех пор, пока вы не научитесь подобающим образом обращаться к своему Директору!

А Усох в это время говорил Осколку:

– А что касается Ирмы Хламслив – здесь мы имеем совершенно явно выраженный случай так называемого зеркального сумасшествия, вызванного повышенной подверженностью страхам. Но это, однако, не единственная причина.

А Осколок возражал и говорил так:

– А я вот не согласен. Я бы определил это как тень, которую отбрасывает личность Доктора на обнаженную, измученную душу его сестры, а эту тень сестра воспринимает как судьбу. И вот здесь я готов согласиться с вами, что подверженность страхам играет свою роль, ибо ее слишком длинная шея и фрустрационный комплекс вызвали в ней такое состояние ее Бессознательного, которое толкает ее на поиск мужчины. Здесь, конечно, работает механизм замещения, и ее страхи сублимируются. А Осколок так отвечал Усоху:

– Весьма вероятно, что мы оба правы, каждый по-своему. – И он улыбнулся широкой улыбкой своему другу. – Давай на этом и прекратим дискуссию. Когда мы увидим ее, мы сможем сделать более уверенные выводы.

А чуть в сторонке Пламяммул воскликнул, обнажив зубы в злом оскале.

– Пошла она к черту, эта старуха! Придумала присылать приглашения!

– Ну, не надо так, не надо, – сказал Срезецвет, – Давайте веселиться, радоваться!.. Однако становится прохладно! Считайте, что у меня температура, но действительно стало прохладно!

И это было в самом деле так, ибо солнечное пятно, в котором они стояли, переместилось, и все оказались в тени. Оглядевшись, последние двое обнаружили, что, не считая Роцезвона, остались лишь вдвоем – все остальные уже прошли сквозь турникет.

Роцезвон, махнув рукой, чтобы они следовали за ним, прошел сквозь скрипящий турникет. После того как Срезецвет и Пламяммул проследовали за ним в темное помещение, расположенное за турникетом, Роцезвон вернулся назад, взошел в одиночестве по низким каменным ступеням очень широкой лестницы и вскоре оказался вновь в Профессорской.

Преподаватели же, проследовав через темный зал с осыпающейся штукатуркой, по одному стали заходить в очень узкий и высокий коридор, стены которого были обшиты почерневшим от времени ореховым деревом. Коридор привел их к двери, за которой и располагались преподавательские обиталища.

Попав к себе, Профессоры ощутили, что то возбуждение, которое охватило их после того, как они покинули Профессорскую, несколько спало. Острое чувство того, что они избавились от дневных забот, приутихло, уступив место более спокойному и умиротворенному настроению. Весь вечер был в их распоряжении! От осознания этого комок подступал к горлу и на глаза

наворачивались слезы.

Место, где жили преподаватели, напоминало чем-то монастырь, по периметру квадратного в плане двора шла открытая арочная галерея, верхнее перекрытие которой образовывало террасу с балюстрадой, тоже соответственно опоясывающую весь двор на высоте метров шести-семи, на террасу выходили двери. Вот именно эти двери и вели в комнаты Профессоров. И столбы, несущие арки и арки на них опирающиеся, и терраса, и балюстрада и стены в глубине террасы с дверями в преподавательские апартаменты – все здесь было сложено из розовато-золотистого кирпича.

На дверях было вырезано имя того, кто проживает в комнате, в настоящее время этих имен на каждой двери было столько, что они занимали всю ее поверхность. Все имена располагались аккуратными колонками, и имя ныне живущего в комнате следовало искать в самом низу справа. Буквы были маленькие, очень аккуратно вырезанные в черном дереве. Скрывавшиеся за дверьми комнаты были маленькими и совершенно идентичными в плане, однако по убранству и виду своему различались так же, как различались характеры людей, в них обитающих.

Первое, что сделали преподаватели по возвращении к себе – сняли свои черные мантии и надели темно-красные, которые выдавались им для облачения в вечернее время.

Квадратные шапочки были повешены у двери либо брошены так, чтобы, спланировав, они оказались на какой-нибудь подходящей для приземления плоскости или выступе. То, что у многих шапочек углы их квадратного верха были смяты, а края обтрепаны, объяснялось именно таким запуском шапочек в воздух. Если на открытом воздухе такую шапочку умело бросить соответствующим образом – квадратной частью вниз, а полусферической, надеваемой непосредственно на голову, вверх – она могла, подхваченная ветром, взлететь довольно высоко. Если бы ученики увидели, как иногда над Профессорским Двором в воздух взмывают до тридцати, а то и более черных шапочек с болтающимися как ослиные хвосты кисточками, то, наверное, решили бы, что их ночной кошмар стал осязаемой реальностью.

Переодевшись в винно-красные халаты-мантии преподаватели в соответствии с обычаем выходили из своих комнат на розово-кирпичную террасу, где, облокотясь о балюстраду, могли в ожидании звона колокольчика, зовущего их на ужин в общей столовой, провести час-другой в приятной беседе или предаться воспоминаниям и мечтам.

Старому дворнику, подметавшему и сметавшему листья с розового кирпича, всегда было приятно наблюдать эту картину: ровные ряды арок со всех сторон, ряды Профессоров в винно-красных халатах, облокотившихся о балюстраду над арками, розово-золотистый кирпич вокруг. А преподаватели сверху взирали на старика, сгоняющего листья в угол своей потрепанной метлой. Листья взлетали как увядшие бабочки, и тут же падали.

В тот вечер никто из Профессоров не запускал в воздух свою шапочку, однако и без этого атмосфера в Длинном Зале, где они ужинали, была достаточно летучей – преподаватели живо обсуждали, делая неисчислимое количество предположений, что побудило Ирму Хламслив и ее брата организовать прием и пригласить на него шестнадцать Профессоров (оставшиеся без приглашений принимали в обсуждении не менее активное участие). Самое фантастическое предположение было сделано Срезоцветом, а именно Ирма, которой так явно нужен муж, решила созвать у себя на приеме Профессуру в надежде повстречаться с потенциальным супругом. Услышав такое предположение, грубый Опус Крюк, охваченный бесстыдным весельем, так хватил по столу своим огромным, как окорок, кулаком, что множество ножей, вилок и ложек, кувыркаясь в безумном танце, взлетели в воздух. А пара ближайших ножек стола треснула. Девять преподавателей из всех сидевших за этим столом неожиданно обнаружили ужин у себя на коленях или на полу. Повезло тем, кто в это время держал бокалы в руках, остальные бокалы перевернулись, расплескав налитое в них вино. После этого прошло немало

время, прежде чем удалось восстановить прежнюю атмосферу ужина.

Мысль о том, что кто-нибудь из Профессоров может жениться, показалась всем невероятно смехотворной. И не то, чтобы они считали себя недостойными претендентами в мужа, отнюдь. Просто это было нечто, принадлежавшее совсем другому миру.

– Однако вы совершенно правы, Срезозвет, совершенно правы! – закричал через стол Усох, когда преподаватели, собрав разбросанную посуду, несколько утомонились. И его слова имели шанс быть услышанными. – Осколок и я – мы того же мнения.

– Именно так, именно так, – подтвердил Осколок. – В моем случае, сублимация благодаря тем острым скалам и орлам, которые вторгаются в каждый мой сон без исключения, происходит достаточно просто. А мне снятся сны каждую ночь, не говоря уже об автоматическом письме, которое я практикую, – оно ставит на место мою нелепую любовь к Природе. Ибо перечитывая то, что я написал, так сказать, в трансе я начинаю осознавать, насколько нелепо пытаться осмыслить природные феномены, которые, в конце концов, представляют собой не более чем случайное стечение, аккрецию случайных событий... эээ... а о чем это я?

– Это уже не суть важно, – отозвался Призмкарп. – Важно то, что нас пригласили, что мы будем гостями и что нам следует приняв приглашение, вести себя достойно! Боже праведный! – воскликнул он после небольшой паузы во время которой обвел взглядом лица приглашенных. – Как жаль, что приглашен не только я один.

И в это время зазвонил колокольчик.

Все тут же поднялись из-за столов. Пришло время исполнять древний обряд. Посуда была прибрана со столов, столы перевернуты, и преподаватели уселись один за другим на внутренней части крышек перевернутых столов так, словно расселись в лодках, торчащие вверх ножки столов стали мачтами, все было готово к отплытию в воображаемый океан.

На несколько мгновений наступила полная тишина. Потом снова прозвонил колокольчик. Едва его звон стих, как команды неподвижной флотилии запели древнюю песнь, смысл которой был давно утерян. В полумраке Длинного Зала ее пели медленно, в раскачивающемся ритме, но в голосах поющих явно ощущалась скука, которую и не пытались скрыть. Эта песнь исполнялась ежевечерне, с незапамятных времен, и ее можно было даже принять за реквием – настолько пусто и невыразительно звучали голоса.

Следуй верно
Закону, Блюди обычай
Дома Стона,
Правда сокрыта
в теле
мертвого тома.
Крепи веру.
Чернила засохли,
Перо умолкло.
Дыханья не слышно,
Кости встают.
На рассвете
Судного Дня
В безысходности
расцветает роза,
Ребенок
Как заноза

В гробнице навоза
Время уходит в песок
Прошлого
Песок развеян.
Развеян.
Следуй Закону!

Глава девятнадцатая

Деревья в лесу, куда забрел Тит, стояли так густо, что их кроны сплетались, образуя лиственный навес, больше похожий на зеленую крышу сооруженную для какого-то театрального действия, чем на естественное образование. А может быть, густая листва предназначалась для того, чтобы скрыть какую-то драму, которая должна была здесь разыграться? Или это был все же навес для какого-то фарса или пантомимы? Но где в таком случае сцена, где зрители? Под лиственным покровом было совершенно тихо, не раздавалось ни звука.

Ветви переплетались так низко над землей, что Титу приходилось раздвигать их сомкнутый строй. При каждом шаге он наткался на какой-нибудь торчащий из земли корень. И листья, и мох были еще мокры от росы. Иногда Титу приходилось ложиться на землю и продвигаться вперед ползком – столь густым был лес и так низко опускались ветки. В одном месте путь ему преградила плотная сеть ветвей, сквозь которую, казалось, пробиться уже невозможно. Но желание двигаться дальше было лишь подстегнуто этой преградой. Одна отведенная в сторону ветка вырвалась из рук, хлестнула мальчика по щеке. Неожиданная боль заставила его удвоить усилия, и, преодолевая сопротивление гибких, словно обладающих мускулами ветвей, Тит продвинулся вперед по пояс. Хлещущие ветки уже не могли выпихнуть его назад – он удерживал завоеванное пространство плечами, которые болели от постоянных усилий. Вытянутыми вперед руками он смог раздвинуть листья, не позволявшие видеть дальше собственного носа. Тяжело дыша, он всматривался в открывшуюся перед ним картину. Чаща, сквозь которую пришлось пробираться заканчивалась, и перед Титом открывалась широчайшая лесная поляна – словно озеро золотисто-зеленого мха. Посреди поляны вздымались огромные древние дубы, казавшиеся порождением сна или причудливой фантазии, настолько химеричными они выглядели. Они стояли, как освещенные солнцем древние боги, каждый несколько в сторонке от других; земля вокруг них была укрыта золотой зеленью мха, застилавшей все видимое пространство.

Отдышавшись, Тит услышал поразительную тишину, в которую была погружена открывшаяся ему картина. Покров мха уже казался золотым полотном, сквозь которое прорываются могучие и величественные дубы, чьи ветви заканчиваются, словно позолоченными кончиками пальцев – крепкими желудями и пучками листьев удивительной, фантастической формы.

Тит вдыхал теплый воздух тишины; тишина вливалась в него, заставляя сердце биться все быстрее.

Тит дернулся и полностью высвободился из цепкой хватки ветвей, но при этом его куртка, зацепившись за колючий кустарник, была – словно рукой с отвратительными пальцами – сорвана с него. Тит оставил куртку на колючках, пронзивших ее, как когти лесного чудовища, в нескольких местах насквозь.

Как только шум борьбы с ветвями стих и теплая, вечная тишина воцарилась вновь, Тит сделал первый шаг по ковру мха. Он пружинил под ногой и казался очень плотным. Сделав следующий шаг, Тит понял, что пружинящее свойство мха позволяет шагать с величайшей легкостью, почти без усилий. Казалось, эта поверхность была специально создана для бега; каждый шаг буквально толкал к совершению следующего. Тит понесся по поляне, совершая гигантские прыжки. Упоение от этих «полетов» было некоторое время столь велико, что мальчик ни на что другое не обращал внимания. Но когда новизна несколько притупилась, Тит вдруг почувствовал, что его охватывает страх – поляна казалась бесконечной, уходящей вдаль,

насколько хватает глаз; и, пожалуй, поляной с полным правом ее нельзя было назвать; это был затерянный мир, равномерно поросший дубами. Картина, которая разворачивалась перед Титом, по мере того как он бежал, оставалась неизменной: мимо него проплывали молчаливые стволы дубов, под ногами проносился золотисто-зеленый ковер мха.

Не было слышно пения ни единой птицы, среди ветвей не было видно ни одной белки, не шевелился ни единый лист. Даже бег его был беззвучен, лишь воздух при каждом прыжке едва слышно шептал ему в уши, напоминая о том, что в мире еще существуют звуки.

И вдруг то, что он так любил – тишина – стало ему ненавистно. Тишина была ужасной, как смертное молчание. Ему вдруг стали ненавистны золотистое сияние, разлитое вокруг, нескончаемые пространства мха и даже парящие прыжки. Ему казалось, что какая-то злая сила влечет его и что он не в состоянии этой силе противиться. Радостное возбуждение, которое он испытывал, взмывая в воздух, сменилось волнением – его вызывал страх.

Тит боялся уйти в сторону от темной полосы чащи, которая тянулась справа от него, окаймляя поляну, – это было единственное, что служило ему ориентиром. Но теперь ему казалось, что, двигаясь вдоль чащи, он следует какому-то дьявольскому плану, и что продолжая двигаться вдоль края этой непроницаемой мглы, он сам загонит себя в нечто ужасное, терпеливо ожидающее в засаде. И мальчик неожиданно свернул влево, и, несмотря на то что поле мха и возвышающиеся над ним дубы представлялись ему каким-то тошнотворным, потусторонним ландшафтом, который может пригрезиться лишь во сне, он устремился прямо в золотистую сердцевину этого мира. И бежал еще быстрее, чем раньше.

И чем дальше мчался Тит, тем сильнее овладевал им страх. Так бегают испуганные антилопы, а не мальчики, резвящиеся на лугу. И вдруг, когда он, расставив руки в стороны для равновесия, взвился в воздух во время очередного прыжка, он увидел промелькнувшее в воздухе какое-то существо.

Как и сам Тит, существо в этот момент летело в воздухе, но на этом их сходство заканчивалось. Тит был крупного телосложения, хотя и без намека на полноту, а существо, замеченное Титом, было исключительно хрупким и воздушным; оно летело в воздухе как перышко, руки его были вытянуты вдоль грациозного тела; голова была слегка повернута в сторону и немного наклонена, словно опиралась на подушку из воздуха.

Видение это, столь быстро промелькнувшее, убедило Тита в том что все это ему снится – и золотистые пространства мха, и какие-то нереальные дубы, и бег в никуда, и страх, который на самом деле был просто ночным кошмаром. Теперь все это становилось понятным и находило объяснение. И то, что он на мгновение увидел, было не более чем видение во сне. И хотя ему очень хотелось последовать за ним, чтобы рассмотреть получше, мальчик решил, что это безнадежно и глупо – ведь он будет преследовать фантом, порожденный сновидением.

Если бы он был убежден, что все происходящее с ним, не сон, то конечно бросился бы вслед странному существу, даже понимая, что почти не было надежды догнать его. Голос разума, находящегося в полном сознании, не спящего, еще можно заставить смолкнуть можно подавить эмоцией. Но во сне все подчинено особой логике, которую нельзя по прихоти изменить. И поэтому, уверенный, что погружен в сновидение, Тит, охваченный беспричинным страхом, продолжал свой бег беззвучными прыжками, для которых не нужно было совершать никаких усилий. Подбрасываемый в воздух пружинящим бархатом мха, он все дальше углублялся в дубовый лес.

Однако, несмотря на свое убеждение, что спит и видит сон, несмотря на странную легкость, с которой совершал бегущие прыжки, Тит вдруг почувствовал, что очень устал. Но он не прекращал свой бег, покрытые золотистой корой дубы по-прежнему проплывали мимо него. Отсутствие хоть чего-то живого казалось еще более полным и ужасным, особенно после того,

как на его пути встретилось промелькнувшее в воздухе, как летящая паутина, существо.

К чувству усталости прибавилось ощущение голода, и это еще больше ослабило убеждение в том, что он спит. Если я сплю, подумал он, то почему мне приходится отталкиваться от земли? Почему я просто не парю в воздухе? И чтобы проверить эту мысль, Тит, после того как приземлился, совершив в воздухе фантастический полет, не оттолкнулся ногой, как это делал раньше. И тут же, пробежав по инерции еще пару шагов, остановился.

И эта остановка окончательно рассеяла его предположение, что все, происходившее с ним, было сном. И голод вспыхнул в нем с новой силой.

Тит огляделся. Его со всех сторон окружала все та же, такая пугающая циклорама золотистых стволов. Хотя страх и охватил Тита после того, как он понял, что все-таки не спит, он, этот страх, был в определенной степени сглажен каким-то особым возбуждением, которое постоянно росло и наконец превратилось в подрагивающий холодный сгусток, заполнивший всю грудь под ребрами. Нечто такое, к чему он подсознательно стремился, явилось ему в лесу золотых дубов. Полностью осознав, что все происшедшее с ним начиная с момента, когда он в предрассветной тьме вывел из конюшни Горменгаста своего пони (как давно это было!), не приснилось ему, а было наяву, Тит понял и то, что изящное видение, то тоненькое как тростиночка, легонькое как перышко создание, слегка склонившее в одну сторону голову и промелькнувшее в воздухе над лужайкой, не было сотворено его воображением, было частью реального мира. Оно было где-то здесь, в дубовом лесу и в этот момент, возможно, даже наблюдало за ним! И не только диковинность случайно увиденного фантома будоражила Тита – ему страстно хотелось еще раз увидеть это создание, которое по самой своей сути было столь отличным от каменной неподвижности Горменгаста.

Но все же – что Титу удалось заметить? Если бы его попросили описать то, что он увидел, то он едва ли смог бы это сделать. Слишком быстро пронеслось оно у него перед глазами – пронеслось и исчезло так быстро, что глаза не успели, так сказать, приготовиться для того, чтобы разглядеть увиденное получше. Голова этого создания была явно слегка повернута в сторону – это он мог сказать наверняка. Крикнуло ли оно ему что-то? Или это только показалось? А если нет, то что эта пушинка, эта летящая пушинка жизни, хотела сказать ему? И в том, как это создание двигалось в воздухе, было нечто, чего Тит, сам того не подозревая, страстно желал. Проскользнув в полете с осиной легкостью и вспыхнув золотистым блеском, существо, словно явившееся из какого-то иного удивительного мира, сладостным воздухом которого мальчик никогда не дышал, выразило собой квинтэссенцию свободного существования, создало впечатление чего-то совершенно неукротимого, не сдерживаемого никакими законами и предписаниями, чего-то рафинированно-прекрасного. И все это – в один краткий миг, всколыхнувший и разум, и сердце Тита.

То чувство, что возникло у Тита, когда он ранним утром остановил своего пони и услышал голоса Горы и лесов, бросающих ему вызов, теперь охватило его с удвоенной силой. Титу довелось увидеть нечто, живущее своей собственной, независимой ни от кого и ни от чего жизнью, увидеть существо, у которого правители Горменгаста, давнего и не столь давнего прошлого, не вызвали бы никакого почтения, которое осталось бы совершенно равнодушным к ритуалам, проводимым на стертых ногами камнях Горменгаста, к священным обычаям Дома, существующего с незапамятных времен. Он увидел существо, которое не подумало бы поклониться семьдесят седьмому Герцогу – как и птице или ветке дерева.

Тит ударил кулаком одной руки в раскрытую ладонь другой. Он был напуган. Он был возбужден. Он стучал зубами. Мимолетное видение, открывшее ему, что существует мир – такой ему непонятный и такой манящий, – в котором можно жить, не подчиняясь правилам и обычаям Горменгаста, потрясло его. Однако, несмотря на всю новизну ощущений, несмотря на

еще не оформившееся, но растущее чувство бунта, которые заполняли его, несмотря на страстное стремление – тоже еще не до конца ясное ему – обрести новый мир, голод поднял голову и оттеснил все остальное в сторону. Титу просто необходимо было что-то съесть!

Не изменилось ли что-то в том свете, который лучами прорывался сквозь листву дубов и падал пятнами на землю? Не началось ли какое-то движение в мертвенно неподвижном воздухе? Мальчику показалось, что он услышал, как зашептались листья над его головой. Не уходит ли оцепенение, охватившее все вокруг?

Тит не знал, в каком направлении ему двигаться. Он знал лишь, что не будет возвращаться туда, откуда пришел. И быстро зашагал в ту сторону, куда улетело таинственное существо.

Он уже не совершал тех длинных прыжков, которые своей легкостью наводили на мысль о том, что совершаются во сне – и тем пугали. Но шагал Тит легко и быстро. Вскоре однообразие несравненного покрова мха, устилавшего землю между дубами, стало нарушаться пробивающимися то тут, то там травой и папоротником, силуэты которых на ярко сияющем золотисто-зеленом фоне казались черными. Тит сразу же почувствовал облегчение, а когда роскошный ковер мха сменился разнотравьем и множеством диких цветов, когда дубы, теснимые деревьями других пород и кустарником, перестали завораживать все вокруг своим древним присутствием, когда последние из могучих великанов отступили и скрылись за другими деревьями, и Тит почувствовал свежее дыхание воздуха – вот только тогда он наконец полностью и окончательно избавился от кошмара, преследовавшего его. И, одолеваемый голодом, который уже не нужно было привлекать как доказательство, что все происходящее – не сон, понял, что вернулся в понятный, живой, реальный мир, который был ему хорошо знаком. Земля под ногами стала опускаться вниз, и склон оказался довольно крутым, как и с другой стороны дубового леса, здесь на земле было разбросано много больших камней, вокруг которых густо росли папоротники. Внезапно Тит издал крик радости; наконец-то, после безжизненности и мертвого оцепенения дубового леса и ровных настилов золотистого мха, он увидел самое обычное живое существо – небольшую лисицу, которая, разбуженная шагами Тита, поднялась из своего укромного места в зарослях папоротника и с исключительным самообладанием, не спеша, ровным шагом побежала вниз по склону прочь.

Там, внизу, начинался орешник; там и сям высоко вздымали свои легкие серебристые головы березы; темно-зеленые тополя казались зелеными тенями. Но что эти тени отбрасывало? Мир снова ожил звуками, и теперь Тит слышал голоса множества птиц. Как же утолить голод? Дикая фрукты и ягоды еще не начали созревать. Тит понимал, что окончательно заблудился, и прилив бодрости, который он ощутил после того, как выбрался из дубового леса, стал сходить на нет. И на его место пришло уныние. Тит не стоял на месте – он шел, куда глаза глядят. Вскоре он услышал звук текущей воды, далекий, но вполне отчетливый. Определив, с какой стороны доносится этот звук, обещающий утоление жажды, Тит бросился бежать в этом направлении. Но вскоре ему пришлось перейти на шаг – усталые ноги наливались тяжестью; к тому же почва стала неровной, местами заросшей диким плющом. Журчание воды становилось громче, но все чаще в зарослях орешника стали попадаться платаны, и тени от деревьев и над головой Тита, и на земле стали темными, плотными, налились чернильной зеленью. Теперь шум потока явственно звучал в ушах, но деревья и кусты росли так густо, что когда Титу внезапно открылась ослепительная гладь быстрой пенящейся реки, для него это было полной неожиданностью. И в тот же момент из лесной тени противоположного берега вышел человек.

Человек был худой, изможденный, очень высокий, его костлявые плечи были ссутулены, голова, напоминая обтянутый кожей череп, опущена; сильно выдающаяся вперед, словно с вызовом, нижняя челюсть заросла редкой бородой. Он был одет в то, что, вероятно, было когда-то костюмом из черной материи, но теперь было настолько выбелено солнцем и вымочено

дождями и росами, что превратилось в сквозящие дырами истрепанные пятнистые лохмотья серо-зеленого цвета, делавшие его почти неразличимым на фоне лесной листвы.

Когда эта изможденная фигура подошла к самому краю воды, до Тита донеслось какое-то странное пощелкивание. Оно, казалось, раздавалось с каждым шагом человека и напоминало звук отдаленного выстрела или сухой треск ломающейся ветки, а когда незнакомец останавливался, сразу же стихало. Но Тит тут же забыл о непонятном звуке – человек вошел в воду и побрел к середине потока, где покоился большой камень, плоский, высушенный на солнце, величиной с круглый обеденный стол средних размеров.

Человек вытащил из-под своих лохмотьев тонкую бечевку с крючком и стал насаживать на него наживку. При этом он посматривал по сторонам, затем, явно заметив нечто такое, что привлекло его внимание, бросил бечевку с крючком на плоский камень и стал всматриваться в противоположный от него берег. Его медленно бредущий взгляд вдруг остановился и вперился прямо в Тита.

Тит, частично скрытый ветвями и листьями и не производивший абсолютно никаких звуков, полагал, что заметить его нельзя, и поэтому чувствовал себя в безопасности. Выхваченный зорким взглядом художника из своего укрытия, Тит пришел в ужас; от такого неожиданного обнаружения дыхание его сбилось, а лицо вспыхнуло – кровь резко прилила к нему. Несмотря на весь свой ужас, Тит не мог отвести глаза от изможденного человека, который, в свою очередь, не сводя взгляда с Тита, выбрался на камень и присел на корточки. Его маленькие, горящие глаза, с нависающими как глыбы камня бровями, засияли особым светом. И тут же раздался его голос – хриплый, но выговаривающий слова вполне внятно.

– Мой господин!

В голосе была какая-то необработанность и шершавость, словно этому человеку давно не приходилось им пользоваться.

Тит не знал, что ему делать: с одной стороны, ему хотелось бежать от этих горячих диких глаз, а с другой стороны, он был очень рад встрече с человеком, пусть и такого странного вида. Превозмогая страх, Тит выбрался из зарослей на солнечный свет и подошел к самому краю воды. Ему было очень страшно, сердце бешено колотилось, но безжалостный голод и смертельная усталость гнали вперед.

– Кто ты? – выкрикнул Тит.

Человек, сидевший на корточках на горячем камне, встал во весь рост. Содрогнувшись всем своим костлявым телом, он ответил, но на этот раз его голос был едва слышен.

– Флэй.

– Флэй! – крикнул Тит. – Я слышал о тебе!

– Да, мой господин, – сказал Флэй, сцепив в волнении руки. – Вы должны были обо мне слышать, мой господин.

– Но мне сказали, что ты умер, Флэй.

– Ничего другого сказать и не могли, – Флэй впервые с того момента, как заметил Тита, почему-то огляделся. – А вы один? – Голос, скользнувший над водой, звучал теперь напряженно.

– Да, один. А ты что, болен?

Тит никогда раньше не видел таких худых, изможденных людей.

– Болен, ваша светлость? Нет, мой мальчик, нет... Меня изгнали.

– Изгнали?

– Изгнали, мой мальчик. Когда вы были совсем... когда ваш отец... мой господин... – Флэй неожиданно замолчал и после небольшой паузы спросил: – А как ваша сестра Фуксия?

– С ней все в порядке.

– А, ну прекрасно... я и не сомневался, – В его голосе прозвучала радость, почти счастье; затем он добавил уже совсем иным тоном: – Я вижу, что вы очень устали, ваша светлость. Вы едва держитесь на ногах. Что привело вас сюда?

– Я убежал, Флэй. Просто взял и убежал. А сейчас я очень голоден.

– Убежал? – сказал Флэй, словно обращаясь к самому себе, и в его голосе прозвучал ужас. Он смотал бечевку, сорвал с крючка наживку и спрятал все это куда-то под лохмотья. Ему страстно хотелось задать мальчику сотню вопросов, но он этого не сделал. И после паузы заговорил вновь:

– Вода здесь глубока и очень быстра, ваша светлость. Но я сложил поперек реки камни, по которым можно реку перейти. Недалеко отсюда, вверх по течению, совсем недалеко, ваша светлость. Идите вдоль реки по своему берегу, а я пойду по своему... мы поймем кролика... – И снова возникло такое впечатление, что он, возвращаясь по воде к берегу, говорил просто с самим собой. – Поймаем кролика и голубя и отоспимся в моей хижине. Вот так, мой мальчик... Как он устал... сын его светлости Гробструпа... ножки его уже не держат... узнал бы его где угодно... глаза точь-в-точь как у госпожи Графини... Как же так – убежал из Замка!.. Нет... нет... этого нельзя делать... должен вернуть его назад... семьдесят седьмого Герцога... мог когда-то залезть ко мне в карман... такой маленький... так давно...

Идя вдоль реки и изредка посматривая на Тита, который шел параллельно ему по противоположному берегу, Флэй бормотал без умолку. Наконец, проделав, как показалось Титу, очень длинный путь, они подошли к цепочке камней, пересекающих реку. Хотя река в этом месте была совсем не глубокой, было ясно, что Флэю пришлось много потрудиться, чтобы уложить эти валуны поперек ее быстрого течения. И вот уже пять лет они стойко сопротивлялись сильному напору воды. Флэй устроил отменную переправу, и Тит безо всякого труда переправился на другой берег. Несколько мгновений Тит и Флэй стояли, смущенно глядя друг на друга, но потом, внезапно, переживания, испытанные за день, усталость и голод соединившись вместе, оказали свое воздействие. И Тит, у которого подкосились колени, рухнул наземь. Флэй мгновенно его поднял и, осторожно взвалив мальчика себе на плечи, двинулся прочь от реки в лес. Несмотря на свой истощенный вид, Флэй был очень вынослив. Скоро река оказалась далеко позади. Длинные жилистые руки Флэя крепко держали Тита; его длинные худые ноги уверенно и пружинисто шагали по земле. Тишина нарушалась лишь странным пощелкиванием его суставов. Проведя столько лет в изгнании среди деревьев и камней, он научился ценить тишину. Научился он также с большой легкостью двигаться по лесу и без труда отыскивать дорогу, словно родился и вырос в лесу. То, с какой скоростью и уверенностью он шел, показывало, что он прекрасно знает эти места.

Он прошел небольшую долину, полностью заросшую папоротником, доходившим ему до пояса. Потом он вскарабкался по каменистому склону красного песчаника; затем обошел вокруг крутую скалу, вся вертикальная поверхность которой была покрыта прилепившимися к ней гнездышками ласточек; далее он миновал пропасть, пройдя по самому ее краю, в глубине которой скрывалась долина, никогда не освещаемая солнцем. Затем Флэй стал подниматься по склону холма, заросшего ореховыми деревьями; каждый вечер, когда опускалась темнота, совы с отвратительным постоянством отправлялись отсюда в свои кровавые экспедиции.

Тит, придя в себя, настоял на том, чтобы его опустили на землю – даже невероятная выносливость Флэя не помогла бы ему одолеть крутые подъемы с таким грузом на плечах. Когда Флэй, взобравшись на песчаную вершину холма, остановился, чтобы отдышаться, Тит остановился тоже, а потом присел, чтобы передохнуть.

Под ними распростерлась небольшая долина, склоны которой заросли деревьями; лишь на

южной стороне вздымались скалы, покрытые мхом и лишайником, яркими пятнами выделявшимися в пучках заходящего солнца.

В дальнем конце этой серо-зеленой стены виднелись три пещеры – две на небольшом расстоянии от песчаного дна долины и одна у самой земли.

По дну долины вился небольшой ручей, втекавший в маленькое озерцо прямо в центре долины; в дальнем конце пруда можно было разглядеть грубо сооруженную дамбу. Много дней ушло на ее сооружение. Когда-то Флэй принес пару бревен – самых больших из тех, которые смог дотащить, – и уложил их поперек ручья, а сверху навалил камней. Тит со своего возвышенного места на гребне холма хорошо видел и полузасыпанные бревна и камни; видно было и то, что по центру этой нехитрой дамбы вода нашла проход и тонкой струйкой вытекала из озера. В тишине мягкого вечера, озаренного закатным солнцем, слышались наполнявшие долину хрустальными звуками плеск и звон этой пробивающейся сквозь камни воды.

Флэй и Тит спустились на дно долины и пошли вдоль ручья по траве, перемежающейся с открытым песком. Подойдя к дамбе, они остановились у края крошечного озера, образовавшегося от остановленной в своем беге воды. Ни единый порыв ветра не будоражил нежно-голубую, ровную как стекло поверхность, в которой до последнего листочка отражались деревья, росшие на склонах. Теперь Тит увидел, что между бревнами были вбиты сваи и промежутки между ними засыпаны землей и камнями, которые образовывали стену, остановившую воду ручья и создавшую озеро.

Флэй и Тит двинулись дальше и через пару минут подошли к пещере, расположенной у самой земли. Вход в нее был весьма узок, не шире обыкновенной двери, но внутри пещера оказалась довольно большой. Во многих местах она поросла папоротником. Свет в пещеру проникал как со стороны входа в нее, так и из естественных отверстий, наподобие дымоходов уходивших вверх сквозь скалу и расположенных прямо над входом. Каждое из десятка отверстий напоминало приоткрытый рот. Когда Тит, следуя за Флэем, зашел в пещеру и остановился посреди ее образующего почти правильный круг пола, он подивился тому, сколь светла она была. Это казалось удивительным – ни один луч солнца не мог непосредственно заглянуть сюда. И все же солнечный свет, отражаясь от стенок естественных дымоходов и вливаясь сквозь узкий вход, наполнял пещеру холодным мерцанием. Куполообразный потолок был высок, по стенам располагались полки, образованные выступающим камнем, и ниши. Слева от входа один из каменных выступов образовывал нечто вроде пятиугольного стола с плоским, слегка наклоненным верхом.

Все это Тит увидел сразу, обведя пещеру быстрым взглядом, но он был слишком уставшим и голодным – даже в голове у него мутилось, – чтобы произнести хоть слово. Он лишь кивал головой и слабо улыбался Флэю, который стоял перед мальчиком и, слегка наклонив голову, казалось, ожидал от Тита выражений восторга по поводу места, куда его привели. Через мгновение Тит уже лежал на толстой сухой подстилке из папоротников, закрыв глаза, он, несмотря на мучивший его голод, тут же заснул.

Глава двадцатая

Когда Тит проснулся, на стенах пещеры, озаряемых красным светом костра, прыгали непропорционально огромные тени, отбрасываемые выступами камня; тени удлинялись, потом снова сокращались. Папоротники, свисающие с куполообразного потолка, казались языками пламени, а камни грубого очага, в котором Флэй развел большой костер из веток и еловых шишек, сияли как жидкое золото.

Тит, приподнявшись на локте, увидел силуэт похожего на пугало, почти легендарного Флэя – Тит слышал много историй об этом слуге своего отца, – который стоял на коленях у огня. Его огромная тень пересекала ярко освещенный пол пещеры и ложилась на стену.

Я переживаю самое настоящее приключение, – подумал Тит и повторил эти слова про себя несколько раз, словно они сами по себе имели какое-то особое значение.

Проснувшись, мальчик сразу понял, где он, и мгновенно припомнил все, что с ним произошло за день. Но его воспоминания тут же были прерваны дразнящим запахом жареной птицы. Скорее всего, именно запах и разбудил его. Флэй поворачивал какую-то тушку, насаженную на прут, над огнем. Голод, терзавший Тита, стал непереносим. Мальчик вскочил на ноги; Флэй, посмотрев в его сторону, почтительно сказал:

– Не извольте беспокоиться, ваша светлость, все готово, я сейчас вам подам.

Отделив несколько кусков фазаньего мяса и полив их густой подливкой, он поднес его Титу на самодельной деревянной тарелке. Когда-то старик выдолбил ее из куска дерева. Во второй руке Флэй держал кувшин, наполненный ключевой водой.

Тит снова улегся на постели из папоротника. Опираясь на локоть, он подпер голову кулаком. Он был так голоден, что не мог вымолвить ни слова, и лишь приветственно помахав Флэю рукой, набросился на еду, как зверь.

Флэй вернулся к очагу и занялся своими делами, время от времени отправляя в рот что-то съестное. Затем он сел на выступ скалы около очага и устремил свой взгляд на огонь. Тит был слишком занят едой, чтобы обращать на Флэя внимание, но, вычистив свою деревянную тарелку так, что стали видны волокна дерева, он напился воды из кувшина и взглянул на старого изможденного человека, верного слугу своего исчезнувшего отца. А теперь – изменника.

– Флэй, – позвал Тит.

– Да, ваша светлость?

– Далеко я от Замка?

– Милях в двенадцати, ваша светлость.

– А сейчас уже поздно, совсем поздно? Ночь?

– Да, ваша светлость. Я отведу вас назад, как только рассветет. А сейчас время спать.

Закрывать глазки и спать.

– Все это так похоже на сон, Флэй. Эта пещера, ты, огонь. Но это не сон, правда?

– Нет, не сон.

– Мне все очень нравится, только страшно чуть-чуть.

– Ваша светлость, это нехорошо, что вы здесь, у меня, в моей южной пещере.

– А у тебя что – несколько пещер?

– Да. Есть еще две, где я бываю. Подальше к западу.

– Я обязательно хочу их посмотреть. Если мне снова удастся убежать, ты мне их покажешь?

– Это нехорошо, ваша светлость, нехорошо убегать.

– А, мне наплевать. А что у тебя еще есть?

– Хижина.

– А где?

– В Лесу Горменгаст, на берегу реки. Иногда ловлю там лососей.

Тит поднялся и, подойдя к огню, уселся, скрестив ноги. Пламя осветило его детское лицо.

– Знаешь, Флэй, мне действительно немного страшно. Я первый раз в жизни ночью не в Замке. Наверное, меня уже все ищут.

– А... конечно, ищут.

– А ты вот все время один... тебе бывает страшно?

– Нет. Я в ссылке.

– А что значит – в ссылке?

Флэй пошевелился на выступе камня, на котором сидел, и высоко поднял плечи, став похожим на грифа, сложившего крылья. Комок в горле не позволил ему ответить сразу. Он наконец перевел взгляд своих маленьких, запавших глаз с огня на Тита и поднял голову. Брови были нахмурены, но лицо было удивленное, задумчивое. Затем Флэй опустил свое длинное тело на пол, двигаясь так, будто был заводным механизмом; его суставы громко пощелкивали, когда он сгибал и разгибал ноги.

– Что значит в ссылке? – повторил он наконец удивительно тихим и каким-то осипшим голосом. – Это значит – в изгнании. Мне запрещено, ваша светлость, показываться в Замке, мне запрещено выполнять мои обязанности. Это все равно, ваша светлость, как если бы у человека вырвали сердце, вырвали с корнем, с длинным корнем. Вот, ваша светлость, что значит быть в ссылке. Это значит быть здесь, в этой пещере, когда я нужен совсем в другом месте. Нужен совсем в другом месте, – повторил он с горячностью – Кто бдит теперь?

– Бдит? Как это?

– А откуда я знаю? Теперь я не знаю, кто начеку, – сказал Флэй, словно не услышав встречного вопроса Тита. Накопившееся в нем за много лет молчания пыталось найти выход. – Откуда я знаю, что там происходит? Что творится в Замке? Там все хорошо, ваша светлость? С Замком все в порядке?

– Ну, не знаю, вроде бы.

– Откуда тебе знать, мой мальчик, откуда тебе знать, – пробормотал Флэй – Тебе знать об этом слишком рано.

– Это правда, что тебя изгнала из Замка моя мать?

– Да, правда. Графиня Стон. Это она отправила меня в ссылку. А как она поживает, ваша светлость?

– Ну, не знаю. Я вижу с ней очень редко.

– А... твоя мать прекрасная, гордая женщина, мой мальчик. Она хорошо понимает, где зло, а где слава. Следуй за ней, мой господин, и с Горменгастом все будет в порядке, и вы исполните священную обязанность, завещанную вам предками. Твой отец, мальчик, честно исполнял свой долг.

– Но я хочу быть свободен, Флэй! Я не хочу исполнять никаких обязанностей!

Флэй резко вскочил. Наклонив голову, он исподлобья смотрел на Тита; его глаза светились из глубины темных глазниц. Руки его дрожали.

– Нехорошую вещь вы сказали, ваша светлость, совсем нехорошую, – сказал Флэй наконец. – Ты, мой мальчик, по крови – Стон, ты пока последний по мужской линии Стонов. И ты не должен подвести Камни Горменгаста. Нет, ваша светлость, пусть все зарастет крапивой и травой, вы не должны подвести Камни Горменгаста.

Тит с большим удивлением смотрел на Флэя, возвышающегося над ним – он никак не ожидал такой вспышки от этого, казалось бы, молчаливого и спокойного человека. Но

усталость, притупляя все чувства, одолевала Тита, и глаза его стали сами по себе закрываться.

Флэй шагнул к Титу, и в этот момент в пещеру заскочил заяц. Неожиданно высвеченный светом костра, он вспыхнул золотом. Заяц на мгновение замер; присев на задние лапки и выпрямив спину, зверек внимательно смотрел на Тита, а затем, прыгнув на один из каменных выступов, поросших мхом и папоротником, удобно улегся и снова замер, как изваяние; его уши были аккуратно сложены на спине.

Флэй поднял Тита на руки и отнес на постель из папоротников. Но в мозгу уже засыпавшего мальчика что-то неожиданно вспыхнуло и он тут же сел. Хотя глаза у него были закрыты всего несколько мгновений, ему показалось, что он проспал уже долго.

– Флэй, – прошептал Тит, и по голосу его было ясно, что ему немедленно нужно было о чем-то спросить. – Флэй?

Человек лесов склонился над мальчиком.

– Да, ваша светлость? Я слушаю.

– Мне все это снится?

– Нет, мой мальчик, тебе это не снится.

– А я вот сейчас спал?

– Нет.

– Тогда я действительно видел...

– Видел что? Лежите спокойно, ваша светлость, лежите спокойно.

– Вот то, в дубовом лесу... то летающее создание.

Флэй весь как-то странно напрягся, и некоторое время в пещере царило абсолютное молчание.

– Какое летающее создание? – пробормотал Флэй наконец.

– Нечто летающее, летающее в воздухе... на вид очень хрупкое... но лица я не рассмотрел... но пролетело в воздухе и скрылось среди деревьев. Оно... мне привиделось, или оно было в самом деле? Ты когда-нибудь видел его, Флэй? Что это было, Флэй? Скажи мне, пожалуйста, потому что... потому что мне...

Но даже если бы Флэй что-то ответил, мальчик его уже не услышал – так внезапно погрузился он в глубокий сон. Флэй поднялся на ноги и, пройдя мимо тлеющих углей умиравшего в очаге огня, направился к выходу из пещеры. Выйдя наружу, он прислонился к скале. Луны не было, но небо было чисто и россыпь звезд неярко отражалась в пруду. В ночной тишине отдаленным эхом разносилось потягивание лисицы.

В наказание за побег Тит был на целую неделю заключен в Башню Лишайника. Небольшая приземистая круглая башня, сложенная из грубо обработанных квадратных камней, была снаружи вся затянута ровным слоем лишайника, который и дал башне ее название. Слой лишайника был столь толст, что в этом светло-зеленом покрове гнездились птицы. В башне было всего два помещения, которые располагались одно над другим. Смотритель, который спал здесь и был хранителем ключа, поддерживал эти помещения в относительной чистоте.

Титу в прошлом уже два раза пришлось побывать здесь за какие-то прегрешения, но какие именно, он так и не узнал. На этот раз его заключение в башне было самым продолжительным. Но его это особенно и не огорчало. Он даже испытал облегчение, когда ему сообщили, в чем будет заключаться его наказание. Ведь после того, как Флэй привел его к опушке леса, от которой до Замка нужно было идти не больше двух миль, беспокойство Тита достигло такой остроты, что ему уже мерещились самые страшные кары. А неделя в башне показалась пустяком. Когда Тит вернулся в Замок, было еще раннее утро. Добравшись до Краснокаменного Двора, он обнаружил там группы мальчиков и взрослых, уже готовых отправиться на его поиски. В конюшнях седлали лошадей и отдавали последние указания. Набравши в легкие побольше воздуха и глядя только перед собой, Тит ровным шагом пересек двор; его сердце бешено колотилось, лицо заливал пот; его рубашка и штаны были все в дырах. В этот момент мальчика поддерживала мысль, что, он, Тит, властитель всех этих уходящих в поднебесье, рукотворных нагромождений камня, всех этих башен, шпилей и переходов. Он шел с высоко поднятой головой, но нервы его в конце концов не выдержали, и когда до ближайшей аркады оставалось не более десятка метров, он бросился бежать. Он бежал, и слезы уже готовы были брызнуть из глаз. Он бежал без остановки, пока не добежал до комнаты Фуксии. Тит ворвался к ней – глаза у него горели, слезы текли по щекам, волосы были всклокочены, одежда изодрана. Бросившись в объятия Фуксии, он прижался к ней – не правитель Горменгаста, а маленький мальчик, ищущий защиты.

Фуксия впервые в жизни не только крепко обняла брата, но и поцеловала его. Она вдруг поняла, что любит своего младшего так, как не любила ни одной другой живой души; ее переполняла гордость за то, что именно к ней, к ней первой прибежал Тит, и она издала какой-то варварский, пронзительный, победный вопль. Затем, оставив Тита посреди комнаты, девушка бросилась к окну и плюнула в утреннее солнце.

– Вот что я о них обо всех думаю! – выкрикнула она. Тит тоже подбежал к окну и, стоя рядом с Фуксией, плюнул в пустоту.

А потом они захохотали и смеялись до изнеможения; они рухнули на пол и дрыгали руками и ногами в каком-то диком экстазе; наконец, полностью истратив все силы, затихли. Лежа на полу и взявшись за руки, они всхлипывали от переполнявших их чувств, от той любви, которую они так неожиданно обрели друг к другу.

Им так были нужны человеческая теплота и любовь. Их глодало непонятное беспокойство, желание убежать от чего-то. Раньше они не могли четко определить эти чувства, и вот теперь их осенило. Они были потрясены, но выход своим эмоциям смогли найти лишь в таких проявлениях, как смех и дрыганье ногами. Так внезапно они обрели веру друг в друга и посмели одновременно раскрыть друг другу сердца. На них снизошло понимание – иррациональное,

найденное случайно, удивительно волнующее. Она, Фуксия, эта исключительная девушка, смехотворно незрелая для своих неполных двадцати лет и все же обещающая дать богатые всходы, и он, Тит, мальчик на пороге страшных открытий, связаны между собой больше, чем кровными узами. Больше, чем одиночеством, проистекающим из их положения детей правителя Замка, больше, больше, чем отсутствием материнской ласки и любви, да, больше, чем всем этим – они оказались связанными, заплетенными как в кокон чувством сострадания, человеческого вчувствования друг в друга; их чувства были глубоки, как история их предков, неоформлены на сознательном уровне, запутаны, как и темное прошлое тех, кто дал им жизнь.

Для Фуксии было очень важно, что не просто брат, а мальчик весь в слезах прибежал именно к ней, к ней из всех, живущих в Горменгасте, что она была тем человеком, которому он доверял больше всех – о, это искупало все! Будь что будет, но она станет за него горой, она будет до последнего защищать его! Она готова лгать, если это сможет помочь ему! Она готова рассказывать невероятные небылицы! Ради него она готова красть! Ради него она готова даже убивать! Фуксия привстала с пола и, стоя на коленях и подняв вверх свои сильные, округлые руки, издала громкий, нечленораздельный вопль – это был вызов всем. И в этот момент дверь открылась, и на пороге появилась госпожа Шлакк. Ее рука, едва отпустившая дверную ручку, находившуюся чуть выше ее головы, дрожала. Пораженная, она вперила взгляд в Фуксию, которая только что вопила так страшно.

За ней стоял, удивленно подняв брови, мужчина с нижней челюстью, напоминавшей фонарь. Он был в серой ливрее, подпоясанной особыми водорослями (такие пояса носили по традиции, установленной сотни лет назад, те, кто занимал его нынешнюю должность), их длинный сухой пучок свисал вдоль правой ноги, потрескивая при каждом движении.

Тит первый увидел их и вскочил на ноги. Но тут заговорила госпожа Шлакк.

– Посмотрите на свои руки! – воскликнула она, будто задыхаясь. – Посмотрите на свои ноги, на лицо! О, мое больное сердце. Ты только посмотри на всю эту грязь! А эти царапины! А эти синяки! Ай-яй-яй, ваша светлость, как нехорошо, как нехорошо! А эти лохмотья! Ох, как бы я отшлепала вас, ваша светлость! Как бы я тебя отшлепала! Сколько мне пришлось стирать твоей одежды, штопать, гладить, сколько повязок я накладывала! О, можешь не сомневаться, как бы я тебя отшлепала! И так сильно, что тебе было бы очень больно! О, как вы жестоки и грязны, ваша светлость! Как ты мог? Как вы могли так поступить, ваша светлость? Мое бедное сердце, оно чуть не остановилось... а если бы и остановилось, тебе было бы на это наплевать, да, вот...

Ее жалобная тирада была прервана человеком с фонарной челюстью.

– Я должен отвести вас к Баркентину, ваша светлость, – сказал он без всяких преамбул, обращаясь к Титу, – Помойтесь, ваша светлость, но постарайтесь управиться с этим побыстрее.

– А что Баркентин хочет от Тита? – тихо спросила Фуксия.

– Мне об этом ничего не известно, госпожа, – сказал фонарная челюсть. – Но ради вашего же брата проследите за тем, чтобы он был вымыт и переодет. И придумайте хороший предлог, который объяснил бы его отсутствие. А может быть, он и сам все сможет хорошо объяснить. Ну, а обо всем остальном я ничего не знаю. Ни-че-го.

Сухо затрещал пучок водорослей – мужчина повернулся и пошел прочь. Он явно не сказал всего, что ему хотелось. Он шел, воздев очи к потолку.

II

Неделя, проведенная Титом в Башне Лишайника тянулась, как ему показалось, невыносимо долго, даже несмотря на то, что Фуксия тайно приходила навещать его. Ей случайно удалось

найти в стене совершенно заросшей лишайником узкое незаметное отверстие и через него она передавала сладости и фрукты, которые ей удавалось раздобыть. Это разнообразило скучную, хотя по количеству пищи достаточную диету, которую надзиратель – к счастью глухой старик – предлагал своему птенчику – узнику. Через так удачно обнаруженное отверстие Фуксия могла не только передавать еду, но и переговариваться шепотом с братом.

А во время той встречи, которая состоялась между Титом и Баркентином сразу после возвращения мальчика, Баркентин долго вычитывал Титу, подчеркивал всю ту меру ответственности, которая скоро падет на его, Тита, плечи. Но Тит настаивал на том, что, выехав из Замка, он просто заблудился в лесу и целые сутки искал дорогу назад. И поэтому единственным проступком, который ему можно было поставить в вину, был выезд за пределы Замка без надлежащего уведомления тех, кому следовало об этом знать. С высоких полок были совлечены тяжелые тома, с них была сдута пыль, тома раскрыты. И после долгих поисков соответствующие статьи были обнаружены за такое нарушение правил полагалось заключение в Башне Лишайника на семь дней.

В течение этой недели заточения сморщенное, гадкое лицо Баркентина, этого «Хранителя Документов», являлось мальчику во сне. Не менее четырех раз Титу снился этот калека со слезящимися глазами и жестоким ртом, – во сне Баркентин гонялся за Титом, стуча своим костылем как молотком по каменным плитам. Баркентин, мчась по бесконечным коридорам, так быстро скакал на своей одной ноге и костыле, что его ярко-красные одежды, положенные Хранителю Ритуала, развевались за ним, как трепещущий на ветру флаг.

А когда Тит просыпался, он вспоминал Щуквола, который во время внушения, которое Баркентин делал Титу, стоял за креслом Хранителя Ритуала, именно он, Щуквол, карабкался по библиотечной лестнице под потолок, чтобы достать нужные тома свода законов уложений распоряжений и прочая и прочая; вспоминал Тит и о том, как этот Щуквол, этот бледный человек (собственно, Тит не помнил, как зовут Щуквола, и для него он был просто «бледным человеком») подмигивал ему, Титу.

Когда Тит смотрел на этого «бледного человека», по совершенно непонятной причине его охватило неподотчетное разумению отвращение. И он отшатнулся от этого подмаргивания, словно прикоснулся к мерзнейшему существу.

Однажды поближе к вечеру, когда он в сотый раз бросал свой складной перочинный нож в дверь, стараясь, чтобы он встрял в дерево (Титу казалось, что именно так это делают разбойники), его занятие было неожиданно прервано. Утром он занимался тем же и так же безуспешно, но тогда, увидев лучи солнца, просачивающиеся сквозь узкие бойницы и вспомнив про дикие леса, в которых он побывал и куда ему так захотелось снова, вспомнив про Флэя и про Фуксию, он расплакался и прекратил свои бандитские упражнения. Теперь же его остановил тихий свист, доносившийся из узкого отверстия, скрытого с внешней стороны лишайником. Он бросился к нему и услышал хриловатый шепот Фуксии.

– Тит.

– Да, я тут.

– Это я, Фуксия.

– Ой, как замечательно!

– Но я не могу долго здесь оставаться. Мне нужно идти.

– Точно не можешь побыть хоть немножко?

– Нет, не могу.

– Ну хотя бы совсем немножко!

– Нет. Мне приходится вместо тебя присутствовать на всяких там церемониях. Все эти отвратительные традиции, обычаи, ритуалы! Сегодня предстоит возня во рву. Называется это –

Поиск Потерянных Жемчужин или что-то в этом роде. И мне уже пора быть там, у рва.

– Да, скука.

– Но я приду еще раз, когда станет совсем темно.

– Ой, как хорошо!

– Ты видишь мою руку? Я ее засунула в эту щель, но стена такая толстая.

Тит тоже всунул руку в отверстие, но стена действительно была очень толстая, и ему удалось коснуться лишь кончиков пальцев Фуксии.

– Мне пора идти, Тит.

– Жаль.

– Но тебя скоро отсюда выпустят, Тит.

Башня Лишайника была погружена в тишину, словно в воду, и Тит вообразил, что их соприкасающиеся пальцы – его и Фуксии – это какие-то подводные существа, ощупывающие друг друга своими усиками. Как ни слабы и нежны были эти прикосновения, Титу казалось что он весь собрался в кончиках своих пальцев и рука его отделилась от него и зажила своей собственной жизнью.

– Фуксия!

– Да?

– Я хочу тебе что-то рассказать.

– Что?

– Ну, всякие секреты.

– Какие секреты?

– Ну, про одно приключение.

– Не волнуйся, я никому не расскажу. Что бы ты мне не рассказывал, я никому не расскажу ни слова. Но ты расскажешь мне, когда я приду сюда поздно вечером, ладно? А если не сегодня, то после того как тебя отсюда выпустят, ладно? Это уже скоро.

Кончики пальцев Фуксии уже больше не касались пальцев Тита. Мальчик, заключенный в своей руке, был один в темноте каменной щели.

– Тит, не забирай еще руку, – сказала Фуксия после короткого молчания – Можешь нащупать?

Тит постарался засунуть руку еще глубже в щель и тут же нащупал какой-то бумажный пакет. С трудом ухватив его пальцами, Тит втянул его к себе. В бумажном кульке оказались леденцы.

– Фуксия! – шепотом позвал Тит. Но ответа не последовало. Фуксия уже ушла.

III

В предпоследний день заточения Титу был нанесен официальный визит. Смотритель Башни Лишайника открыл засовы на тяжелой двери, и, шаркая своими невероятно огромными плоскими ступнями, в каземат вошел Роцезвон, одетый в мантию с вышитыми на ней знаками зодиака, в квадратной шапочке с растрепанными углами. Роцезвон двигался медленно и важно. Он сделал пару шагов по земляному полу, на котором в некоторых местах росла трава и растеряно оглянулся, ища взглядом Тита. Наконец он заметил мальчика, сидящего за колченогим столом в углу комнаты.

– А, вот ты где. Действительно, вот ты здесь. Как поживаете, мой друг?

– Спасибо, нормально.

– Гм. Не очень много света тут у вас, молодой человек, а? И чем ты все это время

занимался?

Роцезвон подошел к столу, за которым сначала сидел, а теперь уже стоял Тит. Он кивал своей благородной, царственно-львиной головой, выражая тем самым сочувствие мальчику, но при этом ему хотелось сохранить вид, приличествующий Главе Школы. Он должен был внушать доверие – это одна из тех вещей, которые просто обязаны делать люди в его положении. В нем должны быть видны Достоинство и моральная Сила. Он должен вызывать Уважение. Что еще? Но Роцезвон не мог уже припомнить.

– Поддай мне стул, мой юный друг, – сказал он очень глубоким и торжественным голосом. – А ты можешь посидеть пока на столе, как ты считаешь? Когда я был мальчиком, я так и делал ну, по крайней мере мне так кажется.

Достаточно ли он благожелателен? Могли ли его слова развлечь мальчика? Роцезвон краем глаза взглянул на Тита, надеясь – хотя и не очень, – что ему удалось достичь и того, и другого. Но на лице мальчика не было и тени улыбки. Тит подставил стул Главе Школы, а сам сел на стол, положив ногу на ногу. И лицо у него при этом оставалось весьма угрюмым.

Роцезвон расправил на себе мантию, приподнимаясь на цыпочки и снова опускаясь на всю ступню, задрал голову кверху так, что его квадратный подбородок выставился вперед, сильно натянув его объемную шею и, воздев очи к потолку произнес.

– Как ваш Директор я посчитал своим долгом *in loco parents*^[5] побеседовать с вами, мой друг.

– Я слушаю, господин Роцезвон.

– Мне хотелось узнать, как ты поживаешь. Гм...

– Я благодарен вам за ваше беспокойство обо мне.

– Гм...

Наступило довольно неловкое молчание. Через некоторое время Роцезвон, почувствовав, что стоять с задранной головой и приподниматься на цыпочки слишком тяжелое для его мышц занятие, сел на стул и стал двигать челюстью в разные стороны, словно проверяя, не появится ли зубная боль, которая не мучила его, как ни странно, уже на протяжении нескольких часов. Возможно, вследствие того, что он получил неожиданное облегчение, вызванное отсутствием боли, а возможно, по причине расслабляющего воздействия ситуации, в которой ученик и Глава Школы оказались сидящими друг напротив друга – один на стуле, другой на столе, – но неожиданно спавшее напряжение выразилось в долгом, свистящем вздохе и совсем не официальной позе, которую принял Роцезвон. Он смотрел изучающим взглядом на Тита и совсем не беспокоился по поводу того, насколько приличествует Главе Школы сидеть в такой расслабленной, обмякшей позе. Но заговорив, он все же, конечно, придал своему голосу ту опустошенную, жестяную тональность, которой был по-рабски привержен. Неважно, что чувствует сердце или что там бормочет желудок, – старые привычки остаются старыми привычками. Слова и жесты подчиняются собственным диктаторским, скучным законам. Гадкий ритуал, который изгоняет дух...

– Ну вот, Глава Школы пришел навестить тебя, мой мальчик...

– Спасибо, господин Роцезвон.

– Оставил учеников, оставил все дела, чтобы взглянуть на строптивного ученика. Весьма и весьма непослушного. Ужасного ребенка, который, насколько я осведомлен о его учебных успехах, не имеет абсолютно никаких веских причин пропускать занятия и не появляться там, где постигается наука.

Роцезвон задумчиво почесал подбородок.

– В качестве человека, возглавляющего учебный процесс, я могу вам сообщить, Тит, что вы своим поведением создаете определенные трудности. Что мне с тобой делать, а? Гм...

Действительно, что? Тебя наказали. Точнее, ты находишься в процессе наказания. Посему я рад сообщить, что нам не нужно беспокоиться о том, что же следует делать в этом направлении. Но что я должен сказать тебе *in loco parentis*? Я уже стар, по крайней мере с твоей точки зрения... Ты ведь назвал бы меня стариком, как ты думаешь, мой юный друг? Ты ведь считаешь меня стариком, ну, признайся!

– Да, наверное, господин Роцезвон.

– Ну вот. А в качестве пожилого человека мне полагается быть мудрым и проницательным, правда, мой мальчик? Видишь, у меня длинные белые волосы и длинная черная мантия. В общем все, что требуется для начала правда?

– Не знаю, господин Роцезвон.

– Ну, тогда я тебе скажу, что все именно так. Можешь мне поверить. Первое, чем нужно разжиться, если ты хочешь быть мудрым – это черная мантия, затем для еще пущей мудрости – длинные белые волосы и желательно выступающий подбородок, ну, вот как у меня.

То, что говорил Роцезвон, вовсе не казалось Титу забавным, но он на всякий случай, запрокинув голову назад, разразился очень громким смехом и даже похлопал руками об стол, на котором сидел.

Лицо старика осветилось всплшкой внутреннего света. Из его глаз исчезло беспокойство – оно вытекло из уголков глаз, воспользовавшись глубокими морщинами, потом разбежалось по всем складкам и впадинам древнего лица и спряталось в таких удобных оврагах и лощинах.

О, как давно в последний раз смеялись его шутке! И смеялись неделанно и спонтанно! Роцезвон на секунду отвернулся от Тита, чтобы смыть напряжение со своего старого лица и создать широкую и мягкую улыбку. Он раздвинул губы, чтобы придать улыбке наиболее дружелюбный вид – так обнажают зубы львы, готовые к игре. На все это ему понадобилось некоторое время. Наконец он снова повернул голову к мальчику и воззрился на него.

Но многолетняя учительская привычка тут же дала себя знать, и уже не раздумывая над тем, что делает, Роцезвон завел руки назад и сцепил их за спиной так, словно там находился магнит; его подбородок удобно улегся на груди; глаза приняли выражение, какое бывает у наркоманов и актеров, карикатурно изображающих напускное благочестие какого-нибудь священника. Это выражение Главы Школы передразнивали многие поколения учеников Горменгаста, так что вряд ли осталось место где-нибудь в спальнях, коридорах, классных комнатах, в которых проводил занятия Роцезвон, в залах или во дворе, где в тот или иной момент не останавливался бы на мгновение какой-нибудь мальчик и, спрятав за спину измазанные чернилами руки, опустив подбородок на грудь и вывернув глаза так, чтобы они косили вверх, не изображал бы это особое выражение лица Роцезвона, для пущей важности водрузив при этом на голову учебник – взамен квадратной шапочки.

Тит смотрел на собеседника отстраненным взглядом. Мальчик не боялся его и не испытывал к нему никаких теплых чувств. Как жаль! Ведь Профессора можно было любить, несмотря на все его слабости, несмотря на его некомпетентность, несмотря на то, что его жизнь не удалась, несмотря на то что он ничего из себя не представлял ни как ученый, ни как руководитель, несмотря на то что с ним было неинтересно. Обычно у слабых есть хотя бы друзья. А мягкость Роцезвона, его потуги изображать властность, его несомненная человечность по какой-то непонятной причине не вызывали должной реакции в других людях. Слабый, рассеянный неудачник чаще всего располагает к себе людей, но с Роцезвоном этого не происходило. И теперь, будучи Директором, он был более одинок, чем когда бы то ни было. Но в нем оставалась гордость. Когти уже давно затупились, но Роцезвон всегда был готов пустить их в дело. Хотя и не в данный момент – ибо сердце его переполняла любовь.

– Мой дорогой друг, – сказал он, воздев очи горе, – я хочу поговорить с вами как мужчина с

мужчиной. Дело в том, что... – Роцезвон помедлил, – Дело в том, что... эээ... Но о чем же нам с вами поговорить?

Он перевел взгляд своих несколько затуманенных глаз на Тита и увидел, что-мальчик, сдвинув брови, напряженно и внимательно смотрит на него.

– Мы могли бы поговорить о чем-нибудь как мужчина с женщиной, ведь так? Ну, или как мальчик с мальчиком. Гм... Именно так. Но о чем? Вот в чем главный вопрос. Ты не находишь?

– Да, господин Роцезвон. Я... наверное...

– Ну, вот, скажем, тебе двенадцать лет, а мне, ну, скажем, восемьдесят шесть... если отнять двенадцать от восьмидесяти шести, то получится... Нет, нет, нет, я вовсе не собираюсь заставлять тебя заниматься арифметикой. Это было бы нечестно. Что за радость быть узником и при этом оказаться вынужденным заниматься уроками? Нет, это нечестно. Какой смысл тогда в таком наказании? Никакого. Правда?.. Эээ... Так о чем это я? Ах да. Итак, отнимаем двенадцать от восьмидесяти шести и получаем что-то около семидесяти четырех. Правильно? Ну, а теперь, если поделить семьдесят четыре на двое... Гм... – Роцезвон бормотал себе под нос какие-то цифры и наконец сообщил результат: – Тридцать семь... А что такое тридцать семь? Предположим, что это половина того возраста, который нас разделяет. Ну вот... Если я вообразу, что мне тридцать семь лет и ты вообразишь, что и тебе тридцать семь лет... Но это очень сложно сделать, правда? Потому что тебе еще не было тридцати семи лет, а мне уже было тридцать семь, но это было так давно, что я ровным счетом ничего не помню о тех временах. Помню только, что, кажется, именно в том возрасте я купил себе целый мешочек стеклянных шариков. Представляешь? А почему? Потому что я понял, что люди, которые играют в стеклянные шарики, значительно более счастливы, чем те, которые в них не играют... Неудачное получилось у меня предложение... Но ничего. И вот я играл стеклянными шариками после того, как все остальные молодые преподаватели засыпали. У нас в комнате на полу лежал старый ковер с орнаментом. Я зажигал свечу, клал шарики в уголки узоров и в центре красных и желтых цветов, изображенных на ковре. Я помню этот ковер со всеми деталями так, словно он лежит вот здесь на полу, в этой башне. И вот при свете свечи я бросал шарики так, чтобы одним сбить другой. Со временем я так набил руку, что мог попасть шариком в другой шарик, и тот крутился, не сдвигаясь с места, или откатывался на нужное расстояние и попадал в уголок другого узора в центр цветка... А в ночной тишине звуки, которые издавали шарики при ударе друг о друга, казались звоном, который издают крошечные хрустальные вазочки, падая и разбиваясь о каменный пол... Наверное, мой рассказ становится слишком поэтичным, как ты считаешь, мой мальчик? А мальчишкам, как мне известно, не нравится поэзия. Правильно я говорю?

Роцезвон снял свою квадратную шапочку, положил ее на пол и, вытащив из кармана огромный и невероятно грязный платок, вытер лоб. Титу никогда и ни у кого не приходилось видеть платков таких размеров и столь грязных.

– Ах, мой юный друг, звон тех шариков все еще стоит у меня в ушах... Глупенькие маленькие шарики – а сколь прекрасен был их звон... но в нем было и много печали, как и в одиноком стуке дятла летом в лесу...

– Сударь, у меня есть несколько шариков, – Тит соскользнул со стола и запустил руку в карман штанов.

Роцезвон опустил руки вниз – и они повисли как гири. Казалось, от радости, вызванной тем, что его маленький хитрый план реализовывался так успешно, он потерял способность контролировать свои члены. Его широкий, неровный рот приоткрылся от восторга. Он поднялся на ноги и направился в угол комнаты. Ему не хотелось, чтобы мальчик видел радость, отразившуюся на его лице. Такое позволено видеть лишь женам людей, находящихся в его

положении, но у него не было жены... никакой жены у него не было.

Тит смотрел в спину отходящего Роцезвона. Как смешно он при ходьбе ставит ноги – будто прихлопывает землю подошвами но так, чтобы не причинить боль земле, а просто пробудить ее.

– Мой мальчик, – сказал Роцезвон, пройдясь в угол и обратно и согнав счастливую улыбку с лица, – знаешь, это удивительно, кстати, что у тебя есть шарики и что тебе нравится играть с ними. Однако и у меня тоже. – И Роцезвон вытащил из темноты кармана своих древних и расплзающихся по швам брюк – края кармана были как гниющие губы какого-то издохшего животного – ровно шесть шариков.

– О сударь! – воскликнул Тит. – Ни за что бы не подумал, что вы носите с собой стеклянные шарики!

– Мой мальчик, – ответил Профессор, – пускай это послужит тебе уроком. А где мы будем играть, а? Бог ты мой, как далеко здесь до пола и как скрипят мои кости!

Говоря это, Роцезвон медленно, поэтапно опускался на земляной пол.

– Прежде всего нужно обследовать поле для игры – нет ли тут каких-либо неровностей? Как ты считаешь, мой мальчик? Ведь это нужно сделать? Обследуем местность, как генералы, а? И выберем подходящее место для битвы!

– Да, сударь. – И Тит, опустившись на колени, стал ползать по земляному полу рядом со старым бледным львом. – Мне кажется, что он достаточно ровен. Вот здесь можно начертить один квадрат, а здесь...

Но в этот момент дверь отворилась и вошел Доктор Хламслив, ступив из залитого солнцем двора в серый полумрак каземата.

– Так, так, так, так, так, так, так! – пропел Хламслив, вглядываясь. – Ну и ну! Какое ужасное место! Как можно было заточить сюда Герцога! Клянусь всем, что безжалостно – это жестоко! А где же он сам, этот наш легендарный проказник, этот беглец из оков, этот нарушитель неписанных законов! Этот не знающий удержу сорванец! Да снизойдет благодать Божья на мою потрясенную душу, если... Ба, кого я вижу! Тит, ты не один? Этот человек намного больше тебя. Кто же это может быть? И что, ради всего святого, тебя согнуло к лону земли? Что заставляет тебя и того, кто рядом с тобой, скрючившись в три погибели, ползать по земле, как хищных зверей, подкрадывающихся к добыче?

Роцезвон скрипя суставами, поднялся с колен. Когда же он попытался встать на ноги, то, случайно наступив одной ногой на край мантии но продолжая подниматься, разорвал изношенный материал проделав в мантии большую дыру. Наконец он выпрямился – и тут же стал в позу приличествующую Главе Школы, однако лицо его при этом неподобающим образом покраснелось.

– О, Доктор Хлам, привет, – сказал Тит. – Мы собрались поиграть стеклянными шариками.

– Шариками? Клянусь всем, что полно знания, игра в шарики – это прекрасное изобретение, да благословит Господь мою сферическую душу! – воскликнул врач. – Но если твой сообщник не Профессор Роцезвон, Глава Школы, то мои глаза ведут себя очень странным образом!

– Милостивый государь, – сказал Профессор, оправляя на себе мантию, оборванный конец которой свисал на землю как парус, сорванный бурей с мачты, – вы изволили правильно заметить, что это я, Роцезвон. Мой ученик, молодой Герцог, нарушил дисциплину и в наказание был помещен здесь. А я, чувствуя свой неотъемлемый долг, посчитал необходимым in loco parentis принести частичку своей премудрости этому отроку, дабы несколько скрасить те горькие часы, которые ему приходится здесь проводить. Может быть, даже оказать посильную помощь, ибо кто знает, не исключено, что и старики обладают тем опытом, который может помочь молодым. Поддержать его в лихую годину, ибо, кто знает, может быть, старики

обладают некоторой мерой сочувствия, и вернуть на путь истинный, ибо, кто знает, и старики могут...

– Мне не нравится выражение «вернуть на путь истинный», Роцезвон, – прервал изливания старика Доктор Хламслив. – Совершеннейшая банальность, особенно в устах человека в вашем положении. Но я уловил, что вы хотели выразить. Клянусь всем тем, что отдает пониманием, я, скорее всего, уловил. Но как можно было ребенка заточать в такое место! Дай мне взглянуть на тебя, Тит. Как ты себя чувствуешь, мой юный петушок?

– Спасибо, нормально, – сказал Тит. – Завтра я буду свободен.

– О Боже, у меня сердце разрывается от этих слов! – воскликнул Хламслив. – "Завтра я буду свободен! Какой пафос! Ну, подойди ко мне, мой мальчик.

Голос Хламслива, когда он говорил это, слегка дрогнул. Свободен, подумал он, свободен, а будет ли этот мальчик когда-либо свободен?

– Итак, Глава Школы пришел навестить тебя и даже собирался поиграть с тобой стеклянными шариками, – продолжал Хламслив. – Ты понимаешь, что это для тебя большая честь? Поблагодарил ли ты его за то, что он пришел навестить тебя?

– Еще нет, сударь.

– Ну, ты должен обязательно это сделать, прежде чем он уйдет.

– Он хороший мальчик, – сказал Роцезвон. – Очень хороший мальчик. – И после небольшой паузы добавил, словно напоминая о своей начальственной роли: – Но при этом большой нарушитель дисциплины.

– Однако клянусь всем, что неуважительно, – из-за меня начало игры задерживается! Как нехорошо с моей стороны! – воскликнул Хламслив, потрепав Тита по голове.

– А почему бы вам не сыграть вместе с нами, Доктор Хлам? – спросил Тит. – Тогда мы могли бы играть в три угла.

– Ну, и как же играть в три угла? – поинтересовался Хламслив, подтягивая на коленях свои элегантные брюки и приседая на корточки. – А вы знаете? – спросил Хламслив, переводя взгляд с Тита на Профессора.

– А как же, – ответил тот, и лицо его мгновенно повеселело. – Это благородная игра.

И снова опустился на земляной пол.

– Да, кстати, – быстро сказал Хламслив, обращаясь к Профессору, – вы придете на прием, который мы устраиваем? Вы обязательно должны быть у нас – ведь вы наш главный гость.

Роцезвон, скрипя суставами – казалось, было слышно, как стонут все его старые дряблые мышцы, – снова поэтапно поднялся на ноги, выпрямился, пошатнулся, обрел равновесие и, приняв великолепную, царственную позу, поклонился сидящему на корточках Хламсливу, при этом локон белых волос упал на пустые голубые глаза.

– Сударь, – торжественно сказал он, – я обязательно буду на вашем приеме. И все приглашенные вами Профессоры тоже. Мы глубоко тронуты честью, которая нам оказана.

Произнеся это Роцезвон с неожиданной и поразительной быстротой снова опустился на пол.

Через час, когда старый надзиратель заглянул в глазок величиной с чайную ложку во внутренней двери каземата, он был поражен увиденным: по полу ползали три фигуры, одна из них – по всей видимости Доктор Хламслив – издавала пронзительные трели, которые, нарастая по мощи, превращались в вой гиены, другая – судя по всему, Профессор, – что-то рычала глубоким, дрожащим от счастья голосом, подобным рыку льва, настигающего добычу, а третья – это уж наверняка был Тит – испускала звонкие вопли. В дополнение к этому гаму, наполнявшему комнату, слышны были звуки, напоминающие звон стекла, падающего и разбивающегося на камне. Однако в полумраке подслеповатый старик не смог рассмотреть

стеклянные шарики, которые катались по полу, сталкивались, вертелись, забегали в вычерченные на земляном полу квадраты, мчались в разные стороны, как падающие звезды.

Глава двадцать вторая

Никакие другие звуки не леденили сердца обитателей Горменгаста больше, чем стук маленького засаленного костыля, с помощью которого Баркентин перемещал свое карликовое тело.

Резкий и быстрый стук, производимый твердым как железо концом костыля по камням, был при каждом ударе, как щелчок плети по лицу, как выкрикнутое проклятие, как зуботычина, как вспарывание живота жалости.

Кто не слышал хотя бы один раз угрожающий стук, сначала далекий, а потом быстро приближающийся, становящийся все громче? Кто не знает, что это мчится с невероятной скоростью по извивающимся коридорам Баркентин, Хранитель Ритуала, поразительно проворно переставляя костыль, заменяющий ему высохшую ногу?

Каждый, заслышав еще далекое, как удар ножом, постукивание по каменным плитам, сворачивал в сторону, чтобы избежать встречи с этим карликовым, тлеющим символом Закона, который несся как некое исчадие ада по центру коридоров, никому не уступая дорогу.

В этом Баркентине было нечто от осы и нечто от взъерошенной хищной птицы. А еще в нем было нечто от искореженного бурями колючего дерева и от злого гнома с прыщеватым лицом. Отвратительно водянистые глаза злобно смотрели, словно сквозь слой воды. Они напоминали крошечные, потрескавшиеся, немые блюда, наполненные до краев слабеньким чаем цвета топаза, готовым расплескаться.

Бесконечны переплетающиеся коридоры Горменгаста, бесчисленны залы, но даже в отдаленных уголках Замка, в вечном полумраке переходов и помещений, отстоящих бесконечно далеко от главных артерий, где сырая тишина, пропитанная запахами распада, изредка нарушалась лишь стуком падающих кусков сгнивших деревянных балок, дверей и рам или уханьем совы, – даже там человек, случайно забредший туда, со страхом прислушивался бы: не слышно ли это вездесущее постукивание костыля, пусть очень далекое и едва различимое, как постукивание ногтей друг о друга? И даже этот слабый звук тут же вселил бы ужас в сердце услышавшего. Казалось, от этого звука нельзя было нигде спрятаться. Древний, засаленный, твердый как железо костыль и человек, им пользующийся, стали неразделимы, были как одно целое. В теле Баркентина было не больше свежей, здоровой крови, чем в его гадкой подпорке. Она выростала из-под его плеча, как некий деформированный, лишенный нервов и мышц отросток тела. В звуке, производимом костылем, когда он с силой ударял о камень или о деревянные половицы, выражалось больше сплина, чем можно было бы выразить словами на каком бы то ни было языке.

Фанатизм преданности Баркентина Дому Стонов значительно превосходил его интерес к живым людям или беспокойство об их судьбе, включая даже тех, кто ныне продолжал наследственную линию Стонов. Графиня, Фуксия, Тит были для него звеньями в цепи Рода – и не более. Главное – цепь, а не ее звенья. Цепь для него была не живым металлом, а бесчувственным железом, покрытым паутиной и священной пылью. Его занимала лишь Идея, а не ее воплощение. Для него существовала лишь необходимость поддержания Закона, в нем жила только одна страсть – верность этому Закону.

В этот раз Баркентин поднялся как обычно на рассвете. Сквозь грязное окно он посмотрел на далекие темные массивы Горы Горменгаст не потому, что его привлекло зрелище ее янтарного сияния, пробивавшегося сквозь полупрозрачную дымку, ее укутывающую, а потому, что он пытался определить, какую погоду следует ожидать в этот день. Нет, не то чтобы он мог отменить какую-нибудь церемонию из-за плохой погоды, нет, ни за что. Но существовали

священные Альтернативы, предписанные духовными пастырями столетия и столетия назад. Если, например, во второй половине дня случится гроза и ветер и дождь сильно взбудоражат воду во рву Замка, тогда следует внести должные коррективы в церемонию, которая заключалась в том, что Тит с надетым на шею ожерельем из плотно сплетенной сухой травы должен стоять у заросшего тростником края рва в том месте, где в воде, прямо перед ним, отражается определенная башня, и, сняв с шеи золотистое ожерелье, бросить его таким образом, чтобы пролетев в воздухе над водой нужное расстояние, оно упало в отражение открытого как зевок окна, в котором стояла его мать. Никто из присутствующих не должен издавать ни звука, не должен шевелиться до тех пор, пока не угаснут вспыхивающие отражениями солнечных лучей круги на воде, пока водяная голова Графини не перестанет колыхаться вместе с пустой темнотой позади нее в окне, похожем на вход в пещеру, пока вода не разгладится как стекло и в отражении не будут четко видны подобные осколкам цветного стекла камни башни и птицы, сидящие на плечах графини. Но для всего этого нужен безветренный день и поверхность воды должна быть ровной как зеркало; но если же день окажется ветренным, дождливым, то в Томах Церемоний можно отыскать описание того, как следует изменить церемонию, какую Альтернативу выбрать, дабы обогатить этот день во славу Дома Стонов и во исполнение Закона.

И вот поэтому Баркентин имел привычку на заре глядеть в окно, которое по причине его почти полной непрозрачности приходилось чаще всего открывать, и осматривать окрестности, вглядываться над крышами в горизонт, туда, где вздымалась Гора Горменгаст, иногда скрытая туманом, а иногда очерченная четко вырезанным силуэтом, и пытаться определить, каков же будет грядущий день.

Опираясь на свой костыль, освещенный холодным бледным светом занимающегося дня, Баркентин рукой, похожей на клешню, стал чесать ребра, живот, там, тут – везде, куда доставала рука. Ему не нужно было одеваться, ибо он спал в одежде на матрасе, кишачем блохами. В его комнате не было кровати – на полу, на котором не было даже ковра, был разложен матрас. По половицам бегали тараканы, дерево сверлили всякие жучки, между половицами жили различные другие насекомые, которые здесь размножились и здесь же умирали; ночью приходила крыса и, сидя в серебристой пыли, обнажала свои длинные зубы, поблескивающие в бледном свете; когда луна была в своей полной фазе и заглядывала в окно, то она, обрамленная рамой, казалась нарисованной.

И вот в такой мерзости запустения Хранитель Ритуала просыпался каждое утро на протяжении последних шестидесяти лет. Развернувшись на своем костыле, он прощелкал от окна до стены и прислонился спиной к ее грубой поверхности. Затем он стал тереться об нее, побеспокоив тем самым колонию муравьев, которая, получив сообщение от своих разведчиков о том, что соперничающая колония на потолке двинулась маршем вниз и наводит мосты между трещинами, активно готовилась к обороне.

Баркентину было, конечно, невдомек, что он своей спиной нанес огромный урон целой армии. Он чесал спину о стену, двигая плечами и верхней частью туловища туда и сюда так быстро, что случайный наблюдатель мог бы прийти в ужас, не понимая, как такой старый и искалеченный человек может проявлять такое проворство в движениях. Рядом с ним под потолок уходила огромная дверь, не уступающая по размерам воротам сарая.

Окончив наконец свое чесание, Баркентин запрыгал по комнате к тому месту, где на полу было круглое отверстие, окаймленное по краям металлом. Казалось, что над полом слегка выступает конец трубы. От этого отверстия вниз и в самом деле опускалась металлическая труба, которая, пронизав несколько этажей, открывалась в потолке столовой, слегка выступая своими краями из ровной поверхности перекрытия. Непосредственно под этим отверстием в потолке на полу стоял пустой чан, в который с грохотом падал бульжник, брошенный

Баркентином в трубу. Бульжник со звоном, сотрясая чан, ударял в его металлическое брюхо. Чан, проглотив камень, еще несколько минут бормотал что-то.

Каждый вечер этот бульжник вынимали из чана, относили наверх к Баркентину и клали у дверей его комнаты. И каждое утро старик брал его, относил к отверстию трубы в полу, плевал на него и швырял вниз, прислушиваясь к тому, как он хрипло грохочет в слегка изогнутой трубе. Грохот удалялся и замирал. Таким образом Баркентин предупреждал слуг, что он собирается спуститься и что пора готовить ему завтрак.

Звон камня, ударяющегося в металл, отзывался во многих сердцах. В это утро, когда Баркентин поплевал на тяжелый бульжник размером со средний арбуз и отправил его вниз по трубе, словно в преисподнюю (тем самым вызвав к жизни гремящие звуки, которые будили многих из тех, кто еще спал в своих кроватях на нижних этажах, в комнатах, примыкающих к трубе), заставляя полусонных людей выскакивать из постелей с проклятиями этому незваному заменителю утреннего петушиного крика, на лице Баркентина светилось выражение, в котором проявлялось нечто большее, чем обычная страсть к Ритуалу. На этом обломке человеческого лица горел огонь желания совершить положенные в этот день обряды. Огонь этот был так ярок, что, казалось, он вот-вот сожжет это высохшее лицо.

Помимо портрета какого-то всадника, на стене кишачей насекомыми комнаты Баркентина висела старая пожелтевшая гравюра, покрытая пятнами пыли. Хотя висела она в раме, в которой когда-то было вставлено стекло, от стекла лишь в одном углу остался маленький осколок, напоминавший кусочек льда. Гравюра, большая и тщательно выполненная, изображала Кремниевую Башню. Очевидно, художник, создавший ее, делал свои зарисовки, стоя к югу от башни, ибо за разбросом башенок, уступами стен, кровельной стихии, которая волнами вздымалась чуть ли не к небу, виднелись склоны Горы Горменгаст, усеянные пятнами кустарников и елей. Баркентин не обращал внимания ни на портрет маслом, ни на гравюру, и поэтому не мог заметить, что, как и в портрете, в гравюре было вырезано отверстие. Сделано это было весьма искусно. На месте, где должен был располагаться вход в башню, зияло маленькое отверстие размером с почтовую марку. Сразу за ним в стене была просверлена дыра, открывающаяся прямо в широкий дымоход, верхняя часть которого, выходящая на крышу, была давно завалена обвалом кровельной черепицы, заблокировавшей проникновение внутрь солнечного света, нижним своим концом дымоход упирался в маленькую комнатку, которую так любил посещать Щуквол. Вот и сейчас, несмотря на столь ранний час и утреннюю прохладу, он сидел в ней, прильнув глазами к отверстиям, против которых находилась уже описанная система зеркалец – их длинная череда уходила вверх по черному колодцу дымохода. Отверстия в портрете и в гравюре давали возможность наблюдать за комнатой Баркентина под разными углами. Щуквол подглядывая в одно из таких же отверстий в стене своей маленькой комнаты, мог видеть на одном из зеркалец отражение карлика-педанта, одетого в красные лохмотья и с интересом наблюдать за тем, как тот тащит бульжник и швыряет его в трубу.

Если Баркентин поднялся рано со своего отвратительного ложа, Щуквол, находящийся в комнатке для подсматривания, идеально чистой, без пятнышка пыли, поднялся еще раньше. Однако ранний подъем не был для него привычкой. У него не было подобных привычек. Он всегда делал лишь то, что ему хотелось делать. И делал он только то, что способствовало осуществлению его далеко идущих планов. Если ранний подъем мог помочь ему получить то, чего он желал, для него не составляло никакого труда подняться в любое время. Если же ничего такого не предполагалось, то он мог все утро проваляться в постели читая, практикуясь в завязывании сложных узлов (веревку для этой цели он всегда держал под кроватью), делая бумажные самолетики особо сложной конструкции, которые он тут же запускал в воздух, или же полируя сталь клинка с невероятно острым лезвием, который прятался в его трости.

В данный момент Щукволу требовалось еще больше убедить Баркентина в том, что он, Щуквол, совершенно незаменим, что он выполняет быстро и точно все распоряжения. Надо сказать, что Щукволу уже удалось проникнуть под корку мизантропии брюзжащего старика и стать, собственно говоря, единственным человеческим существом, которому удалось втереться в доверие к Баркентину, поведение Щуквола Хранитель, хотя и с неохотой, одобрял.

Даже не подозревая этого, Баркентин, проводя ежедневные обряды и церемонии изливал из себя поток незаменимых знаний, который вливался в очень объемный мозг хищного молодого человека, стремившегося к тому, чтобы, получив достаточно сведений о ритуалах и обрядах, стать незаменимым в их проведении, Баркентина ликвидировать и стать единственным авторитетом в соблюдении Закона. А затем изменить те положения Закона, которые мешали ему достичь высшей власти. А уж подделать древние документы, внося в них необходимые поправки, не составляло особого труда.

Баркентин был немногословен. Знания ритуалов и обрядов изливались из него не с помощью слов, а в основном через совершаемые им действия, которые тщательно запоминал Щуквол. Пополнял он свои знания и благодаря доступу к Документам. Баркентин и заподозрить не мог, что каждый день усвоенных Щукволом новых знаний приближал его, Баркентина, смерть. Он вовсе не намеревался обучать молодого человека чему-то такому, что выходило бы за пределы нужной ему помощи. Этот бледный человек, этот Щуквол был полезен ему – вот и все. И если бы Баркентин догадывался о том, что выдает самые потаенные секреты Горменгаста своими на первый взгляд малозначительными пояснениями и позволением пользоваться библиотекой, он бы первый сделал все от него зависящее, чтобы изгнать из жизни Замка этого выскочку, этого опасного человека, чье беспрецедентное стремление постичь все доктрины Горменгаста проистекало из погони за личной властью. Щуквол, обладавший холодным рассудком, тщательно рассчитал все, и ничто не могло остановить его.

Щуквол решил, что время для устранения Хранителя Ритуала почти пришло. Даже по чисто эстетическим соображениям уже давно следовало уничтожить существо столь отвратительного вида, как Баркентин. Зачем вообще позволять существовать столь долго такому омерзительному созданию с его костылем?

Щуквол восхищался красотой. Она не поглощала, она не затрагивала струн его души, но тем не менее он восхищался ею. Он всегда был очень аккуратен, чист, вычищен, так сказать, как его клинок, такой же отполированный, такой же острый. Любая неряшливость оскорбляла его эстетические чувства. Вид Баркентина, старого, невероятно грязного, с потрескавшимся, словно залежалый хлеб, лицом, с его спутанной, никогда не мытой бородой, вызывал в Щукволе крайнее отвращение. Да, пришло время вырвать эту нечистоплотную сердцевину из огромного мшистого тела жизни Замка и самому Щукволу занять его место. А уж попав в самый центр жизни Горменгаста, можно было предпринимать следующие шаги.

Баркентин всегда поражался тому, как это Щукволу удается встречать его с такой поразительной точностью и пунктуальностью каждое утро на рассвете. О нет, Щуквол не ожидал выхода Хранителя у дверей его комнаты, не сидел на ступеньках, ведущих в комнату, где Баркентин завтракал. Нет. Щуквол – соломенные волосы гладко зачесаны назад на овальном черепе; бледное лицо сияет, темные, красные глаза с их беспокоящим взглядом горят в глазницах под песчаного цвета бровями – неожиданно появлялся из темноты коридора, четко, по-военному, останавливался рядом со стариком и, не произнося ни единого слова, кланялся от пояса, ни на йоту не сгибая спину – верхняя часть туловища, как палка, склонялась вперед.

И в это утро все происходило именно так. Баркентин в сотый раз подивился, как это Щукволу удается так точно появляться в тот момент, когда он, Баркентин, подходит к деревянной лестнице. Насупив брови, Хранитель исподлобья подозрительно взглянул на

молодого человека сквозь неприятную пленку влаги, которая всегда покрывала старческие зрачки.

– Доброе утро, ваше превосходительство, – поприветствовал старика Щуквол.

Баркентин, чья голова была на уровне перил, высунул язык, напоминающий язычок старого ботинка, и провел им по останкам своих сухих и сморщенных губ. Затем совершил гротескный прыжок вперед, с громким стуком ударив концом костыля по полу, и повернул свою древнюю голову к Щукволу.

– К черту твое «доброе утро», ты, ободранный сучок, – пробрюзжал Баркентин. – Ты блестяшь, как какой-то склизкий угорь! Как это у тебя так получается, а? Каждое утро, едва солнце встает, а ты уже тут как тут, выскакиваешь из приличной темноты таким неприличным способом!

– Я полагаю, ваше превосходительство, что это происходит от того, что у меня появилась странная привычка мыться.

– Мыться! – прошипел Баркентин, словно даже само это слово вызывало у него гнев и отвращение. – Он моется, этот червяк! А за кого ты себя принимаешь, рыба слизь, за лилию?

– Нет, ваше превосходительство, я бы этого не сказал.

– И я бы тоже! – прокаркал старик. – Ты просто кожа, кости и волосы. Вот и все. Сними с себя этот ненужный блеск. Погасни. И чтоб не было по утрам этого твоего выскакивания из ниоткуда. Ты как маслом смазанная глиста, выскакивающая из задницы.

– Слушаюсь, ваше превосходительство. Я слишком заметен, даже в темноте.

– Когда ты нужен, тебя нигде не увидишь! – резко сказал Баркентин и начал спрыгивать вниз по лестнице. – Так ты можешь становиться невидимым, когда тебе этого хочется, а? Клянусь куриными потрохами, я тебя насквозь вижу! Вижу тебя насквозь, вылизанный щенок! Понятно? Вижу тебя насквозь!

– Видите меня насквозь, когда я невидим, ваше превосходительство? – спросил Щуквол, поднимая брови и спускаясь по лестнице вслед за стариком-калекой, который, соскакивая со ступеньки на ступеньку, производил такой грохот, что тот заполнял все вокруг.

– Клянусь мочой Сатаны, твои шуточки, собачье отродье, опасны! – хрипло выкрикнул Баркентин и всем телом повернулся к Щукволу так резко, что лишь чудом сохранил равновесие – его высохшая нога находилась на две ступеньки выше той, на которой стоял конец его костыля.

– В северной галерее все готово?

Этот вопрос он швырнул Щукволу уже несколько другим голосом – менее злобным, менее брюзгливым, в нем уже не было желчи, направленной лично на Щуквола.

– Все было приготовлено еще вчера вечером, ваше превосходительство.

– Ты присматривал за приготовлениями, – если, конечно, твое присматривание чего-либо стоит?

– Все было сделано под моим руководством, ваше превосходительство.

Они приближались к первой лестничной площадке на их пути. Щуквол, шедший позади Баркентина, вытащил из кармана циркуль и, используя его как щипцы, приподнял слипшиеся от грязи седые волосы калеки, прикрывавшие затылок. Обнажилась шея, сморщенная как у черепахи. Позабавленный тем, что ему удалось это сделать так осторожно, что Хранитель ничего не почувствовал, он повторил упражнение. Костыль продолжал цокать по ступеням в прежнем ритме. Не оборачиваясь, карлик пролаял:

– Я осмотрю галерею сразу после завтрака.

– Хорошо, ваше превосходительство.

– Тебе приходило в голову, безмозглый молокосос, что сегодняшней день освящен даже

самой пылью Замка, а? Приходило? Сегодня тот единственный день в году, мальчишка, когда воздают почести Поэту! Разрази тебя гром, но даже вши в моей бороде знают, что сегодняшней обряд один из самых важных. Клянусь черными душами неверных, это закон из законов, мой дорогой ублюдок! Галерея готова, говоришь? Клянусь язвами на моей ссохшейся ноге, ты дорого заплатишь, если она выкрашена в красный цвет не того оттенка, который требуется. Был выбран самый темный оттенок? Самый темный из всех красных?

– Самый, самый темный, ваше превосходительство, – заверил Баркентина Щуквол – Еще немного темнее – и он был бы уже черным.

– Если это не так, то и когти дьявола тебе покажутся ласковыми, – проворчал старик. – А помост поставили? – спросил он, пересекая очередную лестничную площадку, ореховые доски которой были местами перекручены; часть перил здесь отсутствовала, а столбики, когда-то их подпиравшие, стояли покосившиеся во все стороны; на них были шапки пыли, подобные шапкам снега, покрывавших зимой концы воткнутых в землю палок.

– Так как помост, я спрашиваю?

– Установлен и украшен. Трон для Графини почищен и починен, а высокие стулья для высоких гостей отполированы. Все остальное, что требуется, тоже уже на месте.

– А Поэт? – взвизгнул Баркентин – А Поэт? Ты предупредил его, как я тебе приказывал? Он знает, что от него требуется?

– Его речь готова, ваше превосходительство.

– Речь? При чем тут речь, пустоголовый таракан! Он должен читать Поэзию, ублюдок, Поэзию!

– У него все приготовлено, ваше превосходительство, – отрапортовал Щуквол. Положив циркуль в карман, он извлек из другого кармана ножницы (казалось, у него в карманах невероятное количество вещей, однако при этом его карманы никогда не оттопыривались и не отвисали) и стал обрезать слипшиеся пряди волос Баркентина, спускающиеся на воротник. При этом он тихо бормотал себе под нос.

– Лудильщик, моряк, солдат, рыбак.

На ступени падали остриженные космы волос. Когда они достигли следующей площадки, Баркентин на мгновение остановился и почесался.

– Будем считать, что Поэт приготовил свою поэму, – сказал Баркентин, поворачивая изъеденное временем лицо к стройному молодому человеку с поднятыми плечами, – а вот сказал ли ты ему про сороку, а?

– Я сказал ему, что он должен встать и начать декламировать свои стихи через двенадцать секунд после того, как сороку выпустят из проволочной клетки. Я ему также сказал, что во время декламации его левая рука должна сжимать сосуд с водой из рва, в который Графиня должна предварительно бросить голубой камешек из реки Горменгаст.

– Все правильно, облезлый птенчик. А сказал ли ты Поэту, что он должен быть одет в Мантию Поэта и что ноги при этом у него должны быть босы? Про это ты ему сказал?

– Сказал, ваше превосходительство.

– А желтые лавки для Профессоров нашли?

– Нашли. В южных конюшнях. Я приказал их наново покрасить.

– А семьдесят седьмой Герцог, Тит, знает ли волчонок, что он должен сидеть, когда все стоят, и стоять, когда все сидят? Знает ли этот ребенок, что... эээ... он такой рассеянный, этот Тит... знает ли он, что ему полагается делать? Ты рассказал ему, ты, облизанная свеча? Клянусь всеми моими кошками за семьдесят лет, лоб у тебя блестит как подтаявшая льдина!

– Тит получил все необходимые инструкции, ваше превосходительство.

И Баркентин возобновил свой спуск вниз, туда, где его ждал завтрак. Спустившись с

деревянной лестницы, Хранитель Ритуала в каком-то неистовстве, поднимая пыль, запрыгал по коридорам на своем костыле. Щуквол, ни на шаг не отставая от Баркентина, развлекался тем, что пританцовывал, пародируя дергающиеся движения старика. Это была бесшумная и умело выполняемая импровизация, одобренная неприличными и весьма изобретательными жестами.

Глава двадцать третья

Медленно текли минуты урока, еще медленнее, чем обычно, – было жарко. Тит сидел за своей партой на занятии, которое вел Срезоцвет (когда-то Срезоцвет старался быть по объему знаний и интеллектуальному кругозору хоть немного впереди своего класса, какой бы предмет он ни преподавал, но это было очень давно. И теперь он осваивал знания вместе со своими учениками – на одном уровне). Профессор прятался за поднятой крышкой своего стола, в котором стояла устрашающего вида бутылка с голубой наклейкой; в горлышко бутылки была вставлена гибкая трубочка, через которую Срезоцвет посасывал содержимое. Утро, казалось, никогда не кончится.

А вот для Баркентина часы летели как минуты – до начала церемонии надо было поспеть сделать еще массу дел; и его язвительный язык подгонял рабочих, занятых приготовлениями в одном из южных дворов.

И вот наконец, после того как миновала, как показалось Титу, целая вечность и промелькнул лишь краткий миг для Баркентина, пришел полдень. Как и все, что связано со временем, полдень такой же фантом, как и любой другой определяемый человеком час.

Для одного время ползет как улитка, для другого – скачет в безумном танце. А этот полдень созревал как виноградина и вот, переполненный соками, свалился на ожидающую землю.

И прежде чем полдень, едва народившись, успел тут же умереть, колокола и часы разнесли по Замку весть о его приходе. Что в этом мире может прогнать или заковать в цепи призрак времени? Звенели языки колоколов, ухали башенные часы. О, как тяжела поступь времени, оставляющая неизгладимые следы! Древние кулаки колоколов и ржавые крики курантов сообщали, что призрак времени постарел еще на одно мгновение.

Полдень, ударяющий как гром и неслышный как мысль, улетел – и никто не успел его удержать.

Когда стихло последнее эхо, Тит стал различать другой звук, который после ленивого перезвона колоколов и выкриков курантов казался отвратительно быстрым, безжалостным и нетерпеливым. В нем было нечто от навязчивого кошмара, однако была в нем и неустранимая реальность; у него была каменная или даже железная поступь; он был как хищный зверь, плотоядно, неостановимо несущийся за своей добычей, ежесекундно сокращающий разрыв между злом и невинностью.

Тит различал этот звук так ясно, словно его источник был где-то совсем рядом. Однако коридор, по которому шел Тит, был пуст – перестук костыля доносился из параллельно тянувшегося коридора. А Баркентин, хотя и находился всего в нескольких метрах от Тита, был невидим, ибо это были метры каменной стены.

Тит остановился; сердце бешено стучало; глаза сузились, и выражение ненависти исказило его детское лицо – такое выражение обычно считается несовместимым с детским лицом. Для Тита Баркентин был символом тирании, старости, всего того, что не позволяет ему в погожий день отправиться в лес, нырять в ров, плескаться в воде с друзьями, заниматься всем, чем так хочется заняться.

Тит стоял без движения, воспламененный вспышкой страха и отвращения. Он внимательно прислушивался. В каком направлении за этой каменной стеной двигался костыль?

Коридоры, в которых находились Тит и Баркентин, в некоторых местах соединялись переходами. Решив, что Баркентин двигается в том же направлении, что и он сам, мальчик повернулся и пошел назад. Но навстречу ему уже неслась орда Профессоров, полностью заблокировавших проход. Они надвигались на него плотной массой. Развевались черные

мантии, плыл флот квадратных шапочек. Титу пришлось развернуться и броситься бежать в надежде на то, что он достигнет соединительного перехода раньше, чем туда доберется Баркентин.

И Тит побежал со всех ног. Он это делал не потому, что совершил какой-то проступок, или просто потому, что его подгонял страх. Его подгоняло еще и нечто другое – необходимость спрятаться, убежать от всего, что было старым, что обладало властью. Ужас, разрастаясь, все более овладевал Титом, и он бежал.

По правую сторону, вдоль коридора, в нишах, стоял ряд пыльных статуй, которые в приглушенном свете коридора казались пепельными. Большинство из них стояло на невысоких постаментах, но и этого было достаточно, чтобы они возвышались над Титом; простертые вперед руки некоторых из них, казалось, пилят воздух, другие, обломленные по кисть или по локоть, казалось, наносят в воздухе удары. Головы статуй были почти невидимы; они скрывались в полумраке, опутанные толстым слоем паутины.

Титу эти памятники были знакомы всегда. Но он обращал на них не больше внимания, чем ребенок на скучный узор обоев в детской.

Пробежав некоторое расстояние, Тит остановился – он увидел впереди себя крошечную, но столь знакомую фигурку. Баркентин, поспев к соединяющему коридоры проходу раньше Тита, прошел сквозь него и, повернув, уже двигался навстречу мальчику.

Не раздумывая, Тит прыгнул в сторону и быстро, как белка, спрятался в нише за постаментом статуи, напыщенной, с выпуклыми мышцами, но без головы и без рук. Постамент был высотой в рост Тита.

Мальчик, скрючившись в темноте ниши за постаментом, дрожал и прислушивался. С одной стороны он слышал приближение многих ног, а с другой – стук костыля. Ему не хотелось думать о том, что преподаватели, скорее всего, его заметили. Ему хотелось надеяться, что все они во время ходьбы смотрели в пол и не видели, как он бежал впереди них, не видели, как он юркнул в нишу; еще более страстно он надеялся, что Баркентин был слишком далеко впереди, чтобы заметить, куда так мгновенно исчез Тит. Но дрожа, он понимал, что его надежда строилась лишь на страхе и что оставаться в его укрытии было безумием.

Шум обступал Тита со всех сторон – мерные, тяжелые шаги, шуршание, цоканье твердого как железо костыля по плитам.

И вдруг голос Баркентина взвился над этим шумом и остановил его.

– Остановитесь, остановитесь! Клянусь чумой, Роцезвон, похоже, что все ваши недоумки здесь, да пожрет меня Сатана!

– Да, за мной следуют все мои коллеги, – сказал сочным голосом старый Профессор и добавил: – Мои прекрасные, умные коллеги.

Сказал он это так, словно хотел опробовать свою смелость перед лицом этого существа в красных лохмотьях, вперившего в него свой взгляд.

Но Баркентина сейчас занимало нечто совсем другое, и он не намеревался вступать в словесную перепалку с Главой Школы.

– Что это было? – пролаял Хранитель, скакнув еще раз по направлению к Роцезвону. – Что это было, я спрашиваю?

Тот выпрямился и стал в начальственную позу, но при этом его старое сердце болезненно колотилось.

– Я понятия не имею, что вы имеете в виду. Совершенно никакого понятия. – Трудно было бы придать голосу больше достоинства и искренности. Он, наверное, это сам почувствовал, ибо добавил: – Ни малейшего понятия, уверяю вас. Не могу даже представить, что скрывается за вашим вопросом.

– Ни малейшего? Не может даже представить! – передразнил Баркентин. – Да утонут в зловонной жиже все эти ваши заверения!

Сделав еще один скачок и еще раз цокнув костылем, Хранитель приблизился к Роцезвону почти вплотную.

– Чтоб у вас глаза вытекли! Неужели вы не видели? В этом коридоре только что был мальчик! Только что! Вот где-то здесь! Скользящий щенок! Мгновение назад! Что? Вы собираетесь отрицать это?

– Я никакого ребенка здесь не видел, – заявил Профессор. – Скользящего или какого-либо другого.

Он поднял уголки рта, изобразив ухмылку, словно потешался над своей собственной шуткой. Ухмылка застыла.

Баркентин злобно смотрел на Роцезвона, и если бы зрение последнего было бы немного лучше, то злоба, заключенная в этом взгляде, настолько переполошила бы его, что он бы потерял дар речи. Но по слабости зрения не разглядев эту горящую злобу, он, сцепив руки за спиной и имея перед своим мысленным взором восторженного Тита, играющего с ним в шарики на полу каземата, продолжал уверенно лгать – словно был Святой, изрекающий Истину.

Баркентин тогда перевел свой взгляд на преподавателей, сгрудившихся позади своего Директора, как напуганные цыплята за отважной курицей. Взгляд его влажных, беспощадных глаз переползал с лица на лицо.

На какой-то краткий миг он решил, что зрение обмануло его и что он увидел лишь тень, приняв ее за мальчика. Он повернул голову и посмотрел на длинный ряд молчаливых статуй.

Неожиданно его желчь и раздражение вырвались наружу, и он с такой силой ударил костылем по ближайшему от него торсу, что можно было подивиться, как от такого удара костыль не сломался.

– Здесь был мальчишка! – завизжал Баркентин. – Был!.. Но все, достаточно с этим. Время уходит. Все готово? Так? Все в полной готовности? Вы знаете, когда нам нужно прибыть? Вы знаете, что вам приказано делать? Сегодня не должно быть, черт возьми, никаких срывов!

– Да, мы получили исчерпывающие пояснения. – В голосе Роцезвона послышалось такое облегчение, что не было ничего удивительного в том кинжальном, подозрительном взгляде, который бросил на него карлик.

– А какого черта вы так обрадовались? – прошипел Баркентин.

– Моя радость, которую разделяют со мной все мои коллеги, – сказал медленно и еще более напыщенно Глава Школы, – проистекает от предвкушения того, что нам предстоит услышать новую прекрасную поэму. А это у нас, как у людей культуры, не может не вызывать радости.

Из горла Хранителя раздался какой-то неопределенный звук.

– А мальчик, Тит, – резко спросил Баркентин, – он знает, что от него требуется?

– Семьдесят седьмой Герцог сделает все, что велит ему долг, – торжественно заявил Роцезвон.

Этот последний ответ Тит не услышал – его за постаментом в нише уже не было. Когда он, почувствовав внезапно охватившую его усталость, попытался в темноте опереться спиной о стену, оказалось, что стены там вовсе нет. Сдерживая дыхание, он опустился на четвереньки и пролез сквозь узкое отверстие в черную пустоту. Перебравшись через кучу влажных камней, загораживающих часть туннеля, он обнаружил, что дальше туннель резко поворачивает вправо. Далее на его пути встретились невысокие каменные ступени, ведущие вниз. И Титу не довелось узнать, что через пару минут Роцезвон, протолкавшись сквозь толпу преподавателей, вернулся к той нише, где прятался Тит. И после того как все исчезли в конце коридора, стал громко шептать в темноту:

– Выходи, Тит, выходи и предстань перед твоим Роцезвоном! Не получив никакого ответа, Профессор сам протиснулся за постамент. Но, к своему великому удивлению, никого там не обнаружил.

Глава двадцать четвертая

Квадратный двор был выложен бледно-желтым кирпичом. Цвет этот был приятен для глаз – он успокаивал. Кирпичи были уложены не широкой, а узкой частью кверху. Но выделяло этот двор среди остальных не столько это, сколько то, что выложены кирпичи были «в елку».

Хотя за много сотен лет кирпич сильно потерялся, и края каждого кирпичика потеряли четкость линий, веселая желтая поверхность двора сохраняла какую-то особую живость, словно человек, сотни лет назад приказавший выложить двор именно таким образом, напоминал ныне живущим о своем существовании. В кирпичах, казалось, было заключено живое дыхание. Пройтись по двору было все равно, что пройти по идее.

Столбы, поддерживающие арки открытой галереи, были выкрашены в красный цвет. И как только могла кому-то прийти в голову такая отвратительная мысль – выкрасить ужасной красной краской светло-серый камень, из которого были выложены столбы! Этот естественный цвет прекрасно бы гармонировал со светло-желтым кирпичом, устилавшим двор, из которого столбы росли, словно диковинные растения. Но увы – они были выкрашены в угнетающего оттенка красную краску.

Надо правда, признать, что на следующий день после церемонии пришлют мальчиков, которые будут сдирать эту краску со столбов. Но вдвойне возмутительно, что традиция требовала того, чтобы столбы были выкрашены таким образом на один день, именно тогда, когда во дворе проводилась церемония чтения поэзии.

Помост, выстроенный для Поэта, примыкал к столбам. Он то вспыхивал на солнце, то погружался в тень. Дело в том, что за пределами крытой аркады, опоясывающей двор, росли деревья. И время от времени их ветви, колышимые ветром, перекрывали солнце, отчего двор наполнялся пляшущими тенями и скачущими пятнами света.

Собравшиеся на церемонию молча сидели на скамьях, поглядывая на ворота, через которые вот-вот должен был войти Поэт. Целый год никто не видел этого высокого и неуклюжего человека. Год назад церемония проходила под мелким, скучным дождиком.

Графиня сидела на своем троне, поставленном перед первым рядом скамеек. Стул для Фуксии стоял слева от трона Графини. Рядом с Графиней стоял Баркентин с выражением раздраженного беспокойства на лице. Его взгляд (как и взгляды Графини и Фуксии) был прикован не к воротам, а к маленькой двери в южной части двора, через которую должен был выйти Тит. Он опаздывал. Вот уже двадцать минут как он должен был быть на месте.

Позади Графини, на желтых скамьях, как на насесте для черных индюков, сидели Профессоры. В самом центре сидел Рощезвон, облаченный в свою мантию, украшенную знаками зодиака, и тоже смотрел на маленькую дверь. Вынув большой неопрятный платок, он вытер лоб. В этот момент заветная дверь открылась, но из нее выбежал не Тит, а выскочили трое мальчиков и, тяжело дыша, подбежали к Баркентину.

– Ну что? – прошипел старик. – Нашли его?

– Нет, – одновременно пропыхтели, все еще отдуваясь, все трое. – Мы везде искали его, но не нашли!

Баркентин, давая выход своему гневу, ударил концом костыля по желтым кирпичам. Рядом с ним возник Щуквол, словно вырос из-под земли. Он поклонился Графине. Тень, раскачиваясь, набежала на неровный ландшафт голов. Графиня ничем не дала понять, что заметила Щуквола. Тот выпрямился.

– Я обыскал везде, где только можно было. Никаких следов семьдесят седьмого Герцога, ваше превосходительство, – сказал он Баркентину.

– Клянусь черной кровью Сатаны... – выдавил из себя калека сквозь плотно сомкнутые зубы, – Это уже четвертый раз, когда...

– Четвертый раз... когда... что? – Графиня бросала слова, словно они были сделаны из свинца. Они тяжело падали с ее уст и катились по двору.

Хранитель подобрал вокруг себя лохмотья своей красной мантии и повернул голову к Графине. Она смотрела на него ледяным взглядом. Старик поклонился, произведя при этом, не разжимая зубов, какой-то нечленораздельный звук.

– Госпожа Графиня, – начал Баркентин, сохраняя на лице все то же раздраженное выражение, – Вот уже в четвертый раз за полгода семьдесят седьмой Герцог не является на священную...

– Клянусь, даже самый маленький волосок на голове Герцога драгоценнее, чем любой Хранитель Ритуала, – сказала Графиня, прервав Баркентина. Она говорила медленно, громко, властно, тщательно подбирая слова. – Даже если Герцог не явится сто раз в течение часа, я не потерплю, чтобы его проступки громко обсуждались при посторонних. Я не потерплю, чтобы вы прилюдно осуждали его недостатки. Держите свое мнение при себе. Тит не какая-нибудь вещь, которую вы, Баркентин, с вашим бледным помощником могли бы обсуждать. Все, сказано достаточно. Церемония должна начаться как положено. Найдите замену мальчику из рядов учеников. Идите.

В этот момент по двору пронесся ропоток тихих восклицаний – в ворота входил Поэт. Перед ним медленно шествовал человек, облаченный в лошадиную шкуру с хвостом, который волочился по кирпичам. Поэт в мантии, держа в левой руке кубок с водой из рва, а в правой – рукопись, неуклюжими шагами шел за человеком в лошадиной шкуре. Лицо Поэта было треугольным, его маленькие глазки бегали; от волнения и смущения он был бледен.

Щуквол быстро отыскал мальчика возраста и роста Тита и пояснил ему, что от него требуется, ему нужно стоять, когда все сидят, и сидеть, когда все стоят. Вот и все, что требовалось запомнить мальчику, замещающему семьдесят седьмого Герцога на этой церемонии.

Графиня встала со своего места. Поднялись и все остальные. Она положила камешек с берегов реки Горменгаст в кубок с водой из рва и снова села на трон. Все остальные тоже расселись по своим местам. Остались стоять лишь поэт и мальчик, замещающий Тита. Двор погрузился в полную тишину. Поэт поднял голову и, глядя в рукопись, пустым голосом громко сказал:

– Ее милости Гертруде, Графине Стон, и ее детям, его светлости Титу, семьдесят седьмому Герцогу, правителю Горменгаста, и Фуксии, единственной женщине, продолжающей род по женской линии, всем дамам и господам, присутствующим здесь, и всем лицам наследственных постов, всем, исполняющим разные обязанности, чья приверженность Закону оправдывает их присутствие здесь, на этой церемонии, я посвящаю сию поэму, которая в соответствии с Законом будет прочитана всем присутствующим, вне зависимости от занимаемого ими положения, статуса, способности восприятия и понимания, исходя из того, что поэзия есть ритуал сердца, голос веры, самая суть Горменгаста, трубный голос семьи Стонов...

Поэт остановился, чтобы перевести дыхание. Слова, которые он произнес, всегда читались перед началом декламации поэмы. Баркентин передал ему клетку с сорокой, и Поэт в соответствии с Ритуалом выпустил птицу из клетки. Смысл и значение этого обычая были утрачены, и никто не удосужился обратиться к древним книгам за разъяснением.

Сорока, которая, как предполагалось, должна была взлететь в воздух и исчезнуть в предвечернем небе, ничего подобного не сделал. Она выпрыгнула из клетки, доскакала до края помоста, а затем, с шумом хлопая крыльями, полетела к Графине и уселась у нее на плече,

время от времени поворачивая голову и клювом ковыряясь в черных крыльях.

Поэт, подняв рукопись к глазам и сделав глубокий вдох, который сотряс все его тело, открыл рот, чтобы начать чтение. Но почему-то решив, что ему нужно занять несколько иную позицию на помосте, он сделал неосторожный шаг назад и, оступившись на ступенях, полетел вниз. Со скамей учеников донесся взрыв смеха, который один из мальчиков не смог сдержать. Этот смех иголкой пронзил тишину.

Мальчик, который повел себя так непочтительно, был выдворен со двора, снова опустилась сонная тишина, такая густая, что ее, казалось, можно было осязать.

Поднявшись с кирпичей, Поэт снова взобрался на помост. От стыда он стал пунцовым. Поэт вновь поднял рукопись, чтобы наконец начать чтение. Тучка скворцов висела высоко в воздухе над двориком, как мигрень. Младшие ученики, которые передразнивали ужимки Поэта и подталкивали друг друга локтями, успокоились и стали засыпать. Графиня зевала. Чтение продолжалось. День угасал, уступая место вечеру. Щуквол шнырял взглядом по собравшимся. Баркентин раздраженно цыкал зубами.

А усыпляющий голос Поэта продолжал бубнить поэму. В небе появилась первая звездочка, потом вторая... Опустилась ночь. Графиня в очередной раз зевнула и бросила взгляд на дверь, из которой несколько часов назад должен был появиться Тит.

Но где же все-таки он был?

Глава двадцать пятая

Поляна была погружена в тень. Вскоре после восхода солнца его лучи, еще почти горизонтальные, проникли между деревьями, окружающими поляну, и осветили на краткое время дальний ее угол, где располагалось стадо изгибающих спины гигантских папоротников, их ажурные листья ниспадали, как лошадиные гривы. Освещенные первыми лучами солнца папоротники вспыхнули холодным зеленым сердитым сиянием. Но вскоре длинные лучи, словно не найдя того, что искали, ушли в сторону.

По мере того, как солнце взбиралось все выше, поляна, казалось, становилась все темнее, словно отталкивала от себя разливающийся вокруг солнечный свет. Дело в том, что деревья, стоявшие вокруг, так далеко простирали свои ветви, что они, сцепившись между собой и переплетаясь над поляной, образовывали плотный лиственный купол. На протяжении всего дня здесь, под многоярусным покровом листвы, царил полутьма, в которой таяли стволы деревьев. Столь густой была тень, что день казался поздним вечером. Однако в то же время верхние слои листвы и ветвей купались в солнечном свете.

Когда же солнце скатилось к западу, поляна стала светлеть. Горизонтальные лучи заката проникали на поляну, которая словно вздрогнув, раскрыла все свои потаенные места, превратившись на несколько минут в неподвижную картину, которой можно было бы молчаливо наслаждаться.

Из всех деревьев, росших по краям поляны, одно сразу привлекало внимание. Ствол его в обхвате был столь огромен, что соседние деревья самые высокие, с мощными стволами, казались щуплыми саженцами. Это дерево было здесь царем. Но, увы, это был мертвый царь – из всех стоявших вокруг это было единственное умершее дерево.

И все же сама смерть дала возможность иной жизни, жизни, которая не пробуждалась весной, когда в деревьях начинают оживать соки. Башнеподобный ствол, весь день скрывавшийся в густой тени, теперь, высветленный лучами заходящего солнца, стал отсвечивать твердой гладкой поверхностью, похожей на мрамор или слоновую кость.

Почва была заболочена. Ее поверхность цвета сепии, на вид обманчиво плотная, там, где падали лучи скатывающегося к горизонту светила, была забрызгана золотыми пятнами солнечного света.

Метрах в двадцати над землей, по которой бежали все удлиняющиеся тени, кора гигантского дерева была испещрена множеством дупел. Они казались входами в ствол и напоминали иллюминаторы корабля. Их выступающие над поверхностью ствола края были гладкими, как шелк, и твердыми, как кость.

Именно здесь, в этих дуплах, там, где обхват дерева был не меньшим, чем внизу, у болотистой сепии, лизавшей его корни, сосредоточивалась жизнь мертвого гиганта.

В каждом дупле, в каждой пещерке этой высокой, гладкой деревянной скалы кто-то обитал. За исключением пчел, чей иллюминатор источал сладость, и птиц, обитатели этого поселения не могли бы двигаться вверх и вниз по скользкой поверхности ствола. Но для доступа к дуплам имелись еще ветви других деревьев, которые простирались почти вплотную к лесному гиганту. С них в свое дупло могли легко забраться дикая кошка, белка-летяга, опоссум и многие другие обитатели леса, нашедшие себе здесь пристанище.

В одном из дупел спало существо, отличное от всех других. Оно лежало в темноте на подстилке из мха, словно в колыбельке из слоновой кости. Тонкая стенка пропитанной медом древесины отделяла его от приглушенного гула гнезда пчелиной семьи. Вечерний свет стал просачиваться в дупло. Когда по нему чиркнул солнечный луч закатывающегося за горизонт

солнца, необычное существо вздрогнуло во сне. Глаза открылись. Они были чистыми и зелеными, как подводные камни, маленькое личико было цвета яйца малиновки в пятнышках.

Существо скользнуло к устью дупла и замерло на мгновение на краю, а затем прыгнуло в воздух и на большой высоте схватилось за ближайшую ветку, потом переметнулось на следующую. Оно двигалось так легко, словно было совершенно невесомым. Листва вечернего леса скрыла его. Донесся звук далекого колокола, звонящего в Замке Горменгаст.

Глава двадцать шестая

Словно в глубинах дикого вечернего леса, Тит заблудился в заброшенных переходах той части Замка, которая очень давно уже никем не посещалась. Подобно охваченному страхом ребенку, озирающемуся вокруг себя и видящему в собирающемся мраке лишь бескрайний лесной лабиринт, Тит с колотящимся от страха сердцем озирался по сторонам, но видел лишь разбегающиеся каменные коридоры.

Но, в отличие от заблудившегося в притихшем лесу ребенка, Тита окружали не живые деревья, а безжизненный камень. Здесь не было живительного ветерка, здесь все замерло в вечной неподвижности. Здесь не было ощущения того, что где-то лениво циркулируют жизненные соки. Здесь некому было разделить с Титом этот страх, вызревающий в ужас. Неужели в этом каменном мешке ничего не шевельнется? Неужели среди всего этого камня бьется лишь его сердце? Неужели только его дыхание оживляет всю эту каменную безжизненность? Неужели в этих уходящих в никуда каменных туннелях и погруженных во мрак залах ничто живое, кроме него, не борется за жизнь? Тита окружал пустой, погруженный в вечную тишину, мрачный как лунный ландшафт и такой же неизведанный каменный мир Горменгаста. Ни единый звук не нарушал каменного молчания, не вскрикивала ни одна птица, не трещало ни одно насекомое, ни один ручеек не журчал по каменным плитам.

Тит понял, что заблудился окончательно. Он не слышал ни одного из привычных звуков Горменгаста – ни звона колоколов, ни шагов по каменным плитам, ни голосов, ни эха этих шагов. Ничего.

А может быть, этого и следовало ожидать исследователю неизвестного? Может быть, в этом и был смысл настоящего приключения? Может быть, приключение состояло в том, чтобы вдыхать эту спящую тишину? Быть в полном одиночестве, погруженным в нее? Тонуть в ней? Ощущать, как она поднимается с каменных полов, проникает под высокие потолки и купола? Чувствовать, как сухо становится во рту? Как язык превращается в кожаный лоскут? Как дрожат колени, подгибаются от страха? Чувствовать, как сердце готово выпрыгнуть из груди? Как бьется оно о ребра, словно хочет разбить их и вырваться на волю?

Зачем он забрался в эту черную дыру? Зачем он сразу же не вернулся назад? Зачем шел в темноте вперед? Зачем он спустился по ржавым ступеням? Зачем он пошел по пустому коридору, ведущему в черное никуда, заросшее черным мхом? Почему он не вернулся, пока это было еще возможно? Почему не вернулся к тем ржавым ступеням, почему не взобрался по ним? Почему на ощупь не выбрался из черной дыры, почему не спрятался снова за постаментом на котором стоит безрукий и безголовый торс, почему не выждал, пока все звуки не стихли в Галерее Статуй? Даже Рощезвон был на его стороне! Он ради него, Тита, солгал Баркентину! Почему он проявил такую неблагодарность и скрылся? И вот теперь он заблудился, заблудился так, что дороги назад ему уже никогда не найти! Никогда, никогда, никогда!

Сжав руки в кулаки, Тит громко закричал в темную пустоту: «Помогите!» И тут же отозвались десятки голосов со всех сторон «Помогите помогите, помогите!», кричали они, повторяя это слово снова и снова. И все эти кричащие голоса были его собственным голосом. Трепещущее эхо угасало, в испуге разбегалось, превращаясь в далекое бормотание, затрепетало и умерло, и плотная тишина снова обступила его со всех сторон. И Тит растворился в ней.

Куда идти? В любом направлении – и никуда. Его чувство направления, его представление о том, с какой стороны он пришел, были сметены растерянностью и колебаниями, которые, казалось, продолжались уже вечность.

Тишина давила на уши так, что становилось больно. Тит пытался припомнить, что он читал

об исследователях, попадавших в безвыходные ситуации, но ничего подобного тому положению, в котором он оказался, в памяти не всплывало.

В отчаянии он стал покусывать костяшки сжатых до боли кулаков, и на какое-то мгновение боль, казалось, помогла ему. Она дала ему возможность почувствовать реальность своего собственного существования. Как только боль стала спадать, он укусил себя снова. Затем, в тщетной надежде найти выход из этого лабиринта каменных переходов и коридоров – а он стоял в том месте, от которого разбегалось много каменных путей, – он внутренне собрался. Мышцы напряглись, голова вскинулась. Тит всматривался в уходящие вдаль каменные коридоры. Но ничего из увиденного не подсказывало ему, куда идти и что делать, ничто не указывало пути к избавлению. Ничто и ничем не подсказывало, что за пределами обступающих его каменных стен существует живой, не каменный мир. Тит не видел ни одного четко обозначенного луча света. Тот свет, который все-таки проникал в коридоры и залы, был слабым, ровным, рассеянным; этот сумеречный свет не имел ничего общего со светом дневным. Он казался порождением этих же коридоров и залов, чем-то таким, что просачивалось сквозь каменные стены, потолки и полы.

Тит провел языком по сухим губам и сел на каменные плиты пола, но чувство, которое можно было бы назвать только ужасом, заставляло его тут же вскочить на ноги. Ему показалось, что его начинает засасывать в камень. Нет, он не должен сидеть, он все время должен стоять на ногах. Он должен двигаться. Он на цыпочках подошел к стене, словно приближался к краю пристани. Но стены своей незыблемостью, казалось, на краткий миг немного утешили Тита. Он прислонился к стене, сложенной из блоков камня без известкового раствора.

– Я должен спокойно все обдумать... спокойно... все... обдумать, – сказал Тит вслух, с трудом ворочая сухим языком. – Я заблудился. Я не знаю, как отсюда выбраться. Я не знаю пути... Пути?.. А что это значит?

Тит перешел на шепот – Замок его не должен слышать, Тит должен слышать лишь сам себя, – и шепот был таким тихим, что никакого эха не раздавалось.

– Это значит, что я просто не знаю, куда мне идти. А что знаю? Я знаю, что есть север, юг, запад, восток. Но я не знаю теперь, в какой стороне север, а в какой юг... Я не знаю, как определить направление на запад или на восток... И вдруг его сердце встрепенулось.

– Да! – безумно и протяжно завопил Тит. Эхо сотнями голосов, швырнуло это «да» назад в Тита. Эти скачущие звуки перепугали его – он замер без движения; двигались лишь его глаза, прыгая из стороны в сторону. Такой вопль должен был вызвать зловещих призраков Замка, прячущихся в своих каменных укрытиях. Сердце Тита колотилось так сильно, что грудь у него болела.

Но никто не появился, и снова все густо залила тишина. Но биение эха, прежде чем оно стихло, подсказало Титу что-то. И что же это было? Направление, в котором можно двигаться? Да, но направление это не было ни севером, ни югом, ни западом, ни востоком. Направление куда? Вверх, к небу, точнее, к крышам. Да, направление, которое вело к воздушным просторам над крышами.

О, эта надежда выбраться, двигаясь не в стороны, не вниз, а вверх, была крошечной искоркой, засветившейся во мраке отчаяния. И он снова сказал вслух:

– Должны же быть здесь какие-нибудь лестницы, ведущие вверх, на верхние этажи? И если подниматься с этажа на этаж, то ведь, в конце концов, я когда-нибудь доберусь наверх, под самые крыши, а оттуда можно выбраться и на крышу, и тогда я смогу определить наконец, где же я нахожусь.

Облегчение от того, что ему в голову пришла хоть какая-то мысль, было столь сильным, что из глаз у него полились слезы. Немного успокоившись, Тит, стараясь ступать уверенно,

двинулся вперед по самому широкому из туннелей, открывавшихся перед ним. На довольно продолжительном расстоянии туннель тянулся по прямой, но затем он стал слегка изгибаться то в одну, то в другую сторону. Стены были совершенно лишены каких-либо отличительных деталей, потолок тоже. Тит не видел даже паутины, присутствие которой хоть как-то бы оживляло голые каменные поверхности. Неожиданно, после очередного, но более крутого поворота, туннель разделился на пять узких коридоров – страхи Тита тут же возвратились. Может быть, пока не поздно, ему вернуться к началу туннеля, туда, где царила особенно густая тишина? Но он понял, что не может вернуться. Он ни за что не смог бы заставить себя вернуться.

В отчаянии он прислонился к стене и закрыл глаза. И вот тогда он услышал первый звук, – звук, который производил не он сам. Первый звук, который донесся до него, после того как он проскользнул в черное отверстие позади статуи, казавшейся теперь такой невозможно далекой. Тит не задрожал, услышав его, а замер совершенно неподвижно, и черный ворон, появившийся из одного из коридоров, не заметил мальчика. Ворон со степенным видом, словно погруженный в свои мысли, прошествовал в нескольких шагах от Тита. Неожиданно ворон наклонил голову, и из его клюва выпал серебряный браслет. Почистив клювом перышки у себя на груди, ворон тут же поднял браслет с каменной плиты и двинулся дальше. Сделав несколько своих птичьих шагов, ворон довольно неуклюже запрыгнул на небольшой каменный выступ в стене, а оттуда перепорхнул на более широкий выступ, располагавшийся несколько выше. Тит очень осторожно повернул голову так, чтобы следить за вороном, за этим живым существом,двигающимся среди каменной неподвижности. Но этот поворот головы, как бы осторожен он ни был, привлек внимание птицы, и она с громким, гортанным карканьем и треском черных крыльев взлетела в воздух и мгновение спустя исчезла в темном и узком коридоре, из которого так недавно вышла.

И Тит тут же решил следовать за птицей и вовсе не потому, что ему хотелось еще раз ее увидеть и узнать, что за браслет она несла, а потому, что она была свидетельством того, что где-то есть внешний мир и если идти по этому неуютному коридору, в который улетел ворон, почти наверняка можно прийти куда-то туда, откуда можно будет выбраться к открытому пространству, а потом к лесам, широкому небу над головой.

Чем дальше шел Тит, тем сдавленнее становилась тишина. Пройдя довольно большое расстояние, он решил, что двигается уже не где-то в недрах Замка, а под землей, ибо сквозь потолок коридора и глинистые стены там и сям пробивались корни деревьев, а запах растительного гниения и разложения становился все сильнее.

Если бы страх и ужас, охватившие его там, в каменном молчании, из которого он так недавно выбрался, были не столь сильны, он бы повернулся и отправился назад, в пустоту каменного безмолвия, ибо туннель становился все уже. И казалось – ему не будет конца.

Когда Тит только вступил в этот туннель, он мог идти выпрямившись, не нагибая головы. Но это было так давно, и теперь ему приходилось не только сгибаться, а по временам и ползти. Тяжелый дух прелой земли забивал ему ноздри. Но потом вдруг туннель расширился, и потолок его поднимался, так что он мог выпрямиться почти полностью. Однако через несколько шагов туннель снова начинал суживаться, и мальчика переполнял страх того, что он может задохнуться.

И здесь не было уже не малейшего проблеска света. Тит потерял последнюю надежду, что ему когда-нибудь удастся выбраться из этого ужасного подземелья живым. Продолжать двигаться вперед было менее пугающим, чем оставаться, скорчившись, в абсолютной темноте на одном месте без движения. И если бы не это, то Тит давно бы уже предпочел прекратить продвижение вперед. Его одолевала усталость, все тело ныло, после многих часов блуждания в темноте у него оставалось очень мало физических и душевных сил.

Но вот тогда, когда он уже не был в состоянии ощущать какую-либо радость от вновь вспыхнувшей надежды на избавление, настолько он был устал и перепуган, – Тит увидел далеко впереди слабый свет. В темноте вырисовывалось отверстие с неправильными краями, густо поросшими травой. И Тит понял – хотя и смутно и безрадостно, – что он не умрет в этом темном туннеле, что пустые, затерянные залы, в которых он заблудился, были кошмаром, уже отошедшим в прошлое, что теперь ему остается бояться лишь наказания, грозящего ему по возвращении в Замок.

Когда он выбрался из туннеля через заросшее растениями отверстие, а потом взобрался по склону, на котором находился выход из туннеля, он увидел далекую громаду Горменгаста, взбиравшегося к небу неисчислимыми башнями и террасами.

Глава двадцать седьмая

Если успех хозяйки дома, принимающей гостей, в той или иной степени зависит от щедрости и обильности приготовлений, от того, насколько продумана каждая мелочь, от того, насколько тщательно все взвешено и обдумано заранее, то в таком случае Ирма Хламслив – по крайней мере теоретически – могла надеяться на успех, соответствующий мечтаниям, которым она предавалась, лежа в постели, засыпая и просыпаясь. В этих грезах она видела себя окруженной бурной ватагой мужчин, сражающихся за ее руку, которой она, облаченная в шелка и в центре всеобщего внимания, кокетливо размахивала.

Если тщательнейшее внимание, которое Ирма уделяла своей особе своей коже, своим волосам, своей одежде и своим драгоценностям, давало основание для надежды, и выявить ту красоту, которая столь долго скрывалась в ней, – разбудить и выявить неожиданным натиском, решительным воздействием на ту глину, из которой было слеплено это высокое угловатое создание, – тогда Ирме не нужно было беспокоиться по поводу своей привлекательности. Она просто должна была быть сногшибательной. О, она установит новый эталон привлекательности! Ведь сколько сил она этому отдала!

Примерив семнадцать ожерелий и решив, что она не будет надевать никакого ожерелья вообще – имея абсолютную свободу движения, не стесненная ничем, ее белая, длинная белая шея в полной мере явит красоту своих лебединых изгибов и поворотов, – Ирма подошла к двери своей гардеробной и, услышав чьи-то шаги этажом ниже, быстро распахнула дверь и выкрикнула.

– Альфред, Альфред! Осталось всего три дня! Всего три дня! Альфред? Ты меня слышишь?

Но никакого ответа не последовало.

Шаги, услышанные Ирмой, принадлежали не Альфреду, а Щукволу, который, зная, что Хламслив был вызван в Южную Кухню, где один из поваров поскользнулся на кусочке сала и, упав, повредил себе плечо, воспользовался отсутствием Доктора – а Щуквол уже некоторое время ожидал такой возможности, – забрался через небольшое окошко в аптечное помещение – комнату, где Хламслив готовил лекарства, – и, наполнив бутылочку ядом и положив ее в один из своих глубочайших карманов, решил уже выйти через парадную дверь, приготовив несколько объяснений своего присутствия в доме Доктора на тот случай, если его застанут в коридоре. Почему не отвечали на стук, сказал бы он; почему оставили входную дверь открытой? А где Доктор? И так далее.

Но ему никто не встретился, а на вопросы Ирмы, обращенные с верхнего этажа, он не отвечал.

Вернувшись к себе в комнату, Щуквол перелил яд в красивый флакон из резного стекла и поставил его на подоконник. Флакон вспыхнул радугой. Щуквол, склонив голову набок и разглядывая флакон, отступил на шаг от окна, потом снова сделал шаг вперед и передвинул флакон немного влево, чтобы добиться симметрии в игре света. Потом, вернувшись в центр комнаты, Щуквол опять вперил взор в маленький флакон, наполненный смертью. Он поднял брови и облизал сухие губы. Неожиданно он растопырил руки и, расставив пальцы, стал двигать ими, словно пробуждал их к жизни, – жизни, требующей большой точности движения.

А затем, словно это было самым обычным и естественным делом, он присел, упер руки в пол, подогнул голову и одним рывком выбросил вверх свои стройные ноги. Стоя на руках вверх ногами, он занял устойчивое положение и стал выхаживать по комнате; двигался Щуквол несколько ходульно и всем видом своим напоминал раскачивающуюся хищную птицу.

Глава двадцать восьмая

На следующий день пополудни умерла госпожа Шлакк. Вечером ее обнаружили под кроватью, где она лежала как старая, изломанная кукла. Ее черное платье было сильно измято и даже кое-где порвано, сцепленные руки она плотно прижимала к своей высохшей груди. Глядя на нее, трудно было представить, что эта изломанная вещица когда-то было новой и целой, что эти увядшие, восковые щеки были когда-то свежи и розовы, что глаза ее когда-то сверкали и искрились от смеха. А ведь когда-то она действительно была веселой и бойкой, живой маленькой девочкой, подвижной как птичка.

А теперь она лежала под кроватью – как выброшенная, уже никому не нужная кукла.

Фуксия, как только ей доложили о смерти госпожи Шлакк, бросилась в комнату, которая ей была так хорошо знакома. Но то, что теперь лежало на кровати, вовсе не было ее няней. Этот неподвижный ворох вещей не был ее няней Шлакк! Это было нечто совсем другое. Фуксия закрыла глаза, и такой болезненно знакомый образ ее старой няни, которая заменяла Фуксии, лишенной всякой материнской ласки и опеки, мать, ожил перед ее мысленным взором.

Фуксия чувствовала, как нечто говорило в ней: повернись к этой кровати, возьми это, когда-то любимое тобою, теперь безжизненное существо на руки, прижми к себе – но она не могла этого сделать. И слезы тоже не шли. Нечто, несмотря на всю живость воспоминаний, умерло в душе Фуксии. Она снова посмотрела на оболочку того существа, которое когда-то нянчило ее, обожало ее, шлепало ее и так сердило ее.

В ушах Фуксии, казалось, раздавались вздохи Шлакк:

– О мое бедное, больное сердце, как они могли! Как они могли! Как могли меня швырнуть под кровать! Слово я не знаю, где мне положено находиться!

Отведя взгляд от мертвой няни, Фуксия вдруг обнаружила, что в комнате она не одна. Доктор Хламслив стоял у двери. Фуксия невольно повернулась к нему и посмотрела на его странное лицо, на котором тем не менее можно было прочесть сочувствие.

Хламслив шагнул к Фуксии и сказал:

– Фуксия, дорогая моя девочка, пойдем со мной.

– Ой, Доктор, – воскликнула Фуксия, – со мной все в порядке. Я ничего не чувствую. Наверное, это очень дурно? Безнравственно? Я не понимаю, почему я так безразлична.

Дверной проем заполнился массивной фигурой Графини, которая, хотя и смотрела пристально на дочь и на Доктора, казалось, не понимала, кто они. Ибо на ее большом бледном лице не появилось никакого выражения, которое показало бы, что она их узнала. Через руку у нее была перекинута кружевная шаль. Графиня прошла дальше в комнату, тяжело ступая по половицам ничем не застеленного пола. Подойдя к кровати, она, взглянув на жалкие останки, прикрыла их красивой шалью, повернулась и вышла из комнаты.

Хламслив, взяв Фуксию за руку, вывел ее из комнаты и закрыл за собой дверь.

– Фуксия, дорогая, – сказал Доктор, когда они вместе пошли по коридору, – вы ничего нового не слышали о Тите?

Фуксия резко остановилась и выхватила свою руку из руки Хламслива.

– Нет, ничего, и если его не найдут, я этого не переживу – я наложу на себя руки.

– Ну, ну, ну, ну, ну, не надо так, моя маленькая. Не надо грозить такими вещами. Это так банально. А ведь вы – очень оригинальная девушка. И хотя он не игрушечный чертик, чтобы неожиданно выскочить из ящичка, но, клянусь всем тем, что типично, именно так он и поступит.

– Он должен, он должен вернуться живым и невредимым! – воскликнула Фуксия и тут же

разразилась обильными слезами. А Доктор, деликатно прижимая ее к своему боку, вытирал ее покрасневшие щеки своим идеально чистым платком.

Глава двадцать девятая

Похороны няни Шлакк были такими непритязательными, что могли показаться просто неподготовленными. Но эта внешняя простота совершенно не отражала глубинный пафос происходящего. У могилы собралось количество людей, которое значительно превышало число всех тех, кого она могла бы отнести к своим друзьям или знакомым. Госпожа Шлакк, достигнув очень почтенного возраста, стала своего рода легендой, и никто уже не хотел ни видеть ее, ни общаться с нею. В последние годы она оказалась покинутой всеми, но при этом как-то считалось само собой разумеющимся, что она будет жить вечно, что она никогда не исчезнет из жизни Замка, как не исчезнет, скажем, Кремниевая Башня, оставив пустоту, которую уже ничем не заполнить.

И большинство собравшихся на похороны пришли почтить память не госпожи Шлакк, а той легенды, которая сама по себе сложилась вокруг этого миниатюрного создания.

Два человека, которые были назначены нести гроб, не смогли этого сделать. Гробик был так мал! И им пришлось бы стоять настолько близко друг к другу, что они не смогли бы идти – задний все время наступал бы на ноги впереди идущего. В итоге гробик нес один человек – молчаливый здоровяк, – а второй шел рядом и для вида поддерживал его пальцем.

Груз был столь мал, что человек, несущий его, с таким же успехом мог нести птичью клетку. На пути к Кладбищу Слуг гробоносец для удобства переложил гробик под руку и время от времени с удивленным выражением поглядывал на него, словно немым взглядом вопрошал, делает ли он то, что ему предписано. Он не мог избавиться от ощущения, что чего-то явно недостает.

За гробоносцем шли собравшиеся на похороны, во главе которых шествовал Баркентин. Шествие замыкала Графиня, державшаяся ото всех на некотором расстоянии. Она и не пыталась поспевать за процессией, темп движения которой задавал быстрый, подскакивающий при каждом шаге одноногий калека. Графиня двигалась чинно, глядя перед собой в землю. Сразу за Графиней шли Фуксия и Тит.

Тита выпустили из каземата специально для того, чтобы он мог присутствовать на похоронах. Кошмарные воспоминания о его недавнем приключении неотступно преследовали его, и он двигался как в трансе. Время от времени он пробуждался и тут же поражался неисповедимой странности жизни – вот впереди несут маленький ящик с чем-то непонятным внутри, над вершиной Горы Горменгаст игриво сияет солнце, которое кажется невероятно плотным шаром, бросающим вызов всему, что находилось под ним.

Солнце, как корона, царило над теми местами, где он постоянно пребывал в своих мыслях: там жил изгнанник, передвигающийся как насекомое-палочник; там, в диких лесах, среди застывших деревьев, в воздухе парило создание – фантом или реальное? – которое мельком видел Тит. Оно порхало как листик, но было похоже на девочку. На девочку? Ну да! Тит, шедший рядом с Фуксией, сбился с шага.

Ну конечно! Как это он сразу не понял, что это создание ему напоминало! Слова и образы огненной бурей пронесли в голове Тита. То неведомое существо, что промелькнуло в лесу, обрело образ воздушной девочки, получило конкретность, взбудоражило Тита. Выйдя из одного транса, мальчик погрузился в другой. Его заполнила туча символов и образов, для которых у него не было разгадки. Обернувшись, Тит посмотрел вдаль и увидел очень-очень далекую шелестящую крышу леса, под которой пряталась она, эта летающая девочка. И те люди, которые шли процессией впереди – Баркентин, его мать, гробоносец, – казались менее реальными, чем биение образов, заполнивших его.

Процессия остановилась. Остановился и Тит. Фуксия держала его за руку. Вокруг крохотной могилки, вырытой среди множества холмиков, усеивающих дно небольшой долины, толпились люди. Какой-то человек с капюшоном на голове бросал в могилку горсти рыжей пыли. Чей-то голос заунывно и монотонно произносил что-то нараспев. Но Тит ничего вокруг не видел и не понимал слов. Его мысли были очень далеко.

В тот вечер Тит, лежа в темноте с широко открытыми глазами на своей кровати в общей спальне, смотрел невидящим взглядом на огромные тени, которые отбрасывали два дерущихся мальчика. Они беззвучно сражались на стене. А в то время, пока Тит отрешенно созерцал чудовищные тени, его сестра Фуксия шла по направлению к дому Доктора.

– Можно поговорить с вами? – спросила она, когда Хламслив открыл дверь в ответ на стук. – Я знаю, что совсем недавно пришлось вытерпеть мои...

Хламслив, приложив палец к губам, прервал ее и, взяв за руку, тихо завел в темную прихожую – он услышал, как Ирма открывает дверь гостиной.

– Альфред, – раздался ее голос, – Альфред, что там такое? Что там такое, я спрашиваю?

– Ничего, ну просто абсолютно ничего, моя нежнейшая, – залился трелью Хламслив – Завтра утром мне придется вырвать тот плющ, что растет здесь, с корнем! Прямо с корнем!

– Какой еще плющ? Я говорю: какой еще плющ? Альфред! Ты создан для того, чтобы раздражать людей! – отозвалась Ирма, – Мне иногда очень хочется, чтоб ты называл вещи своими именами! Очень хочется!

– Дорогуша, а у нас имеется эта штука?

– Какая еще штука?

– Лопата! Лопата, чтобы выкопать этот чертов плющ! Стоит подуть ветерку, и один из его побегов постоянно стучит в нашу дверь. Клянусь всем, что символично, если его не вырвать отсюда, так и будет продолжаться!

– А, так это плющ стучал в дверь? – Голос Ирмы стал менее напряженным. – Но я не помню, чтоб у нас возле двери рос плющ! Но отчего ты там прячешься в углу? На тебя, Альфред, это не похоже! Чтоб вот так взять и зажаться в угол! Знаешь, если бы я не была уверена, что это ты, я бы... я бы...

– Но ты же уверена, что это я, разве не так? Конечно, уверена, мое дражайшее нервное окончание! И поэтому спокойно возвращайся к себе. Клянусь всем, что быстро движется по кругу, за последние несколько дней моя сестра превратилась в постоянное землетрясение!

– О, Альфред, но все волнения окупятся, правда? Нужно столько сделать, нужно все тщательнейшим образом обдумать! Я так взволнована, я так беспокоюсь. Теперь уже совсем недолго осталось! О, какой мы устроим прием! О, как мы будем принимать гостей!

– И вот поэтому тебе нужно отправляться в постельку и поспать, полностью отдаться во власть сна. Вот что нужно моей сестре в данный момент! Ты согласна? Конечно, согласна! Сон! Как сладостно он овладеет тобой! Беги, спеши, дорогуша. Спеши! Спеши! С... П... Е. Ш... И! – Хламслив помахал Ирме рукой, словно шелковым платочком.

– Доброй ночи, Альфред.

– Доброй ночи, о кровь, бурлящая в жилах!

И Ирма исчезла в темноте верхнего этажа.

– А теперь, – сказал Доктор, взмахнув своими великолепными руками и приподнимаясь на цыпочки – Фуксии показалось, что он сейчас обязательно взлетит, – а теперь, моя дорогая Фуксия, хватит нам стоять здесь в прихожей! Как вы считаете? Пойдемте ко мне в кабинет.

И Хламслив с задумчивой улыбкой повел Фуксию в кабинет.

– А теперь, если вы задвинете занавеси, а я подтяну сюда это зеленое креслице, нам будет

очень удобно, комфортно, уютно и невероятно спокойно, как птичкам в гнездышке. Вот так, – приговаривал Хламслив. – Клянусь всем, на что нет ответа, все будет именно так!

Фуксия, дернув за неподдающуюся занавесь, услышала треск рвущейся материи, и в ее руках оказался кусок бархатной ткани.

– О, Доктор Хламслив... извините... извините... я... мне... так неприятно... – стала бормотать Фуксия, готовая расплакаться.

– Извините! Неприятно! – воскликнул Доктор. – Как смее вы жалеть меня! Как смее вы унижать меня! Вы же прекрасно знаете, что такие вещи – порвать, сломать – у меня получаются значительно лучше, чем у вас! Я уже не молод, да, я признаю это. Почти пятьдесят лет уже просочилось сквозь мои косточки. Но во мне еще осталось достаточно жизненных соков! Но вы мне не верите, вы так не считаете. Клянусь всем, что жестоко, что вы иного мнения. Но я вам покажу, на что я еще способен! Попробуйте мне помешать!

И Доктор, как цапля, подошел к другому окну и одним движением сорвал занавесь, достающую до полу, и, плотно завернувшись в нее, предстал перед Фуксией как длинная зеленая личинка; поверх занавеси торчала его голова, словно обретшая самостоятельное, отдельное от тела существование. Его умное бледное лицо с острыми чертами улыбалось, но выражение у него при этом было выжидающим и несколько напряженным.

– Вот видите! – воскликнул Хламслив.

Случись это несколько недель назад, Фуксия смеялась бы до слез. Даже теперь на какой-то миг ей стало смешно, но она не могла смеяться. Она знала, что Хламслив любит подобные выходки, она знала, что ему нравится успокаивать ее, заставлять ее смеяться. И она действительно успокоилась, она уже не чувствовала себя смущенной. Но она также знала, что ей уже нужно смеяться, а ей не смеялось. Она знала, что смешно, но не чувством, а умом. За последнее время она сильно изменилась, но развитие это шло не ровно, а каким-то зигзагом. Чувства и обрывки знаний, которые доходили до нее, сталкивались, вступали между собой в борьбу, перечили друг другу. Так что часто то, что было естественным, казалось ей неестественным; Фуксия жила от минуты к минуте, каждый раз решая, что же ей делать дальше, – подобно заблудившемуся путешественнику, который во сне оказывается то во льдах, то на бурной речке у порогов, то у экватора, то среди дюн пустыни.

– О, Доктор Хламслив, – сказала она, – спасибо вам! Это... так любезно с вашей стороны... и так смешно...

Фуксия отвернулась, а когда она снова взглянула на Хламслива, то увидела, что он уже снял с себя занавесь и подталкивает к ней кресло.

– Что же все-таки гнетет вас, Фуксия? – спросил Хламслив, когда они рассаживались. Сквозь лишенные занавесей окна в комнату заглядывала темная ночь.

Фуксия подалась вперед и в этот момент стала совершенно неожиданно выглядеть старше, так, словно она, мгновенно повзрослев, полностью ощутила, что ей уже девятнадцать лет.

– Меня беспокоит несколько вещей, Доктор Хламслив, – сказала Фуксия спокойным уверенным голосом, – И я хочу спросить вас кое о чем... если позволите.

Хламслив пристально взглянул на девушку. Перед ним сидела какая-то новая Фуксия, совершенно взрослая, говорившая с ним спокойно, уверенно, ровно.

– Конечно, конечно, Фуксия. Так о чем идет речь?

– Первое, о чем я хочу спросить – что случилось с моим отцом?

Хламслив откинулся на спинку кресла. Фуксия, не отрывая глаз, смотрела на него. Хламслив положил руку себе на лоб.

– Фуксия, я попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Я не буду уклоняться от прямых ответов. И вы должны верить мне... Так вот: я не знаю, что случилось с вашим отцом. Я знаю

лишь, что он был очень... эээ... болен – впрочем, вы наверняка помните это и без меня. Помните вы, конечно, о том, что он просто взял и исчез. Может быть, кто-нибудь из ныне живущих знает, что произошло с ним, но я не знаю, кто этот человек... Таким человеком мог бы быть Флэй или Потпуз, однако и они исчезли в то же время.

– Господин Флэй жив, Доктор Хламслив.

– Нет, нет! – воскликнул Доктор – С чего вы это взяли?

– Тит видел его. И не просто видел, но и говорил с ним.

– Тит видит его?

– Да, в лесу. Но это секрет! Вы не...

– А он здоров? Я имею в виду Флэя? Он в здравом уме? Что Тит рассказывал о нем?

– Флэй живет в пещере, охотится и ловит рыбу, чтобы добыть себе пропитание. Флэй интересовался тем, как я поживаю... Он по-прежнему очень предан...

– Бедняга Флэй! Бедный, старый, верный Флэй! Но ты не должна с ним общаться, Фуксия. Из этого ничего, кроме вреда, не получится... Ты... Вы, Фуксия, должны... я не позволю, чтобы с вами произошло что-нибудь... неприятное.

– Ну все-таки, что же произошло с моим отцом? – воскликнула девушка – Вы же только что сказали, что Флэй, может быть, знает, что с ним произошло? Может быть, он жив! Он наверняка жив!

– Нет, нет, нет, – быстро проговорил Хламслив – Я почти уверен, что его уже нет в живых... Фуксия, я уверен в этом.

– Но... но... Доктор! Я просто должна повидаться с Флэем! Он так ко мне хорошо относился! Я хочу отнести ему что-нибудь...

– Пожалуйста, не надо, Фуксия. Вы не должны этого делать. Может быть, когда-нибудь вы с ним встретитесь, но сейчас вы не должны расстраиваться... вы и так расстроены и озабочены. Вам не нужно выходить за пределы стен Замка. И Титу тоже. Так нельзя поступать! Он еще недостаточно взрослый, чтобы, одному, тайно, отправляться в дикий лес! Ради Бога, Фуксия, скажите, что еще рассказывал Тит?

– Но он все это поведал мне по большому секрету. И вы тоже не должны никому...

– Ну, конечно, конечно! Я никому ничего не скажу!

– Тит видел в лесу нечто...

– Какое нечто?

– Нечто летающее. Парящее в воздухе существо.

Хламслив застыл, словно превратился в глыбу льда.

– Летающее существо... Я не совсем понимаю, что он имеет в виду. – Фуксия, наклонившись вперед, ждала перед собой руки. – Незадолго до смерти няня Шлакк... – Фуксия перешла на шепот, – говорила со мной... ну, всего за несколько дней до того, как она умерла... и она была вовсе не такая взвинченная, как всегда. Она говорила со мной спокойно – как в те времена, когда была еще не такая нервная. Она мне рассказала о временах, когда родился Тит, как Кедда приходила кормить Тита грудью – это я сама помню, – и о том, как Кедда вернулась во Внешнее Поселение и один из Резчиков сошелся с ней, и у нее родился ребенок, и девочка эта была не совсем такой, как остальные дети. Ну, не только потому, что Кедда была не замужем, а вообще какая-то отличная от всех других детей, и разное говорили про этого ребенка. Няня Шлакк сказала, что Живущие Вне Замка не хотели принимать девочку, потому что она была незаконнорожденной, а после того как Кедда покончила с собой, девочку воспитывали иначе, чем остальных детей. Но разве она виновата, что так все получилось? Когда она немного подросла, она стала вести себя очень странно, и все относились к ней очень плохо. Она никогда не водилась с другими детьми, только пугала их; бегала по крышам, лазала по дымоходам, а

потом вообще стала почти все время жить в лесу. Няня Шлакк рассказала, что Живущие в Глинобитных Хижинах ненавидели эту девочку и боялись ее, потому что она была такая шустрая, появлялась и исчезала и скалила зубы. А потом, как рассказала няня Шлакк, эта девочка вообще ушла от людей, и никто не знал, где она, только иногда ночью был слышен ее смех, и ее прозвали «Оно». Вот что мне рассказала няня Шлакк. И добавила, что эта девочка жива, и что она молочная сестра Тита. И когда Тит рассказал, что видел в лесу какое-то летающее существо, я подумала, а вдруг это...

Фуксия подняла голову и увидела, что Хламслив уже не сидит в кресле рядом с ней, а стоит у окна и смотрит в темноту, туда, где на небосклоне вспыхивали падающие звезды.

– Если Тит узнает, что я вам все это рассказала, – громко произнесла Фуксия, тоже поднимаясь на ноги, – он никогда не простит мне этого. Но я боюсь за него. Я не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось... Он так изменился, все время смотрит в никуда и не слышит и половины того, что я ему говорю. А я его так люблю... Вот что я хотела рассказать вам, Доктор Хламслив.

– Фуксия, – откликнулся Доктор, – уже очень поздно. Я подумаю над всем тем, что вы мне сказали. Пока не надо ничего мне больше говорить. Если вы мне все выложите сразу, я полностью растеряюсь и ничего толково не смогу обдумать. Пускай будет каждый раз понемножку, сначала об этом, а потом о чем-то другом, а потом еще о другом... Я знаю, есть еще многое, что вы хотите мне сказать, но вы должны подождать пару дней – и я попытаюсь помочь вам. Не бойтесь. Я сделаю все, что смогу. После всего, что я услышал про Флэя и Тита и про «Оно», мне нужно немного поразмышлять. Так что сейчас отправляйтесь спать, а через денек приходите ко мне снова. Клянусь всем, что спит, вам уже давно пора быть в постели! Идите, идите!

– Спокойной ночи, Доктор.

– Спокойной ночи, дитя мое.

Глава тридцатая

Через несколько дней вечером, когда Щуквол, следивший за Фуксией, увидел, как она выходит из одной двери западного крыла Замка, он вышел из-под арки, под которой прятался уже час. Фуксия шла через огромный запущенный травяной газон, а Щуквол обходным путем, низко пригибаясь к земле, побежал туда, куда направлялась девушка.

На плече у Щуквола висел венок из роз, которые он срезал в розарии Пентекоста. Добравшись незамеченным до Кладбища за пару минут до того, как туда должна была прийти Фуксия, он стал на одно колено перед маленьким могильным холмиком, уже начавшим зарастать травой, и, напустив на себя выражение глубокой печали, положил на могилку венок из роз – но руки не отнял.

Именно в этой позе и застала его Фуксия.

– Что вы здесь делаете? – прошептала Фуксия так тихо, что ее голос был едва слышен. – Вы-то никогда ее не любили!

Фуксия посмотрела на большой венок красных и желтых роз, а потом перевела взгляд на букетик диких цветов, который держала в руке.

Молодой человек поднялся на ноги и поклонился. В вечернем свете зелень травы и кустов казалась особенно глубокого оттенка.

– Я не знал ее так хорошо и близко, как вы, госпожа Фуксия, но мне показалось неподобающим, что такой почтенный человек похоронен в такой простой могиле. А когда мне удалось раздобыть эти розы, я решил... – Щуквол безукоризненно изобразил смущение. – Но ваши дикие цветы, – продолжал он после краткого молчания, – они будут приятнее ее духу, где бы он ни пребывал, больше чем тысячи роз!

И Щуквол снял свой венок с холмика и положил розы у его основания.

– Не знаю, я в этих делах не разбираюсь! – Фуксия отвернулась от Щуквола и отбросила свои цветы далеко в сторону. – Все равно – это все глупости. – И девушка снова повернулась к Щукволу, – Но вы... я не предполагала, что вы так сентиментальны.

Щуквол не ожидал такой реакции от Фуксии. Он думал, что Фуксия, увидев его, Щуквола, с цветами у могилы Шлакк, решит, что в лице Щуквола она нашла себе союзника. И тут же ему в голову пришла новая мысль. А что, если он нашел себе союзника в ней? Насколько фраза «это все глупости» раскрывала ее суть?

– Бывает, что и меня одолевают разные настроения.

Произнеся это, Щуквол наклонился, подхватил венок роз и отшвырнул его далеко в сторону. На какой-то момент розы вспыхнули среди зелени вечера своими богатыми оттенками красного и желтого и, описав дугу, исчезли среди могильных холмиков.

Несколько мгновений Фуксия стояла совершенно неподвижно; кровь отхлынула от лица. Затем неожиданно она прыгнула на Щуквола и всадила ногти в его щеки.

Щуквол даже не шелохнулся. Фуксия тяжело опустила руки и стала отходить от него, медленно, устало, словно каждый шаг давался ей с невероятным усилием. Щуквол продолжал стоять неподвижно: его лицо было совершенно белым, и на этом белом фоне на щеках кровь выступала так ярко, что казалась неестественной клоунской раскраской.

Сердце Фуксии бешено стучало. Зеленый, пористый вечер обступал со всех сторон худое тело Щуквола. В сумраке ярким пятном светилось белое лицо, и неровные раны на лице казались черными отверстиями.

И Фуксия забыла свою так неожиданно вспыхнувшую и так же быстро ушедшую ненависть к Щукволу и к тому, что он сделал, забыла про его острые плечи и про его сутулость, забыла про

свое положение дочери Герцога и брата Герцога – забыла все. И видела перед собой лишь человека, которому она причинила боль, и ее охватило раскаяние. И в полной растерянности, ничего не видя перед собой, она, спотыкаясь и расставив в стороны руки, бросилась к Щукволу. И в следующее мгновение быстрым змеиным движением он оказался в ее объятиях, а еще через мгновение, не устояв на ногах на неровной, усеянной кочками земле, они упали – упали, не разжимая объятий. Щуквол чувствовал, как молотом стучит ее сердце, ее щека была прижата к его губам, но он не шевельнул ими. Щуквол уже обдумывал, что он может извлечь из этой ситуации в будущем. Несколько мгновений они лежали без движения, лишь крепко сжимая друг друга в объятиях. Щуквол выжидал, не ослабнет ли напряжение ее тела, но она вся была как натянутая тетива. И так они лежали – он не шевелился, не шевелилась и она. Наконец она, слегка отстранившись, взглянула на его лицо с близкого расстояния, но увидела не кровь на его щеках, а его красные глаза, его поблескивающий, выпуклый лоб. Нет, это сон. Это все происходит во сне. Во всем этом присутствует какая-то ужасная новизна. Приступ нежности прошел, и Фуксия вдруг ощутила себя в объятиях странного, фактически незнакомого ей человека, бледного, сутулого, с выпирающими острыми плечами. Она, еще больше отстранившись, повернула голову и с ужасом обнаружила, что их головы лежали, как на подушке, на могильном холмике ее няни, на котором уже пробивалась трава.

– О, какой ужас! – закричала Фуксия – Какой ужас! Какой ужас!

Резко оттолкнув Щуквола от себя, она вскочила на ноги и как обезумевшая, совершая нелепые прыжки, бросилась в сгущающийся вечерний мрак.

Глава тридцать первая

Сидя у себя в спальне, у окна, Ирма Хламслив ожидала рассвета, словно между нею и первым лучом солнца должна была состояться совершенно секретная встреча. И вот он – рассвет – пришел: над краями крыш, стен и башен ласточкой метнулся первый свет зари. Начинался день, день Приема, который Ирма теперь предпочитала называть «вечеринкой»

Несмотря на совет брата хорошо выспаться, Ирма провела очень беспокойную ночь. Возбуждение, предвкушение, ожидание, волнение долго не давали ей заснуть; а потом, после того как она наконец заснула, все эти чувства пробивались сквозь сон, мешая ей спать. В конце концов она встала, зажгла высокие зеленые свечи на столике, стоявшем рядом с кроватью, и стала – в который раз! – покрывать лаком свои длинные ногти совершенной формы; при этом она всякий раз, переходя от одного ногтя к другому, хмурилась, поджимала губы, вся напрягалась. Завершив эту работу, она накинула халат и, подвинув стул к окну, села и стала ждать восхода солнца.

Под ее окном квадратный каменный дворик, еще не освещенный светом, загорающим на востоке, лежал как бассейн, наполненный черной водой. Все было погружено в тишину, нигде ничто не двигалось. Ирма сидела неподвижно, выпрямив спину, положив руки со сцепленными пальцами на колени, и, не отрывая глаз, смотрела на восток. Пламя на каждой свече, как крошечный желтый листик, стояло, словно балансируя, на черном черенке фитиля. Совершенная форма пламени не нарушалась даже малейшим подрагиванием... И вдруг прокричал петух – варварский, властный, древнейший, ничем не сдерживаемый крик петуха разорвал предрассветную тишину. Ирма, словно повинувшись призыву рожка, вскочила на ноги. Сердце ее бешено колотилось. Она бросилась в ванную комнату, и через несколько минут шипящая, горячая вода наполнила ванну; Ирма, стоя в болезненно-застенчивой позе, бросала кристаллики изумрудного и фиолетового цвета в просторные глубины ванны.

Альфред Хламслив, откинув голову на подушку, наполовину спал, наполовину бодрствовал. Его брови были сведены на переносице, и от этого его лицо приобрело весьма необычное для Доктора выражение. Если бы кто-нибудь из тех, кто хорошо знал его, увидели его в тот момент, они бы задумались, знают ли они хоть в малой степени, что же в действительности он из себя представляет. Неужели это все тот же веселый, шутливый, остроумный, неутомимый врач?

Хламслив провел беспокойную и тяжелую ночь. Странные сны посещали его и заставляли ворочаться с боку на бок; в этих снах возникали живые образы поразительной ясности и достоверности...

... Задыхаясь, теряя последние силы, он плыл на помощь тонущей во рву Фуксии, которая была размером с куклу. Но всякий раз, когда он уже протягивал руку, чтобы схватить ее, она уходила под воду, и на том месте, где она только что была, плавали бутылки, наполненные разноцветными ядами. А потом она снова показывалась на поверхности воды, звала на помощь, такая маленькая, такая напуганная, такая отчаявшаяся; он снова плыл к ней, барахтался в воде, сердце его стучало как молот... И он просыпался...

... Несколько раз он видел во сне Щуквола, который мчался по воздуху, перебирая ногами как при беге; его тело было сильно наклонено вперед, а ноги, хоть и приближались почти к поверхности земли, не касались ее. А прямо под ним с такой же скоростью, словно его тень, бежали крысы, плотной массой, как единое тело, с оскаленными зубами, поворачиваясь, когда он поворачивался, замедляя движение, когда он замедлял движение; страшные твари неутомимо заполняли все пространство, которое видел внутренним взглядом спящий и видящий сны мозг Хламслива...

... Он видел Графиню далеко в море, плывущую на огромном железном подносе. Светила луна, как голубая лампа; Графиня ловила рыбу, используя вытянувшегося и одревеневшего до полной неподвижности Флэя в качестве удочки; в намертво стиснутых зубах Флэй держал длинную прядь рыжих волос Графини, которая в голубом свете вспыхивала как огненная нить. Графиня, обхватив своей большой рукой обе ноги Флэя у щиколоток, держала вытянувшееся в струнку тело безо всяких усилий. Одежда Флэя очень плотно укутывала его тело, которое казалось мумией, тонкой негнущейся полосой, устремившейся в звездное небо. С тошнотворной регулярностью Графиня дергала за свою удочку-Флэя и выуживала из моря очередную мокрую кошку, которую тут же осторожно помещала на плавучем подносе среди других, уже выловленных из воды зверьков. Кошек становилось все больше, они заполняли своей белизной уже все свободное пространство...

... А потом Хламсливу приснился Роцезвон. Глава Школы, опустившись на четвереньки, скакал как конь, а на его спине сидел Тит. Он несся галопом по долинам, погруженным в пугающий мрак, и по склонам гор, заросших соснами; его белая грива развивалась позади головы, а Тит, доставая стрелу за стрелой, запас которых в его колчане не истощался, стрелял из лука во все, что попадалось на их пути; скакун и ездок стали удаляться и наконец исчезли в зловецей мгле...

... Видел Хламслив во сне и умерших. Госпожа Шлакк, хватаясь за сердце, семенила на веревке, натянутой на большой высоте, по ее щекам текли обильные слезы, срывались с подбородка и летели вниз; о землю они ударялись со звуком, оглушительным как выстрел... На мгновение из темноты возник Потпуз; даже во сне Доктор Хламслив почувствовал, что его тошнит от зрелища того, как этот бескостный огромный пузырь миллиметр за миллиметром протискивается в замочную скважину... А Гробstrup и Пылекисл танцевали, взобравшись на кровать, подскакивали вверх, делали сальто в воздухе, успевая схватиться за руки; на голове у них были маски, грубо сделанные из бумаги; маска Гробstrupа изображала подсолнух; маска Пылекисла была очень большая, от плеча до плеча, она изображала морду кошки с высунутым языком; на высохшем старике маска держалась плохо, болталась во все стороны, и, казалось, язык оживал, дразня картонный подсолнух, в центре большого черного круга которого была вырезана дырочка, в ней, как кусочек стекла, поблескивал глаз семьдесят шестого Герцога Горменгаста.

И так всю ночь, видение за видением; и только на рассвете Доктор Хламслив забылся сном без сновидений, но и это был неглубокий сон, ибо он слышал крик петуха и шум воды, наполняющей ванну.

Глава тридцать вторая

Во многих классных комнатах множество учеников весь день задавали себе вопрос: почему учителя обращают на них еще меньше внимания, чем обычно? Хотя они давно привыкли к такому недостатку внимания к себе, в этот раз учителей охватило такое безразличие к происходящему на уроках, что его уже нельзя было не заметить; оно даже вызывало удивление.

На настенные часы посматривали каждую минуту. Но делали это не озадаченные ученики, а их учителя.

Секрет хранили хорошо. Ни один ученик не пронюхал про прием у Ирмы Хламслив. И когда наконец уроки закончились и Профессоры вернулись к себе, у них был самодовольный и вороватый вид.

Особых причин скрывать то, что избранные преподаватели приглашены на прием к Ирме и Альфреду Хламслив, не было. Но между преподавателями возникло некое молчаливое соглашение держать это в секрете, и никто этого соглашения не нарушал. Возможно, в том, что приглашены все старшие преподаватели, чувствовалось – хотя и не выражалось словесно – нечто смехотворное, возникало чувство, что все как-то слишком просто, ощущение, что была проявлена некоторая неразборчивость. Никто из Профессоров не видел в себе самом ничего абсурдного или смешного – да и с чего бы им видеть себя в таком свете? Но некоторые из них, Призмкарп, в частности, не могли без содрогания представить себе, как это они все, толпой, соберутся у двери Хламслива. Во всяком коллективном сборище есть нечто ущемляющее гордость каждого из присутствующих.

Как всегда Профессоры, вернувшись к себе, облокотились о перила балюстрады террасы, опоясывающей учительский двор, и некоторое время стояли так, созерцая дворника, подметающего каменные плиты и поднимающего вокруг себя клубы мельчайшей пыли.

Там собрались все; мягкий вечерний свет освещал их, усыпавших балюстраду. Не было среди них лишь Роцезвона, который сидел в кресле у себя в комнате, расположенной над дальними классными комнатами, и раздумывая над тем, что ему рассказали днем. Это было настолько невероятно, что в это невозможно было поверить! И все же... А рассказали вот что: все, в один голос – и Призмкарп, и Опус Крюк, и Осколок, и Усох, и другие, – утверждали, что до них дошли слухи – подтвержденные самыми разными источниками – о том, что Ирма, которая часто разговаривала сама с собой вслух (от этой привычки, как уверяли Роцезвона, она, как ни старалась, никак не могла избавиться), высказывалась в том смысле, что она просто обуреваема страстью к нему, Роцезвону, почтенному Главе Школы. И хотя это было вовсе не их дело, они пришли к выводу, что он, Роцезвон, совсем не будет оскорблен, если ему сообщат о чувствах Ирмы с тем, чтобы он заранее знал, чего ожидать – ибо разве не ясно каждому, что этот прием был задуман как возможность для Ирмы быть рядом с ним, Роцезвоном? Ведь также совершенно ясно, что она не могла пригласить его одного. Это было бы слишком вульгарно, слишком открыто, слишком неделикатно. И вот поэтому устроили прием для всех...

Такая вот штука... И все, сообщая ему об этом, сочувственно смотрели на Директора.

Но Роцезвон был стреляный воробей – его на мякине не проведешь! Над ним столько раз подшучивали, что если бы он подсчитывал все эти розыгрыши, то давно бы сбился со счета. Несмотря на свои слабыхарактерность, нерешительность и рассеянность, он вовсе не был таким уж простаком в том, что касалось подшучивания во всех его разновидностях. Поэтому он выслушал все, что ему рассказывали, и теперь, сидя в одиночестве, в двадцатый раз обдумывал вероятность того, могло ли быть правдой то, что ему сообщили. И в итоге всех своих размышлений он пришел к таким выводам:

1. Все это – несусветная чепуха.

2. Вся эта чушь выдумана специально для того, чтобы придать приему некоторую пикантность. Этим шутникам, конечно, хотелось понаблюдать за тем, как он будет спасаться от преследующей его Ирмы.

3. Так как он не заявлял, что все это глупости, никто и не догадывался, что он разгадал, что над ним просто хотели подшутить.

4. Пока все очень резонно и правильно.

5. Но как отплатить им той же монетой?

6. И в конце концов, что такое особенно ужасное в Ирме Хламслив?

Прекрасная женщина, так ровно держится... с длинным острым носом. Ну и что, что с длинным носом? Ведь у каждого носа должна быть какая-то своя форма. В ее носе чувствовался характер. В нем была решительность. И в ней самой есть характер и решительность. Правда, у нее совсем нет груди, по крайней мере она совершенно не заметна. Но в любом случае он слишком стар, чтобы думать о женских грудях... Да и сзади нет ничего, что можно было вечером знойного летнего дня помять, как подушку, и ощутить прохладу податливого...

– Боже, – воскликнул вслух Роцезвон, – о чем я думаю!

Он чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Да, он всегда сторонился толпы, но ему совсем не нравилось быть вообще вне всякого контакта с людьми. Ему не нравилось это чувство отъединенности, которое охватывало его каждый раз, когда, проводив преподавателей до турникета, ему приходилось возвращаться одному к себе в комнату. Ему хотелось бы видеть себя непризнанным отшельником – вот он уходит к себе, в уединении находит успокоение; на коленях у него большая умная книга, в его комнате нет ничего лишнего, она полностью аскетична – простой стул, никакого камина... Но все было, увы, не так... О, как он ненавидел все вокруг, эту гадкую мебель, все эти грязные вещи, всю эту засаленную одежду! Разве так должна выглядеть комната Главы Школы! Где мягкие тапочки, подушки и мягкие сиденья? Где теплые носки без дырок на пятках? Где цветы в вазах?

А потом он снова стал думать об Ирме. Прекрасная молодая женщина! Никакого в этом нет сомнения! Хорошо сложена. Да. Живая, подвижная... Довольно глупая, но можно ли в его возрасте надеяться найти женщину, в которой бы сочетались все наилучшие качества?

Роцезвон поднялся с кресла и шаркающей походкой подошел к зеркалу. Рукавом стер с него пыль. И стал себя рассматривать. По его лицу медленно расплылась детская улыбка, словно ему понравилось то, что он увидел. Потом, склонив голову набок, оскалил зубы. Нахмурился – вид их был ужасен. «Хм, придется постараться открывать поменьше рот», – подумал он и попытался говорить не размыкая губ. Но получалось нечто совершенно нечленораздельное и непонятное. Новизна ситуации, ее необычайность полностью захватили его; его старое сердце учащенно забило, когда до него дошел полный смысл возможных для него последствий. Его переполнял восторг не только от того, что для него это будет личным триумфом, не только от того, что это принесет массу практических преимуществ, которые несомненно воспоследуют в результате такого союза, но и от того, что он утрет нос своим коллегам (восторг этот, надо прямо сказать, был несколько преждевременным). Роцезвон уже видел себя, под руку с Ирмой проплывающим мимо несчастных холостяков; вот он, истинный глава клана, патриарх, символ успеха и стабильности, которую ему принесла женитьба, и при этом в нем сохранилась живость, изюминка, нечто еще не раскрытое. О, у него в рукаве еще припрятана козырная карта! Он им еще покажет! Они решили, что его можно так запросто дурачить? Убеждали его, что Ирма влюблена в него до безумия? И Роцезвон рассмеялся болезненным, неестественным смехом, который неожиданно оборвался. Могло ли это быть на самом деле? Нет, они все это придумали... А что, если в самом деле?.. Так сказать, случайно? Нет, нет, нет! Это невозможно!

С чего бы ей?

– Боже, – пробормотал Роцезвон, – наверное, я схожу с ума!

Но так или иначе – налицо приключение. И у него был секретный план, и ему самому решать, приводить его в исполнение или нет. Егохватило ощущение, что он снова молод, и он принялся усердно скакать на одном месте, словно крутил вокруг себя скакалку. Потом он подпрыгнул так, словно хотел запрыгнуть на стол, но, конечно, так высоко ему не удалось взлететь, и он лишь набил синяк на ноге пониже колена.

– Черт меня дернул, – пробормотал Роцезвон и снова тяжело уселся в свое кресло.

Глава тридцать третья

В то время как Профессоры переодевались в свое вечернее платье, тыкали в непослушные волосы поломанными расческами, поносили друг друга, находили в комнатах других свои давно утерянные полотенца, запонки, рубашки и брюки, которые таинственным образом исчезли из их комнат. Бог весь сколько времени назад – в то время как все это происходило под аккомпанемент ругательств и бормотания, – в то время как по террасе летали грубые анекдоты, в то время как Шерсткот, почти больной от возбуждения, сидел на полу своей комнаты, положив голову между поднятыми коленями, а волосатая рука Опуса Крюка протягивалась в полуоткрытую дверь, чтобы стащить полотенце, висевшее на гвоздике – в то время как происходило все это и сотня других вещей в комнатах Профессоров и на их веранде, Ирма Хламслив ходила взад и вперед по длинной белой комнате своего дома, которая была открыта впервые за много лет и приведена в надлежащий порядок.

Это была самая большая комната в их доме, но ни Альфред, ни Ирма почти никогда не заходили сюда – не возникало необходимости в помещении таких размеров. В комнате все было заново выкрашено, вычищено, прибрано и все сияло, и все казалось ужасно неприятно новым. Целая бригада опытных в своем деле мастеров под надлежащим наблюдением Ирмы трудилась здесь в течение многих дней. О, у Ирмы был тонкий вкус! Она не выносила вульгарной окраски и грубой мебели. Но ей не хватало умения создавать гармоничное целое из отдельных частей, которые, будучи по отдельности исключительно хороши, полностью различались меж собой по стилю, времени создания, фактуре, цвету и материалу.

Каждая вещь выступала сама по себе. Ирма потребовала, чтобы стены были выкрашены нежным опенком бледно-кораллового цвета, а ковер для пола был выбран особого опенка зеленого, почти серого, во множестве ваз стояли цветы, никак друг с другом не соотносившиеся, и хотя каждая цветочная композиция сама по себе была хороша, цветы не создавали в комнате единого образа красоты.

Ирма не чувствовала, что такая отдельность и распотрошенность частей и деталей придавали приемному залу некоторую фривольность, очень далекую от той строгости, к которой она стремилась. Но именно это как раз и помогло Профессорам почувствовать себя не столь стесненными, ибо, если бы Ирме удалось достичь того уровня холодного совершенства, к которому она стремилась, они превратились бы в молчаливых, эмоционально замерзших людей, слоняющихся как привидения из угла в угол.

Ирма, проверяя все в сотый раз, ходила по своей длинной гостиной с таким видом, словно всю жизнь только и делала, что пыталась скрыть остроту своего носа и угловатость фигуры с помощью обильных шелков одеяния, драгоценностей, пудры и духов.

На южной стене, поближе к ее дальнему концу, располагались прекрасные двустворчатые стеклянные двери, выходящие в сад, окруженный со всех сторон высокой стеной; в саду имелись декоративные горки, сложенные из грубого камня, дорожки, разбегающиеся по всем направлениям и под невероятными углами, солнечные часы, маленький фонтан (который теперь, после того как Ирме в результате двухдневных битв удалось вынудить садовника прочистить трубы, весело плескался водой), решетки для вьющихся растений, парковая скульптура, беседки, увитые зеленью, и крошечный пруд с золотыми рыбками. Все это производило такое гнетущее впечатление на Доктора Хламслива, обладавшего тонким чувством меры, что, если ему приходилось пересекать этот сад, он всегда делал это с закрытыми глазами. А поскольку ему приходилось ходить здесь достаточно часто, то двигался он уверенно и с большой скоростью. Сад был полностью владениями Ирмы; здесь росли декоративные

папоротники, мхи и маленькие странные цветы, которые распускались в самое непредсказуемое время, обычно ночью; для этих цветочков были выстроены миниатюрные гrotтики, в которых они мерцали своими необычными расцветками.

Только в глубине сада можно было встретить естественные проявления природы, но и там она была представлена лишь десятком прекрасных деревьев, которым было позволено расти так, как им того хотелось. Но трава вокруг них была тщательно подстрижена, а под их сенью стояло несколько плетеных кресел, поставленных весьма неудачно.

В этот вечер в небе стояла полная луна. И ничего удивительного – ведь Ирма позаботилась и об этом.

Она подошла к стеклянной двери, ведущей в сад, и в очередной раз восхитилась увиденным; призрачный сад, залитый серебряным светом, лунные лучи, играющие в струях фонтана; таинственные силуэты решеток, заросшие вьющимися растениями, и сама луна, отражающаяся в пруду. Правда, видела она все это не очень ясно – о чем можно было лишь пожалеть, – но она должна была выбирать: либо надеть свои темные очки и соответственно выглядеть менее привлекательной, либо смириться с тем, что мир вокруг нее будет немного не в фокусе. И она выбрала последнее. В конце концов, совсем не так важно смотреть на залитый лунным светом сад и видеть все детали. А то, что все было несколько не в фокусе, даже прибавляло всему таинственности, погружая Ирму в некоторый душевный туман, из которого старая дева и не стремилась выбраться. Но как она будет различать приглашенных гостей, одного Профессора от другого? Сможет ли она уловить тончайшие проявления чувств, направленные на нее (если таковые, конечно, будут)? Все эти почти незаметные подрагивания губ, эти легкие прищуривания глаз, эти появляющиеся у глаз морщинки, эти легкие взмахи бровей? Неужели она ничего этого не сможет увидеть?

Когда она сообщила брату о своем намерении не надевать очки, он посоветовал ей снять их не менее чем за час до того, как должны были прийти гости. И какой правильный совет он дал! Ирма была уверена, что совет был хорош, ибо через некоторое время после того, как она сняла очки, головная боль, возникшая вследствие этого, прошла, она постепенно привыкла к расфокусированному миру и, несмотря на опутывающие ее шелка, могла позволить себе риск двигаться все быстрее. Но все же отсутствие очков создавало массу неудобств. И хотя расплывшиеся очертания сада, залитого лунным светом, вызывали в ней ускоренное сердцебиение, Ирма сжимала и разжимала кулаки в порыве легкого игривого возмущения от того, что родилась с такими плохими глазами.

Ирма позвонила в колокольчик. В дверях возникла чья-то голова.

– Это ты, Моллуск?

– Да, мадам.

– Ты надел войлочные туфли?

– Да, мадам.

– В таком случае ты можешь войти. И Моллуск вошел.

– Посмотри внимательно вокруг себя, Моллуск! Я говорю, посмотри внимательно вокруг себя! Нет, нет, нет! Возьми щетку для вытирания пыли! Нет, нет, подожди! Я сказала: подожди! (Моллуск стоял не двигаясь.) Я позвоню в колокольчик. – Ирма позвонила; в дверях появилась еще одна голова. – Это ты, Ткан?

– Да, мадам, это я, Ткан.

– Вполне достаточно сказать: да, мадам. Совершенно достаточно. Как тебя точно зовут, совсем не важно. Это не имеет никакого значения, никакого. Отправляйся в кладовую и принеси перьевую щетку для Моллуска. Иди, иди. А где ты, Моллуск?

– Я тут, рядом с вами, мадам.

– А, да, действительно. Ты побрился?

– Да, и весьма тщательно, мадам.

– Прекрасно, Моллуск. Мои глаза меня подводят. Твое лицо кажется таким темным... Ты должен, так сказать, не оставить здесь камня на камне, не пропустить ни единого. Ты меня понимаешь? Пройдись по гостиной, туда-сюда, туда-сюда, много раз, без остановки – ты понимаешь меня, Моллуск? Ткан должен быть все время рядом с тобой. Ты должен искать пылинки, которые, может быть, я сама не заметила. Так ты надел войлочные туфли? Кажется, ты говорил, что надел?

– Да, мадам.

– Хорошо. Прекрасно. Кто это зашел? Ткан? Это Ткан? Хорошо. Прекрасно. Он должен быть все время рядом с тобой. Четыре глаза лучше, чем два. Но перьевой щеткой должен пользоваться только ты, кто бы эту пылинку не увидел. Я не хочу, чтобы что-нибудь здесь нарушили или перевернули, а Ткан такой неуклюжий. Ткан, ведь ты неуклюжий?

Старик Ткан бегал целый день по разным поручениям; он считал, что его, старого и преданного слугу, не ценят должным образом, и он сказал нечто вроде того, что он «не судья в этом вопросе». Это была его единственная линия обороны; он мог лишь повторять эту фразу, но отступить дальше ему было некуда.

– Да, да, ты очень неуклюж, – повторила Ирма, – Очень. Ну, беги, беги. Как ты неповоротлив, Ткан! Очень неповоротлив.

И снова старик сказал, что он не судья в этом вопросе, а затем в порыве тщедушного возмущения резко повернулся. Поворачиваясь, он запутался в собственных ногах и, чтобы не упасть, ухватился за маленький столик, стоявший рядом. Высокая алебастровая ваза грозно качнулась в одну сторону, потом в другую. Моллуск и Ткан, открыв рот, с ужасом смотрели на раскачивающуюся как маятник вазу, но, парализованные страхом, не могли двинуться с места.

А Ирма, ничего не заметив, поплыла по гостиной. Она шла медленно, лениво; ей казалось, что такой способ передвижения должен производить впечатление и обеспечивать ей достаточную безопасность. Она плыла по серо-зеленому ковру, раскачиваясь, время от времени останавливаясь и поднимая безвольно повисавшую руку – очевидно, она практиковалась в том, как подавать руку для поцелуя Профессорам. Во время этой мимолетной близости, навязанной Ритуалом, она будет держать голову вот так, слегка наклоненно, достаивая того, кто прикасается губами к костяшкам ее руки, лишь мимолетным взглядом.

Зная, что Ирма без очков плохо видит, Моллуск и Ткан смотрели вслед удаляющейся хозяйке и, не боясь, что она заметит отсутствие какой бы то ни было деятельности с их стороны, производили лишь некоторый шум, долженствующий быть свидетельством их усердия.

Но долго им этого делать не пришлось – открылась дверь и в комнату вошел Доктор Хламслив. Он был облачен в вечерний костюм и выглядел еще более элегантно, чем обычно. На его груди поблескивало несколько медалей, которыми Горменгаст наградил его, а в узком пространстве между лацканами на белоснежной рубашке покоились алый Орден Победенной Чумы и Тридцать Пятый Орден Плавающего Ребра, подвешенные на широких лентах. В петлице была орхидея.

– Альфред, – воскликнула Ирма, – скажи мне, ну как я выгляжу? Как я выгляжу в твоих глазах?

Хламслив оглянулся по сторонам и молча, одним движением руки отослал слуг из комнаты.

Он не появлялся целый день, проспал после обеда пару часов безо всяких сновидений, и это помогло ему к вечеру оправиться от кошмаров, которые мучили его всю ночь. И теперь он выглядел свежо, как полевой цветок, хотя и не столь же пасторально.

– А, я вот что тебе скажу, Ирма, – воскликнул Хламслив, склонив голову набок и обходя Ирму со всех сторон, – скажу тебе вот что: ты создала из себя нечто такое, что... Если это не произведение искусства, тогда я и не знаю, что это такое... Клянусь всем тем, что сияет, ты сногшибательна! Боже, я тебя с трудом узнаю! Повернись, моя радость, повернись! Ой-ля-ля! Какое достоинство! Подумать только, что в наших жилах течет – хоть и вяло – одна кровь! Просто смущение охватывает.

– Что ты этим хочешь сказать, Альфред? Я думала, ты... восхищаешься мною и хвалишь мои усилия! – Голос Ирмы, когда она произносила это, слегка дрогнул.

– Именно это я и делал, именно это! Но скажи мне, дражайшая моя сестра, что – если не считать твоих светозарных ничем не прикрытых очей и твоего общего игривого настроения, – что так изменило тебя, что, так сказать... ага... ага... Гм... а, я понял, я понял! Клянусь всем тем, что может раздуться, – ну, конечно, как я сразу не догадался, дурачок! – ну, конечно, у тебя появилась грудь, моя восхитительная! Хотя, может быть, я ошибаюсь?

– Альфред, не тебе доискиваться, есть у меня грудь или нет!

– Боже упаси, Боже упаси, конечно нет!

– Но если тебе уж так надо знать...

– Нет, нет, нет, НЕТ! Я полностью оставляю это на твое усмотрение!

– Так не хочешь меня выслушать? – Ирма была готова расплакаться.

– Ну почему же, если ты настаиваешь, я готов слушать. Говори, расскажи мне все.

– Альфред, тебе нравится, как я выгляжу? Ты ведь сказал, что нравится?

– Да, нравится. Очень нравится. Просто... просто я тебя знаю так давно, и...

– Насколько мне известно, – чуть ли не выкрикнула Ирма, перебивая брата, – женский бюст таков, каким...

– Каким его сделаешь? – спросил Хламслив, встав на цыпочки.

– Вот именно! Вот именно! – победоносно вскричала Ирма. – И я сделала себе бюст, Альфред! Я чувствую гордость за него! Он сделан из грелки, весьма, надо сказать, дорогостоящей, особой грелки.

Наступило долгое молчание, в котором, однако, отсутствовало какое бы то ни было направление. Когда наконец Хламсливу удалось собраться и восстановить несколько нарушенное самообладание, он открыл глаза.

– Ну, и к которому часу ты ожидаешь гостей, мой друг?

– Тебе это известно не хуже, чем мне! В девять часов, Альфред. Может быть, нам позвать шеф-повара?

– Зачем?

– Ну, для того чтобы дать ему последние указания.

– Как, опять?

– Но, мой дорогой, в таких делах ничего не бывает окончательно последним.

– Ирма, – торжественно произнес Хламслив, – кажется, ты изрекла правду чистой воды... да, кстати, о воде: фонтан работает?

– Родной мой, – игриво сказала Ирма, трогая пальцем рукав брата, – он работает, он плещется вовсю! – И она ущипнула Хламслива.

Хламслив почувствовал, как по всему телу у него побежали мурашки, словно колонны муравьев, движущихся во всех направлениях, выскакивающих из засады то там, то здесь.

– А теперь, Альфред, так как уже почти девять часов, я преподнесу тебе сюрприз. Ах, ты еще ничего не видел! Это роскошное платье, эти драгоценности, эти серьги, эти сверкающие камни в ожерелье на моей белой шее (Хламслив слегка поморщился), эти удивительные кружева моей сеточки на волосах – все это лишь внешнее оформление, внешняя оправа!

Альфред, ты потерпишь, или все-таки сказать тебе? Или даже лучше – да! Да! Будет еще лучше, если я покажу тебе прямо СЕЙЧАС!

И она устремилась куда-то. Доктор Хламслив и не догадывался, что его сестра может передвигаться столь быстро. Прошуршало ее платье – «синий кошмар», – и она исчезла, оставив после себя слабый запах миндального крема.

«Неужели я так постарел?» – подумал Доктор Хламслив, закрыв глаза и обхватив рукой лоб. Когда он снова открыл глаза, Ирма уже вернулась. Но Боже праведный! Что она с собой сделала!

Перед ним стояло не просто фантазмагорически наряженное существо, к которому он уже давно привык, а нечто совершенно новое, незнакомое; образ его сестры, тщеславной, нервной, вечно всем неудовлетворенной, нелепой, всегда раздраженной, легко возбудимой и колючей старой девы, которую при всех ее ужимках и странностях еще можно было как-то терпеть, исчез, а вместо него перед Доктором предстало нечто совсем иное, некий особый экспонат. Каким-то странным, удивительным образом все, что было на уме у Ирмы, все ее потаенные мысли раскрылись, сделались явными с помощью длинной вуали с изображением цветов по краям, которая теперь скрывала ее лицо. Хорошо были видны лишь глаза, очень близорукие и весьма маленькие; а видны они были потому, что находились над густой вуалью, закрывавшей нижнюю половину лица. Ирма водила глазами в разные стороны, чтобы продемонстрировать брату тот эффект, которого она хотела достичь с помощью вуали; длинный, острый нос Ирмы почти не просматривался, и это само по себе было прекрасно. Но вуаль не только не скрывала прячущихся в голове Ирмы намерений, а, наоборот, ужасно их выпячивала, предельно обнажала.

И вот уже второй раз за этот вечер Хламслив покраснел. Ему не доводилось раньше видеть ничего более хищного, неприкрыто направленного на одну цель. Ирма так или иначе в самое неподходящее время скажет что-нибудь не то, что нужно. Но ради всего, что сокрыто – ей нельзя позволить выставлять свои намерения и желания таким неприкрытым образом!

Но пока Доктор Хламслив ограничился тем, что сказал:

– Ага!.. Гм... Какой у тебя тонкий вкус... Какая у тебя способность найти... эээ... нужное решение! Ну кто бы еще додумался до такого?

– О, Альфред, я знала, что тебе это понравится! – И Ирма снова повела глазами, но ее попытки изобразить кокетство были столь жалки, что от созерцания их разрывалось сердце.

– Ну, и что же мне приходит в голову, когда я вот так стою и смотрю на тебя и восхищаюсь тобой? – трелями залился Хламслив, постукивая при этом пальцами по лбу. – Так, так, так... ну что же там у меня шевелится... нечто, что я прочитал в твоих журналах для женщин... да, кажется, именно там... да, да, вот оно... я почти уловил; ах, опять ускользнуло... как это раздражает... подожди... подожди... вот оно... плывет как рыбка на приманку моей бедной памяти... да, стар я уже стал... вот, ухватил, да, да, конечно... но – но, увы, увы, нет, нет, это не годится, я тебе такого говорить не должен...

– Но о чем ты говоришь, Альфред? Почему ты так хмуришься? Ты знаешь, когда ты вот так смотришь на меня, – это так раздражает! Я говорю тебе – это очень раздражает!

– Но если я тебе скажу, это тебя очень расстроит, дражайшая моя сестрица. Это произведет слишком большое впечатление, потому что это непосредственно касается... тебя...

– Касается меня? Что ты имеешь в виду?

– Ну, мне попались на глаза несколько фраз... А вспомнил я о них потому, что там шла речь о вуалях и о том, какова должна быть современная женщина. А я как мужчина всегда остро реагирую на то, что покрыто некой тайной и вызывает определенные мысли, где бы мне это не встречалось... Ну, а женская вуаль обладает как раз этими качествами, больше чем что бы то ни было другое... И... О Боже, ты знаешь, что там было по этому поводу написано?

– Что?

– Там было написано приблизительно вот что: «Хотя есть еще женщины, которые продолжают носить вуали, как есть и такие люди, которые ползают по диким джунглям на четвереньках, потому что никто никогда не говорил им, что в нынешние времена принято уже ходить выпрямившись, на двух ногах, все же она...» – ну, автор этой заметки полагает, что женщины, которые не снимают вуали и в конце месяца, после двадцать второго числа находятся на очень низком уровне социальной лестницы; в конце концов там было написано – «... есть вещи, которые положено делать, а есть вещи, которые делать просто не положено, и для истинных аристократок вуали уже не существуют, о чем прекрасно известно их портным». Вот приблизительно так... Но все это, конечно, невероятные глупости! – воскликнул Хламслив. – Разве женщины так слабы духом, чтобы рабски следовать советам других женщин?

И Хламслив пронзительно рассмеялся, словно показывая этим смехом, что будучи просто мужчиной, он прекрасно видит, насколько все это глупо.

Наступило напряженное, насыщенное молчание.

– Ты сказал, что там упоминалось двадцать второе число? – наконец с трудом выговорила Ирма.

– Да, насколько мне помнится.

– А сегодня какое число?

– Тридцатое, конечно. Но, Господи, разве это может иметь к тебе какое-то...

– Альфред, – срывающимся голосом сказала Ирма, – помолчи, пожалуйста. Есть вещи, которых ты не понимаешь. Сюда относится и женская душа.

И быстрым и уверенным движением Ирма сняла с себя вуаль, раскрыв лицо, на котором восседал ее нос, острый как всегда.

– Альфред, ты бы не мог сделать мне одолжение?

– Какое, моя дражайшая сестрица?

– Так ты готов сделать мне одно одолжение?

– Да, да! Но какое?

– Ты не мог бы... Нет, нет, мне придется сделать это самой... это тебя может шокировать... но может быть, если ты закроешь глаза, я бы...

– Ирма, объясни, ради всего, что покрыто мраком, чего ты хочешь?

– Я подумала... не мог бы ты отнести мой... бюст в спальню и наполнить его горячей водой?.. Вода в грелке уже совсем остыла, а мне совсем не хочется простудиться... хотя, наверное, ты не захочешь этого для меня сделать... ну, тогда, может быть, ты принесешь из кухни чайник с горячей водой? Ты можешь оставить его в моем маленьком кабинете, и я все сделаю сама... Это ты сможешь для меня сделать? Принести чайник?

– Ирма, сказал Хламслив весьма сурово, – я этого для тебя не сделаю. Я делал – и буду делать – для тебя очень многое, и приятное, и неприятное, но я не буду бегать по дому в поисках того, что нужно налить в бюст моей сестры. И чайник я тебе не принесу. У тебя что, моя дражайшая, совсем уже нет скромности? Я знаю, ты очень взволнована, ты вся в ожидании, ты не совсем отдаешь себе отчет в том, что ты говоришь и делаешь, но я тебе заявляю со всей категоричностью – во всем, что касается твоего бюста, от меня помощи не жди! Если ты простудишься, я тебе дам необходимые лекарства, но, пожалуйста, не поднимай больше вопрос о своем бюсте! И все, давай на этом прекратим! Близится назначенный час! Время чудес начинается! Пойдем, пойдем, моя тигровая лилия!

– Иногда я презираю тебя, Альфред! – заявила Ирма. – Кто бы мог подумать, что ты такой ханжа!

– О, моя дражайшая, ты несправедлива ко мне. Не будь столь строга! Неужели ты думаешь,

что легко выносить твое презрение, когда ты выглядишь столь лучезарно?

– Я действительно так выгляжу, Альфред? Действительно?..

Глава тридцать четвертая

Было договорено, что приглашенные Профессоры соберутся во дворе у дверей дома Хламслива вскоре после девяти и будут ожидать Роцезвона, который в качестве Главы Школы отверг предложение первым прибыть на место и ожидать всех остальных. Тогда Призмкарп заявил, что если целая толпа мужчин будет околачиваться у дверей Доктора, словно они замышляют какое-то черное дело, то это будет значительно более нелепо, чем если один Роцезвон будет ждать всех остальных, этот аргумент никак не подействовал на старого льва.

Он, впавший в особое настроение, был необычно упрям. Он одарил всех пылающим взглядом, словно ему предлагали нечто совершенно возмутительное.

– Никогда, никогда никто в будущем не сможет сказать, что Главе Школы Горменгаста однажды пришлось ожидать своих подчиненных – ночью, у дверей дома одного из Южных Дворов! Никогда никто не сможет сказать, что человек, занимающий такой почетный пост, пал так низко!

И вот в начале десятого в темноте квадратного двора собралось черное пятно, словно в одном месте сконцентрировалась капля темноты. Роцезвон, который прятался за одной из колонн аркады, решил заставить всех подождать не менее пяти минут. Но нетерпение его было слишком сильно – не прошло и трех минут после того, как прибыли все приглашенные Профессоры, как Глава Школы, подстегиваемый этим нетерпением, выскочил из-за колонны. Когда он добрался до половины двора, погруженной в темноту, и уже слышал приглушенные голоса собравшейся профессорской толпы, из-за тучи выскользнула луна, холодный свет которой упал на стоявших у дверей дома Хламслива; мантии Профессоров загорелись темно-красным цветом. Так вспыхивает в бокале густое вино. Мантии всех, но не Роцезвона. Его церемониальная мантия была белой! На спине на тонком шелке была вышита большая буква «Г». О, это было великолепное, просторное одеяние! Но при лунном свете эта развевающаяся мантия производила пугающее впечатление, и несколько Профессоров вздрогнули, увидев нечто похожее на привидение, быстро приближающееся к ним. Все давно уже позабыли, как выглядит церемониальная мантия Главы Школы; Мертвизев никогда не надевал ее. В том, что вечерние мантии Профессоров и мантия Главы Школы различались, было для более ограниченных и недалеких из них нечто раздражающее – это различие давало старому Роцезвону преимущество, выделяя его и поднимая над всеми. Всем Профессорам было втайне приятно получить возможность надеть вечерние мантии не только у себя, но и выйти в них «в общество», пусть это общество состояло всего лишь из Альфреда и Ирмы Хламслив (себя они не считали «обществом»). И вот теперь этот Роцезвон, этот старик, одним махом лишил их возможности произвести громоподобное впечатление – гром его белой мантии заглушил тихий рокот их темно-красных одеяний.

Глава Школы, хотя их неудовольствие было весьма скоротечным, тут же почувствовал его. Но то, что они признали его выделенность и вознесенность над собой, взбудоражило его еще больше. Освещенный лунным сиянием, он тряхнул своей белой гривой и широким жестом подобрал вокруг себя сверкающую девственным снегом мантию. И расположив складки подобающим образом, сказал.

– Господа! Прошу тишины. Спасибо.

Он наклонил голову, чтобы, погрузив лицо в тень, скрыть радостную улыбку, заигравшую у него на губах; ему доставило большое удовольствие то, что ему тут же подчинились. Когда он снова поднял голову к лунному свету, оно было столь же торжественным и благородным, как и раньше:

– Присутствуют ли все собравшиеся?

Из темно-красной толпы тут же донесся грубый голос:

– Ну и выраженьице: «присутствуют ли все собравшиеся»! Раздался смех Срезоцвета, словно посыпалось на камень стекло:

– О-ля-ля-ля! Как наш Роцезвон стал изъясняться! Волна смешков прошла по профессорским рядам. Опус Крюк затрясся в своем беззвучном телесном смехе, а потом, издав звук, какой издает вода, вырывающаяся под напором из крана, сказал своим утробным голосом:

– Бедный старый Роцезвон, бедный старый Роцезвон!

И снова в стане Профессоров запрыгал глупый смех.

Но Глава Школы был совсем не в том настроении, чтобы все это терпеть. Кровь прилила к его лицу, ноги задрожали. Голос Опуса Крюка прозвучал где-то совсем рядом, Роцезвон, отступив на шаг, неожиданно резко развернулся – взметнулась белая мантия – и, взмахнув своей длинной рукой, нанес сокрушительный удар. Его старый шишковатый кулак обрушился на чью-то челюсть. Его охватил дикий восторг, чувство властного превосходства: в течение стольких лет он, оказывается, недооценивал себя и вот только теперь обнаружил в себе «человека действия». Но его восторг и ощущение полной победы оказались недолговечными. Человек, лежавший и стонавший у его ног, был вовсе не Опус Крюк, а тощий и тщедушный Шерсткот, единственный из старших преподавателей, который относился к Главе Школы с некоторым уважением.

Но так или иначе такая бурная реакция возымела мгновенное и отрезвляющее воздействие.

– Шерсткот! – сурово произнес Роцезвон. – Пусть это послужит предупреждением для всех. Вставайте, мой друг, вставайте. Вы вели себя благородно. Да, благородно!

И в этот момент что-то просвистело в воздухе и ударило одного из Профессоров в запястье. Раздался крик боли, и про Шерсткота тут же позабыли. На каменной плите у ног пострадавшего был найден небольшой круглый камень. Все стали озираться по сторонам, всматриваясь в темноту двора, но никто ничего подозрительного не увидел.

А высоко на северной стене, в одном из окон, которые, если глядеть на них с того места, где стояли Профессоры, казались размером с замочную скважину, сидел Щуквол и болтал ногами. Услышав далекий крик боли, донесшийся до него, Щуквол удовлетворенно поднял брови и, благоговейно закрыв глаза, поцеловал свою мощную рогатку.

– Что бы это ни было, и откуда бы оно не прилетело, но это по крайней мере напоминает нам, что мы опаздываем, – сказал Усох.

– Да, да, именно так, – пробормотал Осколок, который почти всегда наступал на хвост любым замечаниям своего друга, – Именно так.

– Роцезвон, – сказал Призмкарп, – пробуждайтесь, наш старый друг, и ведите нас. Я вижу, что все огни зажжены в обители Хламслива... Боже, ну и гнусное зрелище мы собой представляем! – Призмкарп обвел своими поросычьими глазками собравшихся. – Какое отвратительное зрелище! Но с этим уже ничего не поделаешь, ничего.

– Да ты сам, вроде, тоже не ахти какой красавец, – сказал чей-то голос.

– Пошли, пошли! Пошли! – воскликнул Срезоцвет. – Приободрились! Приободрились! Мы все должны быть просто обуяны веселостью!

Призмкарп, приблизившись к Роцезвону, прошептал ему почти на ухо:

– Мой старый друг, вы, надеюсь, не забыли, что я вам говорил насчет Ирмы? Вам, очевидно, предстоит серьезное испытание. Я получил самые свежие сведения: она совершенно без ума от вас, мой старый друг. Совершенно и полностью. Поэтому – осторожность и еще раз осторожность! Следите за каждым ее шагом!

– Я буду следить за каждым своим шагом, – произнес Роцезвон очень медленно, тщательно

разделяя слова; на его лице играла хитрая улыбка, значения которой никто не мог разгадать.

Зернашпиль, Заноз и Врод стояли, взявшись за руки. Хотя после смерти их Учителя прошло уже довольно много времени, они все еще испытывали по этому поводу огромную радость; они подмигивали друг другу, похлопывали друг друга по плечам, тыкали друг другу пальцами в ребра, а потом снова хватали друг друга за руки.

Началось движение Профессоров к воротам в ограде вокруг дома Доктора Хламслива. За воротами входящих встречала не зелень сада, а темно-красный гравий, который садовник разровнял граблями. При лунном свете параллельные следы, оставленные граблями, были хорошо видны. Но садовник напрасно старался, ибо в несколько мгновений вся его работа была затоптана ногами Профессоров. От аккуратно вычерченных зубьями грабель следов под шаркающими и притоптывающими ботинками Профессоров ничего не осталось. Отпечатки ног разбежались во всех направлениях, перекрывали друг друга, и от этого казалось, что у некоторых Профессоров ступни длиной в руку от локтя до кончика пальцев; некоторые следы выглядели так, словно кое-кто из Профессоров перемещался с большим трудом, ступая либо на носках, либо на каблуках.

После того как было преодолено узкое место при проходе через ворота, Роцезвон, плывший как белоснежное знамя впереди всех, приблизился к парадной двери дома. И, вскинув свою львиную голову, он уже поднял руку, чтобы дернуть за шнурок звонка. Но прежде чем позвонить, он собирался напомнить Профессорам, что в качестве гостей Ирмы Хламслив они, как он надеется, будут вести себя самым достойным образом и соблюдать такт, приличия и правила этикета, которыми, как он имел возможность не раз отметить, они до сих пор просто пренебрегали. В этот момент дворецкий, выраженный как рождественская хлопушка, широким жестом неожиданно распахнул дверь; судя по всему, дворецкий много практиковался в таком открывании двери. Дверь открылась с поразительной скоростью, но не менее поразительным было вдруг опустившееся на Профессоров гробовое молчание. Воцарившаяся тишина была столь полной, что Роцезвон, продолжавший держать руку в воздухе в тщетной надежде нашарить уже улетевший в сторону шнурок от звонка, совершенно растерялся – и он не мог сообразить, что же такое случилось с его коллегами. Когда человек собирается произнести речь, пусть и весьма скромную, ему хочется, чтобы внимание тех, к кому он обращается, было направлено на него; ему хочется видеть, что все головы повернуты к нему, видеть на лицах живейший интерес; но на этот раз интерес явно не имел к Роцезвону никакого отношения. А такое странное поведение слушателей может смутить кого угодно. Что с ними со всеми случилось? Куда они смотрят? Явно не на него, Главу Школы, а на высокую зеленую дверь за его спиной. Но что особенно интересного может быть в двери? Не рассматривают же они древесный рисунок, который все равно скрыт под слоем краски? И почему один из них даже встал на цыпочки? Чтобы лучше видеть? Но что?

И Роцезвон уже собирался повернуться и посмотреть, что творится у него за спиной, – но не потому, что он считал, что там действительно можно увидеть нечто интересное, а потому, что его вынуждало повернуться то беспокоящее чувство, которое заставляет людей оборачиваться на пустой дороге: не подкрадывается ли кто-нибудь сзади; и в этот момент он почувствовал, как его довольно сильно, но одновременно почтительно постукивают костяшками пальцев по лопатке. От неожиданности Профессор подскочил и, повернувшись, увидел, что перед ним стоит большая рождественская хлопушка, в которой он все-таки узнал дворецкого.

– Извините меня, сударь, за то, что я позволил себе некоторую вольность, – вежливо сказал разряженный, сверкающий дворецкий. – Премного извиняюсь. Но вас с большим нетерпением ожидают, сударь, с большим, если мне позволено так выразиться, нетерпением.

– Ну, если так, то тогда конечно.

Это замечание Рощезвона не имело ровно никакого смысла – он просто не нашелся, что сказать.

– А сейчас, сударь, – продолжал дворецкий более громким голосом и с совершенно новым выражением на лице, – с вашего милостивого согласия я проведу вас к ее милости.

Дворецкий сделал шаг в сторону и выкрикнул в темноту:

– Милостивые государи! Прошу вас воспоследовать!

Лихо повернувшись на каблуках, дворецкий пересек вестибюль; пройдя по нескольким коротким коридорам, он привел Рощезвона и всех остальных к лестнице, у подножия которой все остановились.

– Сударь, вы, без сомнения, осведомлены о принятой процедуре, – сказал дворецкий, почтительно кланяясь, – и мне не нужно вам ничего разъяснять.

– Ну, конечно, конечно, друг мой, – отвечивал Глава Школы. – Так в чем заключается эта ваша процедура?

– О сударь! – воскликнул дворецкий – Вы такой шутник. И он начал хихикать – слышать этот звук, исходящий из верхней части рождественской хлопушки, было весьма неприятно.

– Ну, друг мой. я хочу сказать, что существует множество всяких, как вы изволили выразиться, «процедур». Какую именно вы имели в виду? – весело спросил Рощезвон.

– Я имею в виду обычай, согласно которому имена прибывающих гостей объявляются в определенном порядке. Все входят в гостиную по одному. Тут все уже давно установлено, и ничего менять нельзя.

– Это все понятно, друг мой, но каков может быть иной порядок объявления имен, кроме как по старшинству?

– Так оно и есть, сударь, однако принято, чтобы Глава Школы, то есть вы, сударь, замыкали шествие.

– Замыкал?

– Именно так, сударь, в качестве, если мне позволено так выразиться, пастыря, следящего за своими агнцами.

Наступило краткое молчание, во время которого Рощезвон успел сообразить, что ему предстояло быть представленным хозяйке дома последним. А это означало, что он сможет первым начать с ней беседу.

– Ну что ж, прекрасно, – сказал Рощезвон. – Традиции, конечно, следует уважать. Как это все ни смехотворно, я, как вы выразились, буду замыкать шествие. Однако уже поздно, и расставлять всех по возрасту и все такое прочее – уже нет времени. К тому же малолетних среди нас нет. Господа, пора идти. Срезозвет, если вы будете так добры и перестанете причесываться до того, как откроют дверь в приемную залу, я как несущий за вас ответственность буду вам благодарен. Спасибо.

В этот момент дверь, выходящая на лестницу, открылась, и длинный прямоугольник золотистого света упал на выстроившихся в боевые порядки Профессоров. Вспыхнули алым мантии, и в красных отсветах лица казались призрачными. Простояв несколько секунд на слепящем свете, они почти все одновременно повернулись и, шаркая ногами, передвинулись из освещенной части в затененную. Из полутьмы, окружающей дверной проем, из которого лился яркий свет, выглядывало лицо человека, всматривающегося в сгрудившихся в одну сторону Профессоров.

– Имя? – прошептал человек сочным голосом. Из темноты, казавшейся за распахнутой дверью особо густой, выдвинулась рука и, схватив ближайшего Профессора за мантию, потянула к свету.

– Имя? – снова прошептал голос; рука по-прежнему сжимала часть скомканной винно-

красной мантии.

– Срезецвет, – прошипел Профессор. – А теперь, чертов болван, убери от меня свою вонючую лапу.

Срезецвет, который очень редко проявлял гнев и раздражение, а если и проявлял, то очень быстро успокаивался, был по-настоящему разгневан тем, что его грубо схватили за мантию, так некрасиво измявшуюся в ухваченном месте, и тем, что его бесцеремонно куда-то тянут.

– Пусти! – сердито прошипел Срезецвет. – Пусти, а не то тебя высекут.

Этот грубый лакей, подтянув Срезецвета еще ближе к себе, но продолжая прятаться за распахнутой дверью, прошептал ему чуть ли не в ухо:

– Заткнись... а не то я... убью... тебя...

Это было сказано так медленно и таким отрешенным голосом, словно сообщаям какую-то официальную информацию, что Срезецвет был и в самом деле напуган. Прежде чем он успел прийти в себя, его втокнули в приемную. В первое мгновение ему показалось, что там кроме него никого нет. Слегка успокоившись, он увидел слуг, стоящих у правой от него стены, а прямо перед собой – хозяйина и хозяйку, стоящих совершенно неподвижно, чопорно выпрямившись. Залу заливал свет великого множества свечей.

Если бы Роцезвон заранее распределял, кому быть представленным первым, очень мало вероятно, что он выбрал бы из всей своей своры Срезецвета, человека, лишенного каких-либо заметных достоинств.

Но волею случая мантия именно Срезецвета оказалась в пределах досягаемости грубой руки. Однако Профессор обладал тем, чем (в такой степени) не обладал ни один из других Профессоров – некоторой теплотой и веселостью нрава. Казалось, Срезецвет был рад тому, что он жив. И каждый момент жизни ему представлялся чем-то ярким и цветным. Находясь рядом со Срезецветом, трудно было представить, что существуют такие страшные монстры, как смерть, рождение, любовь, искусство и боль. Если он и знал об их существовании, то хранил это в секрете.

Срезецвет не прошел и трети расстояния, отделявшего его от хозяйина и хозяйки дома, еще не полностью стихло эхо громоподобного голоса, швырнувшего его имя по зале, а Альфред и Ирма Хламслив почувствовали, как тает подобно льду напряжение первых мгновений приема. Срезецвет шел враскачку, он был элегантен, на его лице была написана готовность радоваться и смеяться; в его самодовольной глупости, в его наглой самоуверенности было нечто обезоруживающее, присутствовал некий шарм. Носки его ботинок сияли как зеркальные. Его ноги отбивали особый ритм по серо-зеленому ковру, словно жили своей собственной, отдельной от него самой жизнью.

Профессоры, вытянув шеи, следили за Срезецветом и, увидев, как уверенно он протанцевал по зале, вздохнули свободнее. Они понимали, что никому из них не удастся пройти длинный путь по ковру с таким же беззаботным видом, как это удалось их коллеге; каждым своим шагом, наклоном головы он напоминал всем, что единственный смысл жизни – это быть счастливым.

О, какой шарм! О, какая естественность! Когда оставалось пройти всего несколько шагов, Срезецвет перешел на пританцовующий полубег и, выставив вперед руки, обхватил ими безвольные белые пальцы, которые протянула ему Ирма.

– О-ля-ля-ля! – воскликнул Срезецвет – да так громко, что его голос оббежал всю залу. – Это, конечно, дорогая госпожа Хламслив, а это, конечно, будет... – Он повернул голову к Доктору – Это ведь так?

И он схватил протянутую ему для пожатия руку, расправив плечи и радостно трясая головой.

– Ну, надеюсь, мой друг, это есть и будет Доктор Хламслив.

– Очень рад вас видеть! И знаете, Срезецвет, вот гляжу на вас – и у меня настроение сразу

поднимается... Клянусь всем тем, что оживляет, вы источаете радость. Спасибо вам. И не исчезайте на целый вечер, будьте поближе к нам, хорошо?

Ирма прислонилась к брату и растянула губы в широкой, мертвой, тщательно рассчитанной улыбке.

Эта улыбка была призвана выразить многое и среди прочего то, что она полностью солидарна с мнением своего брата; этой улыбкой Ирма также пыталась показать, что, несмотря на свои качества «роковой женщины», она была в сердце своем прежде всего девицей, смотрящей на все широко открытыми глазами и к тому же ужасно ранимой. Но прием только начинался, и Ирма знала, что она совершит много ошибок, прежде чем ей удастся добиться именно такой улыбки, какой ей хотелось.

Срезецвет, который несколько мгновений смотрел только на Доктора, к счастью, не обратил внимания на сражение Ирмы со своей улыбкой. Он уже собрался сказать что-то, когда громкий и весьма грубый голос проревел:

– Профессор Пламяммул!

Срезецвет, отвернувшись от хозяев, приставил ко лбу раскрытую ладонь и стал оглядывать залу, как это делают первопроходцы, осматривающие незнакомые дали, прикрывая рукой глаза от палящего солнца. Потом он с радостной улыбкой резво переместился к столам, стоявшим вдоль стены, и стал обозревать выставленные яства и вина. Это зрелище его так захватило, что он, подняв локти высоко в воздух и сцепив пальцы в тугий узел, начал, стоя на цыпочках, раскачиваться взад и вперед.

О, как отличался от него Пламяммул, шагавший широко, неуклюже, раздраженно. И как отличались друг от друга все остальные, следовавшие за ним! Единственное, что у них было общего – это цвет мантий.

Шерсткот, потерянная душа, двигавшийся так, словно ему предстоит пройти целую милю, тяжелый, неопрятный, неряшливый Опус Крюк, выглядевший так, словно вот-вот, несмотря на его мощное телосложение и энергично выставленную вперед челюсть, у него подогнутся колени и он рухнет на ковер и тут же уснет, Призмкарп, ужасно настороженный, с лоснящейся свиной физиономией, бегающими черными глазками, переступающий по ковроу резкими, энергичными шагами.

И так, один за одним, проходили по зале Профессоры, разного роста, разной походкой, и голос, напоминающий ослиный крик, объявлял их имена. Наконец Рощезвон остался один в полутьме рядом с дверью, ведущей в приемную.

Ирма, по мере того как ее гости совершали путешествие по ковроу и подходили к ней, пыталась оценить – и на это у нее было предостаточно времени – то, насколько каждый из них может быть подвержен воздействию ее обаяния, которое она собиралась на них обрушить. Кое-кто из них, конечно, был совершенно недостоин ее внимания. Но даже списывая их со счета, она пыталась оценить их как личности и придумывала им определения «необработанный алмаз», «золотое сердце», «тихий омут».

Вдоль стен гостиной выстраивались те, кого уже представили, они разговаривали все громче и громче, их становилось все больше. Ирма, погруженная в размышления о достоинствах и недостатках представляемых ей гостей, была вырвана голосом брата из особо глубоких размышлений по поводу очередного гостя.

– Ну как, сестрица моя, бьется сердечко? Воркуешь про себя? Чувствуешь присутствие плоти? Как увлечена моя сестра! Какая решимость! Как воинственно она выглядит! Ирма, расслабься, размягчись! Думай о молоке и меде! Думай о медузах!

– Замолчи! – прошипела Ирма уголком рта, который она собирала в новую улыбку, еще более смелую, чем все предыдущие, – к ней приближалось нечто белое. Каждый мускул на ее

лице, помогая создать эту улыбку, поработал на славу, и хотя не все мускулы знали точно, в какую сторону следует тянуть, надо признать, что их совместные усилия были поистине огромны. По сравнению с ними все предыдущие конвульсии лицевых мышц могли показаться всего лишь репетицией.

Нечто белое, направляющееся к Ирме, двигалось медленно, но уверенно и целенаправленно. О, уже много-много лет Роцезвон не двигался подобным образом! Ожидая своей очереди, чтобы замкнуть шествие, он повторял про себя все то, о чем раздумывал в последние дни, его губы двигались медленно, беззвучно, в такт мыслям.

В результате весьма продолжительных размышлений Роцезвон пришел к выводу, что Ирма Хламслив, чьи женские инстинкты не находили до сих пор никакого выхода, могла бы обрести смысл жизни в том, чтобы посвятить себя ему, Роцезвону, заботе о нем, может быть, в этом и заключалось ее жизненное предписание. И возможно, придет время, когда не только он, но и она будет благословлять тот день, когда он, Роцезвон, нашел в себе достаточно силы и мудрости, чтобы вытащить ее из застойного существования, и тем самым привел ее в браке к тому душевному спокойствию, которое известно лишь замужним женщинам. Роцезвон обнаружил не менее сотни причин, по которым она должна, несмотря на его почтенный возраст, ухватиться руками и ногами за предоставляющуюся ей возможность выйти за него, Роцезвона, замуж. Но разве могут иметь значение все эти аргументы и причины для этой прекрасной и высокомерной благородной женщины, породистой как лошадь, облаченной как королева, глубоко все чувствующей, если в ней не было любви к нему? Роцезвон еще по пути к дому Хламслива размышлял обо всем этом, и неуверенность в том, сможет ли он пробудить нежные чувства Ирмы, беспокоила его. Но теперь его старые колени дрожали не от тревожных мыслей, а от того что он, хотя пока и издали, увидел ее! Разумные и практичные доводы отступили в сторону. Вступило в действие нечто иное неосязаемое, эфемерное. Теперь его ждала не просто сестра Доктора Хламслива, а дочь Евы, живое средоточие женственности, целый непознанный космос женской души, пульсирующее живое сердце. Женщина во плоти. Ее зовут Ирма? Да, ее зовут Ирма. Но что такое «и-р-м-а»? Четыре буквы, четыре идиотские буквы, расположенные в определенном порядке, символ, имя. К черту символы! Она здесь, рядом, и клянусь Богом, восклицал Роцезвон про себя, она с головы до ног несравненна!

Да, надо признать, что впечатление, которое производила Ирма с большого расстояния было, возможно, весьма обманчивым – ведь зрение у него далеко не такое острое, как раньше. К тому же он не видел женщин уже очень много лет, и судить о достоинствах внешности Ирмы ему было весьма трудно. Но, как бы там ни было, первое впечатление, которое сложилось у Роцезвона еще тогда, когда он стоял в темноте и время от времени заглядывал в открытую дверь залы, было самым благоприятным. Как гордо она держалась! Ровно, по-военному и, однако, как женственно! Как замечательно было бы, если бы она была рядом с ним целый вечер! В ней столько значительности и достоинства! Роцезвон стал представлять себе, как она сидит рядом с ним: лицо у нее слегка подергивается, выдавая породистость, ее снежно-белые руки держат иглу и его носок, который она штопает... Роцезвон поглядывал время от времени через открытую дверь в залу, чтобы убедиться в реальности происходящего, в том, что она стоит там, в глубине залы, его жена, его жена!.. Она будет сидеть рядом с ним на диване шоколадного цвета...

А потом вдруг он оказался один. Выплывшее из полутьмы лицо спросило:

– Имя?

Хриплым шепотом, ибо голос был уже окончательно сорван.

– Я Глава Школы Горменгаста, идиот! – рявкнул Роцезвон.

Он был совсем не в том настроении, когда спокойно разговаривают с дураками. Что-то бродило в его крови; была ли это любовь или что-то другое – он скоро узнает. Так или иначе

Рощезвон был охвачен нетерпением.

Человек с большим лицом, увидев, что Профессор был последним и никого более объявлять не нужно, набрал побольше воздуха и приготовился выкрикнуть необходимые слова во всю мощь легких (его раздражение усиливалось тем, что он опаздывал на свидание с женой кузнеца). Но, увы, после первого же слова голос его окончательно сник, и за ним последовали лишь утробные, клокочущие звуки.

Но в том, что было объявлено просто: «Глава...!», было нечто замечательное – может быть, менее официальное, но зато более впечатляющее.

Два слога, как два удара молотка, как вызов, прокатились по комнате.

Барабанной палочкой они ударили по барабанным перепонкам Ирмы и Рощезвона. Шагая по зале по направлению к хозяйке дома, Глава Школы всматривался в нее, и у него было впечатление, что она распрямилась еще больше, откинула голову назад и замерла как неподвижное изваяние.

Сердце его, которое уже и так бешено колотилось, вздрогнуло. Ее внимание сосредоточилось на нем! В этом не было ни малейшего сомнения! Не только ее внимание, но и внимание всех присутствующих! Рощезвон не только слышал, но и всем телом чувствовал воцарившуюся тишину. И в этой тишине были слышны лишь его шаги. Несмотря на то, что ковер был очень мягок, ворс очень высок, Рощезвон слышал, как ботинки его опускаются в серо-зеленую шерсть.

Продвигаясь вперед с той фантастической торжественностью, которую так любили передразнивать мальчишки Горменгаста, он позволил своему взгляду на пару мгновений задержаться на преподавателях. Они стояли плотной группой – фаланга винно-красных мантий, – полностью закрывая собой столы с выставленной едой. Ага, вон Призмкарп с поднятыми бровями, а вон Опус Крюк с его идиотской улыбочкой во всю морду. От этого зрелища Рощезвон едва не сбился с шага, а потерять самообладание было сейчас вовсе не в его интересах. Ага, значит они все жаждут увидеть, как он будет сопротивляться «хищной» Ирме? Они думают, что он стучуется и ретируется сразу после того, как официально ей представится? Они предвкушают, как он целый вечер будет играть с ней в прятки? О низкие негодяи! Но он этим собакам покажет! Он им покажет – даже если для этого ему придется призвать все воинство небесное! А для них у него есть и сюрпризик!

Рощезвон уже прошел полпути по ковра, в котором, после того как по нему прошло несколько десятков ног, обозначилась вытоптанная дорожка, казавшаяся более зеленой, чем все окружающее ковровое пространство.

Глаза Ирмы устали от постоянного всматривания. По мере того как он приближался, она все лучше видела размытые очертания его лебедино-белой мантии; его львиная голова вырисовывалась все яснее. И ее поразил его богоподобный лик. Она уже поздоровалась со столькими людьми – большинство из которых, в ее понимании, не достойны были называться мужчинами, – что она устала не столько от их числа, сколько от ожидания мужчины, к которому она могла бы проявить интерес и который бы вызвал в ней почтение Среди мужчин, продефилировавших перед ней, были нахальные, солидные, колючие, тупые, и хотя она отложила, так сказать, нескольких из них в резерв для дальнейшего более внимательного ознакомления, в целом она была разочарована. И это весьма ее печалило. В каждом из них присутствовало нечто раздражающе холостяцкое, некая самодостаточность. Все они могли называться мужчинами лишь после того, как попали бы в руки женщины.

Но вот перед ней предстало нечто совсем другое. Нечто, надо признать, весьма солидного возраста, но при этом и исключительно благородное. Ирма привела в действие губы, и теперь, после продолжительной практики, улыбка, приготовленная для Рощезвона, в значительной

степени отражала то, что она хотела изобразить. Прежде всего это должна была быть обаятельная улыбка, чертовски обаятельная. На хорошеньком личике обаятельная улыбка – вполне нормальная вещь. Но учитывая тот фон, на котором развернулась улыбка Ирмы, обаятельная улыбка на красивом лице показалась бы в сравнении с улыбкой Ирмы весьма вялой или даже вовсе не улыбкой. Слабые глаза Ирмы, ее выжидающий взгляд, длинный нос, вытянутое напудренное лицо – вот в каком обрамлении явилась эта невероятная улыбка. И от этого ее эффект был особенно силен. Она несколько секунд играла с ней, как рыбак с рыбкой, но поймав нужное расположение губ, закрепила улыбку так, словно залила бетоном.

Одновременно с разворачиванием улыбки ее тело приняло позу, в которой была неподвижность статуи и гибкость змеи: шея вытянулась во всю длину, грудь, столь увеличенная грелкой, выдвинулась вперед, таз подался назад. Казалось, Ирма не стоит, а парит в воздухе. Сцепив пальцы, она держала руки у основания шеи, там, где сверкали ее драгоценности.

Роцезвон был уже совсем рядом.

«Это, – сказал он себе, тяжело дыша, – один из тех моментов в жизни мужчины, когда проверяется его доблесть!»

От его поведения сейчас зависит его будущее! Подумать только, что остальные здоровались с ней за руку так, словно это была не женщина, а мужчина! Какие дураки! В этом лучезарном создании сконцентрировалась вся женственность, уходящая к прародительнице Еве. Неужели у его коллег совсем нет чувства почтения, удивления, гордости? Он, старый уже человек – но отнюдь не лишенный мужской красоты, – покажет этим собакам, как следует себя вести! Вот она перед ним, квинтэссенция женщины! Запах ананасовых духов витал вокруг нее. Роцезвон сделал глубокий вдох, задрожал и, благородным жестом откинув прядь своей благородной гривы со лба, склонился над безвольной молочно-белой рукой и запечатлел на ней поцелуй – первый за последние пятьдесят лет.

Сказать, что замерзшее молчание превратилось в ледяное – значит не сказать ничего, ибо слова не в состоянии передать то напряжение, которое воцарилось в зале. Атмосфера в гостиной была столь насыщена напряжением, ожиданием и тишиной, что казалась вязкой жидкостью, затопившей все вокруг. О, какой момент, какой момент!

Сколько же он длился? Время замерло, остановилось. Но наконец тишина ледяной пустыни была нарушена. Один из Профессоров вскрикнул – а может быть, и истерически рассмеялся – что именно, осталось невыясненным.

Доктор Хламслив взглянул в сторону винно-красных мантий – зубы его были оскалены, брови подняты, на лбу мерцали капельки пота. Как ни странно, он был в большом напряжении.

Ирма, не обратив внимания на раздавшийся крик – или смех? – даже не догадываясь, что вывело ее из транс, вдруг грациозно склонила голову над белыми локонами в тот момент, когда Роцезвон целовал ей руку.

Это то, чего она ждала! Что-то в ней дико, восторженно смеялось, словно звонили колокольчики, которые вешают на шеи коров и коз.

Жаль, что Глава Школы не мог по достоинству оценить ее грацию, то, как она склонилась над ним, – ведь его глаза были опущены. Но не мог же он одновременно целовать ей руку и смотреть на ее движения. Но... но... Боже, что это? О, какой трепещущий восторг! Что он делает, этот большой, кроткий, благородный, царственный, блестящий лев? Он поднимает глаза, а губы его все еще касаются ее руки! О, он отгадал ее самые сокровенные мысли!

Она опустила взгляд и увидела, что его глаза цвета мокрой морской гальки смотрят прямо на нее, нависающие над глазами брови с перепутанными волосками создавали впечатление, что глаза глядят из клетки.

Ирма понимала, что этот момент исключительной – просто совершенно исключительной! –

важности для ее будущего, понимала она также и то что пора забрать у него свою руку. Как только Роцезвон почувствовал первое шевеление вялых пальцев, он сам ее отпустил. И в этот момент бюст Ирмы стал сползать вниз. Грелка была закреплена лентами и безопасными булавками, но, очевидно, что-то в этом креплении ослабло.

Но Ирма, трепещущая от возбуждения, была в таком возвышенном состоянии духа и тела, что мозг, выходя, так сказать, за пределы своих обычных возможностей уже разрабатывал план, предвидел любые непредвиденные ситуации.

Ее бюст соскальзывал все ниже. Она, прижав руки к груди чтобы предотвратить дальнейшее соскальзывание бюста, и высоко подняв голову – все взгляды были прикованы к ней, – двинулась к двери расположенной в дальнем конце гостиной. При этом она даже не взглянула на своего брата – она просто, с удивительным самообладанием и уверенностью в себе отправилась в дальний путь к двери, шлейф ее платья скользил за ней.

О, какой ужасно холодной стала грелка! Но она была рада этому жесткому холоду. Что ей сейчас до таких мелочей? Ее подхватило и унесло нечто значительно более важное!

Жало стрелы пронзило ее обнажившееся сердце. Она была так горда этим! Если бы стрела любви была реальным предметом, она бы схватила ее и подняла высоко в воздух, чтобы ее увидели все. И всем этим чувствам она позволяла проявляться в походке, в осанке, в ней извергался вулкан чувств, ее щеки пылали ярким румянцем, и теперь ее беломраморное лицо стало похожим на странную маску, подобную тем, которые археологи иногда обнаруживают при раскопках исчезнувшей цивилизации. Ее драгоценности приобрели другой оттенок – в них отсвечивал румянец.

Но выражение на ее лице, казалось, не имело отношения к румянцу – в нем было спокойствие и простота.

Необходимости в словах не было. Ее лицо говорило: «Я во власти этого человека. Он пробудил меня. Я – просто женщина, и во мне разбужены чувства. Каково бы ни было будущее, но любовь уже нашла во мне свое пристанище. Я все вижу, все понимаю. Это исторический, невероятно возвышенный момент, но долг велит мне выйти, поправить на себе то, что требуется, собраться, успокоиться и вернуться в гостиную такой женщиной, которой может восхищаться Глава Школы! Не трепещущей от любви девицей, а дамой, полной женской чувственности, собранной и великолепной!»

Ирма, едва выйдя за дверь и закрыв ее за собой, бросилась по лестнице в свою комнату, шелестя шелками. С грохотом захлопнув дверь, она дала выход первобытным чувствам, которые скрывались в ней, и издала вопль, который оказался однако, не звериным победным рыком, а визгом попугая. Бросившись вприпрыжку к своей кровати, она зацепилась за вышитый пуф, лежавший на полу и игравший роль подставки для ног, и рухнула, растопырив руки, на ковер.

Но разве теперь это имело какое-то значение? Разве имело теперь значение что-либо, что могло бы вызвать смех или заставить устыдиться, если он этого не видел?

Глава тридцать пятая

Бывают моменты, когда чувства столь возбуждены, а разум столь погружен в мир фантазий, что невозможно определить, где кончается реальность и начинаются образы, порожденные воспаленным воображением.

Ирма, уже вставшая с полу, видела Роцезвона так явственно, словно он стоял рядом с ней, но в то же время она могла смотреть и сквозь него, так что сквозь его мантию просматривался рисунок обоев на стене. Ирма видела великое множество Профессоров, тысячи и тысячи их, все размером с булавку, они стояли на ее кровати плотной и торжественной толпой и кланялись ей, однако при этом Ирма видела и то, что наволочку на подушке давно уже нужно поменять. Она посмотрела в окно, ее глаза были широко раскрыты, но все, что она видела, было по-прежнему несколько не в фокусе. Лунный свет туманом окутывал густую листву высокого вяза, и сам вяз превратился в Роцезвона с его царственной гривой. Ирма увидела еще какую-то фигуру, которая перелезла через стену ее сада и тенью метнулась к окну аптечной комнаты Доктора Хламслива. Хотя Ирма была уверена, что это тоже было порождением ее воображения, однако что-то в потаенных глубинах ее сознания говорило: «Ты видела этого человека и раньше, его быстрые как у ящерицы движения, то, как он сутулится, поднимает плечи – все это так знакомо!» Однако Ирма была в том состоянии, когда теряется способность различать явь и фантазию.

И посему, увидев фигуру человека, крадущегося по саду под ее окном, Ирма не думала о том, что это мог быть вполне реальный человек, из плоти и крови, и уж конечно она не могла вообразить себе, что это Щуквол. Но тем не менее это был именно он. Он, умело используя принесенный инструмент, открыл запертое окно, располагавшееся как раз под тем, у которого наверху стояла погруженная в лунатический транс Ирма, затем забрался вовнутрь, зажег свечу и среди бутылочек и бутылок, которыми были уставлены полки, быстро нашел то, что ему было нужно. Бутылочки при свете маленького колышущегося пламени отсвечивали голубым, красным и ядовито-зеленым. Щуквол, сняв нужную ему бутылку с полки, перелил часть густой жидкости, содержащейся в ней, во флакон, который принес с собой, и вернул бутылку на полку. Тщательно закрыв притертой пробкой свой флакон, он мгновенно вскарабкался на подоконник.

Над стеной сада вздымались громады Замка Горменгаст, залитые зловецим лунным светом. Щуквола, замершего на мгновение на подоконнике, неожиданно охватила дрожь. Ночь была теплой, и поэтому не прохлада вызвала дрожь, а вспышка радости, черной радости, которая сотрясала тело человека, одиноко сидящего под луной, воровски раздобывшего то, что ему было нужно, затаившего в сердце коварство, а в голове холодный расчет.

Глава тридцать шестая

Ирма, выйдя из своей комнаты и спустившись вниз, подошла к дверям гостиной, но не сразу распахнула их, а стала прислушиваться к голосам и шуму, доносившимся изнутри. Странно – голоса были веселыми, счастливыми, такими разными, такими раскованными. Ей, конечно же, и раньше приходилось слышать много голосов, говорящих сразу, но ничего подобного тому, что доносилось до ее слуха теперь: голоса словно играли в какую-то веселую игру. Ей, хоть и редко, нравилось остроумие ее брата, игра его ума, но по отдельным фразам, доносившимся до нее из-за закрытой двери, ей было ясно, что там происходит нечто ей совершенно неведомое: не просто игра слов, игра мыслей, а раскрепощенное языковое буйство, столкновение отпущенных фраз и свободное брение вырвавшихся на свободу мыслей.

Подобрав складки своего платья, Ирма присела у двери и прильнула глазом к замочной скважине, но увидела лишь смутное темное пятно мантий.

Что же здесь произошло, пока она была у себя наверху? Ирма снова и снова задавала себе этот вопрос. Когда она уходила, гордая как королева, в обступившей со всех сторон тишине – о, это была многозначительная и льстящая ей тишина! – она полностью господствовала в приемной зале, и молчание, ее окружавшее, было ее оправой, подобно тому, как широко раскинувшееся небо может быть морским чайкам одновременно оправой и фоном.

Едва лишь Ирма вышла из комнаты, как тысячи тут же придуманных воспоминаний о женщинах, которых Профессоры никогда не знали, готовы были сорваться у них с языка. Все оживленно заговорили, напряжение ослабло, все приняли более вольные позы. Доктор Хламслив обнаружил, что ему не нужно прилагать никаких усилий для того, чтобы запустить вечер. Пламя зажглось само по себе, стеснительность и оцепенелость Профессоров были сожжены этим пламенем, и они ощутили себя блестящими, всезнающими, неотразимыми и столь же потрясающе привлекательными, как и сам Дьявол.

Ирма взялась за ручку двери и сделала такой глубокий вдох, что он нанес непоправимый ущерб ее бюсту. Когда она приоткрыла дверь, веселый гомон голосов стал вдвое громче – и одна бровь Ирмы поползла вверх. Почему, спросила она себя, такое могучее веселье совпало с ее отсутствием? Похоже, что про нее забыли, или хуже того – ее уход лишь приветствовали?!

Ирма приоткрыла дверь еще шире и всунула в открывшуюся щель свою напудренную голову, которая – о чем Ирма не подозревала – создала такой неожиданный эффект отъединенности от тела, что один из Профессоров, который случайно взглянул в сторону двери, выронил из рук тарелку, нагруженную деликатесами.

– О, нет, нет! – прошептал он; челюсть у него отвалилась, и он страшно побледнел. – Нет, страшная Смерть, не сейчас! Я еще не готов. Я...

– Не готов к чему, рыбка моя? – сказал кто-то из стоявших рядом. – Клянусь чертом, эти павлиньи сердечки великолепны! Передайте, пожалуйста, перчику!

Ирма наконец вошла в комнату. Профессор, который уронил тарелку на пол, слотнул, и на лице у него появилась болезненная ухмылка. Какое счастье – это еще не Смерть, пришедшая забирать его!

Пройдя всего несколько шагов по гостиной, Ирма ощутила, что опасения по поводу того, что грациозная значительность ее присутствия приуменьшилась, пока ее не было, были напрасными, ибо с десятков Профессоров, прекратив свою оживленную беседу, сорвали с головы квадратные шапочки и приложили их к сердцу.

Слегка покачиваясь, Ирма продолжала свое шествие к центру гостиной, кланяясь с ледяной величием направо и налево. Профессоры расступались, открывая перед ней проход

среди своих заплесневелых мантий.

Поворачивая то в одну, то в другую сторону, как корабль, не знающий, к какой пристани направиться, Ирма создавала вокруг себя зоны почтительной тишины. Ей льстило это мгновенно наступающее молчание, но как только она проходила, беседа вспыхивала с новой силой.

И вдруг не более чем в десятке шагов от себя она увидела Роцезвона. В руке он держал высокий бокал. Он стоял к ней в профиль. О, какой это был профиль! Какая величественность! Другого определения она не могла отыскать – величественность! Но на третьем ее шаге по направлению к Роцезвону раздался хриплый крик, перекрывший какофонию голосов. Этот крик, такой душераздирающий в своей простоте, заставил всех замолчать. Ирма остановилась как вкопанная.

Никак нельзя было предположить, что такой крик мог раздаться на таком официальном приеме. В нем были страсть и бурлящий призыв. Этот крик был оплеухой благопристойности. Он нарушал все неписанные правила этикета, которые вырабатываются столетиями.

Все повернули головы в сторону кричавшего, который, работая локтями, пробирался среди Профессоров по направлению к застывшей в неподвижности Ирме. Черты его лица были настолько искажены странной гримасой, что нелегко было в нем признать Профессора Врода.

Увидев Ирму, входящую в гостиную, он, покинув своих друзей Зернашпиля и Заноза, двинулся ей навстречу. Созерцание Ирмы вселило в него чувство, захлестнуло его тело и мозг. Мощнейший электрический заряд в миллион вольт потряс его. То было невероятно сильное, глубинное, сметающее все чувство мгновенной влюбленности.

Врод не видел женщин на протяжении тридцати семи лет. Несколько ранее, тогда, когда происходило официальное представление гостей, Врод был настолько возбужден и смущен, что боялся поднять глаза и взглянуть на Ирму. Теперь же он впивался в нее глазами, глотал ее своим взором, как житель пустыни глотает воду, добравшись до зеленого оазиса, посреди которого бьет прозрачный чистый ключ. Не будучи в состоянии вспомнить, как могут выглядеть женщины, он принял странную фигуру Ирмы и колючесть ее лица за образец женственности. Его чувства были столь бурными, что затопили сознание. И он совершил непростительный проступок – полностью потеряв над собой контроль, он проявил свои чувства прилюдно. Кровь прилила к его голове – и вот тогда он издал крик. Не понимая, что делает, он бросился к Ирме, упал перед ней на колени, а еще через мгновение, охваченный пароксизмом страсти, рухнул головой вперед и распростерся на ковре, разбросав в стороны руки и ноги, как морская звезда.

Температура в гостиной упала до нуля, а потом столь же быстро поднялась до удушающей тропической жары. Наверное, никто бы не удивился, если бы вдруг с потолка соскользнул питон или, когда снова повеяло арктическим холодом, если бы комната наполнилась белыми арктическими лисами.

Неужели никто не сделает ничего, чтобы разбить эту кору льда, сковавшую длинную гостиную?

И тут, нарушив всеобщее оцепенение, Роцезвон сделал шаг по направлению к Ирме. Еще один шаг и еще один, и вот уже он возвышается над Ирмой и смотрит в ее умоляющие глаза. Роцезвон ощутил вдруг, что в его жилах действительно течет кровь царственного и бесстрашного льва. От него исходили мощь и сила.

– Многоуважаемая госпожа Хламслив, – промолвил он, – молю вас, не переживайте и не волнуйтесь. То, что один из моих Профессоров лежит распростертый у ваших ног – большой позор, да, мадам, большой позор; но с другой стороны – разве он не символ того, что мы все ощущаем? Позор заключается в его слабости, а не в его страсти. Он явил нам тепло большого чувства. Тепло! Пожар, я бы сказал. И это привело к такому неприятному обстоятельству, черт

подери! (Роцезвон не удержался от некоторого просторечия) Позвольте мне, ваша милость, в качестве Главы Школы позаботиться о том, чтобы удалить отсюда этого человека. Он должен исчезнуть с ваших очей. И молю вас, простите его, ибо он таким способом – пусть и неподобающим – проявил свое признание высочайших достоинств, которые ему довелось лицезреть впервые, и его единственный грех заключается в том, что он проявил свои чувства слишком бурно, и в том, что у него не хватило сил сдержать их.

Роцезвон замолчал и, вытерев лоб рукавом мантии, тряхнул своей белой гривой. Свою речь он произносил с закрытыми глазами; он чувствовал в себе какую-то сказочную силу. Он знал – хотя и не видел этого, – что Ирма не сводит с него глаз. Он слышал, как тихо и тактично расходятся по углам Профессоры. Ему казалось, что говорит не он, а кто-то другой.

Какой удивительный инструмент – человеческий голос, подумал он, какой прекрасный голос – глубокий, звучный. На мгновение он вообразил, что слышит чей-то чужой голос, а не свой. В моей натуре есть нечто скромное и застенчивое, решил Роцезвон, и время от времени эта скромность и застенчивость проявляется в моих поступках.

Но мысли эти были мимолетны. Главное – это то, что он находится рядом с женщиной, руки которой он будет добиваться, проявляя всю хитрость и весь опыт старости и соединяя их с буйством и настойчивостью молодости.

«Клянусь Богом, – воскликнул он, но бесшумно, про себя, и внутри него это восклицание прозвучало оглушающе громко, – клянусь Богом, я всем им покажу, как это делается! Две ноги, две руки, два глаза, две ягодицы, два яичка, один рот, одно тело, один живот, один пенис, один хребет, сердце, легкие, кишки – все это у меня есть! И да поможет мне Бог в моих усилиях!»

Роцезвон поднял тяжелые веки и, глядя сквозь бледные ресницы, встретился со взглядом Ирмы, таким жгучим и призывным – о, она превратилась в настоящий суккуб! – что, казалось, он разрушит мрамор ее лица.

Роцезвон огляделся. Профессоры тактично – настолько тактично, что это уже казалось бестактностью, – отошли в сторонку и собрались в группки. Они обменивались ничего не значащими тихими фразами, словно актеры, стоящие в глубине сцены и создающие фон для двух ведущих персонажей.

– ... восковая фигура жирафы, разрезанная вдоль... – бормотал Пламяммул.

– ... это совершенно невозможно, – говорил Призмкарп, – я стыжусь тебя, кусок гнилого окорока!

– ... конечно. Я что, разве овощ? Я знавал и лучшие дни... – доносилось печальное бормотание Срезоцвета.

– ... как это доказано у феоретика, в его диатрибе против использования – шептал Шерсткот.

– Что? Что там сказал этот старый козел? – бубнил Опус Крюк.

– ... когда-то я коллекционировал бабочек. Это было очень давно, там, где летают бабочки, там, где текут реки, – слышался чей-то печальный голос.

– ... хватит, садись!

И кто-то отправился искать стул.

Распрямившись и приняв вид человека, который является хозяином любого положения, Роцезвон запахнул мантией и, перекинув ее через плечо, словно она была тогой, отступил на шаг и обозрел человека, распростертого у его ног. Отходя, он наступил бы на ногу Доктора Хламслива, если бы тот не успел вовремя резким прыжком отскочить в сторону.

Доктор, который выходил на несколько минут из гостиной, только что возвратился и уже собирался заняться лежащим на полу Профессором, когда Роцезвон сделал свой неосторожный шаг назад. Дальнейшая задержка произошла из-за того, что Глава Школы заговорил снова.

– Глубокоуважаемая госпожа! – Львиногривый старик явно не знал, что же ему хочется выразить, и речь его стала спотыкающейся и бессвязной. – Человеческое тепло – это все... Нет, все же не все... но многое... То, что один из моих коллег вызвал ваше... да, то, что произошло... как холодные глыбы льда... как горячие угли... И почему же это произошло? Потому что я недостаточно наставлял его, недостаточно воспитывал его, недостаточно разъяснял правила хорошего тона, соблюдаемые в приличном обществе... Черт подери! Я сейчас позабочусь, чтобы его отсюда удалили.

И громким голосом он обратился к Профессорам:

– Господа! Я буду вам весьма признателен, если двое из вас поднимут вашего находящегося в бессознательном состоянии коллегу с пола и отнесут его домой. Ну, кто возьмется за это? Может быть, вы, Профессор Шерсткот? И Профессор... – Нет, нет, я этого не позволю!

Это вскричала Ирма. Она шагнула вперед и, сцепив пальцы, подняла руки к подбородку.

– Господин Роцезвон, – прошептала Ирма, – я внимательно выслушала вас. И то, что вы сказали, было великолепно. Просто великолепно! Когда вы говорили о «человеческом тепле», я поняла вас. Хотя я и просто женщина, да, просто женщина...

Ирма нервно оглянулась вокруг, словно боялась, что зашла слишком далеко.

– Но когда, господин Роцезвон, я услышала, что вы, идя наперекор своим же словам, захотели удалить отсюда этого господина, – Ирма быстро взглянула на Врода, лежащего все в той же растопыренной позе, – тогда я решила, воспользовавшись правом хозяйки, попросить вас как своего гостя изменить решение. Я не потерплю, уважаемый господин Роцезвон, чтобы потом говорили, что из моей гостиной вынесли, к его стыду, этого господина. Пускай его посадят на стул где-нибудь в укромном уголке. Пускай ему дадут вина и пирожных, все, что ему захочется, и когда он окончательно придет в себя, пускай присоединится к своим друзьям. Он почтил меня – я повторяю, он почтил меня своим...

И в этот момент Ирма увидела своего брата. И она бросилась к нему.

– О, Альфред, ведь я правильно все сказала? Человеческое тепло – это ведь самое главное, правда?

Хламслив внимательно посмотрел на лицо своей сестры. На нем было написано выражение, выдававшее ее беспокойство, ее возбуждение; и – как это ни невероятно – оно светилось от нарождающейся любви. Боже, лишь бы ее не постигло разочарование, подумал Хламслив. Это убило бы ее. У него, правда, промелькнула мысль о том, насколько проще его жизнь была бы без нее, но он немедленно отогнал от себя гадкую мысль и, поднявшись на цыпочки и сцепив за спиной руки, словно голубь, выставил вперед грудь. О, эта узкая грудь, облаченная в белоснежную рубашку и безукоризненный бархатный пиджак!

– Является ли «человеческое тепло» самым главным или нет, сказать трудно, но тем не менее очень уютно и утешительно, когда оно присутствует. Однако хочу отметить, моя дражайшая сестра, что теплота может вызвать спертость воздуха и недостаток кислорода... Но как бы там ни было, мне как врачу кажется, что следует заняться этим воином, распростертым у твоих ног. Нам нужно его осмотреть, взглянуть, все ли с ним в порядке, как вы считаете, господин Роцезвон? Клянусь всем тем, что свято в моей странной профессии, мы должны...

– Но он ни в коем случае не должен покидать нашей гостиной! Ни в коем случае! Он наш гость! Альфред, помни об этом!

Прежде чем Доктор успел что-либо ответить, Глава Школы поспешно вмешался в разговор:

– Вы поставили меня на место, госпожа Ирма! Сказав эти простые слова, Роцезвон склонил голову.

– А вы, – прошептала Ирма, густо заливаясь краской, – вы возвысили меня.

– Нет, мадам, ах, нет, – пробормотал Роцезвон, – вы слишком добры... – И потом,

набравшись смелости, добавил: – Как можно возвысить сердце, мадам, сердце, которое уже вознеслось до Млечного Пути?

– Почему Млечного? – спросила Ирма, которой хотелось поддержать возвышенность беседы.

К счастью, старику не пришлось отвечать, ибо Доктор Хламслив в этот момент подозвал двух мантиеносных Профессоров, и распростертый на полу Врод, несгибающийся как бревно, был поднят и отнесен в угол гостиной, куда уже было подвинуто удобное мягкое кресло, выделявшееся при свете свечей ярким зеленым пятном.

– Усадите его в это кресло, господа, – приговаривал Доктор, – будьте добры, и я его осмотрю.

Но усадить Врода не удалось, и его положили на кресло как бревно; голова его упиралась в спинку кресла, а ноги – в пол, и никаких других точек опоры не было. На всякий случай в промежутке между спиной Врода и сиденьем кресла положили пухлые зеленые подушечки, но пока они никак не подпирали небольшое тело Врода и оставались такими же пухленькими, как и раньше.

Все это выглядело весьма пугающе и никоим образом не скрашивалось сияющей улыбкой, которая застыла на лице Врода.

Шикарным жестом Доктор сорвал с себя великолепный бархатный пиджак и отшвырнул его в сторону так, словно он уже никогда ему не понадобится. Затем стал закатывать рукава своей шелковой рубашки.

Ирма и Роцезвон тоже подошли поближе. К этому времени резервуары тактичности, из которых Профессоры до того момента активно черпали, почти иссякли, и все они, умолкнув, стояли и беззастенчиво следили за происходящим.

Доктор ощущал, что за ним наблюдают, но абсолютно ничем не выдавал этого: Доктор отнюдь не был возмущен такой бесцеремонностью – более того, ему это нравилось.

Профессоры в гробовом молчании следили за каждым движением Доктора, который стоял перед своим пациентом, изящный как аист, с закатанными рукавами шелковой рубашки; его кожа была розовой, как у малого дитя, а очки поблескивали, отражая пламя сотен свечей.

Как они надеялись, что то восхитительное настроение, которое охватило их и которое было столь грубо разрушено, вернется!

Доктор Хламслив заговорил. С одной стороны, по всей видимости, он обращался сам к себе, однако, с другой стороны, его голос звучал несколько громче, чем следовало. Хламслив, стоя вплотную к своему одеревеневшему пациенту, поднял руки до уровня плеч и стал шевелить в воздухе пальцами так быстро и уверенно, словно играл как прославленный пианист на невидимой клавиатуре невидимого рояля. Затем он сложил руки перед собой и стал потирать ладони. Глаза у него были закрыты.

– Такое встречается реже, чем болезнь Вклопа, – бормотал он. – Несомненно... Это... клянусь всем, что содрогается в конвульсиях... это именно так... в моей практике уже был один такой случай, совершенно удивительный... но где и когда это было?.. очень подобный... насколько мне помнится, тот человек увидел привидение... да... да... он заявлял, что увидел привидение – и в результате – шок, от которого чуть не скончался... или, точнее... все-таки скончался...

Ирма нервно переступила с ноги на ногу.

– Да, шок... будем исходить из этого, – продолжал Доктор, раскачиваясь, приподнимаясь и опускаясь на носках; глаза у него при этом были по-прежнему закрыты. – А из одного шока можно вывести другим шоком... Но как и где?.. Как и где... Посмотрим, посмотрим...

Терпение Ирмы иссякло.

– Альфред! – воскликнула она – Альфред, сделай же наконец что-нибудь. Сделай что-нибудь!

Казалось, Доктор не расслышал ее – столь глубоко он был погружен в свои мысли.

– А что если... но надо знать, чем был вызван шок, его масштабы, определить, какой участок оказался подверженным больше всего. и надо прежде всего знать, какое крайне неприятное или ужасное-явление вызвало.

– Неприятное? Ужасное явление! – вскричала Ирма, – Да как ты смеешь такое говорить, Альфред! Ты же прекрасно знаешь, что это я, я так вскружила голову этому бедному созданию, что он рухнул на пол! Это из-за меня он теперь весь такой одеревенелый и ужасный!

– Агэ! – воскликнул Доктор. – Ага!

Было совершенно ясно, что он не слышал того, что сказала Ирма. Он казался еще более возбужденным и полным энергии, чем раньше.

– Клянусь всем тем, что прагматично, что это... если нет, то...

Он запустил руку в карман и извлек оттуда маленький серебряный молоточек, который стал по-жонглерски крутить между пальцами. Его жесты были быстрыми и текучими как ртуть, брови подняты.

А тем временем Роцезвон чувствовал, как в нем растет решимость что-то предпринять. Ситуация была весьма странной. И совсем не при таких обстоятельствах он надеялся поближе познакомиться с Ирмой; разве могла в такой атмосфере расцвести его нежность?.. Он уже не был центром внимания, и его единственным желанием было остаться с Ирмой наедине. Сами по себе слова: «остаться наедине», промелькнувшие у него в голове, заставили его покраснеть, и его белые волосы по контрасту с покрасневшим лицом казались еще белее. Взглянув на Ирму, Роцезвон тут же понял, что ему надо делать. Судя по ее виду, было совершенно ясно, что Ирма испытывает большую неловкость. Врод, по-прежнему лежавший как бревно, был отнюдь не самым приятным зрелищем, особенно для дамы большого благородства и утонченных вкусов.

И Глава Школы, откинув со лба непокорные пряди своей величественной гривы и расправив плечи, сказал:

– Мадам, здесь неподходящее для вас место, совсем неподходящее!

Сказав это, он испугался, не воспримет ли хозяйка это заявление как негативную оценку ее приема, но, украдкой бросив на нее взгляд из-под ресниц, обнаружил, что она не нашла в его замечании ничего предосудительного. Напротив, в ее близоруких глазах он заметил благодарность. И не только в глазах, но и в позе, и в сомкнутых руках.

Ирма уже ничего вокруг себя не видела и не слышала. Нашелся наконец человек, который проявил заботливость и внимание! Человек, который понял, что ей как женщине негоже стоять вот так, вместе со всеми, и наблюдать за оживлением Врода. И этим человеком был сам господин Роцезвон, Глава Школы! О, как восхитительно, что есть еще на земле настоящие мужчины!

– Господин Роцезвон, – сказала Ирма и с поразительной игривостью и лукавством взглянула на изборожденное складками лицо собеседника, – вам решать. Я буду слушать и повиноваться. Говорите, я слушаю, я внимаю!

Роцезвон слегка повернул голову, чтобы Ирма не увидела улыбку, которая расползлась по его лицу. Когда она сказала «вам решать», перед ним тут же возникла широкая панорама брачной жизни, окутанная золотистым сиянием. Он вообразил себя могучим дубом, а Ирму – нежной березкой; он видел себя ширококрылым орлом, подлетающим к своему гнезду на скалах; там его ждет Ирма – как ни странно, в ночной рубашке... А потом вдруг он увидел себя словно со стороны – старым, очень старым человеком, которого мучает зубная боль... Но он тут же отогнал от себя этот образ и повернулся к Ирме:

– Я хочу предложить вам свою руку и... проводить вас туда, куда вы сочтете желательным.

– Пойдемте, господин Роцезвон.

Но Ирма, опустив глаза, отказалась взять Профессора под руку, которую тот, согнув в локте, экстравагантно выставил. Ирма двинулась в ту часть длинной гостиной, где никого не было. Роцезвон, опустив руку и страстно пробормотав «Я не такой уже старый, чтобы не чувствовать всяческих тонкостей!», последовал за Ирмой. Оглянувшись по сторонам, он обнаружил, что никто не обращает на них никакого внимания. Все собрались вокруг Доктора и следили за его действиями. В какой-то момент Роцезвон почувствовал даже некоторое сожаление от того, что в такой драматический момент ему приходится уходить. Доктор явно собирался очень тщательно осматривать пациента; с того уже снимали одежду, слой за слоем, что было вовсе не легким делом, ибо как тело его, так и члены совсем одеревенели. Слуги, однако, уже принесли ножницы и под руководством Доктора разрезали на Вроде одежду. Доктор все так же вертел в пальцах одной руки серебряный молоточек, а пальцы другой бегали по затвердевшему телу Врода так, словно оно было клавиатурой. Голову Хламслив, подобно настройщику, прислушивающемуся к звукам настраиваемого пианино, склонил слегка набок. Роцезвон с одного взгляда понял, что он пропустит наивысшую точку разыгрывающейся драмы, однако, решительно развернувшись на каблуках, последовал за Ирмой, ибо его ожидала драма еще более значительная и волнующая.

Они подошли к эркеру. Окно было открыто, и в него вливалась ночная прохлада. Роцезвон слегка наклонил голову. Он почувствовал запах духов Ирмы. Поблескивали изумруды в серьгах Ирмы. Ее напудренный острый нос наверняка отпугнул бы большинство потенциальных женихов, но Роцезвон воспринимал его как клюв большой гордой птицы, острый и исключительно опасный. Таким носом можно было восхищаться, но вряд ли любить. Он был похож на кинжал, который, как теперь был уверен Глава Школы, никогда не будет использован против него.

– Мы впервые с вами наедине, – сказал Роцезвон.

– О, вам не следует так говорить, – прошептала Ирма, явно смущенная его словами. – Мы едва знаем друг друга.

– Вы правы, о, как вы правы, – воскликнул старик и, выгавив свой большой сероватый платок, высморкался. О, похоже, быстро ничего не удастся добиться, подумал он. Если только не найдется какой-нибудь более короткий путь, какая-нибудь тайная тропинка через зачарованную поляну любви.

В окно, которое можно было назвать и стеклянной дверью, ибо оно достигало пола и являлось выходом в сад, лился лунный свет. Кроны деревьев казались белой сияющей пеной, а все, что находилось под ними, было погружено в непроницаемый мрак, черный, как вода колодца. Весь сад выглядел как литография, на которой преобладал глубочайший черный цвет, и на его фоне вспьшки белого казались особенно яркими. Пруд, вокруг которого стояли мраморные статуи, сиял отраженным лунным светом и выглядел столь картинно, что казался упреком хорошему вкусу. Лунный свет высвечивал также и струи фонтана. Под навесами беседок и декоративных каменных горок, под каменными арками, под деревьями – подо всем, что было посеребрено сверху, лежали жирные черные тени, черные как только что вынырнувшие из моря тюлени. Нигде не было серых цветов, никаких переходов. Только глубокий контраст серебристо-белого и черного.

Ирма и Роцезвон смотрели на эту картину ночного сада.

– Вы вот только что сказали, госпожа Хламслив, что мы едва знаем друг друга. И это так, если измерять наше знакомство часовой стрелкой. Но можем ли мы измерить часовой стрелкой наше понимание друг друга? Разве не присутствует в нас нечто, что противится такому

низменному измерению? Но может быть. я просто лъщу себе? Может быть, то, что я говорю, может породить лишь презрение ко мне? Может быть, я обнажаю свое сердце слишком рано?

– Ваше сердце?

– Мое сердце!

Ирма после мгновенного замешательства совладала с собой.

– И что говорит ваше сердце?

Роцезвон еще не был готов к такому вопросу и поэтому прижал обе руки к тому месту груди, где под ребрами прячется упомянутый орган. И стал выжидать, пока на него, Роцезвона, снизойдет вдохновение. По всей видимости, события развивались быстрее, чем он ожидал. Он молчал и вдруг понял, что его молчание не только не ослабляет его позиций, но наоборот – усиливает их. Оно придавало всему происходящему и ему самому дополнительную значительность. Да, пусть еще подождет! О, чудо своевременного молчания! О, мощная сила заключена в нем! В горле у него щекотало, словно он откусил кусок лимона.

Молча он предложил Ирме свою отставленную и согнутую в локте руку. И на этот раз он знал, что отказа взять его под руку не последует. И действительно, Ирма взяла Роцезвона под руку! Старое сердце старого Профессора затрепетало. Все так же молча, без единого слова, они вышли в залитый лунным светом сад.

* * *

Роцезвону весьма трудно было решить, в какую сторону вести Ирму. Но они все же куда-то двигались, и Глава Школы даже не подозревал, что направляет их движение вовсе не он. И это было вполне естественно, ибо Ирма знала сад как свои пять пальцев.

Некоторое время они постояли у пруда, в котором отражался глупый, ничего не выражающий лик луны. Проведя несколько мгновений в созерцании отражения, они подняли свои взгляды на сам оригинал. В нем они не увидели ничего более интересного, чем в его водяном призраке, но знали, что не посозерцать луну в такой вечер было бы свидетельством невосприимчивости и заскорузлости природы, даже грубости ее.

Постояв некоторое время молча, они двинулись дальше, по направлению к садовой беседке, о существовании которой не знал Роцезвон, но знала Ирма. Они поворачивали налево и направо, проходили мимо фруктовых деревьев, ветви которых поддерживались подпорками, и хотя казалось, что бродят они бесцельно, Ирма, смущаясь и краснея, тем не менее уверенно вела спутника к беседке.

Роцезвон, не подозревая, куда его ведут, но раздумывая о том, что неплохо бы найти какую-нибудь заросшую растениями беседку, хранил молчание, ибо считал, что, как только они доберутся до такого места, где можно будет присесть и дать отдых ногам, его голос, достаточно отдохнувший, будет звучать особенно глубоко и значительно.

Обойдя большой куст сирени, сверху посеребренный луной, они неожиданно оказались у самой беседки, и при виде ее Ирма невольно вздрогнула и остановилась. Роцезвон вынужден был остановиться тоже. При этом он принял позу, которая, по его мнению, должна была отразить то, что происходило в его голове.

Глядя на беседку, он воображал себя мужчиной, который никогда не воспользуется беззащитностью женщины, мужчиной с большим сердцем, глубоко все понимающим, мужчиной, которому девица может довериться даже в чаще леса. Со времен его юности прошло так много лет, что он начисто позабыл все, что происходило с ним в молодые годы. Но ему хотелось верить, что он вкусил от сладостного плода, что он разбивал сердца и отнимал

девственность, что он бросал цветы охапками на балконы, где стояли прекрасные дамы, пил шампанское из туфель и вообще был неотразим.

Когда Ирма сняла свою руку с его руки, он никак этому не сопротивлялся. В такие моменты нужно дать женщине чувство свободы, дабы позволить ей еще более глубоко ощутить всю меру его благорасположенности и благородства.

– Вы чувствуете запах сирени, мадам, запах этой сирени, залитой лунным светом? – проговорил Роцезвон.

– Я должна быть с вами полностью откровенна, господин Роцезвон, как вы считаете? Если бы я сказала, что я ощущаю этот запах, это было бы неправдой, я бы солгала вам, господин Роцезвон. А я хочу вам говорить только правду. Мы не должны с самого начала привносить в наше общение ложь. Нет, господин Роцезвон, я не чувствую запаха сирени, ибо я немного простужена.

– О, вы, женщины, такие нежные создания, – сказал он после долгой паузы. – Вам следует поостеречься.

Роцезвон решил, что после этой фразы ему следует снова помолчать. Будто сговорясь, они зашли в беседку и сели на скамейку, которую нашли в темноте. Глубокая и бархатная темнота, окружавшая их, создавала впечатление, что они сидят в пещере, на полу которой играют маленькие и поразительно яркие пятна лунного света. Лунные лучи, пробивавшиеся сквозь листву вьющихся растений, вспышками выхватывали из темноты часть белоснежной шевелюры Роцезвона и острый кончик носа Ирмы.

– Вы завоевали меня, – вдруг сказала Ирма после продолжительного молчания.

– О Боже, – пробормотал Роцезвон, чувствуя, что пришел решительный момент. Он должен немедленно закрепить свое завоевание!

– О, господин Роцезвон! – едва слышно прошептала Ирма, – о, господин Роцезвон... у меня нет сил отодвинуться от вас, господин Роцезвон.

Только теперь он ощутил, что ее плечо касается его плеча.

– И не надо этого делать, голубка моя.

Он поднял свою большую руку и прикоснулся к ее плечу.

Роцезвон совершенно позабыл, что на Ирме вечернее платье и соответственно что плечи ее обнажены. Прикосновение к обнаженному телу заставило его сердце учащенно забиться. Под его рукой плечо напряглось, но кожа была гладкой, как атлас.

– Ирма, – хрипло прошептал Роцезвон, не отнимая руки, – Ирма... Не знаю, что чувствуете вы, но я словно в мире грез... В душе моей сияет радуга. Я.

Он замолчал. Ему хотелось откинуться на спинку и в восторге задрыгать своими старыми ногами и победно кричать по-петушину. Но поскольку он этого сделать не мог, то, зная, что в темноте его лица не видно, высунул язык и стал строить страшные гримасы. Его била дрожь.

Ирма тоже не могла вымолвить ни слова. Она плакала от счастья. Она положила свою руку на руку Роцезвона. Они погрузились в то состояние, которое известно всем влюбленным, когда никаких слов не нужно. Время исчезло. О чем можно говорить в Раю?

Но вот Ирма нарушила молчание.

– Как я счастлива, – сказала она очень спокойным голосом, – очень, очень счастлива, господин Роцезвон.

– А... моя дорогая... – произнес старик очень медленно, очень успокаивающе. – Так и должно быть... так и должно быть...

– Мои самые безумные мечты сбываются... Все, что я воображала... все воплотилось в вас...

– Ирма! – воскликнул Роцезвон и прижал Ирму к себе. Хотя ему показалось, что он

прижимает к себе картонную коробку, дыхание Ирмы было учащенным.

– Вы... не только ваши мечты сбылись... Мы держим свою мечту в руках.

– Я чувствовала... я знала...

– И я тоже! И я тоже!

Ирма прижалась к нему поплотнее.

– Как восхитительно! – прошептала Ирма несколько сдавленным голосом.

– О, дорогая, о, дорогая!

Это слово пронзило Ирму как пуля. Она прижала руки к своей груди, да так сильно, что пробка в грелке не выдержала этого давления и вылетела. Раздался булькающий звук.

На какое-то мгновение Роцезвону показалось, что она смеется над ним. Но ужасное чувство унижения тут же оставило его, когда она прошептала:

– О мой владыка, давай выйдем под лунный свет! Я хочу тебя видеть.

А, этот булькающий звук был лишь проявлением любви!

Поднявшись со скамейки, они вышли из беседки. Лунный свет окутал их. Они, как привидения, шли по тропинкам, мимо декоративных горок камней и цветочных клумб.

Наконец они остановились напротив каменного херувима сидящего на краю гранитного фонтанчика к которому обычно прилетали птицы, чтобы напиться. С этого места им хорошо были видны освещенные изнутри окна приемной залы. Но они не видели Доктора Хламслива, который стоял, окруженный Профессорами, внимательно наблюдающими за ним и в этот момент поднимал свой серебряный молоточек. Не знали Ирма и Роцезвон того, что сверхчеловеческим усилием воли, напряжением всех своих дедуктивных способностей и высвобождением своего глубинного иррационального чутья Доктор пришел к решению, которое больше свойственно композиторам чем людям науки, – и теперь он готов был воплотить это решение в жизнь и воочию убедиться, приведет оно к успеху или нет.

Тело Врода по требованию Доктора, который его тщательно обследовал, было полностью раздето, на нем оставалась лишь квадратная преподавательская шапочка.

То, что произошло дальше, стало предметом многочисленных пересудов и толков, однако все рассказы, хотя и различались в деталях (эти различия, скорее всего, были связаны с тем, что они стояли на разных расстояниях от Доктора и Врода, а те, кто пересказывали и обсуждали это событие, добавляли свои, выдуманные ими же подробности, очевидно, надеясь, что таким образом и на них падет отсвет этого поразительного происшествия, который придаст им в глазах слушателей большую значительность), сводились в основном к одному. Доктор с высоко закатанными рукавами неожиданно поднялся на цыпочки, еще выше воздел серебряный молоточек, весело сверкнувший отблесками свечей, а затем нанес очень быстрый, ловкий, точно рассчитанный удар в нижнюю часть позвоночника Врода. В следующее мгновение Доктор отскочил в сторону – руки разведены, пальцы растопырены и напряжены, – ибо удар молоточком возымел немедленное воздействие. Тело пациента потрясла мощная конвульсия. Несколько секунд он извивался как издыхающий угорь, а потом неожиданно взвился в воздух и, приземлившись на ноги, бросился бежать через гостиную к раскрытым стеклянным дверям, ведущим в сад. Выскочив на залитую лунным светом лужайку, он продолжил свой бег со скоростью, которая наблюдателям казалась просто невероятной.

Но те, кто стояли вокруг Доктора и видели поразительный переход от неподвижности к стремительному бегу, были не единственными свидетелями этого ошеломляющего явления.

В саду, среди серебристых пятен и черных провалов теней, раздавался голос:

– Ирма, в эту первую ночь нашей встречи негоже, чтобы наши сердца, о возлюбленная невеста...

– Невеста? – воскликнула Ирма, вскинув голову и блеснув зубами. – О, мой владыка! Не

слишком ли рано называть меня невестой?

Рощезвон нахмурился, как Бог, оценивающий результаты Третьего Дня Творения. Затем понимающая улыбка заиграла на его устах, но тут же затерялась среди морщин.

– Ты права моя сладостная голубка, ведущая меня сквозь бурю к тихому берегу! Может быть, я действительно несколько поспешил, называя тебя невестой, однако...

И в этот момент Рощезвон дернулся назад, как выстрелившая пушка, а вместе с ним и Ирма, ибо она была заключена в его объятиях, которые почти полностью скрывали ее в просторных складках белой мантии. Повернув голову и посмотрев в том направлении, куда был направлен испуганный взгляд Рощезвона, Ирма прижалась к нему еще крепче, мимо них мчался обнаженный мужчина, с невероятной скоростью перебирающий ногами. Яркий лунный свет выявлял его наготу во всех подробностях. Кисточка его шапочки, которая оставалась единственным залогом приличия, развевалась позади головы как оттопыренный ослиный хвост.

Это видение промелькнуло перед перепуганной Ирмой и Рощезвоном и пронеслось среди фруктовых деревьев по направлению к стене сада. Как ему удалось перелезть через нее, навсегда осталось загадкой. Было такое впечатление, что обнаженный человек просто взбежал по вертикальной стене. Рядом с ним метнулась его тень, и в следующее мгновение господин Врод, перемахнув через высокую стену, подпирающую небо, исчез. Больше никто никогда этого Профессора не видел.

Глава тридцать седьмая

Нужно было чем-то заполнить еще три часа. Такая бездеятельность для Щуквола была весьма необычной. До сих пор он всегда знал, чем ему заняться. В его зловещих и обширных планах всегда находилось нечто, что требовало внимания, всегда требовалось находить мелкие кусочки, из которых складывалась картинка его хищной жизни и жизни Горменгаста, в которую он внедрился как смертельно опасный паразит.

Но в тот день, когда башенные часы пробили два раза, он уже закончил заточивать и полировать стальной клинок своего длинного узкого кинжала, спрятанного в трости. Кинжал был острым как бритва, а кончик его – тонким как игла. Вставляя кинжал в трость, он наморщил свой гладкий сияющий лоб. Через три часа ему предстояло сделать одно очень важное дело.

Оно было достаточно простым и весьма увлекательным, сохраняя при этом свою важность. Дело было настолько важным для него, что впервые в жизни Щуквол не знал, как распорядиться теми тремя часами, которые оставались до его начала. Щуквол знал, что ему не удастся сосредоточиться на чем-нибудь серьезном. Он выглянул из окна своей комнаты и задумчиво посмотрел на нескончаемую вереницу крыш и башен.

День был душным, безветренным; легкая дымка скрывала солнце. Флаги на башнях безжизненно висели на флагштоках. Созерцание каменной громады Горменгаста всегда доставляло Щукволу удовольствие. Его острый взгляд медленно бродил по крышам, стенам и башням.

Ему в голову пришла одна мысль, и он отвернулся от окна. Выставив над головой руки, он сделал кульбит и, приземлившись на руки, стал ходить по комнате вниз головой. Одна его бровь была приподнята. Он решил нанести короткий визит сестрам-близнецам, которых не посещал уже довольно давно. Глядя на крыши Горменгаста, он увидел ту далекую часть замка, где в одной из множества заброшенных пустых комнат пребывали в заточении их милости Кора и Кларисса. Их присутствие там никоим образом не нарушало пустоту заброшенных залов и коридоров. Более того, оно даже усиливало ощущение пустоты.

Щуквол знал, что путешествие к ним займет не менее часа, но ему не сиделось на одном месте, и возможность прогуляться привлекала его. Слегка сгибая и выпрямляя руки в локтях – он все еще ходил по комнате на руках, – он в какой-то момент резко оттолкнулся от пола и, как акробат, описав в воздухе дугу, приземлился на ноги.

Тщательно заперев за собой дверь, Щуквол отправился в путь. Он шагал быстро, поднимая плечи и выставив их вперед, что придавало его движениям целенаправленность и сатанинскую решимость.

Он решил идти кратчайшим путем, и это привело его в те части Замка, которые он еще не посещал. Он двигался по лабиринту коридоров и переходов, полагаясь на свою интуицию, которая должна была вывести его туда, куда ему было нужно. Он проходил там, где со всех сторон его окружали стены, сложенные из огромных камней, без единого окна, вздымающиеся на неизведанные высоты. Он проходил по заброшенным пустым дворам, вымощенным каменными плитами, между которыми, пробившись в щели, росли сорняки и трава. Он проходил там, где темные коридоры, в которые никогда не заглядывало солнце, неожиданно выводили на террасы, с которых открывался вид на раскинувшиеся кругом романтические руины, где царствовали крысы. Отсюда разбегались коридоры, заросшие буйной растительностью и заваленные камнями; фасады полуразрушенных строений, украшенные каменной резьбой, полностью заросли плющом опенка зеленоватой морской воды. Глядя на все это, Щуквол испытывал восторг. Наверняка кроме него никто не исследовал эти заброшенные части Замка. Он

восторгался своей непоседливостью, своим умом, своим страстным стремлением захватить бразды правления Замком в свои руки, получить абсолютную власть.

В одном месте он заметил высоко над собой овальное окно, в котором еще сохранилось стекло. Стекло поблескивало голубым, как лазурь; оно казалось драгоценностью, подвешенной на серую стену. Не сбавляя шагу, он вытащил из кармана прекрасно сделанную рогатку, быстро подхватил из-под ног камень, вложил в кожаную ладошку, располагавшуюся между двумя полосами толстой резины, натянул тугую резину и выстрелил. Проделав все это, даже не сбившись с шага, он возвратил рогатку в карман.

Не останавливаясь, он, подняв голову, с удовлетворением увидел, как посыпались мелкие осколки, показавшиеся с большого расстояния голубой пылью, а в стекле появилось небольшое отверстие. И лишь мгновение спустя до него донесся хлопок, как очень далекий выстрел из ружья.

У разбитой дыры появилось лицо. Оно было очень бледным; тело выглянувшего человека было обмотано мешковиной, а на плече сидел кроваво-красный попугай. Но Щуквол ничего этого заметить не мог – он уже вошел в длинный, затененный переход, крытый поросшей лишайником черепицей.

Когда наконец он добрался до аркады, расположенной поблизости от того места, где в заточении пребывали сестры-близнецы, он остановился и огляделся вокруг. Воздух здесь был прохладен, вредоносен и наполнен запахом гниющего дерева и сырого камня. Здесь на всем лежала печать гниения, разложения и распада. Здесь царил Щуквол, здесь не было места свежести, здесь умирала всякая жизнь, всякая надежда.

Другой, попав бы туда, содрогнулся, а Щуквол лишь облизал губы.

– Так, – сказал он вслух, обращаясь сам к себе, – какое отличное место!

Но у него не было времени предаваться размышлениям и созерцанию, и он отвернулся от холодной панорамы камня, где длинные стены просели и готовы были рухнуть, где в проходах и комнатах ключьями висела штукатурка, где камень потел холодным, болезненно-безразличным потом, где гниlostность и болезненность наполняла все вокруг.

Подойдя к нужной ему двери, Щуквол вытащил из кармана большую связку ключей и выбрав тот, который требовался – он сделал этот ключ сам, – открыв замок, толкнул дверь. Она открылась только после того, как он нажал на нее сильнее. Завизжали петли.

Хотя дверь открывалась туго, Щуквол справился с ней очень быстро. Если бы ему пришлось долго возиться с замком, потом плечом вышибать не желавшую открываться сырую дверь, тогда, возможно, картина, которая предстала перед ним, не произвела бы на него такого жуткого впечатления. В ней было нечто от страшного ночного кошмара.

Щуквол подходил к двери бесшумно, сестры не могли знать о времени его визита, дверь хоть и проскрипела, но открылась очень быстро, – однако они стояли перед дверью, словно давно ожидали его прихода. Их лица были белы как сало. Сестры казались сделанными из воска или из алебаstra; они стояли совершенно неподвижно. Их глаза на первый взгляд казались устремленными прямо на Щуквола, их рты были слегка приоткрыты, словно они ожидали, что в рот им положат нечто съестное.

В их, словно остекленевших, глазах при появлении Щуквола не возникло никакого выражения. В четырех зрачках, как в крошечных выпуклых зеркалах, стояли очень четкие крошечные отражения молодого человека, казавшиеся нарисованным волоском или хоботком пчелы. И когда Щуквол невольно вздрогнул, его микроскопические отражения поступили так же. Но сестры не совершили ни малейшего движения, казалось они ничего перед собой не видели, что они мертвы и стоят вертикально лишь благодаря какому-то чуду.

И Щуквол тут же понял, что его отношения с сестрами будут совсем иными, чем раньше.

До сих пор они были глиной в его руках, а теперь вдруг превратились в неподатливый камень.

И тут в их глазах произошла какая-то перемена. Отражения Щуквола исчезли из них и сменились отражениями топора. Их взгляды переместились с Щуквола на нечто, расположенное у него прямо над головой. Они не закинули головы, но глаза слегка переместились и наполнились поблескивающими белками. Никакого иного движения сестры, стоявшие очень близко друг к другу, не совершили.

Сколь ни незначительно было это движение глаз, Щуквол его заметил. Переборов страх того, что, стоит ему отвести от сестер взгляд, он попадет в какой-то капкан, Щуквол поднял голову и увидел прямо у себя над головой большой топор, подвешенный в сложной системе веревок и шнурков, казавшейся паутиной, покрывающей верхнюю затененную часть высокой двери. Топор холодно и страшно поблескивал обнаженной сталью.

Щуквол сделал мгновенный прыжок назад и немедленно захлопнул дверь. Когда он поворачивал ключ в замке, он услышал глухой, тяжелый удар – это топор рухнул на то место, где он только что стоял.

Глава тридцать восьмая

Щуквол возвращался в обитаемые части Замка быстро и целенаправленно. Бледное солнце висело шаром желтой пылицы в пустом выцветшем небе. Тень Щуквола бежала по камням, распластываясь по плитам дворов или вытягиваясь по бледно освещенным стенам. Тень Щуквола казалась такой же живой и целеустремленной, как и тело, которое ее отбрасывало. Лицо Щуквола было очень выразительно: бледное, глаза красные с непроницаемым взглядом, губы поджаты. Щуквол спешил. Его ждало неотложное дело.

Солнце заволокло тучами, и тень Щуквола исчезла. Щуквол, бегущий по коридорам, переходам, дворам, спускавшийся и поднимающийся по гниющим ступеням, теперь сам казался зловещей тенью. Отчего этот стройный человек с уверенными, точными движениями вызывал такое чувство присутствия зла?

Солнце на некоторое время выглянуло снова, и опять по стенам побежала зловещая тень. Тени человеческих существ, выглядящих более страшно или гротескно, чем Щуквол, и то выглядели бы значительно менее угрожающе. Щуквол, слегка сутулясь и вытянув голову вперед, не сбавлял шагу. Когда он в очередной раз проходил открытое пространство, солнце окончательно прикрыла туча, заполнившая полнеба.

Почти тут же пошел дождь, и стало значительно темнее. Огромные массы облаков, волочившиеся по небу как грязное белье, мчались на север. Когда многослойные тучи быстро затянули все небо, с которого так недавно светило солнце, произошло нечто странное.

Невиданная в дневное время тьма опустилась на Горменгаст. Щуквол видел, как по сторонам там и сям стали зажигаться окна. Разобрать, что творилось в почерневшем небе, уже не было никакой возможности, но ясно было, что новые порции плотных и насыщенных влагой облаков вываливались из-за горизонта, заковывая небеса в непроницаемые низко висящие облачные слои.

Шум дождя, обрушившегося на крыши, становился все более громким. Вода шипела и бурлила в водостоках, щелях между камнями и в тысячах выбоин, за много столетий выеденных в камне дождями и ветрами. Наступление небесного облачного воинства было столь быстрым, что Щукволу не удалось избежать первых ударов дождя, но он обрушивался на его голову и плечи всего несколько кратких мгновений – Щуквол в неожиданно опустившейся кромешной тьме бросился бежать по направлению к ближайшему засветившемуся окну и оказался в той части Замка, которая ему была уже очень хорошо знакома. Отсюда он мог проделать дальнейший путь, не выходя на открытые участки.

Темнота, столь неожиданно объявляя Замок, казалась давящей и удушающей. Проходя по уже освещенным коридорам, он видел, как тут и там собирались группы людей, всматривающихся в преждевременную ночь. На их лицах было написано выражение удивления и даже страха. Странная прихоть природы, словно черными повязками, укрыла солнце, уже клонившееся к западу, и наполнила атмосферу удушающим напряжением, которое казалось порождением отнюдь не только материальных причин.

Для того чтобы рассеять неожиданно опустившуюся темноту, были зажжены все имеющиеся фонари, светильники, свечи и лампы и использованы все возможные импровизированные отражатели света – стеклянные, жестяные, золотые подносы и тарелки и даже медная посуда, которую тщательно напустили.

Бесчисленные свечи плакали горячими восковыми слезами; их пламя, как крошечные флажки, подрагивало в потоках воздуха, непредсказуемо менявших направление. Тысячи фонарей и ламп как с обнаженными фитилями, так и прикрытые цветными или прозрачными

стеклами, горели желтым, фиолетовым, травянисто-зеленым, кроваво-красным и даже сероватым светом. Горменгаст изнутри засиял красками рая – или ада. Эти краски были райскими или адскими в зависимости лишь от того, кто воспринимал их. Один видел адские огни; другой – сияние небесного Иерусалима; третий – радужное сияние перьев серафимов; четвертый – поблескивание чешуи сатаны.

Щуквол, быстро двигавшийся в этом световом калейдоскопе, слышал, как дождь все набирает силу. Он добрался до своего рода перешейка между двумя большими частями внутренних помещений – коридора с аркадой по обеим сторонам и круглыми окнами, сквозь которые была видна внешняя тьма. В трех местах этой крытой и весьма длинной аркады на более или менее равномерных промежутках располагались источники света... Первым из них была очень большая позеленевшая от времени медная лампа с огромным фитилем, толщиной в язык овцы, плавающим в масле. Над фитилем было установлено стеклянное покрытие невероятно уродливой формы, но цвет стекла был поистине великолепен. Сказать, что он был голубовато-фиолетовый – это еще ничего не сказать, ибо как передать словами глубину и богатство этого цвета и ту подводную атмосферу, которая возникала вокруг лампы благодаря этому стеклу?

Два других светильника – один с мрачным красно-фиолетовым, а другой с айсбергово-зеленым стеклом – создавали вокруг себя свою собственную атмосферу, не менее театральную, чем первый. Круглые и, как ни странно, застекленные окна вовсе не казались просто черными дырами в стене. С внешней стороны по этим ничего не выражающим стеклянным глазницам стекали струи дождя, которые, казалось, не двигались, а застыли как струны, натянутые поперек черных кругов, в зависимости от того, свет какой лампы на них попадал, они окрашивались в фиолетово-голубой, красно-фиолетовый или зеленоватый оттенок. Это создавало некий серпантинный эффект, впечатление чего-то ядовитого, экзотического, безжалостного. А можно было и вообразить, что коридор ушел под воду и сквозь окна-иллюминаторы видны проплывающие мимо морские змеи, сопровождаемые рептилиевым шипением дождя.

Тень Щуквола, быстро шагавшего по коридору, то бежала впереди него, словно стремясь первой добраться до точки встречи с телом, которое отбрасывало ее, то следовала за ним, выскакивая из-под ног, бросаясь вдогонку, при этом постоянно меняя свой цвет.

Все это время мысли Щуквола были заняты сестрами-близнецами; он раздумывал над причиной их такого неожиданного для него бунта и над тем, что следует предпринять, чтобы окончательно избавиться от них. Но когда он прошел коридор-перешеек и попал на континент помещений Замка, столь хорошо ему знакомый, он еще более ускорил шаг, с завидной легкостью изгнал из головы все мысли о Коре и Клариссе, ибо перед ним стояло более неотложное дело. И заполнил их Баркентином.

Тень Щуквола взбежала по лестнице, пробежала по лестничной площадке, спустилась на несколько ступеней вниз. Потом несколько шагов она двигалась рядом с телом, которое ее отбрасывало, а затем снова убежала вперед. За следующим поворотом она вскарабкалась на стену, потемнела, выросла до гигантских размеров, уперлась своей головой под потолок. Время от времени черный профиль извивался и расплывался – тень скользила по густым паутинным сетям, застилавшим то в одном, то в другом месте стык стены и потолка.

Затем гигантская тень стала съеживаться, соскользнув со стены, забежала вперед и снова обогнала своего хозяина. Наконец она стала короткой, плотной, уродливой, ужасной. Она вела Щуквола туда, где ее дальнейшее передвижение должно было прекратиться.

Глава тридцать девятая

Баркентин сидел у себя в комнате, подтянув сухую ногу к подбородку. Его волосы, грязные, как паутина, увешанная мухами, безжизненными сухими прядями падали на лицо. Его кожа, такая же грязная и такая же сухая, была испещрена выбоинами и трещинами, как высохший кусок сыра, но посреди этого омертвело-лунного пейзажа сияли два зловещих озера – два злобных слезящихся глаза.

Внизу, под разбитым окном в дальнем конце комнаты, простиралась застоялая вода рва. Баркентин, подтянув колено ссохшейся ноги к лицу, прислонив костыль к спинке плетеного кресла, сцепив руки вокруг колена, набив рот бородой – сидел в такой позе уже больше часа. На столе перед ним было разложено множество раскрытых и нераскрытых книг; то были книги по Ритуалу и прецедентам; тут были справочники, книги шифров и тайных знаний. Но взгляд Баркентина был направлен не на эти книги. Глаза Баркентина, которые сохраняли свое безжалостное выражение несмотря на то, что они невидяще глядели перед собой и поблескивали влагой из иссушенных глазниц, не заметили, а уши не услышали, как кто-то бесшумной тенью вошел в комнату. Тень эта двигалась совершенно беззвучно, она казалась частью воздуха, черным порождением ада, прячущимся за кипами книг – книг всевозможнейших размеров и в разной степени разрушения и разложения. В полутьме на некоторых обложках поблескивали тусклым золотом потертые буквы; тусклый блеск погасал, когда на него надвигалась бесшумная тень.

Но о чем же думал сморщенный, грязный и отвратительный карлик?

А думал он о том, что в жизни Горменгаста, в самом его сердце, в его мозгу, произошли непонятно откуда взявшиеся перемены. Но перемены эти были столь тонкими и трудноуловимыми, что Баркентин никак не мог точно определить, в чем же они заключаются. Он не мог выявить их обычным рациональным способом, но тем не менее он чувствовал их нутром, чувствовал, что эти перемены пагубны, ибо для него все, что было направлено против древних традиций и Ритуала, все, что пахло бунтом, являлось пагубным.

Горменгаст был не таким, как раньше. Баркентин знал это наверняка. Среди его камней завелась какая-то чертовщина. Но что именно было не так, он не мог сказать. И вовсе не потому, что был старым человеком и, как свойственно вообще старым людям, полагал, что в дни его юности все было лучше. Он вовсе не имел никаких сентиментальных чувств по отношению к своей юности. Она была безрадостной и лишенной какой-либо человеческой теплоты. Но жалости к себе он тоже не испытывал. Единственной его любовью была любовь к мертвой букве Закона Замка, слепая, страстная и жестокая, такая же глубинная, как и его ненависть. Ко всем членам семьи Стонов он относился с меньшим почтением, чем к самому незначительному и скучному из обрядов, который им было положено выполнять. Он склонял перед ними свою старую грязную голову лишь как перед символами традиции. К Титу он не испытывал никакой любви – его заботило лишь то значение, которое он имел как последнее звено в бесконечной цепи... В мальчике было нечто, что внушало ему беспокойство – его непоседливость, независимость. Было такое впечатление, что мальчика, этого наследника власти над миром башен Горменгаста, влекли другие земли, теплые, таинственные, запретные. Казалось, что даже в том, как мальчик двигается – нервно, неуклюже, – отражается то, что у него на уме. В движениях мальчика было нечто враждебное Горменгасту, что-то влекло его за пределы Замка в неизведанный, привлекающий этой своей неизведанностью мир.

Но Баркентин знал, что семьдесят седьмой Герцог никогда не удалялся от Замка слишком далеко, и постарался выбросить из головы свои сомнения по поводу Тита. И все же сомнения

оставались, как оставался какой-то едкий привкус, привкус бунта. Молодой Герцог был все-таки слишком независим. У Баркентина складывалось впечатление, что мальчик намеренно отделяет свою жизнь от жизни Замка.

Но помимо Тита беспокойство Баркентину внушал и Щуквол. Без сомнения он был сообразительным, полезным учеником, но он представлял собой опасность именно в связи с теми качествами, которыми обладал. Что делать с ним? Он и так уже слишком много знает. Он получил доступ к книгам, к которым нельзя было его подпускать, и разобрался в них слишком быстро. В этом Щукволе было нечто враждебное Замку, отстраненное от его жизни, нечто такое, что выдавало в нем устремленность к некой высшей цели. Но какой?

Баркентину пришлось несколько поменять свое положение в кресле; он прорычал от раздражения, вызванного резкой болью, пронзившей его сухую ногу, когда он перемещал ее, и своей неспособностью докопаться до сути и источника тех перемен, которые так беспокоили его. Ему, как Хранителю Закона Замка, страстно хотелось предпринять что-то, растоптать, если понадобится, десяток недовольных. Но Баркентин не мог найти конкретной цели, на которую мог бы обрушить свой праведный гнев. О, если он обнаружит, что Щуквол хоть в малейшей степени не должным образом воспользовался тем доверием, которое, пусть и неохотно, было ему оказано, тогда он, Баркентин, применит всю данную ему власть и добьется того, чтобы этого бледного негодяя сбросили с Кремниевой Башни! Да, Баркентин будет наносить удары налево и направо с безжалостной яростью фанатика, для которого в мире существует лишь два цвета: черный и белый. Зло и сомнение – одно и то же. Испытывать сомнение в священности Камней Горменгаста равносильно богохульству! Но где, где прячется зло? Вот оно, где-то рядом, – стоит сделать еще одно умственное усилие и он найдет его! Но увы: хотя он пытливим внутренним взором всматривался в жизнь Замка, он видел лишь ее обычное течение.

Неужели он не в состоянии закапканить это ползучее зло и вывести его на свет? Неужели не может успокоить свои подозрения? Подозрения, которые не давали ему спать длинными ночами, которые постоянно грызли его? Болезнь Замка он воспринимал как свою собственную.

– Клянусь всеми исчадиями ада, – прошептал Баркентин (и этот шепот прозвучал как пересыпающийся песок), – я найду это зло, пусть даже оно прячется как летучая мышь в подземелье или как, крыса в глухих переходах!

Баркентин почесался вокруг крестца и в низу живота и снова поменял свое положение в кресле.

И вот тогда тень, которая лежала на книжных полках, слегка передвинулась. Вздернулись плечи, темный силуэт переместился подальше от двери, по кожаным корешкам книг беззвучно проскользнула тень.

Баркентин бросил взгляд на книги, разбросанные по столу, и совершенно неожиданно и незванно его посетило воспоминание о том, что он когда-то был женат. Что случилось с его женой, он вспомнить не мог – и предположил, что она умерла.

Баркентин не мог вспомнить ее лица, но вспомнил – возможно, ненужное воспоминание было вызвано видом бумажных листов книг, раскрытых перед ним, – как она плакала и делала при этом – вряд ли осознавая, что она, собственно, делает, – бумажные кораблики, вырывая листы из книг; сделанные кораблики, мокрые от ее слез и все в пятнах от ее грязных рук – грязь прочно въелась в ее потрескавшиеся руки, – она запускала в плавание на материи своей натянутой между коленями юбки или оставляла на полу и на покрывале кровати, сделанном из грубой ткани; кораблики напоминали опавшие листья, мокрые, захватанные грязными пальцами и все же изящные; выброшенные на берег остатки флотилии печали и сумасшествия.

А потом он вспомнил – и от этого воспоминания вздрогнул, – что она родила ему сына. Или дочь? В последний раз он видел своего ребенка более сорока лет тому назад. Как теперь найти

его? Но найти его нужно. Баркентин припомнил, что половину лица ребенка закрывало родимое пятно и что он сильно косил глазами.

Одно воспоминание потянуло за собой другие; они спотыкающейся вереницей потекли перед его внутренним взором, и в каждом из них он видел себя ничтожным карликом, едва достающим до колен взрослого человека; ему постоянно приходилось задираť голову, он постоянно был объектом насмешек и презрения; он вспоминал, как росла его ненависть, он снова переживал те моменты, когда из рук у него выбивали костыль, когда мальчишки кричали ему вслед: «Сгнившая нога, сгнившая спина, рожа, как тина, у Баркентина!»

Но все это давно в прошлом. Теперь боялись его. И ненавидели.

Баркентин сидел спиной к двери и книжным шкафам и не видел, что тень придвинулась к нему еще ближе. Баркентин поднял голову и злобно сплюнул.

Взяв со стола листик бумаги, он, не отдавая себе отчета в том, что делает, стал складывать кораблик.

– Это слишком долго продолжалось, – бормотал он, обращаясь к самому себе, – слишком долго. Клянусь кровью старой ведьмы, он должен исчезнуть. С ним должно быть покончено. Навсегда. Окончательно. Мне не нужны никакие помощники. Я должен быть один, а иначе, клянусь Ритуалом, я поставлю под угрозу Сокровенные Тайны. А если я не избавлюсь от него, он быстренько выудит у меня то, что ему нужно.

А пока он бормотал, тень человека, о котором он говорил, скользила по корешкам книг, а тело, которое ее отбрасывало, продвигалось все ближе и ближе к Баркентину. Наконец Щуквол остановился непосредственно за спиной калеки.

Щуквол никак не мог решить, каким способом убить Баркентина. О, в его распоряжении было предостаточно способов это сделать! Его ночные визиты в аптечную комнату Доктора Хламслива оснастили его целым набором страшных ядов. Его кинжал, спрятанный в трости, словно сам себя предлагал. Его рогатка была вовсе не игрушкой, и выстрел из нее с определенного расстояния мог принести почти бесшумную смерть. Щуквол мог бы ударом ребра ладони перебить шейные позвонки своей жертве; он умел бросать нож в цель с исключительной силой и точностью – ведь неспроста каждое утро в течение нескольких лет он тренировался в метании ножа в вырезанную из дерева фигуру человека и разбивании ребром ладони толстых досок.

Но просто убить старика было еще недостаточно – надо было все сделать так, чтобы не оставалось следов; нужно было избавиться от тела и в тоже время соединить приятное с полезным таким образом, чтобы ни то, ни другое не перевешивало. О, у него много старых счетов, которые он должен свести со стариком! Этот калека плевал на него своей гадкой слюной, всячески поносил его и издевался над ним, и за все это должна последовать расплата. Но пресечь жизнь карлика самым быстрым и действенным способом было бы Щукволу совершенно недостаточно. Этого Щуквол всегда бы потом стыдился.

Но то, что произошло дальше и то, как умер Баркентин, совершенно не соответствовало планам, которые строил Щуквол.

Баркентин, совершенно не подозревая о том, что кто-то стоит у него за спиной, наклонился вперед и, потянувшись через стол над книгами и бумагами, подтянул себя к ржавому подсвечнику с тремя свечами; покопавшись в лохмотьях и найдя наконец то, что ему нужно было, Баркентин зажег свечи. Тень, отбрасываемая Щукволом, снова прыгнула на стену, заставленную книгами, и, побледнев, лишилась своей темной силы.

С того места, где стоял Щуквол, он видел поперх плеча Баркентина медово-желтые язычки пламени трех свечей. Каждый язычок по форме был как листик бамбука, пламя было тонкое, изящное, подрагивающее на фоне сгустившейся вокруг тьмы. Баркентин своим черным

силуэтом частично загоразивал сияние свечей. Но когда он слегка передвинулся в сторону, Щуквол увидел свечи и подсвечник во всей их полноте, и ему в голову пришла идея, которая в мгновение показала ему, что все его планы устранения Баркентина были жалко-дилетантскими, несмотря на всю их изощренность, или, точнее, именно благодаря своей изощренности. Им недоставало обманчивой простоты, которая есть признак высокого искусства.

Вот – перед ним стоит подсвечник с тремя золотистыми огоньками, слегка подрагивающими и разгоняющими вокруг себя мрачную темноту. А вот совсем рядом с ним старик, которого он, Щуквол, хочет убить, но смерть его при этом не должна быть мгновенной. Лохмотья этого старика, его кожа, его борода, его волосы были такими сухими и легковоспламеняющимися, что даже самый требовательный поджигатель был бы вполне удовлетворен их состоянием. Разве не может такой ветхий человек, как Баркентин, неосторожно наклониться над столом, на котором стоят зажженные свечи, и – раз! – поджечь себе бороду? И что может быть забавнее картины пылающего, вечно всем недовольного, невероятно грязного карлика-тирана? Лохмотья в огне, кожа дымится, борода как желто-красная золотая рыбка! И что останется делать Щукволу? О, через некоторое время только обнаружить обгоревшие останки и сообщить всему Замку о случившемся несчастье!

Щуквол быстро оглянулся. Дверь закрыта. В такое время вряд ли кто-нибудь придет беспокоить Баркентина. Тишина, царившая в комнате, лишь подчеркивалась тихим, скрипящим дыханием Баркентина.

Как только Щуквол до конца оценил преимущества, открывающиеся в предании огню этого скрюченного гнома, сидевшего перед ним, он вытащил свой длинный кинжал из ножен-трости и поднял его так, что жало было направлено в шею Баркентина, немного ниже левого уха.

И вот теперь, когда Щуквол был уже так близок к свершению страшного и кровавого деяния, его охватили странные чувства, сквозь которые явственнее всего пробивалась холодная и ядовитая ярость. Возможно, сухой корень давно умерщвленной совести шевельнулся в его груди: возможно, Щуквол вдруг почувствовал, что убийство может вызвать в нем чувство вины, – как бы там ни было, но вспышка гнева и ненависти исказила его бледное лицо, казалось, скованное льдом море встрепенулось, черные воды вырвались непокорно из глубин, но утихла буря так же быстро, как и взыграла. Лицо Щуквола снова превратилось в неподвижную белую маску, и задрожавший было кончик кинжала, направленный под изъеденное временем ухо, снова замер.

И тут раздался стук в дверь. Голова старого карлика повернулась, но в сторону от Щуквола и его изготовленного для удара оружия.

– Пошел к черту тот, кто стучит! Кто бы это ни был! Сегодня я никакого сукиного сына не хочу видеть!

– Слушаюсь, господин Баркентин, – пробубнил из-за двери чей-то голос, с трудом пробившийся сквозь толстые деревянные створки, потом раздались едва слышные шаги, и снова наступила тишина.

Баркентин повернул голову в другую сторону и почесал себе живот.

– Нахальная тварь, – пробормотал Баркентин – Я расправлюсь с ним! Больше не будет светится вокруг эта белая рожа! Сотру с него этот блеск! Клянусь кишками сатаны, он слишком сияет! «Будет исполнено, господин Баркентин!». «Готово, господин Баркентин!» «Слушаюсь, господин Баркентин!». Только от него и слышишь! Но что в этом хорошего? Что хорошего? Выскочка! Ссыкун!

Баркентин снова начал чесать в паху, потом перешел на ягодицы, живот и ребра.

– И пожри это все огонь! – воскликнул Баркентин. – Внутри все переворачивается, сердце ноет! Разве это Герцог? Ничтожное отродье! Графиня? Безумная баба, свихнувшаяся на кошках!

А что я? Кто мне помогает? Только этот выскочка, ублюдок Щуквол!

Щуквол грациозно, но очень крепко державший кинжал, почти вплотную приблизил его тонкий, как иголка, кончик к шее Баркентина и, слегка округлив губы, цокнул языком. В этот раз, когда Баркентин, реагируя на странный звук, повернул голову, он получил полдьюма стали в шею ниже уха. Баркентин оцепенел, в горле застыл крик, который так и не вырвался наружу. Щуквол вытащил клинок, и струйка темно-красной крови потекла по морщинистой, как у черепахи, шее. Баркентин весь затрясся, и каждая часть его тела сокращалась и дергалась словно сама по себе, вне зависимости от всех остальных. Непонятно, как он не вывалился из кресла. Но эти конвульсии неожиданно прекратились. Баркентин медленно повернул голову к Щукволу, который стоял, с полуулыбкой на лице, в раздумье, зажав подбородок в руке и глядя на Баркентина. Холодок пробежал по спине Щуквола и улыбка сползла с его лица, когда он увидел, как выражение невероятной ненависти превратило лицо Хранителя Ритуала в клубок змей. Глаза наполнились ядовитой жидкостью и, казалось, засветились изнутри дьявольским светом. Губы и морщины вокруг них подергивались. На грязном лбу и шее появились капли отравленного пота.

Но за этой внешностью прятался трезво работающий мозг, который, несмотря на то что стоящий с кинжалом в руках и улыбающийся Щуквол имел, казалось бы, полное преимущество, сообразил, что нужно делать, и тем самым лишил Щуквола этого изначального преимущества. Баркентин был бы действительно совершенно беззащитен, если бы ему не удалось добраться до того предмета, который лежал на полу рядом с креслом. И прежде чем Щуквол, допустивший здесь большой промах, сообразил, что происходит, Баркентин выпрыгнул из кресла, кучей тряпья упал на пол и прикрыл собой то, что составляло его единственную надежду – его костыль. В мгновение ока Баркентин схватил его, тут же вскочил и, подсакивая и громко стуча костылем об пол, бросился за кресло; прячась за ним, он устремил сквозь плетение спинки на своего вооруженного, молодого и подвижного врага страшный взгляд красных глаз.

В этом взгляде было сосредоточено столько напряженной живой силы, что Щуквол, несмотря на свою молодость, свое оружие, свои здоровые две ноги, почувствовал некоторый трепет перед лицом такой пылающей ненависти, заключенной в столь иссушенном и крошечном теле. Его также немного смутило то, что Баркентин оказался проворнее, чем ожидалось. Правда, и теперь предстоящая дуэль должна была быть смехотворно односторонней: с одной стороны – дряхлый карлик на костыле, а с другой – молодой, физически хорошо тренированный человек, вооруженный и умеющий отлично пользоваться своим оружием. Однако Щуквола раздражала мысль о том, что если бы он сообразил первым делом – отнять у калеки костыль, тот оказался бы столь же беззащитным, как и черепаха, перевернутая на спину.

В течение нескольких мгновений Баркентин и Щуквол смотрели друг на друга, ничего при этом не предпринимая; на лице Баркентина выражались все его чувства; на лице Щуквола не отражалось ничего. Затем Щуквол, пятясь и не спуская глаз с Баркентина – теперь он уже не хотел рисковать (Баркентин показал, сколь быстрым он может быть), – медленно двинулся к двери. Подойдя к ней, он открыл ее и выглянул. Бросив быстрый взгляд в обе стороны длинного узкого коридора и убедившись, что поблизости никого нет, он плотно закрыл дверь и осторожно направился к креслу, из-за которого выглядывал карлик.

Щуквол, приближаясь к карлику, не сводил с него глаз, но мысли его вращались вокруг подсвечника. Баркентин и предположить не мог, что огоньки свечей, подрагивающие над плавущим воском столь близко от него, должны были сжечь его, те огоньки, которые он сам вызвал к жизни, должны были окончить его жизнь!

Щуквол продолжал свое смертоносное наступление. Что мог предпринять этот калека, прячущийся за креслом? И вдруг Баркентин голосом, который прозвучал странным диссонансом

с демоническим видом его лица, ибо он был совершенно спокойным и холодно-презрительным, сказал:

– Предатель.

Баркентин готовился сразиться – но не за свою жизнь. Произнесенное им слово, словно заморозившее воздух, напомнило Щукволу то, о чем он забыл: вступая в схватку с Баркентином, он вступает в схватку с Горменгастом. Перед ним было живое воплощение Замка, его незапамятных традиций.

Ну и что из этого? Это просто значило, что Щукволу следует быть осторожным, что он должен держаться на расстоянии, пока не придет момент последнего, решительного удара. Щуквол продолжал приближаться. И когда он уже был в пределах досягаемости костыля, то неожиданно бросился в сторону и, обежав стол и выставив перед собой свой длинный кинжал, мгновенно вытащил из кармана нож и тут же открыл его. В тот момент, когда Баркентин развернулся, чтобы стать лицом к своему врагу, Щуквол швырнул нож. Нож, проткнув золотистый свет свечей, просвистел в воздухе и, как того и хотел Щуквол, вонзился в руку, пришив ее к костылю. Пока Баркентин не пришел в себя от удивления и боли, Щуквол вскочил на стол и прыгнул в сторону старика, который в слепом бешенстве дергал за ручку ножа. Подхватив подсвечник, Щуквол одним движением сунул его в повернутое к нему лицо Баркентина. Борода тут же вспыхнула, а мгновением позже потрескивающий огонь перекинулся на ветхие лохмотья на плечах старика.

Но и в этот момент, хотя тело Баркентина уже дергалось от страшной боли, мозг его принял незамедлительное решение. Не теряя ни секунды, не обращая внимания на нож, все еще торчащий из его руки – костыль уже отвалился, – калека, оттолкнувшись от пола своей действующей ногой, нечеловеческим усилием прыгнул вперед и ухватился за одежду Щуквола. Не отпуская попавшую в железную хватку одежду и перебирая руками – казалось, от напряжения старые мускулы порвутся, а сердце выпрыгнет из груди, – Баркентин подтянул себя вплотную к Щукволу. Со стороны могло бы показаться, что на молодого человека вскочила пылающая обезьяна. Баркентин столь плотно прижимался к Щукволу, что одежда того тоже загорелась. Невероятная боль терзала лицо Баркентина и его грудь, но он все крепче прижимался к своему врагу. Да, он знал, что умрет, но предатель должен умереть тоже, и несмотря на мучавшую его боль, в нем вспыхнула радость – радость праведного отмщения.

А Щуквол пытался оторвать от себя пылающую пиявку; он рвал Баркентина руками, ударял снизу коленями: лицо его исказилось гримасой ярости, удивления и отчаяния.

Одежда Щуквола, хоть и не такая легковоспламеняющаяся, как изношенные лохмотья Баркентина, уже горела в нескольких местах, и пламя обжигало его щеки и шею. Но чем больше усилий применял Щуквол, чтобы отодрать от себя прильнувшего к нему Баркентина, тем, казалось, крепче прилипал к нему старик.

Случись кому-нибудь в этот момент открыть дверь, он увидел бы человека, объятых пламенем – карлика в первый момент вряд ли бы увидели, – пляшущего на столе и попирающего ногами священные книги, тело Щуквола извивалось, выпрямлялось и снова корчилось, словно в припадке пляски Святого Вита. Дергающимися руками Щуквол сжимал черепашую шею пылающего карлика. После одного, особого сильного рывка, оба врага, сжимающие друг друга в огненном объятии, сорвались с края стола и рухнули дымящейся грудой на пол.

Даже в этот момент, когда его терзала страшная боль и когда над ним нависла реальная угроза смерти, Щуквол ощущал горький стыд – как получилось так, что он, Щуквол, столь тщательно все продумавший, холодный и расчетливый, столь позорным образом испортил все дело? Его расчетливость и осторожность оказались побитыми завшивленным древним

стариком! Но стыд этот вызвал в нем безумную ярость и придал сил.

Отчаянным напряжением всех сил, в котором от переизбытка свирепой целеустремленности было нечто дьявольское, Щукволу удалось подняться на колени, а потом спазматическим рывком и на ноги Щуквол отпустил горло старика и, опустив руки, стоял покачиваясь и издавая стоны. Боль, его охватившая, была столь сильна, что он стонал, даже не отдавая себе в этом отчета. Эти стоны миновали его безжалостное сознание, они вырывались из самой глубины его физического естества, не подконтрольного его рассудку.

А Хранитель Ритуала все так же висел у него на груди, прильнув к ней как вампир. Сквозь гримасу боли на его лице просвечивало дьявольское ликование, пламя, убивающее его, убьет и предателя! Он, Баркентин, сжигал своим пламенем нечестивца!

Но нечестивец, несмотря на огненные объятия Хранителя Ритуала, был совсем еще не готов принести себя в жертву, сколь праведной и заслуженной с точки зрения Баркентина она бы ни была. Щуквол замер лишь для того, чтобы собраться с силами, и опустил руки только потому, что ему удалось каким-то нечеловеческим усилием подчинить страдающее тело контролю холодного разума.

Щуквол понял, что ему не удастся освободиться от смертельной хватки фанатика. И поэтому он замер на мгновение, слегка покачиваясь, но тем не менее удерживаясь на ногах; он откинул голову назад, чтобы насколько можно дальше отстраниться от языков пламени, поднимавшихся от пылающего карлика, который словно сросся с телом Щуквола, и от собственной одежды. Но стоять вот так, опустив руки и расслабившись, в момент смертельной опасности и мучительнейшей боли – о, это требовало поистине нечеловеческой воли и невероятного самообладания.

Теперь, когда ситуация полностью вышла из-под контроля, речь уже не могла идти о том, какой курс действий следует выбрать – уже нельзя было просто думать о том, как убить Баркентина, – нужно было спасаться самому. Возврата к первоначально задуманному плану быть не могло – Щуквол был охвачен пламенем.

У него оставался лишь один выход. Баркентин, висевший у него на груди, не сковывал его движений, и это давало еще несколько секунд. От страшной боли у Щуквола кружилась голова, все меркло в глазах, но несмотря на это, Щуквол, пошатываясь и расставив в стороны руки, бросился бежать в дальний конец комнаты, туда, где находилось окно, в которое заглядывала темнота. Щуквол вспрыгнул на подоконник. На краткое мгновение человеческий факел замер на черном фоне как огненный демон, а затем Щуквол, выбив стекло, прыгнул вместе с ношей в черноту дождя. Они упали в черные воды рва, находившегося прямо под окном.

При ударе об воду вверх взметнулись брызги и пар. С шипением пламя погасло, а два тела погрузились глубоко под воду. Но даже там, в глубине, они оставались неразделенными, как некий уродливый мифический зверь.

Когда Щуквол наконец вынырнул на поверхность – ему казалось, что он умер и снова воскрес, – он тут же ощутил, что не избавился от своего страшного груза. Его стошнило, а когда сознание вернулось к нему, Щуквол дико завыл. Но кошмар не отступал – все происходило наяву, а не во сне, и вой лишь подчеркнул ужас происходящего. И когда отступившая на несколько мгновений боль вернулась вновь, Щуквол окончательно осознал, что все происходящее ему не снится.

И тогда он понял, что ему нужно делать – ему нужно удерживать под водой эту голову, торчащую у его груди и обгоревшую так, что на ней не осталось ни единого волоска. Но сделать это было отнюдь не легко. Голова и шея Баркентина, как и руки Щуквола, были покрыты скользким, как слизь, илом, поднявшимся со дна. Несмотря на это, цепкие руки Баркентина продолжали, как щупальца, охватывать Щуквола. То, что Щуквол и Баркентин тут же не

утонули, было само по себе чуть ли не чудом. Возможно, этому способствовала плотность застойной воды, а может быть, неистово бьющиеся под водой ноги Щуквола удерживали их на поверхности.

Но Щукволу все же удалось затолкать голову старика под воду; его руки злобно вцепились в жилистую шею, не давая возможности Баркентину снова вырваться из черной воды. Вокруг них бурлила тяжелая вязкая жидкость, на поверхности которой прыгали и лопались пузырьки воздуха. Дождь к этому времени прекратился так же неожиданно, как и начался, и в тиши настороженной ночи раздавался лишь плеск взбудораженной во рву воды.

Щуквол не мог сказать, сколько времени голова старика оставалась под водой, но наконец хватка калеки стала ослабевать. Убийце казалось, что Баркентин умирал целую вечность. Но постепенно легкие Наследственного Хранителя Ритуала и Обрядов Горменгаста наполнились водой, сердце перестало биться, руки разжались – и он погрузился в илистые глубины древнего рва.

Тучи сползли с небес, явила свой лик луна, и россыпью замерцали звезды. Но их света было недостаточно, чтобы осветить стены и башни, расположенные вдоль рва, чернильная темнота сменилась серым мраком, в котором обозначились массивы стен и башен.

Оглядевшись вокруг, Щуквол понял, что, несмотря на невероятную усталость, охватившую его, и безжалостную боль, ему придется плыть сквозь отбросы, пену и ряску, чтобы добраться до того места, где стены, круто вздымающиеся прямо от воды рва вверх к небу, уступят место глинистым берегам. Но стены по обеим сторонам рва, казалось, тянулись бесконечно. Отвратительная, дурно пахнущая жижа попадала ему в рог, мерзкие водоросли облепляли лицо и руки, цеплялись за ноги. Щуквол с трудом различал, что творилось вокруг него, но тем не менее сразу почувствовал, когда стена, тянувшаяся справа от него, отошла в сторону и уступила место крутому и скользкому берегу.

Пока Щуквол плыл, вода сорвала с него остатки обгоревшей одежды и он остался почти совершенно обнаженным. Наконец ему удалось стать у берега на ноги. Все тело было покрыто ожогами, его сотрясала дрожь, ледяной холод охватил все его члены, колени подгибались, лицо горело от болезненного жара.

Щуквол выполз на берег; он плохо соображал, но знал, что ему нужно найти место, где не будет ни огня, ни воды. Наконец он дополз до ровного участка, покрытого грязью и мокрого от недавнего дождя; из земли торчали редкие, но большие папоротники и другие растения, обычно произрастающие в болотистых местах. Щуквол, растянувшись в грязи так, словно все важные дела были завершены и теперь он мог позволить себе расслабиться и потерять сознание, погрузился в черноту.

Щуквол лежал в грязи, как выброшенная на берег безжизненная рыба. Могучими скалами вздымались вокруг башни и стены, уходившие в ночное небо, и рядом с ними неподвижное обнаженное тело казалось маленьким, щуплым и никому не нужным.

Глава сороковая

Солнце согревало мрачный камень Горменгаста, птицы сонливо прятались в тени его башен, повсюду царила тишина, нарушаемая лишь жужжанием пчел, снующих среди вьющихся растений, в полуденном затишье зеленый дух леса задержал дыхание, как пловец перед прыжком в воду. Лениво ползло время, все спало или находилось в оцепенении. Стволы могучих дубов были покрыты пятнами золотистого света и прихотливыми тенями, их раскидистые ветви тянулись в стороны как руки правителей давних времен, отягощенные золотыми браслетами солнечного света. Неподвижность бесконечного дня не нарушало никакое движение. Но вот с одной ветви сорвалось что-то, и в тишине прозвучал шепот потревоженных листьев. Покров тишины и неподвижности был проткнут, но ранка почти тут же затянулась.

Но что же нарушило этот покой и бездвижность? Никакой лесной зверь не рискнул бы пролететь такое расстояние сквозь зеленый полумрак. Нет, это создание имело человеческий облик. Оно было похоже на ребенка, с густыми короткими волосами и личиком, покрытым веснушками, как яйцо какой-то птицы. Стройное, худенькое тело, обрызганное пятнышками света, как невесомое, зависло в воздухе.

Но черты лица этого существа описать было бы очень трудно. Можно было лишь догадаться, что это девочка. Ее лицо напоминало маску, в которой не было ничего отталкивающего, равно как и привлекательного. Глядя на это лицо-маску, нельзя было определить и то, что у этого существа было на уме. И все же, несмотря на то что черты этого лица были столь неопределенны, голова с таким изяществом сидела на длинной шее, шея так безупречно и так гармонично соединялась с хрупким телом, движения головы, шеи и тела были столь выразительны, что не возникало ощущения какой-то ущербности лица, наоборот, если бы лицо обладало своей собственной жизнью, то это бы разрушило тот отрешенный, неземной и таинственный вид, которым обладало создание.

Это удивительное создание, казавшееся единственным живым существом во всем задремавшем дубовом лесу, зависнув над землей, неприятно быстрыми движениями пальцев стало общипывать перышки с дрозда, которого оно успело схватить во время полета сквозь листву и удушить в маленькой жестокой ручке.

Глава сорок первая

Тысячи глинобитных хижин поселения Тех, Кто Живет вне Замка, обсыпали землю, залитую теплым солнечным светом, как холмики кротов. Эти поселенцы, или Резчики, как их часто называли, имели свои собственные ритуалы, отличные от ритуалов Замка внутри стен, но не менее священные и неизменные.

Живущие вне Замка, хотя и пребывали в вечной нищете и были подвержены болезням, которые обычны среди тех, кто влачит жизнь в нескончаемой нужде, были людьми гордыми, хотя и нетерпимыми и даже фанатичными. Они были горды своим традициями, своим талантом резчиков, казалось, они были горды даже своим бедственным положением. Если бы кто-нибудь из их числа выбрался из нищеты и достиг высокого положения и богатства или стал бы чем-нибудь знаменит, то это породило бы в них чувство стыда и унижения. Но что такое могло бы произойти, было совершенно невероятно. Живущие вне Замка считали своим главным достоянием свою безвестность и анонимность. Все остальное ими презиралось и отвергалось – за исключением семейства Стонов, которому они присягали на верность и благодаря высочайшему дозволению которого могли жить у Внешних Стен. Когда по древней традиции со стен вниз одновременно опускались подвешенные на веревках сотни огромных мешков с хлебными корками и недоеденными кусками хлеба, этот дар со стороны Замка принимался с весьма изрядной долей презрительной снисходительности – ведь это они, Резчики, своим присутствием у стен Замка оказывали Горменгасту почтение, это они снисходили до того, чтобы каждое утро снимать эти мешки с крюков, вынимать их содержимое, что позволяло втащить мешки назад на стены уже пустыми. Жуя этот хлеб (который вместе со съедобными кореньями и ягодами, добываемыми в близлежащем лесу, составлял основу их диеты), они тем самым оказывали честь пекарям Замка.

Эта гордость, которая была для Резчиков вещью вовсе не напускной, а глубоко переживаемой, компенсировала их униженное положение. И гордость эта была вовсе не пустой, ибо зиждилась на их таланте – в Замке никто, кроме них, не умел создавать такие искусные, ярко раскрашенные произведения из дерева.

Свою горечь и неприязнь они хранили в себе молча, однако их откровенная враждебность была направлена не на тех, кто обитал внутри Внешних Стен, а против тех из своей же среды, кто насмешливо относился к их традициям. В сердцевине их нищенского и странного существования лежала ортодоксия, твердая как железо. Их приверженность традициям, условностям и обычаям в мельчайших жизненных проявлениях была совершенно непоколебима. Прожить среди них хотя бы один день и при этом не соблюдать их обычаев и принципов поведения грозило тягчайшими последствиями для нарушителя. Наряду с возмутительным отсутствием у них элементарных общепринятых норм человеческих отправления и поведения в быту, в них присутствовало неистребимое ханжество и непоколебимая жестокость.

Незаконнорожденного ребенка ненавидели как зачумленного и более того – боялись. Дитя любви воспринималось как носитель зла. Его мать подвергалась жестоким гонениям, но боялись лишь самого дитяти, которое изначально воспринималось как будущий злой колдун или злая колдунья.

Однако незаконнорожденное дитя никогда не убивали. Убить его – это всего лишь уничтожить тело, но не душу, которая, превратившись в привидение, вечно бы преследовала убийцу.

Над поселением, прилепившимся к изгибу Внешней Стены, в котором царили навозные мухи, стали опускаться сумерки; его словно засыпало серой пылью. Этой пылью становилось

все больше, и вскоре в ней полностью утонули глинобитные хижины, крытые неправильной формы камышовыми крышами.

Вдоль стены сидели нищие попрошайки. Казалось, они вырастают из той пыли, в которой сидят. Пыль и грязь густым слоем покрывали их ноги. Казалось, целое море мертвой серой пыли плещется у скрещенных ног нищих. Пыль была мягкой и невероятно мелкой. Прикосновение к ней могло доставить чувственное удовольствие. Она была мягче птичьего пуха.

Нищие сидели в этой пыли цвета обычного серого голубя, прислонившись спиной к глинобитным стенам кособоких лачуг. У этих нищих было и свое богатство: мягкая пыль и теплый воздух, наполненный мухами. Неподвижно сидящих нищих окутывали вечерние сумерки, но они не сводили глаз с Резчиков, расположившихся напротив них под стеной. Резчики заканчивали свою работу, которой занимались целый день. Они уже собирали инструменты, вставляли и расходились по лачугам.

Еще год назад Резчики по окончании рабочего дня не забирали свои незаконченные произведения домой, а оставляли на ночь на своих рабочих местах. Никто и никогда их не трогал. Никто не посмел бы даже прикоснуться к ним. Но год назад все изменилось. Произведения Резчиков уже не были в безопасности. Происходили ужасные вещи – кто-то калечил и крал их. И теперь нищие с ужасом смотрели на то, как Резчики забирают с собой свои произведения. Теперь это повторялось каждый вечер вот уже на протяжении года, но они никак не могли к этому привыкнуть. Они никак не могли с этим смириться. Всю свою жизнь в лунные ночи они, как стражи у каждой двери, созерцали деревянную резную скульптуру, стоящую и лежащую вокруг. А теперь ночами в узких улочках между лачугами было пусто – исчезло нечто живое, прекрасное, улочки были мертвы. А нищие все смотрели на то, как Резчики уносят свои произведения, ибо никак не могли взять в толк, почему же это происходит. На сердце у них было тяжело. Некоторые произведения были столь велики и тяжелы – лошади с гривами как застывшая морская пена, пестрые боги Леса Горменгаст со странно наклоненными головами, – что даже наиболее молодым Резчикам было сложно с ними управиться. Нищие, взиравшие на все это, чувствовали, что в жизни Живущих вне Замка произошла какая-то ужасная, болезненная перемена.

О, они, эти нищие, ничего не высказывали, но в голове каждого из них, сидящего в теплой пыли, возникал образ ребенка, незаконнорожденного ребенка, парии, не достигшего еще и двенадцати лет, но уже представляющего опасность для Живущих вне Замка и для их скульптур. О, этот ребенок был ведьмой, черной вороной, змеей, зловредным и опасным созданием.

Первое нападение на скульптуру произошло год назад, в безлунную темную ночь. Нападение по своей злобе было ужасно, но никто ничего не слышал и не видел.

На рассвете одну из больших скульптур нашли повергнутой лицом в пыль, всю изрезанную ножом. Раны на деревянном теле были глубоки и непоправимы. Несколько скульптур меньшего размера были украдены. А после первого бесшумного и злобного нападения последовали другие: пара десятков скульптур были обезображены и около сотни произведений меньшего размера исчезли. Некоторые из них были величиной с ладонь, но то были произведения исключительного мастерства, изящества и цвета. И ни у кого из Живущих вне Замка не было сомнения в том, кто повинен в этих ночных налетах. Все сразу решили, что это Оно, то дитя, которое из-за его незаконнорожденности ненавидели и боялись, а после самоубийства его матери это дитя было как бельмо на глазу в поселке за стенами. Оно жило как дикое животное, которое никому не дано было приручить. Всем было известно, что воровство у этого ребенка в крови, и Оно еще до того, как окончательно убежало в лес, стало притчей во языцех, чуть ли не легендарным воплощением зла.

Оно всегда было само по себе, невозможно было даже вообразить, чтобы Оно могло с кем-

то общаться. Оно было полностью независимо и никакого слабого места в его самодостаточности нельзя было бы найти. Ночью Оно передвигалось беззвучно как тень, кралось, на его лице никто никогда не видел какого-либо определенного выражения, так что даже позабыли, что дитя это – девочка. Для Живущих вне Замка этот ребенок был бесполом – «Оно». Двигалось Оно невероятно быстро и легко. Иногда Оно исчезало на несколько месяцев, а потом появлялось вновь и, перепархивая с крыши на крышу, оглашало ночь своими дикими криками, в которых многим слышались презрение и насмешка.

Живущие вне Замка проклинали тот день, когда Оно родилось. Оно не умело говорить, но рассказывали, что Оно, не хватаясь за ветки, может взбегать по стволам деревьев и более того – перелетать по воздуху с места на место на небольшие расстояния и даже парить в воздухе, словно поддерживаемое на невидимых крыльях ветра.

Проклинали и мать, породившую это дитя – черноволосую Кеду, которую когда-то давно вызывали в Замок и которая кормила Тита грудью. Проклинали мать, проклинали ее дитя, но боялись, испытывали страх перед чем-то сверхъестественным, угнетало Живущих вне Замка всплывающее в них время от времени внушающее трепет осознание того, что это дикое существо было все-таки молочной сестрой Правителя Замка, Тита Стона, семьдесят седьмого Герцога Горменгаста.

Глава сорок вторая

Когда Щуквол пришел наконец в себя, одновременно с болью, вспыхнувшей во всем теле, обожженном огнем во многих местах, в его сознании тут же всплыли все ужасы, которые он пережил. С трудом поднявшись на ноги он, пошатываясь и ковыляя как калека, отправился на поиски прохода в стене. Он брел под арками через ворота и дворы погруженного в ночной мрак Замка, но в конце концов все-таки добрался до дома Доктора Хламслива. Подойдя к двери он стал стучать в нее лбом, пылающим от жара – руки у него были слишком сильно обожжены. Щуквол после первых же ударов головой в дверь рухнул в беспмятстве прямо там где стоял и пребывал без сознания три дня. Когда оно к нему вернулось он обнаружил, что лежит на кровати в комнате с зелеными стенами и смотрит в потолок.

В течение весьма продолжительного времени Щуквол не мог восстановить в памяти всех деталей того, что с ним произошло, но мало-помалу в его памяти всплывали подробности страшного вечера. И наконец сложилась полная картина.

Он с трудом повернул голову и осмотрел комнату в которой находился. Дверь располагалась с левой от него стороны, справа от себя он увидел камин, а прямо перед собой, на противоположной от него стене почти под потолком, – довольно большое, частично занавешенное окно. Сумеречное небо, которое он видел между занавесями, подсказывало Щукволу, что сейчас либо вечер, либо утро. Ему также была видна часть какой-то башни, но узнать ее Щуквол не смог, и поэтому не мог догадаться, в какой части Замка он находится.

Опустив глаза, Щуквол обнаружил, что обмотан бинтами с головы до ног. И тут же как дополнительное напоминание о том, что с ним произошло, боль от ожогов вспыхнула с новой силой. Щуквол закрыл глаза и попытался дышать ровно и осторожно, так, чтобы грудная клетка не совершала лишних движений.

Да, Баркентин мертв. Он, Щуквол, убил Баркентина. Но теперь, вместо того чтобы ему, Щукволу, стать совершенно незаменимым для жизни Замка – ведь он остался единственным Хранителем Закона, – он лежит здесь в этой неизвестно где находящейся комнате неподвижный, беззащитный, бесполезный для самого себя и для других. Нужно немедленно что-то предпринять, нужно исправить создавшееся положение быстрыми и энергичными действиями! Да, тело его сейчас бессильно и не может совершить ни малейшего движения, но мозг по-прежнему работает уверенно, рассудок ясен и готов обдумывать положение и принимать решения.

Но в нем произошла перемена, о которой он еще не подозревал. Да, рассудок его был ясен, но в его характере образовалось нечто новое – или, возможно, ушло нечто старое.

Щуквол пытался убедить себя в том, что совершенные им непростительные промахи никто не видел; никто не видел, сколь поразительно быстро и уверенно действовал Баркентин в, казалось бы, полностью проигрышной для себя ситуации. Никто не видел позорной нерасторопности Щуквола, его престиж ни в чьих – кроме своих собственных – глазах не упал; и все же прежней уверенности в себе – хотя Щуквол пока и не подозревал этого – у него уже не было.

Не слишком ли высокую цену он заплатил? Но даже из своих ожогов он извлечет новое для себя преимущество! О, он снискает славу своей храбростью и самопожертвованием – он представит дело так, будто он пытался спасти старика, и чем страшнее были его, Щуквола, ожоги, тем больше они подчеркивали его невероятную смелость! Его престиж никак не пострадает, а наоборот – возрастет, а Баркентин, покоящийся с забитой тинной ртом на дне рва, уже никому ничего не расскажет.

Но перемена в Щукволе все-таки произошла – когда приблизительно через час Щуквола, незаметно для себя забывшегося сном, разбудили какие-то звуки и, открыв глаза, он обнаружил, что в камине горит огонь, он сильно вздрогнул и издал крик испуга, а забинтованные руки его, лежащие вдоль тела, сильно задрожали.

Щуквол долго не мог успокоить эту дрожь тела и рук. Он испытал нечто такое, чего ранее не испытывал никогда – страх. Его охватил страх! Щуквол боролся с этим незнакомым ему чувством, используя все запасы своей несомненной храбрости. Наконец он успокоился и снова провалился в сон, который на этот раз оказался беспокойным. Проснувшись, он, даже не открывая глаз, почувствовал, что в комнате уже не один.

У кровати Щуквола стоял Доктор Хламслив. Повернувшись спиной к Щукволу и слегка наклонив набок голову, он смотрел на видневшуюся в окне башню и бегущие как тени облака. А все-таки это было утро, а не вечер!

Щуквол открыл глаза, но, увидев Хламслива, тут же закрыл их снова. Ему понадобилось всего несколько мгновений, чтобы решить, что ему нужно делать, и он поворочал головой на подушке, словно одолеваемый тяжелыми снами.

– Я пытался спасти вас... – пробормотал Щуквол. – О Хранитель, я пытался спасти вас!..

Щуквол замолчал и издал стон.

Хламслив повернулся на каблуках и взглянул на больного. На его странном, словно вырубленном умелой рукой из мрамора, лице не было его обычного насмешливого выражения. Губы у него были поджаты, вид весьма суров.

– Кого вы пытались спасти? – очень резко и быстро спросил Хламслив, словно надеясь вырвать невольное признание у спящего человека.

Но Щуквол издал лишь неясный горловой звук, а потом уже более четким голосом добавил:

– Я пытался... я пытался...

Щуквол снова поворочал головой на подушке так, словно собственные слова разбудили его, и открыл глаза.

Несколько мгновений он невидящим взором смотрел перед собой, а потом тихо сказал:

– Доктор Хламслив, я не смог удержать его... Хламслив, ничего не отвечая, взял Щуквола за руку, измерил пульс, послушал его сердце и лишь затем произнес:

– Вы мне расскажете обо всем завтра.

– Доктор Хламслив, мне бы хотелось рассказать вам все прямо сейчас. Я слаб, я могу только шептать, но я знаю, где находится Баркентин. Он мертв, он лежит на дне рва.

– А как он туда попал, господин Щуквол?

– Я вам все расскажу... – Щуквол поднял глаза на Хламслива. О, как он ненавидел этого человека, ненавидел жгучей ненавистью; казалось, его ненависть ко всем вокруг разгорелась при воспоминании о Баркентине еще сильнее. Но голос Щуквола оставался при этом достаточно кротким и смиренным.

– Я все расскажу вам, – повторил Щуквол шепотом. – Я вам расскажу все, что знаю.

Он уронил голову на подушку и закрыл глаза.

– Вчера... или, может быть, неделю назад... или месяц назад – я не знаю, сколько времени я пролежал здесь без сознания, – я зашел в комнату Баркентина... Было около восьми часов вечера... Обычно я приходил к нему именно в это время. Баркентин всегда давал мне в этот час указания на следующий день... Он сидел в своем кресле на высоких ножках... В тот момент, когда я входил, он зажигал свечу. Не знаю почему, но он вздрогнул, словно мое появление испугало его... Он выругал меня – но в его словах, несмотря на всю раздражительность, не было настоящей злости – и снова повернулся к столу... Наверное, он забыл, что прямо перед ним в подсвечнике стоит зажженная свеча, и его борода на какое-то мгновение оказалась прямо над

огоньком свечи. И она тут же загорелась! Я бросился к нему, но его волосы, его одежда на плечах уже пылали. В комнате не было ни занавесей, ни половиков, с помощью которых можно было сбить пламя. Не было и воды. И тогда я стал сбивать пламя руками. Но огонь не уменьшался, а усиливался... Наверное, от боли и растерянности он ухватился за меня, и моя одежда тоже загорелась...

Зрочки Щуквола расширились, и хотя рассказ его сильно отклонялся от истины, он слишком хорошо помнил неразжимаемую хватку рук Баркентина; Щуквола бросило в пот, и это придавало его словам ужасную достоверность.

– Я не мог оторвать его от себя, Доктор; объятый пламенем, он неистово прижимался ко мне... И с каждым мгновением огонь становился все сильнее... Ожоги причиняли мне страшную боль... И мне ничего не оставалось, кроме... У меня был один путь к спасению – добраться до воды. Я знал, что прямо под окном комнаты ров. И я бросился к этому окну. Я бежал, а руки Баркентина все так же крепко сжимали меня... Я подбежал к окну, выбил его и прыгнул вниз... И только тогда, когда мы оказались в холодной черной воде, его руки разжались... Я пытался удержать его на поверхности, но не смог этого сделать, и он ушел под воду... Не знаю как, но мне удалось добраться до берега, а когда я выбрался из воды, оказалось, что я наг... Я был в беспамятстве какое-то время, потом пришел в себя и каким-то чудом добрел до двери вашего дома... нужно отправить людей, чтобы отыскать тело Баркентина... во имя всего святого, его нужно найти и должным образом похоронить... А я должен продолжить его дело... но я... я... я больше не могу говорить... я... не могу...

Щуквол замолчал, глаза у него безвольно закрылись, и он заснул. Он сделал все, что нужно, и теперь мог позволить себе отдохнуть.

Глава сорок третья

– Дорогая моя, – сказал Рощезвон, – не следует заставлять твоего нареченного ждать столь долго, даже если учитывать, что он всего лишь Глава Школы Горменгаста. Почему, скажи мне на милость, ты всегда так сильно опаздываешь? Боже мой, Ирма, ведь я уже не юнец, который находит романтику в том, чтобы стоять под дождем и мокнуть в ожидании своей возлюбленной! Погода такая гнусная! Сжался и скажи мне, где ты была!

– Мне очень не хочется отвечать, когда со мной разговаривают таким тоном! Это унижительно! Тебе наплевать на то, что я не равнодушна к своей внешности. Когда я отправляюсь на свидание с тобой, я хочу выглядеть красивой, а это отнимает много времени! Но тебе все равно! От твоей черствости у меня разрывается сердце!

– Я жалуясь вовсе не по пустякам! Я поясню тебе, что я уже далеко не молод и плохая погода действует на меня отвратительно! Кстати, это место для свидания выбрала ты сама! И более неудачного места не сыскать! Вокруг нет ни одного кустика, ни единой арочки, под которыми можно было бы спрятаться! Не избежать мне приступа ревматизма! Ноги у меня совершенно промокли! И все почему? Потому что моя суженая, Ирма Хламслив, благородная дама, исключительная во всех – кроме одного – отношениях (кстати, почему-то эти достоинства направлены куда угодно, только не на меня), – проводит целые дни, выщипывая свои брови, расчесывая стога своих длинных серых волос и предается другим подобным же занятиям и не может толком организовать свой день! Может быть, она, моя нареченная, уже становится равнодушной к своему жениху? Дорогая моя Ирма, я надеюсь, что я не прав!

– Не прав, не прав! – воскликнула Ирма. – Не прав, мой дорогой! Только мое страстное желание прибыть к тебе в таком виде, чтобы ты считал свою невесту достойной тебя, заставляет меня проводить столько времени за туалетом! О мой несравненный, ты должен простить меня! Ты должен простить меня!

Рощезвон величественным жестом запахнул складки своей мантии. Пока Ирма говорила, он смотрел в мрачное небо, но когда она смолкла, он повернул к ней свою благородную голову. Дождь дымкой укутывал все вокруг. Ближайшее дерево, находившееся в сотне метров от места свидания, казалось размытым пятном.

– Ты просишь меня простить тебя, – произнес Рощезвон важно. Он сделал паузу, закрыл глаза и продолжил: – И я прощаю тебя! Я тебя прощаю! Но прошу тебя, Ирма, помнить, что в жене я особо ценю пунктуальность. Почему бы тебе теперь, пока мы еще не стали мужем и женой, не попрактиковаться, чтобы потом у меня не было причин жаловаться? А сейчас давай забудем о нашей небольшой размолвке, хорошо?

Он отвернулся от Ирмы, чтобы спрятать свою беззащитную улыбку. Он еще не научился журишь ее и при этом не улыбаться. Теперь, когда она не видела его лица, он обнажил свои гнилые зубы, словно оскалился на далекую изгородь.

Ирма взяла Рощезвона под руку, и они чинно тронулись с места.

– Мой дорогой... – промурлыкала Ирма.

– Да, любовь моя? – откликнулся он.

– Теперь моя очередь жаловаться?

– Да, теперь твоя очередь, любовь моя. Рощезвон гордо вскинул свою царственную голову, и с его гривы в разные стороны посыпались брызги дождевой воды.

– Но ты не будешь сердиться, дорогой? Старик поднял брови и закрыл глаза.

– Я не буду сердиться, Ирма. Что ты хочешь мне сказать, Ирма?

– Твоя шея, дорогой...

– Моя шея? А при чем тут моя шея?

– Твоя шея... драгоценнейший мой, очень грязна... Уже много недель я хотела сказать тебе, но... Может быть, ты бы мог...

Рощезвон окаменел. Он оскалил зубы в бессильном гневе.

– О черт! – пробормотал он едва слышно, – Да поглотит меня смрадная пасть дьявола!..

Глава сорок четвертая

Флэй сидел у входа в свою пещеру. Воздух был совершенно неподвижен, и три маленькие облачка, висевшие в светло-сером небе, казалось, оставались на одном месте целый день.

У него была длинная борода, а волосы, когда-то коротко подстриженные, спускались ниже плеч. Обветренная кожа лица была темна от загара; годы лишений пробороzdили на лице глубокие морщины.

Флэй давно уже стал частью леса; зрение его было острым как у хищной птицы, а слух – как у хищного зверя; даже сквозь чащу леса он умел пробираться совершенно бесшумно; суставы перестали щелкать и хрустеть, чему, возможно, способствовала летняя жара, которая так хорошо выгривала тело, ибо вся одежда флэя давно уже превратилась в лохмотья, сквозь которые торчали колени, локти и прочие суставы, обласканные солнцем.

Наверное, Флэй был рожден для жизни в лесу – столь естественно и полно вжился он в мир ветвей, папоротников и ручьев. И все же, несмотря на свое, казалось бы, полное растворение в лесу, погружение в безлюдный мир неисчислимого множества деревьев, превращение чуть ли не в ветку, – несмотря на все это, мысли Флэя постоянно возвращались к мрачной горе стен, башен и других строений, которая, полуразрушенная и пугающая своей недоступностью, была тем не менее единственным домом, который знал Флэй.

Но Флэй, несмотря на свое страстное желание вернуться в Замок, где он родился и вырос, предавался отнюдь не сентиментальным и ностальгическим воспоминаниям, как это бывает с изгнанниками. Его одолевали тяжелые, беспокойные думы о том, что происходит в Замке сейчас, а не о том, что было когда-то. Не менее Баркентина он до мозга костей был предан традиции и ее сохранению и в глубине души знал, что в Горменгасте происходит нечто неладное.

Но как мог он измерить пульс залов и башен? На чем еще, кроме болотного мерцания своей интуиции и врожденной мрачной предрасположенности характера, мог он стоять свои подозрения? Может быть, они проистекали из укоренившегося в нем глубокого пессимизма и опасений – которые по вполне понятным причинам в изгнании становились лишь сильнее, – что в его отсутствие в Замке произошли непоправимые перемены к худшему?

Да, беспокойство Флэя порождалось всеми этими обстоятельствами, но в них было и нечто другое. И все его опасения и подозрения не были чисто умозрительными, ибо Флэй за последние двадцать дней нанес уже три тайных (и незаконных) визита в Замок. В ночной тишине он бродил по коридорам и, хотя не сделал никаких непосредственно подтверждающих его подозрения открытий, сразу ощутил какие-то перемены. Что-то произошло или происходит, нечто такое, что несет зло и разрушение.

Флэй хорошо понимал, что подвергается большому риску – если бы его заметили и схватили, то это повлекло бы за собой суровое наказание; понимал он и то, что вряд ли ему удастся обнаружить в спящих залах и коридорах некое явственное свидетельство происходящих в Замке пагубных перемен. И все же он посмел пойти против буквы Закона Стонов, чтобы попытаться в одиночестве определить, не охватила ли дух Горменгаста какая-нибудь хворь.

А теперь он вот уже несколько часов сидел среди папоротников, густо растущих у входа в его пещеру, и размышлял о том, что могло породить его подозрения и опасения, почему он решил, что над духом Замка нависла какая-то угроза. И тут он почувствовал, что за ним наблюдают.

Он не услышал ни единого подозрительного звука, но жизнь в лесу развила в нем чувство, позволяющее немедленно ощутить постороннее присутствие. Ощущение было такое, словно

кто-то легонько постучал пальцем у него между лопатками.

Флэй осторожно оглянулся и тут же заметил две человеческие фигуры, стоящие у края леса, справа от Флэя. И он узнал их почти мгновенно, хотя девочка, которую он когда-то знал совсем маленькой, выросла и изменилась почти до неузнаваемости. А его самого разве можно было узнать? Флэй не сомневался, что девушка и мальчик смотрят прямо на него. Сможет ли Фуксия узнать в нем, заросшем длинной бородой и длинными волосами, в лохмотьях, того Флэя, которого она когда-то знала?

Увидев, что они бегут в его сторону, Флэй встал и, перебираясь через россыпи камней, пошел им навстречу.

Фуксия узнала изможденного изгнанника раньше, чем он узнал ее. Флэй решил, что ей должно быть уже более двадцати лет; она показалась Флэю смуглой, странно меланхоличной – наверное, оттого, что ее переполняло слишком много чувств.

Фуксия предстала перед Флэем как некое откровение. Он всегда думал о ней как о ребенке, и вот вдруг перед ним стоит Фуксия, но не ребенок, а женщина, покрасневшая, возбужденная, внимательно смотрящая на него, Флэя. От быстрой ходьбы Фуксия запыхалась и, положив руки на бедра, остановилась, чтобы отдышаться.

Подойдя к ней совсем близко, Флэй почтительно поклонился.

– Ваша милость...

Но Флэя перебил Тит. Отбросив волосы, падавшие ему на глаза, задыхаясь от бега, он воскликнул:

– Говорил же я тебе, что найду его! Вот и нашел! Говорил тебе, что у него борода, что недалеко от его пещеры есть дамба и что в этой пещере я спал, а он готовил еду, и мы... – Тит замолчал, чтобы перевести дух, а потом, обратившись к Флэю, сказал: – Здравствуйте, господин Флэй! Вы прекрасно выглядите! Как настоящий человек леса!

– А, ваша светлость, такая жизнь, такая вот жизнь. Свежий воздух часто заменяет мне обед.

– Вы знаете, господин Флэй, – вмешалась Фуксия, – я очень рада видеть вас... вы всегда были так добры ко мне. Как вам здесь живется? Наверное, очень одиноко?

– Как ему живется? Прекрасно! – воскликнул Тит. – Он стал настоящим диким человеком, правда, господин Флэй?

– Похоже на то, ваша светлость, – сказал Флэй.

– Тит, ты тогда был еще совсем маленьким и ничего не помнишь, а я помню все очень хорошо. Господин Флэй был первым слугой нашего отца. Он был старшим среди всех слуг, правда, господин Флэй? А потом он исчез...

– Я все это знаю, – сказал Тит. – Мне все это рассказывали другие ученики в классе Роцезвона.

– Они ничего не знают, – медленно проговорил Флэй. – Ничего. – Снова поклонившись Фуксии, он жестом руки пригласил ее в пещеру: – Ваша милость, почтенно прошу ко мне. Тут вы сможете отдохнуть, укрыться от солнца и попить свежей воды.

Флэй привел Фуксию и Тита в пещеру, показал Фуксии все ее достопримечательности, включая трещины, уходящие вверх сквозь скалу как дымоход. Тит и Фуксия напились из прозрачного источника – им был жарко, и их мучила жажда. Тит лег на густой покров папоротников у стены, а худой, облаченный в лохмотья хозяин пещеры сел несколько в стороне, скрючившись, обхватив руками ноги и положив подбородок на колени. Его взгляд был устремлен на Фуксию.

Фуксия, хотя и заметила, с какой детской непосредственностью ее рассматривал Флэй, не сделала ничего, что заставило бы его смутиться, и когда их взгляды встретились, она улыбнулась. Нои после этого ее взгляд продолжал бродить по пещере; время от времени она

спрашивала Тита, заметил ли он ту или иную деталь, когда впервые попал сюда.

Но через некоторое время в пещере воцарилось молчание. Такое молчание, после того как оно установилось, обычно трудно нарушить. Но оно все же было нарушено, и как ни странно, самим Флэем, наименее разговорчивым из всех троих.

– Ваша милость... Ваша светлость...

– Да, господин Флэй? – откликнулась Фуксия.

– Я столько лет не был в Замке... был в изгнании... – Флэй замолчал; рот его, с плотными губами, оставался открытым, словно он собирался продолжать. Но через пару мгновений он закрыл рот, так как не нашел продолжения предыдущей фразе. После небольшой паузы Флэй все-таки продолжил: – Не знаю, что творится в Замке, госпожа Фуксия и... придется мне задать, если позволите, несколько вопросов.

– Конечно, спрашивайте, господин Флэй! А что за вопросы вы хотели задать?

– Я знаю, что он хочет спросить, – вмешался Тит. – Он хочет знать, что произошло в Замке с тех пор, как я потерялся и он привел меня сюда, а потом назад домой. Правда, господин Флэй? И о смерти Баркентина и о...

– Как, Баркентин умер? – Голос Флэя прозвучал неожиданно жестко.

– Да, он сгорел и умер, правда, Фуксия? – поспешил пояснить Тит.

– Да, это так. Его пытался спасти Щуквол.

– Щуквол? – пробормотал Флэй, продолжая оставаться неподвижным.

– Да, Щуквол, – подтвердила Фуксия. – Он очень в тяжелом состоянии. Я ходила проведать его.

– Неправда, не ходила, – воскликнул Тит.

– Конечно, ходила и пойду снова. Его ожоги просто ужасны.

– А я не хочу его видеть, – неожиданно выпалил Тит.

– Почему? – спросила Фуксия. Кровь вдруг стала приливать к ее щекам.

– Потому что он...

Но Фуксия не дала ему договорить:

– А что ты знаешь о нем? – произнесла она тихо и очень медленно, но голос у нее при этом дрогнул. – Разве это преступление с его стороны, что он более блестящ во всех отношениях, чем все мы? Разве он виноват в том, что выглядит несколько необычно? – И после очень короткой паузы добавила: – Или в том, что он так смел?

Фуксия внимательно взглянула на брата и увидела в его чертах нечто ей очень близкое, нечто такое, что казалось отражением ее самой, словно она глядела сама себе в глаза.

– Извините, я увлеклась. Давайте не будем о нем говорить.

Но Флэю хотелось говорить именно об этом.

– Ваша милость... а сын Баркентина?.. Он знает все, что положено знать Хранителю Ритуала? Его готовили к этому? Он ведь должен быть также и Хранителем Документов, Хранителем Закона Стонов? С этим все в порядке?

– Сына Баркентина не могут найти! Неизвестно даже точно, был ли у него сын, – сказала Фуксия, – Но это ничего. Обязанностями Хранителя есть кому заняться. Баркентин в течение нескольких лет обучал всему, чему нужно, Щуквола.

Флэй вдруг вскочил на ноги, словно подброшенный вверх невидимой пружиной, и отвернул в сторону голову, чтобы скрыть гнев, охвативший его.

Про себя он вскричал. «Нет! Нет!», но ни один звук не слетел с его губ. Не поворачивая головы к Фуксии, Флэй спросил:

– Но, ваша милость, вы сказали, что он в тяжелом состоянии? Фуксия в удивлении смотрела на Флэя. Ни она, ни Тит не могли понять, что заставило Флэя так неожиданно вскочить.

– Да, он получил тяжелые ожоги, когда пытался спасти Баркентина, который был объят огнем, Щуквол не встает с постели уже несколько месяцев.

– И сколько еще, ваша милость?

– Сколько еще времени он будет оставаться в постели? Доктор говорит, что он уже скоро выздоровеет.

– А как же Ритуал? Как же все обряды? Кто все это время давал указания? Кто руководил их исполнением? Изо дня в день? Кто толковал Документы?.. О Боже! – вскричал Флэй, который вдруг потерял власть над собой – Кто оживлял древние символы? Кто вращал колеса Горменгаста?

– Все в порядке, господин Флэй, все в порядке. Щуквол получил должную подготовку, он не жалеет себя. Хотя он весь обмотан бинтами, он с постели руководит всем. Каждое утро к нему приходит тридцать или сорок человек, и он всем дает нужные указания. Кругом лежат сотни книг, а на стенах висят карты и диаграммы. Никто другой этого не может сделать. Он работает все время, хотя и не встает с постели. Он работает не руками, а головой.

Флэй вдруг ударил рукой по стене пещеры, словно давая выход гневу.

– Нет, нет, все не так? – вскричал он. – Щуквол не может быть Хранителем Ритуала, ваша милость! На какое-то время – пусть, но не постоянно! В нем нет любви, ваша милость, нет любви к Горменгасту!

– Было бы хорошо, если бы вообще не было Хранителя Ритуала! – сказал Тит.

– Ваша светлость, – обратился Флэй к Титу после небольшой паузы, – Вы еще очень молоды. Вы многого не знаете. Но Горменгаст вас научит... Пылекисл, а теперь и Баркентин – оба они сгорели в огне, – бормотал Флэй, словно не отдавая себе отчета в том, что говорит вслух, – отец и сын... отец и сын... и оба сгорели...

– Может быть, я и очень молод, как вы говорите, – с горячностью проговорил Тит, – но если б вы знали, как мы сюда к вам добирались! Мы шли потайным ходом, под землей... я сам его нашел, правда, Фуксия? А потом... – Но тут Тит вынужден был остановиться, так как предложение оказалось для него слишком сложными и он не мог его закончить.

Через мгновение он продолжил:

– А вот вы знаете, мы шли в темноте, со свечами, иногда даже ползли, но в основном все-таки шли... Туннель такой длинный, идет прямо из Замка и все под землей. А выходит на поверхность на склоне холма. Но найти этот выход вовсе не просто... Ну, там вроде как... просто нора... и знаете, совсем недалеко отсюда! С другой стороны того леса, где вы в первый раз увидели нас; но найти вашу пещеру все равно было очень трудно, потому что в прошлый раз я сначала ехал на своем пони, а потом попал в дубовый лес, а потом... Господин Флэй, ведь мне не приснилось, правда, что я видел летающее создание? Ведь я вам рассказывал, помните? Но иногда мне все равно кажется, что мне это приснилось.

– Так оно и было, – сказал Флэй, – сон, кошмар, можете не сомневаться...

Флэй говорил неохотно, так, словно ему совсем не хочется разговаривать с Титом о «летающем создании», и он сменил тему разговора:

– Так вы говорите, ваша светлость, потайной ход, прямо в Замок?

– Да, – сказал Тит, – потайной ход, черный туннель! Там пахнет землей, а в некоторых местах на потолке видны деревянные балки, и кругом муравьи и все такое прочее.

Флэй взглянул на Фуксию, словно искал у нее подтверждения словам Тита.

– Да, да, все именно так, как говорит Тит.

– И действительно недалеко отсюда, ваша милость?

– Да, – подтвердила Фуксия, – В лесу, сразу за ближайшей отсюда долиной. Там выход из туннеля.

Флэй внимательно посмотрел сначала на Фуксию, потом на Тита. Казалось, что сообщение о потайном ходе произвело на него большое впечатление, хотя они и не понимали, почему; для них путешествие по подземному туннелю было самым настоящим, даже страшным приключением. Но и Фуксия, и Тит хорошо знали из собственного горького опыта, что очень часто то, что казалось им таким интересным и удивительным, в мире взрослых никакого интереса не вызывало.

Но Флэй хотел знать все подробности.

А где в Замке начинается туннель?.. Их кто-нибудь видел, когда они пришли в Галерею Статуй?.. Смогут ли они легко найти путь назад, через все эти пустые коридоры и залы?.. Могли бы они показать ему, где выход из туннеля в лесу?

Конечно, могли бы! Хоть сейчас! Взбудораженные тем, что взрослый человек – Фуксия еще не причисляла себя к взрослым – проявил такой большой интерес к их открытию, Тит и Фуксия горели желанием немедленно отвести Флэя к «своему потайному ходу».

Флэй сразу увидел в открытии подземного туннеля значительно больше, чем волнующее приключение. Но Фуксия и Тит не догадывались, что через этот туннель Флэю открывается постоянный и потайной доступ прямо в сердце его древнего дома; и, если бы ему этого захотелось, он мог бы пользоваться этим ходом даже посреди белого дня! Да к тому же ход в подземелье, по словам Тита и Фуксии, расположен так близко от его пещеры! Он будет идти себе под землей, залитой ярким солнечным светом, и никто его не увидит! А это в огромной степени расширит его возможности выискать то зло, которое угнездилось в Горменгасте, и вырвать его с корнем! Это позволит ему доискаться до источника, вычистить Замок! И ему не придется совершать длительные ночные походы через лес, а потом по полям к Внешней Стене, а оттуда по каменным дворам, переходам во внутреннюю часть Замка – и при этом быть все время настороже, прятаться, чтоб не быть замеченным! А теперь если то, что рассказали Фуксия и Тит – правда, ему всего этого делать не нужно, он может в любое время дня и ночи проникнуть в Замок, выбраться из туннеля пройти по безлюдным, никем и никогда не посещаемым коридорам и залам и выйти позади статуи в Галерее Скульптуры. А оттуда он мог безо всякого труда добраться в любую часть Замка, которую хотел бы посетить!

Глава сорок пятая

Текли дни, складываясь в недели и месяцы. Камень Горменгаста становился все прохладнее, лето сменилось осенью, а осень – зимой, темной и холодной. На протяжении многих дней дули могучие ветры, которые выдавливали из окон стекла, срывали черепицу с крыш и сдвигали камни в руинах, завывали и ревели между башен и труб.

А потом так же неожиданно, как начинался, ураган стихал, и воцарялась не менее пугающая тишина. Тишина столь глубокая, что собачий лай, случайное позвякивание ведра, плач ребенка, казались реальными лишь в том смысле, что они подчеркивали эту абсолютную, всеохватывающую тишину, сквозь которую эти случайные звуки поднимались как пузырьки в ледяной воде – они появлялись на поверхности, лопались и исчезали навечно.

Среди зимы начались такие мощные снегопады, что тем, кто прятался за бесчисленными окнами, уже не верилось, что все видимое из окон имело когда-то четкие очертания и не было окутано белой дымкой, что за окнами кроме белого цвета когда-то существовали и другие цвета. Казалось даже воздух вытеснялся снежинками, каждая величиной в ладошку ребенка, все вокруг неузнаваемо изменилось, округлилось, скрылось под белым покровом.

В полях, окружающих Замок, занесенных снегом, валялось множество мертвых и умирающих птиц, там и сям коченеющие птицы делали последнюю отчаянную попытку взлететь, раскрывали обледенелые крылья – и бессильно падали в снег.

Из окон Замка казалось, что поля усеяны черными угольками, белые лица полей были покрыты этими оспинками, выбитыми великим множеством тварей, загубленных зимой. Трудно было сыскать девственное пространство на снегу, не испещренное этими следами смерти, каждый сугроб был кладбищем.

На фоне слепящего яркого снега птицы вне зависимости от окраски перьев казались черными как смоль, а их прихотливые силуэты – изображениями, выгравированными тонкими иглами. Птицы своей собственной смертью расписали похоронные полотна полей иероглифами утонченной красоты, прочитать которые было нельзя, но смысл их был красноречиво ясен.

Следующий снегопад стирал эти знаки смерти, заботливо и нежно укрывая замерзшие тельца мягким покрывалом. А потом поверх этого слепящего глаза покрывала появлялась новая россыпь черных грудок. И так повторялось много раз. Прежде чем замереть без движения в пушистом снегу, ковыляли, стояли дрожа или ползли умирающие птицы, оставляя за собой печальные следы.

И все же, несмотря на всю эту массовую гибель птиц в полях, в Замке их число не уменьшалось. Графиня, чье сердце обливалось кровью при виде такого массового птичьего страдания, делала все возможное, чтобы спасти диких птиц, открывая им доступ в Замок. Кругом рассыпали зерно, крошки и кучки мяса, выставляли тазы, миски, чашки с водой, с которых постоянно сбивали лед в надежде заманить птиц в пустые коридоры и залы Замка, где было все-таки теплее, чем в полях. Однако, несмотря на все эти усилия (хотя голод заставлял забывать страх, и тысячи сов, цапель и других пернатых, включая даже хищных, слеталось в Замок), поля по-прежнему были усеяны мертвыми и умирающими птицами. Суровость зимы гнала к Замку живность из лесов и замерзших болот. Животные и птицы тысячами стекались к Горменгасту, но многие погибали, так и не обретя спасения за его стенами.

Графиня приказала (что вызвало массу неудобств), чтобы большую обеденную залу превратили в лазарет для птиц и животных. Огромная, рыжая, одинокая, она ходила между страждущими тварями, пытаясь им помочь. И многих она действительно выхаживала. В залу принесли ветви и прислонили их к стенам. Столы были перевернуты, с тем чтобы дать птицам

возможность, если они того захотят, сидеть на торчащих вверх ножках. Зала была всегда полна птичьего гама, в котором выделялись голоса ворон и галок.

Многих птиц, умирающих в снегу, удалось выходить, но снег в окрестных полях был слишком глубок, и птиц можно было собирать лишь у самых стен Замка и из окон.

Более месяца Замок был в снежном плену. Некоторые входные двери рухнули под весом сугробов. Те же, которые выдержали нагрузку, пришлось чинить. Внутри Замка целыми днями горели свечи – окна были либо забиты досками, либо заткнуты одеялами.

Трудно сказать, что произошло бы с Флэем, если бы не был открыт подземный туннель или если бы Тит не рассказал ему о нем. Сугробы вокруг его пещеры нанесли такие, что вряд ли ему удалось бы выбраться из нее; к тому же холод почти наверняка убил бы его, не говоря уже о том, что он не смог бы ничего добыть себе на пропитание.

Но существование туннеля решило для Флэя все эти проблемы.

Поначалу он совершал походы в Замок почти каждый день. Держа в руке свечу, он проходил по туннелю мимо множества корней, извивавшихся по стенам, переступая через черепа и кости, усеивающие земляной пол, вдыхая запах сырой земли. В туннеле находили прибежище лисы, грызуны, самые разнообразные насекомые. Вскоре по уже знакомым ему корням Флэй научился распознавать, какое расстояние он прошел, он даже знал, под каким местом на поверхности находится.

Хотя в туннеле не было снега и в нем не было так холодно, как снаружи, однако Флэй не жил там, а использовал его лишь как проход ко внутренним частям Замка. В туннеле было темно, сыро и все напоминало о разложении и смерти. И во время своих одиноких путешествий под землей Флэй старался там не задерживаться.

Когда в первый раз он добрался до конца туннеля и вышел по коридору в ту часть Замка, где располагались Безжизненные Залы – туда, где Тит испытал ужас погружения в полную тишину и безжизненность, – нечто подобное испытал и Флэй. Его костлявые плечи поднялись до ушей, его челюсть выставилась вперед, а взгляд метался вокруг, словно он ожидал нападения какого-то невидимого и бесшумного врага.

Но потом, после того как он много раз днем приходил в эту совершенно безжизненную часть Замка и исследовал ее, всякий страх покинул его. Более того – все эти безжизненные залы, погруженные в вечную тишину, стали ему чуть ли не родными, настроение, которое здесь царило, он подсознательно соотносил с настроением Леса Горменгаст. Не в его привычках было делать что-то поспешно, и поэтому он не бросился сразу на поиски зла, поселившегося в Замке. Сначала ему нужно было освоиться.

После того как Флэй нашел путь, который привел его к статуе в Галерее Скульптуры, он стал посвящать свои полуночные визиты поискам тех изменений, которые произошли в ночной жизни Горменгаста со времени его последнего посещения. Жизнь в лесу научила его неторопливости и терпению, заострила его умение оставаться незаметным в любом окружении. Он не появлялся в Замке среди дня, а ночью ему было достаточно замереть и прислониться к стене или к двери из гниющего дерева и он становился незаметным. Он опускал голову, и в полумраке его волосы и борода становились еще одной паутиной, а лохмотья превращались в папоротник-листовик, свисающий с серой сырой стены коридора.

Когда он, скрываясь в темных переходах, видел людей, которых когда-то так хорошо знал, у него возникали странные ощущения. Иногда эти люди проходили совсем рядом с ним; некоторые казались намного старше, некоторые почему-то выглядели моложе, а некоторые так сильно изменились, что их трудно было узнать.

Но, несмотря на свое умение оставаться незамеченным, Флэй излишне не рисковал. И прошло много времени, прежде чем его разведывательные походы позволили ему определить,

где могут в то или иное время дня и ночи находиться те, кто представлял для него особый интерес.

Дверь комнаты Гробструпа, семьдесят шестого Герцога Стона, не открывали со дня его исчезновения. Обнаружив это, Флэй испытал суровое удовлетворение. Он внимательно осмотрел пол перед дверью своего бывшего хозяина; здесь лежал толстый слой пыли; у этой двери, к которой так давно уже не подходил, Флэй в течение двадцати лет укладывался спать! С тех пор, казалось, прошла целая вечность. Флэй огляделся по сторонам, посмотрел вдоль коридора. И давняя, но страшная ночь всплыла в его памяти – та ночь, когда Герцог, ходивший во сне, встал с постели и ушел в одну из башен, где отдал себя на съедение совам, когда Флэй сражался с Шеф-Поваром Горменгаста и пронзил его ударом шпаги.

С тех пор Флэй должен был жить в изгнании. А теперь, тайно находясь в Замке, – воровать и подбирать объедки. Это его мало радовало, но он вынужден так делать, чтобы не умереть с голоду. Достаточно быстро он нашел потайную дверь, через которую мог проникать в кошачью комнату, в кухню Флэй проникал через одну из дверей, открывающихся в коридор, ведущий в заброшенную часть Замка.

Когда пришли холода, Флэю стало ясно, что ему не имеет никакого смысла каждый день возвращаться через туннель в свою пещеру, заваленную снежными сугробами. Флэй не мог ни охотиться, ни собирать валежник для костра, возле которого мог бы обогреться. И он нашел себе пристанище в Безжизненных Залах.

Там он обнаружил небольшую комнату, пол которой был покрыт толстым роскошным слоем мягкой пыли, в этой квадратной комнате имелся камин, украшенный резным камнем и оснащенный каминной решеткой; имелись стулья, книжный шкаф и стол из орехового дерева, на котором под покровом пыли лежали приборы, стояли бокалы и посуда на двоих.

И Флэй обосновался в этой комнате. Его диета состояла в основном из хлеба и мяса, которые он всегда без труда мог добыть в Большой Кухне. При этом он не использовал открывающиеся широкие возможности разнообразить свою диету. Легче всего он мог доставать воду для питья – неподалеку от своей комнаты он нашел резервуар, куда с крыш стекала по трубам дождевая и талая вода, в любое время он мог набрать там воды в свой железный котелок.

Исходя из тех расстояний, которые ему приходилось преодолевать, чтобы добраться до обитаемых частей Замка, и прежде всего из того расстояния, которое отделяло его от пролома в стене позади статуи в Галерее Скульптур (никакого другого хода в известные ему части Замка он не нашел), Флэй твердо знал, что безо всякого риска быть обнаруженным он мог разжигать огонь в камине. Если бы даже кто-нибудь случайно увидел дым, поднимающийся из трубы в заброшенной части Замка, и заинтересовался этим обстоятельством, то такому гипотетическому наблюдателю было бы так же трудно определить, куда ведет дымоход от этой трубы, как и лягушке сыграть на скрипке.

И вот в своей комнатке, обнаруженной в неизведанных глубинах Замка, Флэй, сидя у камина холодными зимними вечерами, испытал тот комфорт, который не испытывал никогда раньше. Если бы не годы, проведенные в изгнании в лесу, он, возможно, не вынес бы одиночества, но одиночество стало для него уже естественным состоянием.

Тишина Безжизненных Залов была еще более плотной, чем безмолвие, опустившееся на скованные льдом и снегом поля вокруг Замка. Ее вполне можно было назвать в самом прямом смысле слова мертвой. Пустота и ничем не нарушаемая полная безжизненность помещений, лабиринт темных коридоров делали тишину чем-то реально осязаемым, даже видимым, у любого человека, попавшего сюда – за редким исключением тех, кто привык пребывать в одиночестве в замкнутых пространствах, – волосы встали бы дыбом от ужаса. Флэй, несмотря на свои многочисленные попытки определить степень протяженности этой давно заброшенной

и забытой части Замка, не смог этого сделать. Единственное, что ему удалось – и то благодаря подсказке Тита – это найти ступени, ведущие к пролому в стене за статуей в Галерее Скульптуры. Но за исключением этого выхода в обитаемый мир и нескольких забытых или запертых наглухо дверей, сквозь которые можно было различить отдаленные голоса, никаких других рубежей, граничащих с миром живых, Флэй не обнаружил.

Но однажды произошло событие, которое надолго лишило его покоя. Флэй поздно ночью возвращался из Кухни, нырнув в пролом в стене за статуей в Галерее Скульптуры, он двинулся по знакомому коридору в сторону своей комнаты. Пройдя не менее мили и углубившись в свое безмолвное царство, он в какой-то момент решил не идти дальше по хорошо знакомому узкому коридору, а свернуть в один из тех, по которому он раньше не ходил и который, как он полагал, так или иначе приведет его в знакомые места. Продвигаясь вперед, он по своему обыкновению делал мелом грубые отметки на стене, которые в случае необходимости должны были помочь ему вернуться назад.

Флэй шел больше часа, сворачивая в разные стороны по изгибающимся коридорам, проходя десятки помещений, из которых вело сразу множество выходов, опускаясь по холодным узким спускам и поднимаясь по более широким подъемам, но так и не выбрался в знакомые места. Его бросило в пот от страшной мысли: если бы он не предпринял своей обычной предосторожности и не отмечал свой путь мелом на стене, он бы никогда отсюда не выбрался! Неожиданно он почувствовал приступ голода. Обратив внимание на то, что его свеча догорает, он вытащил из-за пояса одну из десятка свечей, которые всегда носил с собой, и зажег ее от фитилька догорающей. Сев на пол и осторожно поставив перед собой на каменную плиту только что зажженную свечу, он открыл свой нож с узким лезвием, вытащил из-за пазухи хлеб и отрезал себе кусок.

И справа, и слева от него темнота была густой как чернила. Флэй сидел в круге света, отбрасываемого пламенем свечи, его лицо, руки и лохмотья являли собой впечатляющую картину контрастов света и тени. На стене позади него тяжелым пятном громоздилась тень. Флэй вытянул ноги и собирался уже приступить к своей нехитрой трапезе, когда услышал взрыв смеха.

Если бы звуки этого смеха, приглушенные каменной преградой, не раздавались столь явственно позади него, где-то за стеной, к которой он прислонился спиной, ему бы пришлось признать, что этот смех безумия раздался у него в голове.

Однако Флэй был твердо уверен в том, что не сходит с ума, и в том, что смех этот не является порождением его мозга. Но в том, что в страшных звуках присутствовало безумие, он не сомневался. Этот дьявольский вой еще не затих, а Флэй уже вскочил на ноги, словно его вздернул кверху невидимый крюк, зацепленный за одежду. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Флэй одним прыжком перескочил к противоположной стене и, прижавшись к ней, словно загнанное в угол животное, вперил взгляд в холодные камни, о которые он только что опирался спиной, словно сама стена была заражена тем безумием, которое за ней пряталось, словно каждый камень был безумен и готов был выпрыгнуть из стены и наброситься на него.

Флэй слышал, как в тишине, показавшейся после безумного гогота еще более глубокой, с его лба на каменные плиты пола падают капли пота. Во рту у него так пересохло, что, казалось, язык и небо превратились в лоскуты сухой кожи. Сердце его грохотало как барабан. Но из темноты никто не появился. Свеча спокойным светом освещала пол и стену напротив него.

И тут страшный смех раздался снова. В этот раз Флэй различил в нем не один, а два голоса, словно горло существа, из которого он вырвался, было так устроено, что могло издавать такие страшные двойные звуки. Флэй был уверен и в том, что эта сдвоенность не была результатом эха, – звуки не накладывались друг на друга, а звучали одновременно, внушая еще больший

ужас.

В этот раз пронзительный хохот не оборвался резко, как ранее, а стихал постепенно, превращаясь в тонкий скулеж. Но даже в нем явственно слышалось два синхронных голоса; безумие словно двоилось, превращая оцепеневшего Флэя в камень.

После того как снова воцарилась тишина, Флэй еще некоторое время простоял без движения. Он был потрясен. Его одиночество было грубо нарушено. Его неспособность понять, кто мог глубокой ночью издавать такие звуки, была подобна оскорблению, брошенному его узкому, но гордому уму. А ужас, глубочайший ужас, порожденный криком существа, которого он не видел, на которое находилось где-то совсем близко, сковывал его члены и лишал способности двигаться.

Время шло, и ничто более не нарушало тишину, безумный смех не возобновлялся. Флэй поднял свечу, стоявшую на полу, и отправился, неоднократно оглядываясь, назад по тому же пути, который привел его к страшному месту. Флэй шел быстро, поглядывая на сделанные им ранее отметки мелом. Наконец он добрался до того места, с которого началось его так мрачно завершившееся путешествие. Там Флэй чувствовал себя уже почти дома и уверенным шагом направился по знакомым коридорам и залам к своей комнате.

Но успокоиться на этом Флэй, конечно, не мог. Тайна жуткого, безумного смеха притягивала его, он не переставал думать о ней, и на следующий день, вскоре после восхода солнца, о котором он узнавал благодаря свету, проникающему в вентиляционные трубы и дымоходы, он почувствовал, что то мрачное место влечет его к себе снова. И не потому, что ему хотелось еще раз испытать острые ощущения и снова услышать кошмарный смех, но потому, что он не мог позволить этой тайне остаться нераскрытой. Он просто должен был вывести ее на свет разума и выяснить, что же все-таки это было, и кто – человек или зверь – издавал такие звуки. Бывший первый слуга Горменгаста оставался полностью верным духу Замка, и ему было невыносимо думать, что в Замке присутствуют некие силы, которые противятся упорядоченной церемониальной жизни Замка и его обрядности, что тело Замка разъедает яд чего-то враждебного ему, скрытого и невыявленного. Флэй намеревался пройти дальше по тому коридору, в котором слышал страшный смех, в надежде, что ему удастся добраться до какого-нибудь поворота, а потом пойти назад по параллельному коридору и достичь того места на с другой стороны стены, где прозвучали безумные звуки.

Но этого ему не удалось сделать. День за днем ходил он по каменным коридорам, по десятку раз на день сбивался с пути, попадал в те места, где уже побывал, постоянно возвращался к исходной точке, но никак не мог уловить какую-либо системность, некий общий план в беспорядочном нагромождении архитектурных форм. Время от времени он возвращался к тому месту, где слышал дикий смех, останавливался, прислушивался, но за исключением своего дыхания и ударов собственного сердца, никаких иных звуков не слышал.

И тогда он решил прийти к страшному месту не в дневное время, а в тот же ночной час, когда его в первый раз напугал безумный хохот, в тот час, когда в сердце и членах остается меньше всего решимости и смелости. Если он снова услышит этот хохот и тот будет повторяться и не стихать некоторое время, он попробует добраться до источника и выяснить, кто же его издает, тем самым достигнув того, что ему не удавалось сделать днем.

И вот, преодолевая страх, глубокой ночью он отправился в путь по ледяным коридорам. Он уже без особого труда отыскал нужный коридор и, еще не достигнув рокового места, услышал чьи-то крики и плач. Когда он подошел совсем близко, то явственно услышал, как кто-то нечленораздельно взывал к самому себе и так же нечленораздельно отвечал.

В голосе – или голосах – теперь слышался страх. Прислонив ухо к стене, он прислушивался. И ему показалось, что голоса звучали все слабее и слабее, словно кричавший – или кричавшие –

теряли последние силы. Но до источника этих воплей ему так и не удалось добраться, и ночной поход завершился так же безрезультатно, как и дневные. Когда Флэй уже отправлялся в обратный путь, крики прекратились и тяжелым грузом опустилась тишина. И сколько бы Флэй не прислушивался, никаких звуков он больше не слышал.

Но и после этого Флэй не оставил своих попыток отыскать таинственное страдающее существо. Из тех звуков, которые ему удавалось услышать, он сделал вывод, что оно полностью теряет силы, и его ужас сменился слепой жалостью, которая влекла его к роковому месту в заброшенном коридоре снова и снова, словно нераскрытая трагедия тяжелым грузом ложилась на его совесть, словно его присутствие у стены и вслушивание в умирающие звуки могло чем-то помочь. Он прекрасно понимал, что это не так, но ничего не мог с собой поделать.

И вот пришла ночь, когда он, сколько он не прислушивался, не смог уловить ни звука. И в последующие ночи ничто уже не нарушало тишину.

И Флэй понял, что безумному существу, скрытому за каменной стеной, пришел конец. Он так никогда и не узнал, что же это было за существо, которое смеялось и разговаривало само с собой жестяным и страшным двойным голосом. Он так никогда и не узнал, что ему довелось быть последним и единственным человеком, который слышал голоса их милостей Кору и Клариссы. Комната, в которую их когда-то заманили, находилась выше и немного сбоку от коридора, в который забрел Флэй, а вентиляционная шахта, скрытая в стене, доносила до него их голоса. Флэй так никогда и не узнал, что за запертыми дверьми своей комнаты сестры-близнецы, оставшиеся без пропитания – Шуквол после происшествия с топором более не появлялся и соответственно не приносил им еды, – постепенно теряли рассудок. Их сумасшествие становилось все более глубоким, а в минуты просветления они осознавали, что умирают.

Когда слабость окончательно одолела их, они улеглись рядышком и, глядя в потолок, тихо умерли – в одно и то же мгновение.

Глава сорок шестая

В то время как Флэй предавался в Безжизненных Залах размышлениям над тем, что же ему довелось услышать, и безуспешно пытался разгадать загадку таинственных звуков, Щуквол, поднявшись с постели, не теряя времени взялся настойчиво утверждать себя в роли Хранителя Ритуала. У него не было иллюзий в отношении того, какова будет реакция обитателей Замка, когда они поймут, что он выполняет функции Хранителя Ритуала не временно, а пытается остаться в этой должности постоянно. Щуквол не был стар, он не был сыном Баркентина, он не принадлежал ни к какой группе ритуалослужителей, у него не было никаких оснований претендовать на Титул Хранителя Ритуала – он был лишь учеником утонувшего калеки. Но он обладал разумом и выносливостью, чтобы выполнять весьма обременительные обязанности, возлагаемые на Хранителя Ритуала. И хотя этого было далеко не достаточно, однако давало надежды на успех.

Положение осложнялось тем, что в его внешности произошли страшные перемены. И ранее его острые плечи, его сутулость, его бледность, его темно-красные глаза никогда не располагали к дружбе с ним (хотя он и не пытался завести с кем-нибудь приятельские отношения). А теперь, даже несмотря на то, что в Замке не очень ценили физическую красоту, его сторонились еще больше.

Ожоги на лице, шее и руках зажили, но оставили после себя следы, которые могли уничтожить лишь могильные черви. Лицо его стало пегим – туго натянутая фиолетовая кожа ожогов соседствовала с восковой бледностью нетронутых огнем участков. Руки были покрыты кроваво-красной и фиолетовой кожей, местами сморщенной и местами гладко натянутой; все складочки и морщины делали его руки похожими на лапы мифического зловредного существа.

Однако в этом уродстве для Щуквола был и выигрышный момент: оно не только вызывало отвращение, но одновременно напоминало всем о том, что это именно он, Щуквол (а версию о смерти Баркентина, предложенную Щукволом, пока никто открыто не подвергал сомнению), рисковал своей жизнью, чтобы спасти Наследственного Хранителя Ритуала. Это он много недель находился на грани смерти и испытывал невероятную боль, потому что проявил огромную самоотверженность и попытался вырвать из лап смерти главного Хранителя традиций Горменгаста. Разве можно, учитывая все это, ставить ему в вину его отвратительную внешность?

К тому же в глубине души Щуквол был уверен, что, несмотря на всю предубежденность к нему, в конце концов его противникам придется принять его, невзирая на ожоги, на его происхождение, на все те слухи, которыми полнился Замок – да, они вынуждены будут принять его по той простой причине, что никто, кроме него, не обладал нужными знаниями. Баркентин никому не передал свои тайные знания. Тома перекрестных ссылок, которые необходимы были для того, чтобы проводить обряды и ритуалы должным образом с учетом всех факторов, остались бы непонятными даже для наиболее сообразительных, ибо первоначально следовало изучить всю символику, требующуюся для их понимания. Только для того, чтобы понять принцип, по которому располагались бесчисленные книги в библиотеке, Щукволу понадобился целый год, хотя при этом ему, пусть и неохотно, помогал Баркентин.

Щуквол действовал осторожно, с большой хитростью. И постепенно его стали принимать чуть ли не как законного наследника Хранителя Ритуала, более того, у некоторых обитателей Замка Щуквол стал вызывать нечто вроде восхищения, хотя и смешанного с горечью. Он ни на йоту не отклонялся от всех неисчислимых предписаний Закона Горменгаста, и это проявлялось изо дня в день, когда он отправлял те или иные обряды и ритуалы. И к концу каждого истекшего

дня он знал, что его положение пусть и очень незначительно, но укрепилося.

Сам же Щуквол не мог себе простить ту нерасторопность, которую проявил во время убийства Баркентина. Его мучило не столько то, что произошло с его телом, но прежде всего то, что он совершил такие непростительные ошибки. Его рассудок, всегда бесстрастный и безжалостный, теперь превратился в ледяной сгусток, лишенный каких-либо эмоций, ясный и бесчувственный. Теперь вся его воля была направлена на то, чтобы все крепче и крепче держать Замок в своих обожженных руках. Он знал, что каждый следующий шаг ему следует делать с величайшей осторожностью, что, несмотря на жесткую традицию, которая опутывала жизнь Горменгаста, жизнь эта тем не менее в своих глубинах была темной и непредсказуемой; всегда были те, кто сомневался, те, кто присматривался, те, кто прислушивался. Щуквол понимал, что для того, чтобы его мечты осуществились, ему нужно всемерно укрепить свое положение, на что уйдет, может быть, лет десять; он не будет рисковать, он будет предельно осторожен, он будет создавать себе репутацию человека, который является не только высшим авторитетом по вопросам традиций Замка и Ритуала, но и неутомимой личности, полностью преданной своему делу, доступ к которой, однако, будет исключительно затруднен. Это даст ему достаточно свободного времени для осуществления собственных целей и поможет создать легендарный образ Щуквола-святого, действия которого не подлежат обсуждению. Разве он не прошел страшное испытание огнем и водой, бросившись, не раздумывая, спасти того, кто был самой душой традиций Горменгаста?

Щуквол спланировал все на много лет вперед. Для молодого поколения он должен стать чем-то вроде бога, но поначалу он должен строжайшим и неукоснительным исполнением всего того, что требуется от Хранителя Ритуала, возвести основание трона, на который в один прекрасный день воссядет.

Щуквол был уверен, что, несмотря на прошлые ошибки – его ведь неспроста подозревали в мятежности характера и еще более страшных грехах – теперь, когда он прочно вступил на путь, ведущий к сияющей золотой вершине, он был уже вне всяких подозрений и никто уже не сможет разоблачить его тайных притязаний.

Он был молод, и огонь, который обезобразил его лицо, не нанес серьезного ущерба его здоровью, не отнял запасов его жизненной энергии. После того как ожоги зажили, он казался таким же неутомимым и полным сил, как и до катастрофы.

Стоя у окна своей комнаты и глядя на открывающиеся снежные пространства, он немелодично посвистывал сквозь плотно сомкнутые зубы. Была середина дня. На фоне темного облачного неба высилась Гора Горменгаст, укутанная в ватный покров снега и потерявшая всю свою угловатость Щуквол смотрел на нее невидящим взглядом. Через четверть часа ему нужно было отправляться в конюшни, там для его осмотра выстроят лошадей в память о племяннике пятьдесят третьей Графини Стон, который в свое время был бесстрашным наездником. Щуквол должен был удостовериться, что все конюхи облачены так, как положено, что традиционные лошадиные маски, выражающие печаль и уныние, надеты должным образом.

Щуквол поднял руки и, расставив пальцы, приложил ладони к стеклу. Между пальцами и вокруг рук виднелись белые пространства, казалось, что руки лежали на белой бумаге. Постояв так некоторое время, он опустил руки, повернулся и пошел через комнату к столу, на котором лежал его плащ. Надев его и выйдя из комнаты, Щуквол, поворачивая ключ в двери, вспомнил о сестрах-близнецах. Во многих отношениях и здесь все развивалось совсем не так, как ему хотелось, но, может быть, хорошо, что все закончилось само по себе, без его вмешательства. Съестные припасы у них подходили к концу уже тогда, когда он получил свои ожоги, и, конечно, они уже давно были мертвы. Вскоре после того, как ему было позволено вставать, Щуквол просмотрел свои записи и попытался оценить, какой срок они могли бы

просуществовать на том небольшом количестве воды и пищи, которое у них оставалось, и сколько еще времени они могли бы прожить без пищи вообще. И пришел к выводу, что они должны были умереть от голода и полного истощения не позднее того дня, когда он, обмотанный бинтами, как труба, лопнувшая в морозный день, впервые поднялся с постели. На самом же деле они умерли на два дня позже.

По мере того как Тит рос, он все больше отбивался от рук. В длинных темных спальнях мальчики его возраста после наступления темноты зажигали свечи и, прикрывая руками их трепещущие огоньки, собирались в группки и совершали свои странные обряды или поедали украденные пироги. И Тит не оставался от всего происходящего в стороне. Он не прятался в кровати, когда в мертвенном молчании жестко сводились старые счеты: каждую ночь в своей загородке у двери общей спальни, лежа на спине, как выброшенный на берег крокодил, спал внушительных размеров привратник. Неровное дыхание этого человека, его ворчание, его хрипы, сипение и бормотание были для Тита и его сверстников легко расшифровываемыми сигналами, которые сообщали, глубоко ли спит привратник (хотя надо сказать, его даже самый глубокий сон был весьма чуток). Больше всего мальчики опасались отсутствия каких бы то ни было звуков, ибо это означало, что глаза привратника открыты и он прислушивается к происходящему в темноте.

Все принимали как священный тот факт, что в Замке всегда правил Герцог и всегда будет править и что придет время, когда нынешний молодой Герцог Тит станет практически недостижимым для всех, кроме очень узкого круга лиц, человеком, отличным от остальных не только в силу своего социального положения, но и в силу своей врожденной инаковости. Но не менее священной была и традиция, согласно которой в детстве с Герцогом Горменгаста следовало обращаться как со всеми остальными мальчиками его возраста. Семейство Стонов гордилось тем, что их детские годы были вовсе не сахар.

Сами же мальчики не испытывали никаких затруднений при воплощении этой традиции в жизнь. Они знали, что юный Герцог ничем от них не отличается, лишь много позже они изменят свое мнение. Так или иначе, но то, что может произойти в будущем с их сверстником, мало занимало его друзей и врагов. Для мальчиков важно, что происходит в данный момент. И Тит участвовал во всех проказах, дрался, как и все остальные, и время от времени бывал бит розгами привратником.

Тит шел на риск и получал причитающееся ему наказание. Но он ненавидел то двойственное положение, в котором постоянно пребывал. Кто он такой – правитель Замка или простой мальчишка? Он ненавидел тот мир, в котором он не был полностью ни тем, ни другим. То, что нелегкое детство должно было подготовить его к ответственности, возлагаемой на правителя, его вовсе не утешало. Его не интересовала будущая жизнь, его не интересовали обязанности правителя. Как ни поверни, он чувствовал большую несправедливость по отношению к себе.

И говорил себе: «Ладно, если я такой же, как и все остальные мальчики, почему я должен каждый вечер являться к Щукволу и докладывать ему, чем я занимался и почему? Почему я должен после занятий заниматься всякими делами, которых другие мальчики не делают? Почему я должен делать все эти глупости – ходить к каким-то старым дверям, поворачивать ключи в заржавленных замках, поливать вином какие-то древние камни, выполнять все эти бессмысленные ритуалы. Это все утомляет! Ну почему, почему, если я ничем не отличаюсь от остальных, я должен все это делать? Какая гадкая несправедливость! И кто все это подстроил?»

Учителя считали его тяжелым, непослушным учеником и все чаще называли его поведение наглым и вызывающим. Все, кроме Роцезвона, к которому Тит испытывал необъяснимую

– Вы, мой дорогой мальчик, собираетесь работать или жевать кончик своей ручки, а? – спросил Роцезвон, наклоняясь над столом и обращаясь к Титу.

– Да, господин Роцезвон, – выпалил Тит, вздрогнув. Его мысли были далеко.

– Вы хотите сказать «Да, я буду работать» или «Да, я буду жевать свою ручку»?

– Эээ... работать, господин Роцезвон. Профессор концом указки перебросил за плечо непокорную прядь, выпавшую из его гривы.

– Я очень рад. Знаете, мой дорогой друг, однажды, когда я был в вашем возрасте, я вдруг был захвачен идеей сосредоточиться на той работе, которую мне задал мой учитель. Не знаю, откуда у меня появилась такая идея, потому что ранее ничего подобного мне в голову не приходило. Я услышал о том, что некоторые поступали именно таким образом – понимаете, сосредоточиться на выполняемой работе, – но я никогда не думал, что можно это попробовать и самому. Но – и тут я попрошу вас послушать внимательно! – что при этом произошло? Я вам скажу. Я обнаружил, что задание, которое задал мне мой учитель, очень и очень просто. Почти оскорбительно просто. И я сосредоточился еще больше. И когда я выполнил его, я попросил дать новое задание. А потом еще. И все мои ответы оказались совершенно правильны. И что же произошло дальше? Я восхитился тем, что я такой умный, но я выполнил так много заданий, что заболел. И вот поэтому я хочу предупредить тебя – и весь класс. Берегите свое здоровье. Не перетруждайтесь. Не спешите сделать все сразу, ибо вы можете заболеть, как это случилось со мной, когда я был, дорогие мои мальчики, юн, как вы, и уродлив, как вы, и грязен, как вы. Но если вы, мой дорогой Стон, не завершите свою работу к четырем часам, мне придется задержать вас до пяти.

– Понятно, господин Роцезвон, – покорно согласился Тит. И вдруг почувствовал, как его ткнули чем-то в спину. Обернувшись, он обнаружил, что мальчик, сидевший позади него, передает ему записку. Худшего момента для этого было не выбрать, однако, к счастью, Роцезвон смиренно и одновременно царственно закрыл глаза. Развернув бумажку, Тит обнаружил, что это вовсе не записка, а грубая карикатура на Роцезвона, который был изображен преследующим Ирму Хламслив с лассо в руке. Рисунок был сделан очень неумело и совсем не смешно, и Тит, у которого совсем не было настроения для насмешек, бросил ее назад через плечо. Но мелькнувший в воздухе бумажный комок в этот раз привлек внимание Роцезвона.

– Что это такое было, мой дорогой мальчик?

– Эээ. просто скомканный кусочек бумажки, господин Роцезвон.

– Принеси ее своему учителю. Это даст ему возможность хоть чем-то заняться. Он сможет поупражнять свои старые пальцы, разворачивая ее. Чем же еще заняться до конца этого урока?.. – А потом добавил, словно размышляя вслух: – О крошки, грудные младенцы... крошки и младенцы... как ваш старый учитель иногда от вас устает!

Скомканную бумажку подобрали и вернули Титу. Тот встал из-за парты и направился к столу учителя. Когда до него оставалось всего пара шагов, Тит неожиданно положил бумажку в рот и проглотил ее.

– Я проглотил ее, господин Роцезвон.

Учитель нахмурился, и болезненное выражение промелькнуло на его благородном лице.

– Тит Стон, мне стыдно за вас. Тебя придется наказать. Залезайте на парту и стойте без

движения.

Простояв на парте несколько минут, Тит почувствовал, что его снова сзади толкают. Он уже и так попал в неприятное положение из-за глупости мальчишки, сидевшего позади него, и злобно прошипел «Пошел к черту!», но повернувшись, он обнаружил, что позади него стоит Щуквол.

Молодой Хранитель Ритуала столь бесшумно и незаметно вошел в классную комнату, что его появление заметили всего несколько мальчиков; остальные были слишком поглощены своим обычным бездельем. Щуквол считал, что обязан время от времени навещать классные комнаты во время занятий и, полагая, что его официальное положение дает на это право, входил без стука. Но возглас Тита привлек теперь всеобщее внимание.

И до учеников постепенно стало доходить, почему Тит стоит на парте и кому он крикнул «Пошел к черту». Тит застыл без движения – голова сильно повернута, торс развернут на узких бедрах, руки сжаты в кулаки, подбородок сердито опущен. Он с ужасом понял, что его гневный выкрик оказался адресованным не мальчику, сидевшему за ним, а человеку с пегим лицом – самому Щукволу.

Так как Тит стоял на крышке парты, ему приходилось смотреть сверху вниз на лицо, облеченное властью, которое к тому же выросло, словно из-под пола. Щуквол смотрел на Тита снизу вверх; на губах его замерла кривая улыбка, брови слегка подняты, во всем выражении некое выжидание, словно показывающее, что хотя Щуквол и понял, что мальчик никак не мог догадаться, кто стоял позади него и похлопывал его по спине (и соответственно не был повинен в крайне наглом обращении к Хранителю Ритуала), однако при этом так или иначе требовалось извинение. Просто невозможно было допустить, чтобы к Хранителю Ритуала – пусть и ненамеренно – обращались подобным образом, даже если непочтение проявил сам Герцог.

Но извинения не последовало. Ибо Тит, как только осознал, что произошло – что он выкрикнул «Пошел к черту» в лицо тому, кто воплощал столь ненавидимые им власть и удушение всяческой свободы, – инстинктивно понял, что пришел момент, когда он может и должен бросить вызов самому страшному исчадию ада.

Принести извинения значило подчиниться.

Тит всеми глубинами своего существа ощущал, что не должен спускаться с высоты положения ни в прямом, ни в переносном смысле. Перед лицом опасности, перед лицом того, кто воплощал ненавистную гадкую традицию, перед этим человеком с изувеченными красными руками, вздернутыми сутулыми плечами он должен выстоять и остаться на высоте. Он должен держаться изо всех сил за рваный край скалы, куда зашвырнула его судьба, и спуститься на землю лишь после того, как будет одержана победа и он сможет ликовать, радуясь своему триумфу; он должен знать, что он, переборов страх, не опустился на колени перед человеком, замешанным из совсем другой глины. Он должен показать превосходство, данное ему от рождения.

Но Тит, если бы даже захотел, не мог пошевелиться. Он побледнел, его лицо стало белым как бумага тетради, лежащей на столе. Лоб стал липким от пота, его охватила страшная слабость. Держись, держись! Ни на что другое у него просто не было сил. У Тита не хватало смелости взглянуть в темно-красные глаза, взгляд которых из-под полуприкрытых век был устремлен прямо ему в лицо. Пару мгновений Тит смотрел поверх Щуквола, а потом вообще закрыл глаза. Его смелости и решимости хватало лишь на то, чтобы не приносить извинений.

А потом вдруг Тит почувствовал, что стоит уже не вертикально, а под каким-то странным углом. Когда он в испуге открыл глаза, ему показалось, что вокруг него вихрем завертелись парты; какой-то очень далекий голос выкрикнул что-то тревожное, и Тит без сознания рухнул на пол.

Глава сорок восьмая

– Я переживаю счастливое время... Альфред, ты меня слышишь? Я говорю, что переживаю очень счастливое время... Ты меня слушаешь или нет? Боже, как это раздражает – женщина рассказывает о том, как восхитительно, как благородно за ней ухаживают, а родной брат проявляет к ее рассказу не больше интереса, чем к мухе на стене! Альфред! Я говорю – как к мухе на стене!

– О моя единоутробная сестра, – откликнулся наконец Доктор Хламслив (он был погружен в глубокие раздумья), – что желала ты услышать от меня?

– Услышать от тебя? – воскликнула Ирма с великолепно разыгранным презрением – Разве можно от тебя услышать что-нибудь дельное?

Ее пальцы пригладили серо-стальные волосы, а затем вдруг вспрыгнули на пучок волос, собранных на затылке. Эти нервные пальцы двигались с такой поразительной ловкостью и уверенностью, словно на каждом из них располагался маленький глаз.

– Я тебе, Альфред, не задавала никаких вопросов. Иногда у меня возникают свои собственные мысли, которыми хочется поделиться. Я знаю, что ты очень низкого мнения о моем интеллекте. Но далеко не все, уверяю тебя, придерживаются такого мнения! Ты даже представить себе не можешь, Альфред, что со мной происходит! Я раскрываюсь как цветок! Я обнаруживаю в себе сокровища! Оказалось, что во мне скрыты богатства! Альфред, теперь я это все знаю! Я обладаю умом, которым раньше просто не пользовалась!

– Беседовать с тобой, Ирма, – наставнически изрек Хламслив, – крайне трудно. Ты заканчиваешь свои предложения таким образом, что твоему брату, моя дорогая сестрица, не за что ухватиться, чтобы продолжать беседу. Ни единого маленького сияющего крючочка для твоего брата, жаждущего общения с тобой! Мне всегда самому приходится начинать новые темы, моя сладкая рыбка. Я сам должен придумывать все темы. Но я не оставлю своих попыток поддерживать беседы с тобою. Итак, о чем ты говорила?

– О Альфред, ну хотя бы раз сделай мне такое одолжение – разговаривай нормально! Я так устала от твоего способа изъясняться! Все эти твои развороты речи так утомительны!

– Обороты речи, моя дорогая, обороты! – воскликнул Доктор Хламслив, вскочив на ноги и заламывая руки. – Сколько раз я тебя поправлял!.. Черт подери, что это происходит с моими нервами! Конечно, я сделаю все, о чем ты просишь! О каком одолжении ты просила?

Но Ирма была уже вся в слезах. Она уткнулась лицом в мягкую серую бархатную подушку. Проведя минуту в таком положении, она снова подняла голову и сняла свои темные очки. Всхлипнув, она сказала сквозь слезы:

– Это ужасно! Если даже родной брат так бросается на тебя!.. А я так тебе доверяла! – вдруг выкрикнула Ирма, – Так доверяла! А ь теперь и ты меня предаешь! А я всего лишь хотела спросить у тебя совета!

– А кто еще тебя предал? – поинтересовался Хламслив, и голос его прозвучал резко, – Не Глава ли Школы?

Ирма приложила к уголкам глаз вышитый платочек, величиной с игральную карту.

– Он так рассердился, когда я сказала ему, что у него... грязная шея, у него, моего милого господина...

– Господина? – вскричал Хламслив. – Я надеюсь, ты его так не называешь при встречах?

– Конечно нет, Альфред... только когда его нет рядом... Но он же мой господин, разве не так?

– Тебе виднее, – пробормотал Хламслив, проводя рукой по лбу. – Наверное, его можно

называть как угодно.

– О, он мой господин! Он... он все что угодно... нет, он – все!

– Но ты пристыдила его, он чувствует себя оскорбленным, его гордость задета. Это так, Ирма?

– Да, да! Ты все это так верно описал! Что мне теперь делать? Что мне теперь делать?

Хламслив, растопырив пальцы, медленно свел руки вместе и коснулся кончиками пальцев одной руки кончиков пальцев другой.

– Моя дорогая Ирма, ты сейчас переживаешь нечто такое, через что, очевидно, должны пройти все, вступающие – или вступившие – в брак. Это называется притиркой. С ним происходит то же самое. Проявляй терпение, мой цветочек. Учись новому принципу общения. Проявляй весь такт, данный тебе от рождения Богом, помни, какие ошибки ты совершила, и не совершай их больше. Не упоминай больше о грязи на его шее, и его раздражение скоро уляжется, его рана заживет. Если ты его любишь, просто люби его и не беспокойся о том, что было и ушло. В конце концов, ты любишь его, несмотря на свои собственные недостатки; не обращай внимания и на его недостатки. Недостатки других могут восхищать. А свои собственные всегда скучны и противны. Успокойся. Поменьше говори и измени походку, а то ты ходишь как буюк, который болтают волны.

Ирма встала из кресла и направилась к двери.

– Благодарю тебя, Альфред, – чопорно бросила она и скрылась за дверь. Доктор Хламслив переместился на диван, стоявший у окна. С удивительной легкостью он изгнал из своих мыслей сестру со всем тем, что ее мучило, и вернулся к тем размышлениям, которые она прервала.

А размышлял Доктор Хламслив о Щукволе и о том, как тому удалось добраться до того ключевого положения, которое он сейчас занимал. Вспоминал Доктор и о том, как Щуквол вел себя в качестве пациента. Его сила духа была несравненна, а воля к жизни – поистине неистова. Но больше всего мысли Доктора занимало не это. Он пытался разгадать, что могла означать фраза, вырвавшаяся у Щуквола в то время, когда он еще находился в бреду. Сквозь бессвязные, бессмысленные слова и фразы Щуквол произнес: «А если считать сестер-близнецов, то это будет уже пятеро!» И эти слова услышал Доктор Хламслив, стоявший тогда у постели больного...

Однажды темным зимним утром Тит и его сестра сидели рядышком на диване у окна одной из трех комнат Фуксии. Окно выходило на южную сторону. Вскоре после смерти няни Шлакк Фуксия переехала из своей комнаты в более привлекательную часть Замка. Поначалу Фуксия возражала против переезда – ей очень не хотелось покидать насиженное место, – однако потом смирилась. Ее новые три комнаты по сравнению с ее старой, запущенной спальней казались просторными и полными света.

Из окна были видны последние пятна снега, разбросанные по окружающим Замок полям. Фуксия, положив подбородок на руки, а локти на подоконник, следила за струйкой талой воды, которая стекала с крыши близлежащего строения. Струйку серо-стального цвета бросали из стороны в сторону налетавшие порывы ветра. Особо сильные и сердитые порывы сильно отклоняли ее от вертикального падения, разрывали ее, превращая в свинцовые капли, дождем сыпавшиеся вниз в небольшой каменный бассейн, выложенный во дворе у стены. Когда ветер стихал, струйка выравнивалась в вертикальную линию, напоминая канат, натянутый между крышей и бассейном, в котором бурлила и грохотала вода.

Тит, бесцельно листавший страницы книги, лежавшей у него на коленях, отложил ее в сторону и встал с дивана.

– Я так рад, Фукси, что сегодня нет занятий, – сказал он (в последнее время он называл свою сестру «Фукси»). – Если бы не праздник, у нас сегодня после обеда должны были быть уроки Призмкарпа с его гадкой химией и Срезоцвета.

– А что за праздник сегодня? – спросила Фуксия, не отводя взгляда от струйки воды, дергающейся из стороны в сторону.

– Точно не знаю. Кажется, что-то связанное с Матерью. День рождения или что-то в этом роде.

– А... – пробормотала Фуксия, а потом после небольшой паузы добавила: – Разве не забавно, что кто-то должен напоминать о таких вещах? Не припомню что-то, чтобы раньше отмечали ее день рождения. Тут все делается как-то не по-человечески.

– Я не понимаю, что ты имеешь в виду, – отозвался Тит.

– Ничего удивительного, тебе этого еще не понять. Но это не твоя вина, и наверное, тебе даже повезло... Я много читала и знаю, что большинство детей постоянно общается со своими родителями... ну, по крайней мере видят их значительно чаще, чем мы.

– Знаешь, я совсем не помню отца, – сказал Тит.

– А я помню. Но с ним было тоже очень сложно. Я почти никогда с ним не разговаривала. Наверное, он хотел, чтобы я была мальчиком.

– Ну да!

– Да.

– А... а почему?

– Ну, чтобы у него был наследник, который должен был бы стать следующим Герцогом.

– Но есть же я! Так что... ну, наверное, с этим теперь все в порядке!

– Но когда родилась я, он-то не знал, что еще родишься ты! Мне было уже почти четырнадцать лет, когда ты появился на свет.

– Четырнадцать лет?

– Да. И пока ты не родился, он все время сожалел, что я не мальчик.

– Забавно, правда?

– Ничего забавного в этом я не видела и не вижу. Но ты не виноват...

В это время раздался стук в дверь, и вошел посыльный.

– Что вам нужно? – спросила Фуксия.

– Вам устное послание, ваша милость.

– От кого?

– От ее милости Графини, вашей матери. Она желает, чтобы его светлость господин Тит прибыл в ее комнату. Она желает вывести его светлость Тита на прогулку.

Тит и Фуксия в крайнем удивлении уставились на посыльного, а потом друг на друга. Несколько раз они открывали рты, чтобы что-то сказать но, так ничего и не сказав, закрывали их снова. Потом Фуксия снова перевела взгляд на тающий снег, а Тит, сопровождаемый посыльным, вышел из комнаты.

II

Графиня ожидала их на лестничной площадке. Легким, ленивым кивком головы она дала знак посыльному оставить их одних.

Потом она взглянула на Тита, но при этом, как ни странно, на лице у нее не появилось никакого особого выражения. Казалось, она рассматривает нечто такое, что вызвало ее легкий интерес, сродни тому который испытывает геолог, рассматривающий незнакомый камень, или ботаник, разглядывающий неизвестное ему растение. Выражение на лице Графини не было ни добрым, ни злым. Вернее всего было бы сказать, что у нее не было никакого выражения, словно она просто забыла, что у нее есть лицо, и поэтому не пыталась ничего на нем выразить.

– Я возьму их на прогулку, – сообщила Графиня, отрешенным голосом, прозвучавшим как шум мельничных жерновов.

– Хорошо, мама, – покорно согласился Тит. Он решил, что она собирается взять с собой своих кошек.

По ее широкому челу пробежала тень – слово «мама» озадачило ее, но ведь мальчик имел полное право так называть ее. Или нет?

Необъятные размеры Графини всегда производили на Тита большое впечатление. Складки одежды, свисающие с большой высоты, пляшущие пятна света и тени, все эти монументальные формы вселяли в Тита трепет.

Тит восхищался Графиней, но как подойти к общению с ней, Тит не знал. Графиня не беседовала – она делала заявления.

Графиня, повернув голову и сложив особым образом губы, свистнула мощным, подвывающим свистом. Тит, взглянув на грузную фигуру, возвышающуюся над ним, подумал: а зачем она позвала меня с собой на прогулку? Хотела ли она сообщить ему нечто важное? И было ли что-нибудь вообще, что она могла бы сказать ему? Или это была просто ее прихоть?

Графиня стала спускаться по лестнице, и Тит покорно последовал за ней.

Из десятков темных углов, с выступов стен, с полок, с мест, не продуваемых сквозняком, из внутренностей старых распотрошенных диванов, с порванных плюшевых сидений стульев, с подоконников маленьких, заросших паутиной окошек, из ворохов изорванной когтями бумаги, из глубин давно потерянных шляп, с балок, с ржавых шлемов, висящих на стенах, из полуоткрытых ящиков на свист прибежали кошки и белой пеной потекли по коридорам. Лестница наполнилась шумом сотен мягких лапок. Кошки выстраивались позади Графини,

укрывая своими телами лестницу как пушистым ковром.

Графиня и Тит вышли во двор, затем прошли под аркой ворот Внешней Стены. Перед ними открылся вид на Гору Горменгаст, на больших неприветливых высотах которой еще лежал темно-серый снег. Графиня махнула своей тяжеловесной рукой, и кошки тут же бросились в разные стороны, подпрыгивая и кувыркаясь от радости – их впервые выпустили за пределы стен с тех пор, как холодная зима и снег сковали все вокруг. Хотя некоторые кошки бегали и прыгали парами или маленькими группками, большинство вело себя так, словно каждая из них была одной-единственной и никаких других кошек вокруг не было. Каждая была сама по себе и не нуждалась в компании, каждая развлекалась отдельно, некоторые уселись по-кошачьи и замерли, потеряв ко всему интерес, с потухшими взглядами, обдумывая что-то свое. Красивые белые зверьки казались легендарными созданиями, сошедшими с геральдических знаков.

Тит, шедший рядом с матерью, постоянно поглядывал ей в лицо, хотя вокруг была масса интересных вещей, которые могли бы привлечь внимание мальчика. Тит уже начинал понимать, что неопределенное выражение, надетое как маска на лицо Графини, не позволит определить, что у нее на уме. Время от времени Графиня хватала Тита за плечо и, отводя его в сторону, без единого слова показывала то на скрюченный ствол дерева, то на космы вьющихся растений на стволах, то на поросль черного мха, похожую на подушку. В одном месте Графиня свернула в сторону с едва заметной тропинки, по которой они шли, и показала пальцем на овражец, в котором еще сохранился почерневший снег; мелькнула и исчезла лиса. Время от времени Графиня останавливалась и смотрела на землю под ногами или на ветви близстоящего дерева, но Тит, как ни всматривался, не видел ничего примечательного.

Хотя зимой погибло великое множество птиц, их число, казалось, не уменьшилось, и когда Тит и его мать подошли к кромке леса, они увидели, что ветви были усеяны пернатыми; кругом между камнями и по жухлой, распластавшейся по земле траве бежали ручьи талой воды.

Графиня, взяв Тита за локоть, остановилась. Они стояли неподвижно, глядя перед собой. Засвистела птица, потом другая; маленький зимородок, появившийся, казалось, ниоткуда, синим пятнышком промчался вдоль одного из ручьев.

Кошки остались далеко позади; они бродили по округе, вдыхая холодный воздух, застилая горизонт белой пудрой.

Графиня пронзительно, но мелодично свистнула, и тут же к ней подлетела одна птичка, потом другая. Птицы садились на вытянутые руки Графини, которая внимательно рассматривала их, поднося к глазам в сложенной лодочкой руке. Птицы были худыми и слабыми. Графиня продолжала свистеть на разные птичьи лады, и все больше птиц слеталось к ней. Они прыгали вокруг нее по земле, садились на плечи. Вдруг из лесу донеслись какие-то звуки, которые заставили всех птиц умолкнуть. Свистнет Графиня – и тут же, словно передразнивая ее, приходит из леса ответ.

Это явно – хотя и непонятно почему – обеспокоило Графиню.

Она повернула голову, свистнула снова, и ее свист быстрым дразнящим эхом вернулся из лесу. Графиня свистела, имитируя десяток птичьих голосов, и этот свист повторялся в лесу с наглой точностью. Птицы, сидевшие на ее плечах и на земле вокруг нее, замерли.

Рука Графини сдавливала плечо Тита словно железными клещами. Ему стоило больших усилий не вскрикнуть от боли. Он с трудом повернул голову и посмотрел матери в лицо – это лицо, которое до сих пор было столь спокойным, потемнело.

Графиня точно знала, что отвечает ей не птица. Хотя ответное подражание было весьма искусным, но ее слух оно все-таки не обмануло. К тому же казалось, что издававшее разнообразный свист существо вовсе не пыталось ввести Графиню в заблуждение. В звуках, приходящих из леса, было нечто надрывное.

Тит не мог понять, что происходит. Почему так обеспокоена Графиня? Почему его плечо сжимают с такой силой? Тит был поражен и восхищен той властью, которую имела Графиня над птицами, но почему ответный свист птиц из лесу так сердит ее, ему было совершенно непонятно. Он чувствовал, что мать дрожит. Графиня сделала небольшой шаг вперед, словно защищая Тита от чего-то невидимого, что таится в лесу и может выскочить оттуда на него.

Вдруг Графиня подняла голову и, сверкая глазами, выкрикнула:

– Будь осторожен!

Ее голос взлетел к верхушкам деревьев – и тут же пришел ответ:

– Будь осторожен!

Ничто более не нарушало опустившуюся тишину.

* * *

Сидя на головокружительной высоте на вершущке сосны, Оно глядело сквозь холодную сеть хвойных игл на большую женщину и мальчика, удалявшихся в сторону Замка.

Тит узнал, что нечто необычное готовится к празднованию его дня рождения, лишь тогда, когда до него оставалось совсем немного времени. Титу исполнилось десять лет, однако ему приходилось участвовать в таком количестве всевозможных церемоний и ритуалов, что мысль о том, что ему придется в свой День Рождения выполнять – или наблюдать, как другие выполняют, – какой-то освященный древней традицией ритуал, казалась ему отнюдь не привлекательной. Но Фуксия рассказала ему, что в день десятилетия представителя семейства Стонов происходит нечто весьма необычное. Она знала это наверняка, потому что хорошо помнила день своего собственного десятилетия, хотя тогда празднество было весьма подпорчено дождем.

– И не проси, я тебе все равно ничего не расскажу, – заявила Фуксия. – Если ты будешь знать, это все испортит. Могу тебе только сказать, что все будет... восхитительно.

– В каком смысле? – недоверчиво спросил Тит.

– Подожди, и все сам увидишь. Ты сам будешь рад, что я тебе ничего не рассказала. Было бы так здорово, если бы всю жизнь было так, как в день рождения.

Когда День Рождения пришел, Тит с удивлением узнал, что ему придется провести двенадцать часов взаперти в огромной комнате для игр, о существовании которой Тит ранее и не подозревал.

Хранитель Внешних Ключей, угрюмый старик с бельмом на левом глазу, открыл комнату, как только заря забрезжила над башнями. Комнату эту не открывали с того дня, когда праздновалось десятилетие Фуксии (а до того она стояла закрытой со времени, когда ее отцу, Гробструпу, исполнилось десять лет). Но вот снова пришел день, когда поворот ключа со скрежетом открыл ржавый замок, проскрипели дверные петли, и миру были явлены покрытые пылью сокровища Детской Комнаты.

Титу, однако, показалось весьма странным, что в день его десятилетия его запирают на целый день в огромной пыльной комнате в малознакомой части Замка. И никакие чудесные и удивительные вещи, собранные в ней, не могли развеять неприятного чувства. Да, действительно, многое в комнате для игр могло вызвать восхищение: здесь были удивительные игрушки поразительных и странных форм, снабженные хитроумными механизмами; с потолка свисали канаты, на которых можно было раскачиваться во всю ширину комнаты, приставные лестницы, по которым можно было взбираться на балконы, расположенные на головокружительной высоте и заваленные непонятными предметами. Но все это мало утешало – дверь заперта, а единственное окно расположено под самым потолком.

И все же, хотя день тянулся очень медленно, Тита поддерживала мысль о том, что его заперли в этой комнате не только в связи с какой-то там древней традицией, а прежде всего из желания скрыть от него все приготовления к вечернему празднеству. Если бы его не заперли здесь, он обязательно бы что-нибудь разузнал, и если бы догадался, что его ждет вечером, то по крайней мере мог бы представить размах готовящегося торжества. И никакого настоящего сюрприза не получилось бы.

А приготовления действительно были грандиозны. И конечно же, если бы Тит стал их свидетелем, это бы не только смазало сюрприз, но и в какой-то степени пригасило бы тот взрыв восторга и удовольствия, которые ожидали его вечером. Тит, как ни старался, не мог догадаться,

что все-таки готовится, а Фуксия наотрез отказалась что-либо рассказывать. Она слишком хорошо помнила те радость и восхищение, которые посетили ее в день ее десятилетия, и считала, что не имеет права своим рассказом отнять у Тита даже сотую часть того удовольствия, которое его ожидает.

И Тит весь день провел в одиночестве, которое нарушалось лишь тогда, когда ему на специальных золотых подносах приносили еду. За час до захода солнца в комнату вошли четыре человека. Один нес большую коробку, в которой оказалась одежда. Титу предложили облачиться в нее. Второй принес легкий плетеный паланкин – кресло, установленное на двух шестах. Третий человек держал в руках длинный зеленый шарф, а четвертый – поднос с бокалом воды и пирожными.

Оставив все это в комнате, все четверо вышли, а Тит стал переодеваться. Одежда для церемонии оказалась достаточно простой: маленькая бархатная шапочка, просторное одеяние без швов из какого-то серого материала, длинное, до щиколоток, пара сандалий, тонкая золотая цепь, надеваемая вместо пояса. Вот и все. Переодевание не заняло много времени, и, застегнув сандалии, Тит позвал тех четверых, которые все это принесли.

Они тут же вошли на зов, и человек, несший шарф, приблизился к Титу.

– Ваша светлость...

– А это для чего? – спросил Тит, разглядывая шарф.

– Я должен завязать вам глаза. Это является честью церемонии.

– Нет! Зачем это нужно! – воскликнул Тит.

– Я здесь ни при чем. Я лишь исполняю то, что велит Закон.

– Закон! Закон! Закон! Как я ненавижу этот Закон! – вскричал мальчик – Сначала меня продержали целый день взаперти! Теперь мне завязали глаза! И все этот дурацкий Закон! Зачем это все нужно? Ответьте мне! Почему вы молчите?

– Я здесь ни при чем, – спокойно сказал человек, державший шарф (наверное, это была его любимая фраза). – Видите ли, ваша светлость, если не завязать вам глаза, то такого сюрприза, как нужно, не получится. И понимаете, – человек стал говорить увлеченно, словно его самого вдруг заинтересовало, то о чем он говорит, – понимаете, с завязанными глазами вы не будете знать, куда направляетесь, а потом, и знаете, все собравшиеся, все эти толпы, будут поначалу стоять в мертвом молчании...

– Молчать! – выкрикнул один из четверых. – Ты уже и так много сболтнул! – И, обратившись к Титу, добавил: – Разрешите мне заверить вашу светлость, что все делается для того, чтобы доставить вам радость и удовольствие!

– После всего что я вытерпел, надеюсь, что все будет так, как вы говорите!

Его страстное желание выбраться поскорее из комнаты для игр пересилило неприязнь к повязке на глазах. Отпив воды из бокала и проглотив пирожное, Тит шагнул к человеку, державшему в руках шарф.

– Ладно делайте что положено, – сказал он и позволил завязать себе глаза. Шарф был обмотан несколько раз вокруг его головы, и Тит погрузился в полную темноту. Потом он почувствовал, как у него на затылке завязывают концы шарфа.

– А теперь мы должны усадить вас, ваша светлость, в паланкин.

– Ладно, усаживайте.

Почти сейчас же после того, как Тит был усажен в плетеное кресло, он почувствовал, как поднимается в воздух. Затем, по команде одного из четверых мужчин, паланкин, покачиваясь, тронулся в путь. Тит чувствовал, как шаги мужчин, державших на плечах бамбуковые шесты, все убыстряются.

В полной темноте Тит не мог определить, где они находятся, наверняка он знал лишь то,

что они еще не вышли за пределы Замка. Судя по частым поворотам, которые приходилось совершать – некоторые из них представляли определенные трудности для проноса паланкина, – и гулким шагам, Тит догадывался, что его несут по неисчислимым коридорам Замка. Эхо шагов было столь четким и гулким, что у Тита невольно сложилось впечатление, что Замок пуст. Несомый сквозь лабиринт коридоров и переходов, Тит, как он ни напрягал слух, не слышал никаких иных звуков, кроме размеренного звука шагов, дыхания людей, которые несли паланкин, и мерного поскрипывания бамбуковых шестов.

Ему стало казаться, что с его глаз никогда не снимут шарф, что в темноте будут вечно слышны шаги, дыхание и поскрипывание. Но вдруг он ощутил на лице мягкое прикосновение свежего воздуха, звуки рассеялись, и Тит понял, что попал на открытое пространство. Паланкин наклонился вперед, и Тит понял, что его несут вниз по лестнице. Как только ступени закончились, паланкин стал раскачиваться сильнее – несшие его перешли на бег.

Бег проходил по ровной открытой местности, но и здесь, как и в Замке, не ощущалось присутствия людей.

Вся лихорадочная деятельность, бурлившая в Замке на протяжении дня, замерла. Все – знатные и незнатные, исполнители и зрители мужчины и женщины, старики и дети, – все заняли положенные места и замерли в ожидании.

Опускался вечер. Носильщики паланкина продолжали свой бег. Над их головами в вечернем небе на западе виднелся длинный язык желтого света.

Это закатное свечение быстро меркло, и вскоре на потемневшее небо выкатилась луна, облив холодным светом часть лица Тита, не скрытую шарфом.

А носильщики паланкина продолжали свой бег по темной земле.

Никакого эха от топота их ног Тит уже давно не слышал, он различал лишь разрозненные звуки ночи: какие-то небольшие животные шуршали в кустах, где-то вдалеке лаяла лисица. Время от времени Тит чувствовал, как порыв ласкового ночного ветра отбрасывает волосы с его лба.

– Далеко еще? – выкрикнул Тит. Ему казалось, что его уже целую вечность несут в паланкине. – Еще далеко? – снова спросил он громко, но никакого ответа не получил.

Носильщики были полностью сосредоточены на своей задаче – в целостности и сохранности доставить свою ценную ношу в нужное место, и поэтому, пока они бежали по лесным тропинкам, по каменистым кручам с бамбуковыми шестами на плечах, они не отвечали не потому, что не хотели, а просто потому, что не слышали вопроса. Все их внимание было отдано обеспечению безопасности Тита и размеренному, гладкому, ритмичному бегу. Даже если бы Тит обратился к ним в десять раз более громким голосом, то и тогда его бы не услышали.

Но путешествие Тита в паланкине с завязанными глазами уже близилось к своему завершению. Тит этого не видел, но четыре носильщика, пробежав последнюю милю или две через сосновый лес, неожиданно выбрались на широкий открытый участок. Здесь начинался склон, заросший папоротниками, застывшими в холодном лунном свете. Место это напоминало огромный естественный амфитеатр. На первый взгляд могло показаться, что дно этой огромной чаши полностью заросло лесом, но, присмотревшись, можно было заметить неисчислимое количество крошечных точек света размером не более булавоочной головки, которые вспыхивали там и сям. Можно было также увидеть что воздух над лесным амфитеатром слегка трепетал, словно движимый теплом, исходящим со дна огромной чаши, которое сообщало воздуху чуть ли не розоватый оттенок, контрастировавший с холодным сиянием луны.

Но Тит пока ничего этого не видел. Не видел он и того, что его понесли вниз по тропинке, вьющейся среди папоротников к тому месту, где росли огромные каштаны, которые не образовывали сплошного леса, как это казалось сверху, а выстроились вокруг обширного

водного пространства. А дрожащие точки были осколками лунного света, отражавшегося от воды.

Но что же вызывало свечение, напоминавшее потоки теплого воздуха? О, это Тит скоро должен узнать. Его паланкин уже двигался среди могучих каштанов, обрызганных пятнами лунного света. Пот градом катился с измученных долгой дорогой носильщиков, застилал им глаза. Но они уверенно продолжали свое движение по берегу озера.

Если бы не шарф на глазах, Тит увидел бы слева от себя более сотни лошадей, привязанных к нижним ветвям деревьев. Сбруя, уздечки и седла были развешены на крепких ветвях чуть повыше. Там и сям лунные лучи, пробивавшиеся сквозь листву, выхватывали из темноты ярко вспыхивавший металл стремян, матово отсвечивала кожа седел. Чуть подальше, там, где расступались деревья, стояли выстроившиеся в ряды, словно для обозрения, кареты, повозки и двуколки самых разнообразных размеров и видов. Здесь яркому лунному свету ничто не мешало освещать их, так что можно было даже различить мельчайшие детали и цвета карет и повозок. Спицы колес были обвиты ветвями и листьями молодых деревьев, ступицы – скрыты подсолнухами. Кареты, повозки и двуколки прибыли на место уже несколько часов назад. Но пока всего этого мальчик не видел, так же как и многого другого, что было сделано в соответствии с древней традицией, смысл и значение большинства приготовлений были давно позабыты или начисто утеряны.

Носильщики замедлили свой бег, и Тит, ухватившись покрепче за края плетеного кресла, наклонился вперед и выкрикнул:

– Где мы находимся? Долго еще мне здесь сидеть? Почему вы не отвечаете?

И его по-прежнему окружала тишина, давившая на барабанные перепонки. Но в этой тишине появилось уже другое качество, в ней чувствовалось присутствие людей, какого-то движения. Это была живая настороженная тишина.

Носильщики наконец остановились, и почти тотчас в неожиданно наступившей неподвижности Тит услышал приближающиеся шаги. Чей-то голос сказал:

– Ваша светлость Тит, я приветствую вас и от имени вашей матери вашей сестры и всех тут собравшихся поздравляю вас с Днем Рождения. Мы надеемся, что все, приготовленное для того, чтобы развлечь вас доставит вам удовольствие, и что скука, которую вам пришлось испытать во время долгого путешествия сюда и во время вашего пребывания в одиночестве в Детской Комнате, стоила того, чтобы ее претерпеть. Иными словами, ваша светлость, ваша мать Графиня Гертруда, ее милость Фуксия и все ваши подданные, все мы надеемся, что завершение вашего дня рождения принесет вам много радости.

– Спасибо. А теперь я хочу, чтобы меня сняли отсюда.

– Сию минуту, ваша светлость, – сказал тот же голос.

– И я хочу, чтобы с меня наконец сняли этот шарф.

– Сию минуту, ваша светлость. Сюда идет ваша сестра Фуксия. Она снимет повязку с ваших глаз, как только приведет вас на южную трибуну.

– Фуксия! – громко и беспокойно позвал Тит. – Фуксия! Где ты?

– Я здесь! Я уже рядом! Поддержите же его! Да, да, вы! Он же ничего не видит! Подведите его ко мне! Так! Ой, Тит! – Фуксия, задыхаясь, как после быстрого бега, крепко обняла брата. – Теперь уже совсем недолго терпеть! О, как все замечательно! Как замечательно! Так же замечательно, как и тогда, когда это все было устроено для меня! Только еще лучше! Потому что погода лучше! Ни ветра нет, ни облаков, и вон какая луна светит в небе!

Фуксия вела Тита за руку. Она знала, что теперь за ними следят сотни и сотни глаз.

Тит, спотыкаясь, покорно шел рядом с сестрой и пытался представить себе, что его окружает. Но из того малого, что он услышал, можно было только заключить, что они должны

взобратся на какую-то трибуну, что в небе светит луна, что вокруг собралось множество обитателей Замка и что все постараются сделать так, чтобы он побыстрее позабыл о скучных часах заточения и путешествия в паланкине.

– Осторожно, ступеньки! Их будет двенадцать! – предупредила Фуксия, и Тит почувствовал, как сестра ставит его ногу на нижнюю ступеньку. Они взбирались по грубо сколоченным ступеням вместе, держась за руки. Когда они взошли на самый верх, Фуксия подвела Тита к огромному креслу, которое казалось еще больше в неверном лунном свете. Кресло, набитое конским волосом и обтянутое фиолетовой кожей, было невероятно уродливым. Две лошади, которые тянули повозку, в которой этот монстр был доставлен на место, были в конце путешествия полностью измотаны.

– Теперь садись! – приказала Фуксия. И Тит на ощупь осторожно сел на край сидения бесформенного, уродливого кресла.

Фуксия отступила в сторону и подняла обе руки над головой. Тут же в ответ на этот сигнал раздался голос:

– Пора снимать шарф с глаз его светлости Тита!

Другой голос эхом подхватил:

– Пора! Праздник начинается!

И еще один голос:

– Праздник Дня Рождения! Его светлости Титу исполняется десять лет!

Тит почувствовал, как пальцы Фуксии развязывают узел у него на затылке. В следующее мгновение она сдернула шарф с его головы. Тит не сразу открыл глаза, а когда он медленно поднял веки, то невольно вскочил на ноги и с его губ сорвался крик изумления; глаза у него округлились как большие монеты, а рука взлетела ко рту.

Прямо перед Титом расстилалась, как натянутое полотно, поверхность озера. Казалось, оно захватило все земное пространство и готово устремиться вверх, к луне. На поверхности этого полотна плясали отсветы неисчислимых костров и факелов, и всей этой пляской руководило отражение полной луны, яркой полосой разрезавшее черные воды, казавшиеся бездонными. Все трепетало, подчиняясь какому-то внутреннему ритму, отблески костров на воде казались якорями, которые удерживают берега, готовые разбежаться в стороны.

Среди всего этого сияния видны были толпы неподвижно стоящих людей и словно вырубленные из камня кроны деревьев.

Из вспыхивающих отсветов и пятен темноты долетел голос:

– Пли!

Взревела пушка, выплюнув клуб дыма.

– Пли! – снова донеслась команда, снова выстрелила пушка, и так повторилось десять раз.

Когда грохот последнего выстрела стих, все как по мановению волшебной палочки, пришло в движение.

Черное небо было занавесом в глубине сцены, на которой должно было развернуться грандиозное представление. Тит окинул взглядом всю панораму с ее замершими деревьями, рядами далеких папоротников. Вдоль берега озера и под деревьями собралось великое множество народа. Теперь все люди пришли в движение. Что происходило на противоположном берегу озера, Тит не видел, но на расстояниях, доступных его взору, движение удваивалось, ибо гладь озера отражала всех тех, кто двигался по берегу.

Именно эта гладь, в которой отражалось все вокруг, притягивала взгляд больше всего. Она была безжизненной как смерть и одновременно наполнена всем биением жизни, казалось, из глубин озера светит свое собственное ночное светило – этот отраженный фантом луны царствовал посреди вод, окаймленный отражениями гор, деревьев и огоньками факелов и

И все это богатство зрительных впечатлений не столько восхищало, сколько порождало предчувствие того, что должно произойти нечто значительное. Все вокруг изготавились – но для чего? Сцена была готова, зрители собрались. Что дальше? Тит поискал глазами сестру, но ее на трибуне уже не было. Тит остался один на один с чудовищным креслом.

Тит посмотрел вниз, и там, у трибуны, он увидел Фуксию, которая сидела на бревне рядом с матерью. С того места, где они сидели, берег полого спускался к воде, и на этом пространстве располагались те, кого принято было относить к верхним слоям общества Горменгаста. Справа и слева от них стояли плотной толпой те, кого принято называть «официальными лицами». За их спиной, как и за трибуной, вверх по склону террасами поднимались деревья.

Тит, усевшись в фиолетовое кресло, поджал под себя обе ноги и оперся локтем на подлокотник. Пототи снова посмотрел на перевернутый вверх ногами мир, отражавшийся в озере.

Фуксия, сидевшая рядом с матерью, не могла унять дрожь. Она вспоминала, как много лет назад из-за этих могучих каштанов выскочили прятавшиеся среди них удивительные фигуры. Фуксия повернула голову и посмотрела на трибуну, надеясь встретиться взглядом с братом, но тот смотрел прямо перед собой. Рука его снова взметнулась ко рту, он подался вперед и застыл, словно превратившись в камень.

На берегу появились четыре фигуры, казавшиеся не ниже деревьев, из-за прикрытия которых они вышли. Фигуры остановились у края воды, расстилавшейся перед ними как зеркальная, абсолютно гладкая сцена; на поверхности ее отразились их невероятно высокие силуэты.

Казалось, они не замечали друг друга, хотя и поворачивали головы в разные стороны. Их движения были неуклюжими, подчеркнута размашистыми, но при этом исключительно выразительными. От земли, поросшей травой, по которой они ходульно ступали, до верхнего края масок, скрывавших их головы, было не менее десяти метров.

Эти фигуры казались выходцами из другого мира, а все те, кто смотрел на них, ощущали себя серыми и карликами. Четыре великана были так же прекрасны, сколь и необычны. Стена деревьев позади них выглядела теперь еще темнее, чем раньше, – высокие создания, словно пришедшие из другого мира, были ярко освещены луной. И даже это неверное освещение позволяло догадаться, что их одежды, маски и головные уборы были ярких расцветок, как перья тропических птиц.

Тит, разрываемый двумя противоречивыми чувствами, переводил взгляд с одной фигуры на другую с одной стороны, ему хотелось подольше задержать взгляд на каждой, а с другой – поскорее взглянуть на следующую.

Головы свои фигуры держали высоко и царственно, отрешенно и загадочно. В каждом, даже малейшем их движении чувствовалось достоинство. Каждый раз, когда они поднимали руки, размеренно и несколько напряженно, казалось, сама земля под их ногами готова броситься вверх, следуя призывному жесту. Их лица-маски были обращены к небу, и небо казалось пустым, а луна – смущенной.

Фигуры подошли к самой кромке воды. Голова каждой была отличной от всех остальных. Голова фигуры, наиболее напоминавшей женскую, была увенчана высоким коническим колпаком, в силуэте головы белого цвета было нечто львиное, глаза были изумрудно-зеленого

цвета, и когда голова поднялась к небу, они сверкнули в свете луны. Однако главным достоинством этой фигуры были не глаза, а волосы, которые царски-пурпурным водопадом ниспадали по плечам и по спине до талии. С талии до земли – опускались тяжелые складки многометровой юбки. Юбка была черной, как и у всех остальных фигур. Чернота нижней части фигур лишь подчеркивала яркую красочность их верхних частей. Временами черные нижние части вообще переставали быть видимыми, отчего яркие верхние казались парящими в воздухе. В руках, торчащих из-под каскадов пурпурных волос, Львица держала кинжалы.

Ближайшей к фигуре Львицы располагалась фигура, выглядевшая столь же далекой от реального мира, но одновременно и более зловещей, чем первая. Ее волчьи черты не скрашивались ни нелепым колпаком, ни внешним благородством.

Вид у фигуры с волчьей головой был неоспоримо свирепым, но сколь декоративной была эта свирепость! Голова была темно-красной, а торчащие вверх уши – небесно-лазурного цвета, который повторялся в цветных полосах, украшавших серую шкуру верхней части. В каждой руке Волчица держала по огромной картонной бутылке, на наклейках которых было написано «ЯД».

Следующей от Волчицы фигурой была Лошадь, которая казалась невиданной пародией на это благородное животное и тем не менее была больше похожа на настоящую лошадь, чем фигура Львицы на настоящую львицу, а фигура Волчицы на настоящую волчицу. Фигура Лошади была чудовищна, однако, при этом преисполнена такой тупой меланхолии, что Тит не знал, смеяться ему или плакать.

На голове лошади была гигантская шляпа, сплетенная из веток, ее круглая тень плавала по гладкой поверхности воды. С верхней части шляпы нелепо сбегали вниз длинные серебристо-голубые ленты и спутывались с волосами гривы, укрывающей плечи. Тулья шляпы была украшена со всех сторон травами и бледно-фиолетовыми лилиями.

Вытянутая вперед довольно глупого вида голова Лошади была, как и у львицы, белой, но вокруг глаз и вдоль челюстей были нарисованы красные полосы. Шея была длинной и нелепо-гибкой, оранжевая грива спускалась по спине. Верхняя часть тела была укутана в материю ярко-зеленого цвета, а юбка скрывала высокие ходули, концы которых виднелись из-под ее края у самой земли. В одной руке Лошадь держала зонтик, а в другой – книгу, на которой было написано «СТИХИ». Время от времени лошадь медленно поворачивала голову, слегка наклоняла ее и смотрела в сторону следующей фигуры – Овцы.

Овца была несколько ниже остальных и вся покрыта золотистыми завитушками. Весь ее вид выражал неподдельную святость. Как бы не поворачивала Овца голову – оглядывая небеса в поисках, возможно, какого-нибудь ангельского блаженного видения, или опуская взгляд долу, – выражение святой чистоты не исчезало. Между ушей среди золотых кудрей высилась серебряная корона. Серая шаль скромно укрывала ее плечи и опускалась словно выточенными из камня складками так низко, что частично скрывала черную юбку. Овца в руках ничего не держала, ибо они были прижаты к сердцу.

Эти четыре фигуры замерли на месте на несколько мгновений у кромки воды. Затем неожиданно одновременным движением, разрушившим рябью гладь воды, они вступили в озеро.

Тит, вскрикнув от восторга и возбуждения, так крепко вцепился рукой в обшивку кресла, что она порвалась, и пальцы Тита погрузились в набивку из конского волоса.

Четыре фигуры шли, казалось, по поверхности воды, не погружаясь в нее. Они, шагая по-паучьи, уже отошли довольно далеко от берега, а подола их юбок все еще не касались воды. Тит никак не мог понять, отчего это происходит. И вдруг догадался: хотя озеро казалось бездонным, оно было очень мелким – вода покрывала землю лишь тонкой пленкой.

И Тит вдруг ощутил острое разочарование. Глубокая вода таит в себе опасность, а опасность для мальчика более привлекательна, чем красота. Но разочарование это испарилось так же быстро, как и возникло, – если бы озеро было более глубоким, а не просто сверкающей пленкой воды, не могло бы происходить то, что разворачивалось перед Титом.

Ночное представление, в котором участвовали четыре фигуры, было разработано сотни лет тому назад. Тогда же была выбрана эта долина, окруженная могучими дубами и затопляемая ровно настолько, чтобы скрыть траву под водой. Все, что могло торчать над водой, было безжалостно сорвано. Все движения фигур были predetermined традицией, чуть ли не такой же древней, как и сам Замок: жесты Львицы, напыщенные, нелепые и все же впечатляющие, грозные потряхивания пурпурной гривы, заставляющие три другие фигуры в испуге отступить в стороны, зловещее, крабье передвижение Волчицы, размахивающей огромной бутылкой и подбирающейся к золоторунной Овце, раскачивание шляпы, неловкие шажки Лошади, читающей книгу стихов на ходу и размахивающей зонтиком в такт стихотворному ритму.

И все это происходило в абсолютной тишине. Даже когда Лошадь споткнулась, как и было положено по сценарию, об отражение луны, не раздалось ни звука. Хотя во всем происходящем было нечто смехотворно-нелепое, это никоим образом не портило общего впечатления. Когда Лошадь споткнулась и взмахнула зонтиком удерживая равновесие, когда Волчица покачнулась, так и не добравшись до Овцы, и нижняя челюсть ее отвалилась, как резко опустившийся подъемный мост, когда Овца вскинула голову, чтобы взглянуть на луну, но тут же была отвлечена от своих набожных созерцаний взвившейся львиной гривой – когда все это происходило, то вызывало не смех, а чувство облегчения, ибо величие разворачивающегося действия, царственные ритмы пробуждали во всех зрителях какие-то глубинные движения души, вызывали воспоминания из памяти предков.

Но вот наконец древний ритуал подошел к концу. Высокие фигуры вышли из воды на берег, поклонились Титу, отделенному от них зачарованной гладью мелкой воды, и исчезли в лесу, унеся с собой тишину.

Теперь стали разворачиваться события, в которых уже не было идеальной слаженности – и ночь наполнилась шумом.

Задвигались люди, были зажжены новые костры в дополнение к тем, которые уже горели по берегам озера, они разгоняли тьму, и теплый воздух, подогретый огнем, поднимался над кронами деревьев.

Графиня, которая во время представления Четырех ни разу не шелохнулась, повернула голову и посмотрела через плечо.

Тита на трибуне уже не было. Не было и Фуксии, которая все это время сидела рядом с ней на бревне.

Графиня поднялась со своего места – бревно, находившееся там, где предписывала традиция, было в соответствии с этой же традицией почетным местом, на котором имели право сидеть лишь Графиня и ее дочь, – прошла сквозь ряды почтительно выстроившихся важных лиц и направилась к кромке воды. Это послужило сигналом означавшим, что все теперь могут развлекаться так, как им заблагорассудится.

Графиня черной глыбой застыла у воды, лунный свет серебристой пудрой осыпал ее плечи и темно-рыжие волосы. Графиня медленно огляделась, но казалось, она не видит толпы людей, высывавших на берег.

На траве под деревьями раскладывались блюда с рыбой, пирогами, хлебами, фруктами. Гигантский ночной пикник вот-вот должен был начаться.

Пока шли последние приготовления к нему, шумные группы мальчишек бегали среди деревьев, залазили на них, раскачивались среди ветвей, выскакивали на берег, забегали в воду,

кувыркались, делали «колесо», разбрызгивая во все стороны прыгающие, ломающиеся отражения. Группы мальчишек сталкивались, и тогда в воде начиналось шуточное сражение, подчас переходившее в драку. Мальчишки, топчась на месте, наступая и отступая, взбивали пену на мелкой воде, хватали друг друга за руки, обхватывали за пояс, валились в воду сами и валили других.

Титу, созерцающему все эти забавы, страстно хотелось стать одним из этих безвестных мальчишек, чтобы раствориться среди других, чтобы сломя голову носиться кругом, чтобы драться, смеяться и – возможно – плакать, чтобы вести себя так, как взбредет в голову, а не так, как предписывает Ритуал. Находясь в толпе своих сверстников, он мог бы быть один, а как Герцог Горменгаста он никогда не сможет остаться один, наедине с собой. Он может лишь чувствовать одиночество. Даже если он попытается затеряться в толпе, на нем будет всегда лежать незримый признак герцогства Горменгаста.

Фуксия, сделав знак Титу спуститься с трибуны, побежала в лес. Тит последовал за ней. Они мчались в ночи среди каштанов, не разбирая дороги. Остановились, чтобы отдышаться. Они слышали громкий стук своих сердец.

– Я нехорошо поступила, – проговорила, отдышавшись, Фуксия. – Нехорошо и даже опасно. Мы должны сидеть за Длинным Столом вместе с мамой и есть праздничный ужин. Нам нужно возвращаться! Ведь этот праздник посвящен тебе, Герцогу Горменгаста.

– Возвращайся, если хочешь, – прошипел Тит; его била дрожь, которая порождалась жгучей ненавистью к своему титулу и положению – Я не пойду.

– А куда ты пойдешь?

– Уйду из Замка навсегда! Навсегда, навсегда! Уйду и буду жить в лесу, как... Флэй и как то...

Но Тит не знал, как описать то создание, которое он увидел мельком в лесу золотистых дубов.

– Нет, ты этого не сделаешь! – воскликнула Фуксия. – Ты умрешь там, а я не хочу, чтоб ты умирал!

– Теперь меня никто не остановит, даже ты! – вскричал Тит. – Никто!

И он стал срывать с себя свое длинное серое одеяние, словно оно было сейчас его главным врагом и препятствием на пути к свободе.

Но Фуксия схватила его за руки.

– Нет, нет, – прошептала она; голос у нее дрожал, дрожали и губы. – Еще не сейчас, Тит. Не...

Тит, вырвавшись из рук Фуксии, бросился бежать, но тут же споткнулся и упал лицом вниз. Он попытался подняться, но Фуксия, бросившись на колени рядом с ним, не позволила ему этого сделать. Издалека, с берега озера, доносились крики детей, а потом неожиданно зазвенели колокольчики.

– Это зовут на ужин, – прошептала Фуксия. Тит ничего не ответил, и после паузы Фуксия добавила! – А после ужина мы пойдем гулять по берегу и посмотрим пушку.

А Тит плакал. Долгие часы, проведенные взаперти, возбуждение, поздний час, чувство безысходного одиночества – все это, соединившись вместе, оказало на него расслабляющее воздействие. Но Тит согласно кивнул, хотя слезы продолжали катиться по его щекам. Увидела ли Фуксия это выражение молчаливого согласия или нет, но она ничего больше не сказала. Подняв Тита на ноги, она вытерла ему глаза концом широкого рукава.

Они вернулись к берегу озера, и там были костры, и толпы, и гладь воды, и могучие каштаны, и трибуна, на которой стояло чудовищное кресло. И Длинный Стол, за которым сидела Графиня, положив локти на освещенную лунным светом скатерть, а подбородок на

сплетенные пальцы, а перед ней все было заставлено блюдами с традиционными яствами, которых Графиня не видела, ибо ее взгляд был устремлен к далеким холмам. А стол представлял собой великолепное и красочное зрелище. В центре его мягким приглушенным огнем пылало огромное Золотое Блюдо Стонов; тлеющими угольками светились кубки червонного золота...

Глава пятьдесят первая

I

Одна пора года сменяет другую, чтобы в свою очередь смениться следующей, своим дыханием выкрашивая все вокруг в свой собственный цвет, охлаждая или согревая камни Горменгаста.

Фуксия ходит по комнатам в поисках потерявшейся книги. В окно она видит далекую дымку первой несмелой зелени, а спустя несколько дней зеленые огоньки уже вспыхивают повсюду, куда ни бросишь взгляд.

II

Опус Крюк и Шерсткот стоят на веранде Профессорского Двора, опершись локтями о перила балюстрады. В десяти метрах под ними очень старый дворник метет пыль. Пыль, усыпаящая каменные плиты двора, побелела от жары. Весенняя прохлада давно забыта.

– Жарко старым косточкам? – кричит Опус Крюк старику. Тот поднимает голову и вытирает лоб.

– Да, – откликается он. Голос у него такой, словно он не пользовался им уже много месяцев, – Да, сударь, жарко. И жажда мучает.

Крюк уходит и возвращается через несколько минут с бутылкой в руках, которую он украл из комнаты Пламямула. Привязав бечевку к горлышку, Крюк опускает бутылку вниз, где в клубах пыли стоит старик.

III

Запершись от всего мира у себя в кабинете, Хламслив сидит, а точнее лежит в своем элегантном кресле и читает. Ноги вытянуты к камину и закинута одна на другую.

Слабый огонь освещает его лицо с тонкими, нелепо рафинированными чертами, которое, несмотря на странность пропорций, выглядит утонченно и изысканно. Поблескивают толстые стекла очков, которые в зависимости от угла зрения гротескно увеличивают его глаза.

Читает Хламслив вовсе не ученую книгу по медицине или философии. В его руках старая тетрадка, страницы которой исписаны стихами. Почерк неровный, но вполне разборчивый. Некоторые стихи записаны тяжелым, напыщенным детским почерком, другие – быстрым нервным курсивом, здесь много вычеркнутых слов, много исправлений.

Когда Фуксия вручила ему тетрадь и попросила почитать ее стихи, Хламслив был очень тронут таким доверием с ее стороны. Он относился к ней как к дочери, но не пытался найти путей к общению. Однако она сама искала этот путь и мало-помалу с течением времени стала проявлять в общении с Доктором большую доверительность.

Хламслив читает. Его лоб нахмурен. Осенний ветер свистит в ветвях деревьев в саду. Хламслив несколько раз возвращается к четверостишию, которое перечеркнуто Фуксией толстым синим карандашом.

Белым и алым лицо горит,
Кто знает, где герой сокрыт?
В сиянье мужества и славы
Грядет спаситель каменной державы.

IV

Холодная и тоскливая зима. Флэй, давно чувствующий себя в Безжизненных Залах как дома, обжившийся в них, как он когда-то обжился в лесу, сидит за столом в своей не ведомой никому комнате. Его руки засунуты в карман лохмотьев, которые были когда-то его одеждой. Перед ним на столе разложен большой, как парус, лист бумаги, который не только покрывает весь стол, но и спадает жесткими неуклюжими складками на пол с двух сторон стола. Центральная часть листа покрыта линиями, тщательно выписанными словами, стрелочками, пунктирными линиям, закорючками. Это карта (над созданием которой Флэй работает уже много месяцев) той части Замка, в которой он оказался, карта мертвого мира, чьи коридоры, пустые залы исследует Флэй; он постепенно расширяет район своих поисков, постоянно уточняет, вносит исправления в свою карту. Флэй живет в пустом, давно оставленном людьми городе, прячущемся в недрах необъятного Замка. Флэй дает названия узким и широким коридорам – улицам и проспектам закованным со всех сторон в гранит, лестницам-спускам, каменным террасам и большим залам-площадям. Странствования Флэя уводят его глубже в этот каменный мир, над которым вместо неба раскинулись нескончаемые потолки и крыши.

Флэю трудно совладать с ручкой, которая не слушается его непривычных к письму пальцев. Жизнь в диком лесу научила его многому, и отправляясь в свои экспедиции и мучительно медленно вычерчивая новые коридоры и залы на своей карте, Флэй постоянно помнит о науке леса. Хотя ему в его передвижениях не помогают ни дневное, ни ночные светила, даже в каменном мире он научился ориентироваться с поразительной уверенностью.

Сегодня поздно вечером он отправится к двери Щуквола и, спрятавшись неподалеку, будет ожидать его выхода. Флэй делал это уже много раз. Если представится такая возможность, Флэй попытается незаметно последовать за Щукволом и проследить, куда тот направляется. Но у него в распоряжении есть еще несколько часов, которые можно посвятить дальнейшим исследованиям мертвого каменного мира. Это теперь стало его главной и единственной страстью.

Флэй вытаскивает одну руку из кармана и костлявым пальцем, покрытым шрамами, водит по карте. Сегодня он отправится в северном направлении. Пройдет по этим, уже отмеченным на карте, извивам коридоров, потом через участок, изрезанный узенькими переходами, затем выйдет в широкий коридор, метров в пять шириной, по обеим сторонам которого под стенами тянутся своего рода узенькие тротуары. Этот коридор идет, не отклоняясь, прямо на север. А потом палец упирается в ряды пунктиров – далее простираются мало знакомые, лишь неуверенно намеченные на карте участки.

Флэй подтягивает к себе огромный лист бумаги, один конец которого отрывается от пола. На Флэя смотрит совершенно пустое пространство, арктические поля, на которых нет еще никаких линий и пометок.

Бегут, бредут, ползут дни, меняются названия месяцев, поры года хоронят друг друга, приходит весна, а потом сквозь круговерть года другая, потом еще одна и еще одна. Ручьи и потоки, сбегаящие со склонов Горы Горменгаст, то взбухают, то почти пересыхают. Каждый раз, когда приходит лето, склоны одеваются зеленым, в лесах лениво гудят пчелы, сонливо воркуют птицы, перепархивают с цветка на цветок бабочки, неподвижно замирают на камнях ящерицы. И так повторяется из года в год, каждое лето – как эхо предыдущего. На корявых древних яблонях зреют яблоки, солнце посыпает стволы, листья и ветви россыпью солнечных пятнышек, в воздухе стоит столь густой сладко-гнилой запах, что в груди зарождается непонятное томление, сердце тает, превращается в слезу, это дитя воды и соли, зреет, питается летней печалью созревает и падает катится в пустоту, которая и есть наиболее верный символ состояния души.

А дни ползут, бредут, бегут, месяцы меняют названия, одна пора года хоронит другую. Воздух вязок, солнце – как открытая рана на грязном теле нищего, лохмотья облаков разбросаны по израненному небу, которое замаранной тряпкой повисло над миром. А потом прилетают злые ветры, и обнажают небо, и разносят крики диких птиц по вдруг засиявшему миру. И Графиня стоит у окна, и у ног ее сидят белые кошки, и Графиня смотрит в замерзшие поля, раскинувшиеся перед ней, и в ту же пору через год она снова стоит у окна, но кошек теперь нет у ее ног – кошки разбежались по коридорам и комнатам, а на тяжелом плече Графини сидит черный ворон.

И каждый день происходит тысяча вещей. Расшатанный дождем и ветром камень падает с высокой башни. Камень разбивает стекло. Среди осколков – дохлая муха, сидевшая на стекле. Воробей, чирикавая, вылетает из зарослей плюща.

С месяцев опадают дни, с годов – месяцы. Мгновения, собираясь в волны времени, бросаются на черную скалу вечности.

Тит Стон уходит из мира детства.

Глава пятьдесят вторая

Замок погрузился в какое-то оцепенение. И не то чтобы в нем перестали происходить большие и малые события, однако даже самые значительные из них казались отторгнутыми от реальности, возникло ощущение, что непредсказуемый поворот колеса судьбы принес в Замок предустановленное затишье.

Рощезвон уже муж. Ирма, не теряя времени, возвела могучие укрепления, которые призваны отгородить мирок мужа и жены от всего космоса.

Она всегда знала, что именно Рощезвону требуется больше всего. Она всегда знала, что будет для него лучше всего. Она знала, как Главе Школы Горменгаста следует себя вести и как его подчиненные должны вести себя в его присутствии. Преподаватели были от нее в ужасе. Ирма относилась к преподавателям так же, как и к их ученикам. Теперь все должны были в присутствии Рощезвона, если не обращались непосредственно к нему, говорить шепотом, прикрывая рот рукой, ходить на цыпочках, следить за собой, за состоянием своих ногтей, шей, одежды. И что самое ужасное – никогда не опаздывать на занятия и не покидать их раньше времени.

Ирма изменилась так, что ее трудно было узнать. Замужество придало ее тщеславию и суетности направление и силу. Она весьма быстро обнаружила все прирожденные слабости своего мужа, что вовсе не ослабило ее любовь к нему, а сделало лишь более воинственной. Ирма относилась к Рощезвону как к большому ребенку. В ее глазах он был по-прежнему благороден, но увы – уже не мудр. Мудрой была она, и ее любовь и мудрость призваны были направлять его во всем.

С точки же зрения Рощезвона женитьба не оправдала его надежд. Поначалу ему казалось, что он будет главенствовать во всем, но потом все переменялось, и он ощущал от этого большую горечь. Он не смог удержать завоеванные позиции. Мало-помалу его безволие, его внутренняя слабость становились все заметнее. Однажды, тихонько войдя в комнату, жена застала его у зеркала – Рощезвон практиковал перед ним выражения лица, которые, сохраняя общую величавость, призваны были передать разные эмоции. Встряхивал своими царственными власами и делал выговор Ирме за какой-то воображаемый проступок:

– Нет, Ирма, – говорил он, – я этого не потерплю. Я был бы очень признателен, если бы ты всегда помнила о своем положении, о том, кто ты и кто я!

Тут Рощезвон изобразил на лице ухмылку, словно пристыженный своими собственными словами. Переведя взгляд чуть в сторону, он увидел отражение своей жены, стоящей у него за спиной...

Но в конце концов он признал ее превосходство. Он считал, что в нем есть резервы душевной силы и воли, эдакий золотой фонд, но воспользоваться им он никогда не мог, потому что даже не пытался это сделать. Он не знал, с чего начать. Не знал он и того, в чем заключалась эта, якобы присутствующая в нем, сила. Но он несколько утешался своей уверенностью в том, что эта сила, пусть в скрытом виде, но наличествует, подобно тому, как в груди грешников присутствуют не востребуемые резервы невинности и безгрешности.

И все же, несмотря на свое подчиненное положение, он испытывал определенное облегчение от того, что снова может быть слабым. Постепенно он полностью подчинился Ирме, постоянно ощущая при этом свое тайное превосходство – превосходство мужчины над женщиной. Он считал себя надломленным гордым растением. Лучше, полагал он, быть поэтичным, таинственным и надломленным, чем прозаичным и серым, лишенным всех этих возвышенных качеств, подобно хищной птице, лишенной любви.

Но все эти мысли он, конечно, держал при себе. В глазах Ирмы он был ее господином – хотя и посаженным на цепь. В глазах его подчиненных он был просто посажен на цепь. В своих собственных глазах он был человеком, в котором зреет бунт.

Рощезвон смотрел на Ирму из-под прикрытых век, отороченных белыми ресницами, и взгляд его не был совершенно лишен любви. Он был рад, что она сидит напротив него и штопает его церемониальную мантию. Это по крайней мере было лучше, чем терпеть насмешки и подкалывания преподавателей, как это бывало в прежние времена. И к тому же она ведь не могла определить, о чем он думает! Рощезвон поглядел на ее острый длинный нос. Как он мог им когда-то восхищаться?

О, как прекрасно, что можно предаваться своим мыслям, о которых никто ничего не узнает! Как сладостно мечтать о невозможном, об освобождении, о том, что все изменится и Ирма снова окажется в его власти, как это произошло тогда, в тот волшебный вечер, обрызганный каплями лунного света! И как потом все изменилось, как все изменилось! И его неволеванная сила воли не принесла ему никакой радости!

Рощезвон откинулся на спинку кресла и стал упиваться своей слабостью. Один уголок его рта немножко съехал вниз, глаза почти полностью закрылись, черты благородного лица разгладились, царственная голова склонилась на грудь.

* * *

Из-за какого-то оцепенения, которое охватило Замок, многие события, даже значительные, происходили незамеченно, хотя в другое время они привлекли бы всеобщее внимание (например, женитьба). Казалось, Замок погружается в таинственную болезнь. На все была наброшена пелена, которую нельзя было сорвать. Даже звуки казались приглушенными.

Как долго это оцепенение длилось, сказать было очень трудно, но каждый переживал это по-своему.

Некоторые ощущали его очень смутно и даже полагали, что никаких особых изменений в жизни Замка не произошло. Твердолобым и громкоголосым как всегда было просто наплевать; но даже они чувствовали, что в воздухе висит какое-то равнодушие.

Другие были полностью погружены в это оцепенение и двигались, занимались своими делами так, словно стали привидениями. Когда они о чем-то говорили, их голоса, звучали приглушенно, словно они доносятся издалека.

Оцепенение исходило от самого Горменгаста. Казалось, что весь этот огромный лабиринт коридоров замер в своем каменном сне, и в безвоздушной пустоте двигались люди-марионетки.

А однажды поздней весной Замок пробудился ото сна, сделал вдох, и все в нем задвигалось, звуки стали ясными и четкими, все снова стали осознавать, что делают. А Замок вновь погрузился в свой каменный сон.

Но пока Замок пребывал в оцепенении, произошли события, которые в то время остались почти совершенно незамеченными.

Тит был уже не мальчик, а юноша. С годами он стал еще более замкнутым. Все, с кем он соприкасался – за исключением Фуксии, Доктора Хламслива, Флэя и Рощезвона, – видели на его лице лишь очень мрачное выражение. Под этой угрюмой броней горело страстное желание освободиться от бремени своего наследия. Он ненавидел не только Горменгаст, но даже самую пыль его. Он с ужасом думал о том времени, когда на его плечи опустится вес ответственности. Тит не находил себе покоя.

Его душила мысль о невозможности свободного выбора будущего, его угнетало то, что

люди, его окружавшие, в своем скудоумии полагали, что его мятежное желание самому создать свое будущее можно было объяснить либо его глупостью и невежеством, либо предательством своих наследных прав.

Но больше всего тяготило замешательство, царившее в его сердце, и путаница в мыслях. Он был горд, о, неразумно горд! Детство, в котором он хоть иногда мог ощущать себя одним из сотен мальчиков, его окружающих, ушло, и теперь он был Господином Горменгаста и ощущал себя таковым. Он страстно жаждал быть никем, но ходил, гордо выпрямившись, с видом угрюмого высокомерия.

И это противоречие было причиной его неуступчивого, порой грубого поведения. Молодые люди его возраста стали сторониться его, их отталкивало в нем не только высокомерие, но и вспышки необъяснимых с их точки зрения раздражения и ярости. Он мог без видимой причины вдруг сорвать крышку парты, ударить соседа, ввязаться в драку по пустяку. По мере того как усугублялись его одиночество и изоляция, он становился просто опасен для окружающих. Тит был готов к любой проказе, к любому ночному приключению. Он стал грозой общих спален. Годы учения заканчивались.

Путаница его мыслей и чувств, слепые тыкания в разные стороны его заблудшего духа, его грубая страсть к мятежу не оставляли места для иных чувств, которые бы заставляли взволнованно биться сердце. Тит обнаружил, что самым волнующим состоянием для него было одиночество. О, как он изменился!

И все же несмотря на то, что прошло много лет с того дня, когда он, Профессор Рощезвон и Доктор Хламслив играли в каземате в стеклянные шарики, он все еще мог предаваться вполне детским забавам. Его, уже взрослого юношу, довольно часто видели сидящим у рва и часами пускающим кораблики своего собственного изготовления. Но если бы кто-нибудь присмотрелся к нему, то увидел бы, что делает он это отрешенно, словно в то время, когда выстругивает из куска коры острый нос или тупую корму кораблика, его мысли витают где-то очень далеко...

Отрешенно или нет, но он вырезал кораблики, давал им имена и пускал в воду; воображение рисовало ему опасные путешествия, во время которых лилась кровь и свершались страшные деяния. Часто Тит отправлялся к Хламсливу и рассматривал странные рисунки, которые прямо на глазах у Тита создавал Доктор. На листках бумаги, заполняя все их поле, были изображены сотни маленьких паукообразных человечков, сражающихся между собой, о чем-то совещающихся, охотящихся, поклоняющихся своим паукообразным идолам. И тогда Тит чувствовал себя вполне счастливым. Не менее часто Тит навещал Фуксию, и они беседовали и беседовали, пока не срывали себе голос. Они говорили в основном о Горменгасте. А о чем еще они могли говорить – ведь для них весь мир заключался в этом Замке. Но ни своей сестре, ни Рощезвону (который иногда, когда Ирма была чем-то занята так, что забывала на пару часов о своем муже, приходил своей уже совсем старческой походкой туда, где Тит пускал кораблики, и, изготовив пару суденьшек, сам отправлял их в плавание), ни Доктору Хламсливу не мог поведать Тит о своих тайных мыслях, он никому не рассказывал о постоянно гнетущем его страхе перед будущим, он боялся того, что скоро вся его жизнь будет определяться строго установленным Ритуалом, сама станет ритуалом. Никто, никто не мог теперь помочь ему, даже Фуксия, которая в столь многом ему сочувствовала. Не было вокруг никого, кто мог бы поддержать его в стремлении освободиться от ярма, убежать и самому узнать, что же лежит за пределами того единственного мира, который он знал – мира Горменгаста.

Глава пятьдесят третья

Таинственное оцепенение, на время охватившее Горменгаст, не могло не коснуться и Фуксии, натуры глубоко эмоциональной. Щуквол, который тоже ощущал застылость в жизни Замка, подвергся ее воздействию в меньшей степени и, так сказать, плавал, держа свою хитрую голову над водой оцепенения. Продолжая эту метафору, можно сказать, что он видел Фуксию где-то в глубине прозрачных вод. Остро ощущая всепроникающую атмосферу транса, Щуквол в полном соответствии со своей натурой тут же стал обдумывать, как можно использовать это сомнамбулическое состояние в своих целях. И быстро пришел к удовлетворившему его решению.

Он должен заняться ухаживанием за сестрой Герцога Тита! Он должен пустить в дело всю свою хитрость и все свое искусство! Он должен пробиться сквозь ее сдержанность и отстраненность, используя самый простой подход. Он должен убедить Фуксию в своей искренности, нежности, в том, что у них есть масса общего, много общих интересов, и при этом он должен сохранять достоинство и почтительность. Да, именно почтительность должна стать его главным оружием. Он также должен дать ей возможность почувствовать, какое пламя бушует в нем (но скрыть, конечно, истинную сущность этого пламени); он будет подстраивать встречи с ней, которые должны выглядеть случайными, будет показывать ей свою смелость, появляясь самым неожиданным и опасным образом. В прошлом Фуксия уже не раз имела возможность оценить его бесстрашие.

Но при этом он должен сделать все возможное, чтобы Фуксия не могла рассматривать его лицо. Щуквол отлично понимал, сколь ужасен его вид. Даже пребывая в состоянии оцепенения, кто угодно мог бы испугаться его ужасно изуродованного лица. Поэтому они будут встречаться лишь после наступления темноты, и тогда, не отвлекаемая зрительными впечатлениями, она постепенно начнет понимать, что только в нем, в Щукволе, она может найти настоящего друга, истинную гармонию разума и духа, то чувство уверенности, которого ей самой так не хватает. Но ей не хватало не только этого. Щуквол знал, что в ее жизни не было тепла и любви, а по натуре своей она тянулась к человеческому теплу и открытости чувств. Щуквол долго выжидал удобного момента, и вот наконец этот момент пришел!

Выбрав курс действий, Щуквол приступил к осуществлению своего замысла, и однажды в вечерних сумерках он начал свое обхаживание Фуксии. Будучи Хранителем Ритуала, он без труда мог определить, в каких частях Замка никто не мог бы помешать уединенности их свиданий.

Щуквол искусно использовал состояние Фуксии, находившейся под сильным воздействием странной оцепенелой атмосферы, в которую был погружен Замок, казавшийся ей теперь совсем незнакомым местом. И мало-помалу он добился того, что по истечении нескольких недель после начала их встреч она стала делиться с ним своими мыслями и выслушивать рассказы Щуквола о том, что с ним происходило за день. Его голос был всегда спокойным и ровным, речь – богатой и гибкой. На Фуксию большое впечатление производила та уверенность, с которой Щуквол говорил обо всем, что затрагивалось в их беседах, – такое ей самой было недоступно. Ее восхищение гибкостью ума Щуквола постепенно распространялось на него как человека в его цельности. Щуквол был совсем не такой, как все другие люди, которых она знала, он весь до кончиков ногтей был полон жизни, и воспоминание о том отворачивании, которое она испытала, увидев когда-то его обезображенное лицо и руки, угасло и скрылось за дымовой завесой его слов и обходительности.

Фуксия, однако, понимала, что ее положение сестры и дочери Герцога несовместимо с

частыми и тайными встречами с безродным функционером Замка. Но она так долго была одна, ей так долго не хватало дружеского общения! И то, что к ней проявляют интерес, не угасающий, а наоборот, усиливающийся изо дня в день на протяжении столь длительного времени, повергало ее в неизведанное ранее состояние, от которого путь к неизведанной стране, в волнующее и опасное путешествие по которой она была готова отправиться, был очень недолог.

Но Фуксия не глядела в будущее. Она, в отличие от человека, с которым встречалась в сумеречные вечерние часы и для которого каждое слово, произнесенное им, каждая обдумываемая мысль, каждое действие имели скрытое, направленное на достижение одной цели значение, жила лишь переживаемым моментом, наслаждаясь им, не задумываясь о будущем. У Фуксии совсем был неразвит инстинкт самосохранения, у нее не было никакого ощущения опасности. Щуквол плел свои сети вокруг нее с большим умением и величайшей осторожностью. И вот пришел вечер, когда их руки как бы случайно встретились в темноте и не отдернулись в стороны, и с этого момента Щуквол решил, что дорога к власти для него окончательно расчищена.

И в течение долгого времени все продолжало развиваться по пути, который он предусмотрел, их тайные ночные встречи становились все более интимными, беседы – все более, как казалось Фуксии, задушевными и откровенными.

Но Щуквол, даже ощущая, что Фуксия уже находится в его злой власти, и предвкушая момент окончательного завоевания, тем не менее не спешил соблазнять Фуксию и не торопил ее совершить последний шаг. Он прекрасно знал, что Фуксия, потеряв девственность, будет полностью в его руках (если главный план не удастся, то ее можно будет просто шантажировать), но он еще не был готов. Еще многое надо было хорошенько обдумать.

А для Фуксии все происходящее было столь новым и значительным, что она полностью была затоплена чувствами. Фуксия никогда в жизни не чувствовала себя такой счастливой.

Глава пятьдесят четвертая

Что думали в Замке о таинственном исчезновении Герцога Гробструпа, отца Тита, его сестер-близнецов, о смерти Пылекисла в огне и гибели Баркентина, сначала обгоревшего, а потом утонувшего? Эти страшные события разделяли многие годы. Хотя о них было много пересудов и кривотолков, никто не считал, что все эти люди пали жертвами насилия. Время от времени Графиня, Доктор Хламслив и Флэй каждый по-своему пытались определить, не были ли эти события как-то связаны, однако их смутные подозрения остались лишь подозрениями, ибо никаких доказательств того, что все эти люди умерли насильственной смертью, не было обнаружено.

Только Флэй знал жуткую правду о таинственной смерти своего хозяина, его светлости Герцога, знал он и о том, как умер Потпуз, его заклятый враг, которого он убил своими собственными руками. Но об этом Флэй никогда никому ничего не рассказывал.

Изгнание Флэя из Замка произошло в результате предательства Щуквола – тогда Щукволу не было, наверное, и двадцати лет, – и этот акт предательства и вероломства крепко запал в памяти Флэя. Но о заточении и смерти сестер-близнецов Флэй ничего не знал, хотя и слышал, сам того не подозревая, их безумный, страшный смех в пустом коридоре Безжизненных Залов, смех, который прекратился лишь со смертью Кору и Клариссы.

Флэй ломал голову, пытаясь найти связь между обстоятельствами смерти Пылекисла, его сына Баркентина и тем фактом, что Щуквол представил себя как героя, пытавшегося спасти Хранителя Ритуала, но ни к каким существенным выводам не пришел. Как и Графине и Доктору, которые размышляли над той же загадкой, ему не удалось найти ничего такого, что подтверждало бы его подозрения.

Текли годы, смутные опасения и подозрения не рассеивались, и хотя они не приняли завершенной формы, но забыты не были.

Доктора мучил вопрос почему в свое время Щуквол ушел со службы у него и как ему удалось втереться в доверие к Кору и Клариссе и пойти к ним в услужение? Какая иная причина тут могла быть, кроме желания Щуквола продвигаться вверх по социальной лестнице? Не исключено, что им руководили и значительно более опасные устремления! А потом сестры-близнецы исчезли.

И опять Щуквол... Именно Щуквол нашел на столе их записку, в которой сообщалось об их намерении покончить с собой. Хламслив раздобыл эту записку и тщательнейшим образом сравнил почерк, которым она была написана, с почерком письма, которое Ирма когда-то получила от Кору и Клариссы, Хламслив, применив весьма изощренные способы сравнения, потратил на изучение записки целый вечер. И вынужден был признать, что, скорее всего, и предсмертная записка, и письмо к Ирме было написано одной и той же рукой: большими, округленными буквами, неуверенно выведенными, словно писал ребенок. Но Доктор знал Кору и Клариссу на протяжении многих лет, да, они были умственно отсталыми, да, они были весьма странными, да, от них можно было ожидать чего угодно – но только не самоубийства! Доктор просто не мог поверить в то, что они были в состоянии лишить себя жизни!

И Графиня тоже категорически отказывалась поверить в то, что они могли совершить самоубийство. Их инфантильность, их тщеславие, их неприкрытое стремление играть ту роль, для которой они, по их собственному мнению, были предназначены – роль знатных дам, великолепных, важных, украшенных драгоценностями, – начисто исключали саму идею самоубийства. Но никаких доказательств того, что сестры-близнецы были убиты, Графиня не могла найти.

Доктор Хламслив рассказал Графине о словах, которые выкрикнул Щуквол в горячечном бреде. «А если считать сестер-близнецов, то это будет уже пятеро». Некоторое время Графиня молчала, глядя в окно.

– Почему пятеро? – наконец спросила она.

– Вот именно, почему?

– Пять тайн, – сказала Графиня, тяжело роняя слова и никак не меняя выражение лица.

– Но кто эти пятеро, ваша милость? Пятеро...

Графиня прервала Хламслива и медленно стала перечислять:

– Герцог, мой супруг. Исчез. Одна тайна. Его сестры – исчезли. Вторая тайна. Потпуз – исчез. Третья. Пылекисл и Баркентин – гибнут в огне. Четвертая и пятая тайны...

– Но в гибели Пылекисла и Баркентина не было ничего особенно таинственного...

– Если бы это произошло только с одним из них – в этом не было бы ничего загадочного.

Но двое? Это уже по меньшей мере странно. И в первом, и во втором случае присутствовал этот молодой человек.

– Молодой человек? – не понял Доктор.

– Щуквол.

– Ага, тогда наши подозрения совпадают.

– Вот именно.

Хламслив вспомнил стихотворение Фуксии: «Белым и алым лицо горит...»

– Но ваша милость, – сказал Хламслив, обращаясь к Графине, которая по-прежнему смотрела в окно. – Из слов Щуквола можно заключить, что он вел счет странных исчезновений и смертей и проговорился об этом лишь случайно, находясь в бреде. Могу поклясться, что он не объединил в своем горячечном мозгу сестер в одну, так сказать, единицу, поэтому...

– Поэтому что?

– Поэтому общий счет смертей и исчезновений должен быть шесть, а не пять!

– В этом нет уверенности. Пока еще рано делать окончательные выводы. Подождем. Нужно забросить приманку. У нас нет доказательств... Но клянусь самыми черными корнями Замка, если мои опасения имеют под собой основания, Замку угрожает по крайней мере еще одно исчезновение... или смерть... которая потрясет Замок до основания...

Тяжелое лицо Графини покраснело. Она медленно опустила одну руку и вытащила из обширного кармана юбки горсть зерна. Потом так же медленно выставила руку в окно, раскрытой ладонью вверх. Словно ниоткуда вынырнула маленькая пятнистая птичка, уселась на указательный палец и, обхватив его лапками, стала клевать зерно.

Глава пятьдесят пятая

– Но он не может ничего с этим поделать! Такова традиция! Таков закон! – воскликнула Фуксия. – Он каждый день просто обязан сообщать тебе, какой обряд или ритуал нужно выполнять! И в его обязанности входит также пояснять тебе, что и как необходимо делать! Это не его вина – таков Закон. И отец, когда был жив, должен был подчиняться этому закону и выполнять все то, что приходится делать тебе. И твой дед, и дед твоего деда... И так без конца... И Щуквол никак не может вести себя иначе. Он обязан сообщать тебе что на каждый день предписывается в книгах Ритуала, хотя выполнение всех этих ритуалов, наверное, для тебя очень утомительно.

– Я ненавижу его! – процедил сквозь зубы Тит.

– Но почему, почему? – воскликнула Фуксия. – Разве можно ненавидеть его за то, что он выполняет свои обязанности? Неужели ты считаешь, что после тысяч лет соблюдения традиции для тебя должны быть сделаны какие-то исключения? Мне кажется, что ты даже предпочел бы Баркентина! Неужели ты не понимаешь, насколько ты предубежден против Щуквола? Ты проявляешь просто слепую нетерпимость! А мне кажется, что он прекрасно выполняет все, что от него требуется!

– Я ненавижу его! – упрямо повторял Тит.

– С тобой становится уже скучно! – воскликнула Фуксия довольно сердито. – Что ты заладил – ненавижу его, ненавижу его! Что в нем такого, что может вызывать ненависть? Ты что, так к нему относишься из-за его внешности? А? А если это так, то тогда ты просто злобный, гадкий и отвратительный мальчишка!

Фуксия тряхнула головой, и черные волосы упали ей на лицо. Она отвела их в сторону и с горячностью вновь воскликнула:

– О Боже, Тит, неужели ты думаешь, что я хочу с тобой ссориться? Ты же знаешь, как я люблю тебя! Но здесь ты не прав. Ты проявляешь несправедливость – У Фуксии от волнения дрожал подбородок. – Ведь ты ничего о нем не знаешь!

– Я ненавижу его! – прошипел Тит. – Я ненавижу этого дешевого, омерзительного типа! Я ненавижу в нем все!

Глава пятьдесят шестая

Проходили месяцы, а напряжение все возрастало. Тит и Щуквол были постоянно на ножах, хотя Щуквол, само воплощение льстивой обходительности, ничем не выдавал свои чувства и никак не выказывал острой ненависти к Титу – к этому резкому, непокорному юноше, который стоял между ним, Щукволом, и достижением высшей точки его устремлений.

Тит с того самого дня – и как давно это уже было! – когда, стоя на парте в классе, он бросил молчаливый вызов Щукволу и рухнул в обмороке на пол, упорно держался опасного превосходства, которое добыла ему его необычная детская победа.

Каждое утро в Библиотеке, Титу зачитывалось то, что ему предстояло исполнить в тот день. Щуквол листал древние книги Ритуала и пояснял темные места, изъясняясь ясно и доходчиво. Довольно продолжительное время Хранитель Ритуала строго придерживался буквы Закона. Но потом, почувствовав, что его положению единственного знатока и толкователя книг древних ритуалов и обрядов ничто больше не угрожает, он стал придумывать новые. Ему удалось раздобыть чистые листы старой бумаги, очень похожей на ту, на которой были записаны книги Ритуала, отсылок и поправок, и, умело поддельваясь под старинное письмо и сохраняя старинное правописание, он написал на этих листах придуманные им новые ритуалы и обряды и вставил листы в древние книги. Согласно этим выдуманному предписаниям, Титу приходилось выполнять утомительные и раздражающие обряды, временами подвергаясь прямой опасности, грозящей молодому Герцогу увечьем или смертью. Титу приходилось спускаться по деревянным лестницам, давно прогнившим и готовым обрушиться, проходить под расшатанными балками и полуразрушенной каменной кладкой, передвигаться по узким мостикам и галереям, висящим над бездной – а ведь эти мостики и галереи можно было предварительно подпилить, расшатать так, чтобы любой неосторожный шаг грозил обвалом. Щуквол рассчитывал, что, выполняя навязанные им обряды и ритуалы, Тит раньше или позже сорвется с большой высоты и разобьется насмерть.

А после смерти Тита перед Щукволом, подчинившим Фуксию, на пути к окончательному захвату власти будет оставаться лишь одно серьезное препятствие – Графиня.

О, у Щуквола были и другие враги! Ему еще предстояло каким-то образом устранить Доктора Хламслива, который был значительно умнее, чем хотелось бы Щукволу. А сама Графиня, к которой Щуквол на удивление себе и даже против своей воли испытывал своего рода уважение – не из-за ее ума, конечно, а по той причине, что он никак не мог разгадать ее! Что она из себя представляет? О чем постоянно размышляет? Щуквол не мог найти никаких точек соприкосновения между ее внутренним миром и своим. В ее присутствии он проявлял особую осторожность. Они с подозрением наблюдали друг за другом, как это бывает с теми, кто принадлежит к разным культурам и говорит на разных языках.

Завоевание Фуксии продвигалось вперед медленно, но весьма успешно. Здесь Щуквол превзошел самого себя. Ему удалось так размягчить ее сердце, что оно отзывалось на все нюансы его сдержанных, деликатных ухаживаний.

Теперь им уже не приходилось встречаться по вечерам в случайных местах. В различных частях Замка Щуквол оборудовал для себя комнаты, только об одной из которых – большой спальне, используемой и как кабинет, – было всем известно. Пять комнат из девяти, которые он использовал для своих нужд, находились в тех частях Замка, которые не посещались никем, кроме него, а три, хотя и располагались в наиболее обжитой части, были скрыты от любопытных глаз не хуже, чем гнездо вьюрка в густой траве на берегу заросшем камышом. Хотя двери этих комнат располагались в тех коридорах Замка, которые посещались достаточно часто

вид у них был самый неприметный, никто никогда не видел, чтобы они открывались, и никто не обращал на них никакого внимания.

В одной из таких комнат, которую он посещал лишь поздно ночью, когда Замок погружался в вязкую тишину, он повесил на стенах несколько картин, расставил на полках умные книги в кожаных переплетах, поставил в углу небольшой шкафчик, в ящиках которого держал украденные им драгоценности, древние монеты, большой набор ядов и секретные бумаги. Пол укрывал толстый пурпурный ковер, на котором стояли два очень старинных стула изящной формы и маленький стол, не менее изящный и не менее старинный. Щуквол мастерски реставрировал их, устранив все повреждения, нанесенные им временем и дурным обращением. Эта комната поразительно отличалась от мрачного коридора, в который выходила ее дверь, коридор был сложен из грубых камней, по обеим сторонам каждой двери в этом коридоре – а коридор был очень длинный, и дверей было очень много – располагались каменные пилястры, а над ними, поперек, нависала тяжелая плита.

Именно в эту комнату поздними вечерами теперь приходила Фуксия, каждый раз, когда она совершала это путешествие, ее сердце учащенно билось, а зрачки были расширены до крайних своих пределов. Щуквол всегда принимал ее исключительно учтиво и обходительно. Он зажигал лампу под абажуром, дававшим мягкий, рассеянный золотистый свет, а масло для лампы использовал самое благовонное. Раскладывал там и сям несколько открытых книг в кожаных переплетах, словно случайно оставленных там, где приход Фуксии застал его за чтением. Эти последние приготовления, призванные придать комнате более нецеремонный вид, всегда вызывали в Щукволе внутреннее сопротивление. Он питал отвращение к любому беспорядку такое же сильное, как и к любви. Но он знал, что Фуксия будет себя неловко чувствовать в комнате где все находится в идеальном порядке, который доставлял ему такое удовольствие.

Но все равно Фуксия казалась несовместимой с этой со вкусом обставленной и тщательно прибранной западней, Щукволу никогда полностью не удавалось скрыть свою внутреннюю холодность, которая отражалась в предметах, его окружавших. Фуксия была слишком полна жизни, не терпящей мертвой правильности вокруг себя. Ее душевная теплота глубочайшим образом отличалась от сверкающей ледяной энергии Щуквола, подобным же образом любовь, взорвавшаяся как вулкан, выплеснувшаяся наружу как проявление глубинных, безгрешных жизненных сил, несовместима с упорядоченным, налаженным миром. Даже когда она спокойно и неподвижно с рассыпавшимися по плечам волосами сидела на стуле, в ней чувствовалась потенциальная угроза холодной упорядоченности, окружавшей ее.

Но при этом ей нравилось все, что она видела вокруг себя в комнате Щуквола. Ей вообще нравилось все то, чем она сама не обладала. Здесь, в этой комнате, все было совершенно не так, как в остальном Замке, и когда она, окруженная идеальным порядком, вспоминала свой захламленный чердак, который так любила в детстве, свою неопрятную комнату, в которой провела долгие годы, свои нынешние комнаты, где кругом были разбросаны вещи, книги и тетрадки со стихами, ей казалось, что ей очень многого не достает. А когда Фуксия вспоминала неопрятность своей матери, она впервые в жизни чувствовала смущение.

Однажды поздним вечером, когда она кончиками пальцев тихонько постучала в заветную дверь, никакого ответа не последовало. Она, беспокойно озираясь по сторонам, постучала еще раз. Но ответом и на этот раз была лишь абсолютная тишина. Ранее ей никогда не приходилось поджидать под дверью более доли секунды. А потом вдруг она услышала голос, который, казалось, прозвучал совсем рядом.

– Осторожно, ваша милость!

Фуксия вздрогнула так, словно к ней прикоснулись раскаленным железом. Она не слышала

никаких шагов, и голос пришел словно ниоткуда. В страхе и трепете она зажгла свечу, которую держала в руке хотя и знала, что делать это неразумно и опасно. Но никого вблизи себя она не увидела. Уходивший в обе стороны от нее коридор был погружен во тьму. А в следующее мгновение она почувствовала как кто-то или что-то быстро приближается к ней из мрака. Задолго до того как свет ее свечи позволил ей узнать быстро приближающегося Щуквола, она уже знала, что это был именно он. Через несколько мгновений его стройная, узкоплечая нервная фигура была рядом с ней. Щуквол вырвал свечу из ее руки и пальцами загасил ее. Мгновением позже он уже поворачивал в замке ключ. Дверь открылась и Фуксию грубо втолкнули в комнату. Щуквол запер дверь изнутри и в темноте злобно прошипел:

– Дура!

Мир перевернулся. Это одно слово бесповоротно все изменило. Все достигнутое Щукволом в отношениях с Фуксией, было грубо сметено – и на сердце Фуксии опустился тяжелый груз.

Если бы хрустальное ослепительное здание, которое столь долго возводил Щуквол, постоянно достраивая и добавляя все новые дивные украшения, и которое своим внешним блеском, долженствующим показать его чувства к ней, приворожило девушку, не было столь утонченно прекрасным, а было менее воздушным, менее хрупким, менее совершенным, падение его от толчка одного слова было бы не столь катастрофичным. Но обрушившись на холодный камень, эфемерная постройка рассыпалась на тысячу кусочков.

Короткое, грубое слово и толчок, который получила Фуксия, мгновенно превратили девушку, трепетно ожидающую свидания, в госпожу Фуксию Стон. В ней вскипела кровь предков. Она была потрясена, возмущена и обижена – но более всего обижена. Ласковая любовь была забыта, Фуксия стала ощущать себя прежде всего дочерью Герцога.

Она понимала, конечно, что не следовало зажигать свечу прямо перед их секретной дверью – это был очень неосторожный поступок с ее стороны, противоречащий всем их правилам секретности. Но она была так напугана! Если бы кто-нибудь увидел ее и Щуквола вместе в такой час, это было бы крайне неприятно, но никакого особенного греха в этом, по ее мнению, не было, если не считать того, что она тайно с кем-то встречается и этот кто-то человек безродный.

Лицо Щуквола было перекошено от гнева. Фуксия и не предполагала что каменное спокойствие его лица может быть нарушено, что Щуквол может потерять самообладание, что его сдержанность и уравновешенность могут быть сметены взрывом ярости, что его ясный, уверенный, вкрадчивый голос может звучать так грубо и зло.

И как посмел он так грубо толкнуть ее! Его руки, руки музыканта, в будоражащем прикосновении которых всегда чувствовалась осторожная сила, смягченная нежностью, вдруг превратились в лапы хищного зверя!

Стоя уже в комнате, подрагивая от возмущения и еще неизжитого страха, Фуксия вдруг вспомнила о странном голосе, который раздался непонятно откуда, призывая ее к осторожности. Ей показалось, что тот кто из темноты предупреждал ее о какой-то опасности, находился от нее в двух-трех шагах, но когда она зажгла свечу никого поблизости не обнаружила. Чей это был голос и о чем ее предупреждали, Фуксия догадаться не могла. Но она уже твердо знала что не будет рассказывать об этом голосе Щукволу. Разве могла она теперь довериться тому, кто так грубо обошелся с нею! Она, за которой стоят столько поколений Стонов!

Щуквол бросился зажигать лампу, а Фуксия, повернувшись на каблуках, повелительным голосом приказала:

– Немедленно выпустите меня отсюда!

Но тут комнату залил столь знакомый, успокаивающий золотистый свет. И Фуксия

увидела, что на столе, обхватив голову сморщенными ручками, сидит обезьяна. На обезьяне был костюмчик красного цвета с желтыми ромбиками, голову обезьяны покрывала маленькая бархатная шапочка с длинным фиолетовым пером.

Щуквол стоял, закрыв лицо руками, но при этом он наблюдал за Фуксией сквозь слегка раздвинутые пальцы. Он снова оказался не на высоте положения! Но эта свеча, неожиданно вспыхнувшая в темноте, хлестнула его словно кнутом! Неконтролируемый ужас охватил его, ужас огня, который когда-то чуть не погубил его. И он опять совершил непростительную ошибку! Но пока он еще не знал, насколько тяжелы будут последствия. И он продолжал следить за Фуксией.

Фуксия смотрела на обезьяну. Выражение лица девушки легко позволяло определить, что творилось у нее на душе. Она была еще во власти шока, который вызвало в ней грубое обращение, и пока никакие другие чувства не могли его вытеснить, сколь странен бы ни был объект, привлечший ее внимание. Однако когда подвижная обезьянка поднялась на ноги, сняла с головы шапочку, почесалась зевнула и снова надела шапочку, лицо Фуксии на мгновение оживилось неподдельным любопытством.

Но настроение ее не могло поменяться столь быстро. С одной стороны ей было действительно любопытно и даже чуть-чуть смешно глядеть на забавное животное, а с другой – ее сердце оставалось незатронутым. Ну, обезьяна, ну одета, ну и что из этого? В другой ситуации Фуксия была бы очень заинтересована увиденным, но теперь все ее чувства замерли, словно покрылись коркой льда.

Щуквол выиграл пару минут, но что дальше? Она приказала ему выпустить ее из комнаты, но потом увидела обезьяну. Изменит она свое решение или нет?

Фуксия перевела взгляд на Щуквола. Ее черные глаза казались мертвыми, их обычный блеск исчез, губы были плотно сомкнуты.

Щуквол заговорил, не отводя рук от лица:

– Фуксия, останьтесь на одну минуту, позвольте мне рассказать вам об опасности, которой мы только что избежали. Нельзя было терять ни секунды, и хотя мне нет никакого извинения, и я не могу просить у вас прощения, я молю вас дать мне возможность пояснить, что произошло и что вызвало мое непростительное поведение. Фуксия! Я все это сделал ради вас! Я был вынужден быть грубым ради вас! Моя грубость была грубостью любви! Я должен был спасти вас! И у меня не было ни времени, ни возможности объяснять вам, что происходит. Разве вы не слышали звука шагов? Она только что прошла мимо двери. Еще мгновение – и она увидела бы нас. А вы знаете, какое наказание ожидало бы вас? О, конечно, вы знаете! Закон требует сурового наказания дочери Герцога, которая водится с человеком безродным. Об этом даже страшно подумать. Собственно, поэтому все наши встречи должны были содержаться в строгой тайне, поэтому мы должны были соблюдать такую осторожность. Но вы и так все это прекрасно знаете. И вы всегда были предельно осторожны. Но сегодня вы пришли немного раньше назначенного времени. Вы знаете об этом? И это уже само по себе рискованно. Но вы крайне усугубили опасность тем, что зажгли свечу. Ну, и как всегда бывает в подобных случаях, появилась еще одна серьезная опасность – ваша мать шла за мной по пятам.

– Моя мать? – прошептала Фуксия.

– Да, ваша мать. Она шла за мной, и мне приходилось сворачивать в разные стороны, возвращаться, но она упорно следовала за мной, и хотя двигалась она довольно медленно, я не мог позволить себе перейти на бег: это сразу показалось бы ей подозрительным. Я не понимаю, почему она следовала за мной, не окликаая меня. Я окольным путем добрался до этого коридора свернул в него через один из боковых проходов. Я знал, что меня отделяет от нее не более двадцати метров. И у меня было очень мало времени чтобы впустить вас в эту комнату и

запереть за собой дверь. У меня все смешалось в голове. Я боялся, что она увидит вас; я не боялся за себя, я боялся за вас, и вот я... Только теперь Щуквол отнял руки от лица и безвольно опустил их вдоль тела. После краткого молчания он заговорил снова, и голос его, ставший теплым и обаятельным, слегка подрагивал, Щукволу хотелось показать, что он не только взволнован, но хочет побыстрее рассказать, что произошло, откровенно и просто.

– Итак, что же произошло? Но вы уже знаете. Как только я вышел в этот коридор, я увидел вас у нашей двери, а сзади ко мне приближалась ваша мать. Поставьте себя на мое место! Трудно было сохранить самообладание в такой момент. Мне не удалось остаться идеально вежливым и в тоже время успеть сделать все, что нужно. Может быть, кому-то это и дано, но не мне. Может быть, мне нужно было бы этому учиться. Я же думал лишь о том, как спасти вас. Спрятать вас. Вы пришли раньше, чем мы условливались, и, вынужден признать, это меня рассердило. Как вы знаете, я никогда раньше на вас не сердился. А тут... Я даже не мог себе такого вообразить – как это я могу сердиться на вас! Я полагаю, что я был все-таки сердит не на вас а на судьбу, на нелепую случайность, которая грозила такой опасностью. Ведь никогда раньше не возникало ничего подобного, у нас все было так точно рассчитано, чтобы не было никакого риска, чтобы вам не подвергаться никакой опасности. И вдруг... И во мне вскипел гнев. Вы для меня уже не были Фуксией, вы были просто человеком, которого я должен был спасти. Как только мы скрылись за дверью – вы снова стали Фуксией. Но если бы я замешкался и не погасил вовремя вашу свечу, все бы погубило, и ваша – и моя – жизнь были бы погублены... Я люблю вас, Фуксия... Я думаю только о вас. Неужели вы не понимаете, что в тот момент у меня не было ни времени, ни возможности проявлять вежливость... все происходило так стремительно, это был вихрь!.. Да, я крикнул, выкрикнул нехорошее слово, но это произошло... оно вырвалось из любви к вам. а потом... а потом... здесь, в этой комнате, все это показалось таким невероятным... мне до сих пор не верится, что так могло произойти... мне невероятно тяжело и стыдно... а я принес вам подарок... и за него мне стыдно... Я кое-что написал... для вас... Фуксия. А теперь я и не знаю, осмелюсь ли показать вам...

Щуквол резко отвернулся и мелодраматично приставил ко лбу кулак, а потом, словно давая выход своему отчаянию, он с болью в голосе прошептал:

– Пошли, Сатана, пошли, мой проказливый мальчишка. Обезьяна тут же вспрыгнула на плечо Щуквола.

– Что вы там для меня написали? – спросила глухим голосом Фуксия.

– Я написал стихотворение, которое посвятил вам.

Он говорил едва слышно; такая манера разговаривать, потупив глаза, часто приносила успех; но сейчас он не был уверен, поможет ли этот прием.

– Нет, наверное, сейчас совсем неподходящий момент. Вы же не захотите задержаться и прочитать его.

– Нет, – сказала Фуксия после небольшой паузы, – сейчас нет.

По ее интонации невозможно было определить, имела ли она в виду, что сейчас, после случившегося, она вообще не сочтет возможным читать любовное стихотворение, написанное Щукволом, или «сейчас не время, прочту в другой раз».

Щуквол воскликнул: «Я понимаю!» – ничего другого ему не оставалось – но пересадил обезьяну на стол; обезьяна, не поднимаясь на задние ноги, стала расхаживать по столу, а потом перепрыгнула на комод.

– И если вы... если вам неприятно присутствие Сатаны, то я это тоже пойму и...

– Сатаны? – переспросила Фуксия, но в ее голосе нельзя было расслышать ни удивления, ни раздражения, ни какого-либо другого чувства.

– Ваша обезьянка... обезьянка, которую я хотел вам подарить, – пояснил Щуквол. – Если

она вас раздражает... Но я думал, она вас позабавит... Одежду ей я сделал сам.

– Не знаю, не знаю! – вдруг вскричала Фуксия. – Я не знаю! Говорю вам, не знаю!

– Отвести вас в вашу комнату?

– Я дойду сама.

– Как вам будет угодно. Но... молю вас подумать над тем, что я сказал. Попробуйте понять! Я люблю вас... я не могу без вас, как башни Горменгаста не могут быть без тени...

Фуксия взглянула в лицо Щуквола. На какое-то мгновение в ее глазах засветился огонек, но тут же они снова стали пустыми и погасшими.

– Я никогда не пойму, как вы могли... Сколько бы вы не говорили, это не поможет. Хотя, может быть, я и не права. Не знаю. Но как бы то ни было, все изменилось. Я уже не чувствую того, что чувствовала раньше... А теперь я хочу уйти.

– Да, да, конечно! Но прежде чем вы уйдете, я хочу молить вас о двух маленьких одолжениях! Могу я?..

– Ну, что ж... Попробуйте. Только побыстрее, я чувствую себя очень уставшей.

– Первая моя просьба – я молю вас, попытайтесь все же понять, что я... что мне пришлось действовать в условиях, когда размышлять было некогда, надо было что-то предпринимать и очень быстро! Вторая просьба: я хочу просить вас встретиться со мной еще раз – пускай это будет последний раз! Встретиться так, как мы встречались когда-то, и поговорить немножко – не о нас, не о том, что произошло, не о той пропасти, которая разверзлась между нами, а поговорить о всяких хороших вещах, радостных и милых... Не согласились бы вы встретиться со мной завтра вечером, на таких вот условиях?

– Не знаю! – воскликнула Фуксия. – Не знаю! Но... может быть... может быть... Боже, может быть, я с вами и встречусь.

– Спасибо, спасибо, Фуксия!.. Да – и вот еще одно, последнее. Если вы... если вам Сатана не нужен, не позволите ли вы мне забрать его назад... Ведь обезьянка полностью ваша, и вы можете распоряжаться ею, как вам будет угодно... и...

Щуквол отвел взгляд в сторону и сделал пару шагов к обезьянке, сидевшей на комод.

– Тебе же хочется знать, Сатана, кому ты принадлежишь, правда? – спросил Щуквол; он очень старался придать своему голосу галантность.

Фуксия, уже направившаяся к двери, резко повернулась. Она внимательно посмотрела на пегого человека, на плече которого сидела обезьяна. Острое лезвие ее ума было словно выхвачено в этот момент из ножен.

– Щуквол, – проговорила она, размеренно и четко, – мне кажется, вы размягчаетесь.

В бледного, изуродованного шрамами Щуквола эти слова вонзились острыми стрелами.

И Щуквол понял, что, если Фуксия придет на следующий день на свидание, он должен соблазнить ее. Тогда дочь Герцога снова окажется в его власти – она будет вынуждена хранить свершившееся в полном секрете, а он будет ей намекать, что в случае необходимости он может эту страшную тайну выдать... Да, он ждал слишком долго, а теперь, совершив такой нелепый промах, должен немедленно выправить положение. Медлить нельзя. Щуквол чувствовал, что почва ускользает из-под ног. Поначалу он будет нежен, потом настойчив, он применит все возможные хитрости и ухищрения, но если это не поможет, то есть и другие способы овладеть ею! Время для жалости прошло! Он вынудит ее отдаться ему, как бы эта тигрица не сопротивлялась! А потом – потом все будет очень легко и гладко: немножко шантажа – и все в порядке!

Флэй, взобравшись на каменную плиту, которая как полка выступала над дверью, за которой скрылись Фуксия и Щуквол, внимательно прислушивался. Раздался тихий скрип открываемого замка. Флэй затаил дыхание. Из двери, над которой сидел Флэй, вышла фигура, едва различимая в темноте, и быстро пошла по коридору прочь. Услышав, что замок снова запирают, Флэй стал спускаться вниз со своей каменной полки – он повис на длинных руках, а потом, разжав их и пролетев в воздухе не более десятка сантиметров, бесшумно приземлился на ноги.

По интенсивности чувства его отчаяние от того, что он не знал, что же произошло в комнате, в которой скрылись Щуквол с Фуксией, можно было сравнить лишь с ужасом, который он испытал несколькими минутами раньше, когда убедился, что к двери, крадучись, подошла никто иная, как Фуксия.

О, Флэй сразу ощутил страшную опасность, грозящую ей! Он чувствовал эту опасность всем своим существом. И стоя в нише в двух шагах от двери, он призвал ее к осторожности. Но разве мог он объяснить ей, в чем заключалась опасность? Да и как бы это выглядело, если бы он неожиданно появился из ниши в темном ночном коридоре? К тому же он не мог бы объяснить даже самому себе, в чем заключалась эта опасность. И поэтому – что ему оставалось делать? Лишь прошептать. «Осторожно» и вдавиться в стену, надеясь, что это предупреждение насторожит Фуксию, хотя бы просто потому, что она испытает страх, услышав голос, пришедший ниоткуда, страх перед чем-то сверхъестественным.

Флэй последовал за Фуксией лишь для того, чтобы убедиться, что она благополучно добралась до своей комнаты. Но он не мог заставить себя догнать ее, позвать ее, что-то попытаться объяснить. Нет, это бы ее просто напугало, а потом бы вызвало и неприятные подозрения, что он специально выслеживал ее. Флэй был в полной растерянности, Флэй был напуган. В его одинокой, горькой жизни любовь к Фуксии занимала особое место. Ни к кому другому он не испытывал подобных чувств. Он испытывал привязанность и почтение к Титу, но лишь Фуксия – и никто другой – пробуждала в нем, когда он думал о ней, теплые человеческие чувства, согревавшие его холодную каменную душу. Любовь к Фуксии и преданность Горменгасту, благоговение перед этим массивом камня, сложенным неисчислимыми поколениями людей, были чуть ли не единственными живыми чувствами, прячущимися в недрах его души.

Нет, сегодня он не будет заговаривать с Фуксией. Он видел, что Фуксия полностью погружена в свои мысли; она шла то очень медленно, то чуть ли не бежала, и Флэй чувствовал, что ее одолевают усталость и, как это ни печально, душевные страдания.

Флэй не знал, что сказал или сделал Щуквол, но ему было совершенно ясно, что этот мерзкий человек ее чем-то глубоко обидел, причинил ей душевную боль, и Флэй был готов вернуться к той двери, из которой вышла Фуксия, дожидаться появления Щуквола и голыми руками сорвать гадкую пегую голову с его узких плеч! Но поможет ли это устранить неведомую опасность, затаившуюся в Замке?

Возвращаясь в тот коридор, где он застал Фуксию, Флэй был погружен в тяжелые думы. Он был и растерян, и разгневан. Он не находил ответа на свои вопросы. Он и предположить не мог, что ночные приключения для него лишь начинаются.

Была уже глубокая ночь. Флэй шел медленно, волоча ноги, часто останавливаясь и прислоняя лоб к холодным стенам – его мучила головная боль, тяжелым молотом ударявшая изнутри по глазам и вискам. В одном месте, опустившись на ступеньку лестницы, наполовину стертую ногами бесчисленных поколений, он просидел без движения не менее часу. Его борода падала на колени, а потом после крутого изгиба опускалась прядями почти до самого пола.

Фуксия и Щуквол? Что это могло значить? Что общего могла Фуксия иметь с этим человеком? Какой ужас! Флэй заскрежетал зубами.

Замок, как невероятный монстр, изрубленный топором ночи, погрузился в полное безмолвие. Все замерло, словно задержало дыхание. Это была одна из тех ночей, когда сочетание мрака и глубокой тишины создавало впечатление, что рассвет никогда не наступит. Рассвет? Такого явления просто не существует. Рассвет – это выдумка ведьм ночи; рассвет – это легенда, зародившаяся в незапамятном прошлом, которую пересказывают столетие за столетием в непроницаемой тьме, передают из уст в уста все эти выдумщики, порожденные черными туннелями и пещерами Горменгаста; рассвет – это сказка, пришедшая из другого, загадочного мира, в котором происходят такие чудеса, как рассвет, в котором камни, кирпичи и плющ можно не только ощупывать и чувствовать их запах, но и видеть, в котором свет подчеркивает цвет, в котором в определенные часы восток зажигается золотистым сиянием, очищая с мира тьму как чешую, в котором то, что называется восходом, встает над горами, лесами и водами как воплощение сказки, как оживление легенды.

Это была ночь, готовая взречь, но пасть ее была заткнута кляпом, это была ночь, готовая всматриваться и видеть – но глаза ее были завязаны.

Единственным звуком, который различал Флэй, было постукивание его сердца.

III

Некоторое время спустя в трудноопределимый час той же нескончаемой ночи, когда до рассвета, который, несмотря ни на что, все же должен был наступить, Флэй, пройдя сквозь очередную дверь, невольно остановился. Ему предстояло пересечь внутренний двор, окруженный аркадами.

Вряд ли он остановился для того, чтобы взглянуть на желтовато-серую полосу, появившуюся на востоке – он-то не сомневался, что солнце вот-вот должно было решиться на восход; Флэя никогда не привлекали красоты рассвета. Ему просто никогда не могло бы прийти в голову, что таким зрелищем можно наслаждаться.

В центре двора росло колючее дерево, и взгляд Флэя был устремлен на его темный силуэт, перерезавший все расширяющуюся желтоватую полосу в предрассветном небе. Флэй очень хорошо знал это дерево – за все те годы, в течение которых он скрывался в недрах Замка, он проходил здесь множество раз, и теперь какое-то, пока ему еще не ясное, изменение в форме старого дерева заставило Флэя внимательно в него всматриваться. Ствол казался в одном месте явно толще, чем ему следовало бы быть Флэй с большей или меньшей степенью ясности мог видеть лишь тот участок ствола и ветвей, который пересекал желтую полосу рассвета. Да, ствол в одном месте расширялся, словно к нему что-то прижималось. Флэй присел на корточки, чтобы поменять угол зрения. И теперь, хотя по-прежнему верхняя часть нароста частично скрывалась ветвями, на фоне разгорающегося рассвета, который сообщал предметам еще большую черноту,

он четко увидел очертания чего-то такого, что напоминало плечи и шею человека. Флэй бесшумно опустился на колени и, склонив голову до земли и устремив при этом взгляд вверх, явственно различил чей-то профиль. На дереве, словно нарост на стволе, сидел Щуквол.

Но что он делал там, среди ветвей, в темноте, застыв в неподвижном одиночестве?

Флэй поднялся с земли и прислонился к ближайшей из колонн аркады. Взглянув на дерево, туда, где только что он видел черный профиль Щуквола, казавшийся плоским, вырезанным из бумаги, он увидел лишь переплетение ветвей.

Флэй ни секунды не сомневался в том, что Щуквол взобрался на дерево в такой час с недобрыми намерениями, но даже не попытавшись осмыслить, почему в нем инстинктивно возникло это чувство опасности. Флэй приготовился к долгому ожиданию. Само по себе в том, что какой-то человек сидит на рассвете на дереве и смотрит на разливающуюся по небу зарю, ничего зловещего не было, даже если этот человек – Щуквол. Он вполне мог в любую секунду слезть с дерева, отправиться к себе в комнату и лечь спать или заняться каким-нибудь другим невинным делом. Но Флэй всем своим существом ощущал, что Щуквола привело на дерево не желание созерцать красоты природы. В напряженной предрассветной атмосфере даже простое, невинное событие могло показаться зловещим и угрожающим, а то, что он находился на дереве на исходе ночи в пустом дворе, вряд ли можно было назвать чем-то заурядным и обычным.

Щуквол, оцепеневший от внешнего холода и внутреннего напряжения, всматривался в занимающийся рассвет. Теперь он очень четко понимал, что шаги, направленные на свершение его планов, должны быть предприняты немедленно. Как бы ему ни хотелось еще немного повременить, он ощущал, что возникла необходимость – хотя и не совсем понятно, почему, – безотлагательных действий. Время бездействия прошло.

Несмотря на то, что никаких свидетельств его тайных и далеко идущих намерений ни у кого не было, Щуквол явственно ощущал, что власть ускользает от него, что почва уходит у него из-под ног, что, несмотря на его, казалось бы, высокое и могущественное положение, Горменгаст одним дуновением мог смести его в пустоту и мрак. Как ни убеждал себя Щуквол в том, что он не совершил никаких непоправимых ошибок, что мелкие промахи ничего существенного не поколебали, ощущение угрозы его положению оставалось. И возникло оно у него сразу после того, как дверь за Фуксией закрылась и он остался один в комнате. Ранее ничего подобного он не испытывал. Он всегда считал, что его подвижный ум способен трезво оценить любую ситуацию. Однако... Да, его неосторожность создаст для него некоторые неудобства, но не надолго, так зачем же ломать себе голову по поводу небольшого неприятного происшествия, случившегося несколько часов назад? Что, в конце концов, может заподозрить Фуксия? Какие она может выдвинуть против него обвинения, кроме того, что он, Хранитель Ритуала, несколько грубо с ней обошелся?

Но как он ни старался себя успокаивать, тревога не покидала его. Откуда у него такое чувство, что стоит он на краю бездонной черной пропасти? Неужели простая женская обида случайно открыла эту пропасть? Почему она так черна, отчего она столь глубока, эта неожиданно разверзшаяся бездна?

Пожалуй, впервые в жизни сон, который всегда исправно приходил к нему, предал его. Как он ни стремился заснуть, это ему не удалось. И так как в нем глубоко укоренилась привычка использовать для какой-то цели каждый подходящий момент, Щуквол покинул свою спальню и, придя сюда, на этот двор, взобрался на дерево. Замок спал, а из этого всегда можно было извлечь для себя кое-какую пользу.

И Флэй прекрасно чувствовал, что Щуквол ничего не будет делать без причины. Он не взберется на дерево, чтобы наблюдать за восходом солнца. Не сел бы Щуквол на ветви дерева и для того, чтобы предаваться грустным размышлениям. Щуквол не был романтиком. Нет,

Щуквол сидел на дереве по какой-то совсем другой причине. Но какой?

Флэй опять опустился на колени и, почти положив подбородок на холодный камень, снова взглянул на остро очерченный профиль Щуквола, так четко выделяющийся на фоне светлеющего неба. И тогда, стоя на коленях, Флэй вдруг разрешил для себя загадку. Между Щукволом и Фуксией что-то произошло, что-то такое, что не дало ему уснуть. И он вознамерился куда-то направиться и свершить что-то злокозненное. Но, очевидно, место, куда хотел отправиться Щуквол, находится в малоразведанной части Замка, и для того чтобы туда попасть, ему нужно дождаться первого света. Он должен был попасть туда тайно и при этом не заблудиться. Полоса света на востоке никак не спешила расширяться, и все вокруг еще было погружено во тьму. Как только достаточно посветлеет, Щуквол спустится вниз и отправится туда, куда вознамерился попасть. Но пойдет он туда уже не один. Как бы проворен ни был Щуквол, Флэй его не упустит, он проследит за Щукволом, куда бы тот не направлялся! Но тут, когда Флэй все еще стоял на коленях со склоненной до земли головой и отведенной в сторону бородой, ниспадавшей на плиты двора, ему пришла в голову мысль, что ему нужен сообщник. Но не для того, чтобы просто составить компанию, и не для большей безопасности, а чтобы он стал свидетелем тайных перемещений Щуквола, в которых наверняка был злой умысел. Если Флэй будет один выслеживать Щуквола, то, когда свершится нечто непотребное, а может быть, и кровавое, то кто поверит ему на слово? Хранителю Ритуала поверят больше, чем ему, бывшему слуге, много лет скрывающемуся в Замке! Даже просто находясь в Замке, Флэй совершал тяжкое преступление. Он – изгнанник, которому было воспрещено появляться в Замке, и как он может обвинять человека, занимающего такой высокий и важный пост? Нет, для того чтобы его обвинения выслушали, ему нужен свидетель.

Едва все это пришло ему в голову, Флэй вскочил на ноги. Судя по всему, достаточно светло станет не ранее чем через четверть часа. За это время Флэю надо успеть разбудить кого-то и привести сюда. Но кого? Выбора у него не было. Только Тит и Фуксия знали, что он вернулся в Замок и уже несколько лет тайно живет в Безжизненных Залах.

Нелепо было даже думать о том, чтобы поднять Фуксию с постели и позволить ей шпионить за Щукволом. Значит, остается только Тит. Он уже почти совсем взрослый. Правда, он странный юноша с непредсказуемым поведением – безо всякого предупреждения его угрюмость могла смениться диким возбуждением. Хотя он был физически довольно сильным, но его жизненная энергия уходила более на фантазии, чем на совершенствование своего тела. Флэй совершенно не понимал Тита, но доверял ему и знал о его ненависти и отвращении к Щукволу, которые привели к некоторому охлаждению в отношениях между Герцогом и его сестрой. Флэй несколько не сомневался, что Тит присоединится к нему, но его очень беспокоило то, что он может подвергнуть наследного Герцога Горменгаста какой-то опасности. Но, с другой стороны – разве не обязан он, Флэй, разоблачить скрытого врага, который мог представлять страшную угрозу для молодого Герцога и всего того, что он символизирует? К тому же Флэй поклялся себе, что его еще очень сильные мускулы позволят ему защитить Тита от любой опасности, пусть при этом собственная жизнь его будет под угрозой.

Не теряя более ни секунды на размышления, Флэй бросился прочь со двора. В любое другое время то, что он задумал, показалось бы ему безумием. В конце концов, что может быть более ужасным, чем подвергнуть какой-либо опасности Герцога Горменгаста? Но теперь Флэй считал, что, разбудив Тита и отправившись вместе с ним на выслеживание подозрительного человека – хотя шпионить за кем-то было делом весьма непривлекательным, – он приблизит день, когда Горменгаст наконец очистится от скрытой скверны и сердце Замка снова забьется вольно.

Флэй бежал по коридорам. Его движения были неуклюжи, как у спешащего паука. Он взлетал по лестницам, перепрыгивая через несколько ступеней сразу. Длинные ноги несли его

такими широкими шагами, что казалось, он передвигается на ходулях. Но когда он приблизился к общей спальне, то двигался, как тать в ночи.

Флэй начал очень медленно открывать дверь. С правой стороны от двери располагалась загородка, за которой спал привратник. Как только Флэй услышал звук, похожий на трение наждака о твердую поверхность, – дыхание глубоко спящего старика-привратника, – он, помнивший того еще с давних времен, решил, что с этой стороны ему опасаться нечего.

Но как в темноте узнать Герцога? Зажечь свечу Флэй не мог. В просторной спальне, если не считать громкого дыхания привратника, царила полная тишина. Времени на раздумья не было. Флэй решил, что ему просто следует отдаться своей интуиции. От того места, где он стоял, вглубь спальни уходили два ряда кроватей. Почему он направился к правому от него ряду, Флэй не мог бы сказать. Не колеблясь, он подошел к первой же кровати и, наклонившись, прошептал:

– Ваша светлость! А ваша светлость!

Ответа не последовало. Тогда Флэй перешел ко второй кровати и прошептал то же самое. Ему показалось, что спящий слегка повернул голову, лежащую на подушке, но ответа снова не было. Флэй переходил от кровати к кровати, и резко шептал свой призыв: «Ваша светлость!.. Ваша светлость!», но ответа не получал. А время шло. У четырнадцатой кровати он повторил свой призыв несколько раз и не столько услышал, сколько почувствовал, как спящий заворочался.

Тогда он рискнул прошептать еще раз:

– Ваша светлость! Тит!

Было слышно, как на кровати кто-то приподнялся и дрожащий юношеский голос шепотом спросил:

– Кто это?

– Не бойтесь, ваша светлость, не бойтесь! – жарко зашептал Флэй, а рука его инстинктивно ухватилась за перильце кровати, – Вы Тит, Герцог Тит?

Пару мгновений ответа не было; потом Тит спросил:

– Это вы, господин Флэй? Что вы здесь делаете?

– Потом объясню. Ваша одежда далеко?

– Нет.

– Пожалуйста, быстро оденьтесь. И следуйте за мной. Потом все объясню.

Тит молча выскользнул из постели, нашарил в темноте одежду, свернул ее в узел. Флэй, а за ним Тит, выйдя из спальни, быстро двинулись к лестнице. Флэй вел Тита, положив руку ему на плечо.

У лестницы Тит оделся. Его сердце бешено колотилось. Флэй стоял рядом и, как только Тит был готов, бросился вниз по лестнице, махнув ему рукой.

По пути Флэй краткими, не очень связными фразами кое-как объяснил Титу, почему его разбудили и вытащили из постели в ночь. Хотя Тит вполне разделял подозрения Флэя и его ненависть к Щукволу, он все же с ужасом подумал, не лишился ли Флэй рассудка после многих лет одиночества? Тит был согласен с тем, что сидеть на дереве ночью – весьма странное занятие для кого угодно, и особенно для Щуквола, но ничего преступного в этом не было. А что, собственно, там, во дворе делал сам Флэй в такой час? И зачем этому отшельнику, а теперь затворнику в недоступных частях Замка понадобилось вести его, Тита? Конечно, в этом ночном походе было много от настоящего, волнующего приключения; к тому же Титу очень льстило то, что Флэй обратился за помощью именно к нему; но что Флэй имел в виду, когда говорил, что ему нужен свидетель, Тит не вполне понимал. Свидетель чего? И что должно было доказать это преследование? Хотя Тит в глубине души считал, что Щуквол отвратителен не

только внешне, но и внутренне, он не мог не признавать, что Щуквол просто выполняет свои обязанности Хранителя Ритуала – и выполняет очень тщательно. Тит ненавидел Щуквола безо всякой четко определенной причины, не утруждая себя размышлениями о том, не строит ли Щуквол какие-то зловердные козни. Он ненавидел Щуквола просто за то, что тот существует на белом свете.

Когда они добежали до аркады, опоясывающей двор, Флэй с облегчением обнаружил, что Щуквол еще на месте. Флэй и Тит улеглись на холодные камни за одной из колонн, и Флэй, вытянув руку, показал Титу, куда смотреть. И вот тогда, когда Тит разглядел среди колючих ветвей колючий профиль – колючий как разбитое стекло; лишь лоб очерчивался гладко-текучей линией, – он понял, что худой, невероятно заросший человек, лежащий рядом с ним, не безумен, по крайней мере не более безумен, чем он сам, Тит; впервые в жизни он ощутил едкий вкус настоящего страха, смешанного с волнением, вызываемым необычным приключением.

В голове Тита промелькнула мысль о том, что еще можно было бы возвратиться в не успевшую остыть постель и там спрятаться от ледяного дыхания страха, но он тут же справился с этой минутной слабостью.

Подвинувшись к Флэю, Тит прошептал ему прямо в ухо:

– Здесь живет Доктор Хламслив.

Флэй несколько секунд не отвечал, ибо не находил в словах Тита никакой связи с происходящим.

– Ну и что из этого? – спросил он едва слышно.

– Его дверь очень близко – с нашей стороны...

На этот раз молчание было еще более долгим. Флэй, наконец, сообразил, что присутствие Доктора удвоит число свидетелей и обеспечит большую защиту Герцогу Титу. Но как Доктор Хламслив воспримет неожиданное появление Флэя после стольких лет отсутствия? Одобрит ли он тайное возвращение Флэя в Замок – даже несмотря на то, что это было сделано ради Замка? Сможет ли он сохранить в тайне то, что видел Флэя? Знает ли он, какое наказание грозит Флэю за нарушение запрета появляться в Замке?

Тит зашептал снова:

– Доктор с нами. Он на нашей стороне.

Флэй не был способен тщательно обдумывать каждый свой следующий шаг. Если бы он изначально вел себя рассудочно, он ни за что не покинул бы свой лес, свою пещеру, и ему не пришлось бы теперь лежать на холодных плитах и следить за человеком, сидящим на дереве; как ни омерзителен был профиль этого человека, это была еще не достаточно разумная причина, чтобы устраивать на него засаду. Нет, Флэй просто должен подчиниться своей интуиции, не размышляя следовать порыву и проявлять бесстрашие перед любой опасностью, которую может таить в себе будущее. Времени на размышления не было – нужно было просто действовать.

Рассвет уже высветил широкую полосу неба на востоке, хотя его света еще было недостаточно, чтобы озарить все небо. Но солнце уже должно было вот-вот выбраться из-за горизонта и залить своим светом башни Замка. Решать надо было немедленно. Через несколько минут любое перемещение во дворе уже сможет привлечь внимание Щуквола, к тому же, если Флэй был прав в своем предположении и Щуквол действительно дожидается восхода, чтобы предпринять путешествие в малознакомую часть Замка, он может в любую минуту соскользнуть с дерева и отправиться в путь.

Дом Доктора находился в конце аркады, под сводами которой лежали Флэй и Тит, и, прячась за колоннами, к нему можно было добраться, не привлекая внимания Щуквола. Повинуясь указаниям Флэя, Тит снял туфли – Флэй уже успел снять свои ботинки, – связал длинные концы шнурков и повесил туфли на шею. Поначалу Флэй решил отправиться к

Доктору вместе с Титом, но через пару шагов остановился. Угол зрения на дерево изменился, и Щуквола больше не было видно. Хотя двор был еще погружен в темноту, Щуквол мог в любое мгновение спуститься с дерева и исчезнуть без следа.

Прошло не меньше минуты, прежде чем Флэй решил, что же делать дальше. Помогло ему весьма случайное обстоятельство – Флэй засунул руку в карман, единственный из всех, не имеющий дырки, и нащупал там кусок белого мела, который использовал для пометок на стенах во время своих странствий по глухим коридорам Замка.

Да, Флэй должен остаться и продолжать следить за Щукволом. Если тот слезет с дерева, Флэй последует за ним и будет отмечать свой путь мелом. К тому же Доктор Хламслив более охотно согласится отправиться с Титом, а не с ним – ведь Флэю пришлось бы слишком многое объяснять.

И Флэй рассказал Титу, что нужно сделать. Тит должен осторожно разбудить Доктора Хламслива – но как это сделать, Флэю неизвестно, тут Титу следует поступать, исходя из собственной сообразительности, Тит должен убедить Доктора в том, что нельзя терять ни минуты, поэтому Доктору не следует сообщать, что Щуквол, может быть, никуда и не собирался отправляться, а если и собирался, то по какому-то совершенно невинному и законному делу. Не следует извиняться, что Доктора поднимают с постели в такой неурочный час без видимой причины, но Доктора следует убедить в том, что нельзя терять ни секунды. Они должны очень осторожно выйти во двор, добраться до того места, с которого видно, спустился с дерева Щуквол или нет – если, конечно, не будет уже достаточно светло, чтобы его можно было увидеть с любого места. Если Щуквол к моменту их прихода будет все еще оставаться на дереве, то Флэй их встретит у точки, удобной для наблюдения, если же Щуквола на дереве не будет, они должны отыскать отметины, сделанные мелом, и пуститься вдогонку, если же все-таки будет еще слишком темно, свечей не зажигать, а дождаться момента, когда при свете зари можно будет различить пометки мелом, и сейчас же отправляться в путь, сохраняя абсолютную тишину, ибо расстояние между Щукволом и крадущимся за ним Флэем из-за недостаточной освещенности может быть весьма небольшим и Щуквол сможет обнаружить преследование.

Тит на ощупь двинулся под аркадой в сторону дома Доктора. Шаги его были совершенно бесшумны. Однако в какой-то момент одна из металлических пуговиц на его куртке ударила о какой-то выступающий из стены камень – раздался звук, подобный хрусту ломающейся под ногой сухой ветки. Тит оцепенел и, замерев в неподвижности, несколько мгновений прислушивался. Потом он снова двинулся вперед и вскоре был у дверей дома Доктора Хламслива.

А тем временем Флэй, положив заросший подбородок на руки, не сводил глаз с силуэта, вырисовывающегося на фоне бледнеющего неба. Светлая полоска на востоке уже стала такой яркой, что никакие краски не смогли бы воспроизвести ее сияния.

И вот наконец Флэй увидел первое движение. Голова Щуквола поднялась, закинулась, словно Щуквол разглядывал нависшие над ним ветви, а потом рот раскрылся в зевке – наверное, так зевает ящерица. Раскрылись челюсти с острыми зубами, бесшумно, безжалостно. Размышления закончились, и Щуквол мог позволить себе расслабиться и зевнуть. Усевшись на ветках и прижимаясь к стволу, он предавался отнюдь не расслабляющим сожалениям о допущенных ошибках – он продумывал свой каждый шаг, его тренированный мозг разрабатывал новые планы, пересматривал отношения не только с Фуксией, но и со всеми, с кем ему приходилось сталкиваться. Он искал новые решения и вырабатывал новую схему действий, которая должна была стать шедевром хладнокровных расчетов. Но новый план действий, несмотря на свою отфильтрованность и продуманность, не обладал в полной мере тем совершенством, к которому всегда стремился Щуквол. Впервые он решился на рискованные

действия. Пришло время собрать воедино все те сотни невидимых нитей, которые опутывали Замок. А это требовало некоторого риска. Но сейчас он мог еще на несколько минут расслабиться. Начнет он действовать тогда, когда окончательно рассветет. А сегодня вечером он должен ошеломить Фуксию, ослепить ее своим блеском, пробудить в ней женщину; а если все его ухищрения не окажут нужного воздействия, он должен овладеть ею, даже применив насилие – тогда она, скомпрометированная, будет в его полной власти! Откладывать нельзя, ибо в ее теперешнем настроении она представляла для него большую опасность.

Щуквол снова зевнул. На сегодня все планы определены. Его раздумья закончены. Теперь оставалось лишь одно небольшое дело, которое следовало завершить, пока не разгорелся день. Мозг проработал все возможности, а теперь его глаза должны удостовериться в том, о чем он лишь догадывался.

Щуквол движением ящерицы облизал свои тонкие сухие губы. Потом повернулся к востоку, где горело желтое сияние, сверкавшее как карбункул. Первый луч солнца вырвался из-за горизонта и упал на его чело. Щуквол не отвел своих красных глаз от пылающего края солнца. Проклиная светило, Щуквол полез вниз.

Глава пятьдесят восьмая

Титу повезло – Доктор Хламслив, разбуженный появлением Тита, тут же узнал юношу и не поднял шум.

Для того чтобы без стука попасть в дом Доктора – любой стук или шум привлек бы внимание Щуквола, – Титу пришлось вскарабкаться по густому плющу к полуоткрытому окну, которое оказалось, к счастью, спальней Доктора.

Хламслив потянулся к свече, стоявшей на столике у изголовья кровати.

– Нет, Доктор Слив, не зажигайте свечу! Это я, Тит! Нам нужна ваша помощь! Ради Бога, извините, сейчас так рано, но... это очень нужно! Можете пойти со мной? Там меня ждет Флэй.

– Флэй?!

– Да. Он вернулся... но тайно, поэтому, пожалуйста, про это никто не должен знать – вернулся ради меня, ради Фуксии, ради законов Замка., но если можно, побыстрее, Доктор... вы идете? Мы отслеживаем Щуквола. Он там, недалеко.

Доктор мгновенно поднялся с постели, облачился в свой элегантный халат, нашел очки и надел их; на ноги он надел носки и мягкие тапочки.

– Я польщен, – сказал он быстро очень приятным голосом. – Я более чем польщен, что вы обратились ко мне за помощью. Ведите меня, мой мальчик, ведите.

Они спустились по темной лестнице. Когда они добрались до прихожей, Доктор исчез, но лишь на минуту, вернувшись, он держал в руках две кочерги, одну – длинную, тяжелую, медную, с грозно выглядевшим концом, напоминавшим палицу; другую – короткую, железную, с очень удобной ручкой.

Хламслив спрятал их обе за спину.

– Выбирайте, в какой руке та, которую вы хотите? – спросил он.

Тит выбрал левую и получил железную. С таким грубым оружием в руках Тит резко прибавил в уверенности, хотя сердце его по-прежнему билось учащенно и ощущение острой опасности оставалось. Однако чувство полной незащищенности исчезло.

Хламслив не задавал никаких вопросов. Он знал, что раньше или позже, но объяснения последуют. В тот момент Тит был бы не в состоянии давать какие-либо разъяснения. Он начал было рассказывать о том, что Флэй будет оставлять за собой отметины мелом, но тут же прекратил, ибо времени что-либо растолковывать уже не было – надо было действовать. Прежде чем открыть входную дверь, Хламслив раздвинул внутренние ставни и прильнул к стеклу. Тит стоял рядом с ним. Двор все еще был погружен во мрак. В чернильной тьме почти ничего нельзя было разобрать. На фоне светлеющего неба можно было лишь разглядеть верхний край домов на противоположной стороне двора; в центре двора выделялось удлиненное черное пятно, повисшее там, где должно было находиться дерево.

– Вы видите его? – прошептал Тит.

– А куда смотреть?

– Там, на дереве.

– Нет, отсюда ничего не видно. Ничего.

– Его хорошо видно с другой стороны двора. Пойдем под аркадами. Если он спустился с дерева, нам нужно спешить.

– Я верю вам на слово, Тит, хотя, клянусь всем, что погружено в тайну, куда и зачем мы отправляемся, одной скрипучей сове известно. Но как бы там ни было – вперед!

Хламслив, вытянув руки перед собой, встал на цыпочки. Длинная кочерга в его руке казалась жезлом; халат был плотно завязан на изящной талии. Утонченные черты его лица

приобрели выражение задумчивой решительности, которая производила сильное впечатление и одновременно пугала странностью своего проявления.

Хламслив снял засовы с двери, и они выскользнули наружу. Двигались бесшумно – Тит шел в носках (туфли болтались у него на шее), а у Доктора на ногах были мягкие домашние тапочки. Пройдя под аркадами какое-то расстояние, Тит, схватив Хламслива за руку, остановил его. На фоне совсем уже посветлевшего неба дерево было хорошо видно, но Щуквола на нем уже не было. Исчез и Флэй. Пройдя еще несколько шагов, Хламслив и Тит при свете разгорающейся зари увидели под ногами отметку мелом на одной из каменных плит. Тит, чтобы лучше ее рассмотреть, тут же опустился на колени. На камне была нарисована стрела, а рядом что-то написано. Разобрать написанное было очень сложно – Флэй, очевидно, писал в большой спешке. Но Титу все же удалось расшифровать меловые каракули: «Каждые двадцать шагов».

Тит прошептал:

– Мне кажется, тут написано – «каждые двадцать шагов». Это, наверное, значит, что такую стрелку следует искать через каждые двадцать шагов.

Двигаясь в направлении, указанном стрелкой, и сжимая в руках кочерги, Хламслив и Тит осторожно шли вперед, отсчитывая шаги. Они всматривались в темноту, в любую секунду ожидая появления фигуры Флэя где-нибудь вдалеке – или какой-то опасности.

Приблизительно на двадцатом шаге Тит с Хламсливом увидели еще одну грубо начерченную стрелу, и тем самым расшифровка надписи у первой стрелы подтвердилась. Они зашагали вперед с большей уверенностью. Они вполне резонно полагали, что, прежде чем увидят Щуквола, они наткнутся на Флэя и поэтому могут идти быстрее, не очень таясь. На некоторых участках – там, где пути разделялись, и вообще везде, где могло возникнуть сомнение, куда дальше следует двигаться, – стрелки располагались на более коротких расстояниях. На других участках – в длинных коридорах без дверей, там, где стены сходились близко одна к другой, образуя проходы безо всяких поворотов, иначе говоря, везде, где не было опасности сбиться с дороги, стрелки почти отсутствовали. В некоторых местах, там, где коридоры или проходы между стенами были очень длинными, Щуквол и следующий за ним Флэй исчезали на одном конце, а на другом появлялись Хламслив с Титом, не предполагавшие, что какая-то секунда – и они могли бы увидеть Флэя в конце коридора. Только Флэй мог догадываться, что его друзья и его враг – и он посередине – в какой-то момент находятся под одной крышей.

По мере того, как становилось светлее, Доктор Хламслив и Тит могли идти все быстрее; они могли даже попытаться определить, по какой части Замка продвигались. Стрелки на камне становились все более упрощенными. За одним из поворотов Хламслив и Тит наткнулись на еще одно послание. Оно было коряво написано перед ступенями лестницы. «Быстрее. Он спешит. Догоняйте. Но тихо».

Теперь, когда стало совсем светло, Тит и Хламслив поняли, что находятся в совершенно неизвестной части Замка. Все вокруг было незнакомым: вьющиеся коридоры и проходы, полуразрушенные лестницы, спуски и подъемы. Хотя они никогда не бывали в этих частях Замка, Горменгаст и здесь сохранял свой неизменный облик. Здесь царила атмосфера заброшенности и пустоты, и хотя все еще было очень раннее утро, тишина кругом объяснялась не тем, что люди еще не встали. Кроме них и еще двух человек, находившихся где-то впереди, никого нигде больше не было. Все было окутано атмосферой безлюдности и необжитости.

В пустых комнатах встречались кровати, но они давно были сломаны, а из живых существ попадались лишь муравьи и жуки-долгоносики, точившие прогнившие деревянные конструкции.

На одном участке Титу и Хламсливу пришлось пересечь несколько открытых дворишков.

Небо над головой заливал красный свет выбравшегося из-за горизонта солнца. Доктор, выглядевший в своих тапочках и халате исключительно странно в окружении безжизненного камня, двигался с удивительной легкостью. Сжимая кочергу обеими руками, он держал ее толстый конец на уровне груди; голова его была слегка откинута назад, а фалды халата развивались у ног.

Рядом с ним Тит выглядел как нищий. Его носки изорвались, стершись о грубый камень. Подошвы ступней и пальцы ног были в ссадинах и царапинах. Но он не обращал на это никакого внимания. Волосы его растрепались и падали на лицо. На шее болтались туфли; куртка, надетая прямо на ночную рубашку, была расстегнута, штаны постоянно сползали.

Хламслив и Тит каждый раз, когда это представлялось безопасным, переходили на бег. Но, приближаясь к очередному повороту, они замедляли свое движение и осторожно выглядывали из-за угла. Их по-прежнему вели вперед стрелки, начерченные мелом, но вид их сильно изменился: из жирных, уверенных стрел они превратились в тоненькие черточки. Это говорило не только о том, что движение все убыстрялось, но и о том, что кусок мела становился все меньше и его надо было беречь.

Так как стало совершенно светло, Флэю, очевидно, приходилось соблюдать особую осторожность и он наверняка не мог следовать за Щукволом на слишком близком расстоянии. И все же, как ни быстро двигались теперь Тит с Хламсливом, они никак не могли догнать Флэя. Лоб Доктора покрылся каплями пота; и он, и Тит ощущали все большую усталость. Они пробегали мимо незнакомых башен, строений, пересекали незнакомые дворы, проходили по незнакомым коридорам, поворачивали в незнакомых проходах, все глубже проникая в каменные лабиринты, освещаемые на некоторых участках утренним светом.

Но вот в очередной раз приблизившись к повороту, Доктор механически замедлил шаг и осторожно заглянул за угол. Тит, которому уже стало казаться, что их путешествие, подобное ночному кошмару, никогда не закончится, увидел, как Хламслив дернулся назад и махнул рукой, давая сигнал остановиться.

Потом его рука нащупала стоявшего сзади Тита, ухватила его за локоть и подтянула поближе к себе. Слегка присев, выглянув из-за угла и Тит. В конце узкого коридора, заваленного кусками штукатурки, осыпавшейся со стен и с потолка, засыпанного толстым слоем пыли, он увидел Флэя, который, как и они, тоже стоял у поворота и выглядывал из-за угла. Даже на большом расстоянии было видно, что тело Флэя, столь напоминавшего пугало, все напряглось, – он явно следил за преследуемым.

Опоздай Хламслив и Тит к этому углу на несколько мгновений, они уже не увидели бы Флэя – тот осторожно скользнул за угол. Они бросились вдогонку и быстро добрались до поворота, за которым исчез Флэй. Соблюдая большую осторожность, они выглянули из-за угла. И их глазам предстала картина, полностью повторившая ту, которую они наблюдали несколько мгновений назад: в конце следующего коридора, заваленного, как и предыдущий, обвалившейся штукатуркой и покрытого пылью как пеплом, стоял Флэй, заглядывая за угол. Было такое впечатление, что только что пережитый эпизод повторяется вновь – настолько все, во всех деталях, было схожим. Но на этот раз Хламслив с Титом уже не ожидали, пока Флэй скользнет за угол – Доктор махнул рукой вперед, и они бросились бежать по коридору. Флэй, который наверняка услышал их приближающиеся шаги, не повернул в их сторону голову – а это значит, он даже на мгновение боялся потерять Щуквола из виду. Флэй, похожий на насекомое-палочника, не шелохнулся вплоть до момента, когда Тит с Хламсливом были уже совсем рядом. Под ногой Тита едва слышно хрустнул кусок штукатурки, и Флэй, повернул голову и, глядя через плечо, посмотрел назад. Он приложил палец к губам и – потом сделал знак приблизиться. Хламслив, согнувшись, придерживая свой роскошный халат, пододвинулся к старому слуге

вплотную. Тит, опустившись на колени, выглянул из-за угла. На расстоянии метров двадцати он увидел человека с красно-белым лицом, Хранителя Ритуала Щуквола. Сердце Тита учащенно забилось. Тит смотрел на своего извечного врага, которому несколько лет назад бросил вызов, который самым своим существованием отравлял ему жизнь, который привел к отчуждению между ним и его сестрой.

Щуквол сидел на краю каменной чаши, выступающей из стены; очевидно, когда-то это был небольшой фонтан. Рядом находилась низкая арка; проход под ней был завешен куском старой холстины.

Щуквол, поставив ноги на край фонтана, подтянул колени к подбородку и достал что-то из кармана. Он сидел в такой позе и на таком расстоянии, что Титу было сложно разглядеть, что оказалось в руках пегого человека. В полутьме коридора казалось, что Хранитель держит руки в странном положении перед самым лицом. Потом вдруг коридор наполнился резкими звуками бамбуковой свирели, и Титу стало ясно, что именно Щуквол достал из кармана и почему он так странно держит руки. Некоторое время – сказать, как долго это продолжалось, трое наблюдавших не смогли бы – Щуквол играл на свирели. Его пальцы перебежали от отверстия к отверстию, и пронзительная и грустная мелодия лилась по коридору. Но только Доктор Хламслив мог оценить, насколько хорошо играл на свирели Щуквол, только Доктор Хламслив понимал, сколь блестящими были эти музыкальные импровизации, и только Доктор Хламслив чувствовал, сколь они холодны и лишены истинного чувства.

Есть ли что-нибудь такое, чего он не умеет делать? – подумал Хламслив – Клянусь всем тем, что разносторонне, он пугает меня.

Музыка стихла. Щуквол потянулся, спрятал свирель в карман. И тут Тит вздрогнул и открыв рот едва не издал возглас удивления. Флэй и Хламслив тут же оттащили его от угла. Несколько мгновений все они боялись даже дышать. Но шагов, приближающихся к ним по коридору, не было слышно – Щуквол ничего не услышал, ничего не заметил и оставался на месте. Но что же увидел Тит? Что заставило его вздрогнуть? Ни Хламслив, ни Флэй не решались задавать ему вопросы. Спустя несколько секунд Флэй выглянул из-за угла и тут же понял, что так напугало юношу. Еще тогда, когда преследование только началось, Флэй заметил, что Щуквол несет на плече какое-то существо, но какое именно, Флэй разобрать не мог, время от времени это существо прыгало рядом с ним и только тогда, когда достаточно посветлело, Флэй увидел, что Хранителя сопровождает обезьянка.

Тита испугал ее неожиданный прыжок – соскочив с плеча Щуквола, обезьянка стала перед ним на две ноги и, опустив руки, пальцами перебирала куски штукатурки. Присутствие животного требовало двойной осторожности. То, что мог не расслышать Щуквол, вполне могла расслышать его обезьяна.

Но обнаружение того, что так испугало Тита, значительно уступало по своей важности тому, что Флэй успел увидеть. Щуквол встал и, сопровождаемый обезьянкой, подошел к арке, отодвинул мешковину загораживающую проход, и углубился под арку. Выгляни Флэй секундой позже, он обнаружил бы, что Щуквол исчез, и определить, в какую сторону он свернул, было бы очень сложно.

Но что скрывалось там, под аркой? Вход в еще один коридор? Неужели опять возобновится нескончаемое преследование, заглядывание за бесконечные углы? Флэй, Хламслив и Тит чувствовали усталость, стараясь двигаться бесшумно, они были постоянно напряжены, но пока им не приходилось справляться с непредвиденными проблемами и не возникало никакой явной опасности. А теперь, приблизившись к арке, под которой еще покачивалась мешковина, они поняли, что впереди лежит нечто отличное от того, что им встречалось раньше.

Тит стискивал ручку кочерги так, словно хотел смять ее. Хламслив, вскинув голову,

подрагивая ноздрями, на цыпочках подошел к тому месту, где только что исчез Щуквол. Флэй, который знаками показал, что он пойдет первым, уже стал приподнимать край завесы и вглядываться в приоткрывшееся пространство. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть, а в голове зашумела кровь.

Перед Флэем открывался короткий проход, который едва освещался непонятно каким источником света, проход упирался в слегка наклонный коридор, более широкий, чем сам проход, конец которого был частично завален кирпичами, судя по всему, недавно разобранной кладки. Видимый Флэю участок стены был выложен кирпичом, пол был вымощен таким же кирпичом. Ничего больше Флэй не видел но и этого было достаточно, чтобы его лоб и ладони покрылись потом. Что же могло произвести на него такое пугающее впечатление? Эта кирпичная кладка была ему очень хорошо знакома! Флэй понял, что он у преддверия той части Замка, которая ему известна, которую он исследовал в течение нескольких лет, но выхода из которой, кроме дыры в стене за статуей в Галерее Скульптуры, он так и не обнаружил. А теперь, преследуя Щуквола, он добрался до той части Замка, которую они с Титом прозвали Безжизненными Залами и в которой он провел столь много времени. Теперь он понял, что дальнейшее передвижение пройдет по знакомым местам. Щуквол привел его к выходу из лабиринта, из которого, как он считал, выхода не было. Очевидно, Щуквол во время одного из своих недавних посещений этих мест разобрал часть кирпичной кладки и тем самым открыл выход в знакомый Флэю коридор.

Но что Хранителю могло здесь понадобиться? Здесь, совсем, очевидно, недалеко от того места, где когда-то Флэй с застывшей от ужаса кровью в жилах слышал безумный смех? Здесь, где он в течение многих ночей вслушивался в жуткий хохот, пытаясь определить, откуда он исходит? Здесь, где тяжелым грузом легла тишина, после того как смех смолк навсегда? Флэй с тех пор сюда не возвращался – тишина казалась еще более страшной, чем демонический смех.

Флэй провел рукой по лицу.

Не подав Хламсливу и Титу никакого знака, чтобы те следовали за ним, Флэй нырнул под мешковину и на цыпочках, нелепо ступая, подошел к тому месту, где проход соединялся с коридором. Выглянув в коридор, он увидел Щуквола, поворачивавшего налево. Если бы Щуквол повернул направо, он мог бы попасть в ту безжизненную часть Замка, которая Флэю была хорошо знакома. Однако, поворачивая налево, пегий человек углублялся в лабиринт, в котором Флэй, пытаясь найти место, откуда доносился страшный смех, когда-то не раз блуждал, так ничего и не обнаружив.

Флэй сразу понял, что здесь преследование значительно усложнится и не потерять Щуквола из виду будет весьма трудно. Он знал, что в этой части Замка придется держаться к Щукволу довольно близко – иначе он мог исчезнуть в одном из многочисленных коротких коридоров, разбегающихся во многих местах от одной точки, – и в то же время оставаться для преследуемого неслышными и невидимыми.

Если бы Щуквол их заметил, то это поставило бы всех троих в крайне неловкое положение. Щуквол ничего противозаконного не совершал – никому не воспрещалось совершать прогулки по заброшенным частям Замка, а вот как объяснить, зачем они преследуют Хранителя Ритуала?

Флэю не пришлось объяснять Хламслив и Титу, что теперь следует соблюдать особую осторожность, – как только они проскользнули в коридор, выложенный кирпичом, тут же ощутили ту особую атмосферу замкнутости и напряженности, в которую окунулись.

Началось движение по лабиринту коридоров, столь запутанному, что невольно возникала мысль все это соорудилось с единственной целью – запутать, сбить с толку, измучить нескончаемыми переходами и лишит память возможности за что-либо зацепиться. Неудивительно, что Флэю когда-то в былые времена не удалось выявить здесь какой-либо

системы в расположении коридоров, ему и так повезло, что он здесь не заблудился и смог найти путь назад. Однако, несмотря на непредсказуемые повороты и проходы, несмотря на то, что Флэю приходилось следить за Щукволом, его инстинкт подсказывал ему, что они каким-то окольным и запутанным путем возвращаются к тем местам, где располагался коридор, в котором Флэй когда-то слышал безумный смех. Щуквол двигался теперь все медленнее. Его голова была склонена на грудь, но не от уныния, а от погруженности в свои мысли. Его ноги ступали все медленнее, и в какой-то момент он даже стал волочить их. Когда Щуквол добрался до лестницы с невысокими ступенями и стал неуверенно спускаться по ней, то возникло впечатление, что ноги его уже не держат, тело расслабилось и потеряло координацию и он вот-вот рухнет. Щуквол поворачивал за угол очередного коридора так, словно двигался во сне.

Но вот, когда он приблизился к какой-то двери, то резко выпрямился весь напрягся и сосредоточился. Он особым образом свистнул, и обезьянка, цепляясь за одежду, вскарабкалась ему на плечо и уселась там, перо на шляпке раскачивалось вверх-вниз. Обезьянка повернула голову, и Доктору Хламсливу показалось, что ее маленькие черные глазки, глядящие со сморщенного личика, увидели его. Но Хламслив не отдернул тут же голову назад, а застыл в неподвижности. Существо в костюмчике яркой окраски с ромбами почесалось и отвернуло голову. Только после этого Хламслив и двое его сотоварищей по преследованию отодвинулись поглубже в темную часть коридора.

Тем временем Щуквол вытащил из кармана связку ключей и, выбрав нужный ему, после некоторого колебания вставил его в замок, потом с явным усилием повернул. Не открывая двери, он отвернулся от нее и задумчиво посмотрел туда, откуда пришел. Оскалив зубы, он стал постукивать по ней ногтем большого пальца.

Было ясно, что по какой-то причине, ведомой только ему, он не спешил зайти вовнутрь. Обезьянка на его плече повернулась, усаживаясь поудобнее, и при этом ее длинный хвост задел Щуквола по лицу. Это почему-то вызвало большое раздражение – он сорвал обезьянку с плеча и швырнул ее на пол. Маленькое создание, скорчившись и съежившись, стало издавать жалобные звуки.

Щуквол перевел взгляд с ушибленной обезьянки на кучу каких-то обломков, камней и гниющих досок, которая лежала в одном из боковых проходов. Гнев и раздражение исчезли с его лица, снова принявшего спокойное выражение, а уголки его губ слегка поднялись вверх, изобразив какое-то подобие мертвой улыбки.

Затем человек с красно-белым лицом неожиданно исчез из поля зрения троих, следивших за ним. И они уже было решили, что он окончательно скрылся. Им повезло, что обезьянка оставалась у двери, потирая и облизывая ушибленную руку. Иначе, если бы они попытались тут же броситься вперед на розыски Щуквола, они бы столкнулись с ним лицом к лицу, ибо через минуту он вернулся к двери, неся в руках хотя и обломанный, но все же достаточно длинный шест.

А затем Щуквол приступил к действиям, которые совершенно озадачили прятавшихся наблюдателей. Он очень осторожно повернул ручку двери, и было слышно, как освободился язычок замка. Дверь теперь можно было открывать, но Щуквол удовлетворился тем, что приоткрыл ее не более чем на сантиметр. Отступив от двери на шаг, он упер шест в черную деревянную створку и стал нажимать на него, очень медленно открывая дверь. Хотя и со скрипом, но дверь стала приоткрываться. Щуквол замер в неподвижности, вглядываясь в образовавшуюся узкую щель. По тому, как он себя вел, стало ясно, что нечто, увиденное там, его явно обеспокоило: он привстал на цыпочки, склонил голову набок. Потом положил шест на землю у своих ног и, вытащив из кармана большой платок, обвязал им себе лицо так, что остались видны лишь глаза. В это же время до Хламслива, Тита и Флэя долетел тяжелый,

тошнотворный, гнилостный запах, явно проникавший из-за приоткрытой двери. Но они были столь заинтригованы поведением Хранителя, что далеко не сразу обратили внимание на этот запах. Снова Щуквол взялся за шест и снова очень осторожно начал толкать створку. Щель расширялась, и взгляду Щуквола открывалось все большее пространство комнаты, которую ему прежде чем войти явно хотелось осмотреть. Когда дверь приоткрылась настолько, чтобы пропустить человека, Щуквол замер.

И в этот момент обезьянка, чья шапка с пером свалилась в пыль, несмотря на то, что ушибленная рука все еще беспокоила ее, стала проявлять интерес к приоткрывшейся двери и к тому, что находилось за нею. Подобравшись поближе, обезьянка начала заглядывать в щель, однако войти еще не решалась, поглядывая через плечо на Щуквола и обнажая зубы в нервной гримасе. Однако в какой-то момент любопытство взяло верх. И обезьянка, подпрыгнув на задних ногах, быстрым движением ухватилась за ручку двери и повисла на ней. Щуквол на этот раз с большей силой снова нажал на дверь шестом. Дверь растворилась пошире, увлекая за собой обезьянку. Она отпустила ручку и уже внутри комнаты приземлилась на гниющий ковер. Но едва ее лапки коснулись пола, откуда-то сверху упал топор и, обрубив обезьянке хвост, с отвратительным стуком вонзился в пол. Обезьянка, охваченная неожиданной острой болью, страхом и яростью, издала пронзительный и пугающе человеческий крик, разнесшийся по пустым помещениям и наполнивший их эхом боли, понеслась по огромной комнате, перепрыгивая со стула на стул, с подоконника на каминную полку, со шкафа на комод, переворачивая вазы, лампы и другие небольшие предметы, попадавшиеся на ее пути.

Щуквол незамедлительно последовал за обезьяной в комнату, забрызганную ее кровью. И теперь в его движениях не было осторожности, а безумно мечущуюся по комнате обезьянку он не удостоил ни единым взглядом. А если бы он это сделал, то обнаружил бы, что обезьянка, увидев, что он заходит в комнату запрыгнула на спинку одного из стульев и замерла там, глядя на Щуквола с такой смертельной ненавистью во влажных черных маленьких глазках, словно в ней сконцентрировались вся злоба и ожесточение тропиков. Вину за боль и унижение обезьянка возлагала на человека, который так бесцеремонно сбросил ее со своего плеча. Не сводя глаз с Щуквола, обезьянка в ярости обнажала зубы и нервно трясла сморщенными ручками, кровь скапывала с обрубка ее хвоста. Но что произошло с обезьянкой, почему она издала такой ужасный крик, оставалось неизвестным Титу, Хламсливу и Флэю. Крик, столь похожий на человеческий, заставил всех троих броситься к двери. Они увидели, что Щуквола в комнате уже не было. Мгновенное замешательство рассеялось, когда они заметили, что из первой комнаты открывается вход во вторую, в которую можно было попасть, опустившись по нескольким ступеням. Обезьянка тут же бросилась к вошедшим. Подбежав к Титу, она поднялась на задние лапы и стала гримасничать, ее гримасы в любое другое время наверняка позабавили бы, но в тот момент смотреть на несчастное животное было очень тяжело. Да и времени не было. Они и так совершили большую неосторожность, вбежав в комнату. Нервы были напряжены до предела. Все устали, все ощущали странность своего положения – они следили за человеком, не имея на то ни достаточных причин, ни достаточных оснований. Однако в последние полчаса их подозрения, что происходит нечто предосудительное, значительно усилились. Все трое уже в глубине души чувствовали, что правильно поступили, последовав за Щукволом. Теперь все были готовы к любому повороту событий.

Их напряжение было столь велико, их предположения о том, что все это значит, были столь фантастичны, что, когда они, подобравшись ко второй двери, заглянули в нее и увидели два скелета, лежащие в центре комнаты на огромном полуистлевшем ковре, пульс ни у Тита, ни у Доктора, ни у Флэя не участился – он просто не мог быть чаще, чем был. Чувства у всех сильно притупились, но рассудок работал четко.

Скелеты на которых еще сохранились остатки пурпурной одежды лежали рядышком друг с другом. Доктор Хламслив, прижимавший к лицу свой шелковый надушенный платок, как только они вошли в первую комнату, понял, что где-то рядом смерть. Он же первым догадался что на ковре лежат останки Кору и Клариссы Стон. Тит однако не понял, что смотрит на то, что осталось от его тетушек – перед ним лежали скелеты, а скелетов ему никогда раньше не приходилось видеть.

Флэй тоже не сразу признал в пурпурных одеяниях – точнее, в том, что от них осталось, – церемониальную одежду Дома Стонов. Но в том, что перед ними было свидетельство какого-то страшного преступления, не сомневался никто.

Удаленность этих комнат от обжитых частей Замка, два скелета, комнаты с крошечными окошками под самым потолком, уверенность, с которой Щуквол добирался сюда, наличие ключа, который отпирал страшные комнаты, поведение Щуквола после того, как была открыта дверь, – все свидетельствовало о злодеянии, к которому Щуквол был непосредственно причастен. Тит, Флэй и Хламслив не сводили с него глаз, а Щуквол, который совершенно не сомневался в том, что находится в полном одиночестве, вел себя так, что невольно напрашивалась мысль о его безумии. Или, если не о безумии, то по крайней мере крайней эксцентричности, которая граничила с безумием, так что отличить одно от другого было совсем непросто.

Даже сам Хранитель признавался себе, что войдя в страшную комнату, он ведет себя странно. Он вообще мог бы сюда не приходить, но это значило бы противиться своему желанию, а он не любил этого делать – подавленное желание так или иначе требовало какого-то высвобождения. Натура Щуквола не терпела подавленных желаний. При этом он умел держать себя в руках, и этот самоконтроль редко подводил его. И даже сейчас он следил за собой словно со стороны, но прежде всего для того, чтобы не упустить чего-либо. Он был лишь орудием, которым управляли боги – темные, древние боги власти и крови.

Вот у его ног распростерты останки сестер Кору и Клариссы, пурпурная ткань их одежды почти совсем уже разложилась и лишь в некоторых местах прикрывала кости, жуткими шарами лежали черепа их пустые глазницы смотрели в потолок. Как и исчезнувшие с них лица, черепа были совершенно идентичны, если не считать того, что в одной из глазниц какой-то паучок, как всегда верный своему ткаческому искусству, соткал изящную паутину. В центре ее билась муха, так что можно было сказать, что своего рода жизнь вернулась к Коре или, может быть Клариссе.

Доктор Хламслив хотя и не мог бы объяснить, как это у него получилось, догадывался о том, что происходит в голове у Щуквола, этого пегого убийцы расхаживающего с видом победителя вокруг скелетов несчастных женщин, которых он держал в заточении, унижал и в конце концов обрек на голодную смерть. Доктору было ясно, что Щуквол отнюдь не безумен в общепринятом смысле этого слова. Щуквол совершал странные движения, ходил, высоко поднимая колени, но казалось, что он лишь отрабатывает эти движения, чтобы добиться их совершенного исполнения. Хламслив предположил, что его бывший пациент воображает себя воплощением извечного типа воина или дьявольского злодея, злодея, хотя и лишённого чувства юмора, но склонного к жуткому веселью, злодея, обладающего поразительно легким отношением к смерти и мукам других, смертью и муками других можно было забавляться, как ветер забавляется ковылем.

Флэй и Хламслив, каждый по-своему оценив происходящее, сразу подумали о том, что Титу вовсе не следовало все это видеть. Он был уже далеко не ребенок, но и для юноши созерцание скелетов и дьявольской пляски Щуквола было совсем не подходящим зрелищем. Но ничего уже нельзя было поделать. Все трое, наблюдая за Щукволом, стояли без движения, боясь пошевелиться. Но так долго продолжаться не могло, и рано или поздно придется

предпринимать какие-то действия. Но какие?

Доктора Хламслива с одной стороны приводило в ужас то, что он видел, но с другой – поведение Щуквола его как человека науки очень интересовало, даже завораживало. Флэй же никаких таких чувств не испытал. Он сам был человеком эксцентричным и поэтому презирал и терпеть не мог эксцентричность, в какой бы форме она не выражалась, в других людях. И теперь, глядя на странные выходки Щуквола, Флэй был охвачен своего рода обывательским гневом. Только одно радовало его – этот гадкий выскочка сорвал с себя маску и теперь можно будет вступить с ним в открытую борьбу.

Флэй не сводил со своего врага маленьких глазок, шея его была вытянута, как у черепахи, длинная борода, ниспадавшая на грудь, подрагивала, рука нервно сжимала рукоятку ножа, которым Флэй пользовался еще в дни своей лесной жизни.

Но подрагивал не только нож Флэя – кочерга в руках Тита тоже не оставалась без движения. У Тита, очень крепко сжимавшего рукоятку кочерги, дрожали руки – он был потрясен увиденным, его била дрожь. Та прочная почва, на которой он всегда стоял, вдруг ушла у него из-под ног, и он провалился в страшный мир, о котором не имел никакого представления. В мир, в котором человек может горделиво расхаживать вокруг костей и черепов своих жертв, в мир, где сам воздух был насыщен миазмами гниения, разложения и предательства.

Доктор Хламслив успокаивающим жестом придерживал Тита за руку, и вдруг неожиданно он сжал руку значительно сильнее – Щуквол остановился и присел, потом медленно поднялся во весь рост, встал на цыпочки, опустил на пятки, раздвинул носки и снова поднялся на цыпочки, растопырил в стороны руки, согнул их в локтях и начал всей ступней топтать об пол, руки у него были сжаты в кулаки, которые он держал на уровне плеч. Топот, наполнявший грохотом все вокруг, казался чуть ли не оглушающим.

Однако по всему было видно, что Щуквола быстро утомило исполнение этого дикарского танца торжества победы, казалось, он на несколько минут вернулся к исполнению древнейшего обряда, сохранившегося в памяти предков. Он отдался ему, как художник отдается творческому акту, творя нечто столь глубокое и сложное, что оно выходит далеко за пределы его собственного разумения. Щуквол, притопывая ногами, приседая, держа голову и тело прямо, сжимая кулаки, ходил вокруг скелетов, он с восторгом переживал новизну совершаемого акта. Его забавляла эта странная потребность его тела, эта необходимость топтать ногами, вышагивать по комнате, вставать на цыпочки. Неужели таким образом проявляется осознание того, что он убийца, что он властен над человеческой жизнью? Щуквола заинтриговал этот вопрос, он стал размышлять над ним, прекратил хождение и сел в кресло, покрытое густым слоем пыли. Мышцы его горла изготавились для смеха – но смеха не последовало.

Щуквол откинулся на спинку, закрыл глаза и в темноте, которую он под прикрытыми веками создал только для себя и которая была значительно чернее полумрака комнаты, вдруг почувствовал, что ему угрожает опасность. Преступник немедленно открыл глаза, подался вперед и оглядел комнату. И в этот раз, когда его взгляд упал на кости Кору и Клариссы, в нем вспыхнуло отвращение – но не к самому себе за то, что превратил двух женщин в два скелета, а к тому, что они своим присутствием так портят вид в общем-то прекрасной комнаты, к тому, что ему приходится смотреть на эти уродливые черепа и гадкие кости!

Охваченный гневом, Щуквол вскочил с кресла. И в глубине души он понимал, что этот гнев обращен не на два безмолвных скелета, а на него самого. То, что еще всего несколько мгновений назад казалось забавным, теперь стало источником страха. Он тут же припомнил, как выхаживал словно петух, вокруг костей, и понял, что от такого поведения до умопомешательства – всего лишь один шаг. Мысль о собственном безумии впервые пришла ему в голову. И чтобы отогнать ее, он прокукарекал по-петушину. Нет, его поведение вовсе не

было свидетельством сумасшествия, и чтобы доказать себе это, он кукарекал и кукарекал. Ему совсем не хотелось этого делать, но этим он убеждал себя, что раз он может по своей воле кукарекать или сохранять молчание, – он полностью владеет собой, а раз так – он не безумен.

Однако он никак не мог осознать того, что смерть Баркентина, весь этот кошмар – огонь, едва не убивший его самого, мерзкая жижа во рву, долгая болезнь, – все это вместе взятое изменило его. Щуквол рассматривал себя как человека, который за последние несколько лет совсем не изменился, но на самом-то деле он стал другим. Огонь не просто обжег его – он выжег в Щукволе нечто весьма существенное, а в водах рва утонула еще какая-то часть прежнего Щуквола. Его бесстрашие уже не искало выхода наружу, оно ушло внутрь и горело адской серой.

Щуквол стал более раздражителен, более жесток, более низок и подл, его одолевало нетерпение захватить верховную власть, а это можно было сделать лишь после устранения всех тех, кто стоял или мог бы встать на его пути. Все сомнения, которые могли его когда-то терзать, все крохи привязанности к предметам или живым существам – будь то книга, кинжал или обезьянка – были окончательно сметены и забыты.

Щуквол встал с места и направился к шесту, который он, войдя во вторую комнату, прислонил к стене. Он уже не топал ногами, не поднимался на цыпочки. Он стал самим собой – или, возможно, окончательно перестал быть самим собой. Как бы там ни было, трое следивших за ним людей тут же узнали в нем прежнего Щуквола – его легкую кошачью походку, сутулость плеч. Подойдя к шесту, он провел по нему рукой. Шарф все еще скрывал его лицо, на котором были видны лишь темно-красные глаза, сверкавшие как угольки в ямках.

Пальцы Щуквола легко скользили по шесту – так пианист ласкает клавиши своего инструмента. Они наткнулись на трещину в дереве. Пальцы пробежались по трещине и ощутили, что от шеста можно легко оторвать длинную и тонкую щепу. Погруженный в свои мысли, он стал рассеяно отрывать от шеста этот поддающийся кусок. Щепка пружинила и чтобы окончательно отделить ее от шеста, ему пришлось сильно напрячь уже всю руку, а не только пальцы. Щуквол, даже не посмотрев на оторванный кусок, уже собирался отбросить его в сторону – щепка не интересовала его сама по себе, он просто хотел дать занятие своим пальцам, – но в этот момент взгляд его снова упал на скелеты. Щуквол медленно подошел к ним и, наклонившись, провел гибкой щепой по их ребрам – как ребенок тарахтит палкой по решетке забора. Раздался легкий щелкающий звук, пару минут Щуквол посвятил тому, что возил щепой по ребрам, меняя ритм, постукивая по костям, пытаясь найти в сухих страшных звуках соответствие своему настроению.

Но вскоре он ощутил, что пребывание в комнатах Кору и Клариссы его начинает угнетать. Пришел он сюда для того, чтобы воочию удостовериться, что сестры мертвы (хотя умом он понимал, что они умерли уже несколько лет назад, ему необходимо было получить зрительное подтверждение), но задержался он здесь намного дольше, чем изначально намеревался. Отбросив щепу в сторону и став на колени, он снял с костей нитки жемчужных бус. Поднявшись на ноги, Щуквол небрежно засунул их в карман и направился к тем ступеням, которые вели в верхнюю комнату. И в этот момент ему навстречу вышел Флэй.

Это неожиданное появление произвело на Щуквола невероятно сильное воздействие. Он отскочил назад, словно танцовщик, совершающий балетный прыжок. Зубы его обнажились в оскале испуга и ярости. И в этом прыжке ничего символического уже не было. Все ужимки и движения, всплывшие из древнейшей памяти предков, были сметены в сторону страшной реальностью.

Рефлективным движением, еще не успев как следует стать на ноги после головокружительного прыжка, пружиной швырнувшего его в воздух, Щуквол выхватил нож. Он

мгновенно понял, что разоблачен и что, если он немедленно не убьет этого бородатого человека ему придется бежать из Замка. А что за жизнь у беглеца?

Прошло несколько мгновений, прежде чем Щуквол узнал того, кто преградил ему путь. Он не видел Флэя много лет, и к тому же борода сильно меняла его лицо. Но узнав старого слугу, Щуквол еще более утвердился в мысли, что надо немедленно убить этого человека – Флэй никогда не испытывал симпатии к Щукволу, а теперь не пожалеет его и по давню. Щуквол, изготавливаясь к броску, стал отводить назад руку, сжимающую нож. И тут перед ним появились Доктор Хламслив и Тит.

Юноша был бел как полотно, в его руке подрагивала кочерга, губы были плотно сжаты. Кошмар происходящего охватил его цепкой, липкой хваткой. Прошло всего несколько часов с начала погони, но за этот краткий промежуток времени Тит повзрослел на несколько лет.

Доктор Хламслив был тоже бледен. На лице его не осталось ни следа обычной насмешливости – теперь это было лицо со странными, но утонченными чертами, словно вырезанное из мрамора. На нем была написана непоколебимая решимость.

Появление этих троих человек заставило Щуквола опустить руку, уже изготовившуюся швырнуть нож.

И тут раздался спокойный, ясный, чистый голос, голос, в котором не было ни малейшего свидетельства того, что сердце говорившего бешено колотилось.

– Немедленно бросьте нож на пол! Поднимите руки и идите сюда! Неповиновение чревато для вас самыми тяжелыми последствиями!

Но Щуквол не слышал того, что ему говорил Доктор Хламслив. Щуквол был потрясен случившимся. Все рухнуло! У него нет будущего! Все эти годы самосовершенствования, все его хитроумные планы и их осуществление – все было впустую, словно ничего и не было. В голове у Щуквола стоял красный туман. Он весь вздрагивал, словно охваченный вожделием невероятной силы. Но то было вожделие предаться разгулу насилия. Щуквола охватил боевой азарт – он готов был броситься в сражение с любым количеством врагов! Один! Полный жизненной энергии, но лишенный размягчающих чувств, ощутивший, что никакие компромиссы уже не нужны, что все интриги – уже в прошлом, преступник был готов на все. Если он уже никогда не сможет носить корону Горменгаста, оставалось другое царство, где он может быть правителем – мир никем и никогда не посещаемых лабиринтов коридоров и залов в заброшенных частях Замка. Здесь он будет править как сам Сатана в вечной полутьме, будет носить корону князя Тьмы, которую у него никто не отнимет и которая не менее царственна, чем корона Горменгаста. Щуквол, изгибаясь как акробат, изготовился к действию. Он следил за малейшими движениями троих человек, стоявших перед ним. До него снова донесся голос Хламслива, и хотя слова по-прежнему произносились с отменной отчетливостью и Доктор стоял совсем рядом, Щукволу казалось, что они приходят издалека:

– Я даю вам последнюю возможность повиноваться. Если вы тотчас же не бросите свой нож на землю, мы нападём на вас!

Но на землю упал не нож, а Флэй. Верный слуга покойного Герцога с криком, перешедшим в хрип, повалился на спину. Его попытались подхватить Тит и Доктор, а в тот самый момент, когда нож, брошенный с невероятной силой, все еще подрагивал в сердце Флэя, Щуквол, ринувшись вперед, перескочил через Тита и Доктора, склонившихся над длинным изможденным телом. Все произошло так быстро, что казалось, будто Щуквол был привязан к своему ножу и полетел за ним.

Охваченный страхом, ожидая возмездия и не надеясь на пощаду, Щуквол, не теряя ни секунды, мчался к двери. Как это бывает с людьми, которым уже нечего терять, его сообразительность удвоилась.

Выскочив из комнаты – но он не заметил, что выскочил не один, – Щуквол в мгновение ока захлопнул за собой дверь и повернул ключ в замке. И в этот момент что-то очень больно укусило его в шею. Издав пронзительный крик, Щуквол крутанулся на одном месте, но руки его ухватили лишь воздух.

Охваченный паникой, Щуквол сломя голову понесся по коридорам и переходам, сворачивая вправо и влево. Так в жизни ему еще не доводилось бегать. Безумный бег увлекал его все глубже в каменную, безжизненную империю тьмы.

А у двери, из которой он выбежал, сидела обезьянка и, громко крича, размахивала руками.

Глава пятьдесят девятая

Через несколько дней после убийства Флэя (Титу и Доктору удалось прорубить толстую дубовую дверь тем самым топором, который отрубил обезьянке хвост, и вернуться в населенные части Замка, находя путь по отметкам мелом, которые оставлял Флэй, преследуя Щуквола) останки Кору и Клариссы по приказу Графини были сложены в один гроб и похоронены со всеми обрядами и почестями, положенными сестрам Герцога.

Флэя похоронили в тот же день на кладбище для Избранных Слуг; кладбище было маленьким и полностью заросшим крапивой. По вечерам тень Кремниевой Башни ложилась на небольшое кладбище, усеянное коническими кучами камней, здесь было похоронено не больше десятка особо верных слуг, почивающих под сенью высокой травы и густой крапивы.

Если бы Флэй знал, как и где его похоронят, он, несомненно, по достоинству оценил бы честь, ему оказанную, – Флэй присоединился к избранной компании особо верных, которых за всю невероятно длинную историю Горменгаста оказалось так мало. А если бы он увидел, что на похороны пришла сама Графиня, одетая в черное – этот цвет был столь же глубокого опенка, что и перья ее ручных воронов, – то все его обиды были бы тут же позабыты.

Поэт был произведен в Хранители Ритуала. Перед ним встала невероятно сложная задача, и он каждый день до глубокой ночи корпел над книгами и рукописями.

Когда Хламслив, придя к Графине, рассказал о том, как были найдены останки Кору и Клариссы, о том, как был убит Флэй и о том, что Щуквол бежал, но, скорее всего, находится где-то в заброшенных частях Замка, Графиня встала со стула, на котором сидела, подняла его в воздух и стала методично обламывать ножки, одну за другой; при этом выражение ее лица никак не изменилось. Потом, словно по рассеянности, она начала выбрасывать обломанные ножки одну за другой в окно, выбив стекло.

Расправившись с ножками стула, Графиня подошла к окну и стала вглядываться в белый туман, в котором плавали верхушки башен.

Доктор Хламслив, глядя на Графиню, подумал о том, что она на фоне окна являет собой законченную картину, хотя он сам таких картин никогда не рисовал. В том, что изображал он, всегда присутствовало изящество и очарование, а в живой картине, представшей перед ним, не было ни того, ни другого. Привлек же Хламслива динамичный контраст между колючими, угловатыми осколками, торчащими из рамы, и гладкими текучими линиями плеч Графини; привлекла его внимание и цветовая гамма – темная медь волос Графини на фоне серебристо-жемчужных верхушек башен, зависших в тумане; глубокий черный цвет ее одеяний, мраморная бледность шеи, поблескивание осколков стекла, мягкие тона неба в обрамлении торчащих осколков. Но Доктор Хламслив не успел по-настоящему пожалеть, что с такой сложной живописной работой ему не справиться, – Графиня всей своей монументальной массой повернулась к нему и сказала:

– Садитесь.

Хламслив оглянулся по сторонам. Во всем том беспорядке, который царил в комнате, он не увидел ничего, на что можно было бы сесть. Более внимательный осмотр позволил ему отыскать небольшое местечко с краю на подоконнике, засыпанном зерном для птиц.

Когда Хламслив уселся, Графиня подошла к нему, остановилась совсем близко и замерла, башней возвышаясь над ним. Когда Графиня заговорила, она опустила глаза на сидящего перед ней Хламслива; но смотрела она не на него, а в переплетение рамы, видневшееся у его плеча. Обнаружив, что Графиня не смотрит на него и что слушать или отвечать, подняв голову, совершенно не нужно, ибо этого просто не замечают, Хламслив уставился на складки одежды,

располагавшиеся в нескольких сантиметрах от его носа; а время от времени он вообще закрывал глаза.

Графиня говорила только об одном – о том, что следует во что бы то ни стало поймать Щуквола. В ее словах были и сила, и безжалостная простота, и произносила она их медленнее, чем обычно:

– ... всякую обычную деятельность следует прекратить. Издать приказ: всем – мужчинам, женщинам и детям – включиться в поиски. Везде, где это требуется, в обитаемой части Замка выставить караулы. Этот зверь не должен иметь никакого доступа ни к воде, ни к пище.

Доктор Хламслив предложил собрать всех высоких должностных лиц, составить план кампании по поимке Щуквола; выработать расписание смены караулов и отправления поисковых партий, сформировать группы крепких молодых людей, призванных из самых низших слоев общества; люди и так достаточно озлоблены, а цена, которую следует назначить за голову Щуквола, еще больше будет способствовать их настойчивости и предприимчивости.

Графиня и Доктор Хламслив были единого мнения о том, что времени терять нельзя, ибо «негодяй» с каждым потерянным часом наверняка либо все глубже уходит в заброшенную часть Замка, либо ищет себе потайное место, где можно спрятаться, оставаясь при этом в самом сердце Горменгаста.

Следовало также назначить руководителей поисковой кампании и выдать оружие; Замок перевести на военное положение, ввести комендантский час, где бы, в каких бы закоулках ни скрывался убийца, он не должен иметь ни минуты покоя – в самых дальних уголках Замка он постоянно должен слышать шум шагов и видеть отсветы горящих факелов; рано или поздно он совершит свою первую ошибку, рано или поздно кто-нибудь заметит его перебегающим с места на место, увидит его тень; рано или поздно его обнаружат у какого-нибудь резервуара с водой, которую он будет лкать как дикое животное; рано или поздно он попытается проникнуть туда, где можно раздобыть еду.

Графиня предвидела все – было такое впечатление, что она впервые на полную мощь использовала свой могучий ум. Хламслив никогда не видел ее в подобном состоянии. Даже если бы в комнату влетела одна из ее ручных птиц и уселась на ее плече, даже если бы в комнату зашли ее кошки, то вряд ли она бы их заметила. Графиня была столь погружена в обдумывание и изложение того, что следует сделать, чтобы поймать Щуквола, что забыла обо всем на свете; она все это время даже не шелохнулась – двигались лишь ее губы. Она говорила все тем же тяжелым, медленным голосом, в котором, однако, ощущалось некоторое напряжение.

– Я его перехитрю... Все церемонии будут продолжаться, как и положено...

– А День Раскрашенной Скульптуры? – поинтересовался Доктор. – Будет ли он проведен как обычно?

– Как обычно.

– А будет ли позволено Живущим вне Замка войти в Замок?

– Естественно. Что может им помешать?

Действительно, что могло бы им помешать? Словами Графини говорил сам Горменгаст. По Замку может бродить злодей, руки которого обагрены кровью, но традиционные церемонии будут все равно продолжаться, священные, существующие с незапамятных времен, неотменяемые. Через две недели должна была состояться церемония в которой участвовали Жители Глинобитных Хижин. То был их день – вдоль стены в узком длинном дворе они выставят свои произведения, а вечером, когда с ревом взметнется к небу пламя костров, пожирающее все деревянные статуи, кроме трех, выбранных из самых лучших, Тит поднимется на балкон, Живущие вне Замка столпятся внизу, освещаемые отблесками костров, а потом Тит будет поднимать над головой каждый из выбранных шедевров. И каждый раз будет звучать гонг.

После того, как стихнет гул третьего гонга, Тит прикажет отнести три статуи в Зал Раскрашенной Скульптуры, где, почти не просыпаясь, спал его древний хранитель Гниллокун, где пыль лежала толстым слоем и где тяжело летали большие мухи.

Хламслив поднялся на ноги и сказал:

– Да вы правы во всем. В жизни Замка не должно быть никаких перемен – лишь постоянная бдительность и неустанные поиски.

– В Замке не может происходить никаких изменений. Не должно. – Сказав это, Графиня, впервые за все время разговора, повернула голову к Хламсливу и посмотрела на него. – Мы поймаем его.

Ее голос, мягкий, тяжелый, гладкий как бархат, поразительным образом контрастировал с безжалостными огоньками, светившимися в прищуренных глазах. Доктору стало не по себе, и он, поклонившись, направился к двери. Он не мог больше находиться в столь напряженной атмосфере. Уже поворачивая ручку двери, он оглянулся, и взгляд его упал на разбитое окно. Окаймленные острыми осколками, торчащими в раме, виднелись плавающие в тумане башни, белесый туман казался еще более красивым, чем раньше, а башни выглядели совсем сказочными.

Глава шестидесятая

Рощезвон и Ирма сидели в своей гостиной друг напротив друга. Ирма как всегда сидела выпрямившись, как столб. В этой неоправданно застывшей позе было нечто раздражающее. Возможно, так и должны сидеть благородные дамы, но женственности в такой выпрямленности не было. Это раздражало Рощезвона, которому казалось, что Ирма принимает такую позу прежде всего для того, чтобы показать, насколько неправильно он, Рощезвон, сидит в своем кресле. В его понимании кресло было создано для того, чтобы можно было сидеть – или точнее – лежать наиболее свободным и удобным образом, а не для того, чтобы сидеть на краешке, выпрямившись, как палка.

И Глава Школы глубоко погрузившись в кресло, вытянул ноги, опустил голову на грудь, а его жена сидела напротив и сверлила его взглядом.

– И с чего ты вообразила, что ему придет в голову такая нелепая мысль? – говорил старый Профессор. – С чего бы ему пытаться напасть на тебя? Попытаться проникнуть сюда – для этого ему пришлось бы рисковать своей жизнью! Не обманывайся, Ирма. Да, он весьма странная личность, но это вовсе не значит, что он собирается польстить тебе попыткой убить тебя! За ним охотиться весь Замок! Для него смертельно опасно даже появляться в населенных частях Замка! Неужели ты действительно воображаешь, что ему не все равно, жива ты или нет или жив ли я или нет? Ему на нас так же наплевать, как и на эту муху на потолке! Боже, Ирма, будь благоразумна, если ты, конечно, можешь. Ну, хотя бы во имя любви, которую я когда-то к тебе испытывал!

– При чем тут наша любовь? – отозвалась Ирма, произнося слова так словно щелкала кастаньетами. – То, о чем мы говорим, не имеет никакого отношения к любви. А смеяться над любовью тоже не следует. Наша любовь изменилась, вот и все. Наша любовь вышла из поры своей юности.

– И я тоже, – пробормотал Рощезвон.

– Боже, как банально это замечание, – сказала Ирма с напускной веселостью – И как бессмысленно! Ты слышишь меня?

– Я все прекрасно слышу, дорогая.

– Сейчас не время для пустых разговоров. Я обратилась к тебе, как в трудный момент должна обращаться жена к мужу – за советом. Да, за советом! Я знаю, что ты не молод, но...

– При чем тут, черт возьми, мой возраст! – прорычал Рощезвон, поднимая свою великолепную голову с мягкой спинки кресла; его молочно-белые волосы рассыпались по плечам. – Ты не из тех, кто обращается за советом. Тебе просто страшно!

– Да, я это признаю.

Ирма сказала это так просто, так спокойно, что не узнала своего собственного голоса. Это признание у нее вырвалось невольно.

Муж бросил на Ирму быстрый взгляд. Трудно было поверить, что эти слова произнесла Ирма. Рощезвон поднялся со своего кресла и, ступая по ковру с уродливым рисунком, направился к ней. Подойдя к Ирме, он присел перед ней на корточки. В нем шевельнулась жалость к жене. Рощезвон взял ее за руку.

В первый момент она попыталась выдернуть свои длинные пальцы из его рук, но он держал их очень крепко. Она попыталась сказать: «Это просто глупо!», но ей не удалось выдать из себя ни звука.

– Ирма, – сказал наконец Рощезвон. – Давай попробуем начать все сначала. Мы – и ты, и я – сильно изменились за эти годы. Но, наверное, так и должно быть. Ты продемонстрировала мне

такие стороны своей натуры, о которых я и не подозревал. Я не мог бы и предположить, что они в тебе есть. Как я мог предполагать, например, что ты считала, что по крайней мере половина моих преподавателей в тебя влюблена? Как я мог предвидеть, что тебя будет так раздражать моя невинная привычка засыпать в любое время? У нас с тобой совсем разный душевный настрой, совсем разные потребности; мы, в конце концов, совсем разные люди, живущие своей собственной жизнью. Да, мы соединены, Ирма, соединены, так сказать, в единое целое. Это правда. Но это же не значит, что мы стали единым человеком... Расслабься, Ирма, не сиди, словно ты аршин проглотила! Если ты расслабишься, мне будет легче говорить. Я тебя уже много раз просил сидеть более естественно! Просил почтительно, зная, что ты вольна распоряжаться своим хребтом, как тебе заблагорассудится.

– Мой дорогой муж! Ты говоришь слишком много! Одно предложение, хорошо продуманное, производит значительно большее впечатление, чем десять... – Ирма слегка наклонила голову, – Но вот что я тебе скажу. Мне очень приятно, что ты сидишь у моих ног. Я снова чувствую себя молодой!.. Но я бы чувствовала себя намного спокойнее, если бы его наконец поймали! Трудно выносить постоянное напряжение... каждую ночь... каждую ночь сжиматься от страха! Неужели ты не понимаешь, как это мучает женщину! Неужели не понимаешь? Неужели не понимаешь!

– Моя храбрая женушка! – проворковал Роцезвон. – Любовь моя – возьми себя в руки. Вся эта злополучная история со Щукволом, конечно, весьма неприятна, но тебе не стоит принимать ее так близко к сердцу. Ирма – ты для него, как я уже сказал раньше, ничто. Ты не входишь в число его врагов, моя дорогая, ведь так? Ты не его сообщница... а может быть, ты заодно с ним?

– Не говори глупостей.

– Действительно, я говорю глупости. Твой муженек, Глава Школы Горменгаста, говорит глупости. И все почему? Потому что я заразился этим от своей жены. Да, именно так.

– Но когда опускается темнота... по ночам... мне кажется, я вижу его.

– У страха глаза велики. Но если бы ты действительно увидела его, тебе было бы значительно хуже. Если, конечно, не считать того, что мы могли бы потребовать вознаграждения!

Роцезвон почувствовал, что у него затекли ноги, и ему пришлось встать.

– А мой совет, Ирма, таков. Больше доверяй своему мужу. Возможно, он не само совершенство. Возможно, есть мужья, обладающие большими достоинствами. Мужья с более благородной внешностью... так ты считаешь? Мужья с волосами цвета цветущего миндаля? Но мне трудно судить об этом... И, конечно, есть мужья, которые достигли более высокого положения, мужья с более глубоким умом, мужья, чья молодость прошла в более ослепительно-галантных похождениях... Не мне судить об этом. Но каков бы я ни был, я твой муж. А ты, какова бы ты ни была – моя жена. И каковы бы мы ни были, мы принадлежим друг другу. И что из этого следует? А следует вот что. Если все именно так, как я описал, и все же каждую ночь ты дрожишь от страха, значит, я могу это понимать лишь как свидетельство того, что твоя вера в меня сильно пошатнулась с той поры, когда я, стоя перед тобой на коленях, просил твоей руки... О, как ты тогда все это ловко подстроила! Как ловко!

– Как ты смеешь так говорить! – вскричала Ирма – Как смеешь!

Роцезвон забылся и не помнил, что же он хотел доказать своими аргументами. Небольшая вспышка раздражения, происшедшая от всплывшей, но четко не сформулированной мысли, захватила его врасплох, и он сболтнул лишнего. Старик попытался исправить положение.

– Подстроила все, чтобы дать мне счастье. И в значительной степени тебе это удалось. Мне так нравится, что я всегда могу созерцать тебя, смотреть как... вот только если бы ты не сидела так прямо. Не могла бы ты, дорогая, растаять, ну хоть немного. Ровные линии так утомляют. А

что касается Щуквола – послушайся моего совета. Обращайся ко мне, когда тебя одолевает страх. Беги ко мне. Лети ко мне. Прижмись ко мне, пади ко мне на грудь, проведи рукой по моим волосам. Позволь себя успокоить. Если бы он предстал передо мной, ты же ведь знаешь, как бы я с ним обошелся.

Ирма взглянула на своего почтенного мужа.

– Вот этого я и не знаю. И как бы ты с ним обошелся?

Роцезвон, который еще меньше Ирмы знал, как бы он поступил в таком случае, взялся за свой длинный подбородок, и на его губах появилась болезненная улыбка.

– Я бы сделал то, о чем ни один благородный человек не должен говорить. Вера – вот в чем ты нуждаешься. Вера в меня, моя дорогая. Ты можешь на меня полностью положиться.

– Ты бы ничего не смог сделать, – сказала Ирма, словно не обратив внимания на совет мужа положиться на него. – Ничего бы ты не сделал. Ты слишком стар.

Роцезвон, собиравшийся уже снова усесться в кресло, замер. Он стоял спиной к жене. В груди росла глухая боль. Чувство черной несправедливости от того, что человек рано или поздно теряет свои физические силы и становится немощен и беззащитен, охватило его. А сердце его, казалось, упрямо выкрикивало. «Я молод! Я молод!» Неожиданно у Роцезвона подкосились колени, и тело его, свидетельствующее о многих десятках прожитых лет, рухнуло на пол.

Ирма бросилась к мужу.

– Что с тобой, дорогой? Дорогой мой, что с тобой? Что с тобой?

Ирма подняла его голову с пола и подложила под нее подушку. Но Роцезвон был в полном сознании. Шок от того, что он вдруг оказался на полу, был достаточно силен, у него сбилось дыхание, он был весьма расстроен этим обстоятельством, но все это быстро прошло.

– У меня вдруг случилась большая слабость в ногах, – пояснил Глава Школы, глядя в склоненное над ним обеспокоенное лицо с замечательно длинным и острым носом, – но сейчас уже все в порядке.

Сообщив о том, что с ним все в порядке, Роцезвон тут же пожалел, что поспешил с таким заявлением – час-другой повышенной заботы и выхаживания со стороны Ирмы был бы ему весьма приятен.

– В таком случае, может быть, мой дорогой, тебе лучше подняться, – заявила Ирма – Лежание на полу вряд ли соответствует образу Главы Школы.

– Да, да, конечно, но я чувствую себя очень...

– Не надо, не надо, мой дорогой, – прервала его Ирма. – Не надо этих глупостей. Я пойду и посмотрю, заперты ли все двери. Когда я вернусь, я надеюсь, ты будешь уже сидеть в кресле.

И с этими словами Ирма вышла из комнаты.

Роцезвон в раздражении стукнул пятками об пол, потом, кряхтя, поднялся на ноги. Усевшись в кресло и повернув голову в сторону двери, через которую вышла Ирма, он высунул язык и скорчил гримасу, но тут же покраснел от стыда за свой поступок и послал воображаемой Ирме воздушный поцелуй своей дрожащей старческой рукой.

Глава шестьдесят первая

Один участок Внешней Стены столь густо зарос многими слоями плюща и другими вьющимися растениями, что уже несколько сотен лет камень кладки был скрыт от взоров; в густых зарослях виднелись лишь глаза насекомых, мышей и птиц. Вдоль этой стены, столь плотно заросшей плющом, шел узкий, длинный проход, большую часть дня скрывающийся в тени. Только на закате, когда солнце уже готово было скрыться за Лесом Горменгаст, оно бросало свои медово окрашенные лучи в этот узкий проход, и там, где целый день царили прохладные, неуютные тени, зажигались пятна янтарного цвета.

И тут же сюда начинали собираться дворняжки, появляющиеся словно ниоткуда, они рассаживались в янтарных пятнах света, зализывали раны и грызли на себе блох.

Но не для того, чтобы смотреть на этих полудиких собак или восхищаться игрой пятен света прилетало сюда странное создание и пряталось в густых слоях ползучих растений, покрывающих стены. Скрываясь под гибкими, цепкими веточками и листьями, Оно продвигалось как змея и добиралось до того места, с которого открывался вид на интересовавший его участок прохода. Находясь метрах в десяти над землей, Оно поглаживало сквозь листву на одинокого Резчика, который, разделяя свое одиночество с собаками и пятнами света, постоянно приходил на одно и то же место и принимался за работу – он вырезал что-то из куска дерева. Оно округлившись как у ребенка глазами следило за тем, как под его руками возникает образ деревянного ворона. Оно страстно желало иметь такую игрушку и поэтому выжидало момента, чтобы выхватить деревянного ворона из рук его создателя и улететь через стены к далеким холмам. И вот поэтому Оно каждый вечер прилетало к одному и тому же месту, забиралось под густой плющ и выжидало, когда работа будет закончена и можно будет утащить такую восхитительную вещицу.

Глава шестьдесят вторая

Когда Фуксия услышала о вероломстве Щуквола и поняла, что ее первая и единственная сердечная привязанность связала ее с убийцей, ее лицо потемнело от глубочайшей боли и ужаса, и уже никогда более это выражение страдания и трагичности полностью не покидало ее.

Долгое время она, закрывшись у себя в комнате, вообще не желала никого видеть. Фуксия не могла выдавить из себя слезы, а чувства, бушевавшие в ней, требовали выхода. И это помимо всего прочего очень угнетало Фуксию. Поначалу она все переживала так, словно ее сильно избили, и ее мучила чуть ли не физическая боль. Руки у нее дрожали, пальцы теряли чувствительность. Беспросветная подавленность засасывала ее как черное болото. Ей не хотелось жить. В груди рос и ворочался комок боли и ужаса, давя на ребра. Целую неделю по ночам она не могла заснуть. А потом в ней словно что-то затвердело, она ушла в раковину, и к ней пришла холодная горечь. Она искореняла в себе все едва зарождающиеся мысли о любви, столь свойственные ее натуре. Она беспокойно ходила взад и вперед по своей комнате. Она сильно изменилась. За несколько дней Фуксия постарела на несколько лет. Она считала теперь, что мир вокруг нее столь отвратителен, что безжалостность и двуличие вполне оправданы, и не видела уже в поведении Щуквола ничего предосудительного. Она возненавидела мир, в котором жила.

Когда Тит пришел навестить Фуксию, он был поражен изменениями, которые произошли в ней – изменился даже ее голос, глаза глубоко запали. Тит впервые осознал, что она не только его сестра, но и женщина, страдающая женщина.

Фуксия, в свою очередь, тут же заметила изменения, которые произошли в Тите. Его смятение было столь же явным, как и неприкаянность. Его жажда свободы была столь же сильной, как и ее жажда любви. Но что он мог изменить в своей жизни? Что она могла изменить в своей? Со всех сторон их окружал Замок Горменгаст, раскинувшийся на многие мили, вздымающийся к облакам, неизведанный, темный как сумрачный день.

– Спасибо за то, что ты пришел навестить меня, – сказала Фуксия, – но говорить нам с тобой не о чем.

Тит, прислонясь к стене, стоял молча. Фуксия так постарела! Тит пяткой стал ковырять потрескавшуюся штукатурку, и вскоре кусок ее отвалился.

– Мне до сих пор не верится, что он мертв, – сказал наконец Тит после долгого молчания.

– О ком ты говоришь?

– О Флэе, конечно. И обо всем том, что с ним было связано... Помнишь его пещеру? Теперь в ней уже никто и никогда не поселится. А ты бы не хотела.

– Нет, – прервала Тита Фуксия, догадавшись, о чем он хочет спросить. – Не сейчас. И вообще никогда. Мне вообще не хочется никуда выходить. Ты видел этими днями Доктора Слива?

– Пару раз. Он попросил меня передать тебе, что ему хотелось бы с тобой встретиться, когда у тебя будет желание. А сейчас он плохо себя чувствует.

– А кто из нас сейчас хорошо себя чувствует? А ты что задумал делать? Ты сильно изменился. Наверное, все, что тебе довелось увидеть, было действительно ужасно. Но ничего не рассказывай мне! Я не хочу больше об этом говорить!

– Кругом стоят часовые и ходят караулы, – сообщил после короткого молчания Тит.

– Я знаю.

– И в Замке комендантский час. Мне нужно вернуться к себе к восьми часам. А ты знаешь, как зовут человека, который стоит на часах у твоей двери?

– Не знаю. Он торчит там с утра до вечера, почти не отлучаясь, а ночью спит под дверью. А под окном, во дворе, еще один.

Тит подошел к окну и посмотрел во двор.

– И зачем он там стоит?

Повернувшись к Фуксии, он резко добавил:

– Его никогда не поймают. Он слишком хитер. Он настоящий хищник. Надо бы сжечь к чертовой матери весь этот мерзкий Замок, чтоб в нем сгорел и Щуквол, и мы, и весь мир, чтобы очистить это место – пусть оно зарастет зелененькой травкой!

– Тит! – позвала Фуксия, – Подойди ко мне.

Тит пересек комнату неверными шагами. Руки у него тряслись.

– Тит, я по-прежнему люблю тебя, но сейчас у меня не осталось никаких чувств. Ни для кого. Я вроде бы умерла. Даже ты словно умер для меня. Но я знаю, что люблю тебя. Ты единственный, кого я люблю... но сейчас я ничего не чувствую и не хочу ничего чувствовать. Я слишком много почувствовала... я устала от чувств... я боюсь их...

Тит шагнул к Фуксии еще ближе. Она смотрела ему прямо в глаза. Еще год назад они поцеловались бы как брат и сестра, тогда им была нужна любовь друг друга. Теперь им эта любовь была еще нужнее, но что-то сломалось в них. Между ними раскрылась пропасть, через которую не было моста.

Но Тит все-таки схватил ее за руку, сжал, потом повернулся и быстро вышел из комнаты.

Глава шестьдесят третья

День Раскрашенной Скульптуры приближался. Резчики закончили свою работу и готовы были представить свои произведения на всеобщее обозрение. Все в Замке было наполнено ожиданием этого события. Так в преддверии этой церемонии было всегда, и так было и сейчас, но теперь самым-самым острым было чувство настороженности – Щуквол мог нанести свой следующий удар в любую минуту, и мысли об этом никому не давали покоя. «Пегое чудовище» за последние восемь дней совершило четыре нападения, убив четырех человек камнями, пущенными с невероятной силой и точностью из рогатки. Эти круглые камни находили либо лежащими рядом с жертвой, у которой была пробита голова, либо застрявшими в черепе. Эти нападения, особо ужасные по своей бессмысленной злобе, ибо среди убитых не было даже часовых и караульных, происходили в столь разных частях Замка, что не давали возможности определить, где же следует вести поиск убийцы. Липкий ужас охватил Горменгаст.

Но не смотря на атмосферу страха, царившую в Замке, приближение церемонии Раскрашенной Скульптуры, которую ничто не могло отменить, возбуждало чувства совсем иного, более приятного свойства. Эту церемонию ожидали прежде всего потому, что ее ежегодная повторяемость внушала чувство уверенности, так было всегда и так будет независимо ни от чего. К традиции тянулись, как ребенок тянется к матери – она придавала чувство стабильности.

Узкий длинный двор, в котором должна была происходить церемония, тщательно вычистили и вымыли – целую неделю здесь раздавалось позвякивание ведер, плеск воды и поскрипывание скребков и щеток. Особенно старательно вычищали южную стену. Накануне церемонии сняли леса у этой стены, на которых целую неделю от зари до зари работали чистильщики, вымывая камни, вычищая пыль из всех стыков, трещин и выбоин. Внизу, на высоте метров двух от земли, вдоль сверкающей чистотой стены шла каменная полка, на которой Резчики должны были выставлять свои произведения; полка была такой ширины, что даже самые большие скульптуры могли легко на ней разместиться. Каменная полка и широкая полоса стены над ней были побелены, а все те растения, которые за год выросли между камней кладки, были либо вырваны, либо обрезаны вровень с камнем.

В этот двор, столь ревностно вычищенный и прибранный, должны были скоро темным, шумным потоком влиться Резчики, несущие свои произведения в руках или на плечах; в тех случаях, когда скульптура была слишком большого размера, Резчикам обычно помогали родственники; рядом с процессией одетых в лохмотья нечесанных Резчиков будут бегать босоногие дети, длинноволосые, немые; их пронзительные крики и улюлюканье будут протыкать тяжелый воздух словно ударами стилета.

Да, в атмосфере была разлита какая-то давящая тяжесть. Если и происходило какое-либо движение воздуха, то оно казалось навеянным гниющими крыльями огромных умирающих птиц.

Это тягостное состояние атмосферы еще более усугубляло страх вызываемый Щукволом и его безжалостными нападениями, и церемонию Раскрашенной Скульптуры ожидали с особым нетерпением, ибо надеялись что возможность созерцать творения, единственной задачей которых был поиск красоты, явится отдыхом уму и душе.

Однако, несмотря на то что Резчики, используя все свое мастерство и, казалось бы, занимаясь одним делом, творили в своих произведениях красоту, между ними самими отношения никогда не были дружелюбными. Зависть, раздоры меж семействами, древние обиды – все это вспоминалось на ежегодной церемонии, открывались старые раны и наносились

новые, красота и враждебность красота и ненависть сосуществовали равно как и красота и старость, красота и уродство; скрюченные годами неблагодарного труда пальцы поддерживали деревянную птицу тончайшей работы и удивительно яркой раскраски, которая взмахнула крыльшками, действительно казавшимися сделанными из перьев, а не из дерева.

Вечером накануне церемонии все было готово для ее проведения. Поэт, уже официально назначенный Хранителем Ритуала, сопровождаемый Графиней, совершил обход двора и удостоверился в полной его готовности к церемонии. На следующее утро ворота Внешней Стены были открыты, и процессия Резчиков двинулась ко Двору Резчиков. Им предстояло пройти около трех миль.

По дворам и переходам Замка текла яркая цветная река. Казалось, среди серых камней Горменгаста расцвели тропические цветы. Вспыхивали оттенки красного, сияло золото, плыли холодные пятна голубого, теплые пятна зеленого.

А несли все это буйство цвета серые, угрюмые люди, похожие на нищих и бродяг. К обеду каменная полка во Дворе Резчиков во всю свою длину была уставлена раскрашенной деревянной скульптурой, здесь были изображения животных и птиц, монстры, порожденные фантазией, напоминавшие гигантских насекомых и рептилий, все эти существа были изображены в разных позах, с опущенными и поднятыми головами, поднятыми так гордо, как не может быть поднята ни одна голова существа из плоти и крови.

Все они замерил в ожидании, отбрасывая тени на выбеленную стену. Из всего их огромного числа следовало выбрать три произведения, наиболее оригинальных и совершенных. Эти три лучших произведения будут удостоены помещения в Зале Раскрашенной Скульптуры, а остальные будут тем же вечером сожжены.

Сделать правильный выбор было очень сложно, и это занимало много времени. Резчики, собравшись семейными группками, сидели на корточках или стояли, прислонившись к противоположной стене двора. Они внимательно следили за судьями, медленно перемещающимися от скульптуры к скульптуре. Час проходил за часом, а выбор все еще не был сделан. Тишину нарушали лишь выкрики и плач детей. К вечеру слуги вынесли столы и расставили их тремя длинными параллельными рядами от одного конца двора к другому. На столы поставили миски с густым супом и разложили каравай хлебов. Стало темнеть, а выбор все еще не был сделан. Небо затянуло тучами, и на двор опустилась преждевременная тяжелая темнота. Стало очень душно. Даже дети утомонились, хотя обычно в день Церемонии они бегали и шумели вплоть до полуночи. Теперь же они уселись на каменные плиты двора рядом со своими матерями и погрузились в такое несвойственное им молчание. Самое простое движение казалось утомительным, и пот лил со всех ручьями. Многие поднимали головы и смотрели на грозные тучи, которые тяжелыми черными массами заволакивали небо. Тучи были многослойными и громоздились одна на другую.

Тит, ввиду того, что не достиг еще установленного Законом Замка совершеннолетия, не принимал участия в выборе трех наилучших произведений, однако все же требовалось его формальное одобрение после того, как выбор был сделан. Тит беспокойно бродил вдоль выстроенных на каменной полке произведений скульптуры. Люди при его приближении почтительно расступались. По традиции у него на шее висела тяжелая железная цепь, а ко лбу был привязан камень. Тит устал таскать на себе этот нелепый вес, который с каждой проходящей минутой казался все более тяжелым. Он пару раз видел Фуксию, но потом она затерялась в толпе.

– Наверное, разразится мощная гроза, мой мальчик, – сказал кто-то позади Тита – Клянусь всем, что низвергается потоком, на нас вот-вот обрушится ливень.

Тит повернулся. Перед ним стоял Доктор Хламслив.

– Да, чувствуется приближение грозы, Доктор Слив.

– Не только чувствуется, но и наблюдается, мой юный преследователь злодеев.

Тит задрал голову и посмотрел вверх. В небе творилось нечто невообразимое. Там вздувались облачные массы, которые казалось, двигались не подгоняемые ветром, а сами по себе, подгоняемые недобрыми намерениями.

О, вид у небес был грозен! И с каждой минутой он становился все более устрашающим. Казалось, в небо прямо из ада изливается вся адская черная мерзость. Тит опустил голову и снова посмотрел на Хламслива. Лицо Доктора было залито потом.

– Вы не видели Фуксию? – спросил Хламслив.

– Видел, но потом она куда-то исчезла. Думаю, она где-то здесь в толпе.

Хламслив огляделся по сторонам, его очень острое Адамово яблоко плясало, губы, растянутые в улыбке, обнажали сверкающие зубы, но улыбка была пустой и неестественной.

– Доктор Слив, мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели ее... она выглядит ужасно, с ней что-то происходит.

– Я обязательно это сделаю и в самое ближайшее время. В этот момент к Титу подошел посланец от судей – они приглашали Тита одобрить их выбор.

– Идите, идите скорее, – воскликнул Хламслив, но в его голосе не было обычной звонкости. – Спешите, мой юный друг!

– До свидания, Доктор.

Глава шестьдесят четвертая

Немного позже Тит уже сидел на балконе, а рядом с ним по правую руку расположилась Графиня, казавшаяся ему огромной незнакомкой, слева от Тита сидел Поэт, человек и вовсе чужой Титу. Под балконом разлилось море поднятых голов. Во дворе пылал огромный костер, вдалеке на фоне почерневшего неба угадывался темный силуэт Горы Горменгаст.

Приближался момент, когда Титу нужно будет позвать трех Резчиков, произведения которых были признаны лучшими, потом Тит потянет за веревки, привязанные к этим трем деревянным скульптурам, и выставит их на всеобщее обозрение.

В огромный костер уже были брошены сотни скульптур, на создание которых было положено столько неустанный труда, на которые возлагалось столько надежд и упований, и яркое пламя, превращая их в пепел, устремлялось к небу.

Тит видел, как великолепный раскрашенный деревянный тигр, голова которого с оскаленной пастью была закинута на спину, а ноги подобраны под телом, был брошен одним из двенадцати наследственных «разрушителей» в огонь. Пламя охватило тигра словно руками и стало пожирать дерево.

И в этот момент Тита неожиданно охватило сильнейшее желание бежать с балкона. Ему было ненавистно это бессмысленное уничтожение, которое он вынужден наблюдать. От духоты ему было дурно. Присутствие матери и отрешенного ото всего Поэта порождало в нем глухое раздражение. Тит перевел взгляд на Гору Горменгаст. Что лежало за ней? Какие земли? Какие миры? Какая жизнь?

О, если бы только он мог покинуть Замок! От одной этой мысли вызывающей страх и восторг, его начинало трясти. Тит с опаской покосился на мать – не прочитала ли она его мятежные мысли?

Убежать из Замка навсегда? Но Тит не имел никакого представления о том, что ожидает за его пределами, за пределами тех лесов и рек, которые окружают Горменгаст. Он уже и раньше много думал о побеге. Но побег всегда был для него некой абстрактной идеей, и он никогда серьезно не задумывался над тем, куда направится и как будет жить в мире, совершенно ему незнакомом.

Тита охватил страх от мысли, что он в том, ином мире – будет просто ничто, что Горменгаст и его Герцог не представляют для «того» мира никакого значения, что его, сына Герцога Гробструпа, почитают лишь здесь, в Замке. Мысль эта была страшной и беспокоящей.

Тит снова взглянул на многоликую толпу под балконом. Когда очередную скульптуру швырнули в огонь, он важно кивнул, как это требовалось, в знак одобрения свершающегося. Повернув голову налево, Тит в темноте различил силуэты нескольких башен. Это все мое, сказал он себе, но слова, прозвучавшие у него в голове, показались пустыми и ненужными. И тут произошло нечто, что заставило его забыть о своих страхах и призрачных надеждах, что вселило в него непомерную радость, что вырвало его из лап колебаний, что швырнуло его в искристый, волшебный, непредсказуемый мир.

А произошло вот что. В огонь уже приготовились бросать изображение черного ворона – голова приподнята, каждое перышко тщательно вырезано. Толпа, придавленная духотой, застыла в ожидании. Наследственный «разрушитель», державший ворона, закинул руку за голову; пляшущие языки пламени освещали его лицо. И вот рука метнулась вперед, пальцы разжались – и ворон, кувыркаясь полетел в сторону костра. И тут из темноты наперерез ворону вырвалась какая-то фигурка, легко и одновременно хищно промчалась в воздухе и схватила деревянную птицу. Не замедлив ни на мгновение свои уверенный великолепный полет, фигурка,

прижимающая к себе ворона взметнулась над заросшей плющом стеной и исчезла в ночи. На некоторое время людей охватило оцепенение – всеобщее смятение и замешательство держали всех словно в тисках. Смятение каждого усиливалось замешательством всех. Произошло нечто невообразимое, нечто столь невероятное, что гнев, который должен был вот-вот прорваться, сдерживался невидимой стеной замешательства.

Никогда ранее не происходило подобное нарушение священной церемонии.

Графиня зашевелилась первой. Впервые с того дня, когда обнаружилась злокозненность Щуквола, Графиня была охвачена страшным гневом, который не имел отношения к пегому злодею. Графиня тяжело поднялась на ноги и, ухватившись руками за перила балкона, вперила взор в темноту. Тучи, словно придавленные собственным весом, стелились все ниже, казалось, сам воздух исторгал пот. Толпа зашевелилась и загудела, как растревоженный улей. Раздались крики гнева и возмущения, прозвучавшие грозно и страшно.

Что значит смерть нескольких неприметных людишек, погибших от руки Щуквола по сравнению с этим ударом в самое сердце Горменгаста? Не жители Горменгаста были его сердцем, а непоколебимая традиция, которой на глазах у всех был нанесен неожиданный удар. Крики усилились, толпа пришла в движение, а Тит, искоса взглянув на свою мать, медленно поднялся на ноги.

Он единственный среди толпы людей, до глубины души возмущенных осквернением церемонии, не был возмущен, хотя и переживал случившееся не менее глубоко, – но совсем по иной причине. Тит был потрясен, но его потрясение делало его одиноким среди бури возмущения. В тот же момент, когда он увидел летящую фигурку, он мгновенно перенесся в тот день, когда он увидел – или ему показалось, что увидел, – странное существо в таинственном дубовом лесу. Это было так давно, тогдашнее видение потеряло свою реальность, стало воспоминанием, как от приснившегося когда-то сна, игрой воображения, дымкой фантазии. Но вот снова он увидел это существо!

Теперь у него уже не было сомнений в том, что виденное им когда-то было реальностью. Он действительно видел это существо, проплывшее по воздуху в дубовом лесу, в котором он заблудился! И он увидел его еще раз! Оно явно выросло с тех пор, но и он ведь тоже вырос! Но оно осталось все таким же таинственным, все таким же легким в полете.

Тит вспомнил, как давнее мимолетное видение породило в нем страстное желание свободы. И теперь произошло то же самое! Но теперь это стремление было во много раз сильнее! Воздух сгустился от влажной духоты, а по спине у Тита струился холодный пот.

Тит оглянулся вокруг себя с заговорщицким видом, столь нехарактерным для него. За несколько секунд ничего не произошло: его мать стояла у перил балкона, крепко вцепившись в него руками, костер ревел и выплевывал красные угольки, воздух был неподвижен и горяч. В толпе закричали:

– Это Оно! Оно!

Другие голоса с отвратительной регулярностью выкрикивали:

– Забросать его камнями!

Но Тит в мыслях был уже далеко. Он медленно отступал к балконной двери, а потом – быстрым движением проскользнул в нее.

Оказавшись в комнате, Тит бросился бежать. Каждый шаг его был преступлением против традиции. Он бежал по полуночным коридорам, там, где вполне мог скрываться Щуквол. Все в Тите дрожало от страха и возбуждения. Одежда прилипла к спине и ногам. Поворачивая направо и налево, иногда налетая на стены, неостановимо мчался Тит. Наконец он прибежал к широкой лестнице, невысокие ступени которой сбегали в открытый двор. Справа от него, уже далеко, на низко стелющихся тучах видны были отсветы костра. Клубящиеся тучи нависали, как

балдахин над кроватью старой ведьмы.

Гора Горменгаст и леса на ее склонах скрылись под покровом ночи, но Тит, подобно перелетной птице, знающей, куда ей лететь, уверенно бежал вперед.

Глава шестьдесят пятая

Тита подгоняло (а отнюдь не замедляло его бег) чувство того, что он совершил акт величайшего неповиновения. Он чувствовал тяжелое дыхание возмездия на затылке. Он мог еще вернуться и поспеть к концу церемонии, но несмотря на то, что у него от волнения и бега безумно колотилось сердце, такая мысль даже не приходила ему в голову. Его гнало вперед видение странного создания, которое стояло у него перед глазами. Ему снова не удалось разглядеть лица этого летающего существа. Он не знал, умеет ли оно говорить. Но то, что в течение многих лет было фантазией, игрой воображения, воспоминанием о погруженных в мечтательный сон деревьях и мхе, о золотых желудях, о веточках, похрустывающих под ногой, перестало быть фантазией. Фантазия стала реальностью. И он бежал в душной ночи, надеясь еще раз повстречаться с этим созданием, повстречаться с фантазией, ставшей правдой.

Но долгий бег утомил его тело. Давящая духота лишала последних сил, и когда до холмов у подножия Горы Горменгаст оставалось не более мили, Тит рухнул на колени, а потом повалился на бок и остался лежать на земле, обливаясь потом. Затем он лег на живот, положив голову на скрещенные перед собой руки.

Но мозг его не отдыхал. Лежа с закрытыми глазами, Тит снова и снова вызывал в памяти воспоминания о том, как странное создание взлетало над покрытой плющом стеной и растворялось в ночи, он видел, как безумно красиво оно летело в воздухе, безо всяких усилий, с высокомерным видом, горделиво повернув голову – ах, почему он не видел его лица! – так совершенно сидящую на узких плечах. Воздушное видение тысячу раз проносилось перед его мысленным взором.

Тит лежал на земле, ворочался с боку на бок, а таинственное создание постоянно летало под его сомкнутыми веками, свободное, легкое, вытянув за собой ножки-камышинки.

А когда Тит услышал хриплый голос пушки, он вскочил на ноги, и тяжелое раскатистое эхо еще не стихло, а он, не разбирая дороги, уже бежал в том направлении, где в непроницаемой ночи вздымалась громада Горы. Тит знал, что один выстрел из пушки был сигналом особой опасности. Он знал, что выстрел этот означал, что его, Тита, исчезновение уже обнаружили. Но вряд ли его мать подозревает, что Тит своим исчезновением бросает Горменгасту вызов.

Когда пришел момент вытаскивать три выбранные скульптуры на балкон и выставлять их на обозрение толпы, Тита на месте уже не оказалось. К угнетающей духоте низко нависшим, зловещим тучам, к страху, вызываемому злодеем, прячущимся в коридорах Горменгаста и высматривающему новую жертву, к необъяснимому появлению таинственного существа, которое выхватило из огня и унесло деревянное изображение ворона, обреченное на сожжение, теперь прибавилось это новое невероятное оскорбление, нанесенное чести Замка, которое потрясло не только служителей церемонии, но и Резчиков.

Поначалу подумали, что молодой Герцог, не выдержав невыносимой духоты, ушел с балкона в соседнюю комнату, где потерял сознание. Такую мысль вслух высказал Поэт, который, испросив дозволения Графини, отправился на поиски Тита. Но нигде в ближайших помещениях бесчувственного тела Тита он не обнаружил. Проходили минуты, а Тит все не появлялся. Слуги отправленные на поиски, его не нашли. Напряжение и гнев толпы все возрастали, и чувствовалось, что может разразиться слепое насилие, которое, очевидно сдерживалось лишь изнурительной духотой, лишавшей всех сил.

События этой ночи разъедали устои Горменгаста как кислота, были затронуты и ослаблены самые основы жизни Замка.

В то время, когда вся энергия Горменгаста была направлена на поимку страшного врага,

скрывающегося в его неизведанных глубинах, удар, нанесенный в самое сердце предательским бегством молодого Герцога, наследника каменного величия, наиболее яркого символа духа Горменгаста, произвел ошеломляющее, разрушающее впечатление.

* * *

Тит, это дитя судьбы, продолжал пробираться сквозь темноту, продираясь сквозь кусты, перелезал через поваленные деревья, спотыкался о корни, но с упорством фанатика шел вперед.

Как и где он сможет найти дивное создание – у него не было ни малейшего представления. Он просто был уверен в том, что после восхода солнца, которое зальет своим светом дремучие леса и дикие склоны Горы Горменгаст, та сила, которая привела его сюда, обязательно поведет его и дальше, прямо к таинственному существу.

Но пришел момент, когда Тит оказался столь плотно окутанным тьмой, что дальнейшее продвижение стало невозможным. Он знал, что ушел достаточно далеко от Замка и что в тех местах, куда он забрался, его не найдут. Он также знал, что поисковые группы уже собираются и что возможно первые из них уже отправились в путь. Понимал Тит и то, что отвлечение хотя бы одного человека от внутренней охраны Замка было лишь на руку Щукволу – а на поиски Тита отправится ведь не один человек отправятся многие. Нет, такого ему уже не простят!

Титу было трудно решить, связывали ли неожиданное появление таинственного существа с таким же его, Тита, неожиданным исчезновением, но почти наверняка эти два события не считали простым совпадением. Титу было прекрасно известно, что побег с церемонии был величайшим грехом, но этот грех будет совершенно непростительным, если станет известно, кого бросился преследовать Тит. Никому из живущих в Замке категорически не позволялось общаться с теми, кто жил за пределами его Стен, а что уже говорить о законном правителе Замка? А тут Герцог Горменгаста бросился разыскивать какое-то гадкое ночное существо, которое, как полагали, было перерождением незаконнорожденной девочки, жившей когда-то в поселении за Стенами! Тит знал, что не только для его матери, но и для самого ничтожного из слуг такое поведение молодого Герцога было недопустимым и отвратительным. Оно было хуже, чем бессовестное предательство. Отправиться на поиски этого существа – значит осквернить чистоту крови Герцогов Стонов!

Да, Тит знал все это. Но он ничего не мог с собой поделать. Если его поймают, он скажет, что приближающаяся гроза и невероятная духота оказали на него столь сильное и разрушительное воздействие, что он не осознавал, что делает. Вот и все. А изменить он ничего уже не мог. Он был во власти силы, более мощной, чем традиция. Если его поймают – ну что ж, значит, его поймают. Если его заключат в башню или выставят на общественное поругание – ну что ж, значит, он того заслуживает. Если его лишат наследственных прав – ну что ж, значит, так тому и быть, он сам виноват. Он нанес пощечину древнему богу традиции. Все это было так все это было так но когда он, окутанный ночной духотой, стал забываться сном, он вспоминал не о том оскорблении, которое он нанес матери, не об опасности, нависшей над Замком, не о своем предательстве, не о беспокойстве, которым из-за него охвачена сестра, а о таинственном создании, о неистовой дерзости, которое оно проявило, о той свободе, которой оно жило и к которой так стремился Тит, о мятежной поэтичности, легко и грациозно скользящей в воздухе, в этом создании Тит чувствовал мятежный дух, столь родственный его собственному духу.

Глава шестьдесят шестая

Тита разбудил первый могучий раскат грома. Темноту сменила вялая серость, которую посылал далекий, задушенный облаками восход солнца. И тот первый раскат грома был первым грозным оповещением о ливне, превратившемся в потоп.

С первых же мгновений, когда ливень обрушился на землю, стало ясно, что это не просто очередной, пусть и очень сильный, дождь. Первые же струи воды стали хлестать землю с невиданной, злобной силой.

Воздух, удушливый и вязкий, наполнился водой. Тит вскочил на ноги так, словно его подбросила пружина. В небе бурлили тучи и рокотал гром. Воронки смерчей открывались и закрывались как рты огромных небесных гиппопотамов.

Тит бросился бежать. Теперь в серой полутьме он уже мог кое-что различать вокруг себя. Возникающие на его пути очертания деревьев и больших камней заставляли бросаться из стороны в сторону – недостаток света позволял видеть не больше чем на несколько шагов вокруг.

Поначалу Тит хотел добраться до глубинной чащи леса, где деревья стояли столь близко друг к другу, что под их ветвями и кронами можно было найти укрытие от дождя, на том месте, где находился Тит, дождь с шипением пробивал листву редко стоящих деревьев.

Несмотря на то, что дождь с первых же мгновений был невероятно силен, чувствовалось отсутствие в нем какой бы то ни было спешки. Казалось, дождь располагает неисчерпаемыми запасами влаги и энергии собравшимися здесь со всего мира.

Тит, спотыкаясь, обливаемый потоками дождевой воды, низвергающимися на открытые пространства прямо с небес или разбрызгивающимися от ударов в листву над головой, перебегал от дерева к дереву. Вспышка молнии, выпрыгнувшей из туч, осветила все вокруг, и на пару мгновений в мире все казалось сделанным из мокрой стали.

Взгляд Тита заметался по высвеченной молнией местности, и прежде чем все вокруг снова погасло и погрузилось в темноту, казавшуюся непроглядной после яркого света, он успел заметить две одинаковые сосны, стоявшие рядышком на пригорке, образованном массивными валунами. Узнать это место было довольно легко – одна из сосен когда-то была сломана ураганом и теперь покоилась в объятиях соседки.

Тит никогда не подходил к ним близко, никогда не взбирался по валунам, никогда не стоял в их тени, никогда не слушал поскрипывание ветвей и шелест хвои этих сосен, но тем не менее они были ему хорошо знакомы. Несколько лет назад каждый раз, когда он выбирался из подземного туннеля, по которому проходил от Безжизненных Залов к месту на поверхности земли, находившемуся на расстоянии не больше мили от пещеры Флэя, он видел эти сосны.

И теперь, когда при вспышке молнии он увидел их снова, сердце его затрепетало от радости. Но когда вернулась темнота, усугубленная дождем, Тит понял, что добраться до входа в туннель будет далеко не просто, даже имея такой ориентир, как сосны – он вышел к ним со стороны, ему не знакомой.

Как бы там ни было, Тит решил идти по направлению к соснам, надеясь, что, как ни слаб свет, он будет постоянно усиливаться и это поможет ему в конце концов отыскать путь ко входу в туннель. Раздумывать над тем, что это может представить непреодолимые трудности, было бессмысленно, и поэтому Тит решительно направился в ту сторону. Идти пришлось по густой траве, уже почти полностью залитой водой, в которую Тит погружался по щиколотки. Жидкая грязь струйками брызгала в стороны при каждом шаге. Дождь уже низвергался не тонкими проволочными струйками, не просто водяными канатами, а потоками, как из неисчислимого

множества полностью открытых кранов. И несмотря на это, духота спала лишь незначительно. Однако теплая дождевая вода, множеством молоточков стучавшая по Титу и облизывающая его тело, несла небольшое облегчение.

Пройдя по участку земли, заросшему травой, перебравшись через россыпи камней, обходя быстро образующиеся озерца и ямы, оставшиеся на месте древних серебряных рудников, миновав рощицу деревьев – Титу не доводилось еще пересекать более неприветливой местности, – он добрался наконец до группы гигантских камней, торчащих из земли.

К этому времени свету удалось просочиться сквозь покров черных туч насыщенных водой, и когда Тит взобрался на самый большой камень, он увидел свои две сосны, но не справа, где, как он предполагал, они должны были находиться, а прямо перед собой.

Но теперь он увидел также и то, что подходить к ним поближе уже не нужно. С камня, на котором он стоял, открывался широкий вид. К востоку от него на расстоянии не более мили он увидел речушку, которую когда-то дамбой перегородил Флэй. От нее было рукой подать до пещеры, в которой провел многие годы этот изгнанник. К маленькой речке террасами спускался склон, поросший деревьями и другой всевозможной растительностью. И Тит решил не шарить глазами по открывавшейся ему местности в поисках того места, где был вход в туннель.

По мере того как светлело, дождь, до сих пор падавший стеной, сквозь которую трудно было что-то разобрать, несколько ослаб. Нет, дождь вовсе не собирался угомониться совершенно, тучи отнюдь не исчерпали запасы воды. Нет, просто гроза убрала свои когти в черные подушечки туч – так когти втягивает хищник, чтобы немного поиграть с жертвой и насладиться умением управлять собственными мускулами.

Итак, дождь, хотя несколько ослабев, продолжал изливаться на землю. Однако Тит уже не чувствовал его, казалось, он всегда жил в воде.

Тит сел на камень, он был, как муха, заключенная в янтаре, погружен в серое дождливое утро. Вокруг него от сильных ударов капель дождя по плоской поверхности камня взлетали фонтанчики воды, вода покрывала бока камня тонким сверкающим покрывалом.

Что он, Тит, делает здесь, сидя на камне, промокший до нитки? Что занесло его в ливень так далеко от дома? И почему ему ни чуточки не страшно? Почему его не терзают угрызения совести?

Тит, скрючившись, подтянул колени под подбородок, обхватил ноги – маленький живой комочек, один, под безграничным континентом туч, извергающих воду.

Тит прекрасно осознавал, что не грезит, но избавиться от ощущения, что все это происходит не во сне, было очень трудно. Главная реальность была заключена в нем самом – он жаждал испытать ужас того, что он уже называл любовью. Тит уже слышал и читал о любви, которая бывает между мужчиной и женщиной, он догадывался о том, что это такое, и хотя он сам ранее ничего подобного не испытывал, он многое знал. Что, если не любовь, могло вынудить его вести себя так странно?

Да, голова того замечательного создания была повернута в сторону так, что он не видел лица! Но как оно – или она? – летело! А Горменгаст убеждал, что красота – это нечто совсем другое, что поступок Тита – величайший грех, преступление против предков, величайшая самонадеянность, вызов, брошенный традиции, невероятная наглость! Неужели Горменгаст значил для него меньше, чем какое-то гибкое летающее создание, странная девочка леса?

Но для Тита она означала не просто живое воплощение абстрактного слова «СВОБОДА», не это так будоражило Тита, не умозрительное восхищение заставляло его трепетать, когда он думал о ней. Он жаждал коснуться ее, коснуться этих грациозных, вытянутых в полете рук и ног. Она была для него ожившей фантазией, она была воплощением свободы, но при этом еще и чем-то другим, она дышала, жила, манила своей таинственностью. И если бы она была феей,

тигрицей, бабочкой, рыбой или просто птицей с крыльями, то и тогда она была бы столь же отличной от Тита, как и в своем нынешнем обличье. Эта мысль заставляла Тита вздрагивать. Тита привлекало полное, неустранимое различие между ним и таинственным существом, загадочной девочкой леса, различие, а не какая-либо схожесть, подобие, общность или надежда найти какую-то сродственность. Главное для Тита было – несхожесть...

Тит все так же сидел на камне, все так же срывался дождь с низких туч, летел сквозь теплый воздух, занавешивая своими струями все вокруг. На западе огромное размытое пятно подсказывало, где Гора Горменгаст; казалось, вертикальные полосы дождя замыкают гору в решетку.

Тит спустился с камня и, едва ступив на землю, почувствовал, как его охватывает страх. За короткое время слишком многое произошло с ним. Тит думал о пещере Флэя, а потом стал вспоминать самого Флэя; Тит мысленным взором увидел Флэя, лежащего на полу с ножом в груди, страшную комнату, в которой рядышком лежали останки его теток, Кору и Клариссы: сквозь пелену дождя Титу виделось красно-белое лицо Щуквола, как маска исполнителя, танцующего танец смерти; этот образ то разрастался, то сжимался... Тит бежал и в ужасе оглядывался, всматривался в дождь – не появится ли Щуквол и в самом деле?

До пещеры Флэя добираться пришлось довольно долго. Даже если бы не лил такой ливень, Тит все равно изменил бы свое первоначальное решение и отправился бы вместо туннеля в пещеру Флэя, которую воспринимал как некое центральное место среди всей этой дикой природы, место, к которому можно всегда вернуться.

Но когда Тит наконец добрался до пещеры, он вошел далеко не сразу. Он в нерешительности стоял перед входом. Вход зиял пустотой. Титу казалось, что что-то поменялось с той – уже давней – поры, когда он был здесь в последний раз. Чувствовалось, что пещера давно заброшена. Над входом ввысь уходила скала, на поверхности которой хорошо были видны слои камня; скала заросла папоротником, мелкими кустами и даже деревьями, которые торчали из нее под фантастическими углами.

Тит поднял голову и посмотрел вверх, туда, где верхнюю часть скалы обнимали низко стелющиеся тучи, а потом снова перевел взгляд на зияющий вход в пещеру. Тит слегка наклонил голову, словно приготовился сразиться с кем бы то ни было, кто мог прятаться там, в темноте. Его мокрые волосы, казавшиеся черными, плотно прилегали к голове и прядями липли к лицу.

Печальный вид, который имел вход, несколько пригасил волнение от возвращения к этому месту через столько лет. Заглядывая вовнутрь, Тит видел сухой темный проход, который вел в обширную пещеру.

Если бы кто-то увидел Тита, стоящего вот там, колеблющегося, совершенно вымокшего, он бы наверняка заметил, насколько Тит изменился за последние несколько месяцев. Его глаза были все так же чисты, как вода горного источника, но теперь над бровями постоянно пролегла морщина; вокруг глаз образовались гнезда едва заметных, тоненьких морщинок; хотя общие пропорции лица позволили бы определить, что Тит еще совсем молод, что ему нет и двадцати лет, однако суровое выражение, постоянно присутствующее на его лице, и морщины могли создать впечатление, что он гораздо старше.

Тит вплотную подошел ко входу. Дождь, льющийся ему на голову, столь плотно пригладил его волосы к черепу, что полностью просматривались все детали его строения. Черты его лица, взятые по отдельности – довольно тяжелые скулы, слегка приплюснутый нос, широкий рот, – нельзя было бы назвать красивыми. Но собравшись вместе в овале его лица, они образовывали некую простую гармонию, необычную и даже приятную для взгляда.

Нахмурившись – это очень старило его, но он надевал эту маску угрюмости всегда, когда

надо было скрыть свои истинные чувства – Тит наконец решился зайти вовнутрь. Едва он сделал первые шаги, как почувствовал, что какой-то груз спал с его плеч и головы – он настолько уже успел привыкнуть к давлению дождя, что понял его силу лишь когда оно прекратилось.

Его тут же охватила сильная усталость, и он понял, что больше всего на свете ему сейчас хочется отоспаться в сухом месте. В пещере было тепло – дождь, несмотря на всю свою силу, не принес заметного облегчения от духоты. Титу хотелось поскорее лечь, испытывая замечательную легкость, возникшую после того, как прекратилось давление струй дождя, и спать, спать вечно.

Оказавшись внутри пещеры, Тит уже не ощущал меланхолической атмосферы заброшенности, царившей у входа. Возможно, он был слишком изможден, все его чувства притупились и он уже не ощущал таких тонкостей.

Когда Тит добрался до главного помещения пещеры, просторного, с естественными каменными полками, заросшего глубоким ковром папоротников, он почувствовал, что глаза его закрываются сами собой. Тит не обратил внимания на нескольких небольших зверюшек, поселившихся здесь и теперь внимательно следящих за ним с каменных полок и из густого папоротника своими блестящими глазами.

Тит уже в полусне стащил с себя мокрую, приставшую к телу одежду, спотыкаясь, забрался в самый темный угол, улегся в роскошные папоротники и тут же заснул.

Глава шестьдесят седьмая

Пока Тит спал, к небольшим зверькам, жившим в пещере, присоединились забежавшая сюда случайно совершенно промокшая лиса и несколько птиц, рассеявшихся на выступях камня поближе к потолку. Тита в его темном углу, да еще заслоненного папоротниками, совершенно не было видно. Сон его был так глубок, что, когда снова запыльхали молнии, озарявшие своими вспышками вход в пещеру, это его нисколько не потревожило. Не потревожил его и гром, хотя он гремел все ближе и все громче. Когда могучие раскаты стали раздаваться совсем близко и, казалось, сотрясали скалу, Тит заворочался во сне. День стал клониться к вечеру. И снова быстро начала собираться темнота.

Рев и шипение ливня постоянно усиливались, и шум падения дождевых струй на камень вокруг входа заглушал все раскаты грома, кроме самых мощных. В пещеру забрался заяц и уселся недалеко от входа, поглядывая на лису. Несмотря на то, что пещера была наполнена шумом свирепого ливня, казалось, что в ней царит особая тишина, тишина среди шума, тишина покоя, ибо в пещере ничто не двигалось.

Когда следующая вспышка молнии сорвала со всего вокруг черный покров, обнажив все мельчайшие подробности, ее отсветы забежали в пещеру, вырвав из темноты неподвижно сидящих птиц и зверьков, которые казались вырезанными из камня, их тени помчались по стенам, растягиваясь и снова сокращаясь, словно резиновые. Тит опять заворочался под сенью больших листьев папоротника, прикрывавших его от металлического света. Он не проснулся и поэтому не увидел, что у входа в пещеру стояло таинственное создание, летающая девочка, «Оно».

Разбудил Тита голод. Проснувшись, он некоторое время лежал с закрытыми глазами. Он не сомневался, что лежит у себя в кровати в Замке. Даже открыв глаза и увидев перед собой грубый камень и папоротники, он не сразу сообразил, где находится. Лишь обратив внимание на рев ливня, Тит вспомнил сразу все – и как он убежал из Замка, и как брел целую вечность под дождем, и как добрался до пещеры... до пещеры Флэя, до той пещеры, в которой сейчас лежит.

И тогда он различил еще один звук, словно кто-то – или что-то – переместилось, где-то совсем рядом. Услышал его Тит на фоне грохота ливня только потому, что раздался он совсем близко.

Тит осторожно приподнялся на локте и, слегка раздвинув папоротники, посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук.

То, что он увидел, заставило его позабыть голод, казалось, он никогда и не знал, что значит быть голодным. От неожиданности Тит дернулся назад, ударившись спиной о каменную стену, кровь прилила к его голове. Это было Оно, удивительное летающее существо! Отличавшееся от того, каким Тит его себе представлял, однако, несомненно это было оно. И оно явно было девочкой.

Но почему же так отличался тот образ, который вырисовался в голове Тита, от того, что он видел сейчас?

Вон она сидит на корточках, такая невероятно маленькая, перед костром, пляшущее пламя освещает ее лицо, над огнем она держит прут, на который, как на вертел, насажена общипанная птица. Вокруг нее разбросаны перья сороки. Неужели это и есть то романтическое, таинственное существо, встречи с которым он так жаждал? Легкое, грациозно парящее в воздухе? Неужели это существо, сидящее на корточках, как лягушка на берегу, почесывающее себе ногу грязной ручкой размером не больше букового листочка, и есть то эфемерное, сказочное создание, которое заполняло его воображение, отодвигало весь мир на второй план?

Да, это было именно так. Его видение обрело конкретные, приземленные черты маленькой дикой бездомной девочки – драгоценный металл стал глиной.

Но вот она повернула голову, и Тит увидел ее лицо – лицо, которое одновременно и шокировало и восхитило его. Все, что было в Тите от Горменгаста, содрогнулось и встрепенулось в гневе, все, что было в нем мятежного, задрожало от радости – от радости, порожденной встречей с самой душой неповиновения и бунтарства. Тит был в полном смятении чувств. Образ, который жил в нем – гордого, грациозного, совершенного создания, – испарился. И сейчас этот образ, живший в нем, казался уже банальным, мелким, сладким, как патока. Да, она была гордой, полной дикой жизни. И, возможно, изящной и грациозной в полете – но не сейчас. В том, как она сидела у огня, по-звериному раскованно, не было ничего изящного и грациозного. Вместо этого было нечто другое, глубинно земное.

Титу, влюбленному в образ, в котором сосредоточивалась дерзость и красота ласточки в полете, страстно хотелось подойти к маленькому созданию, обнять ее – однако он страшился этого, он видел теперь все в новом свете – птица, пойманная, убитая ощипанная и зажаренная на костре, разбросанные перья, звериные повадки, дикость и необычность, сквозившие в каждом жесте.

Да, он теперь видел ее лицо, он смотрел на оригинал, а не на образ, сотворенный им самим.

В этом лице не было ничего действительно необычного в чертах не было ничего уникального, но лицо это как открытая книга сообщало о лесной девочке столь много.

Независимость привольность жизни выражалась не в какой-то особой подвижности черт, а просто во всем облике. Линия рта редко менялась, если не считать тех моментов, когда лесная девочка с животной радостью пожирала зажаренную птицу. Лицо не было подвижным и выразительным – оно, скорее, напоминало маску, но в этой маске отражалась ее жизнь, а не ее мысли. Лицо было цвета яйца малиновки и такое же веснушчатое. Волосы летающей девочки были черными как смоль и густыми, но не длинными – они едва доставали ей до плеч. Наверное, она каким-то образом обрезала их. У нее была круглая, очень ровная шейка, такая гибкая, что когда девочка с текучей легкостью поворачивала голову, сразу вспоминалась гибкость змеи.

Именно своими движениями, быстрыми, уверенными, а не чертами лица, она передавала Титу ощущение просто фанатичной независимости от кого бы то ни было.

Девочка, обглодав кости сороки, отбросила их через плечо в темноту и достала откуда-то рядом с собой деревянного ворона. Девочка поворачивала ворона во все стороны, внимательно разглядывая его, но никакого выражения при этом на ее лице не появилось. Девочка положила деревянную птицу на землю рядом с собой, но место там было неровное, и ворон упал головой вперед. Безо всяких колебаний девочка, сжав кулачок, ударила деревянного ворона – так ребенок наказывает провинившуюся игрушку. Вскочив на ноги, она скользящим движением ноги отшвырнула ворона в сторону, тот отлетел к стене пещеры.

Теперь, когда она вскочила на ноги, она казалась совсем иным существом, отличным от того, которое только что сидело на корточках у огня. Она стала стройной и грациозной, как молодое деревце. Она повернула голову ко входу в пещеру, занавешенному пеленой дождя. Несколько мгновений девочка безо всякого особого выражения смотрела на отверстие, задернутое потоками ливня, а потом двинулась по направлению к нему. Сделав пару шагов, она остановилась. Ее тело явно напряглось, а голова стала вращаться во все стороны, при этом плечи не двигались – ее голова, как у птицы, могла почти полностью поворачиваться назад. Ее взгляд пробежался по пещере. Было видно, что она чем-то обеспокоена.

Тонкое стройное тельце изготовилось к бегству. Ее глаза снова медленно оглядели пещеру, взгляд всверливался во все темные углы. Но вот взгляд замер, и Тит догадался, что она смотрит на его рубашку, мокрую, изорванную, лежащую среди папоротников на полу пещеры.

Девочка повернулась и легкими и настороженными шагами подошла к брошенной рубашке, вокруг которой уже успела собраться лужица. Девочка присела на корточки и снова превратилась в уродливую, почти отвратительную лягушку. Ее взгляд по-прежнему подозрительно двигался по пещере. На некоторое время он задержался на огромных папоротниках, под которыми скрывался Тит.

Девочка бросила еще один взгляд на вход в пещеру а потом, осторожно подняв рубашку с полу и держа ее перед собой на вытянутых руках, стала разглядывать ее. С рубашки капала вода. Девочка сложила рубашку и стала с удивительной силой ее выкручивать. Затем разложила рубашку на земле и, по-птичьи склонив голову набок, стала снова внимательно рассматривать.

У Тита от неудобного положения затекли руки и ноги, и ему пришлось лечь на спину, чтобы поменять положение. Когда он вновь посмотрел сквозь папоротники, то девочки возле рубашки уже не оказалось – она переместилась ко входу. Тит понимал, что не сможет оставаться под папоротниками вечно – рано или поздно ему придется выбраться из-под них и явиться девочке. Тит уже собрался подняться на ноги – будь что будет, – когда очередная молния ослепительным светом затопила вход в пещеру. Девочка четким черным силуэтом вырисовывалась на фоне призрачного металлического сияния – она стояла слегка прогнувшись,

откинув голову, открыв рот и ловя высвеченные молнией потоки дождя, казалось, сама молния падает в ее широко открытый рот. На мгновение девочка превратилась в черный контур вырезанный из бумаги – все линии были удивительно совершенны, а ее рот, казалось, хотел выпить все небо. А потом снова опустилась темнота, и через пару секунд Тит увидел, как девочка появляется из темноты и вступает в круг света, отбрасываемого костром. Было ясно, что рубашка очень занимает ее – девочка опять подняла ее с земли и стала вертеть перед собой то сяк, то эдак. Наконец она подняла ее над головой, продела в рукава руки и натянула через голову. Теперь это простое одеяние выглядело на ней как просторная ночная рубашка.

Тит чье впечатление от этого странного создания менялось чуть ли не с каждой минутой – то это отвратительная лягушка, то гибкая змея то грациозная газель, – был тем не менее еще раз поражен тем преобразованием, которое произошло с девочкой после того, как она надела на себя его рубашку.

Но что значило его смятение по сравнению с тем, что создание, которое он искал, само забралось в пещеру, спасаясь – как и он – от ливня! А сейчас вот оно разглядывает надетую на себя рубашку, поправляя на ней складки, рубашка опускалась почти до щиколоток.

Тит уже не помнил о дикости, живущей в этом создании, он не думал о ее невежестве, он не думал о том, что вот совсем недавно она поймала, убила и съела птицу. Перед ним было нечто застывшее, безвременное, отрешенное. Он видел лишь грациозный наклон головы. И не спуская с девочки глаз, Тит поднялся из папоротников.

II

Воздействие неожиданного появления Тита на девочку было столь сильным, что он невольно вздрогнул и сам и отступил на шаг. Несмотря на то, что ее движения сильно стесняла мокрая и слишком просторная для нее рубашка Тита, она взвилась в воздух, одним прыжком оказалась у стены пещеры и, подхватив с земли один из валявшихся на земле камней, злобно и с поразительной силой швырнула его в Тита. Все это произошло так быстро, что хотя Тит успел дернуть головой в сторону, камень больно оцарапал ему щеку. Кровь побежала по лицу, потекла по шее.

Боль и удивление были написаны на его лице, ее лицо оставалось все таким же неподвижным. Однако если Тит замер без движения, то девочка стремительно двигалась.

Она вскарабкалась на один из выступов стены, ближайший к ней, и стала прыгать-перелетать с одного выступа на другой, продвигаясь по направлению к выходу. Тит стоял в проходе, ведущем ко входному отверстию. Девочка явно стремилась добраться до того места, с которого могла бы пролететь над головой Тита и – соответственно – попасть в проход, а оттуда – наружу.

Но Тит, вовремя догадавшись о намерениях девочки, сделал шаг вглубь узкого и невысокого прохода, тем самым перекрыв ей всякую возможность проскочить мимо него. Но он тем не менее, стоя в проходе, мог следить за всеми перемещениями странного создания; с того места, где он находился, ему открывалось все пространство пещеры. Увидев, что бегство не удалось, девочка взобралась-взлетела на один из выступов, почти под самым потолком пещеры, на котором уже побывала, и устроилась там, в нескольких метрах над землей, среди папоротников, свисающих с потолка. Она не сводила глаз с Тита, на ее лице по-прежнему не возникало никакого выражения, лишь голова двигалась из стороны в сторону – как у кобры.

Раненная щека вывела Тита из состояния восторга перед странным созданием. Тит даже разгневался, а его страх перед существом, как ни странно, уменьшился. И не потому, что

летающая девочка теперь казалась менее опасной – даже наоборот! – а потому, что она воспользовалась таким заурядным способом ведения боевых действий – просто швырнула камень. А это было уже вполне доступно пониманию.

Тит, рассерженный и удивленный, тоже не сводил глаз с существа. Он чувствовал, что если бы она могла выломать глыбы камня из стены и потолка пещеры, она бы это сделала и стала бы швырять их в него. При этом он также ощущал, что в нем шевелится какое-то противоречащее всякому здравому рассудку желание обладать ею. С первого взгляда она действительно выглядела как девочка лет десяти-двенадцати, однако при всей ее subtilности у нее было тело вполне взрослой девушки. Вызов, который она бросала всему тому, что символизировал собой Горменгаст, действовал на Тита возбуждающе. И хотя, – с одной стороны, боль в щеке сердила его и ему хотелось схватить неуловимое создание, ударить ее, заставить ее подчиниться, в то же время легкость, с какой она переносилась с одного узкого уступа на другой, соблазнительность, с какой влажная рубашка прилипала к ее телу, возбуждали в Тите влечение к ней. Ему хотелось мять ее маленькие груди, гладить ее руки и ноги, полностью подчинить ее своей власти. Но на какое-то мгновение все остальные чувства оттеснил гнев, быстро, впрочем, улегшийся.

Тит не понимал, как это странное создание, не имея крыльев и теперь отягощенное мокрой, слишком просторной рубашкой, может так легко перемещаться в воздухе. Это и пугало и раздражало одновременно. Рукава свисали очень низко, и как ей удалось так быстро высвободить ладошку, чтобы швырнуть камень?

Тит, глядя на фигурку, скрючившуюся на каменном выступе под потолком, облепленную влажной материей, словно только что вылепленную из мокрой глины, вдруг выкрикнул несвоим голосом:

– Я твой друг! Друг! Ты что, не понимаешь этого? Я Герцог Тит! Ты что, не слышишь меня?

Личико, похожее на яйцо малиновки, смотрело на Тита сквозь папоротники, но ответа не последовало; слышался лишь звук, похожий на шипение.

– Послушай! – еще громче выкрикнул Тит. Сердце у него бешено колотилось, и слова выговаривались с трудом. – Я искал тебя!.. Я шел за тобой! Неужели ты не понимаешь? Из-за тебя я убежал из Замка!!

Тит подошел поближе к стене, так, что летучее создание находилось почти прямо у него над головой.

– И я нашел тебя! Поэтому, ради Бога, скажи что-нибудь, поговори со мной! Неужели ты не умеешь говорить? Неужели не умеешь?

Он увидел, как открылся ее ротик, но вместо членораздельной речи Тит услышал звуки, которые не имели к ней отношения. Тит получил ответ, но не тот, который бы ему хотелось услышать.

– Кажется, ты и в правду не умеешь говорить...

Те звуки, которые вырвались из горла странного создания, были столь дикими, что у Тита не осталось сомнений – она не только не умеет говорить, даже по-своему, по-звериному, но и не понимает ни одного человеческого слова. Звуки были высокими по тону, резкими, не связанными между собой. Нет, никакого вразумительного смысла в них не было.

Но мог ли он в таком случае сделать что-нибудь, чтобы показать ей, что он не враг, что он вовсе не намерен мстить за свою израненную, окровавленную щеку? Рана на щеке подсказала ему одну идею. Тит медленно опустился на колени и, не сводя глаз с фигурки, скорчившейся под потолком, стал шарить вокруг себя. Он чувствовал, что создание с настороженностью маленького зверька следит за каждым его движением. Даже на расстоянии он видел, что тело странного существа, подрагивающего под складками рубашки, очень сильно напряжено.

Нащупав камень, валявшийся на полу прохода, Тит выпрямился во весь рост и вытянул перед собой раскрытую руку, на ладони которой лежал камень. Ведь должна же она понять хотя бы этот жест. Тит может швырнуть в нее этот камень, но он этого не делает, значит, у него нет недобрых намерений! В течение нескольких секунд Тит держал камень на раскрытой ладони, а затем швырнул его через плечо. Камень звонко цокнул о стену и скатился вниз.

Но на веснушчатом лице не появилось никакого выражения. Хотя девочка видела все, но, насколько мог судить Тит, то, что он проделал, не имело для нее никакого смысла. Всмотревшись в нее повнимательней, он вдруг понял, что она готовится к новой попытке удрать. Ее взгляд метнулся по пещере, словно для того, чтобы еще раз осмотреть все каменные выступы, потом вернулся к Титу, затем вновь перескочил на что-то, расположенное в глубине. И тут Тит вспомнил, что там расположены выходы двух трещин, дымоходами поднимающихся сквозь скалу; через них хотя и не без сложностей вполне можно было выбраться наружу.

Судя по всему, она именно это и собиралась сделать. Чтобы попасть к этим трещинам с того места, где она сидела, ей надо было обогнуть всю пещеру – Тит позабыл, что по воздуху она могла двигаться и более кратким путем. Трещины были вполне достаточного размера, чтобы пропустить ее. А забравшись внутрь, она наверняка сможет выбраться наружу, под серые потоки дождя.

А дождь все лил. Его шум не стихал ни на мгновение, но Тит уже так привык к нему, что перестал его замечать, как перестал замечать и раскаты грома и вспышки молний. Теперь было бы даже странно подумать, что все эти звуки могут быть не слышны.

Вдруг летающее создание взвилось в воздух и безо всяких усилий перепорхнуло на более широкий каменный уступ. Едва приземлившись там, летающая девочка стала стаскивать с себя рубашку – так человек сражается с мокрым парусом, который неожиданно обрушился на него. Но рубашка запуталась, и, ослепленная на мгновение складками, закрывшими лицо, она, очевидно поддавшись панике, сделал неосторожное движение, потеряла равновесие и с глухим криком свалилась с края выступа вниз.

Тит, который, не раздумывая, бросился за ней, как только она совершила перелет на другой выступ, оказался прямо внизу в тот момент, когда она падала. Он выставил вперед руки, слегка подогнул колени, немного закинул голову назад. Ослепленная рубашкой, не видя, куда летит, она упала прямо в протянутые руки Тита. Вес, который приняли его руки, плотно сомкнувшиеся вокруг щуплого тельца, был поразительно мал, и колени Тита подкосились не от того, что толчок был слишком силен, а от того, что они словно оказались обманутыми. Тит упал от неожиданности – ему показалось, что он поймал перо и это перышко сбило его с ног. Но его руки крепко сжимали существо, которое билось под холодной мокрой материей рубашки. Не вполне доверяя силе своих рук, Тит перевернулся и всем своим весом придавил безумно бьющееся создание к полу пещеры.

И только теперь Тит по-настоящему осознал, сколь маленьким – несмотря на свои очертания взрослой девушки – было пойманное создание, в руках у него была живая статуэтка. Она дергалась из стороны в сторону, и Тита поразила сила этого крошечного существа. Ее голова, пытаясь освободиться, натягивала материю рубашки так плотно, что четко проступали форма головы и даже черты лица; это напоминало голову мраморной статуэтки, много веков пролежавшей у берега под водой и изглаженной бесчисленными волнами. Воображение превращало статуэтку, которую Тит все сильнее сжимал в руках, в большую женщину, и он вздрагивал от все возрастающего вожделения. Сжимая трепещущую статуэтку правой рукой изо всех сил, Тит левой рукой стал сдирать рубашку с ее головы.

Когда наконец это ему удалось, он заплакал – головка действительно была крошечная. Напряжение, охватившее все его члены, мгновенно спало, и губы его, дрожавшие от желания

запечатлеть первый девственный поцелуй, замерли. Поцелуй умер. Тит наклонил голову и приложил свою щеку к крошечной щечке живой статуэтки, которая вдруг перестала биться в его руках. Слезы неудержимо текли из глаз Тита, и он чувствовал, как они льются по щекам, отчего и ее щека стала мокрой. Тит поднял голову, он понял, что его страсть не найдет выхода – и его охватило тяжелое ощущение несостоявшегося избавления.

Положив голову на землю, она напряженно во что-то всматривалась. И ее тело, которое на несколько мгновений расслабилось, словно растаяло в его руках, снова напряглось – гибкая податливость снова превратилась в жесткий камень.

Тит медленно повернул голову и посмотрел в ту сторону, куда смотрело создание, которое он все еще сжимал в руках. В двух шагах от него стояла Фуксия; с нее потоками стекала дождевая вода, мокрые волосы змеиными прядями свисали с головы, а лицо было закрыто руками.

III

В следующее мгновение Тит ощутил, что лежит на земле один. Рука его стискивала пустую рубашку. В тот момент, когда Тит отвлекся и вспомнил, что есть какой-то другой мир, в котором существуют сестра, мать, Замок, в котором он не просто человек, а правитель Горменгаста, мир, в котором царит Горменгаст, со всем тем, что он воплощает, создание вырвалось из его ослабевшей хватки.

Тит услышал дикий протяжный вопль, в котором в этот раз отчетливо звучали нотки восторга, победы – и насмешливое презрение. Тит вскочил на ноги, у него кружилась голова, но он, спотыкаясь, бросился к выходу из пещеры. Она стояла в нескольких шагах от входа, под ливнем, по колени в воде, обнаженная как сама природа. Молнии теперь сверкали непрерывно, озаряя сочным металлическим светом все вокруг. Таинственное создание сейчас особенно напоминало живую статуэтку, словно вылепленную из огня.

Тита охватило чувство, которое можно было бы назвать экзальтацией. У него не было ощущения того, что он потерял это таинственное существо – его захватила лишь слепая и счастливая гордость от того, что он обнимал это диковинное создание, прижимал к себе эту обнаженную статуэтку, которая взорвалась еще одним насмешливым воплем.

Тит понял, что они больше никогда не встретятся. Он прикоснулся к какой-то совершенно темной стороне жизни, и этого пока было достаточно. Тит теперь смотрел на диковинное создание почти равнодушно – все уже осталось в прошлом, и даже в настоящем оставалось лишь трепетное переживание того, что уже миновало.

Но когда, вырвавшись из самого нутра грозы и пробив себе извилистую дорогу от туч к земле и высветив все слепящим жестоким светом, молния сожгла таинственное существо с телом женщины, словно оно было сухим листиком, и Тит мгновением позже осознал, что мир лишился этого создания навсегда, тогда что-то надломилось в нем, исчезло, выжгло без следа; что-то в нем умерло, словно никогда его и не было.

В Тите умерла юность. В свои семнадцать лет он вступил в иной этап жизни. Детство и отрочество остались лишь в воспоминаниях. Тит стал взрослым человеком.

Тит повернулся и пошел внутрь пещеры. Фуксия стояла, прислонившись к стене. Тит остановился перед ней, но они продолжали хранить молчание.

Какой слабой и беззащитной вдруг показалась ему Фуксия! Тит раздвинул мокрые волосы, падавшие ей на лицо, а когда она оттолкнула его руку жестом усталой, разочарованной женщины, он в полной мере почувствовал свою только что обретенную, новую силу.

В тот момент, когда ему, казалось бы, следовало сильно переживать по поводу смерти своей фантазии, он не чувствовал особой горечи и печали. Он самоутвердился, он был самим собой. Впервые он почувствовал себя поистине свободным. Он узнал, что существует жизнь, совершенно отличная от жизни Замка. Завершился целый этап его жизни – он до конца выпил чашу фантазии и романтики. Одним залпом. И в ней ничего не осталось. А сама чаша разбилась на мелкие кусочки. Но в нем благодаря испытанному чудесному напитку остались понимание красоты и уродства, он познал пламень и лед, кровь, текущая по его жилам, насытилась чем-то новым, и он мог начинать все сызнова.

Да, чудное создание погибло, да, его больше нет... его испепелила молния... но если бы не Фуксия, стоявшая рядом с ним, Тит бы кричал от счастья – он стал взрослым!

IV

Прошло довольно много времени, прежде чем Тит и Фуксия обменялись первыми словами. Сломленные неожиданно навалившейся усталостью, они сели на земляной пол пещеры. Титу удалось убедить Фуксию снять с себя длинное красное платье, которое Тит тщательно выкрутил и разложил на камнях перед огнем, который оживил, бросив в него несколько веток, обнаруженных в одном из углов пещеры. А теперь ему очень хотелось побыстрее уйти отсюда. Мертвый камень стал давить на него. Эта пещера была для него уже полностью в прошлом. Но Фуксия, у которой кружилась голова от утомления, еще не была готова отправиться в путь. А путь предстоял долгий и нелегкий.

Когда Тит искал в пещере сухие ветки для костра, он обратил внимание на нескольких мертвых птиц, лежавших на каменных выступках – у него даже мелькнула мысль: а не зажарить ли их? Но голод его неожиданно пропал и больше к нему не возвращался.

После длительного молчания Фуксия сказала тихим, тяжелым голосом:

– Я отправилась сюда, потому что надеялась найти тебя именно здесь... Я уже немножко отдохнула... Нам пора отправляться. Дождь не ослабевает. Если так пойдет и дальше, скоро все вокруг зальет водой.

Тит, поднявшись на ноги, подошел к выходу из пещеры. Фуксия была права – им действительно грозила опасность. Ливень не только не стих – наоборот, он усилился, а тучи казались еще более тяжелыми и угрожающими.

Тит быстро вернулся в пещеру.

– Я всем говорила, что у тебя от духоты и всего прочего произошло временное помрачение... что ты не отдавал себе отчета в том, что делаешь... что с тобой такое бывало и раньше... Когда мы вернемся, ты должен говорить то же самое... Когда мы доберемся до Замка, мы разойдемся... так, чтобы вместе нас никто не видел. Пошли.

Фуксия тяжело поднялась на ноги и натянула на себя через голову тяжелое от влаги, еще совсем не высохшее платье. На ее сердце лежала тяжесть разочарования... Ее так беспокоило неожиданное исчезновение Тита, она боялась, не произошло ли с ним непоправимой беды, она отправилась в изнурительное путешествие, она рисковала ради него... она нашла его живым там, где и надеялась найти... Но с кем? В объятиях с каким-то отвратительным созданием! С тем созданием, которое все называли «Оно»!

Фуксия решила – даже поклялась себе, – что не будет никогда упоминать об этом создании. В ней заговорила гордость Стонов, болезненная, неистовая. Она считала, что кроме нее у Тита не было близкого человека, а если бы кто-нибудь и появился, то он обязательно рассказал бы ей. Она понимала, что она всего лишь его сестра, но слепо верила, что, хотя и пошла наперекор ему

в том, что касалось Щуквола, она для Тита была куда более необходимой, чем когда-то был для нее Щуквол.

Тит, надевая свою порванную и все еще сырую рубашку, сыгравшую такую неожиданную роль, внимательно посмотрел на Фуксию.

– Фуксия, она погибла.

Фуксия подняла голову и пробормотала:

– Кто?

– Эта девочка... это создание из дикого леса.

– Погибла? Но она же только что...

– Ее убила молния.

Фуксия шагнула в сторону выхода из пещеры.

– Боже, неужели ничего нет, кроме подлости и смерти? – прошептала она, словно обращаясь к самой себе. – Потом, повернувшись к Титу, уже громче сказала: – Тит, ничего мне не рассказывай, ничего. Я ничего не хочу знать. Ты живешь своей жизнью, а я живу своей.

Тит подошел к Фуксии, стоявшей у самого выхода. Вид, который открывался перед ними, невольно внушал страх. Даже сквозь плотную пелену дождя было видно, что все низины уже залиты водой.

– У нас осталась одна-единственная возможность добраться до Замка, – сказал Тит.

– Да, только через туннель.

Они одновременно сделали шаг вперед, и на них тут же обрушился тяжелый груз воды, низвергающейся с неба. Их продвижение ко входу в туннель стало кошмаром отчаянной битвы с водой. Им приходилось брести в воде по щиколотку, по пояс, а то и по шею и не раз выручать и даже спасать друг друга. Их ноги цеплялись за скрытые под водой корни и стелющиеся растения; они натыкались на затопленные водой кусты; вокруг них с деревьев, пораженных молниями, падали тяжелые ветви, которые грозили размозжить им головы или увлечь с собой навечно под воду. Не раз им нужно было возвращаться назад, обходить те места, где вода была слишком глубокой или трясина слишком предательской. К тому времени, когда они добрались до склона, на котором располагался вход в туннель, казалось, сам воздух превратился в воду, в которой они могут каждую секунду утонуть. Когда они добрались к самому входу, они увидели, что в черное отверстие льется вода. Но тем не менее уже само по себе то, что им удалось добрести до него, принесло величайшее облегчение, и в порыве бесконтрольной радости брат и сестра обнялись. На несколько мгновений они снова стали маленькими детьми, братом и сестрой, между которыми не было никаких разногласий.

Вода хотя и хлестала в туннель, еще не затопила его. Туннель казался невероятно длинным – ведь приходилось двигаться в темноте на ощупь. Они цеплялись за корни, руки касались чего-то скользкого, в воздухе стоял тяжелый дух прелости и гниения. По мере того, как они приближались к Замку, им все чаще попадались участки, сквозь которые приходилось брести по колено в воде. Горменгаст располагался в центре огромной естественной котловины и путь к нему проходил от более возвышенной местности к низине.

Когда Тит с Фуксией выбрались наконец из туннеля и смогли выпрямиться в полный рост, они двинулись по коридорам Безжизненных Залов, многие из которых были уже частично затоплены водой. Продвижение сквозь затопленные участки было мучительно медленным. Им приходилось брести по пояс в воде, нащупывая дорогу перед собой концами разваливающихся туфель. Когда они добирались до сухих еще участков или лестниц, они усаживались, чтобы передохнуть. Однако сидеть долго не приходилось – они видели, как буквально у них на глазах постоянно прибывает вода. Хорошо еще, что Тит помнил путь, который должен был привести к пролому в стене за статуей в Галерее Скульптур, к тому отверстию, через которое он много лет

назад, спасаясь от Баркентина, выбрался в незнакомую часть Замка и долго блуждал, прежде чем ему удалось найти путь назад.

Но вот наконец он у цели. Тит, шедший впереди, пролез в пролом и, прячась за пьедесталом статуи, выглянул в Галерею. Посмотрел в одну сторону, потом в другую. В полутемной галерее он никого не увидел, и в этом ничего особо удивительного не было. Вода добралась уже и сюда и покрывала пол словно темным, медленно движущимся ковром. Становилось ясно, что нижние этажи, которые уже стали подвергаться затоплению, были эвакуированы. Общая спальня, где до сих пор проводил ночи Тит, находилась этажом выше, а комнаты Фуксии – еще выше. Фуксия присоединилась к Титу, и они уже были готовы выйти в галерею и, шлепая по струящейся воде, отправиться, разойдясь, каждый к себе, когда услышали всплеск. Тит отпрянул и затолкал сестру назад за постамент. Всплеск стал повторяться с правильными интервалами, звуки приближались, становились все громче, из-за угла пьедестала Тит и Фуксия увидели на воде качающиеся красные отсветы, отбрасываемые фонарем.

Сдерживая дыхание, Тит осторожно выглянул и увидел тупой нос плоскодонного ялика, плывущего по коридору. В ялике по центру сидел пожилой человек, держащий в руках длинный шест, который опускал в воду и отталкивался от пола то с одной, то с другой стороны ялика. Шест пока погружался неглубоко. Были даже слышны глухие удары его конца о плиты, которыми был вымощен пол. Ялик двигался вперед плавно и неспешно. На носу лодочки был установлен красный фонарь, а на корме поперек ялика лежало ружье. Титу показалось что оно взведено.

И Титу, и Фуксии приходилось видеть этого человека раньше. Он был одним из тех многих часовых или дозорных, которых отправили охранять нижние этажи обитаемой части Замка. Судя по его появлению, ни разразившаяся невиданная гроза, ни затопление ни исчезновение Тита не ослабили требований к охране Замка, и поиск «пегого зверя» продолжался как днем, так и ночью.

Как только красный фонарь и его отражение скрылись в конце галереи, Тит и Фуксия выбрались из своего укрытия и побрели по воде к ближайшей лестнице.

Поднимаясь по лестнице, еще до того, как добрались до первой лестничной площадки, они поняли, что в Замке происходят большие перемены. Кругом громоздились кучи вещей, вздымающиеся над перилами – мебель, большие и малые коробки, корзины, посуда, книги, инструменты, свернутые в рулоны ковры и дорожки. Казалось, лестница была превращена в склад или в огромную лавку, где торгуют всякой всячиной.

На столах, стульях и креслах сидели и лежали уставшие люди. Кое-где горели фонари, но, по всей видимости, все спали – никто из этих людей не двигался.

Проходя между ними на цыпочках и оставляя за собой мокрые следы, Тит и Фуксия добрались наконец к развилке коридоров, которая была им нужна. Времени постоять и поговорить у них не было, но все же они, глядя друг на друга, на минуту замерли.

– Тут мы расстанемся, – сказала Фуксия. – Не забудь, что тебе следует говорить Помнишь, я тебе объясняла? Ты не отдавал себе отчета в том, что делаешь, а когда пришел в себя – оказалось, что ты в лесу. Ты добирался домой сам. С момента твоего... исчезновения мы вообще не виделись.

– Не волнуйся, я все скажу как надо.

Они расстались, каждый из них отправился по своему коридору. И скоро они растворились в темноте.

Глава шестьдесят девятая

Никто из ныне живущих в Замке не мог припомнить ничего даже отдаленно похожего на тот страшный, непрекращающийся ливень, который обрушился на Горменгаст и земли вокруг. Все низины превратились в озера, вода все прибывала. Огромную вдавленную в центре равнину, посреди которой стоял Горменгаст, стало затоплять. Вода прибывала с каждой минутой. Был затоплен уже весь первый этаж.

Молнии сверкали, гром гремел не переставая. Казалось, какой-то озорной мальчишка зажигает и гасит в небесах фонарь. По поверхности вод потопа, как невиданные чудища, плавали вырванные с корнем или расколотые молниями деревья. Река Горменгаст вышла из берегов, рыбу можно было удить прямо из окон нижних этажей Замка.

Все, что выступало над разливающимися водами – огромные валуны, холмы, сторожевые башни Внешних и Внутренних Стен Горменгаста, – было усеяно множеством различных животных, искавших спасения от потопа и, казалось, не обращавших друг на друга – несмотря на скученность – никакого внимания. Самым большим естественным пристанищем была, конечно, Гора Горменгаст, которая довольно быстро превратилась в остров суровой красоты; у подножия горы деревья склоняли свои ветви к воде, а вершина горы, на которую обрушивался ливень, мрачно поблескивала при вспышках молний, как оголенный череп.

Большая часть сухопутных животных, которым удалось спастись от первого натиска потопа, собралась на склонах Горы; в воздухе, несмотря на непрекращающийся тяжелый дождь, с криками постоянно носились птицы, перелетающие с места на место в поисках пристанища.

Другим огромным прибежищем для животных оказался Замок Горменгаст, к которому со всех сторон устремлялись лисы; рядом с ними бежали зайцы, крысы, барсуки и множество других тварей, живущих в лесу и по берегам реки. Они стекались к Замку, мокрые, перепуганные, бегущие по шею в воде, тонущие, скулящие и визжащие, не сводящие глаз со спасительных уступов.

Замок Горменгаст, как и Гора, напротив которой он стоял, почти не уступая ей в размерах, превращался в остров. Острова, которые образовывались вокруг на равнине, уходили под воду, превращавшуюся в теребимое ветром и ливнем море, охватывающее Горменгаст со всех сторон.

Как только стало ясно, что разразившийся ливень далеко выходит за рамки даже очень сильного и продолжительного дождя и грозит потопом, который со всех сторон быстро подступал ко внешним стенам, были отданы распоряжения эвакуировать наиболее отдаленные части Замка, опасности быть смытыми водой подвергались деревянные постройки между стенами, не говоря уже о глинобитных хибарках Резчиков по дереву, которых было приказано эвакуировать в первую очередь; скот и лошадей сгоняли во внутренние дворы, за пределы стен были посланы группы людей с тем, чтобы они собрали повозки, телеги, плуги и все остальные сельскохозяйственные орудия, которые можно было спасти, и доставили в Замок. Все это временно помещалось в арсенале на южной стороне Замка и прилегающих внутренних дворах. Скот и лошадей согнали в огромную трапезную, которой уже очень давно не пользовались, для животных были устроены импровизированные перегородки, материалом для которых среди прочего послужили ветви деревьев, сорванные бурей и снесенные ветром по воде к южным околицам Замка.

Живущие вне Замка, которых сильно задело оскорбление, нанесенное им во время церемонии – не только одна из фигур, которые следовало сжечь, была непотребным образом похищена, но и сама церемония в связи с исчезновением молодого Герцога не была доведена до конца, – поначалу категорически отказывались вернуться в Замок. Но невиданный ливень стал

размывать их жилища, и они вынуждены были воспользоваться приказом переместиться в Замок; с мрачным видом оставляли они свои убогие, но такие древние жилища.

Радушие, с которым их принимали в эту годину опасности и тяжких испытаний, вместо того чтобы порадовать, еще больше озлобило их. Они не могли заниматься своим традиционным и единственным делом; перемещение в Замок не отняло у них много времени, не потребовало особенных усилий, и поэтому они могли предаваться невеселым размышлениям о тяжком оскорблении, нанесенном им Домом Стонов А теперь они вынуждены были принимать гостеприимство, оказываемое им этим Домом! В мрачном молчании толпа Резчиков и их семейств, несших на себе своих детей и свои нехитрые пожитки, брела по воде, бурлящей вокруг их ног.

Им была выделена одна из частей Замка, полуостровом выступающая в залившую все вокруг воду, в длину этот полуостров достигал приблизительно мили и возвышался на несколько десятков этажей. Резчики отыскивали более или менее пригодные для жилья помещения и заняли их, двери и не сгнившие полы здесь были редкостью, и Резчикам пришлось, используя подручные материалы, производить самый необходимый ремонт.

И здесь, в этой заброшенной части Замка, еще менее пригодной для жилья, чем их глинобитные хижины, озлобление и горечь Резчиков расцвели пышным цветом, но будучи не в состоянии выместить свою обиду на Горменгасте – неохватной абстракции, – они вымещали ее друг на друге. Припоминались старые, давно позабытые личные обиды; места, заселенные Резчиками, наполнились духом зла. Их лачуги смыты водой, они вынуждены жить в Замке, они стали такими же, как все живущие в Замке, такими же зависимыми от него – с этим, несмотря на свою нищету, они никак не хотели смириться.

Уныло созерцали они из окон нескончаемый дождь. С каждым днем тучи, казалось, становились все плотнее, чернее и мрачнее; их налитое неисчислимым количеством воды гадкое брюхо свисало чуть ли не до земли. Из верхних этажей Резчики, попавшие в невольное заточение, могли иногда различить очертания Горы Горменгаст. А иногда им даже удавалось при свете вспыхивающих молний увидеть, до какого уровня уже поднялась вода, взбиравшаяся вверх по ее склонам. За точку отсчета выбиралась какая-нибудь группа деревьев или большой каменный выступ, а потом все с каким-то болезненным интересом пытались определить, как скоро туда доберется вода.

Но потом унылая, напряженная, озлобленная атмосфера несколько разрядилась, и произошло это не в связи с каким-то внешним событием, а благодаря прекрасной идее одного старого Резчика, который предложил делать лодки. Это занятие, конечно, было далеко не той художественной резьбой по дереву, которой они с таким умением занимались всю жизнь, но уже хоть что-то – они по крайней мере могли работать с деревом. Как только эта идея была высказана, она с удивительной быстротой распространилась по всему «полуострову» Резчиков.

Отсутствие возможности заниматься тем единственным делом, которому они были предназначены, действовало на Резчиков не менее сильно, чем нанесенное им оскорбление. Когда всякая надежда, что им удастся остаться в своих глинобитных хижинах, развеялась, первое, что они стали собирать в корзины, были их инструменты – рашпили, резцы, пилы, деревянные молотки. Они унесли все инструменты с собой, но не смогли, конечно, унести заготовленные деревянные болванки – целые куски стволов, корни, тщательно высушенные и подготовленные для резьбы. Но все это им теперь бы и не понадобилось. Для сооружения плоскодонок и плотов нужны были совсем другие материалы, и вскоре деревянные балки с потолков в незанятых комнатах, деревянные перегородки, двери, деревянные настилы – все, что хоть мало-мальски могло пригодиться, – пошло в дело. Началось соревнование между семьями Резчиков в том, кому удастся раздобыть наиболее подходящие материалы. Соревнование было

жестким, бескомпромиссным. А по степени серьезности его можно было бы сравнить лишь с соревнованием, которое развернулось несколько позже, когда перешли непосредственно к созданию лодок и плотов: кто построит судно, не только самое пригодное для плавания, но одновременно самое оригинальное и самое красивое.

Резчики ни у кого не спрашивали разрешения на то, чтобы собирать дерево, в каком бы виде оно ни было, для постройки своих суденышек. Они просто отправлялись на поиски и брали, обдирали, отпиливали то, что им было нужно. Выделенная им часть Замка была достаточно обширна, и кроме них здесь уже очень давно никто не жил. Поэтому, хотя многое сгнило и пришло в негодность, все же деревья оставалось предостаточно; к тому же Резчики отправлялись в экспедиции и в более отдаленные части Замка, они обсуждали между собой, какие части деревянных конструкций можно снять без риска обвалить потолок, или стену, или лестницу, допустимо ли использовать декоративные панели со старой резьбой. Во многих деревянных перекрытиях появились зияющие дыры, в которые вечно грязные дети Резчиков швыряли всякий мусор и сыпали пыль на головы тех, кто находился этажом – или этажами – ниже. Жизнь Резчиков вошла почти в прежнюю колею. Горечь и озлобление были их хлебом, а соперничество – их вином.

Вскоре скрип пил, стук молотков наполнил ту часть Замка, где разместились Резчики. Они работали в постоянной полутьме, дождь хлестал в разбитые окна, гремел нескончаемый гром, и под такой аккомпанемент прямо на глазах росли сотни суденышек удивительной красоты и изящества.

Тем временем в главной части Замка были заняты лишь одним делом – перетаскиванием с одного этажа на другой, все выше и выше разнообразнейшего имущества.

Уже и второй этаж был непригоден для жилья. Потоп, воды которого проникали во все помещения того уровня, до которого он поднимался, становился угрозой не только для имущества. Погибало все большее число людей, неспособных быстро перемещаться или просто несообразительных, некоторые тонули, другие не могли выбраться из подвальных помещений, двери которых им не удалось открыть а были и такие, которые, не находя выхода, подолгу в отчаянии блуждали по коридорам, залитым водой.

Лишь очень немногие из обитателей Замка не принимали участия в изнурительной работе по перетаскиванию имущества по лестницам.

Приходилось время от времени переводить с этажа на этаж и скот, столь необходимый для выживания людей, оказавшихся из-за потопа в невольном заточении. Даже по самым широким лестницам перегонять его было трудно – животные пугались, их в любой момент могла охватить паника. И далеко не все проходило гладко. Во многих местах крепкие деревянные перила были сорваны, а железные – погнуты и искорежены, некоторые угловые камни сдвинуты с места, а на одной из лестниц напирание массы животных столкнули с низкого постамента каменного льва, который упал в пролет. Не обошлось и без прямых потерь: четыре коровы и одна телка сорвались с лестницы и рухнули вниз, пролетев целый этаж и разбившись насмерть.

Лошадей переводили по одной под уздцы, их копыта гремели по каменным ступеням, в полутьме были видно, как поблескивали их перепуганные глаза. Много усилий также потребовало перетаскивание сена и прочего корма для лошадей и коров, все приходилось переносить в больших мешках – втащить наверх телеги не было никакой возможности, пришлось на милость воды оставить на нижнем этаже также плуги и все прочие тяжелые вещи. При каждом новом перемещении наверх на каждом этаже приходилось бросать много полезных и нужных вещей. Когда воды добрались до арсенала сельскохозяйственных орудий, это огромное помещение быстро превратилось в кладбище ржавчины. Несколько десятков залов, где размещались библиотеки, были залиты водой. И книги, которые позабыли – или просто не

посчитали нужным вынести, – превращались в бумажную кашу. По коридорам плавали сорванные со стен картины, в некоторых местах было видно, как поднимающаяся вода постепенно снимает с крюков картины, которые еще остались висеть. Гибли неисчислимые колонии насекомых, поселившихся в трещинах стен, между камнями, в выбоинах и уголках. Там, где много поколений ящериц обитало в безопасности, теперь плескалась вода, вода, которая дюйм за дюймом неумолимо поднималась – как в кошмаре, от которого нельзя пробудиться.

Пришлось перемещать и кухни. Огромного труда стоило собрать и перенести тысячи кухонных принадлежностей, без которых нельзя было бы готовить пищу для обитателей Замка, не меньше усилий было затрачено на то, чтобы упаковать и перетащить из Центральной Библиотеки тысячи томов и манускриптов, в которых были записаны Законы и Ритуалы Горменгаста – без них архисложную структуру жизни Замка не удалось бы восстановить. Ящики с древними священными книгами сразу вытащили на чердаки, которые потом были надежно заперты, а у дверей поставлена стража.

Измученные люди, перетаскивающие вещи – обливающиеся потом, который покрывал их как воск, катящийся со свеч, – проклинали невиданный ливень, проклинали потоп, проклинали тот день, когда они родились. Казалось, этот кошмар уже никогда не кончится – все это постоянное перетаскивание вещей с этажа на этаж, перенесение на плечах тяжелых ящиков и корзин, втягивание громоздкой мебели с одного уровня на другой – всему этому не было конца, лопались веревки, и ящики, на поднятие которых было потрачено столько усилий, обрывались вниз, у людей от непосильной работы постоянно ныло все тело, сон был слишком краток, чтобы хорошо отдохнуть. Постоянно изобретались новые способы перетаскивания вещей, постоянно работали рычаги, постоянно скрипели веревочные блоки, постоянно крутились ворота и шкивы, постоянно с этажа на этаж переводили скот и таскали тяжелые предметы, постоянно перетаскивали запасы дров и угля, постоянно перемещали запасы продовольствия и всяческие ценности, перекачивали по настилам бочки с вином, перетаскивали особо ценную мебель. Неисчислимое количество вещей со складов, из склепов, из сундуков, зернохранилищ и арсеналов, из роскошных залов, годами стоявших закрытыми, из частных апартаментов, из комнат и спален перемещались все выше и выше, мебель, безделушки, произведения искусства, личные вещи – все было в постоянном движении. Здесь тащили огромный резной дубовый стол, там – изящные серебряные подсвечники и коробки с украшениями.

И все это делалось не стихийно, а по плану и весьма организованно, всем руководил мощный мозг – мозг, который спал много лет со времен девичества, мозг, который пробудился лишь после измены Щуквола, зевнул, потянулся и заработал. И теперь этот мозг действовал во всю свою мощь. Он принадлежал Графине Гертруде.

Именно она отдавала все приказы и распоряжения. Она приказала призвать Резчиков в Замок, она приказала принести ей огромную карту центральной части Замка. Графиня сидела за столом на одной из лестничных площадок, карта была развернута перед ней, она координировала все великое множество усилий, направленных на спасение имущества, перемещение людей и скота и их новое размещение. Она не давала времени своим подданным думать об опасности – всю свою энергию она тратила на решение сиюминутных задач, которые ставила перед ними.

С того места, где сидела, она могла наблюдать за перемещением вещей, которое происходило одним пролетом ниже. Вода уже подбиралась к пятой ступеньке расположенной под ней лестницы. Графиня следила за четверьмя мужчинами, с трудом тащившими длинный черный сундук, из которого каждый раз, когда его наклоняли, лилась вода. Сундук медленно втаскивали вверх по ступеням. На воде, плещущей у нижних ступеней, плавало множество

всяких предметов, обломков, обрывков. Каждый этаж приносил в жертву потопу свою долю забытых или ненужных вещей, которые поднимающаяся вода перетаскивала все выше и выше, и каждый этаж вносил в растущую флотилию плавающих в воде предметов свою лепту.

Некоторое время Графиня задумчиво смотрела на темную воду, видневшуюся в глубине лестничного колодца. Потом медленно повернула голову к группе посыльных, стоявших перед ней.

В этот момент появился еще один, запыхавшийся. Его посылали проверить слухи, достигшие центральных частей Замка; по этим слухам Резчики занялись строительством лодок и лишили свою часть Замка всего имеющегося там дерева, путив в дело все двери, потолочные балки, настил полов.

– Ну что? – спросила Графиня.

– Это правда, ваша милость. Они действительно изготавливают лодки.

– Ага. Что еще?

– Они просят большие куски какой-нибудь материи.

– Зачем?

– Нижние этажи там залиты, как и во всех других частях Замка. В верхних этажах почти не осталось застекленных окон, и дождь заливает их. Они хотят затянуть материей окна в тех комнатах, которые еще пригодны для жизни. Многие лодки, хотя и не совсем законченные, уже спущены на воду.

– А что это за лодки?

– Самых различных форм, ваша милость. Сделаны отлично.

Графиня подперла сцепленными руками подбородок и после короткого молчания сказала:

– Сообщить Хранителю Грубых Материй: пускай пришлет Резчикам всю мешковину, которую удалось спасти. Сообщить Резчикам, что в случае крайней необходимости их лодки могут быть реквизированы. Они должны продолжать изготавливать любые плавучие средства, все, что могут сделать из имеющихся материалов. Прислать мне Хранителя Речных Лодок. У нас же должны были быть какие-то собственные лодки?

– Я полагаю, что так, ваша милость. Но если что-то и осталось, то очень немного.

– Следующий посыльный! – позвала Графиня. Из группы посыльных вышел старик.

– Ну что?

– Ливень не утихает. По моим наблюдениям, он даже усиливается.

– Прекрасно, – тихо сказала Графиня. Все, стоявшие вокруг стола Графини, уставились на нее в удивлении. Очевидно, в первый момент все решили, что ослышались. Однако, посмотрев друг на друга, все посыльные и придворные по выражениям лиц убедились, что слух никого не подвел. Все крайне растерялись. Да, значит Графиня действительно сказала «Прекрасно», сказала тихо, но уверенно, не шепотом. «Прекрасно». Что бы это могло значить? Было такое впечатление, что все случайно подслушали высказанную вслух потаенную мысль Гертруды.

– Руководитель Спасения Тяжелых Вещей тут?

– Так точно, ваша милость.

Вперед вышел усталый бородатый человек.

– Дайте своим людям отдохнуть.

– Так точно, ваша милость, им просто необходим отдых.

– Нам всем нужно было бы отдохнуть. Но еще не время. Вода продолжает подниматься. У вас есть список того, что следует спасти в первую очередь?

– Так точно, ваша милость.

– Есть ли также списки у бригадиров всех бригад?

– Так точно, ваша милость.

– Судя по сообщениям, которые я получила, вода поднимется до того уровня, где мы сейчас находимся, через шесть часов. Всех работников разбудить через два часа. Провести ночь здесь уже не удастся, из всех лестниц, ведущих на следующие этажи, Шахматная лестница самая широкая. Приказываю в первую очередь выводить скот, затем переносить туши, затем зерно и так далее по списку. Все ясно?

– Так точно, ваша милость.

– Кошки хорошо устроены?

– Они выпущены в двенадцать помещений Голубого Чердака.

– Ага, потом следует... – Графиня, не договорив, умолкла.

– Мы слушаем, ваша милость.

– Господа, после того как мы переместимся на следующий уровень, мы и начнем.

Поднимающаяся вода всех нас сближает, разве не так, господа?

Все поклонились в молчаливом согласии, однако на лицах была написана все та же полная растерянность.

– С каждым проходящим часом все меньше остается комнат, в которых мы можем размещаться. Мы все время поднимаемся вверх, но рано или поздно наступит момент, когда двигаться будет уже некуда. Мы все будем плотно сжаты все вместе. Скажите мне, господа, разве могут изменники витать в воздухе и питаться им? Разве могут они пожирать облака? Глотать гром? Наполнять брюхо молниями?

Все отрицательно покачали головами и опять переглянулись.

– А разве могут они жить под водой как рыбы? Вон там, в глубине темных вод, я вижу щуку. Но изменник, как бы он ни прозывался, все же не щука. Он дышит воздухом, господа, как и мы все. Часовые все на местах? Особо усиленно охранять кухни и все съестные припасы!

– Все будет сделано, ваша милость.

– Все, довольно. Мы теряем время. Рассылайте приказ – всем два часа отдыха. Идите.

Графиня поднялась на ноги, а все, стоявшие вокруг стола, бросились исполнять ее приказы. Гертруда подошла к перилам лестничной площадки, оперлась на них локтями и посмотрела вниз. Вода поднялась еще на одну ступеньку. Графиня стояла и смотрела на медленно, но неуклонно прибывающую темную воду, Графиня замерла – огромная, массивные руки сложены на перилах, прядь рыжих волос на широком бледном лбу.

Глава семидесятая

Некоторое время назад, когда Графине сообщили о возвращении Тита в Замок, она тут же вызвала его к себе. Он рассказал ей, что ему сделалось дурно от духоты, что он впал в беспамятство и что по прошествии какого-то времени вдруг понял, что находится в лесу.

Пока Тит рассказывал эту выдуманную историю, Графиня внимательно смотрела на него, но не прерывала. Потом, когда Тит закончил свой рассказ, Графиня после довольно продолжительной паузы спросила его, видел ли он после своего возвращения Фуксию.

– Я повторяю – после твоего возвращения, – подчеркнула Графиня, – ибо, как явствует из твоих слов, уходя из Замка, ты был не в состоянии узнать кого бы то ни было. Я правильно тебя поняла?

– Да, мадам.

– Так вот видел ли ты Фуксию сразу после того, как ты вернулся, или некоторое время спустя?

– Нет, не видел.

– Я прикажу, чтобы твое объяснение стало известным по всему Замку и чтобы оно было немедленно доведено до сведения Резчиков. То, что на вас, сын мой, нашло это временное помрачение, было очень некстати. Можете идти.

Глава семьдесят первая

Ливень, не утихая, продолжался еще две недели, значительная часть Замка оказалась под водой, и верхние этажи были столь переполнены людьми, что, несмотря на дождь, пришлось на многих плоских крышах сооружать навесы, под которыми могли бы разместиться люди. На крыши выбирались из окон или через люки чердаков.

Первая флотилия сооруженных Резчиками лодок совершила свой первый выход в плавание. Лодки были не только оригинальными и красивыми, но и прекрасно держались на воде и ими было легко управлять. Резчикам было дано разрешение собирать все дерево, которое плавало в воде, для строительства новых лодок. С этим они и вернулись на свой «полуостров».

Для Графини выбрали большую, просторную и красивую лодку, в которой могло сесть несколько гребцов, а сама Графиня, несмотря на свой большой вес, легко и удобно размещалась на корме у кормила. Она предпочитала сама управлять лодкой.

Резчиков снабдили дегтем для смолки лодок и большим количеством краски для покраски суден. Лодку Графини расписали красной, черной и золотой краской. Нос лодки высоко поднимался над водой, несмотря на массивность, он был не лишен изящества, завершался он резным деревянным украшением в виде хищной птицы, раскрашенной красным, глаза были выкрашены желтым цветом с черными зрачками, так что напоминали подсолнухи, жестокий кривой клюв был также выкрашен черным. Большинство лодок, создаваемых Резчиками, имели подобные украшения на носу. Но Резчики стремились не только к красоте, но и к устойчивости своих лодок.

Однажды Титу сообщили, что для него построена лодка, которая уже ожидает его в одном из южных коридоров. Тит тотчас же отправился туда, где находилось сделанное для него каноэ. В любое другое время Тит, получив такую лодку в подарок и увидев ее, покачивающуюся на воде, наверное, не удержался бы от крика радости. Узкая, выкрашенная серебряной краской лодка казалась живым существом, идеально приспособленным для плавания по затопленным залам и коридорам Замка. Лодка, напоминавшая каноэ, управляемое одним веслом, словно сошла с картинки в детской книжке, одной из тех, которые когда-то читал Тит. Такая была бы радость тогда, в пору детства, слезть с огромного дубового стола, наполовину погруженного в воду, который служил причалом, и забраться в такую восхитительную лодку!

Но теперь, несмотря на то, что каноэ ему очень понравилось, Тит ощущал некоторую горечь и даже досаду. Лодка странным образом напомнила ему о тех временах, когда он еще не ощущал себя Герцогом когда он не видел ничего странного в том, что у него нет отца и что мать не только не проявляет никакой материнской любви, но и вообще никогда с ним не общается, когда он еще не знал, что такое смерть, гниение, предательство, убийство, когда никакие щукволы не прятались в темных недрах Замка и не держали всех в страшном напряжении. Но каноэ напомнило ему и о тех днях, когда он еще не чувствовал в себе той страшной двойственности, которая мучила его теперь, которая разрывала надвое его разум и душу – с одной стороны, в нем присутствовало все растущее, болезненное желание убежать от всего того, что воплощал в себе Горменгаст, и, с другой стороны, в нем была верность Горменгасту и неустрашимая, иррациональная гордость за свое происхождение, любовь, не менее глубокая, чем ненависть, которую он невольно испытывал к холодным камням своего безрадостного дома.

Но что же еще вызывало слезы, которые наполнили его глаза, когда он взялся за голубое двухлопастное весло и погрузил его в мрачную воду? В нем всплыло воспоминание о том, что ушло так же безвозвратно, как и его детство – он вспомнил о странном, летающем, непокорном, грациозном создании, которое было испепелено молнией.

Тит движением весла отправил каноэ в плавание. Великолепное создание безмянного умельца встрепенулось, подняло свой изящно заостренный нос, описало дугу и серебряной водной птицей легко поплыло по полутемной галерее. Тит стал грести более энергично, и суденышко ускорило свой бег. Далеко впереди, в конце темного коридора, виднелось серое пятно света. Тит направлялся к нему по затопленному водой коридору. Каждый гребок приближал его к выходу в холодное, иссекаемое потоками дождя море.

Сердце его ныло, а восторг, вызываемый красотой лодки, тем, как послушна она ему, лишь усиливал сердечную боль. Как бы быстро он ни двигался, он не мог убежать от своего страждущего сердца. Лопасты весла мерно и быстро погружались в воду по обеим сторонам каноэ, которое летело вперед, но вместе с ним над мрачными водами летело и его ноющее сердце.

Когда Тит приблизился к окну, которое и было источником света, он увидел, что уровень воды оставляет ему лишь небольшое пространство, в которое можно проскользнуть – окно было более чем на половину погружено в воду. Издалека Титу казалось, что расстояние между верхней частью окна и уровнем воды достаточно большое – сквозь него проникало довольно много света, а прямоугольное отражение на воде создавало иллюзию широкого прохода. Теперь же он убедился, что проскользнуть в весьма узкое пространство между уровнем воды и перемычкой окна будет отнюдь не так просто. Сильным гребком весла направив лодку прямо по центру окна, Тит распластался на дне, так, что никакая часть его тела не выступала над бортами. Закрыв глаза, он услышал тихое как шепот поскрипывание – лодка, задеваемая верхним краем бортов оконную перемычку, проскользнула наружу.

Тит, подняв голову, увидел, что над ним уже не нависает потолок, а раскинулось облачное небо, а вокруг – нововозникшее море. С неба срывался непрекращающийся дождь, однако его – в отличие от поднимающегося уровня воды – давно перестали замечать и воспринимали как нечто обычное и само собой разумеющееся, и поэтому Титу казалось, что погода хорошая. Тит пока не брался за весло, и каноэ по инерции скользило по воде и наконец, легко покачиваясь, остановилось. Тогда Тит одним гребком развернул лодку, и перед ним возникли каменные массивы Замка, уходящие к облакам; все нижние чести Титова царства были под водой. Там и сям над водами возвышались устремленные ввысь острова, чьи каменные скалы-стены были изъедены окнами, казавшимися входами в пещеры или орлиными гнездами. Из воды, как руки со сжатыми кулаками, грозящими небу своими костяшками, торчали архипелаги башен; некоторые из полуразрушенных башен напоминали амвоны, высокие, мрачные, черные, с которых читает проповеди сам Сатана.

Тит почувствовал, как внутри него шевельнулось нечто тяжелое, холодное, вызывающее тошноту – словно тяжелый язык шевельнулся в колоколе, в который превратился сам Тит, – острое чувство одиночества. Оно росло в Тите словно шар холодного стекла.

И вдруг Тит с удивлением обнаружил, что дождь прекратился! Вода, которую только что пенили дождевые струи, успокоилась, замерла, и поверхность ее, непрозрачная, свинцово-серая, усеянная миллионами кратеров от ударов капель, разгладилась, потемнела, и сквозь нее можно было заглянуть в глубину, в которой далеко под Титом виднелись сверху деревья, петляющие знакомые дороги, над кронами ореховых деревьев плавали рыбы. Особенно странно было видеть под собой берега и русло Реки Горменгаст, воды которой слились с водами потопа.

Какое отношение все то, что раскрылось перед Титом в страшной, удивительной красоте, имело к разрушительному потоку, погубившему столь много из веками копившихся богатств и приведшему к гибели стольких людей? Неужели эти каменные громады скрывали прячущегося отвратительного Щуквола, вынужденного вместе со всеми перебираться все выше и выше? Неужели где-то здесь жила Фуксия? Неужели здесь жили и Доктор Хламслив, и его мать,

Графиня, которая, проявив к Титу некоторую теплоту, снова отделилась?

Охваченный глубокой меланхолией, плыл Тит в лодке по успокоившимся водам. Мерно и неспешно работал он веслом. Было слышно, как с крыш, лишенных стоков, скапывает вода. Небеса значительно посветлели.

Возвращаясь к островам Горменгаста, Тит увидел множество лодок Резчиков, разбросанных как драгоценные камни по серой поверхности воды. Подплыв к стене, через одно из окон которой он совсем недавно выбрался в лодке на просторы моря, Тит обнаружил, что окно это уже скрылось под водой.

Тит направил лодку вдоль стены и через некоторое время добрался до залива, окруженного вертикально вздымающимися стенами. Миновав этот мрачный залив с застывшей водой, он поплыл дальше, но не обнаружил ни единого окна, которое находилось бы над уровнем воды. Ближайшие окна находились на высоте не менее четырех-пяти метров от поверхности. Тит решил вернуться в залив, в глубине которого на стенах виднелись точки окон, в неправильном порядке разбросанные по каменным уступам.

Эти стены, покрытые плющом, были во многих отношениях весьма необычны – по ним в разных направлениях карабкались ступени, ведущие к отверстиям в каменной кладке. Многочисленные окна, в беспорядке усеивающие заросшие зелеными вьющимися растениями стены, не давали никакого представления о том как располагались внутренние помещения.

Именно к этим стенам направил Тит свое каноэ, прозрачная вода под ним была холодна как смерть, а в ее глубинах скрывались затопленные чудеса.

Глава семьдесят вторая

Место, куда попал Тит, казалось совершенно заброшенным, безжизненным, безлюдным. Стены везде покрывал плющ, частично прикрывая окна, зияющие как беззвучно открытые беззубые рты, слепо смотрящие как глаза без век.

Тит подплыл к тому месту у одной из стен, где прямо к воде спускались каменные ступени. Эти ступени вели к балкону, располагавшемуся метрах в десяти-двенадцати над водой. По краям балкон окружали кружевные железные перила, но их так разъела ржавчина, что, казалось, даже от самого легкого толчка они обвалятся.

Когда Тит выбрался из лодки на ступень у самой воды и, став на колени, вытащил ее за собой – у него не было веревки, которая могла бы послужить фалинем, – он сразу почувствовал чье-то враждебное присутствие. Казалось, слепые окна, даже сами стены наблюдают за каждым его движением.

Уложив каноэ с которого скатывалась вода, на ступеньке, Тит откинул волосы со лба и поднял голову. Медленно обвел взглядом стены, брови у него при этом были нахмурены, глаза прищурены, подрагивающий подбородок агрессивно выпячен вперед. В царящей вокруг тишине хорошо было слышно, как с плюща капает вода.

Хотя ощущение того, что за ним наблюдают, было крайне неприятным, Тит подавил в себе панический страх, который стал в нем зарождаться, и стал подниматься по ступеням, ведущим к балкону. Сделал он это не столько потому, что было так уж интересно посмотреть что скрывается в заброшенных комнатах, сколько потому, что ему хотелось доказать самому себе, что он вовсе не боится каких-то там мрачных каменных стен и ковров угрюмого плюща. Как только Тит начал подниматься по ступеням, лицо человека, наблюдавшего за ним из одного из маленьких окон, расположенных в верхней части стены, исчезло, но исчезло лишь на мгновение – оно тут же появилось в другом окне. Перемещение было настолько быстрым, что трудно было поверить, что это одно и то же лицо, лицо того же самого человека, который наблюдал за Титом, когда он причаливал и вытаскивал лодку из воды. Но тем не менее это было одно и то же лицо. Невозможно представить себе, чтобы лица двух разных людей были столь похожи друг на друга и столь же уродливы. Темно-красные глаза вцепились взглядом в маленькое каноэ. Эти глаза давно уже следили за ним, и человек тут же отметил про себя то, сколь легко и уверенно слушается это суденышко руки управляющего им юноши.

Взгляд подглядывающего человека переместился с каноэ на Тита, который, поднявшись на пару десятков ступеней, оказался прямо под большим шатким камнем, этот камень, хорошо известный Щукволу, который можно было столкнуть прямо на поднимающегося Тита, легко поддавался бы сильному толчку.

Но Щуквол понимал, что покушение на молодого Герцога – как бы ни была мысль о смерти Тита приятна преступнику – открыло бы Щукволу путь к спасению лишь в том случае, если оно будет успешным. Но абсолютной уверенности в том, что камень, обрушившись вниз, наверняка убьет Герцога, не было, иначе Щуквол не колеблясь сделал бы это – хотя бы для того, чтобы удовлетворить страсть к убийству. Ну, а если камень все-таки пролетит мимо? Тогда это не только заставит Тита заподозрить, что на него из засады кто-то пытался совершить покушение – а кто мог бы это сделать, кроме Щуквола? – но и приведет к тому, что, придя в себя от неожиданности и испуга, Тит, не рискуя подниматься выше, повернется и бросится назад к своей лодке. А Щукволу нужна была именно лодка, которая позволила бы ему значительно быстрее перемещаться в лабиринтах полузатопленного Замка.

Поднимающаяся вода гнала убийцу с одного места на другое, но ему все время

приходилось прятаться недалеко от помещений, где складывались продукты и запасы еды, что очень сковывало его свободу перемещения. А ему нужно было перемещаться быстро и неслышно и посуху, и по воде. Иногда он оставался голодным несколько дней кряду, это происходило тогда когда ни к кухням, ни к складам он не мог подступиться.

Но частые перемещения всего населения Замка все-таки открывали Щукволу возможности получать доступ к съестным припасам, а теперь, когда, как надеялся Щуквол, дождь окончательно прекратился, дальнейшие переезды тоже прекратятся. Щуквол обосновался в крохотной комнатке без окон под самой крышей, из которой можно было выбраться через люк в потолке, оттуда легко было добраться по крышам, заросшим мхом и ползучими растениями, до люка, скрытого под плющом, через который можно было проникнуть в комнату, в которую снесена была часть провизии. И Щуквол страстно надеялся, что по крайней мере на время все останется без изменений. Глубокой ночью, когда в этом возникала необходимость, он отправлялся к заветному люку, осторожно и даже нежно – так обычно обращаются с грудными детьми – открывал его и бесшумно спускался по веревке, привязанной к ближайшей трубе, вниз, к кучам продуктов. Набрал в мешок того, что наименее подвержено порче, он вылезал по той же веревке назад; в этой комнате на полу, среди куч продуктов обычно спало несколько человек, но неусыпные стражи всегда стояли по другую сторону закрытой двери, а не в комнате, и поэтому Щуквол мог не беспокоиться, что они его учуют.

Но маленькая комнатка под крышей была не единственным прибежищем. Среди множества разбегающихся во все стороны крыш бывший Хранитель нашел несколько укромных мест, где можно было прятаться; на чердаках и на сухих этажах сразу под ними также имелось достаточно мест, где можно было надежно укрыться. Поэтому в ожидании того момента, когда воды начнут спадать и все двинутся мало-помалу вниз, преступник располагал надежными укрытиями. Если бы движение вверх прекратилось, Щуквол мог бы спокойно продолжить свои экспедиции в ранее не исследованные части Замка, где наверняка обнаружил бы массу заброшенных помещений, хотя и слишком удаленных от тех мест, где он мог бы добывать себе провизию. Но насколько проще и безопаснее было бы исследовать Замок, перемещаясь на такой легкой и маневренной лодке, которая лежала на широкой ступени лестницы внизу под ним!

Нет, он не будет сталкивать расшатанный камень вниз. Достаточной уверенности в том, что камень убьет Тита, не было, и хотя пьянящее искушение разделаться с правителем Горменгаста одним ударом было очень велико, Щуквол устоял – хоть это и было очень сложно – и не поддался ему.

А пока самое главное для Щуквола было его собственное выживание. Он был уверен, что так или иначе ему удастся расправиться с молодым Герцогом, если и не сейчас, то достаточно скоро. Щукволу доставляло огромное удовольствие ходить по лезвию бритвы, это возвышало его в его собственных глазах. Он вполне естественно вошел в роль Сатаны-одиночки; казалось, он начисто позабыл о том, что еще совсем недавно так любил изъясняться красивым слогом, что ему доставляло такое удовольствие исполнять обязанности Хранителя Ритуала и обладать властью над другими людьми. А теперь он находится в состоянии войны со всем Заком, открытой и кровавой. И незамысловатость этого положения импонировала Щукволу. Весь мир ополчился против него, вооружился и жаждал его смерти. А он, Щуквол, всех перехитрит. Убийца вел с миром самую простую и самую страшную игру.

Но лицо его уже не было лицом человека играющего. Это было даже не лицо Щуквола, каким оно было несколько лет тому назад, Щуквола, играющего в игру власти, это было даже не лицо греха, ибо с ним произошла очередная метаморфоза. Страшная карта его лица – белые пятна как моря, красные – как континенты и разбросанные острова – уже не привлекала столько внимания, сколько его глаза. В них жил новый Щуквол.

Хотя его мозг сохранил присущую ему хитрость и быстроту реакции, сам Щуквол существовал во внутреннем мире, который по сравнению с тем, в котором он пребывал до убийства Флэя, стал совсем иным. В нем произошли изменения, и эти изменения затронули самую его душу. Он уже не был преступником просто потому, что выбрал преступный путь. Теперь у него выбора не было. Щуквол существовал в мире абстракций. Его разум определял, где ему прятаться, что ему делать в том или ином случае, но душа, погруженная в кровавый туман, витала над разумом. И эта душа была видна в его горящих глазах, наполняя их жутким кровавым светом.

Когда он взглядом хищной птицы смотрел из окна, больше напоминающего вход в пещеру в скале, его мозг регистрировал все внизу – каноэ, Тита, стоящего на балконе, Тита поворачивающегося и после некоторых колебаний заходящего внутрь, в полуразрушенные помещения и исчезающего из поля зрения, – но душа его ничего этого не видела. Она витала там, где сражаются боги, летала над полями трупов, прислушиваясь к зовам боевых труб, взывающих к крови. О, какой восторг пребывать в одиночестве, пребывать во зле! Быть богом зла, загнанным в угол...

Прошло несколько минут после того, как Тит исчез с балкона. Щуквол выжидал еще некоторое время, чтобы дать ему возможность углубиться подальше в безжизненные залы и коридоры. Молодой Герцог, испуганный темнотой и мрачным видом этих помещений, еще мог вернуться. Но Тит не появлялся, и злодей понял, что пришел момент действовать. И он прыгнул вниз. Ему казалось, что летит он пугающе долго. Кровь молотом стучала в голове убийцы. Внутренности провалились куда-то, и, очевидно, на какое-то мгновение Щуквол потерял сознание. Наконец отражение в воде приближающегося к ней тела разбилось на тысячи брызг, вверх взметнулся фонтан воды. По инерции тело Щуквола продолжало погружаться. Но вот его ноги коснулись верхней части скрытого под водой флюгера. Щуквол оттолкнулся от него и стал подниматься назад к поверхности воды, которая успела уже успокоиться и разгладиться.

Как только Щуквол немного отдышался, он, хотя и не оправившись полностью от головокружительного падения и удара об воду, ощущая боль в легких от попавшей в них воды, поплыл к каменным ступеням, на которых лежала лодка.

Выбравшись из воды, он немедленно спустил ее на воду и, мгновенно забравшись в нее, схватил двухлопастное весло, лежавшее на дне, и быстрыми гребками направил лодку к одному из частично скрытых под плющом окон, которое находилось на уровне воды. Поспешность была вполне оправдана. Как ни безлюдна была эта часть Замка, однако вытесненные на верхние этажи люди вполне могли появиться и здесь и, выглянув в окно, немедленно заметили бы Щуквола в лодке на пустынной поверхности залива, где – высунь голову над водой какая-нибудь рыбка, то и она была бы тут же замечена.

К тому же в любую минуту мог вернуться молодой Герцог. И убийца, быстро скользя по воде, постоянно оборачивался. Если бы его заметили, ему пришлось бы ту же искать спасения в одном из его укромных мест. Щуквол был уверен, что и в этом случае его не успели бы перехватить, но ему совсем не хотелось, чтобы его заметили. Сразу бы стало известно, что он может перемещаться по воде, что он может прятаться где-то в этих заброшенных, полуразрушенных частях Замка; сюда тотчас же отправят вооруженных людей, усилят охрану, повысят бдительность.

Но пока для него все разворачивалось вполне удачно. Он не утонул после прыжка в воду с большой высоты; его враг, по всей видимости, не слышал громкого всплеска – иначе он наверняка прибежал бы назад на балкон; ему удалось завладеть лодкой; и он взглядом тут же нашел окно, в которое можно было легко проникнуть. А забравшись с лодкой внутрь, он мог бы дожидаться, пока не стемнеет.

Каное быстро скользило вдоль стены; Щуквол постоянно оборачивался; его взгляд пробегал по верхним окнам и останавливался на балконе. Но балкон был по-прежнему пуст.

Однако, когда он приблизился к окну, в которое надеялся заплыть, и все его внимание было переключено на управление лодкой, он уже не мог одновременно смотреть на балкон и вести каное к цели. И вот тогда Тит вышел на балкон. Но этого Щуквол уже не увидел.

Он не видел, как Тит, немедленно обнаружив пропажу лодки, быстро обвел взглядом бухту и, конечно же, сразу заметил единственный движущийся предмет на поверхности воды. Тит инстинктивно шагнул назад от края балкона и скрылся в проеме двери, откуда следил за лодкой, весь содрогаясь от возбуждения. Даже на большом расстоянии он безошибочно узнал сутулую фигуру человека, укравшего его лодку. Тит поступил очень правильно, скрывшись в темном проеме двери – самой двери здесь уже давно не было, – Щуквол, убедившись, что нос лодки вплыл в окно и что оно достаточно широкое и высокое, чтобы пропустить каное, тут же обернулся и взглянул на теперь уже далекий балкон. Балкон был пуст. Каное вместе со Щукволом проскользнуло, как змея в расщелину скалы, сквозь окно вовнутрь.

Глава семьдесят третья

Доктор Хламслив был в полном изнеможении; от недостатка сна у него покраснели глаза, лицо осунулось. Его врачебные услуги требовались постоянно, потоп принес с собой сотни заболеваний и несчастных случаев.

Огромное чердачное помещение было оборудовано под лазарет; здесь были расставлены сотни кроватей, в которых лежали люди, не только со всеми возможными переломами, не только пострадавшие при падении и от других несчастных случаев, но пораженные различными болезнями, вызванными постоянной сыростью и крайне нездоровыми условиями новой жизни на марше, лежали здесь и сильно истощенные люди.

Хламслив тяжело переставляя ноги, направлялся на помощь человеку, пострадавшему от вполне типичного теперь несчастного случая. Он, как сообщили Доктору, неся тяжелый ящик, поскользнулся на скользких ступенях и упал. Прибыв на место, Доктор обнаружил явно выраженный перелом бедренной кости. Пострадавшего перенесли на широкую плоскодонную лодку, где Доктор мог наложить шину и сделать все то, что требовалось в данный момент чтобы можно было доставить несчастного в лазарет, где им занялись бы серьезно. Пока Доктор делал свое дело, санитар, стоявший на корме, шестом направлял лодку по коридорам и залам в ту часть Замка, из которой можно было добраться до лазарета.

Шест с завидной размеренностью опускался в воду, толкая большую лодку вперед. Проплывая по многочисленным коридорам, лодка где-то на полпути к месту своего назначения осторожно проскользнула под довольно узкой деревянной аркой и оказалась в большой, по всей видимости, бальной шестиугольной зале, в одном из ее углов над водой были видны верхние части нарядного помоста, на котором, очевидно, когда-то размещался оркестр и играл веселую музыку. Когда широкая плоскодонка выскользнула на простор этой залы, Доктор Хламслив откинулся на матрас, свернутый и уложенный поперек днища. У его ног лежал человек, которому на бедро только что была наложена шина, штанина была разорвана во всю длину, и ярким пятном белели искусно наложенные Доктором бинты.

У Хламслива кружилась голова, и все вокруг было как в тумане. Он закрыл глаза и погоузился в полузабытье. Услышав оклик с какого-то проплывающего мимо судна, он приоткрыл один глаз.

Из дальнего конца бальной комнаты приближалась странная, вытянутая в длину посудина, которую даже трудно было бы назвать лодкой. Резчики никогда не позволили бы себе создать столь уродливое и неповоротливое судно и поэтому, скорее всего, оно было неумело сооружено теми, кто в нем в данный момент находился. А сидели в нем в один ряд и с весьма удрученным видом гребли своими квадратными шапочками Профессоры Горменгаста. На корме нелепого судна, положив руку на румпель, располагался Призмкарп, который явно был капитаном этого корыта. По всему было видно, что Профессорам не нравится, что ими командует Призмкарп, что они сидят спиной к движению и не видят, куда направляются. Но они подчинились распоряжению Роцезвона, который приказал (хотя и безо всякой надежды на исполнение), чтобы все преподаватели патрулировали коридоры, ставшие водными путями. Над Профессорами же старшим он назначил Призмкарпа. Всякое обучение после начала потопа стало, естественно невозможным, и ученики, после того как дождь прекратился и вода перестала подниматься, большую часть времени проводили прыгая в воду они прыгали с зубчатых стен, с башен и башенок, с аркбутанов, со всех тех мест, откуда можно было прыгать, они ныряли в глубокой прозрачной воде, плавали, дрыгая ногами как огромные лягушки, заплывали в окна и выплывали из них плавали повсюду, где только можно было, и их радостные

вопли разносились далеко вокруг.

Итак, Профессоры были свободны от своих преподавательских обязанностей. Они остались безо всякого дела, они мечтали о добрых старых временах, они подшучивали друг над другом, грызли друг друга, постепенно их вышучивание становилось все более язвительным, и наконец наступил такой момент, когда они перестали разговаривать друг с другом, погрузившись в угрюмую, но красноречивую тишину, все, что можно было сказать друг о друге и о потопе, было сказано.

Опус Крюк, сидевший поближе к корме, с тяжелым сердцем вспоминал о своем любимом кресле, которое поглотила вода. Кресло, в котором он провел столько лет – грязное, полуразваленное, отвратительное, единственная поддержка его существования, знаменитая «колыбель Крюка», исчезло навсегда.

Перед ним сидел Шерсткот, из него получился преотвратный гребец, хуже не бывает. Дуться и молчать – в этом ничего для него нового не было. Если Крюк молчаливо сокрушался по поводу гибели своего кресла, Шерсткот сокрушался по поводу того, что все в мире обречено на гибель – собственно, это он делал всю свою жизнь. Никто не помнил его в каком-то ином настроении. Он всегда выглядел несчастным и подавленным и, познав всю глубину печали этого мира, на фоне мировой скорби воспринял потоп как событие ничтожное.

Пламяммул наиболее строптивый из всей команды Призмкарпа, не подчинявшийся приказам, сидел как воплощение безмозглости, тупой раздражительности, было такое впечатление, что Шерсткот, сидевший спиной к Пламяммулу, находился в постоянной опасности – казалось, коллега вот-вот укусит его в шею своими лошадиными зубами или вышвырнет за борт. Далее сидел Срезозвет; он был единственным из всех, кто никак не хотел признавать, что молчание – самое лучшее из возможных состояний. Для него болтовня была пищей, поддерживающей существование. Но теперь от бывшего, полного энтузиазма остряка осталась одна тень; Срезозвет уныло глядел на широкую, мускулистую спину Пламяммула.

В лодке находилось еще только двое Профессоров – Осколок и Усох. Очевидно, остальные плавали в других лодках, позаимствованных или сооруженных самостоятельно, а некоторые просто проигнорировали приказ Роцезвона и прятались по разным местам верхних этажей.

Осколок и Усох, уныло гребущие своими квадратными шапочками, оказались ближе всех к приближающейся лодке. Усох, повернувшись и наклонившись над бортом, чтобы посмотреть, кого приветствует Призмкарп, нарушил чуткий баланс судна, и оно опасно накренилось на левый борт.

– Эй! Эй! – закричал Призмкарп с кормы. – Вы что, уважаемый, хотите перевернуть нас?

– Какую глупость вы говорите! – закричал в ответ Усох; его стареющее лицо покраснело – ему было очень неприятно, что его отчитали в присутствии всех остальных коллег. Он знал, что гребец из него некудышний и что ведет он себя неподобающим образом, но выкрикнул «Глупость!» еще раз.

– Давайте не будем, если не возражаете, это больше обсуждать, – заявил Призмкарп, и веки прикрыли его маленькие черные красноречивые глаза; при этом он слегка повернул голову, и на нижней части его лица под свиным пяточком заиграли бледные отражения пятнышек света, пляшущих на волнах, – Странно, я полагал, что после того, как вы подвергли опасности своих коллег, вы поймете свою ошибку и примете мое замечание к сведению, дабы более не повторить ее. Но нет, вам хочется оправдаться, как, впрочем, свойственно всем людям науки. Завтра вы и Срезозвет поменяетесь местами.

– Вот еще! – вспыхнул Срезозвет. – Мне вполне удобно и здесь!

Старший уже было собирался прочитать невежливому коллеге небольшую лекцию о бунте и его последствиях, но в это время с ними поравнялась лодка, в которой сидел Доктор

Хламслив.

– Доброе утро, Доктор, – сказал Призмкарп.

Хламслив, успевший заснуть после того, как его в первый раз окликнул Профессор – он просто был не в состоянии удержать веки, и они закрывались сами по себе, – встрепенулся, тяжело приподнялся и устало посмотрел на проплывающее мимо профессорское судно.

– Кто-то что-то сказал? – воскликнул Хламслив в доблестной попытке изобразить шутовскую веселость; однако он ощущал свинцовую тяжесть в членах, а голова, как ему казалось, была в огне, – Чу, слышу голос, несущийся над солеными водами океана! А, это вы! Клянусь всем, что необычно, это Призмкарп! Как поживаете, адмирал?

Но в тот момент, когда Доктор Хламслив одаривал профессорское судно одной из своих знаменитых улыбок – словно произвел залп зубами по всему борту, – санитар, не обращая внимания на Призмкарпа и его команду, сильно оттолкнувшись шестом от пола бальной залы, послал лодку вперед. Хламслив откинулся на свернутый матрас и закрыл глаза; Профессоры остались позади; санитар думал о том, что когда они доберутся до лазарета, он постарается убедить Доктора лечь поспать пару часов и забыть на время о пострадавших и несчастных, об умирающих и мертвых.

Глава семьдесят четвертая

В свое время Ирма работала, не покладая рук, обустривая дом. В это обустройство она вложила много сил, много раздумий и – по ее мнению – много вкуса. Тщательно была продумана цветовая гамма, и в комнатах не было ни единого цветового или какого-то другого диссонанса; здесь все было исполнено столь тонкого вкуса, что Роцезвон никогда не чувствовал себя уютно в собственном доме, который вызывал в нем чувство неполноценности; серо-голубые занавеси и голубино-серые ковры вызывали в нем отвращение, словно они были виноваты в том, что Ирма выбрала именно их. Но Ирма не обращала на это никакого внимания. Она считала, что он, будучи просто мужчиной, ничего не понимает в «художественных» делах. Она выразила себя как женщина в элегантной игре пастельных тонов. Ничего резкого, никаких цветовых столкновений – ибо нечему было сталкиваться, все шептало о спокойствии, безопасности, все было рафинировано до крайности. Но нагрянули варварские воды и разрушили плоды стольких усилий, разрушили все это средоточие рафинированного вкуса. Где все это теперь? Где? Как это вынести! Как это вынести! Только подумать, что все ее старания пошли насмарку из-за этого гадкого, отвратительного, бессмысленного, никому не нужного дождя, что этот идиотский, непотребный потоп уничтожил выпестованное ею создание вкуса и мысли!

– Я ненавижу эту природу и все ее проявления! – восклицала Ирма. – Ненавижу эту гадость, эту мерзкую тварь...

– Ну, ну, ну, не надо так, – бормотал Роцезвон, раскачиваясь в гамаке и взирая на потолочные балки. (Ему и Ирме была предоставлена маленькая комнатка почти на чердаке, в которой они могли с некоторым удобством переживать свои несчастья). – Не стоит, мое невежественное дитя, говорить о природе таким образом. Боже, она того не заслуживает. Нет, черт возьми, думаю, что не заслуживает.

– Природа, природа, – воскликнула Ирма презрительно – Ты что, думаешь, я боюсь ее? Плевать я хотела на нее! Пускай забавляется так, как ей нравится!

– Кстати, ты ведь сама – часть природы, – сказал муж после непродолжительного молчания.

– Не говори ерунды, мой глупенький. мой глупенький... – Ирма, не найдя нужных слов, замолчала.

– Ну, скажи же, скажи, кто я? – пробормотал Роцезвон. – Выскажи все, что у тебя на уме, все, что есть в пустой женской головке. Ну, назови меня глупым стариком, как это всегда делаешь, когда сердись на меня по какому-то другому поводу! Если ты не сама природа или не ее часть, что же ты тогда есть, черт подери?

– Я женщина! – взвизгнула Ирма, глаза которой наполнились слезами. – А мой дом... а мой дом под... под... водой... затоплен этой гадкой водой!

С огромным усилием Роцезвон передвинул свои тощие ноги и свесил их с края гамака. Когда ноги нащупали пол, старик с трудом выбрался из гамака и неуверенно двинулся, шаркая ногами, по направлению к жене. Он считал, что совершает исключительно благородный поступок – ему было так удобно в гамаке, а он, несмотря на то что его рыцарский поступок наверняка не оценят, вылез из него! Но что поделаешь, такова жизнь! Иногда приходится делать вещи, необходимые для поддержания своего духовного статуса, но помимо этого, эмоциональный всплеск жены нарушил его спокойствие. Требовалось что-то предпринять. Ну почему она производит такой пренеприятнейший шум? Ее голос вонзался ему в мозг, как нож.

Но какими жалкими были ее выпады против Природы! Как его жена невежественна! Словно природа должна была остановить подъем воды сразу, как только та стала подбираться к ее

будуару! Словно воды потопа должны были замереть и зашептать «Стой, тише, тихо, это комната Ирмы, все здесь цвета лаванды и слоновой кости»... да, лаванда, слоновая кость... угораздило же иметь такую жену... ей-Богу и все же... и все же... Испытывает ли он к ней только жалость или какие-то еще другие чувства? Рощезвон не мог бы ответить на этот вопрос.

Подойдя, он сел рядом с женой, примостившейся на крошечном диване, стоявшем под маленьким окошком у самого потолка, и обнял ее за плечи своей длинной, разболтанной рукой. Ирма вздрогнула, напряглась, но тут же расслабилась и не попросила мужа убрать руку.

В маленькой комнатке почти на вершине огромного Замка, раскинувшегося гигантским каменным телом, артерии которого были наполнены водой, сидели рядом старик и его жена и смотрели на стену напротив них, на которой обвалившаяся в одном месте штукатурка оставила темный след, по своей форме напоминавший сердце.

Глава семьдесят пятая

Нельзя сказать, чтобы Фуксия не сопротивлялась черной меланхолии, которая все более охватывала ее, но она все чаще поддавалась приступам подавленности и крайнего уныния.

Эмоциональная, любящая, хотя и несколько меланхоличная девочка имела все данные для того, чтобы стать вполне счастливой женщиной, но ей не хватало жизнерадостности. И все, что произошло с ней, изгнало из ее груди всех ярких и светлых птиц ее души, которая, несмотря на свою предрасположенность к счастью, была более склонна к тьме, а не к свету. Казалось, что Фуксия специально была выбрана судьбой для того, чтобы обрушить на нее тяжелые удары.

Ее потребность в любви так и не была удовлетворена, ее любовь к другим осталась никому не известной и не востребованной. Цветы ее души, никем не увиденные, увядали в темноте. Ее душа широко раскинула свои зеленые густолиственные ветви, но никакие усталые путешественники не проходили и не отдыхали в их прохладной тени и не вкушали ее сладостных плодов.

Постоянно оглядываясь в прошлое, Фуксия видела лишь череду злоклучений, выпадавших на ее долю; несмотря на свой титул, Фуксия мало значила в глазах Замка, она была никому не нужной, неприкаянной, одинокой. За свою жизнь она испытывала теплые чувства лишь к старой няне Шлакк, к своему брату Титу, к Доктору Хламсливу и, как ни странно, некоторым образом к Флэю. Няня Шлакк и Флэй были уже мертвы, Тит очень сильно изменился. Брат и сестра любили друг друга, но между ними встала стена отчуждения, нечто такое, что ни он, ни она не были в состоянии разрушить.

Оставался, правда, Доктор Слив, но после того как начался потоп, он был так занят, что, даже если бы она и отыскала его, у него не было бы времени на нее. И желание поговорить с последним из тех людей, которых она могла отнести к друзьям, уменьшалось с каждым новым приступом черной депрессии. Не зная, к кому обратиться, она застыла в себе, закрылась от мира, погрузилась в переживания, порожденные жизненными неудачами и разочарованиями. Однажды, когда, не будучи в состоянии заснуть, она ворочалась в своей постели в комнатке, расположенной несколькими этажами выше уровня воды, ей в голову пришла мысль о самоубийстве.

Трудно сказать, что именно оказалось непосредственным побудительным толчком к такой ужасной мысли. Недостаток любви? Отсутствие материнской любви? Отсутствие отеческой заботы? Одиночество? Страшные переживания после того, как обнаружилось злодейство Щуквола? Мысль о том, что ее целовал этот убийца? Растущее чувство собственной неполноценности? Ощущение того, что кроме титула она ничем больше не обладает? Многое могло породить мысль о самоубийстве, хотя и каждая из этих причин по отдельности вполне могла подточить волю человека даже значительно более стойкого, чем Фуксия.

Когда впервые мысль о вечном забытье промелькнула у нее в голове, она даже приподнялась на кровати. Она была потрясена, она была не только напугана, но и взволнована этой мыслью. И даже рада ей.

Фуксия встала и медленно, неуверенно подошла к окну. Мысль о самоубийстве привела ее в царство вдруг открывшейся невероятно простой возможности избавиться от душевных мук. Это вызывало страх и трепет, завораживало окончательным уходом в вечное спокойствие. У Фуксии стали подгибаться колени, и она посматривала через плечо, словно боялась, что вот-вот кто-то ворвется в комнату и отнимет у нее эту возможность, хотя знала, что дверь заперта и надежно отгораживает ее от внешнего мира.

Подойдя к окну, она окинула взглядом открывающийся вид, посмотрела на воду, но не

увидела ничего, что привлекло бы ее внимание.

Она думала о том, что чувствует слабость, что она не читает про все происходящее с ней в книге с трагической развязкой, а что все это происходит с ней наяву, с ней, а не с кем-нибудь иным. Вот она стоит у окна, а только что подумала о самоубийстве. Она прижала руки к груди. А в памяти всплыл молодой человек, появляющийся в ее окне; он оставил на ее столе розу... как давно это было! Воспоминание исчезло так же быстро, как и появилось.

Да, все, что с ней происходит, – не история, которую она вычитала в какой-нибудь книге. Все это происходит на самом деле. Но она ведь могла и притвориться... притвориться человеком, которому в голову приходят мысли о самоубийстве, чтобы убить боль в сердце, который знает, как это сделать, который имеет достаточно смелости для этого...

Фуксия все глубже погружалась в нереальный мир, сродни тому, в который отправлялась, будучи еще девочкой, сидя в одиночестве в укромном местечке на чердаке. Фуксия перестала быть самой собой. Она стала кем-то, кто был молод, красив, смел как львица... Что мог бы сделать такой человек? Стать, например, на подоконник высоко над водой. И... потом она... и... Как ребенок, подчиняющийся правилам придуманной им самим игры, Фуксия забралась на подоконник и выпрямилась, стоя спиной к комнате.

Сколько она простояла бы так, если бы ее не вернул в мир реальностей стук в дверь, трудно сказать. Фуксия вздрогнула, пришла в себя, обнаружила, что стоит на узком подоконнике слишком близко к внешнему краю, слишком высоко над водой, и ее охватила невольная дрожь. Она попыталась развернуться, чтобы спрыгнуть с подоконника назад в комнату, но сделала это неосторожно, не рассчитав своего движения, ноги ее соскользнули с края подоконника, с внешнего края, она попыталась за что-то ухватиться, но руки ее ухватили лишь воздух. Фуксия, падая вниз, ударилась головой о какой-то выступ стены, и когда вода приняла ее, она уже была без сознания. И вода, не чувствуя никакого сопротивления со стороны девушки, легко утопила ее в своих глубинах.

Глава семьдесят шестая

Теперь, после того как воды потопа достигли своей высшей точки и уровень воды не поднимался, нельзя было терять ни минуты, следовало прочесать все оставшиеся над водой части Замка, заглянуть всюду, где мог бы прятаться Щуквол; следовало один участок за другим окружать особо надежными людьми, которые, продвигаясь к центру этого участка, должны были – по крайней мере теоретически – рано или поздно найти и схватить опасного зверя. Такая тактика требовала участия практически всех здоровых мужчин. Графиня синим карандашом на карте отметила участки оставшейся над водой части Замка. Капитанам Поисковых Групп были даны соответствующие указания – обыскать каждый уголок, заглянуть в каждый дымоход, в каждый сток для воды. Однако, несмотря на то, что вода затопила значительную часть Замка, над водой еще оставалась достаточно большая его часть, где такой хитрый враг, как Щуквол, мог вполне надежно спрятаться. И действовать надо было немедленно – как только воды начнут отступать, шансы скрыться в освобождающихся от воды лабиринтах и неизведанных глубинах Замка будут все возрастать.

Конечно, воды будут спадать медленно, но Графиня полагала – и ничто не могло бы изменить этого мнения, – что время стало решающим фактором и что никогда больше не удастся получить возможность растянуть вокруг пегой твари такую плотную сеть. Уже тогда, когда вода освободит всего лишь один этаж, откроются сотни помещений, неисчислимо количество коридоров и переходов. Нет, нельзя было терять ни минуты.

Обдумывая действия по поимке Щуквола, Графине пришлось принимать во внимание не только «главный театр операции», в который включались все сухие этажи и «мокрый этаж» (наполовину залитый водой этаж, по которому сновали суда, изготовленные Резчиками, многие лодки, сделанные ими, покачивались, привязанные, у лестниц, под каминными полками, отбрасывая разноцветные блики по воде), но и те части Замка, которые превратились в острова, отрезанные от основной части водяными пространствами. К счастью, большая часть разбросанных вокруг и практически нескончаемых ответвлений центрального массива Замка оказалась под водой и соответственно Щуквол там прятаться не мог, однако торчащих над водой башен и небольших островов было вполне достаточно, и к ним можно было добраться вплавь. Не следовало также забывать и про Гору Горменгаст, к которой вполне можно было добраться на каком-нибудь сподручном плавучем средстве. Однако Графиня была почти уверена в том, что Щукволу – если он вообще был жив – не удалось добраться туда, и не только потому, что каждый вечер проверялось наличие всех лодок и ни одна пока не исчезла, но и потому, что вокруг Замка стояло постоянное оцепление из разноцветных лодок, сквозь которое Щукволу не удалось бы прорваться ни днем, ни ночью.

Главным в стратегических расчетах Графини было то, что убийце нужно было чем-то питаться (что касается питья, то вокруг простиралось целое море воды) – значит, следует перерезать ему доступ к запасам продовольствия.

Вскоре было получено мрачное доказательство тому, что Щуквол не погиб в результате несчастного случая и не умер голодной смертью, что он жив и действует: было обнаружено тело с камнем, засевшим во лбу, плавающее в воде около перевернутой лодки лицом вниз. После осмотра тела, Доктор Хламслив заявил, что этот человек был убит всего несколько часов назад.

Штаб Графини размещался теперь в длинной, узкой комнате, которая располагалась прямо над «этажом лодок». Тут она выслушивала все сообщения, отдавала приказы, разрабатывала свои планы, изучала старые карты и приказывала изготовлять новые – тех частей Замка, которые исследовались только теперь. Графиня желала быть в курсе всего, желала знать все в

мельчайших деталях с тем, чтобы в ее генеральном плане операции не было ни единого пробела.

Закончив все самые неотложные дела, Графиня поднялась из-за стола, повернула голову к щеглу, который сидел у нее на плече, прищелкнула языком и, двигаясь как всегда тяжело и с неостановимой уверенностью, уже была готова покинуть комнату, когда в дверях появился запыхавшийся посыльный.

– В чем дело? Что-то случилось? – спросила Графиня.

– Его светлость Герцог Тит. он, ваша милость...

– Что с Титом? – Графиня резко вскинула голову.

– Он тут.

– Где тут?

– У ваших дверей, ваша милость. Он говорит, что у него для вас важные вести.

Графиня тут же подошла к двери и распахнула ее. Тит сидел на полу, положив голову на колени; его мокрая одежда была вся изорвана, на руках и ногах синяки и царапины, слипшиеся волосы были в грязи.

Когда дверь открылась, Тит не поднял голову. У него просто не было на это сил. Их едва хватило на то, чтобы добраться до двери Графини. Он лишь смутно осознавал, где находится, почему сидит на полу – слишком много сил было отдано на то, чтобы карабкаться по высоким стенам, брести по горло в воде по залитым коридорам, ползти по покатым крышам, где от одного взгляда вниз, кружилась голова; преодолевая все препятствия, отыскивая дорогу, он был движим одной мыслью – добраться до заветной двери. И когда он к ней добрался, то рухнул на пол.

Графиня тяжело опустилась на колени рядом со своим сыном. Тит с трудом разлепил глаза и поднял голову. Странно, почему его мать стоит рядом с ним на коленях? И он снова закрыл глаза. Наверное, это ему снится. До него словно издали донесся чей-то голос, вопрошавший: «Ну где же эта бутылка?». Потом, чуть попозже, он почувствовал, как ему приподнимают голову и приставляют к губам холодный край бокала.

Тит сделал несколько глотков обжигающей жидкости. И когда он снова открыл глаза, то уже осмысленно посмотрел вокруг – он уже твердо знал, где находится и почему.

– Мама! – прошептал он.

– Рассказывай, что случилось? – произнесла Графиня бесцветным голосом.

– Я видел его.

– Кого?

– Щуквола.

Графиня оцепенела; казалось, что рядом с Титом стоит глыба льда.

– Это неправда. – медленно произнесла Графиня после непродолжительного молчания, – Почему я должна верить тебе?

– Потому, что это правда.

Графиня еще ниже склонилась над Титом и с обманчивой нежностью взяла его за плечи своими могучими руками. Этим жестом она хотела несколько смирить бурю, которая бушевала в ее сердце. Тит чувствовал в мягкой хватке ее пальцев убийственную силу рук.

Наконец Графиня спросила:

– Где? Где ты видел его?

– Я могу показать... там... в северной части Замка.

– Давно?

– Точно не могу сказать... несколько часов тому назад... он заплыл в окно... на моей лодке... он украл у меня лодку...

– А он тебя видел?

– Нет.

– Ты уверен в этом?

– Да.

– В северной части, говоришь... За Чернокаменным Массивом?

– Значительно дальше. Поближе к Каменной Собачьей Голове и Ангельским Стенам.

– Прекрасно! – воскликнула Графиня так громко и таким хриплым голосом, что Тит невольно дернулся назад. Графиня, вперив взор в Тита, медленно сказала:

– Если это так, то мы его поймаем. – Глаза у нее превратились в щелчки. – Но как тебе удалось оттуда выбраться? Без лодки? Ты что перебрался через Северные Острые Камни?

– Да, наверное, если это так называется...

– Да, ты мог оттуда выбраться только одним путем... Это район, лежащий за Красными Башнями и Серебряными Стенами. Теперь, благодаря картам, которые мне составили, я точно знаю, где ты был. То место называется Двойными Пальцами, там начинаются Крутые Уступы и сужаются Черные Стены. Но, скорее всего, между Пальцами теперь должна быть вода. Там должно было образоваться нечто вроде бухты. Я права?

– Да, там действительно есть место, которое напоминает залив, – сказал Тит. – Я думаю, что это именно то место.

– Я прикажу немедленно окружить весь тот район. На всех уровнях! И на воде и на сухих этажах!

Графиня грузно и величаво поднялась на ноги и, повернувшись к одному из людей, собравшихся вокруг, приказала:

– Немедленно разыскать и прислать сюда Капитанов Поисковых Групп. Поднять мальчика с полу. Уложить в постель. Накормить. Дать сухую одежду. Он должен поспать. К сожалению, долго спать ему не придется. Патрулировать на лодках район Острых Камней денно и ночью. Все Поисковые Группы отправить к Двойным Пальцам. Разослать посыльных с моими приказами. Операция начинается через час.

Графиня повернулась к Титу, который приподнялся, опираясь на одно колено. Когда он встал на ноги и посмотрел на мать, та сказала:

– Поспи немного. Ты поступил, как нужно. Горменгаст будет отмщен. Сердце Замка здорово... Но ты несколько удивил меня.

– Я это сделал не ради Горменгаста.

– Не ради Горменгаста?

– Нет, мама.

– Тогда – ради кого и для чего?

– Все произошло... просто случайно, – стал пояснять Тит, сердце его бешено колотилось. – Я просто случайно там оказался... – Тит понимал, что ему следует попридержать язык, но он даже дрожал от нетерпения побыстрее выложить опасную правду и уже не мог остановиться. – Я рад, что Щуквол был обнаружен благодаря мне, но пришел я сюда, к вашей двери, не ради обеспечения безопасности Горменгаста и не ради поддержания его чести... нет, не ради этого... хотя я рад, что именно благодаря мне Щуквола наконец окружают и поймают... Я выполнял не свой долг перед Горменгастом... нет... я просто ненавижу Щуквола. и по совсем другим причинам.

Наступившая тишина была такой густой, что, казалось, до нее можно дотронуться. Потом сквозь нее, как мельничные жернова, упали слова:

– По... каким... другим... причинам?

В голосе Графини было нечто столь холодное и безжалостное, что Тит внутренне весь сжался. Никогда раньше Тит не позволял себе так разговаривать со своей матерью, он

переступил невидимые границы, он высказал то, что высказывать нельзя.

Снова раздался ледяной голос, в котором уже не слышалось ничего человеческого:

– Какие причины?

Несмотря на то что Тита одолевала крайняя усталость, он почувствовал, как в нем на поверхность его физической слабости всплывает некая моральная сила, поддержанная нервной энергией. Он вовсе не собирался сообщать о своих чувствах, никоим образом он не предполагал даже намеком дать знать матери о своих тайных бунтарских мыслях, и он прекрасно понимал, что никогда не рискнул бы это сделать, если бы задумал все заранее. Но после того как у него невольно вырвалось признание, после того как он открыл, что в нем живут предательские – по отношению к Горменгасту – мысли, он решил идти до конца. И подняв голову, выкрикнул:

– Хорошо, я скажу вам!

Грязные пряди волос упали ему на лицо. В его глазах пылал вызов – после многих лет скрываемого неприятия того, что воплощал в себе Горменгаст, оно выплеснулось наружу. Он зашел слишком далеко, и пути назад не было. Графиня стояла совершенно неподвижно, возвышаясь над Титом как монумент. Тит, одолеваемый слабостью и обуреваемый чувством непокорности, видел ее массивную фигуру словно в тумане.

– Да, я скажу вам. Можете смеяться, если желаете, но я сделал все, чтобы поскорее сообщить о Щукволе, потому что он украл мою лодку, потому что он нанес страшную обиду Фуксии, потому что он убил Флэя... Он внушает мне страх... Мне все равно, действительно ли он пытался восстать против Замка – все это восстание заключается в воровстве, жестокости, подлом убийстве... Мне наплевать, называется ли это бунтом или нет. Мне наплевать, здорово ли, как вы выразились, сердце Горменгаста или нет. Я не хочу быть здоровым в том смысле, какой вы вкладываете в это слово! Всякий, кто послушно выполняет, что ему говорят, будет по-вашему здоров. А я хочу жить по-своему! Неужели вы не понимаете! Неужели не понимаете! Я хочу быть сам по себе, я хочу быть таким, каким сам себя сделаю, я хочу быть просто человеком, настоящим живым человеком, а не символом, каким-то сердцем Горменгаста! Вот те причины, о которых вы спрашивали! Щуквол должен быть пойман и... убит. Он убил Флэя, он нанес тяжкую обиду Фуксии. Он украл мою лодку. Разве этого недостаточно? А Горменгаст пускай катится к черту!

В наступившей невыносимой тишине стали слышны быстро приближающиеся шаги. Но казалось, прошла целая вечность, прежде чем шаги замерли, и перед Графиней предстал человек, явно чем-то очень смущенный. Он стоял с опущенной головой, руки у него дрожали, и он смиренно ждал разрешения сообщить, с чем пришел. С трудом оторвав свой взгляд от сына, Графиня повернулась к посыльному.

– Ну, – прошептала она, – что вы хотите сообщить?

Посыльный поднял голову, но некоторое время ничего не мог сказать. Губы раздвинулись, рот приоткрылся, но никаких звуков не последовало. Однако в его глазах Тит увидел нечто, что заставило вскочить на ноги, а сердце сжаться от страшного предчувствия. Тит сделал шаг к посыльному и невольно выкрикнул:

– Нет, нет, только не Фуксия!

Но не успев еще договорить, Тит знал, что с Фуксией случилось что-то ужасное.

Посыльный, стоявший перед Графиней, сказал:

– Ее милость госпожа Фуксия... утонула.

Услышав эти слова, Тит почувствовал, как в душе его произошла какая-то страшная перемена. И перемена эта была совершенно неожиданной. Теперь Тит точно знал, что ему нужно делать, он знал, на что способен, в нем не осталось страха. Смерть сестры была последним гвоздем, окончательно скрепив внутреннюю структуру, которой завершилось

строительство личности Тита; дом выстроен, и хотя едва стихли удары молотка, в нем уже можно жить.

Смерть летающей девочки завершила детство Тита. Когда молния убила ее, гибкость детского мировосприятия уступила место пружинящей жесткости тела и духа. А смерть Фуксии отпустила эту пружину. Тит был не просто мужчиной, он был мужчиной, готовым к действию, – а это встречается так редко. Сжатая пружина расправлялась. Тит позабыл об усталости.

Энергией, которая питала его, был гнев; могучая, сметающая вспышка гнева все в нем перевернула. По сравнению с ней его эгоистическая вспышка, развязавшая язык – что само по себе было делом достаточно опасным и чреватых непредсказуемыми последствиями, – казалась уже чем-то малозначительным, хотя и потрясшим его мать и всех, кто стоял рядом, ибо все воспринимали Тита не столько как замкнутого, угрюмого человека, сколько как некий символ, лишенный всяких человеческих чувств.

Фуксия мертва! Фуксия, его темноволосая сестра, его дорогая сестричка...

– Боже, праведный Боже! – вдруг вскричал Тит. – Где? Где ее нашли? Где она сейчас? Где? Скажите быстрее, где? Я должен знать! Я должен ее видеть!

Потом, повернувшись к матери, добавил, но уже совсем другим тоном.

– Это дело рук «пегого зверя»! Убил ее он! Мать, он убил твою дочь! Кто еще мог бы это сделать? Кто мог бы посметь тронуть хоть волос на ее голове? Этот зверь смелее, чем можно было предположить! Боже, мама, поскорее отправляйте вооруженных людей! Все, кто может носить оружие, должны быть в деле! Моя усталость улетучилась! Я готов идти сейчас же и показывать дорогу! Я хорошо запомнил то окно, в которое он заплыл. Его можно окружить. Но добираться туда лучше всего на лодках, это будет быстрее и вернее. И не нужно карабкаться через Северные Острые Камни. Просто следует сейчас же отправить лодки. Все лодки, какие можно, с вооруженными людьми! Я видел его, мама, видел этого убийцу моей сестры!

Тит неожиданно повернулся и обратился к гонцу, принесшему страшную новость.

– Где Фуксия сейчас?

– Она в особой комнате, которую специально приготовил Доктор Хламслив, совсем недалеко от лазарета. Доктор находится сейчас там, с ней.

И тут раздался голос Графини, тихий, глубокий; она обращалась к Старшему Офицеру:

– Следует уведомить Резчиков, что они понадобятся для участия в захвате убийцы. Приготовить все плавучие средства, законченные и незаконченные, все, что может держаться на воде. Вывести все лодки, уже находящиеся на плаву, на патрулирование. Раздать оружие всем, кто может с ним обращаться!

Потом, повернувшись к человеку, рассказавшему о том, где находилось тело Фуксии, Графиня приказала:

– Ведите нас, показывайте дорогу.

Графиня и Тит в молчании шли за гонцом; когда до лазарета осталось несколько десятков шагов, Графиня, не поворачивая головы к Титу, сказала:

– Если бы ты не был болен...

– А я вовсе не болен! – воскликнул Тит, перебив мать.

– Прекрасно, но ты когда-то жаловался на потерю памяти... Ты уверен, что с тобой все будет...

– Со мной все будет в порядке. Я готов ко всему.

Тит не ощущал никакого страха; его самого поражало то, что у него откуда-то взялись силы, что в нем бурлит нервная энергия. Однако все чувства были приглушены переполняющей его существо болью, вспыхнувшей, как только он узнал о смерти Фуксии. Сквозь эту боль выплескивался бурлящий гнев, направленный на Щуквола, которого Тит считал виновным и в

смерти Фуксии. Выбравшийся из мертвых глубин одиночества, Тит потерял всякий страх перед живыми, даже перед такой матерью, как Графиня.

Когда дверь комнаты, к которой привели Тита и Графиню, открылась, у открытого окна они сразу увидели высокую, худую фигуру Доктора, стоящего совершенно неподвижно и неестественно прямо. Комната была небольшой, с низким деревянным потолком и безукоризненно чистым деревянным настилом на полу. Был ясно, что пол недавно выскоблен и вымыт, вычищены были и стены и потолок.

У стены слева от входа на деревянных ящиках стояли носилки, а на носилках была распростерта Фуксия, укрытая до плеч простыней. Ее очень трудно было узнать.

Доктор Хламслив повернулся к вошедшим, но, казалось, не узнал ни Тита, ни Графиню, – он смотрел словно бы сквозь них. Однако он тут же направился к двери и, проходя мимо Тита, слегка притронулся к руке брата той, которая была им так, оказывается, любима. Щеки Хламслива были мокрыми от слез, а стекла очков так запотели, что он спотыкался. Подойдя к двери, он никак не мог найти ручку. Титу пришлось помочь ему. Хламслив вышел в коридор, остановился, снял очки и, склонив голову и невидящим взглядом уставившись на очки в руке, стал протирать их шелковым платком. Весь вид его был воплощением скорби.

Тит и Графиня остались в комнате. Мать и сын, погруженные в себя, стояли молча. Если бы они не их горе, молчание могло бы смущать обоих, но ни Тит, ни его мать даже и не пытались утешить друг друга, разделить горе.

На лице Графини не появилось никакого особого выражения, однако простыню, наброшенную на тело Фуксии, она подтягивала повыше с такой бесконечной нежностью и осторожностью, словно боялась неловким движением разбудить свою доченьку, которую укрывала получше, беспокоясь, как бы ей не было холодно.

Глава семьдесят седьмая

В ожидании темноты, которая позволила бы ему наконец покинуть свое убежище, Щуквол улегся на дно каноэ и заснул. Каноэ слегка покачивалось на чернильной воде; окно, сквозь которое заплыл Щуквол в «пещеру», казалось светлым прямоугольником, приклеенным к черноте. На обнаженную грудь залива, который, если глядеть на него из комнаты, где спал преступник, все еще казался светозарным, укладывались складки шали подступающей темноты.

Когда несколько часов назад Щуквол заплыл на лодке в какую-то комнату, света, который проникал через окно, наполовину скрытое под водой, было еще достаточно, чтобы рассмотреть то помещение, куда он попал.

Первым чувством, которое возникло в нем, было раздражение: он увидел, что единственная дверь в комнате плотно закрыта и никакого другого выхода из нее, никакой лестницы, ведущей на другой этаж, нет. А дверь, раз она вообще осталась на своем месте, наверняка разбухла от воды, и открыть ее, скорее всего, будет невозможно. Если бы двери не было или если бы ее можно было открыть – Щуквол попытался это сделать, но безуспешно, – он мог бы отправиться на лодке дальше вглубь Замка и найти более просторное и удобное помещение, а то и выбраться на сухой этаж. Однако ему пришлось остаться в этой наглухо закрытой – если не считать окна – комнате, которая больше напоминала пещеру; на стенах висело несколько потемневших и разрушающихся от сырости картин, нижняя часть рам которых располагалась всего в двух-трех дюймах от поверхности воды.

Но Щуквол особо и не надеялся, что комната, в которую он заплыл, будет иметь другой выход. Он был как в западне, но решил, что плыть дальше и отыскивать что-либо более подходящее опаснее, чем оставаться здесь до наступления темноты.

Поверхность воды теребил легкий ветерок, дувший со стороны Горы Горменгаст, и залив словно покрылся гусиной кожей. Эта рябь стала проникать в пещеру Щуквола и легко раскачивать каноэ. Сумерки опускались на испещренные окнами каменные массивы, распростершиеся по обеим сторонам залива. Волнение воды усиливалось, и хотя оно не представляло еще никакой опасности для маленького каноэ – или даже для пловца, очутись он в воде, – в нем таилась некая угроза. Спокойствие вечера было нарушено, серое безмолвие встрепелось. Никаких особых звуков не слышалось, однако в воздухе, на воде, в массивах Замка, в наступающей темноте появилось какое-то напряжение.

Это холодное дыхание скрытой опасности, стелющееся над покрытой рябью водой, очевидно, проникло и в комнату, где спал Щуквол, и он неожиданно проснулся и поднялся со дна лодки. Он посмотрел в отверстие окна, и волосы на его спине поднялись, рот открылся в волчьем оскале, лицо с кровавой прорезью рта превратилось в восковую маску, а в глазах засветились кровавые отблески.

Мозг Щуквола усиленно заработал; он схватил весло и подогнал лодку поближе к окну. Теперь, по-прежнему оставаясь невидимым для любого возможного наблюдателя, находящегося снаружи, он мог осматривать все пространство залива.

Еще из глубины комнаты он увидел приближающуюся вереницу огней, а теперь уже ясно различал фонари, которые горели в сотнях лодок. Лодки, расположившись полукругом, двигались по заливу в его сторону, словно сотни светлячков ползли по темной поверхности воды.

Но еще более неприятным было обнаружить странные отсветы на воде сразу за пределами окна. Свет был слаб, но явно происходил не от последних отблесков угасшего дня. К тому же свет этот был какого-то неестественного зеленовато-желтого оттенка. Щуквол перевел взгляд на

флотилию лодок и увидел, что они приближаются к стенам замка с еще большей скоростью.

Размышлять о причинах появления здесь всех этих лодок у Щуквола не было ни времени, ни желания. Он просто предположил самое худшее.

Судя по тому, в каком направлении лодки двигались, приходилось предположить, что сидящие в них люди не только прибыли в поисках его, Щуквола, но и что они знали, где именно его искать, в какое окно он вплыл несколько часов назад. А это значит, что его видели в тот момент, когда он скрывался в этом окне! И помимо тех, кто сидел в лодках и направлялся сюда, чтобы поймать его и предать смерти, в помещениях, где-то над его окном, располагались многие другие, ибо странное свечение на воде, скорее всего, вызывалось фонарями или факелами.

Пока Щуквол раздумывал, стоит ли ему вывести лодку из окна и, рискуя подвергнуться нападению сверху, броситься навстречу приближающимся лодкам, прежде чем они полностью перекроют выход, стрелой понестись по водам залива сквозь опускающуюся темноту, поворачивая вправо и влево, попытаться проскользнуть между вражескими лодками на своем маленьком, очень маневренном суденышке, достичь какой-либо из заросших плющом стен, где он наверняка нашел бы другое убежище. Яркий желтый свет заполнил окно и множеством отблесков заплескал на воде. И предпринимать подобный шаг оказалось слишком поздно.

А возникло это яркое свечение, на которое с ужасом смотрел Щуквол, оттого, что два тяжелых судна, похожие на баржи, медленно двигавшиеся вдоль стен с двух сторон по направлению к окну, за которым прятался «пегий зверь», сошлись вместе, а на каждом из этих суден горело множество факелов, торчавших над бортами и сыпавших искрами, которые падали в воду и с шипением гасли. К большому световому пятну, превратившему воду в освещенную сцену, были прикованы все взгляды. Блоки камня вокруг окна, изъеденные временем, ветрами и дождями, казались отлитыми из золота, а отражения, падавшие на черную воду, казалось, вот-вот зажгут ее. Окно, окруженное этим золотистым сиянием, выглядело особенно черным, и в этом прямоугольнике темноты, ведущем в мрачные недра, присутствовало нечто тревожное.

Баржи подошли почти вплотную к стене по обеим сторонам окна, их прямоугольные носы касались краев черного прямоугольника. Факелы и фонари превращали ночь в день; остальные лодки плотным полукольцом замкнули все пространство вокруг окна.

Но с черного прямоугольника не сводили своих взглядов не только те, кто находился на баржах и в лодках – над входом в помещение, где прятался Щуквол, окна уже не смотрели вниз пустыми глазницами; эти окна выглядели иначе, чем тогда, когда их много часов назад разглядывал Тит, чувствуя, как его охватывает холод этого заброшенного и безлюдного места. Теперь в каждом из них виднелось лицо, и глаза на каждом лице всматривались вниз, туда, где поднимались и опускались, освещенные фонарями и факелами, раскачивались баржи и сотни лодок, заполненные вооруженными людьми, где по стенам, залитым желтым светом, прыгали тени, где волны плескали в борта и ударялись о камень стен.

Ветер крепчал, и на одном месте удерживаться лодкам становилось все сложнее, и цепи их все время нарушались. Ухудшающаяся погода не затрагивала лишь тех, кто глядел на залив из окон. Из всех людей, собравшихся у окон и на воде в лодках, лишь очень немногие бывали в местах, прилегающих к этой части Замка, и уж никто и никогда не забирался так далеко.

Графиня прибыла на место по воде, но Титу пришлось добираться посуху, ибо он возглавлял головную группу и показывал дорогу. В опускающихся сумерках он с трудом находил ее – ведь приходилось вспоминать, куда свернуть, в какой коридор войти, по какой крыше перебраться, сквозь какой пройти переход. Тит сам вызвался показывать дорогу – без его помощи люди, направленные на поиски Щуквола, долго бы блуждали и неизвестно когда добрались бы на место. Придворные считали, что Герцогу Титу, особенно учитывая его

усталость, не подобает идти пешком, и размышляли над тем, как выйти из создавшегося положения. Тит вдруг вспомнил о кресле на шестах, в котором когда-то много лет назад в день его десятилетия его с завязанными глазами несли из Замка на празднество. Был отправлен посыльный на поиски кресла, и, несмотря на все перемещения с этажа на этаж, эта реликвия была найдена. И вскоре «сухопутная» армия двинулась на север; Тита несли четыре человека, которые часто сменялись; он сидел, откинувшись, в покачивающемся кресле; у его ног покоился кувшин с водой, а в руке он держал флягу с крепким напитком; в небольшой сумке, лежавшей рядом с ним на сидении были хлеб и изюм. В тех местах, где приходилось карабкаться с крыши на крышу, или опускаться и подниматься по узким ступеням, или протискиваться в узкие переходы, Тит слезал со своего кресла и двигался, как и все, пешком, но основную часть пути он смог проделать в кресле. Восседая в своем паланкине, Тит всякий раз, когда возникало затруднение в выборе дальнейшего пути, давал резкие отрывистые указания командиру отряда. В Тите черной волной снова поднимался гнев. О чем он размышлял, несомый в сгущающихся сумерках? В голове у него проносились сотни образов, сотни обрывков мыслей. Но среди всего этого разнообразия доминировали три темы, оттирая все остальное. И когда воспоминания о тех событиях, которые потрясли его в последние несколько часов, врываются в его сознание, сердце начинало учащенно биться. Ни к одному из этих трех событий Тит не был эмоционально готов.

Сначала совершенно неожиданно он увидел неуловимого Щуквола; затем его потрясло неожиданное сообщение о смерти Фуксии, а между этими двумя событиями он в порыве неожиданного откровения выдал свои бунтарские настроения – это было опасно, это шокировало всех, кто стоял рядом, однако принесло и огромное облегчение. Какое счастье, что он наконец освободился от чувства двуличности, которое его одолевало! Пускай теперь о нем думают как о предателе! Но зато он ощущал себя человеком, который вырвался из цепкой хватки колючих растений лицемерия, опутывавших его тело, его мозг.

Но действительно ли ему удалось освободиться? Возможно ли было одним, пусть и сильным, рывком вырваться из цепких объятий ответственности, возложенной на него предками?

Пока Тита несли в кресле верхними этажами Замка по направлению к тому месту, где прятался Щуквол, молодой Герцог был уверен, что отныне он свободен. После того, как Щуквола вытащат, как водяную крысу, из его норы и предадут смерти, что может удержать его в Замке, в том единственном мире, который был ему домом? Медленному гниению обрядов, смысл которых всеми давно позабыт, он предпочтет смерть где-нибудь в лесах. Фуксия мертва. Все мертво. Летающее существо мертво. И мир Горменгаста тоже умер для Тита. Он не мог здесь больше оставаться.

Но позади всего, позади всех его спотыкающихся мыслей в Тите рос гнев. Никогда раньше Тит не испытывал такого. На первый взгляд могло показаться, что этот гнев, сжигающий его, был бессмыслен. И умом Тит мог бы признать это, ибо гнев его был вызван не тем, что Фуксия погибла, как он был уверен, от руки Щуквола, не тем, что его странная вспышка любви к летающему существу была погашена случайным ударом молнии, – нет, его гнев выбирался из подсознания. Тита охватывала дрожь от одной мысли о пегом негодяе, и, если бы ему представилась такая возможность, он сам был готов убить его. В подсознании Тита каноэ ассоциировалось с летающим существом, а Щуквол украл его лодку, такую легкую, двигавшуюся столь уверенно и легко по водам потопа. В глубине смятенной души Тита, в мире его фантазий каноэ, возможно, с первых минут, когда он увидел, как страстно оно стремится к свободе, как легко летит по черным водам к свету, стало воплощением души леса, порывом к свободе, самым странным созданием.

Но для его гнева была еще и другая причина, причина, в которой не было никакого

символизма, никакого темного скрытого смысла, причина очень определенная, реальная, как и кинжал у него на боку.

Тит видел в своем каноэ прекрасный способ нанести молниеносный, неожиданный и скрытый удар. Тит потерял свое оружие, с помощью которого он мог бы свершить возмездие за свою сестру.

Если бы Тит обдумал ситуацию более глубоко, он бы понял, что Щуквол не мог быть убийцей его сестры, он никак не успел бы так быстро добраться до комнаты, в которой находилась Фуксия перед смертью. Но Тит об этом не думал. Он просто считал, что только Щуквол мог быть повинен в ее смерти.

Как только отряд, двигавшийся по крышам, добрался до места и перед людьми открылся «залив» с его водами, ставшими в подступающей темноте черными, были выставлены дозорные, которым было дано указание немедленно сообщить командирам о появлении флотилии. А тем временем вооруженные люди, прибывшие посуху, стали спускаться вниз, поближе к воде, поближе к тому окну, в котором скрылся Щуквол; они использовали провалы в крышах, дыры в когда-то застекленных перекрытиях, проникали через люки и вентиляционные шахты; они бродили по пустым и унылым комнатам, залам и коридорам безлюдной части Замка, которая никем не посещалась на протяжении многих и многих лет, до тех пор пока сюда не стал наведываться Щуквол.

Зажгли все факелы, так как было решено, что необходимо сразу увидеть, пусто или нет каждое помещение, несмотря на то что их свет мог спугнуть Щуквола. Но прочесывание этой части Замка, пустой, как колокол без языка, занимало много времени, и продвижение было довольно медленным. Наконец, когда все места, где мог бы скрываться (и не был обнаружен) Щуквол, были обысканы, подали сигнал, извещающий о прибытии флотилии.

Тут же во всех окнах, обращенных к заливу, появились головы, а над окном, на которое указал Тит, зажались гирлянды факелов, роняющих свои искры в воду. Сияние от них и увидел Щуквол изнутри своей комнаты.

То, что Щуквола не обнаружили на верхних этажах, могло означать, что убийца все еще находится в своем логове (хотя вовсе не исключалось и то, что зверь давно бежал). Тит, спустившийся на этаж, расположенный непосредственно над уровнем воды, и далеко высунувшись из окна, смог, хватаясь за плющ, чтобы не упасть, хорошо увидеть окно, в которое несколько часов назад заплыл его враг.

Теперь, после того как на водах залива засияли фонари и факелы, и Щуквол, если он был все там же, где его искали, увидев эти огни, мог попытаться улизнуть, Тит, три командира и несколько сопровождающих бросились из комнаты, в окно которой выглядывали, пробежали по коридорам несколько десятков метров и забежали в комнату, также обращенную к заливу. Подбежав к окну и выглянув в него, они обнаружили, что находятся почти прямо над Щукволовым окном. Щуквол не появлялся. В дверной проем, в котором давно не было двери, было видно, что комната, соседняя с той, в которую забежал Тит и командиры, была довольно большой, квадратной, толстый слой пыли покрывал пол бархатным ковром.

– Ваша светлость, окно на которое вы показали, наверняка находится в комнате, которая прямо под соседней с нами. Перекрытия здесь деревянные, и мы могли бы легко проникнуть сверху... – сказал один из командиров и направился ко входу в соседнюю комнату.

– Стойте, стойте! – сердито зашептал Тит. – Он может услышать шаги! Вернитесь!

– Да, вы правы, ваша светлость. Но лодки еще не подошли достаточно близко, он может попробовать бежать. Если он все еще там, то вряд ли он сможет выбраться через дверь. Если в его комнате сохранились двери, то они уже достаточно долго простояли в воде и открыть их будет очень сложно. Но вы правы, ваша светлость. Мы должны соблюдать тишину.

– Вот и соблюдайте! – очень резко сказал Тит. Крепкое вино самодержавия казалось столь сладким на языке. Но оно могло так легко вскружить голову! Тит только теперь начинал ощущать, что он обладает властью над другими, причем не только благодаря своему положению, данному ему с рождения, но и благодаря прирожденной властности, которую он только недавно стал открывать в себе. Это ощущение власти таило в себе опасность, с течением времени оно бы росло. Титу было бы все приятнее осуществлять эту власть над другими, это засасывало бы его все глубже, и тогда призывный клич свободы становился бы все слабее. И летающее существо, пробудившее в нем столь острое чувство свободы, постепенно превращалось бы лишь в смутное воспоминание.

Когда Щуквол обнаружил, что выход из окна блокирован баржами и лодками и темнота рассеяна светом факелов и фонарей, он решил, что пока будет оставаться внутри, – сзади на него напасть не могут, а если попробуют сунуться в узкое отверстие окна, он готов сразиться хоть с целым миром. Попытаться же выплыть – это значит быть тут же окруженным со всех сторон. Прийти к такому решению было непросто, и, скорее всего, оно было вынужденным, особенно после того как он увидел огни барж, перекрывающих выход. Как бы там ни было, Щуквол оставался на месте. Развернув каноэ, он еще раз проплыл вдоль стен своего убежища. Свет, льющийся через окно, усилился и повис как занавес. У преступника теперь не оставалось никаких сомнений в том, что его враги знают наверняка – он прячется в этой комнате. Но они же не могли знать так же наверняка, что выхода из этой комнаты не было! Не могли они быть уверены и в том, что, после того как он заплыл сюда, он точно таким же образом не выплыл. Но это пока не давало ему никаких преимуществ, а удостовериться в том, что они не обладают такой уверенностью, не представлялось возможным. Нужно было просто ждать.

В комнате он не обнаружил ничего, что могло бы помочь ему оборонять вход, – никакой мебели, лишь древние картины в гнилых рамах, висящие на стенах. И тогда Щуквол еще раз взглянул вверх и понял, что перекрытие здесь деревянное и держится на гнилых балках. Проклиная себя за то, что раньше не подумал о возможности бежать через потолок, он при свете, льющемся в окно, выбрал то место на потолке, которое показалось ему наиболее уязвимым, и уже приготовился, встав в лодке во весь рост, нанести по нему удар веслом, когда с ужасом услышал шаги, раздавшиеся откуда-то сверху.

Он тут же быстро опустил лодку в раскачивающуюся лодку. Помимо его собственных движений, лодку раскачивали волны, которые стали проникать даже через довольно узкое отверстие окна.

Почему он все-таки не попробовал открыть дверь! А теперь уже поздно! Люди, находящиеся над ним, тут же услышат подозрительный шум внизу! Щуквол оказался в западне. Он не сводил глаз с яркого желтого света, проникающего в окно. Волна, сильнее предыдущих, ворвалась внутрь, сильно качнула каноэ и презрительно разбилась о стену. Темная комната наполнилась плеском воды, особенно гулким в пустом помещении. В этом звуке было что-то холодное и жестокое. А затем Щуквол расслышал шипящий звук вновь начавшегося дождя. И в нем зародилась новая надежда.

Однако нельзя было сказать, что он терял надежду, ибо нельзя терять то, чего не имеешь. Щуквол не мыслил такими категориями, как надежда. Он настолько был поглощен тем, что ему следует делать в следующую секунду, что просто не мог представить себе ситуацию, в которой бы почувствовал, что все потеряно. К тому же в своей чрезмерной гордости он видел в том, что его окружало со всех сторон такое количество людей, дань уважения, которым почтил его Горменгаст. И происходящее было вовсе не установленным ритуалом или обрядом – это было нечто новое, оригинальное, организованное специально для него.

О, сколь восхитительным и необычным было зрелище сотен лодок, осиянных огнями! И

возникло оно само по себе, никто его не планировал и специально не организовывал, не репетировал. Оно было вызвано необходимостью – необходимостью, проистекшей из страха перед ним, Щукволом! Но к этим чувствам тщеславия и гордости примешивалось у Щуквола и собственное чувство страха. Нет, не страха перед людьми, окружившими его со всех сторон, а подсознательного страха перед огнем. Именно свет, отбрасываемый множеством факелов и фонарей, вызвал у «пегого зверя» волчий оскал и заострил его осторожность. Воспоминание о том, как он чуть не погиб от огня в объятиях пылающего Баркентина, жило в нем постоянным язычком пламени, которое разгоралось всякий раз, когда Щуквол видел поблизости от себя открытый огонь, и настолько повлияло на его разум, что при появлении огня грозило перерасти в безумие.

Он ожидал, что теперь в любой момент в окне появится нос лодки, расталкивающей волны озаренные пляшущим светом – а может быть, и несколько лодок сразу перекроют отверстие окна. И раздастся чей-нибудь голос, зовущий его.

Некоторые лодки приблизились столь близко, что при свете множества светильников можно было узнать людей в них.

И тут снова над головой раздались шаги. Щуквол поднял глаза к дощатому потолку. Любое движение теперь требовало осторожности – усиливающиеся волны сильно раскачивали каное.

Когда его взгляд опустился с потолка, он увидел то, на что раньше не обращал внимания – своеобразную полку, которую образовывала каменная перемычка, уложенная над окном. И Щуквол тут же понял, что она достаточно широка, чтобы он смог на ней разместиться. Если разыграется шторм, то он может рассеять лодки, но, с другой стороны, его враги не будут терять больше времени и начнут действовать. Время не играло на руку ни ему, ни его врагам. Скорее всего, они попытаются проникнуть в комнату прямо сейчас.

Но забраться на перемычку, где темнота было особенно густой, было делом непростым. Щуквол встал в лодке во весь рост, передвинулся на нос, так что корма задралась вверх и торчала из воды. Одной рукой он ухватился за одно из стропил потолка, низко висящее над водой, а другой – стал ощупывать край перемычки. При этом ему приходилось удерживать каное рядом со стеной, а волны раскачивали лодку все сильнее. Следовало так расположить лодку, чтобы ее не заметили снаружи. Мускулы Щуквола были напряжены до предела – он стоял под углом к воде, его руки хватались за стропило и перемычку, лодка плясала под ним. Брызги обдавали его с головы до ног.

Наконец Щукволу удалось нащупать нечто такое, за что он мог крепко ухватиться правой рукой – его пальцы нашарили глубокую трещину в камне. Его беспокоила не высота, на которую ему нужно было взобраться – перемычка располагалась сантиметрах в тридцати над его головой, – а синхронизация всех движений, которой ему нужно было достичь, чтобы вскочить на каменный выступ над окном. Стоя в легком, прыгающем суденышке, совершить это было исключительно трудно.

Но Щуквол был упорен как хорек, очень медленно и осторожно он поднял правую ногу со дна каное и уперся коленом в небольшой выступ на стыке блоков, окаймлявших окно. Каное торчало из воды почти вертикально, вздыбившись под давлением левой ноги, упиравшейся в его носовую часть. Лихорадочно работающий мозг принял неожиданное решение – он опустил левую руку державшуюся за стропило, и, ухватившись за корму каное и подняв левую ногу, приподнял легкую лодочку над водой. Теперь одной рукой он держался за перемычку, запуская пальцы в трещину, а второй – держал каное так, чтобы оно не попадало в полосу света, лившегося сквозь окно. Правое колено, упертое в стену, ныло, а левая нога болталась над водой как мертвая.

Несколько секунд Щуквол оставался в таком положении, пот заливал его красно-белое

лицо, мышцы всего тела, казалось, вопили, взывая к освобождению от такого страшного напряжения. Щуквол даже решил, что ему ничего другого не остается, как разжать руку и как дохлая муха со стены свалиться в воду, но тогда его тут же заметят, выловят, втянут в какую-нибудь лодку.

И несмотря на боль от напряжения во всем теле, убийца стал подтягиваться вверх на одной руке, пальцы которой вцепились в края трещины в перемычке. Постанывая, как грудной ребенок, подвывая как больная собака, Щуквол втягивал свое тело наверх, помогая себе коленом и слегка разворачиваясь, чтобы пустить в дело вторую ногу. Но носок туфли скользил по стене, не находя никакой выбоинки или выступа, о которые можно было бы зацепиться.

Щуквол, охваченный отчаянием, опять решил, что не выдержит напряжения и рухнет в воду. Его взгляд, безумно бегавший по сторонам, натолкнулся на большой ржавый гвоздь, торчавший из ближайшего к нему стропила потолка. Однако Щуквол не сразу оценил его возможную полезность и отвел взгляд. Гвоздь выплыл из поля зрения, но остался в глубине сознания, в которой принимались решения, не сразу осмысляемые на верхних уровнях. Но если разум и не реагировал, рука, словно сама зная, что ей делать, пришла в движение. С некоторой оторопью Щуквол увидел, как его рука – вот эта, его левая рука – поднимается и тянет за собой каное. Вот каное уже на уровне его головы, вот оно уже выше головы, вот рука цепляет нос каное на гвоздь, как цепляют одежду на крючок вешалки. Как только рука освободилась, она перебросилась на помощь правой и пальцами вцепилась в края трещины рядом. Теперь без особого труда Щуквол залез на перемычку и, вытянувшись, замер.

Золотые языки света тем временем все глубже проникали в комнату. Щуквол лежал на каменной полке лицом вниз. Отдышавшись, он стал осторожно опускать голову, чтобы выглянуть в верхний угол окна. С внешней стороны в этот угол нависало несколько ветвей мертвого плюща, и хотя они несколько мешали обозрению, но, с другой стороны, создавали прикрытие, сквозь которое, оставаясь невидимым, Щуквол мог следить за всеми перемещениями и приготовлениями своих врагов.

Опуская голову все ниже, он наконец увидел их. Окно окружали плотные ряды лодок, находившихся уже на расстоянии не более четырех-пяти метров. Они взлетали и опускались на разгулявшихся волнах. Хлестал дождь, мелкий и злобный. На ближайших лодках Щуквол смог даже рассмотреть лица; при свете фонарей и факелов было видно, что они мокрые, словно лоснящиеся.

Все были вооружены, но не ружьями, как предполагал Щуквол, а длинными ножами. И он тут же вспомнил, что в соответствии с Законом Горменгаста убийцы должны быть по возможности преданы смерти таким же образом, каким они совершили убийство. И поскольку Флэй был убит ножом, то и люди, отправленные на поимку Щуквола, были вооружены так же.

На скользких стальных лезвиях играли блики света. Лодки медленно, но неуклонно приближались к окну.

Щуквол приподнялся и огляделся. В комнате стало еще светлее – ее наполняли золотистые сумерки. Щуквол взглянул на висящее на гвозде каное, а потом стал методично вынимать из своих многочисленных карманов то, что всегда носил с собой.

Нож и мощную рогатку он положил рядом, аккуратно и осторожно, словно заботливая хозяйка, любовно расставляющая безделушки на каминной полке. Достал с десятков круглых камней, оставив остальные в карманах, и разложил их как игрушечных солдатиков – тремя ровными рядами.

Затем вытащил из кармана маленькое зеркальце и расческу и тщательно расчесался. Света, проникавшего в комнату, было вполне достаточно, чтобы достичь желаемого результата.

Завершив причесывание, Щуквол снова выглянул в угол окна и увидел, что первый ряд

тяжелых лодок сформировался в некое подобие подвижной стены, которая делала бегство совершенно невозможным. Через эту стену переносили маленькие суденьшки, которые опускали на бурную воду прямо перед окном, так что они оказывались всего в нескольких метрах от него. С двух сторон полукруглую стену лодок замыкали баржи, сдвигавшиеся все ближе.

Теперь свет широким потоком вливался в комнату, освещая блесками, и если бы Щуквол не спрятался над окном, то его обязательно бы заметили.

Свет, сверкавший на поверхности воды, сделал ее непроницаемой для взгляда, вода казалась золотистым полом, у которого оканчивались стены. Пол этот вздымался словно при землетрясении, бросая отблески света на стены и потолок. Щуквол взял в руку рогатку и, подняв ее ко рту и выпятив свои тонкие, безжалостные губы, поцеловал свое оружие – так иссохшая старая дева целует своего верного спаниеля в нос. Затем Щуквол вложил камень в кожаный мешочек, закрепленный между двумя толстыми полосами резины, и замер в ожидании первой лодки, которая, как он предполагал, должна была вот-вот появиться под ним... хотя, может быть, его сперва окликнут по имени. Большая волна ворвалась в комнату; вода, стесненная стенами, забурлила безумным водоворотом. Тут же раздались голоса, призывающие к осторожности, – волна, отхлынув, сильно встряхнула ближайшие лодки, швыряя их друг на друга. И в этот момент, когда под ним бесновалась вода, а рука плотно стискивала рогатку, он расслышал еще один звук, пробившийся сквозь шум голосов, скрежет сталкивающихся лодок, шипение и бурление воды. Звук был не очень громкий, но настойчивый – это был звук распиливаемого дерева. Пила была просунута между подгнившими досками – этого Щуквол не расслышал.

Убийце, который напряженно вслушивался в то, что происходит за пределами его окна, и ожидал появления первой лодки, вплывающей в окно, понадобилось несколько секунд, чтобы до конца осознать, что означает для него этот звук пилы, вгрызающейся в дерево. Он поднял голову, и в наступившем кратком затишье увидел шмыгающий туда-сюда прямо по центру потолка поблескивающий конец пилы.

Время шло и Тит проявлял все большее нетерпение. Хотя приготовления к штурму шли недостаточно быстро – по крайней мере недостаточно быстро с точки зрения Тита – но не это было главным источником раздражения, питавшим все не утихающий гнев Тита. Гнев этот все более захватывал его сознание.

Перед его внутренним взором постоянно возникало два образа, два видения: удивительное создание, изящное, непокорное, бросающее вызов ему, Горменгасту, буре и все же такое естественное и непорочное, как сама природа, как воздух, как молнии, одна из которых убила его; и маленькая пустая комната в которой на носилках лежит его сестра, среди мертвого камня, кажущаяся такой живой и просто прикрывшей глаза. Смерть этих двух существ Тит совершенно иррационально связывал со Щукволом, которого должно постигнуть праведное отмщение и чем быстрее, тем лучше.

Тит не мог спокойно находиться на одном месте и поэтому он не долго оставался у окна, выходящего на залив вздымающийся волнами и расцвеченный отблесками факелов и фонарей. Тит вышел из комнаты и, спустившись по внешней лестнице к самой воде, залез в одну из лодок, прыгающих на волнах. Тит приказал гребцам провести лодку поближе к окну, за которым, как считалось, засел Щуквол. Тита почтительно пропускали вперед, хотя это было трудно, и, прорвавшись сквозь плотное полукольцо, он оказался прямо перед окном. Заглядывая в него, он мог достаточно хорошо видеть всю комнату, озаряемую яркими отсветами от колеблющейся воды. Тит смог даже рассмотреть картину, висевшую на дальней стене.

Графиня же в это время поднималась вверх по той же внешней лестнице, по которой только что спустился Тит. Они, двигавшиеся в противоположных направлениях, могли бы встретиться на освещенной янтарным светом лестнице, но не только не встретились, а даже не увидели друг друга, разминувшись всего на пару минут. Графине пришла в голову мысль попытаться проникнуть в комнату, где, по предположениям, скрывался Щуквол, сверху. Она видела, что тот, кто рискнет первым проникнуть в эту комнату через окно, подвергнется большой опасности. Правда, никто до сих пор не видел Щуквола, и абсолютной уверенности в том, что он до сих пор прячется в этой комнате, не было. Но ведь никто и не заглядывал пока в ближние углы, которые не просматривались с внешней стороны. Щуквол мог ведь прятаться внутри за стеной, с той или другой стороны окна.

И Графиня подумала о том, что в нижнюю комнату можно попытаться проникнуть из верхней, расположенной прямо над ней. Когда она добралась туда, то увидела, что эта мысль пришла в голову не только ей и уже воплощается. Графиня, одобрительно кивнув, подошла к окну и выглянула. Дождь возобновился с прежней силой и теперь безжалостно хлестал воду залива и камень стен. Не обращая внимания на потоки воды, которые ветер заносил в открытое окно и которые тут же вымочили ее с головы до ног, Графиня осматривала мокрые стены, распростертые по обе стороны от ее окна, уходящие ввысь. Никаких балконов, никаких архитектурных украшений. Сплошная стена, усеянная отверстиями окон, в каждом из которых виднелась чья-то голова. При свете факелов и фонарей эти головы казались того же цвета, что и окружающий камень так что создавалось впечатление, что застывшие без движения наблюдатели – не живые люди, а каменные изваяния. Лица этих горгулий ^[6] были повернуты к свету, исходящему от факелов и фонарей, все следили за баржами и лодками, танцующими на

темных водах вокруг «пещеры» Щуквола.

Графиня, рассматривающая эти застывшие изваяния, вдруг заметила, что камень ожил, словно охваченный каким-то волнением, головы стали исчезать из окон, словно их засасывало вовнутрь, и вскоре ни одной уже не было видно.

Графиня повернула голову и посмотрела вниз, на то, что происходило прямо под ней, и в окнах снова стали появляться, словно выдуваемые изнутри, бесчисленные мокрые лица, а может быть, кому-то это напомнило бы то, как черепаха, втянувшая голову под панцирь, выставляет ее снова.

Прямо перед Щукволовым окном плясала небольшая лодка, в которой сидел человек в широкополой черной кожаной шляпе, державший в руках короткое тяжелое весло, а в зубах – длинный кинжал.

Удерживать эту лодку в одном положении было очень трудно. Ее болтало на воде, которая жидким золотом все чаще заплескивалась через борта вовнутрь. Завывания ветра становились все громче.

И в этот момент раздался голос Тита.

– Стойте! Вернитесь! Вы, в лодке! Я отправлюсь первым! Дайте мне ваш кинжал!

В темном проеме окна Тит видел лицо своей сестры, летающее существо порхало над сверкающей водой. Тит прорычал, обнажив зубы в страшном оскале.

– Пустите! Пустите! Я убью его сам! Сам!

Тит превратился вдруг в истеричного ребенка, требующего немедленного осуществления своего желания, порожденного воспаленным воображением. Человек в широкополой шляпе, который был уже готов ввести лодку в окно, заколебался. Он повернул голову, словно ища у кого-то подтверждения в необходимости исполнить требование Тита.

Но тут сверху прогремел властный голос.

– Нет! Ни в коем случае! Не пускайте его! Крепко держите мальчика!

Два человека схватили Тита, который уже собирался прыгнуть в воду.

– Успокойтесь, ваша светлость, – сказал один из мужчин, державших его. – Если Щуквол прячется там, то проникать туда одному может быть очень опасно.

– Ну и что? И что значит «если он прячется там»? Я сам видел его, видел как он заплывает туда! Пустите! Вы что, не знаете, кто я? Пустите меня!

II

Щуквол замер в полной неподвижности, как и камень, на котором он сидел. Двигались лишь его глаза – от проема окна к пиле, которая вырезала круг в досках над его головой, и снова к проему окна, где в любой момент могла появиться вражеская лодка. Он слышал, как Графиня выкрикнула: «Нет!» прямо над ним. И понял, что она одной из первых заглянет в вырезанное в потолке отверстие, сквозь которое его при свете факелов сверху и отражений от воды сразу увидят.

Да, он может всадить камень в лоб того, кто заглянет в отверстие первым – камень как самое красноречивое свидетельство его отношения к своим врагам. Но его первый выстрел из рогатки сообщит, где он находится, будут немедленно предприняты меры, чтобы его обезвредить.

И остановить человека, работающего пилой, нет никакой возможности! Три четверти круга в гнилых досках уже было завершено, в бурлящую воду падали куски дерева.

Что случится раньше – появление лодки в окне или появление круглого глаза в потолке?

Преступник страстно жаждал, чтобы первой появилась лодка. И словно в ответ на его молчаливый призыв, в проеме окна показался нос лодки, прыгающей как дикая лошадь. В лодке, проскользнувшей в окно, сидел человек в широкополой кожаной шляпе, в зубах сжимавший длинный кинжал. Щуквол, наклонившись, мог коснуться верха черной шляпы.

III

Графиня, убедившись, что Тита крепко держат и что он не прыгнет в воду, подошла к человеку с нагретой и скрипящей пилой, которому оставалось сделать всего несколько движений, чтобы завершить круг.

– Господа, проявляйте осторожность – первый, кто заглянет в эту дыру, может получить камень в лоб, – медленно проговорила Графиня. Она стояла, положив руки на бедра и высоко держа голову. Ее грудь поднималась и опускалась, как неспешные волны в открытом море. Она была охвачена возбуждением, порожденным перипетиями охоты за человеком, но на ее лице это никак не отражалось. Она хотела лишь одного – скорой смерти предателя.

Вспоминала ли она сейчас о Тите? Взрыв его эмоций, горечь его тона, явное отсутствие какой бы то ни было любви к ней – все это, хотела она этого или нет, оставило в ней глубокий след и смешалось в ее чувствах со жгучим желанием поймать Щуквола. Ей было горько осознавать, что развернувшуюся борьбу нельзя было назвать чистым и открытым столкновением Дома Стонов с негодяем и бунтовщиком, ибо семьдесят седьмой Герцог Стон сам, по собственному признанию, стоял в опасной близости к тому, что можно было бы назвать изменой.

Графиня вернулась к окну, а внизу, в этот же самый момент, Щуквол, приняв совершенно новое, неожиданное решение, засунул свою рогатку в карман и, схватив нож, стал бесшумно приподниматься. Когда его наклоненная вперед голова и плечи уперлись в потолок, он замер.

Человек в лодке, вызвавшийся, несмотря на очевидную опасность, добровольно проникнуть в «логово Щуквола», был настолько поглощен управлением своей лодки, что не мог сразу осмотреть комнату в поисках врага. Волны закатывавшиеся вовнутрь швыряли лодку в разные стороны, а ударившись о стены и возвращаясь назад к окну, делали лодку практически неуправляемой.

Однако выждав момент когда очередная волна схлынула, а следующая еще не ворвалась и в комнате наступило обманчивое относительное затишье, смельчак в лодке повернул голову и обежал взглядом стены с двух сторон от окна и над ним. И конечно он тут же увидел Щуквола, лицо которого было подсвечено снизу отражениями на воде.

Человек в лодке, увидев Щуквола, едва сдержался от восклицания ужаса и возбуждения. Он был вовсе не робкого десятка – он сам вызвался забраться в логово и был готов к страшному единоборству, такому, в какое он никогда ранее не вступал. Но вид приготовившегося к прыжку негодяя, выражение его лица вселяли такой ужас, что у добровольца все похолодело внутри. Лодку отнесло вглубь комнаты, и человек в ней уже приготовился, вынув кинжал изо рта, свистнуть в свисток, висевший на бечевке у него на шее (было договорено, что при обнаружении Щуквола он должен был подать этим свистком предупредительный сигнал), как в этот момент очередная волна, ворвавшаяся внутрь, добежала до дальней стены и, отразившись от нее, потащила лодку назад к выходу.

Когда лодка оказалась совсем близко, Щуквол прыгнул вниз и обрушился всем своим весом на человека, сидевшего в ней. Несмотря на небольшой вес, удар, оказавшийся очень сильным, оглушил добровольца, но не Щуквола, который успел в считанные мгновения трижды всадить

свой нож меж ребрами врага. Нож поразил того в самое сердце.

Щуквол, нанеся свой третий молниеносный удар, поднял голову – при свете факелов, проникающих внутрь комнаты, пот, текший ручьями по его лицу, казался кровью – и увидел, что еще какой-то дюйм-другой, и пила завершит полный круг. Через несколько мгновений его увидят люди, находившиеся в комнате над ним!

Труп лежал у ног Щуквола в лодке, которая зачерпнула пару ведер воды в тот момент, когда он в нее прыгнул. Возможно, именно это несколько увеличило устойчивость лодки на воде. Как бы там ни было, Щуквол, уперев ноги в стену и лихорадочно работая веслом, сумел удержать лодку на одном месте и не допустить того чтобы отхлынувшая от стен волна затащила ее в оконный проем. Как только бурлящий избыток воды схлынул, Щуквол, используя несколько секунд относительного спокойствия и прячась в самом темном углу, сорвал с убитого широкополую кожаную шляпу и напялил ее себе на голову. Балансируя в раскачивающейся лодке он стащил с обмякшего и такого тяжелого мертвого тела куртку и в лихорадочной спешке надел ее на себя. Ни на что другое времени больше не было. Удары молотка сообщили ему о том, что круг в досках потолка уже вырезан, но, так как он, очевидно, не выпал сам по себе, его приходится выбивать молотком. Щуквол подхватил труп под колени и одним мощным рывком, потребовавшим нечеловеческого усилия, перекинул тело за борт в беспокойную воду.

Теперь следовало главное внимание уделить управлению лодкой. Преступник хотел не только подвести ее прямо под отверстие в потолке, но и не допустить, чтобы она перевернулась. Едва только Щуквол мощным гребком короткого тяжелого веса направил лодку к центру комнаты, вырезанный круг наконец выпал из потолка, и на воде в логове заиграло новое световое пятно.

Но Щуквол не поднял голову. Наоборот, он, втянув голову в плечи и скрываясь от взглядов, направленных на него сверху, под широкими полями шляпы, прилагал все усилия к тому, чтобы удерживать лодку непосредственно под отверстием в потолке. Затем он вдруг выкрикнул голосом, который, конечно, не был похож на голос его жертвы, но узнать в нем голос самого Щуквола тоже нельзя было.

– Ваша милость!

– В чем дело? – негромко отозвалась Графиня сверху. Один из людей, стоявших рядом с ней, придвинулся поближе к отверстию.

Снова раздался голос снизу.

– Там, наверху! Где Графиня?

– Это доброволец, который заплыл в комнату! – воскликнул человек, рискнувший заглянуть в выпиленное отверстие. – Ваша милость! Это волонтер! Он прямо под нами!

– И что он говорит? – воскликнула Графиня каким-то загробным голосом – черные мысли царапали ее душу.

– Что он говорит? Скажите быстрее, ради всех святых Камней Горменгаста!

Графиня шагнула вперед и, наклонив голову, посмотрела на человека в широкополой кожаной шляпе и тяжелой куртке, сидевшего в лодке прямо под ней. Она уже собиралась сама окликнуть добровольца, который явно не собирался поднимать голову, чтобы посмотреть вверх; но его голос первым нарушил тишину, ту странную тишину, которая вдруг установилась, несмотря на плеск волн, завывание ветра и шипение дождя. Напряжение, охватившее всех, казалось, подавило все звуки природы. Оно лишь усиливалось от страшной мысли, что смертоносная птичка упорхнула.

– Скажите ее милости Графине, что здесь никого нет! – говорил человек из-под шляпы. – Выйти отсюда можно только через окно! Двери открыть нельзя. Скажите ей, что здесь, кроме воды, никого и ничего нет. Здесь негде спрятаться и малой птичке! Его здесь нет, если он

вообще здесь был... в чем я сомневаюсь!

Графиня медленно опустилась на колени, словно собиралась молиться. Все в ней застыло. Она так ждала этого момента, когда можно будет наконец схватить и прилюдно предать смерти врага Гррменгаста, воздать ему по заслугам. А этот человек в лодке сообщает, что в комнате никого нет!

Но что-то в ней не хотело принять того, что такие колоссальные приготовления, такое сосредоточие и объединение усилий всего Замка окажутся бесполезными; более того, что день, который должен был стать днем возмездия, окажется безрезультатным и что не свершится то, чего она так желала.

Графиня склонилась над круглой дырой и, опершись на локти, опустила в отверстие голову. Первый быстрый осмотр комнаты вроде бы подтверждал слова добровольца – спрятаться там действительно было негде. Пустые стены, старые картины, запертая дверь, вместо пола – вода. Вот и все. Графиня перевела взгляд на человека в лодке.

Да, действительно, удерживать лодку в одном положении на воде, было весьма сложно. Но все же было странно, что человек этот даже не делал никаких попыток хоть на мгновение поднять голову и взглянуть вверх, туда, где у отверстия собрались с нетерпением ожидающие его сообщения люди.

Еще стоя у окна, она видела, как доброволец спускался в лодку и потом, работая веслом, боролся с волнами. Тогда она, заливаемая потоками дождя, врывающимися в открытое окно, с нетерпением ждала какого-то сигнала – свистка или шума борьбы. Она была так уверена, что Щуквол находится в комнате и вступит в схватку с добровольцем, как только тот туда проникнет. Эта уверенность, которая окончательно не покинула ее даже после того, как она, осмотрев все, вроде бы сама удостоверилась в том, что комната пуста, заставила Графиню повнимательней присмотреться к человеку в лодке, который позволил себе выразить сомнение в том, что Щуквол здесь вообще когда-то был.

Графине показалось, что человек в лодке выглядел теперь более худощавым, но это наблюдение не вызвало в Графине никаких подозрений – она особенно не присматривалась к добровольцу, когда тот садился в лодку, а сейчас неверный, пляшущий свет в комнате кого угодно мог ввести в заблуждение. Но взгляд Графини, снова оббежавший комнату, остановился на предмете, который она не заметила при первом беглом осмотре – стена, в которой находилось окно, была освещена хуже всего. И только теперь она заметила какой-то узкий длинный предмет, висевший у этой стены. В первое мгновение она не поняла, что это такое, но постепенно, по мере того как ее глаза привыкали к прыгающим пятнышкам света, все яснее видела, что это каноэ. Присмотревшись еще лучше, Графиня увидела, что это каноэ Тита! То самое, которое украл у него Щуквол! То самое, в котором он заплыл в эту комнату! Но где тогда он сам? Повесил лодку под потолок и уплыл? Зачем бы он это сделал, имея такое легкое и удобное средство передвижения? Но комната действительно пуста – только плещущаяся вода и этот человек в лодке... Пусть даже Щуквол исчез из комнаты, почему он повесил здесь украденное им каноэ? И почему этот доброволец, который не мог не увидеть каноэ, свисающее с потолка, заявил, что Щуквола здесь вообще не было? Ведь он знал, как и все остальные, рассказ Тита!

И Графиня перевела взгляд на человека в широкополой шляпе и внимательно к нему присмотрелась. Покатые, сутулые плечи, нервные быстрые движения при работе веслом – и в Графине стало быстро расти подозрение, что тот плотный, кряжистый доброволец, которого она видела несколько минут назад, за это краткое время, после того как он проник в комнату, странным образом изменился. Но пока это подозрение было столь неопределенным, что она не могла сделать следующего логического шага. Но оно вселило в нее какое-то беспокойство,

достаточное для того, чтобы, повинувшись внезапному внутреннему порыву, Графиня вдруг, набрав полные легкие воздуха, выкрикнула, да так громко, что не только человек в лодке, но и все стоящие вокруг вздрогнули:

– Доброволец!

– Да, ваша милость? – не поднимая головы, отозвался человек в лодке: он лихорадочно работал веслом, пытаясь, очевидно, оставаться прямо под отверстием в потолке. Неужели он действительно так занят своей лодкой, что не может даже на мгновение поднять голову и взглянуть на Графиню? – Да, ваша милость?

– Вы что, ослепли? – кричала Графиня. – У вас что, глаза по-высыхали?

Что Графиня имела в виду? Неужели она увидела?..

– Почему вы не сообщили о том, что висит у стены? – В стесненном пространстве комнаты голос Графини казался особенно громким. – Вы что, не видите?

– Очень трудно... ваша милость... удержать лодку на плаву... времени осматриваться...

– Там же висит каноэ! Неужели вам это ни о чем не говорит? Лодка, украденная изменником, находится в этой комнате! Покажите мне свое...

В этот момент новая волна, еще более мощная, чем предыдущие, ворвалась в окно, развернула лодку, в которой сидел Щуквол, словно листик, потащила, накренила. И Графиня увидела мелькнувшие под полями шляпы белые и красные пятна столь хорошо знакомого ей лица. Почти в то же мгновение в поле ее зрения прямо под ней всплыло еще одно лицо, и, переметнув свой взгляд с лица Щуквола, она ясно увидела, как из воды к поверхности подымается мертвое тело; оно качнулось на волнах как вымокший каравай хлеба, а потом снова исчезло под водой.

Когда Графиня узнала, что комната пуста и в ней Щуквола нет, все в ней застыло в ледяной неподвижности. А теперь, увидев мгновенно одно за другим эти два лица, она почувствовала, что все в ней встрепенулось, и ее покинули уныние, мрачная угнетенность, не нашедшие выхода тяжелое ожесточение, злость и разочарование, и на их место пришла все сметающая бодрость души и тела. Она ощутила могучий прилив сил. Гнев взбурлил в ней, как воды в замкнутом пространстве комнаты. Там, внизу, она увидела пегого негодяя, предателя, и мертвого добровольца.

И все вопросы, которые только что волновали ее – почему таким странным образом подвешена лодка и прочие, – потеряли для нее всякий интерес. Единственное, что сейчас имело значение – это немедленное предание смерти вот того человека в широкополой шляпе, сидевшего в лодке! Все остальное – потом.

Какое-то мгновение Графиня колебалась – не поиграть ли еще немного с Щукволом, не поблефовать ли – он наверняка не заметил лица убитого, на секунду появившегося в бурлящей воде, и не знал, что ей удалось увидеть, хоть и мельком, лицо, прячущееся под шляпой. Но время для игр и забав прошло... Надо было быстро решить, какой курс действий был для нее наиболее приемлем. Она могла, конечно, передать приказ ворваться в логово Щуквола большими силами и схватить его в тот момент, когда его внимание будет отвлечено каким-нибудь предметом, брошенным сверху – но все эти тонкости никак не соответствовали ее настроению. Графине хотелось, чтобы Щуквола во имя Камней Горменгаста поймали как можно быстрее, безо всяких ухищрений и предали смерти.

ослабят хватку (они из самых верноподданнических побуждений силой удерживали Тита от свершения опрометчивого, если не губительного для него поступка) и тем самым дадут ему возможность освободиться. Тита с обеих сторон держали за куртку и за воротник. Руки его были свободны и он медленно и незаметно расстегнул все пуговицы на куртке, кроме одной.

Сотни людей в лодках и на баржах – у многих от постоянных взлетов и скольжений вниз на волнах кружилась голова и к горлу подступала тошнота, – вымокших под дождем, уставших, утомленных помимо всего прочего тем, что приходилось чуть ли не ежеминутно заново зажигать факелы, никак не могли понять, что же происходит в Щукволовой «пещере» и в комнате над ней; они слышали голоса, громкие восклицания, но слов разобрать не могли.

И тут вдруг у окна появилась Графиня, и ее звучный голос прорвался сквозь вой ветра, шипение дождя и плеск волн:

– Слушайте все! Действовать решительно! Доброволец мертв! Изменник, который надел его шляпу и куртку, находится внизу, подо мной в той комнате, выход из которой вы окружили.

Графиня умолкла, вытерла лицо ладонью – потоки дождя порывами ветра заносило в окно, у которого она стояла, – а затем еще более громким голосом выкрикнула:

– Четыре лодки по центру! Вперед! На нос каждой лодки – вооруженных людей! Когда я подниму руку – плыть вперед, заплывать внутрь и предать негодяя смерти. Приготовить кинжалы!

При этих словах пронзивших бурю, всеми овладело такое возбуждение – всем хотелось протиснуться вперед, – что людям сидевшим в четырех лодках по центру полукруга с большим трудом удалось высвободиться из тисков поджимающих со всех сторон других судов и выйти в небольшое свободное пространство перед окном.

В этот момент Тит, почувствовав, что хватка двух человек, державших его, ослабла – они, как в трансе, смотрели в окно Щукволова логова – расстегнул последнюю пуговицу и, сильно дернувшись вперед, вырвал руки из рукавов своей куртки. Оставшись в одной рубашке, он прыгнул в воду. Куртка осталась в руках двух растерявшихся телохранителей.

Тит уже почти сутки обходился без сна, он все это время почти ничего не ел, его питала лишь нервная энергия, в нем горел огонь фанатизма, который позволяет ходить по острым гвоздям. У него поднялась температура, глаза горели лихорадочным огнем, грязные волосы прилипли к голове как водоросли, зубы стучали, его бросало из жара в холод. Но в нем не было страха, и не потому, что он был так храбр. Просто страх был отложен куда-то в сторону. И Тит позабыл, куда отложил его. А страх может заставить быть мудрым и осторожным. Но Тит позабыл обо всякой осторожности и о чувстве самосохранения. Им двигало лишь одно всеобъемлющее желание – завершить наконец начатое. Отомстить за боль сердца, за все то, в чем был повинен и не повинен Щуквол.

Тит плыл по направлению к окну, упиваясь гордостью за свою решимость. Вокруг него бурлила вода, на которой прыгали бесчисленные отражения огней факелов и фонарей. Тит поднимался и опускался вместе с волнами, летели брызги от ударов его рук об воду, вылившуюся из гигантских небесных резервуаров. Тит был в восторге.

Тит чувствовал, как усиливается его лихорадка. С каждым мгновением он слабел, но одновременно возрастали его неистовость и неудержимость. А может быть, все происходящее – сон? Может быть, все вокруг – иллюзия? Все эти сотни голов в сотнях окон все эти лодки, усеявшие словно золотистые жуки вздымающиеся черные воды это окно, за черным прямоугольником которого должна была развернуться кровавая драма, это окно наверху, в котором видна была массивная фигура его матери, ее белое как мрамор лицо в окружении рыжих волос?

Может быть он плывет навстречу своей смерти. Это уже не имело никакого значения. Тит

знал, что делает, что должен делать. У него не было выбора. Вся его жизнь была ожиданием. Ожиданием этих волн, этого окна, этого момента, того что вот-вот произойдет, каков бы ни был в этом смысл.

Кто скрывался в его теле, в его сердце? Кто был этот юноша, сражающийся с волнами? Герцог Горменгаста? Семьдесят седьмой правитель? Сын Гробструпа? Сын Гертруды? Сын вон той властной женщины, стоящей у окна? Брат Фуксии? Да, именно так. Он брат той девушки со спутанными волосами, которая лежала на носилках, прикрытая белой простыней до подбородка. Но он не был братом ее милости дочери Герцога. Он был братом утонувшей девушки. Он никакой не символ, он живой человек. Он сам по себе, он мог бы быть рыбой в воде, звездой в небе, листом на дереве, камнем на горе. Да, он был Титом, если требуется слово, чтобы его как-то назвать, но ничего больше – просто Титом. Он не имеет уже никакого отношения к Горменгасту, к Семьдесят Седьмому Герцогу, к Дому Стонов. Он стал просто живым сердцем, плывущем в пространстве и времени.

Графиня видела, как он прыгнул в воду и куда он плыл, но она уже ничего не могла поделать. Увидев, что одна из лодок уже всплывает в окно, Тит развернулся в воде и поплыл в сторону того места, где ступени внешней лестницы опускались в воду. За ним вдогонку уже плыло три человека. Как только Графиня увидела, что первая лодка исчезает в окне, она вернулась к центру комнаты, где группа офицеров стояла вокруг отверстия в полу. В тот момент, когда она подошла к ним вплотную, высокий человек, стоявший у края круглой дыры на коленях, неожиданно завалился набок. Рот у него был обагрён кровью. Выбитые зубы и камень со стуком упали на дощатый пол. Раненый, издавая стоны, тряс головой от боли. Остальные отпрыгнули от отверстия.

В этот момент в комнату вошел Тит, оставляя за собой мокрые следы. С первого взгляда было ясно, что он болен, что его трясет в лихорадке, что он вот-вот рухнет от изнеможения и что в нем горит могучий нервный огонь. Все особенности его сложения были странно подчеркнуты прилипшей к нему мокрой одеждой.

Тит всегда производил впечатление, что он крупнее, чем есть на самом деле – наверное, это он унаследовал от своей материи. И сейчас это впечатление было особенно сильным. Возникло даже ощущение, что вошел не Тит Стон, а некий абстрактный прототип человека, обуреваемого желанием мести и полного решимости это желание воплотить в поступки; даже вода, стекающая с его одежды, казалась свидетельством героических намерений.

Его лицо, всегда несколько грубоватое и глуповатое, теперь казалось еще более грубым и глуповатым; нижняя губа, вздрагивающая от возбуждения, слегка отвисла, как у ребенка. Но его глаза, бледные и обычно полные угрюмости и отрешенности, теперь горели не только от жара, но и от страсти к отмщению. Это было не очень привлекательное зрелище; одновременно в глазах вспыхивала холодная стальная решимость доказать, что он не остановится ни перед какой опасностью.

Внутренний мир Тита рухнул. А во внешнем мире все время действовали другие, а не он. Пришло время ему самому стать центром внимания. Разве он не Семьдесят Седьмой Герцог? Герцог Горменгаста? Нет, клянусь молнией, которая убила чудесное создание! Нет! Он теперь Первый – он человек на гребне скалы, освещенный снизу факелами мира! Он весь тут, живой, не символический, обладающий всем, чем положено обладать человеку: мозгами, сердцем, чувствами, человек сам по себе, живое существо, а не мертвый ритуал, с руками и с ногами, с пенисом, с головой, с глазами и зубами!

Тит, не поприветствовал мать, подошел к окну; двигался он словно слепой. Да, в ее глазах он предатель, он предал дух Горменгаста. Пускай теперь она просто взирает на то, что он делает, пускай смотрит!

С того момента, как он, вырвавшись из цепких рук людей, державших его, прыгнул в воду, им двигало одно-единственное желание; ничего другого у него на уме не было. Не было места в нем даже для страха. Он был уверен в том, что лишь ему следует схватиться со Щукволом и победить его, одолеть это воплощение черных сил. И сделать он это должен с помощью короткого, холодного, скользкого ножа. Чтобы лучше удерживать нож в руке, Тит обмотал рукоятку какой-то тряпкой. Он стоял у окна, ухватившись за внешний край подоконника обеими руками, и смотрел вниз на залитое светом факелов столпотворение лодок. Ветер, который еще несколько минут назад дул и завывал с такой злобной настойчивостью, вдруг утих – мгновенность, с которой это произошло, была поистине удивительна; прекратился и дождь. Луна, стряхнув с себя облака, осветила Горменгаст пепельным светом. На залив опустилась тишина, нарушаемая лишь плеском волн о стены; хотя ветер стих, волны не улеглись.

Если бы Тита спросили, почему он стоит у окна, он не смог бы ответить, может быть, потому, что находясь в этой комнате, он был всего лишь в нескольких метрах от Щуквола, хотя и отделенный от него полом. В окно не заплыть – оно занято лодками; в круглую дыру не спуститься – вокруг него толпятся люди. Но по крайней мере он чувствовал, что находится совсем рядом с человеком, которого хочет убить. Но не только это привело его в комнату над Щукволом. Тит был уверен, что он не ограничится ролью простого наблюдателя. Непонятно, откуда в нем взялась эта уверенность, но он знал, что все эти вооруженные люди не справятся с таким хитрым зверем, как Щуквол, хотя и загнанным в ловушку. Тит подсознательно полагал, что численным превосходством не совладать с таким изворотливым и умным врагом.

Все это скрывалось в глубинах сознания Тита, но не всплывало на поверхность. Он не был в состоянии мыслить рационально. Раз он не смог заплыть в комнату, он будет стоять здесь, у окна, и ждать подходящего момента для нанесения решающего удара, который, как он был уверен, обязательно наступит.

V

Снизу донесся страшный крик, потом еще один. Щуквол, как только увидел, что первая из четырех изготовившихся лодок всплывает в комнату, отвел свою лодку к дальней стене – ничего другого ему не оставалось делать, – выхватил свою смертоносную рогатку и выпустил два камня, один за другим. Несмотря на раскачивание лодки, прицел его был точен. Потом он три раза выстрелил по факелам, стоявшим в железных кольцах по бортам лодки, и два из них были сбиты в воду, где с шипением затухли.

Больше снарядов, если не считать тех камней, которые остались на каменной полке оконной перемычки, у него не было. Но он имел еще нож, который, если бросить его в цель, можно было бы употребить только один раз, а его врагов было бесчисленное множество. И он решил держать нож при себе.

А враги были совсем близко – на расстоянии вытянутого весла. Один из них лежал на борту головой вниз. Он умер, не успев издать ни звука. Те крики, которые слышали наверху, издавали два других человека. Один из них получил камень в грудь, а второго камень чиркнул по лицу. Убитый, перекинувшись наполовину через борт как мешок с мукой, так что одна его волосатая рука была погружена в воду, так быстро перенесся из мира живых в мир мертвых, что не успел ничем выразить свой протест против этого перемещения.

Оставшись без камней, Щуквол отбросил рогатку и сам прыгнул в воду. Он нырнул и поплыл под килями лодок. Он был уверен, что направление его перемещения под водой не видно сверху. Еще находясь в лодке, он удостоверился в том, что поверхность воды, усеянная

прыгающими отблесками света, совершенно непроницаема для взгляда.

Четвертый человек, который еще был в состоянии сообщить остальному миру, что происходит, незамедлительно это сделал.

– Он нырнул! – закричал этот человек, и в голосе его прозвучало облегчение, хотя он и старался скрыть свои эмоции. – Он где-то под лодками! Следите за окном! Эй, в лодках! Следите за окном!

Щуквол скользил под водой в чернильной темноте. Он знал, что ему нужно отплыть как можно дальше, прежде чем он поднимется на поверхность, чтобы сделать вдох. Но, как и Тит, он чувствовал крайнюю усталость.

Доплыв до окна, он понял, что воздуха у него в легких осталось совсем немного. Рукой он нащупал камень стены у окна. Киль второй лодки был прямо над ним. В следующее мгновение он, оттолкнувшись от стены, уже плыл вперед. Проплыв под водой сквозь окно, он резко свернул налево и поплыл вдоль внешней стены. Над ним плескались волны, разбивавшиеся под окном комнаты, в которой находилась Графиня. Теперь он плыл под одной из барж, стоявших по обеим сторонам окна. Сквозь воду он видел киль деревянного монстра, отблески огней факелов на поверхности воды.

Когда он стал подниматься к поверхности, чтобы глотнуть воздуха – ему казалось, что его легкие вот-вот не выдержат и разорвутся, – он точно не мог определить, хватит ли узкого пространства между бортом баржи и стеной для того, чтобы выставить над водой голову. К тому же следовало опасаться раскачивания баржи, которая могла придавить его к кладке. Щуквол никогда раньше не видел таких барж и не представлял себе конфигурацию их бортов. Если днище баржи шире, чем ее верхняя часть, и борта наклонены вовнутрь, тогда высовывать голову смертельно опасно – любое движение баржи тут же его раздавит, если же днище баржи уже, чем ее верхняя часть, и борта отклоняются от вертикали в стороны, тогда у него есть шанс выжить – баржа в таком случае должна удариться о стену верхней частью бортов, а не нижней, и на уровне поверхности воды будет достаточный зазор – да еще прикрытый нависающими бортами сверху, – в который он сможет выставить голову и отдышаться.

Щуквол, поднимаясь наверх, устремился к стене и вытянул вперед руки с широко расставленными пальцами, которыми он рассчитывал цепляться за все неровности камня. Но руки его коснулись не шершавой поверхности камня, а пружинистого, плотного ковра, подводного ковра плюща, который густым покровом устилал стены Замка. Прикосновение к этой плотной массе растений в первое мгновение даже несколько испугало Щуквола – он не сразу понял, что это. Он позабыл, что когда заплывал на украденном каноэ в комнату, ставшую для него западней, из которой он только что вырвался, он заметил, что вся поверхность стены не только испещрена и обезображена глазницами окон, в которых уже давно не поблескивали стекла, но и застлана темным покровом вьющихся растений.

Щуквол, цепляясь за плющ, поднимался на поверхность и наконец ударился головой о корпус баржи там, где она почти вплотную прикасалась к стене. И тогда он понял, что сейчас он ближе к смерти, чем когда бы то ни было. Ближе, чем тогда, когда много лет назад он карабкался на огромную высоту к чердаку, в котором уединялась Фуксия. Ближе, чем тогда, когда он, загнанный, находился в полузатопленной комнате. Ибо если он через пару секунд не сможет вдохнуть воздуха, то утонет. Путь к поверхности был полностью заблокирован днищем и боком баржи. Щель между нею и стеной была слишком узка. Кругом вода, вода, дерево и камень, и нельзя сделать ни одного глотка воздуха! В отчаянии, которое молотом стучало в мозг, Щуквол схватился за плющ. Вверх пути не было. А вниз? Вниз бессмысленно. Даже если он доберется до какого-нибудь оказавшегося под водой окна, всплывет в него, он уже не сможет выбраться из того помещения, куда попадет, даже если двери будут открыты или их просто не

будет – ведь неизвестно сколько времени придется плыть в темноте по подводному коридору в поисках пути наверх... Кругом эти ветви плюща, противные листья, какой-то волосатый подводный монстр прилип к стене... Надо двигаться в сторону, добраться до конца баржи! Теряя последние силы, перебирая руками по растениям, Щуквол двигался под баржей. Его пальцы цеплялись за ветки плюща как за горло врага. Он подтягивал себя, ломал напитанные водой тонкие кости растений... он хватался за более толстые ветки как за ребра, раздвигал их, словно хотел проникнуть куда-то вовнутрь, ветви цеплялись за него, мешали движению. И в голове слышался какой-то далекий голос: «Ты еще не достиг конца баржи, ты еще не достиг конца баржи...» И воздуха он тоже пока не достиг... Не в силах больше сдерживаться, Щуквол открыл рот и вдохнул воду. Он тут же почувствовал, что стремительно летит в черноту. Руки и ноги уже сами по себе, рефлекторно, толкнули тело вверх, и голова Щуквола оказалась на поверхности, а руки мертвой хваткой вцепились за плющ.

Прошло несколько секунд, прежде чем он, отхаркав воду, открыл глаза; лицо его смотрело из воды вверх; руки, заброшенные за голову, спазматически вцепились в плющ; под спину его поддерживали сорванные со стены, но не оторванные ветки. Чтобы удерживать голову на поверхности, Щукволу не нужно было даже работать ногами. Он был мухой в утонувшей паутине. Он спасся чудом – последний умирающий спазм выбросил его голову на поверхность.

Щуквол медленно осмотрелся. Он выплыл сразу за кормой баржи, круто нависшей над ним. Его со всех сторон прикрывали отодранные от стены ветки плюща. По воде драгоценными камнями прыгали огоньки – отражения факелов и фонарей. Отдыхая в объятиях гигантских вьющихся растений, Щуквол услышал зычный голос, пришедший откуда-то сверху:

– Всем лодкам отойти от окна! Отодвинуть оцепление! Перекрыть выход из залива! Зажечь все имеющиеся факелы и фонари! Под днищами всех судов протащить веревки – негодяй может скрываться у руля! Клянусь, в этом человеке больше сил и находчивости, чем у вас всех вместе взятых!

Голос Графини звучал в наступившем затишье как раскаты пушки.

– Да проглотит вас всех дьявол! Этот человек не может жить в воде! У него нет плавников и хвоста! Чтобы дышать, он должен выныривать! Ищите! Ищите!

Лодки стали раздвигать свои ряды, люди шумно работали веслами, две огромные баржи, слегка покачиваясь на небольших волнах, которые почти угомонились, стали отходить от стен. А пока лодки отплывали и выстраивались в линии, перегораживающие залив и отстоящие достаточно далеко от окна чтобы можно было следить за поверхностью воды на широком участке, который нельзя было бы проплыть под водой. Тит, стоявший рядом с матерью у окна, внимательно всматривался вниз в сбившуюся в кучу, переплетенную массу плюща. Он не обращал внимания ни на суматоху, ни на движение лодок, вызванное приказами матери. Он не отводил глаз от одного места у стены, как фанатик не сводит глаз со своего идола. На первый взгляд казалось, что в этой плавающей, сорванной со стены куче плюща ничего не было – баржи, когда они терлись боками о стены, оборвали плющ во многих местах, и теперь он плавал у стен. Но Тит, слегка покачивающийся от жара, головокружения, страшной усталости, уловил в воде какое-то движение, а потом различил какое-то пятно. Он не мог пока понять, что это, но ему было ясно, что это не видение, вызванное его болезненным состоянием. В массе ветвей и листьев плюща Тит явно различал какое-то судорожное подрагивание. Да, там внизу все было в движении: вода, лодки, баржи, все раскачивалось – и мир перед глазами Тита раскачивался тоже. Но странное подрагивание в плавающем у стены плюще выделялось из всех остальных движений... Нет, шевеление в плюще не кажущееся, оно происходит не от того, что мир прыгает у него перед глазами.

Когда Тита осенила догадка, что это может быть, у него учащенно забилось сердце.

И догадка эта стала наполнять Тита новыми силами – так во время весеннего пробуждения в растениях начинает двигаться сок, наполняя их новой жизнью. Из слабости произрастала сила. Но то была не сила Горменгаста, не сила, порождаемая гордостью от осознания того, что его родословная уходит в глубь веков. И Горменгаст, и родословная были мертвы для Тита, мертвы как гниющие на берегу водоросли. Он, Тит, предатель, сейчас совершит то, что оправдывает его существование, совершит то, что должно, побуждаемый гневом, побуждаемый романтизмом души, которая жаждала теперь не бумажных корабликов, не стеклянных шариков, не фантазмагорий, не ряженных на ходулях, не костра в пещере, не общения с летающим существом, порхающим меж золотистых дубов, его душа жаждала лишь мщенья, быстрой смерти, знания того, что он уже больше не наблюдатель, а сам непосредственный участник драмы!

Графиня стояла совсем рядом. Чуть подальше стояли командиры отрядов, пытающиеся из-за плеч Тита и Графини рассмотреть, что происходит внизу. Да, он должен действовать очень обдуманно и осторожно, он не должен совершить ни малейшей ошибки. Любая неосторожность, необдуманное движение – и его схватит десяток рук.

Тит медленно опустил руку и будто случайным движением проверил, висит ли на поясе его кинжал. Затем он снова положил руку на подоконник и, повернув голову, бросил быстрый взгляд по сторонам. Мать стояла, сложив руки на груди и глядя перед собой. Она так напряженно следила за тем, что происходит внизу, что не обращала на Тита никакого внимания. Люди, стоявшие сзади, находились ближе, чем того хотелось бы Титу, но и они неотрывно, привстав на цыпочки, следили за перемещениями лодок, выстраивающихся в одну линию.

В следующее мгновение, чуть ли еще не до того, как он принял окончательное решение, Тит, глубоко вдохнув и собрав все силы; наполовину прыгнул, наполовину вывалился через подоконник; пролетев несколько метров, он ухватился за плющ; его падение замедлилось, но не остановилось – плющ срывался со стены. Но вот наконец гибкие, цепкие растения выполнили то, на что надеялся Тит, и он повис над водой.

Подозрительная масса плюща плавала в воде не прямо под окном, из которого выпрыгнул Тит, а несколько в стороне. Окно заполнилось лицами людей, пораженных новой выходкой Тита. Тит слышал, как его окликают, как отдаются приказы немедленно подвести лодку под стену, но для Тита то были звуки уже из другого мира.

Несмотря на то что Тит, казалось, погрузился в свой особый мир кровавых грез, он знал, что в этом мире делать. Точнее, его тело знало, что делать. Уверенность и понимание пробилась сквозь слабость и жар.

Перебирая руками и иногда находя опору ногами на толстых ветках, Тит наискось спускался вниз. Руки вели его сами, и он им подчинялся.

Щукволу пришлось поменять положение – его левую ногу острой болью поразила судорога, а руки от неудобного положения затекли так, что потеряли чувствительность. Как ни старался убийца двигать своими членами осторожно, это ему не вполне удавалось, и пошевелился он значительно более резко, чем ему хотелось. И теперь он слышал, как кто-то опускается вниз, по направлению к нему, слышал треск плюща. Слышал он и крики, раздававшиеся из окна, окликавшие кого-то по имени, отдающие какие-то приказы. Но он был слишком поглощен болью в ноге и в плечах, и смысл слов до него не дошел. А теперь вот его неосторожные движения привели к таким тяжким последствиям! После невероятных усилий, направленных на то, чтобы спрятаться от врагов, ему, вроде бы, это удалось, но злобной судьбе было угодно, чтобы его тут же обнаружили!

Щуквол, не расслышав выкрикнутого имени, не знал, что к нему опускается сам молодой Герцог. Взгляд «пеготого зверя» упирался в клубок плюща прямо у него над головой, и поэтому он

не мог рассмотреть, кто направляется к нему. Щуквол решил, что кто бы он ни был, этот человек должен двигаться не по внутренней части покрова плюща – это потребовало бы невероятных усилий и движение было бы очень медленным, – а по внешней стороне, и заберется в него, поближе к стене, лишь тогда, когда подберется к нему совсем близко. Это даст спускающемуся человеку дополнительную защиту.

Именно это Тит и собирался сделать. Когда до воды оставалось не больше двух метров, он, чтобы отдышаться, остановился, зависнув на плюще и найдя для ног более или менее надежную опору.

Луна, стоявшая высоко в небе, полная, яркая, делала освещение факелами и фонарями фактически излишним. Вода в заливе стала цвета кожи прокаженного, на листьях плюща мерцал мертвенный свет. Лица в окнах посерели и казались деревянными – такой бывает деревянная скульптура, долго открытая дождям и непогоде.

Тит не сомневался, что там, в воде, под клубком сорванного плюща, прячется Щуквол. Тит продолжил свой спуск, поглядывая на воду. Не нырнул ли Щуквол снова? Оставался ли он все на том же месте? А если нет, то на какое расстояние еще нужно продвинуться? А если он все на том же месте, где Тит увидел из окна движение, то не слишком ли он приблизился к нему? И не готова ли рука, сжимающая кинжал, взметнуться над водой и нанести ему удар сквозь листья плюща? Но ничего такого не произошло. Царившая тишина лишь подчеркивалась ударами весел о воду.

Тогда Тит, крепче ухватившись левой рукой за крепкую веревку, находившуюся поближе к стене, правой отвел путаницу листьев и ветвей в сторону и заглянул в глубь покрова плюща. В лунных лучах листья и ветви выглядели как белые изогнутые кости.

Итак, вернее всего будет пролезть как можно ближе к стене и, двигаясь по внутренней части покрова плюща, попытаться пробиться сквозь темноту и ветви максимально близко к своему врагу. Опустившись достаточно низко, он, вероятно, получит возможность высмотреть сквозь покров ветвей и листьев нечто иное, кроме растительных изгибов – локоть, колено, лоб, прячущиеся в массе растений...

VI

Щуквол не двигался. Да и зачем ему было двигаться? И самое главное – куда? Если его заметили, то за любым его перемещением будут теперь внимательно следить. Попытаться вернуться назад в комнату? Но что это даст? Какой смысл теперь вообще куда-нибудь перемещаться, если это принесет лишь временное избавление? Да и хватит ли у него сил предпринять что-либо? Нет, надо просто дождаться момента, когда его снова попытаются схватить. Время, когда его остается мало, становится таким сладостным и таким ценным. Он не будет никуда двигаться. Он останется на месте. Он будет наслаждаться моментом, он будет упиваться совершенно особенным чувством ожидания смерти, он будет спокойно лежать на воде, дожидаясь, пока не канет в Лету.

И это решение проистекало вовсе не из-за того, что он потерял волю к жизни. Просто его разум, холодный и рассчитывающий все до самых мелочей, сообщал ему, что жизнь его подходит к концу, и Щуквол не мог сопротивляться жестокой логике своего разума. Он не мог погрузиться в воду и стать рыбой, а для того чтобы плыть под водой, сил уже нет. Плыть по поверхности – это значит быть пойманным немедленно. Спрятаться в плюще нельзя – любое движение будет тут же замечено. Карабкаться по плющу вверх – на это тоже вряд ли хватит сил, но самое главное – там, наверху, в каждом окне его ожидают. Значит остается одно – ждать.

Тот, кто спускается к нему, конечно же, уже дал знать другим, что в воде было замечено какое-то движение. Или тот, кто заметил это движение первым, дал приказ спуститься вниз. К тому же вот-вот сюда подойдут лодки. Странно, однако, что, насколько он мог судить по звуку весел, приближалась лишь одна лодка. Почему сразу же не устремились остальные?

Щуквол достал нож, который ему удалось сохранить при себе, несмотря на все перипетии борьбы. Сквозь скрученные и изогнутые стебли и ветви на него посыпалась пыль, затрещала ломающаяся ветка – не выше чем в метре над его головой.

Щуквол, скрючившись как ребенок на ложе из ветвей, бесшумно отвел в сторону руку, державшую нож, и приготовился нанести мгновенный удар снизу вверх. Его глаза горели из темноты как гнилушки, окрашенные в красный цвет. Казалось, в этом страшном сиянии отражалась кровь, пульсирующая у него в мозгу. Губы Щуквола, и так слишком тонкие, превратились в безжизненную полоску.

Щуквол ощутил, что в нем поднимаются чувства, подобные тем, которые охватили его, когда он исполнял какой-то варварский танец вокруг скелетов Кору и Клариссы. Эти чувства были столь непонятны его холодному разуму, что он не мог постичь, что же происходило в глубинах его подсознания, и не был в состоянии подавить эти чувства. Убийцу захлестнула черная внутренняя волна и затопила его разум. Намерение оставаться без движения на одном месте развеялось. Все силы, остававшиеся пока в его теле, рвались к действию. Теперь ему хотелось убить еще хотя бы одного своего врага не тайно и бесшумно, а у всех на виду, при ярком лунном свете. Повергнув врага, он поднимет вверх руки, растопырит пальцы, он будет ощущать, как вражеская кровь стекает по запястьям вниз, вьется вокруг рук, дымится в холодном воздухе. А потом он резко опустит руки, скрючит пальцы так, чтобы они стали лапами хищной птицы, и разорвет грудь врагу, вырвет черное сердце как гнилую свеклу, а потом на волне восторга победы и явленности всем остальным врагам, упиваясь своим злодейством, он бросит последний вызов башням Горменгаста, сделает то, чего от него никто не ожидает. Он не даст Замку осуществить то, что Замок считает своим правом, правом мести за оскорбленное достоинство – он убьет себя в сиянии лунных лучей!

В остром уме Щуквола не оставалось ничего, что отвергло бы с презрением все эти чувства, бушевавшие в нем. Щуквол, блестящий, холодный Щуквол, погрузился в кровавое облако. Он был готов к действию.

Позабыв о какой бы то ни было предосторожности, он стал выбираться из клубка плюща, опутывавшего его. Ветви трещали как ружейные выстрелы. Зрачки его глаз превратились в красные, раскаленные точки.

Щуквол бился в воде, освобождаясь от цепкого плюща. Его ноги погрузились в воду, но на глубине около метра ему удалось нащупать твердую ветку, на которую можно было встать. Его левая рука ухватилась за толстую ветвь плюща, которая казалась волосатой как нога собаки. Его нож был готов нанести роковой удар. Щуквол поднял голову, всматриваясь в покров плюща, из которого донесся треск, порождаемый человеком. Раздался сдавленный крик, и значительная часть покрова обрушилась вниз, увлекая за собой Тита.

Падая вниз, Тит увидел прямо под собой две горящие красные точки. Они светились сквозь спутанные ветви и листья.

На какое-то мгновение Тита охватил страх – на краткое мгновение его мозг очистился от болезненной дымки, обволакивающей его, – так в небесах, покрытых тучами, вдруг на несколько мгновений очищается крошечный пятачок, сквозь который выглядывает чистая лазурь. И это мимолетное очищение мозга от дымки жара и изнеможения принесло с собой страх перед Щукволом, темнотой и смертью.

Но прошло всего лишь мгновение, и, падая сквозь темноту, переплетенную ветвями и

листьями, Тит почувствовал, как страх этот покинул его. Он сказал про себя: «Я падаю. Падаю быстро. Сейчас я упаду прямо на него. И я убью его – если мне это удастся».

Тит крепко сжимал нож, и когда он вместе с массой оборванного плюща упал в воду, он вскинул руку с ножом вверх, увидел, как нож сверкнул, как осколок стекла, отысканный лунным лучом среди листьев. Однако тут же его взгляд, метнувшись от сверкающей полоски стали в сторону, увидел какой-то другой предмет, сверкающий не менее ярко, чем его нож – то был лоб Щуквола; на лице, белом как сало и покрытом красными пятнами, как капли крови горели глаза. Рот в обрамлении тонких как нить губ стал открываться, и из него вырвался крик, который разнесся над водой, взлетел к древним стенам, обратил стоявших у окон людей в камень – то был победный крик зверя, готового броситься на свою жертву.

И в этот миг, когда самонадеянный крик еще сотрясал ночь, когда эхо еще разносилось над водой, залетая в пустые комнаты и отражаясь от стен, Тит нанес удар ножом.

Щуквол, подняв голову и раскрыв рот в крике, стоял по пояс в воде, упираясь ногами в оказавшиеся под водой ветви и держась рукой за крепкие ветки над водой. Тит нанес удар в открытую часть шеи и тут же почувствовал, как его облило уже не водой, а чем-то липким и теплым.

Что же произошло со Щукволом? Почему не он нанес первый удар, а позволил это сделать своему врагу? Почему он пропустил удар, который поразил его в жизненно важную артерию? О, он тут же узнал молодого Герцога, наполовину высунувшегося из клубка плюща, упавшего рядом с ним в воду. Лунный свет был столь ярок, что ошибиться было невозможно. И восторг от того, что судьба привела к нему в этот великий момент самого Герцога Горменгаста и что он будет его последней и самой главной жертвой, был настолько силен, и его чувство, что свершается именно то, что должно свершиться, было столь полно удовлетворено, что он не смог сдержать этот победный вопль. На мгновение он стал таким как все, он, такой холодный и расчетливый, отдался минутной эмоции! Он просто должен был выразить свой восторг! К тому же его охватило чувство, с которым уже не мог справиться рассудок, – и Щуквол упустил тот единственный момент, когда он мог первым нанести удар своему врагу.

Однако удар ножа в шею, хоть был и смертелен, не убил его сразу. И он вернул убийцу в его обычное рассудочное состояние.

Щуквол снова стал Щукволом, а не рычащим зверем. Он истекал кровью, а вместе с ней из него вытекала жизнь, но он далеко еще не был мертв. Взревев от боли, Щуквол нанес ответный удар. Но в этот момент что-то под ногой подалось в воде, и он, невольно дернувшись в сторону, погрузился еще немного глубже. Удар, нацеленный в сердце, теперь лишь чиркнул Тита по лицу. Порез был не глубоким, но длинным и кровоточащим. Тит, которого после удара ножом, нанесенным им в горло Щуквола, охватила такая слабость что он был близок к потере сознания, пришел в себя от резкой боли в щеке и нанес второй удар куда-то в темноту под красно-белым лицом с кровавыми светящимися точками глаз. Мир снова завертелся перед глазами Тита и он стал вываливаться из клубка плюща. Но что-то удерживало его от окончательного падения. Тит открыл глаза и увидел, что рука его, все еще сжимающая рукоятку ножа, упирается в грудь Щуквола. Он потянул за нож, но тут же понял, что не сможет его вытащить из тела, откинувшегося на спутанный клубок веток. Потом Тит перевел взгляд на лицо Щуквола. Он смотрел на это лицо, как ребенок с восхищением и удивлением смотрит на циферблат часов, не зная, как определить по ним время. Лицо стало мертвым предметом, узким, бледным, с отверстием, которое только что было ртом, глаза были открыты, но блеск в них пропал. Зрачки закатились под верхние веки.

Щуквол был мертв.

Удостоверившись в этом, Тит разжал руку, державшую рукоятку ножа, всаженного меж

ребер, и упал в воду лицом вниз. Сотни людей, наблюдавшие за происходящим, вскрикнули одновременно. Графиня, видневшаяся в прямоугольнике окна, высунулась вперед насколько это было возможно. Она смотрела на сына, и губы ее слегка двигались.

Ни она, ни кто-либо другой из смотревших из окон толком не смогли понять, что произошло там, на воде, в двух расположенных рядом клубках сорванного со стены плюща. Они видели, как Тит сначала исчез под покровом плюща, потом видели, как часть этого покрова оборвалась и упала в воду, потом увидели вторую фигуру, поднимающуюся из спутанной массы плюща на воде, потом услышали страшный крик, видели взмахи рук, слышали новый крик, слышали плеск воды, когда оседал плющ, слышали глухой удар, видели, как одно тело откинулось назад, а второе – упало вперед.

Звуки, несшиеся с воды были слышны с особой четкостью и ясностью. А тем временем вереницы лодок устремились назад к стенам, и некоторые из них были уже совсем близко к тому месту, где упал в воду Тит. В лодках с нетерпением ожидали новых приказаний, но Графиня, освещенная лунным светом, стояла молчаливо и неподвижно, заполняя проем окна, как вырезанная из камня массивная фигура, руки ее вцепились в подоконник, взгляд был устремлен вниз, губы сжаты. Но вот Графиня, выйдя из транса, шевельнулась, а когда она увидела, как Тит падает из клубка плюща в воду, а лицо его залито кровью, из ее груди исторгся страшный крик – она решила, что Тит убит, – и в отчаянии Графиня ударила по подоконнику кулаком.

Но уже не менее десятка лодок подоспело к тому месту, где в воду упал Тит. Первой к нему добралась та лодка, которая уже раньше по приказу Графини двигалась к стене и плеск весел которой несколько ранее слышали и Тит, и Щуквол. Тита, который хотя и был без сознания, но не успел погрузиться в воду, втащили в лодку, но едва его уложили на дне лодки, как он, напугав всех без меры (все считали, что он убит), поднялся, словно воскрес из мертвых. Тит, показывая на какое-то место у стены, где плавали спутанные клубки плюща, приказал всем прибывшим лодкам направиться туда.

Какое-то мгновение люди в лодках колебались и поглядывали на Графиню, но она ни голосом, ни жестом не проявляла свою волю. Тот, кто стоял рядом, мог бы увидеть, что грубые черты ее большого лица смягчились, и лицо сделалось почти красивым. То выражение, которое помимо воли опускалось на ее лицо только тогда, когда она склонялась над птичкой со сломанным крылышком, над любимым страждущим животным, появилось на нем и сейчас, когда она смотрела вниз, на происходящие у стены события. В ее глазах растаял лед.

Графиня повернулась к тем, кто находился в комнате рядом с ней:

– Уходите. Оставьте меня одну. Рядом есть и другие комнаты с окнами.

Когда она снова выглянула из окна вниз, то увидела, что ее сын стоит на носу лодки и смотрит прямо на нее. Одна сторона его лица была залита кровью, глаза сияли каким-то странным светом. Казалось, Титу очень хотелось, чтобы мать его стояла там, наверху у окна и видела все, что происходит. Когда тело Щуквола затаскивали в одну из лодок, Тит взглянул на него, потом снова на мать, затем снова перевел взгляд на мертвого Щуквола. Чернота стала затоплять его сознание, все завертелось перед глазами. И Тит в беспомощности рухнул в лодку, словно в яму крошечной тьмы.

Глава семьдесят девятая

Дни шли, а дождь не возобновлялся. Вдыхать очищенный, словно вымытый, воздух было невыразимо приятно. На Горменгаст опустились мир и спокойствие, Замок охватили мечтательность и задумчивость, которые, казалось, прилетали с солнечными лучами днем и с лунными – ночью.

Воды великого потопа спадали очень медленно, но с каждым часом уровень воды понижался – пусть и на крошечную величину, но понижался. Золотые дни сменялись серебряными ночами, шли недели, месяцы – и вода отступала. Появлялись из-под воды крыши, каменные террасы, стены, поля, холмы. И все эти освобожденные из-под воды поверхности, склоны, изгибы быстро высыхали на солнце. Солнце теперь сияло, не заслоненное ни единой тучей, каждый день, и лучи его заглядывали в воды, ставшие из серых, угрюмых и взбудораженных спокойными, гладкими и прозрачными. В гладкой зеркальной поверхности отражался вырастающий из-под воды Замок и редкие, легкие облачка, лениво плывущие по голубым небесам.

Но внутри самого Замка, по мере того как отступала вода, становились все явственнее размеры нанесенного потопом ущерба. За окнами лежали искрящиеся в лучах солнца мирные воды, являя собой картину покойной, очищенной красоты, а внутри Замка освобождающиеся от воды этажи являли собой зрелище разорения гадкий, скользкий ил, толстым слоем покрывал полы; из окон стекала жидкая грязь, повсюду из воды и из серого ила торчали предметы, брошенные или забытые при отступлении наверх. Стало ясно, что очищение Замка от грязи, приведение всего в порядок, после того как вода спадет окончательно – если, конечно, это вообще произойдет и Замок снова будет стоять на сухой земле, – займет очень много времени.

Было ясно, что по сравнению с теми усилиями, которые ушли на то, чтобы в течение нескольких месяцев перетаскивать вещи на все более высокие этажи, плотно забитые ими, труд, который пойдет на очищение Замка, будет неизмеримо более тяжелым и продолжительным.

То, что когда-то в отдаленном будущем Замок станет чище, чем он был многие тысячи лет своего существования, не вдохновляло его обитателей, которых никогда не занимала проблема чистоты – Замок всегда воспринимался таким, каков он есть.

Страх, который внушал потоп, угрожающий самому существованию обитателей Замка, был быстро позабыт. Но теперь внушал трепет труд, который требовался для очистки Замка от скверны. Но чувство успокоения, которое охватило Горменгаст, смягчало все неприятное. Впереди лежали спокойные времена, времена, которые бесконечно уйдут в будущее. Можно было не спешить. Да, предстояло выполнить очень много работы, но ее можно будет делать безо всякой спешки. Уровень воды постоянно снижался. Потоп многое разрушил, повредил, погубил множество людей, но теперь все это позади. Воды отступали, оставляя после себя комнаты и коридоры, полные грязи, разбросанные повсюду разные вещи, вымокшие, полуразложившиеся, сломанные, испорченные – но вода отступала. И это было главное.

И Щуквол был мертв. Исчез страх. Никто больше не боялся услышать свист камня, пущенного из смертоносной рогатки. Люди, не опасаясь неожиданного нападения, спокойно занимались своим делом. Дети резвились в воде, ныряли из окон, плавали наперегонки к появляющимся из-под воды башням.

Тит стал живой легендой, живым воплощением и символом праведной мести. Молодые люди завидовали длинному шраму на его лице. Мать гордилась тем, что ее сын носит на лице такое свидетельство мужской доблести, а сын – хотя и втайне – гордился этим шрамом не меньше.

После поединка со Щукволоом Тит долго болел. Первую неделю, когда жар не только не спадал, но все усиливался и Тит был в бреду, Доктор Хламслив почти неотлучно находился у его постели. В углу комнаты сидела мать Тита, неподвижно как гора. Только когда Тит пришел в себя и стал осознавать, что происходит вокруг, и лоб его уже не горел от жара, мать перестала приходить к нему в комнату. Она не знала, о чем с ним говорить.

Уровень воды неспешно понижался. У многих обитателей Замка появилась привычка прогуливаться по крышам, и западный массив со множеством мест, удобных для прогулок, после трехсот лет забвения стал излюбленным местом гуляний. На закате после завершения дневных трудов сюда приходило множество людей. Здесь прогуливались или, опершись о зубцы стен и башен, смотрели на заходящее светило. Ритуальная жизнь Замка переместилась на крыши. Тяжелые тома, содержащие указания к ритуалам и обрядам, удалось спасти, и Поэт, окончательно освоившийся со своим положением Хранителя Ритуала, не имел ни минуты свободной, проводя дни и ночи за их изучением. Там, где это было возможно, строились хижины, лачуги и хибарки. Обитатели Замка расселялись в соответствии со своим положением.

Освобождались из-под воды и склоны Горы Горменгаст, которая, казалось, росла прямо на глазах. На рассвете, когда первые косые лучи солнца освещали деревья, камни и папоротники на ее склонах, Гора превращалась в остров, наполненный птичьим пением. В жаркий полдень все смолкало. Солнце величаво скользило по небосводу и его путь повторяло отражение в голубых водах.

Теперь, после нескольких лет, насыщенных напряжением, любовью, ненавистью, скрытым и открытым страхом, Замок, которому так был нужен отдых от всего этого, мог закрыть на время глаза и предаться спокойному и сладкому выздоровлению.

Глава восьмидесятая

День сменялся ночью, на смену которой снова приходил день, а необычное спокойствие по-прежнему царило в Горменгасте. Хотя в спокойствии пребывал лишь дух, но не тело Обитатели Замка находились в постоянном движении, им приходилось выполнять огромное количество работ, связанных с приведением Замка в порядок.

Вот уже из-под воды стали показываться верхушки деревьев. Когда вода опустилась еще ниже, обнаружилось, что у многих деревьев обломаны все ветви, за исключением самых больших. Над водой вставали все новые и новые части Замка. Было совершено несколько плаваний к Горе Горменгаст, со склонов которой было хорошо видно, что Замок почти полностью приобрел свой прежний вид.

Там, на каменных склонах Горы, недалеко от зазубренной вершины, напоминавшей когти хищной птицы, была похоронена Фуксия. Шесть гребцов доставили ее тело в самой великолепной лодке из всех, созданных Резчиками. Нос этого весьма массивного судна был украшен вырезанной из дерева фигурой. В то время, когда происходили похороны, гробница Семьи Стонов находилась еще глубоко под водой, и было принято решение похоронить дочь Герцога и сестру Герцога с положенными почестями в единственном доступном и не залитом водой месте. Похороны состоялись на следующий день после поединка Тита со Щукволом, Доктор Хламслив не смог присутствовать на них, так как боялся отходить от постели тяжело больного Тита.

Графиня сама выбрала место для могилы которую вырубили прямо в скале. Она долго бродила по опасному склону в поисках места достойного принять останки Фуксии на вечное успокоение.

Отсюда Замок выглядел как громада, за которой прятался целый континент, громада с бесчисленными заливами и заливчиками, выеденная ветрами и дождями, с глубокими расселинами, погруженными в тень. Вокруг основного массива лежало множество островов, самых разнообразных форм и размеров, там и сям виднелись полуострова забредших в воду камней – Замок можно было рассматривать бесконечно. В спокойной воде отражались все, даже самые малозаметные детали.

* * *

Прошел год после ночного поединка Тита со Щукволом. Тит давно оправился от долгой болезни, вызванной крайним напряжением сил и истощением, позабыты были страхи той ночи, Замок полностью избавился от затопивших его вод. Но в нем было еще очень сыро и грязно. Это было место, совершенно непригодное для жилья. От разлагающихся трупов животных, утонувших в воде и оставшихся лежать на нижних этажах, от разлагающихся вещей исходили миазмы, от которых даже воздух в Замке становился болезнетворным. Этот тяжелый дух особенно сильно ощущался по ночам. Обитатели предпочитали жить во временных строениях, прилепившихся к стенам возведенных на террасах и крышах. Лишь днем помещения Замка наполнялись людьми, неутомимо занимавшимися его очисткой и уборкой.

Постепенно обитатели Замка переходили к жизни на земле вокруг Замка и во дворах первого этажа. Возник целый городок временных строений – лачуг, хижин, хибарок, сооруженных из глины, ветвей, обрывков полотна, из подходящих кусков железа, обвалившихся камней. Эти сооружения, при создании которых было проявлено много изобретательности,

лепились друг к другу как соты. Здесь сосредоточилось основное население Горменгаста. Теснота была крайне непривычной и вопиющей, но все были объединены единым желанием – поскорее очистить Замок. Погода была – почти до монотонности – прекрасной. Зима оказалась очень мягкой. Весной иногда шел веселый дождь, урожай, выросший на землях, удобренных илом, был великолепен. Однако Замок по ночам, когда прекращались работы по уборке, стоял пустой.

По мере того, как высыхали бесчисленные помещения Горменгаста, по мере того, как их медленно, но верно вычищали, Тит, несмотря на благодушную, спокойную атмосферу, царившую в Замке, становился все более беспокойным и угрюмым. Давно были забыты болезни и страхи, и не они разъедали его душу.

Зачем ему все это спокойствие залитых золотом солнца дней? Зачем ему вся эта умиротворенность? Зачем ему вся эта монотонная жизнь Замка, эти вечные камни, эти вечные ритуалы?

Хранитель Ритуала, бывший Поэт, исключительно ревностно относился к своим обязанностям. Его высокий интеллект, который раньше использовался для создания ослепительных, хотя и невразумительных стихотворных конструкций, теперь мог развернуться во всю свою мощь и действовать в сфере Ритуала. Решения его были часто так же непонятны, как и стихи, но тем более ценными они были для Замка. Хранитель был захвачен Поэзией Ритуала, и с его клинообразного лица никогда не сходило задумчивое выражение, словно он постоянно обдумывал глубинные философские проблемы, например, такую как соотносятся Красота Церемонии и Уродство Человека? Но так и должно было быть Хранитель Ритуала являлся, в конце концов, краеугольным камнем жизни Замка.

Проходили месяцы, и Тит пришел к окончательному осознанию того, что ему нужно выбирать: либо он останется символом власти, неким идолом, продолжающим наследственную линию, которая уходит в незапамятное прошлое, либо же превратится в глазах матери и Замка в предателя. Дни Тита были наполнены бессмысленными церемониями, чья значимость и священный характер возрастали в обратной пропорции к их полезности и понятности. После поединка со Щукволом Тит стал пользоваться в Замке особой любовью. Все, чтобы он не делал, получало всеобщее одобрение. Если на пути Тита встречались люди, то даже самые высокопоставленные из них отступали в сторону и почтительно кланялись, имя Тита в нововыстроенных хижинах и лачугах повторялось с почтением и волнением и детьми, и взрослыми, вслед Титу смотрели большими от восторга глазами. И все это Титу было очень приятно – как мед на языке.

Щуквол постепенно приобретал черты почти мифического монстра – а Тит представлялся победителем дракона, но живущим не в мире мифа, в прошлом, а сейчас – живой, настоящий.

Но все это почитание быстро приелось Титу. Мед стал слишком приторным. Никогда ранее Тит не ощущал себя столь одиноким. Матери нечего было сказать своему сыну. Гордость за него, за то, что он совершил, лишила ее слов. Графиня снова стала молчаливой, грузной и грозной фигурой, окруженной белыми кошками, ее плечи как и раньше были усыпаны птицами.

Графиня свершила то, что потребовали от нее грозные обстоятельства. Она успешно руководила спасением людей и вещей от наступающего потопа. И она сделала все, чтобы очистить Замок от Щуквола – ее усилия увенчал ее сын. А теперь она снова могла уйти в себя. Ее мозг опять стал засыпать. Она потеряла к нему всякий интерес, как и к тому, что этот мозг мог бы свершить. В нужный момент проявились ее мощные мыслительные способности – словно из темного чулана вынесли какое-то мощное, хитроумное устройство и оно заработало, и заработало успешно, ее решения были взвешенными и хорошо рассчитанными – так под командой опытного полководца двигается армия. Теперь все остановилось – хитроумное

устройство снова снесли в чулан, армию распустили. Беспокойство по поводу таких абстрактных ценностей, как честь и достоинство рода Замка, сменилось заботой о кошках и птицах. Графиня перестала размышлять над происходящим. Она теперь считала, что все, что сказал ей Тит, было лишь порождением его болезненного состояния. Она решила, что Тит просто не понимал значения своих слов. Он жаждал свободы от своего древнего дома, от своего наследия, от своих прав, полученных им при рождении? Какой в этом был смысл? Никакого. И Графиня погрузилась в темноту, освещаемую лишь зелеными глазами ее кошек и ярким оперением ее птиц.

Но Титу уже было невыносимо думать о том, что вся его жизнь пройдет в монотонном повторении мертвых обрядов и церемоний. С каждым уходящим днем он становился все более беспокойным. Он ощущал себя посаженным в клетку. Смерть Флэя закалила его. Смерть Фуксии оставила в груди болезненную пустоту. Победа над Щукволом дала ему возможность проверить меру своей храбрости.

Тит невольно считал, что мир, лежащий за горизонтом – мир неизвестный, непонятный, вроде бы нигде не существующий, но тем не менее обступающий Горменгаст со всех сторон – устроен по тому же принципу что и Горменгаст. Но одновременно он осознавал, что тот неведомый мир должен быть устроен иначе, что нигде больше нет ничего подобного его древнему дому. И он стремился именно к тому, что отлично от Горменгаста: к местам, где вздымаются к иным небесам иные горы, через иные леса текут иные реки. О, как он жаждал увидеть все это! Он жаждал проверить себя в ином мире. Ему хотелось путешествовать, но не как Герцогу, а просто как человеку по имени Тит, за душой которого ничего нет, кроме этого имени.

И тогда он будет свободен. Свободен от верности Горменгасту. Свободен от своего дома. Свободен от церемоний, сводящих его с ума своей нелепостью. Свободен быть человеком, а не представителем великого Дома Стонов. Его порыв к свободе был вдохновлен встречей с удивительным летающим созданием. Если бы эта встреча не произошла, вряд ли он решился бы на бунт против Горменгаста. Своим примером это создание показало ему прелесть независимости и свободы, дало ему понять, что людей удерживает вместе лишь страх. Страх остаться одному, страх оказаться отличным от других. Самостоятельность и независимость чудного создания взорвали изнутри его убеждения. С того самого момента, когда он осознал, что это создание не плод его воображения, мысль о нем преследовала его постоянно. Эта мысль не покидала его и сейчас, как и мысль о том, что можно существовать и без Горменгаста.

Однажды вечером поздней весной он отправился к Горе Горменгаст. Взобравшись по ее склонам, он остановился у могилы своей сестры. Но у небольшого холмика камней простоял он совсем недолго. Он думал о том, о чем, наверное, подумал бы каждый: почему человек, столь полный жизни, любви, человек такой тонкой души, должен превратиться в нечто, что разлагается под кучей камней? Но долго размышлять об этом нельзя – иначе одолеют мучительные страхи.

Легкий ветерок вычесывал шевелюру высокой травы, которая покрывала нижнюю часть склонов Горы. Вечер утопал в бледно-коралловых отсветах заката, которые ложились на камни и папоротники.

Прямые светло-каштановые волосы Тита падали ему на глаза. Он убрал их со лба и перевел взгляд на утыканную башнями громаду Горменгаста. Глаза вспыхнули странным светом.

Фуксия покинула Горменгаст. Насовсем. Она уже в совершенно ином мире. Летающее создание мертво, но Оно подсказало ему своим грациозным, свободным полетом, что Горменгаст – это далеко не все, что есть в мире. Разве он не пришел к пониманию того, что мир необъятен? И он был готов отправиться в этот мир.

Тит стоял без движения, выпрямившись, со стиснутыми кулаками. Он поднял руки и приставил кулаки друг к другу, косточка к косточке, словно пытался раздавить между ними то возбуждение, которое стало охватывать его.

В широком довольно бледном лице не было ничего такого, что позволило бы назвать Тита романтически настроенным молодым человеком. В его лице не было, фактически, ничего необычного. Черты лица были далеки от совершенства. Каждая из черт по отдельности казалась слишком большой и лишенной нужных пропорций. Его нижняя губа слегка выступала вперед из-под верхней, и чаще всего рот был слегка приоткрыт, так что виднелись зубы. Лишь его глаза казались необычными – бледные, серо-голубые, с оттенком угрюмой и мрачной фиолетовости. Эти глаза, когда в них светилась нервная энергия, могли даже пугать.

Его тело с подвижными членами было довольно крупным и тяжелым, но тем не менее достаточно гибким и сильным, плечи слегка сутулились, казалось, он постоянно пожимает плечами. Подобно тому, как при грозе собираются тучи, собирались его мысли, все становилось на свои места, ясно обозначался путь, которому он должен следовать. Его пульс, учатившийся от мятежных мыслей, болезненно стучал в висках и запястьях.

Тита обвевал нежный ветерок, ласковый, успокаивающий, над Замком зависло облачко, словно благословляющее его башни. Из папоротников выбрался кролик и, усевшись на плоский камень, замер в неподвижности. В оцепенелой тишине слышался треск кузнечиков, дергал за свою струну сверчок.

Умиротворенность всего вокруг находилась в странном противоречии с чувствами, бушевавшими в груди Тита.

Какой смысл дальше откладывать свой акт предательства? От этого не станет легче. Чего он дожидается? В той атмосфере любви и почитания, которая теперь окружала его в Замке, никто не скажет ему. «Все, пришло время покинуть Горменгаст». Ни один камень Горменгаста не поддержит его решение.

Тит спустился с Горы, вышел из леса, охватывающего ее подножие, прошел по заболоченной низине, подошел к Внешним Стенам.

И когда он приблизился к воротам и стены нависли над ним, он бросился бежать.

Он бежал так, словно выполнял чей-то приказ. И в какой-то степени это было именно так, хотя этот приказ пришел из глубин его естества, о которых он так мало знал. Он подчинился приказу законов еще более древних, чем сам Горменгаст. То были законы плоти и крови. Законы неутоленного желания. Законы, заставляющие искать перемен. Законы молодости. Законы, которые разделяют поколения, законы, которые отторгают дитя от матери, мальчика от отца, юношу от родителей. Законы, которые зовут к неизведанному. Законы, которым подчиняются лишь немногие, которым хватает смелости и решимости. Законы, которые зовут молодых уйти за горизонт, в неведомые дали.

Тит бежал, подстегиваемый верой в то, что его непослушание и есть оправдание существования. Он уже не был неоперившимся птенцом, просто непослушным ребенком, жаждущим новых сладостей. Страсть к сладостям у него уже давно прошла. Он познал уже многое. Он убил человека, он познал страх смерти, от которого дыбом встают волосы, и теперь мир, совершенно отличный, как ему казалось, от Горменгаста, звал его к себе настойчивым шепотом.

Тит бежал потому, что наконец принял окончательное и бесповоротное решение, решение, сложившееся из многих ясных и неясных причин, мотивов, желаний и порывов. Все, совместившись, призвало его к действию.

Вот почему Тит бросился бежать – внешнее действие должно было соответствовать лихорадочному течению мыслей.

Тит знал, что назад пути уже нет – чтобы сохранить себя как личность, он должен был поступить так, как задумал. Он бежал стремительно, дышал быстро и глубоко и скоро оказался среди хижин временного поселения.

Солнце уже коснулось края горизонта. Розово-красный цвет заката стал приобретать фиолетовый опенок, придавая странную красоту всему вокруг. Люди, бродившие меж хижин, почтительно расступались, давая ему дорогу. Дети в лохмотьях, выкрикивая его имя, бежали к своим матерям, чтобы сообщить им, что видели его знаменитый шрам. Тит, неожиданно оказавшийся в мире реальности, остановился. Тяжело дыша, он согнулся, положив руки на колени и наклонив голову. Отдышавшись, он распрямился, отер пот со лба и быстро направился к той части поселения, где за частоколом размещался дом, мало чем отличавшийся от остальных лачуг, в котором жила Графиня.

Прежде чем пройти сквозь ворота в частоколе, грубо изготовленные из разных подходящих железных прутьев, он остановился и подозвал нескольких молодых людей, оказавшихся поблизости.

– Найдите Хранителя Конюшен, – приказал он тоном, который так напоминал властные распоряжения его матери. – Он должен быть в конюшне у Западных Ворот. Передайте ему мой приказ – пускай оседлает серую кобылу. Он знает, какую. С белым пятном на ноге. Потом пусть приведет ее к Кремниевой Башне. Я скоро приду туда.

Молодые люди, сделав знак, что они поняли приказание, бросились его исполнять и быстро растворились в опускающейся темноте. Луна выкатилась из-за башни со сломанной верхушкой.

Тит подошел к грубо сделанным воротам, собирался уже войти, но потом передумал, развернулся и направился к центру поселка, состоящему из хижин, сооруженных из наскоро сколоченных досок и обломков дерева, которые удалось разыскать в Замке. Но ему не пришлось идти ни к группе хижин, где жили Профессоры, ни к домику, в котором размещался лазарет Доктора Хламслива, высвеченный во всей своей неприглядности луной. Тит увидел, что прямо к нему направляется Глава Школы в сопровождении жены и Доктора Хламслива.

Но они увидели его только тогда, когда он подошел совсем близко. Тит сразу почувствовал, что они захотят поговорить с ним, но он был совсем не расположен ни беседовать с ними, ни даже слушать их. Тит и нормальное поведение в мире, который его еще окружал, уже не совмещалось. Неожиданно, не дав ни Доктору, ни старому Профессору опомниться, Тит схватил их за руки, нервно сжал их выше локтя, отпустил так же резко, несколько неуклюже поклонился Ирме, повернулся на каблуках и пошел прочь. Хламслив, Рощезвон и Ирма в изумлении смотрели ему вслед, пока он не скрылся в сгустившейся вечерней тьме.

Вернувшись к частоколу, Тит уже безо всяких колебаний прошел в ворота и попросил человека, стоявшего у дверей кособокого домика, доложить о нем.

Войдя, Тит увидел, что Графиня сидит за столом, на котором стоит зажженная свеча, и безо всякого определенного выражения на лице смотрит в раскрытую книгу, полную картинок.

– Мама.

Графиня медленно подняла голову.

– Да?

– Я уезжаю.

Графиня молчала.

– До свиданья, – сказал Тит.

Графиня тяжело поднялась на ноги, взяла со стола свечу, подошла к Титу почти вплотную. И, держа свечу у лица Тита, стала всматриваться в его глаза – а потом вдруг, подняв вторую руку, очень нежно провела указательным пальцем по шраму.

– Куда уезжаешь? – спросила наконец Графиня.

– Уезжаю... совсем. Покидаю Горменгаст. Объяснять не могу. Не хочу ничего говорить. Я просто пришел сообщить вам о своем отъезде. Вот и все. До свиданья, мама.

Тит повернулся и быстро пошел к двери. Он страстно жаждал поскорее выйти и умчаться в ночь, не обмолвившись ни с кем больше ни единым словом. Тит понимал, что Графиня не сможет сразу осознать до конца, что значит это страшное признание в измене. Но когда Тит уже был у самой двери, сквозь густое молчание, упиравшееся ему между лопаток, прорвался голос. Графиня говорила не громко и не спеша:

– Убежать от Горменгаста невозможно... В мире ничего, кроме Горменгаста, нет... Так или иначе, Тит Стон, ты вернешься... Все дороги, все тропинки ведут в Горменгаст... Все в мире приходит к Горменгасту...

Тит вышел и плотно закрыл за собой дверь. Луна высвечивала верхушки башен, отражаясь от крыш, свет ее вспыхивал в клешне вершины Горы Горменгаст.

Когда Тит подошел к Кремниевой Башне, оседланная лошадь уже ждала его. Тит вскочил в седло, тряхнул поводьями – и лошадь пошла сквозь чернильные тени, лежащие под стенами.

Через некоторое время Тит выехал из-за прикрытия стен и погрузился в яркое сияние полной луны. Проехав еще довольно долго, Тит вдруг вспомнил, что, если он не обернется сейчас и не посмотрит на Замок, то еще немного – и он не сможет его увидеть, тот скроется за холмами. Тит повернулся – Замок черной громадой, впечатляющей даже издали, карабкался в черную ночь. А впереди перед Титом раскрывались новые земли.

Он отбросил пряди волос, упавшие ему на глаза, и пустил лошадь рысцой, которая быстро, когда он начал ее горячить, перешла в галоп.

Мимо проносились холмы, залитые лунным светом; лицо Тита заливали слезы. Полный ликования, устремив взор в невидимый горизонт, укутанный расплывающимся лунным светом и топотом копыт, мчался в неизведанное Тит, семьдесят седьмой Герцог Дома Стонов.

notes

К шапочке, по виду напоминающей перевернутую чашку, сверху прикреплен плоский квадрат, обшитый той же материей; во многих средневековых университетах и школах носили такие шапочки и мантии; в Западной Европе и США их кое-где носят и сейчас. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Аллюзия на Христа и Пасху, обычно приходящуюся на апрель.

Званый ужин, вечеринка, скорее официальная, чем дружеская (фр.)

Отвердевание мышц тела наступающее обычно через некоторое время после смерти (лат.)

Вместо родителей (лат), т. е. если бы я был на месте родителей.

Горгулья – окончание водосточной трубы в виде сказочных монстров в готической архитектуре.